Л. С. КЛЕЙН

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ

1

Л. С. КЛЕЙН

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ

УЧЕНИЯ, ШКОЛЫ И ЛИЧНОСТИ

1

ОБЩИЙ ОБЗОР И ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ ВРЕМЯ

ЕВРАЗИЯ

Л. С. Клейн

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ:

учения, школы и личности

Том I

ЕВРАЗИЯ
Санкт-Петербург
2014

ББК 63.3-8/63.4
УДК 902/929
К48

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»

Клейн Л. С.
К48 **История российской археологии: учения, школы и личности. Том 1. Общий обзор и дореволюционное время.** — СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2014. — 704 с.: ил.

ISBN 978-5-91852-075-8 (общий)
ISBN 978-5-91852-076-5

Представляемая вашему вниманию работа значительно отличается от всех существующих трудов по истории отечественной археологической науки.

Особенность «Истории российской археологии», написанной выдающимся петербуржским ученым Л. С. Клейном, состоит в том, что читателю предоставляется возможность взглянуть на предмет трижды: сперва как на историю событий и институций, затем как на историю учений, и в третий раз — как на историю личностей.

Эта последняя — не приложение, а основное содержание книги, то есть оставшаяся от первых двух «прогонов» наибольшая часть первого тома отведена под биографии дореволюционных российских археологов. Это, так сказать, история в лицах. Биографии археологов (автор в первой части исследования уделяет внимание 25 ученым) сгруппированы по той роли, которую данный исследователь сыграл в истории науки: пионеры, основатели, классики и т. п.

Издание рассчитано на археологов и историков науки, специалистов и студентов, а также на всех интересующихся развитием общественных наук в нашей стране.

ISBN 978-5-91852-075-8

© Клейн Л. С., текст, 2014
© Лосев П. П., дизайн обложки, 2014
© Оформление, ООО «Издательство

Предисловие

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы — как истории планет.
У каждого — свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
Но это все неведомо для нас.

И если умирает человек,
С ним умирает первый его снег,
И первый поцелуй, и первый бой...
Все это забирает он с собой.
.....

Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?

Е. Евтушенко.
Людей неинтересных в мире нет.

История науки проходит сквозь биографии ученых и включает их в себя. Но представлены они в ней по-разному.

Есть несколько книг по истории отечественной археологии (я дальше дам их краткий обзор). Но предлагаемая здесь история отличается от них своей персонализацией — это история в лицах. Ее основной материал — биографический. Я хотел сильно оживить ткань истории своей науки, чтобы мои коллеги вкусили прелесть приближения к интереснейшим фигурам, почувствовали аромат эпох и преемственность поколений. Чтобы читателям легко было осознать, что их предшественники в археологии были такими же людьми, которых можно любить или презирать, что науку делали люди с умом и эмоциями, с достоинствами и слабостями — и что пришедшие нам на смену будут так же смотреть на нас.

Такие книги в историографии появлялись. «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, написанные в начале II в. н. э., представляют собой классический пример. Плутарх расположил парами жизнеописания выдающихся греков и римлян, и, рассматривая их параллельно, старался дать читателю поучительные образцы. В 1850 г. американский поэт Р. У. Эмерсон собрал шесть самых великих, по его разумению, людей мира, представляющих главные отрасли человеческой деятельности, в книге «Представительные люди», ставшей библией поклонников девиза «Великие люди делают историю». Большей частью все эти биографии являются панегириками. В историографическом труде Лебедева биографии вплетены в ткань всего труда, но, поскольку периоды названы по личностям, эти и смежные персоны — от Оленина до Забелина и от Уварова до Рериха — представлены также в апологетическом ключе. Как и образы археологов в антологии Эдварда Бэкона «Великие археологи» (1976 г.) и в двух из пяти томов энциклопедии Тимоти Марри (1999 г.), которые также носят название «Великие археологи».

Другую крайность можно найти в России. В 1874 г. вышел труд Н. И. Костомарова «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей», а еще за три года до того, в 1871, — предваряющая статья «Личности Смутного времени»: о Минине и Пожарском, об Иване Сусанине. Следуя Вольтеру, Костомаров стремился перейти от истории героев к истории народов и от истории событий к истории нравов и быта, к истории культуры. Поэтому он стремился низвести исторических деятелей, слывущих великими, с их пъедесталов, лишить их героического ореола. Его биографии полны разоблачительного пафоса, исторические клише о великих людях подвергнуты скептическому анализу.

В своих биографических очерках я стремлюсь избежать обеих крайностей — и панегирического возвеличения крупных археологов и их затаптывания. Я вполне понимаю значение выдающихся личностей, особенно если они могли занять влиятельные места в системе отношений. В то же время я понимаю, что выдающиеся личности были созданы сочетанием определенных факторов и действовали в сложившихся обстоятельствах, зачастую непреодолимых. Они находили оптимальные выходы в этих обстоятельствах. Более того, они не сияли сплошь одними только достоинствами, часто их недостатки были продолжением их достоинств и даже превосходили их. Игра этих сил составляет интригующий интерес истории, а реальные сложные человеческие фигуры гораздо интереснее ходульных героев

и ничтожных манекенов, населяющих исторические книги. Мне кажется более привлекательным прослеживать психологию реальных деятелей, формирование их характеров — как одухотворенная некими идеями энергия вела их по жизни и, с их реальными особенностями, реальными достоинствами и недостатками, приводила их к выдающимся результатам.

В таком освещении великие люди, не теряя своей, возможно, гениальности, становятся ближе нам, а их деяния — понятнее и в какой-то части доступнее для подражания — или отвержения.

Через судьбы конкретных людей, оказывается, гораздо легче понимать исторические сдвиги, зарождение и развитие школ и течений. Только войдя поглубже в биографии археологов, мы начинаем соображать, как многого мы не знали о них — и тем самым о формировании нашей науки.

Материалы для этой книги я накапливал издавна и кое-что публиковал. В основу первых двух частей легла моя статья в Энциклопедии истории археологии Тима Марри (Тимоти Мёррея) (Klejn 2001), некоторые персоналии (биографии) опубликованы там же (Klejn 1999a, 1999b), другие (в кратких версиях) — в немецком и английском изданиях моего «Феномена советской археологии» (Klejn 1997; 2012), кое-что (биографии Мессершмидта, Оленина, Кондакова, Рыбакова, Формозова) — в других местах (Клейн 2005; 2008; 2009a; 2010, 2011б), значительная часть написана заново.

Рукопись этой книги обсуждалась по частям в семинаре Музея истории Петербургского Университета (участники: И. Л. Тихонов, И. В. Тункина, Н. И. Платонова, Н. Н. Жервэ), рукопись также просматривали М. В. Аникович, С. В. Белецкий, С. А. Васильев (Петербург), С. В. Кузьминых (Москва). Некоторые главы читали или иным образом консультировали А. А. Формозов, Д. А. Мачинский (Петербург), П. Ф. Кузнецов (Самара), С. П. Щавелёв (Курск), А. Н. Усачук (Донецк). Всем им я чрезвычайно признателен за советы.

Раздобыть и расшифровать иллюстрации мне помогали и разрешили использовать их И. В. Белозерова, А. Р. Канторович, Н. В. Лопатин, А. Ю. Рошаль-Федорова, В. Н. Свиридов, А. В. Чернецов (Москва), С. П. Щавелёв (Курск), М. А. Аникович, С. В. Воронятов, Н. П. Дьяконов, Т. А. Ершова, А. Г. Корниенко, М. В. Медведева, С. А. Мусин, Н. И. Платонова, И. Л. Тихонов, И. В. Тункина, П. Р. Холошин, О. А. Щеглова (Санкт-Петербург), всем им моя глубокая признательность.

Введение

...и вот, наконец, усталый и голодный,
он вошел в Дремучий Лес, потому что именно там,
в Дремучем Лесу, жила Сова. <...> Прежде чем войти
и осмотреться, неплохо бы сделать несколько
замечаний о том, кто такая Ученая Сова...

Алан Милн. Дао Пуха.

1. Историографическая литература. Общие обзоры по истории российской археологии выходили только в советское время, и только один из них охватывает всю историю — это главы А. В. Арциховского в коллективном труде по истории исторической науки в СССР (Очерки 1955–1988). В основном обзор Арциховского тенденциозен: факты тщательно процежены, дабы соответствовать марксистским и националистическим требованиям государственной идеологии этого времени (подчеркиваются преимущества марксизма перед всеми остальными философиями и методологиями; утверждается кардинальное превосходство советской археологии над дореволюционной; гиперболизируются русские приоритеты на открытия и т. п.).

Остальная историографическая литература резко делится на две части. Одни работы освещают дореволюционное время, другие — советское.

Из первых те, что выходили в советское время (Равдоникас 1930, Худяков 1933), исходя из марксистской догматики, в основном чрезмерно нигилистичны в оценке дореволюционного прошлого. Только некоторые из историографических работ, написанных в советское время (но уже во время хрущевской оттепели и после нее), не выдержаны в сугубо марксистском ключе — это книги А. А. Формозова (1961, 1983, 1986 и др.) — ясные, лаконичные и написанные на основе живой и яркой мысли. Наиболее полный курс историографии (Лебедев 1992), хотя и напечатан после падения советской власти, а сдан в печать в январе 1992 г., создан и читался (как курс лекций) значительно раньше: его отсчет времени и, следовательно, подготовка к печати

заканчивается на 1989 г. (ср. там же, с. 442), а последние ссылки — еще раньше. Курс очень колоритен и интересен, но несколько субъективно изложен и сумбурно организован (см. критику в рец. Клейн 1996).

Наиболее откровенно Формозов и другие авторы смогли высказаться только в постсоветское время. Тут обнаружился большой разброс трактовок. Новейший труд А. Д. Пряхина (2005) компилятивен, и новым в нем является только подлаживание под нынешние струи политической конъюнктуры (но то, что в годы Арциховского было неизбежностью, ныне есть сознательный выбор и пахнет карьеризмом).

Недавно появились четыре солидные и добротные монографии (Тункина 2002; Тихонов 2003; Платонова, 2010б, Смирнов 2011), знаменующие новый этап в историографии археологии — переход к фундаменальному исследованию истории отдельных отраслей и аспектов археологии. Первая из этих книг вдобавок вводит новый подход к историографии — изучение воздействия микросреды, но вторая — сугубо фактографична. Столь же интересна и монография Н. И. Платоновой, подробно освещающая наиболее плодотворный период развития отечественной археологии — вторую половину XIX века и первую треть XX (2010б). По сравнению с этой книгой рамки монографии Смирнова сдвинуты к ранним временам и охватывают дореволюционный имперский период России, в котором автор стремится выявить взаимосвязь археологии с государственной политикой и роль археологических учреждений в ней.

Из освещающих советское время резко критическая книга «Археология в СССР» (Миллер 1954, Miller 1956) написана еще в советское время в условиях свободы (за границей), но не очень компетентно (автор, эмигрант, был провинциалом, и суть споров в «большой науке» от него ускользала). Ей противостоит апологетическая книга с тем же названием, созданная тогда же внутри страны (Монгайт 1956, англ. переводы 1959 и 1961). Она дает не столько историю отрасли, сколько обзор ее состояния в советское время. Две книги, вышедшие позже, также сугубо апологетичны. Одна (Генинг 1982) написана с позиций воинствующего догматизма, другая (Пряхин 1986) — более умеренная, но недалеко ушла от первой и вполне фактографическая. Кроме того ее автор был сугубо озабочен тем, чтобы представить главными действующими фигурами начальственных деятелей в археологии, так что картина оказывается искаженной. Автор этих строк постарался представить более объективное и откровенное (насколько было возможно) изложение — сначала за границей в статьях на английском языке (Klejn 1977 — некоторые разделы, 1982), затем книгой «Феномен

советской археологии» (русск. и испанск. изд. 1993, нем. расширенное 1997, английское 2012).

Формозов выступил в печати с рецензией на мою книгу и одновременно с собственной брошюрой той же направленности (1995а, 1995б). В обеих он противопоставляет моему изложению более суровые оценки деятельности идеологов раннесоветской археологии и требует уделить большее внимание археологам-эмпирикам, создававшим фактуальную базу российской археологии.

Эмоциональное и гневное отношение к участникам разгрома старой русской археологии со стороны тех, кому ее традиции дороги, было естественно сразу же по освобождении от атмосферы террора. Естественно и предпочтение разрушителям-идеологам скромных и работящих эмпириков. Но в разгроме интеллектуальных богатств страны и в левацких загибах участвовали очень разные люди. В атмосфере массового опьянения эгалитарными идеями многие молодые археологи были искренне убеждены, что следуют примеру народных масс и служат трудовому народу. Они (как, например, В. И. Равдоникас, С. П. Толстов) вскоре стали крупными учеными и принесли много пользы науке. Некоторые (например, Ф. В. Кипарисов) не успели сделать такой вклад только потому, что были попросту ликвидированы. Поэтому я всё же остался при своем убеждении, что нужно давать взвешенные оценки всем течениям и группам, а эмпирики при всех заслугах и при всём значении их работы уступали теоретикам в воздействии на формирование направлений, которые создают движение исторической и археологической мысли.

Кроме того, книги Формозова нужно рассматривать в русле более общей тенденции, ярче всего выраженной кинорежиссером Станиславом Говорухиным: «Россия, которую мы потеряли». Это тенденция идеализировать ход развития России до 1913 г. и считать последующее развитие исключительно деградацией и регрессом. Тенденция явно несправедливая: русский царизм в его конкретных проявлениях несомненно тормозил экономическое развитие России и ввязывал Россию в проигрышные войны, к которым Россия была плохо подготовлена из-за косности того же русского царизма. Кроме того, Формозов как историк должен был бы знать, что все империи рано или поздно рушились и XX век был как раз веком крушения многих империй (Турецкой, Австро-Венгерской, Британской, Французской). А царизм жертвовал всем ради имперской идеи. Нужно, однако, признать, что у Формозова было больше оснований, чем у Говорухина, утвердиться в этой тенденции сожаления о прошлом: ведь Формозов

занимался именно консервацией древности, а в этом деле у последующего времени было гораздо меньше успехов, чем у царской России. Но за несомненными потерями и ущербом Формозов отказывался видеть те успехи, пусть и ограниченные, которые делали советскую археологию интересной (хотя бы размах экспедиций, изменение их целей и теоретические новации).

Через несколько лет вышли еще две книги Формозова, развивающие его взгляды в наметившемся направлении (2004; 2005), а только что посмертно — мемуары (2011). В этих книгах Формозов расширил диапазон своего критического обстрела. Он подверг яростной критике не только типичные черты советской научной жизни (давление идеологии на объективные исследования, подчинение науки политической конъюнктуре и т. п.), но и пережитки советского быта в современной науке (примиренчество с научной халтурой и беспринципным карьеризмом, вседозволенность для академических боссов, невежество и падение профессионального уровня и т. п.). Формозов со страстью обличает ультрапатриотические измышления Б. А. Рыбакова, подобные антинаучной позиции М. В. Ломоносова в истории. С той же страстью Формозов не только клеймит откровеных проходимцев (как пример он приводит Е. М. Тимофеева, В. Д. Будько, Г. Н. Матюшина, присоединяет к ним В. Е. Ларичева), но и осуждает аморальные и вредные для науки стороны поведения прославленных ученых — А. П. Окладникова, О. Н. Бадера, Д. Я. Телегина, М. М. Герасимова, А. Я. Брюсова, Е. И. Крупнова и, конечно, Б. А. Рыбакова.

Даже тех, кому он вроде бы симпатизирует, как А. В. Арциховского, Т. С. Пассек, С. В. Киселева, П. П. Ефименко, он описывает часто с горечью и брезгливой презрительностью.

Это несомненно нужные книги — то, что сказал Формозов, давно следовало сказать. Вокруг этих книг Формозова развернулась бурная полемика (см. журнал РА 2006: 3), поскольку лично задеты многие — либо сами, либо их друзья и учителя. Кого-то Формозов упрекнул несправедливо, где-то допустил неточности (зря обругал Я. А. Шера, только отрицательные штрихи находит для П. И. Борисковского, А. Н. Бернштама и В. А. Ранова). Не все его мысли бесспорны, а в оценках можно было проявить больше человечности и понимания. Будут внесены исправления, будет откорректирована оценка отдельных личностей, но в целом горькие размышления Формозова — полезная попытка очистить авгиевы конюшни.

В последние годы появился ряд работ по истории отдельных отраслей советской археологии. Так, скажем, по археологии Прикамья

(Волго-уральский регион) сводка (Оконникова 2002) собирает и упорядочивает факты историографии. Особенно курсов историографии много по сибирской археологии. В работах В. И. Матющенко (1992; 2001) сделаны первые шаги по объективному изложению хода исследований региона (у Формозова к этим работам всё же много резонных претензий). В книгах его ученицы О. С. Свешниковой (2009) и кемеровской исследовательницы Л. Ю. Китовой (2007) дан очень хороший анализ советской археологии — у Китовой по школам и теориям, у Свешниковой — по исследовательским программам и наборам методов.

Замечания о периодизации. В работах В. И. Равдоникаса (1930) и М. Г. Худякова (1933) периодизация истории археологии построена на классовых характеристиках типов археологической деятельности, сменявших друг друга: феодальная археология, буржуазная, пролетарская (марксистская). Ну, в региональной сибирской периодизации и полвека спустя А. И. Мартынов (1983) выделял в «феодально-буржуазной эпохе» изучения своего региона «буржуазно-демократический период» (от первых десятилетий (не самого начала) XIX века до 80-х годов) и «буржуазный период» (с 90-х гг. до 1917 г.), а в последнем три направления: буржуазно-либеральное, буржуазно-демократическое и буржуазно-националистическое. Увлеченность Равдоникаса и Худякова подобными штампами понятна: время было такое. Тогда и бывший князь И. А. Орбели (1931) так писал.

Более поздняя периодизация археолого-историографических глав Арциховского в «Очерках истории исторической науки» под ред. акад. М. Н. Тихомирова (1955–1963) не страдает такой вульгаризацией, но не является самостоятельной, характеризующей именно археологию: Арциховский был вынужден подчиняться общим рамкам и делениям, установленым авторским коллективом под руководством Тихомирова для всей отечественной исторической науки. Впрочем, это не противоречило убеждениям самого Арциховского (ср. Арциховский 1953), поскольку он считал археологию неразрывной частью истории, определяя археологию как «историю, вооруженную лопатой». Для тогдашних марксистских историков же единственно правомерным делением на этапы было восхождение по ступеням социально-экономических формаций. Вопрос был лишь в конкретных датировках — когда эти этапы наступали в России. В этом смысле периодизация Арциховского в принципе не отличается от периодизации Равдоникаса и Худякова; она лишь не столь прямолинейна. Все отрасли социальной жизни

А. А. Формозов

должны были развиваться одинаковыми темпами, одновременно проходя рубежи между стадиями. Такое убеждение было характерно не только для Арциховского, оно проступало и у других археологов (см., например, Пиотровский 1961).

Помню, как-то в споре с Б. Б. Пиотровским я спросил его: «Значит, по-вашему и развитие одежды должно проходить те же этапы, что и всё остальное?» — «Да», — запальчиво ответил он. «Значит, должны быть рабовладельческие шляпы, феодальные шляпы, капиталистические шляпы и так далее», — продолжал я. «Конечно, — отвечал Б. Б. — Так всё и было». — «А где же социалистические шляпы, отличные от капиталистических?» — вопрошал я. «Подождите, — отвечал Б. Б. — Слишком мало времени прошло. Они еще появятся».

Обсуждать здесь эту периодизацию не имеет смысла, поскольку она не специфична для археологии. Первую периодизацию, разработанную именно исходя из специфики археологии, представил А. А. Формозов в период хрущевской оттепели.

У Формозова (1961, 1986) история отечественной археологии делится на периоды, по сути, соответственно изменениям *места археологии среди наук* и *смене ее интересов*: сначала преобладали географические, затем искусствоведческие и, наконец, исторические (но пропущены этнографические). Датировка периодов бесхитростная: 1) допетровская эпоха; 2) XVIII век (начало собирания и описания археологических памятников — тут интересы были географические); 3) первая половина XIX века (изучение античности и славяно-русских древностей — интересы преимущественно искусствоведческие, а в конце эпохи, добавим, этнографические); 4) вторая половина XIX и начало XX века (зарождение первобытной археологии и сложение археологии как единой науки — тут интересы исторические).

В 1982 г. в борьбе против критической ретроспекции, обращенной со стороны нового поколения исследователей (Монгайт 1963, Клейн 1975б: 98–99; 1986; Klejn 1977) на эпоху формирования советской археологии, В. Ф. Генинг выступил с попыткой отстоять пошатнувшиеся устои марксистской догматики в историографии советской археологии. Он построил периодизацию на основе концепции *научных революций* — в его изложении отечественная археология шла от одной научной революции к другой, поднимаясь на всё более высокие уровни, высшим из которых оказалась марксистская советская археология. Критерий периодизации, в его понимании, «должен обладать известной разносторонностью, отражать существеные сдвиги в главных направлениях развития исторической науки». К ним, опираясь на методологию «Очерков истории исторической науки», он отнес: «общую концепцию исторического процесса; связанную с ним исследовательскую проблематику; новые приемы исследования; включение новых источников, кардинальные изменения в организации научной работы» (Генинг 1982: 13).

Как и у историков (и Арциховского) в «Очерках», период становления советской археологии охватил время от послеоктябрьских дней до середины 1930-х гг. Он разделен на два этапа: первый этап — до 1929 г. — связан с формированием на новых организационных началах и собиранием основных научных сил; второй (1930–1934) имел содержанием методологическую перестройку и внедрение социально-экономической проблематики, также и реорганизацию археологических учреждений. С середины 30-х гг. наступил новый период — социологических реконструкций на всё расширяющейся источниковедческой базе. Этот этап уже выходит за рамки данной книги. Рубежи здесь взяты те, которые и все выбирают, а их соотношение и, главное, содержание тех периодов, которые заключены между ними, определены исходной целью автора.

Через четыре года после книги В. Ф. Генинга о первом периоде советской археологии вышла книга А. Д. Пряхина (1986), посвященная тому же периоду. Еще в предшествующей статье (1981) специально о периодизации Пряхин разделял историю советской археологии на три этапа: 1) становление советской археологии и ее утверждение на теоретических позициях марксизма — от октябрьской революции до середины 30-х гг.; 2) реализация принципа историзма в конкретных археологических исследованиях — от середины 30-х до середины 60-х и 3) осознание археологии как специальной отрасли исторической науки. В книге же о первом этапе он спорит с Генингом

относительно разделения первого этапа. Генинг поместил рубеж на 1929 г. (сталинский «год великого перелома»), Пряхин считает более правильным поместить рубеж на середину 20-х гг.: при таком делении социологизация археологии начнется не с ленинградского выступления Равдоникаса, а с деятельности молодых московских археологов, учеников Городцова, в социологическом семинаре Фриче, освоение же археологами марксизма — с выдвижения москвичами «метода восхождения». Весь период удобно (хотя и приблизительно) распался на десятилетия: первое десятилетие, второе десятилетие.

Через несколько лет Генинг (1988) в работе «Проблемные ситуации и научные революции в археологии» предложил уточнение и методологическое обоснование своего принципа периодизации. «В развитии науки, — пишет он, — выделяются определенные качественно различающиеся периоды, переходы между которыми составляют научные революции...» Научная революция заключается в «изменении оснований науки», а именно: принципов фундаментальной теории и методологических установок — об объекте познания, методах исследования и знании, «каким должен быть конечный результат исследования» (Генинг 1992: 4).

В 1887 в статье и в 1992 г. в совместной с Левченко брошюре Генинг (1987, 1992) расширил свою схему на всю историю археологии, распространив ее не только на отечественную археологию, но и на мировую. По его схеме, археология проходит в своем развитии три этапа: 1) археология древностей (или «классическое направление») — с конца XVIII века до 70-х гг. XIX (имеется в виду, что археология обозначала науку обо всяких древностях — и письменных, и фольклорных, и вещественных, была не выделена из такого древлеведения); 2) культурархеология — до 30-х — 60-х гг. XX века (археология была наукой об археологических культурах); 3) социоархеология (с 30-х гг. в СССР, с 60-х в западном мире археология стала наукой о социальных системах, изучающей историю конкретных обществ, особенно их хозяйство и общественный строй на основе вещественных остатков). По Генингу, «В любом регионе история развития археологического знания проходит одни и те же качественные периоды, которые повторяют историю развития науки в целом». Различаются только даты рубежей — где-то они наступают раньше, где-то позже (Генинг 1992: 8).

Что касается «археологии древностей», то, во-первых, не стоит путать значение термина с понятием интересующей нас науки, а во-вторых, неясно, стоит ли включать в периодизацию археологии пери-

с деятельности эволюционистов, но как раз их интерес не был нацелен на культуры, а больше на общие закономерности эволюции. Отнюдь не все современные западные археологи ориентированы на изучение социальных систем, да и в советской археологии больше внимания уделялось этнической стороне находок. Словом, схема Генинга не держится.

Парадоксально и примечательно, что автор, столь рьяно отстаивавший марксисткие догмы, отказался считать Октябрьскую революцию основным рубежом в истории археологии, переместив его на сталинское время (и оставив приоритет за ленинградскими радикалами).

Еще радикальнее решают этот вопрос М. В. Аникович (1990) и Г. С. Лебедев (1990/1993). Оба начинают новый, марксистский этап археологии не с 1917 г., а с конца 1920-х — начала 1930-х, точнее с 1929 г.

Через десять лет после книги Генинга появилась гораздо более полная и живо, как у Формозова, написанная книга Г. С. Лебедева, выгодно отличающаяся от сухих книг Генинга и Пряхина. Вышедшая уже после падения советской власти, но сделанная, конечно, раньше (в ней последняя сноска — на издание 1990 г., а вся литература до 1988), книга эта тем не менее уже не считается с марксистской догматикой. Но, подобно Генингу, Лебедев (1992, 1993) постулировал постоянный и скачкообразный подъем отечественной археологии.

Г. С. Лебедев

Лебедев считал, что в российской археологии происходила смена парадигм (понятие взято у Т. Куна), определявших методологический характер занятий материальными древностями. Это были парадигмы антикварианистская, энциклопедическая, художественно-прикладная, бытописательская (заменявшая, по его мнению, в России эволюционистскую), этнологическая, системно-экологическая. Он полагал, что это был связный, целенаправленный и прогрессивный ход истории, а имена своим периодам он большей частью присваивал по ведущим археологам, так как придавал

1) до 1700 г. — зарождение археологических приемов исследования и генезис исторического самосознания в средневековой культуре Руси; далее 2) «период ученых путешествий» 1700–1825 гг.; 3) «оленинский период» с формированием первых научных центров 1825–1846 гг.; 3) «уваровский период» 1846–1884 гг., причем становление научных центров проходило в 1846–1871 гг.; 4) «постуваровский период» 1871–1899 гг., когда лидером был Анучин; 5) «спицынско-городцовский период» 1899–1918 гг.

Очерк истории советской археологии в книге Лебедева дан только в заключении, в качестве довеска, и кое-где (раздел 4) повторяет дословно мой текст из нашей совместной публикации в английской статье, послужившей основой для моего «Феномена» (Bulkin, Klejn & Lebedev 1882), но как раз в вопросе периодизации есть и оригинальная обработка Лебедева. Он различает такие периоды советской археологии: 1) преобразование организационых структур с 1919 г.; 2) становление системы археологического образования и ее деформация под влиянием политизирующих факторов (1922–1934, причем в подпериоде 1929–1934 гг. происходило утверждение «теории стадиальности»); 4) период дифференциации подходов (1956–1986).

В рецензии на труд Лебедева я критиковал увлечение Лебедева модной концепией «парадигм» Куна, утверждая, что она не подходит к характеристике развития нашей археологии, ибо методологические концепции не столько сменяли друг друга сколько сосуществовали и конкурировали (Клейн 1995а), и И. В. Тункина (2001: 314) признала мою критику резонной.

Формозов (1994), рассмотрев критически периодизацию Лебедева, Матющенко и Генинга, противопоставил им новую (1994; 1995б), построенную на учете *функций и организованности* отечественной археологии. За донаучным периодом у него следуют академический (XVIII век), романтический период дворянского дилетантизма (первая половина XIX века), затем период создания организаций (еще два десятилетия) и период классификации древностей страны (1880-е — 1917). Здесь у Формозова ощущается некоторая сбивчивость критерия деления: академический период назван по ведущей организации, следующий — по характеристике основных участников и т. д.

А далее в формозовский критерий деления вторглись *социально-политические факторы* — советское время у него делится на периоды: революционной разрухи (1917–1921), передышки в пору НЭПа (1921–1928), разгрома старой археологии (1929–1933), предвоенной централизации и восстановления национальной

ориентированности (1934–1941). Затем после периода военных бедствий (1941–1945) продолжается сталинский тоталитаризм до хрущевской оттепели. Переломным моментом к новому периоду послужил XX съезд партии (1956 г.), после которого в археологии началось несколько более либеральное развитие, но Рыбаков проводил линию, предписанную партийной властью. Его правление Формозов обозначает одним словом: «Распад». Он считает, что его воздействие на археологию было сильным в первую половину его срока, а с середины 70-х уже ощущалась децентрализация. Новая эпоха началась в 90-е гг. В общем, в этой работе у Формозова периодизация советской археологии строится иначе, чем дореволюционной — скорее на основании того, как жилось и работалось археологам. Это периодизация быта и жизненной ситуации археологов. И, конечно, это не суть и не содержание археологической науки, но в этом сдвиге формозовских интересов имеется рациональное зерно.

Хоть в развитии археологии и есть внутренняя логика и связность (каждый этап в большой мере исходит из предыдущих), но, как мне представляется, развитие археологии в гораздо большей степени, по крайней мере в России, определялось внеархеологическими факторами — общей ситуацией в стране. Она определяла *атмосферу* в археологии — отношение общества к древностям и к самой этой науке, требования к ней и ожидания от нее. Именно в этой атмосфере происходили наиболее радикальные переломы, воздействовавшие на облик и состояние археологии. Археология — не аполитичная наука, как физика, химия или биология. Археология вроде и не связана непосредственно с политикой, но через историю непрестанно используется политикой — в вопросах этнических, религиозных и территориальных отношений и во многом другом. Так что атмосфера в археологии зависит от политики.

Это дает опорные пункты для периодизации — как бы рамки для существования археологии в обществе, во многом определявшие ее содержание в каждом периоде. Взяв за начало того или иного периода археологии какие-то решающие события истории всего общества (вовсе не обязательно в социально-экономической сфере), не надо ожидать, что после такого события всё в археологии немедленно должно измениться. Нет, дата такого события принимается за исходную потому, что вскоре после этого события и *вследствие него* важные изменения в археологии начинали появляться и постепенно накапливаться, пока не изменяли весь облик отрасли. Иной раз и в чем-то — быстро, иной раз — с запозданием. Уловить же и точно локализовать тот порог, за которым саму отрасль можно считать кардинально изменившейся,

обычно трудно и зачастую невозможно, а если это и делается, то сугубо условно. Поэтому лучше брать за начало отсчета то событие в обществе, от которого развитие данного этапа начинается.

В своем «Феномене советской археологии» (1993) я делил ее историю на следующие периоды: 1) первое десятилетие — неурядица, организационная ломка и перестройка, связанные с революцией и гражданской войной при оставлении старых методологических принципов; 2) «революция в археологии» — имелась в виду не научная революция, а коренная ломка под флагом революции и перестройка методологических принципов, охватившая десятилетие с середины 20-х до середины 30-х; 3) «археология сталинской державы» — следующие два десятилетия, до середины 50-х; 4) «оттепель в археологии» — следующее десятилетие; 5) «археология разрядки и застоя» — этот период затянулся на два десятилетия; 6) последний период я тогда озаглавил «конец века» и начинал его с горбачевской «перестройки» (середина 80-х), не предвидя, что вскоре наступит конец советской власти, и это даст более ощутимый рубеж.

В своей большой статье об истории российской археологии для американской археологической энциклопедии Тимоти Мёррея (Klejn 2001) я развернул эту периодизацию также на дореволюционную археологию и проставил точные даты. Там периодизация выглядела так: 1) традиционализм и небрежение в допетровской Руси; 2) царский антикварианизм (1696–1762); 3) сентиментальное освоение классического наследия (1762–1812); 4) романтическое и патриотическое прозрение (1812–1855); 5) кристаллизация археологии в эпоху Великих реформ (1855–1881); 6) выделение археологии в особую науку (1881–1917). Далее следуют советские периоды: 1) катастрофа и смена структур (1917–1924); 2) революция в археологии: Московский порыв (переведено неудачно: Muscovian control) 1924–1929; 3) революция в археологии: Ленинградская кампания 1930–1934; 8) советская археология в услужении сталинской державы (1934–1956); 9) советская археология: от оттепели через заморозки к застою (1956–1991); 10) с 1991 г. начинался последний период — русская археология в борьбе за выживание.

Тут явно напрашивается объединение периодов второго с третьим и восьмого с девятым (они и озаглавлены схоже) — это, собственно, подпериоды двух периодов. Кроме того, я всё больше склоняюсь к тому, чтобы не обозначать точные рубежи в календарных годах. Во-первых, основные события, послужившие вехами, произошли всё же в другой сфере, и сама наука не сразу начинала реагировать; во-вторых,

кроме основных событий, принимаемых за исходные, сказывались и другие, не обязательно совпадающие с теми календарно. Поэтому разумнее, по крайней мере для периодов ранних и более протяженных, определять рубежи периодов более расплывчато.

Продумывая периодизацию, нужно учесть и другие работы, посвященные важным отраслям археологии. Конечно, развитие таких отраслей могло иметь особые вехи, не общезначимые. Но всё же их нужно учесть, так как часто на эти отрасли распространялась общая периодизация.

Обратимся к региональным периодизациям.

Одновременно с работой В. Ф. Генинга и В. Н. Левченко (в том же 1992 г.) вышла региональная историография сибирской археологии. Автор, В. И. Матющенко, оспаривает решение Генинга (1982), Прямхина и других историографов «расчленять историю науки на основании больших исторических событий. Великая Октябрьская Социалистическая революция была крупнейшим политическим событием мировой истории, но вряд ли оно качественно изменило существо науки, в том числе и археологии, хотя в советской историографии оно рассматривается как поворотное и в истории археологии» (Матющенко 1992: 6). Матющенко считает, что «в истории сибирской археологии первые 15–17 лет после Октября не произошло каких-то качественных изменений характера исследований с новой методологической ориентацией» (1992: 91). Этап 1920-х — нач. 1930-х гг. в истории отечественной и сибирской археологии «является логическим завершением всей истории отечественной археологии» (1992: 6), и только с конца 1930-х гг. начинается качественно отличный этап развития нашей науки. Тут ленинградские радикалы устранены от основания советской археологии и новый этап начинается по сути с нормализации на консервативно-государственых началах.

Вместе с тем Матющенко признает, что «Октябрьская социалистическая революция и гражданская война оказали серьезнейшее воздействие на организацию исторической и археологической науки, на содержание и целевые установки исследователей, на подготовку кадров, на отношение к методологическим установкам и т. д.» (1992: 90). Признавая, что в Сибири в первое время дольше сохранялись дореволюционные традиции, поскольку и до и после революции там археологией занималось Географическое общество, Формозов решительно отвергает это положение применительно ко всей России: все мало-мальски важные старые археологические институции были сразу же после революции сломаны, началась реорганизация всего и вся.

Три другие из упомянутых региональных историографий охватывают только советское время. В работе о камской археологической историографии (Оконникова 2002) вопрос периодизации решается просто: путем сведения воедино периодизаций Генинга и Лебедева. Близость рубежей и общее движение к прогрессу считается доказательством адекватности. В книге Китовой (2007) выбран отрезок 1920–30-х гг., причем 20-е гг. рассматриваются как формирование исследовательских центров в Сибири и подъем краеведческого движения, а 30-е — как подавление этого движения, разгром многих центров и навязывание вульгарного марксизма археологам. В книге Свешниковой (2009) охвачен период 1920–50-х гг., то есть археологии сталинского времени, потому что исследовательница рассматривает теории и методы, характерные для всего этого времени, как некий комплекс.

Оставим региональные периодизации и рассмотрим отраслевые периодизации по проблемно-тематическому членению. Работы И. В. Тункиной и И. Л. Тихонова посвящены отдельным общим для страны и мира отраслям отечественной археологии (античной и университетской).

В работе Тункиной (2002), ориентированной на историю классической археологии, нет четких периодов, а есть взаимоналагающиеся этапы развития. Вехами в смене ситуаций являются 1724/25, 1803, 1838/39, 1859/61 гг. В 1725 г. была создана петровская Академия наук и в страну приехали знатоки классических древностей. В 1803 г. возникло Черноморское депо карт, а при нем сформировался кабинет редкостей, в который стали попадать древности; вскоре возниклии другие южные музеи. В 1839 г. образовалось Одесское общество истории и древностей, а при нем тоже возник музей. В 1859 г. сформирована Археологическая комиссия. Большей частью эти вехи были не столь важны для первобытной или славянской археологии.

Тихонов (2003), рассматривая историю археологии в Петербургском университете, начинает ее также с 1724 г., поскольку университет был создан сразу же при Академии наук. Следующий период Тихонов начинает с 1880-х и доводит его до 1919 г. Именно в этом году началась ломка университетских структур, в рамках которых размещалось преподавание археологии, а следующий период в книге начинается с 1936 г., когда была создана кафедра археологии в ее нынешнем строении. С 1936 до 2000-х гг. Тихонов прослеживает развитие университетской археологии в подчинении у истории. Эти основные периоды разбиты на более дробные в других работах Тихонова. Тут совершенно очевидно вехами служат события в одном

из университетских центров (правда, в очень влиятельном), тогда как значительная часть истории археологии в России проходила вне университетов.

Прихожу к выводу, что для общей периодизации данные работы по историографии отраслей нужно оставить в стороне, хотя они лишь поддерживают впечатление, что точные рубежи периодов не очень хорошо держатся, что нужно определять рубежи более расплывчато, ибо на периодизацию влияли многие факторы.

3. Три аспекта историографии. Еще важнее другое обстоятельство. Нарезав эти периоды, мы определяем лишь общую канву развития археологии — характер отношения общества к древностям, понимание предмета и задач археологии, ее организационную структуру и т. п. Обычно по этим рубежам рассматривается и смена археологических концепций — ее приравнивают к смене парадигм. Однако я уже отмечал, что в археологии, особенно ближе к современности, развитие не шло как смена парадигм. Возникновение, сложение и развитие теоретических концепций археологии, ее стилей мышления, характера интерпретации материалов могло и не совпадать с периодами ее формирования обществом. Соответственно, не совпадало и определенное этими концепциями формирование научных школ.

С моей точки зрения (Клейн 1995б), смена концепций в археологии, в частности в России, далеко не всегда была резкой, они нередко сосуществовали и боролись. Та или иная концепция то опережала период, которому она, казалось бы, более всего соответствовала, то появлялась с запозданием, а то и существовала в течение ряда периодов. Кроме того, обычно существовали и конкурировали несколько концепций одновременно. Поэтому движение археологической мысли стоит рассмотреть отдельно от смены социальной обстановки и организационных структур археологии.

Есть еще и третий аспект историографии — перечень и жизнеописание личностей. Как правило, историографы дают их в контексте всей истории науки; при этом приходится сминать и расчленять биографии ученых, привязывая отдельные части к разным периодам (так они выглядят в книгах Лебедева, Тункиной, Тихонова). Обычно каждое жизнеописание либо разбивается на отдельные эпизоды, подчиняясь общим смысловым задачам изложения истории всей науки, и таким образом размазывается по всему изложению, либо выделяется в отдельные включения, разрывая изложение концепции или периода.

Страдает либо логика биографии, либо логика историографии. К тому же вписывая эти жизнеописания по возможности органично в ход истории, мы вольно или невольно придаем им решающее значение в истории науки, оттесняя на задний план социальные и прочие факторы. Значение биографий подчеркнуто у Лебедева тем, что разделы истории науки у него названы именами ведущих археологов.

Коль скоро намечено рассмотреть отдельно историю концепций, логично выделить в самостоятельную часть книги и жизнеописания основных деятелей отечественной археологии.

Сначала рассмотрим смены социальной обстановки и организационных структур археологии (в чем и можно наметить периодизацию), затем проследим движение археологической мысли (это будет обзор смены и конкуренции концепций, учений и школ, здесь периодизация не очень уместна), а уж на этом фоне можно будет представить биографии наиболее примечательных археологов, которые представляют собой самостоятельный сектор истории науки.

В некоторых книгах (Монгайт 1956; Генинг 1982; Генинг и Левченко 1992) в качестве приложения фигурируют биографические словари — краткие биографические справки об упоминаемых археологах в алфавитном порядке. А нужны более развернутые биографии вроде работ Д. Н. Анучина (1950). Я уже имел случай представить выделенные в особые главы пространные биографии археологов — советских (в немецком и английском изданиях «Феномена», 1997) и дореволюционных (в американской археологической энциклопедии Тима Марри, 2001), а также отдельными статьями (биографии Г. Миллера, Оленина, Кондакова, Рыбакова, Формозова). Теперь я хочу представить такие биографии как отдельный и, пожалуй, основной раздел истории науки.

Таким образом читателю придется проследить ход развития науки трижды — сначала по этапам ее изменяющейся общей атмосферы и ситуации, затем по ходу борьбы основных концепций и, наконец, по жизнеописаниям основных героев.

Я понимаю, что это несколько необычное представление истории науки, и оно связано с неизбежностью повторов (ясно, скажем, что личности приходится упоминать во всех разделах). Но у такого подхода есть свои преимущества: взаимоналожение течений не нарушит членение истории на этапы; выделив, можно полнее рассмотреть каждую проблему; выделение персоналий в самостоятельный раздел превратит его из чего-то вроде справочного приложения в основу книги, сделав ее историей археологии в лицах.

Часть I

Российское общество и знание о древностях в исторической перспективе

Это история тех, кого принято считать крупными историческими фигурами <...>; в то же время это история великих событий, история конъюнктуры и кризисов, наконец, это также история общественных масс и структур, претерпевающих медленную эволюцию в лоне длительной временной протяженности.

Фернан Бродель. Динамика капитализма.

1. Традиционализм и небрежение. Отношение к древностям в допетровской Руси (до руб. XVIII в., т. е. примерно до 1700 г.). Татаро-монгольское иго задержало развитие России, оторвав ее на время от Европы. В России не было не только Крестовых походов и инквизиции, но не было ни Возрождения, ни Реформации. Поэтому долго не было в ней и характерного для остальной Европы *антикварианизма*, то есть того увлечения античными древностями и коллекционирования их, которое послужило подосновой археологии, — не было вплоть до петровской европеизации (Жук 1990). Да и не было до конца XVIII в. и собственных античных древностей. Они появились только с присоединением Новороссии. Отечественные же памятники не считались ценными, как, впрочем, и в остальной Европе.

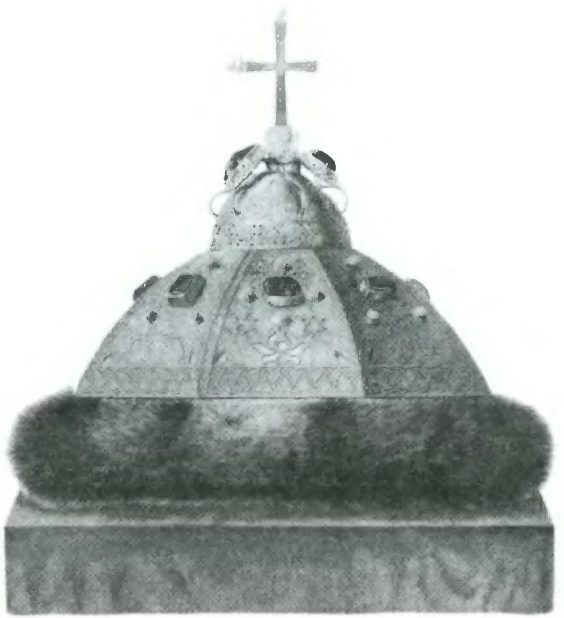
Некоторые виды древностей почитались, но отнюдь не из любознательности или исходя из симпатий к древней культуре. В одних случаях почитание было вызвано тем, что древностям придавали *сакральное значение*. Это были официальные церковные святыни или нецерковные культовые объекты, связанные с суевериями, — амулеты, каменные идолы. Всё это — так сказать, «сакральная археология». Примеры церковных святынь — древние церкви, иконы, мощи святых. В этих случаях проявлялось даже особенное уважение именно к греческой культуре, но не к языческой, как на Западе, а к христианской: ведь для России греческая цивилизация Византии была источником православной религии. Издавна на Руси переводились греческие

нечто из классического наследия — философия (Аристотель), элементы каменного зодчества, живописи (фрески, иконы).

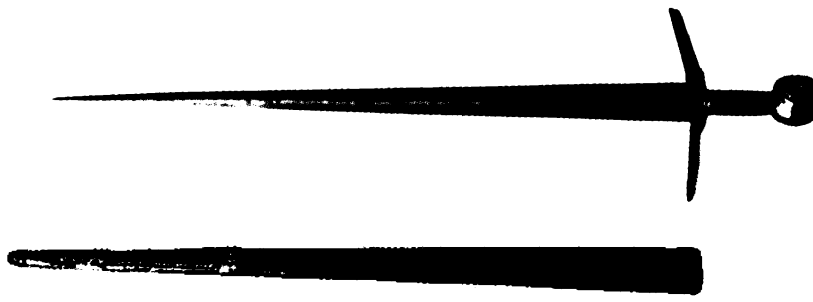
В других случаях древности почитались как *инсигнии власти* или атрибуты властителей и героев. Такова «шапка Мономаха», которой короновались русские цари (ей приписывалось византийское происхождение, хотя на деле она была изготовлена восточными мастерами — Казанского ханства). В Пскове хранился и почитался меч литовского князя Довмонта, защитившего город. Это была, так сказать, «клейнодная» археология (от слова «клейнод» — вещественная инсигния власти, символ престижа), частью аристократическая, частью государственная.

Из суеверия же почитались «громовые» стрелки и топоры, петроглифы, «каменные бабы». В «Кормчих книгах» XIII в. громовые стрелки и топоры клеймятся как «богомерзкие», даже если и изгоняют бесов. Это была, так сказать, «народная археология».

Конечно, и церковные святыни, и вещи властителей обычно были сделаны из драгоценных материалов (или оправлены в них) лучшими мастерами, заботливо украшены и представляли собой просто материальные ценности. В церквях они хранились в ризницах.



Шапка Мономаха



Меч Довмонта

В Кремле для хранения таких сокровищ царской семьи и государства была создана Оружейная Палата (впервые упоминается в документах под 1504 г., существует до сих пор — как музей). Однако на оценке сокровищ сказывалась и древность: как в отношении церковных святынь, так и в отношении инсигний власти возраст придавал вещи больший авторитет, ибо связывал ее с традицией, а в обществе, где многое строилось на традиции, это было важно для упрочения веры и государственной власти.

Впрочем, подобное почитание некоторых видов древностей было во всех странах Средневековья. Это еще не антикварианизм.

Большинство же древностей никаким почитанием не пользовалось. К ним внимание было *утилитарное*, а оно далеко не всегда благоприятно для памятников. В отдельных случаях античные геммы (разумеется, без опознания их античного происхождения) использовались как печати — оттиски с таких княжеских печатей есть на грамотах 1484, 1507 и 1562 гг. Геммы, видимо, проникли в Россию от западноевропейских знатных коллекционеров. Городища и особенно курганы упоминались в хрониках и географических сочинениях как ориентиры (например, в «Книге Большому Чертежу» 1627 г.).

В городищах рылись для добывания селитры (в 1630 г. на то был специальный указ царя), а курганы просто грабили: раз могилы нехристианские, чего их жалеть? В Сибири существовали специальные артели «бугровщиков» («буграми» там называли курганы). Это тоже была разновидность «народной археологии». Памятники гибли массами (Вадецкая 1971; Курочкин 1995). Голландец Витсен, посетивший Россию при Петре, т. е. в самом начале следующего периода, столкнувшись с разграблением древних могил и переплавкой драгоценностей оттуда, записал: «Русские не любят древностей» (Формозов 1961: 24; Лебедев 1992: 25–26).

Если в Западной Европе коллекционирование классических древностей началось в эпоху Возрождения, и даже массовое увлечение этим в Италии было уже в конце XV в., в Англии — в XVI в., во Франции — в XVII, то в России до начала XVIII в. не было ничего похожего на антикварианизм.

Впрочем, с практической целью проводились иногда раскопки сакральных древностей. В XV в. во Пскове раскопали церковь Св. Власия, дабы найти место древнего престола для восстановления храма. В XVI в. для разрешения споров о земельных владениях в Гороховской волости организовали своего рода «археологическую экспедицию»: «и по тем починкам велели судным мужем копати — печищь искати, и печища по тем починкам есть» (Воронин 1948). Но вот и случай раскопок ради любознательности: когда под Воронежем (вероятно, в районе Костенок) были обнаружены «кости волота» (великана), т. е., видимо, мамонта, туда отправили царскую грамоту с наказом «раскопать и сделать всему роспись и чертеж» (Замятнин 1950). Это было в 1679 г., за три года до воцарения малолетнего Петра I. Но царем в это время был его старший брат Федор, который, по мнению ряда историков, и был истинным родоначальником петровских реформ.

2. Царский антикварианизм (от рубежа XVII — XVIII вв. до начала 60-х гг. XVIII в.). В последние годы XVII в. Петр I отправил в европейские государства «великое посольство», с которым поехал и сам анонимно, под видом «урядника Преображенского полка Петра Михайлова». Вернувшись в Москву в 1698 г., он, следуя примеру своего старшего брата Федора, царствовавшего недолго, начал реформы всей жизни страны по европейским образцам, предоставив больше места буржуазии, но и укрепив самодержавие, бюрократию и крепостное право. Стало насаждаться европейское Просвещение, во множестве приглашались на работу западные ученые. Распространение *антикварианизма* в России связано с просвещенным абсолютизмом.

На голландской гравюре 1700 г. Петр показан осматривающим экспонаты в музее Якоба Вильде в Амстердаме. Вернувшись в Россию, он велел отовсюду присылать ему древние монеты и другие находки, а также всякие курьезы и раритеты. В 1707 г. ему прислали клад восточных монет из Киева. В 1715 уральский промышленник Демидов принес в дар его супруге Екатерине коллекцию золотых изделий из курганов. В следующем году такую же коллекцию прислал князь Гагарин из Сибири (Завитухина 1977). Всё это было отобрано

Вещи из Сибирской коллекции Петра I

у «бугровщиков». Этим было положено начало знаменитой Сибирской коллекции Петра I (Руденко 1962), состоящей из скифских и сарматских золотых украшений (ныне в Эрмитаже).

В 1714 г. Петр создает Кунсткамеру в новооснованной столице, Петербурге, и специальным указом велит присылать в это учреждение «всё, что зело старо и необыкновенно», а в следующем году его агент приобретает для него в Риме «статую мраморного Венус» (Афродиты), названную потом Венерой Таврической (так как до поступления в Эрмитаж она помещалась в Таврическом дворце). В 1721 г. последовал указ присылать «куриозные вещи, которые находятся в Сибири». В 1722 г. Петр распорядился укрепить (реставрировать) обветшавшие строения древнего города Болгара на Волге. В 1727 г. он запретил вылазки «бугровщиков». Таким образом, с самого начала были

Голландская гравюра 1700 г. с оригинала И. Мушерона:
Петр I осматривает музей Вильде в Амстердаме в 1698 г.

Венера Таврическая

проявлены интересы во многих основных направлениях антикварианизма: поиски и скупка древностей, коллекционирование их, организация музея, реставрация памятников, кое-что по их охране.

Петровское увлечение древностями как раритетами, несомненно, носило антикварианистский характер. Антикварианизм пришел в Россию на два с половиной века позже, чем в Италию, на два века позже, чем в Англию и Францию, на век — чем в Центральную Европу, но принял здесь те же формы, что и там. Древности коллекционировали, пытались связать их наобум со славными в древности народами, известными по хроникам. Методологические идеи не выходили за круг обычных для антикварианизма — коллеционирование, описание, классификация и по возможности рациональное объяснение.

Началась и экспедиционная деятельность. Еще при жизни Петра организуются «*ученые путешествия*» в Сибирь. В 1719 г. туда послан немец-натуралист Д. Г. Мессершмидт. Семь лет он там изучает природные богатства и народные ремесла вместе с пленным шведом И. Страленбергом, а кроме того, покупает и собирает древности. Произвел он и раскопки одного кургана (Кызласов 1962, 1983; Новлянская 1970; Мартынов 1983: 33–37). Это были не первые раскопки курганов в России, мотивированные научной любознательностью: в 1710 г. пастор Толле раскопал курган близ Старой Ладоги, который, по его мнению, принадлежал «готам» (Лебедев 1992: 53).

В основном экспедиции развертываются уже после смерти Петра, и организует их запланированная им, но открытая уже после его смерти Академия наук, состоявшая в значительной части из немцев. В это время снаряжается Вторая Камчатская (или Великая Северная) экспедиция (1733–1743) под общим руководством датчанина Юстуса

Беринга, который в ней и погиб, открыв Берингов пролив между Азией и Америкой. Археологические работы в рамках этой экспедиции проводили наряду с прочей деятельностью немцы Герард Фридрих Миллер и Иоганн Гмелин. Миллер раскапывал курганы под Усть-Каменогорском (Радлов 1894: 107–114; Мартынов 1983: 37–48).

В 1734 и 1737 гг. Академия наук распространила по России анкеты, составленные историком и географом Василием Татищевым (Гурвич 1956). В этих географических анкетах (первая из 92 вопросов, вторая — из 198) Татищев предлагал описывать и древние руины, каменные изваяния, особенно с надписями. Миллер в 1740 г. составил для своего преемника рукописную инструкцию, в которой советовал ему, как вести географические, этнографические и прочие наблюдения, а в археологической части, состоящей из 100 пунктов, он подробно изложил приемы описания и графической фиксации.

Археология в это время не была выделена из общей любознательности к курьезам всякого рода, вещественные древности не отделялись от других как предметы изучения и коллекционирования, а входили в энциклопедический круг интересов образованного общества наряду с прочими курьезами и раритетами. Термин же «археология» покрывал изучение всех древностей — и летописей, и сочинений древних авторов, и древние монеты. Профессионально занимались ими ученые в рамках географического изучения, регистрируя и описывая их наряду с прочими достопримечательностями края. Энциклопедические интересы побуждали рассматривать древности в плане общенаучной любознательности, не выключая их из круга достопримечательностей данной местности. Неслучайно деятельность эта (ученые путешествия) протекала главным образом в новооткрытых и новоосвоенных землях — в Сибири, на Урале, на Северо-Западе России — словом, на окраинах России. Татищевская инструкция составлялась для геодезистов. Ломоносов прямо называл изучение древностей частью географии, землеописания. Археология была частью географического освоения богатств и достопримечательностей страны и вместе с географией — частью энциклопедической образованности века Просвещения.

Ученые путешествия, в которых древности были одним из объектов регистрации, предпринимались и в других странах.

Отличий у России в этом деле было два.

Первое — что интерес был первоначально обращен к древностям Сибири, т. е. не античным, а, можно сказать, колониальным, и поэтому еще теснее связан с этнографическими интересами (подобно

европейским путешествиям в Америку). Интерес же к античным древностям приобрел практический характер только на втором этапе антикварианизма, когда у России появились причерноморские территории. А собственно русские древности привлекли внимание лишь в третью очередь.

Второе отличие состоит в том, что если на Западе увлечение античностью и коллекционирование антиквитетов было стихийным, исходило от монахов и изредка купцов и лишь затем захватило властителей (пап и королей) и аристократию, то в России оно распространялось сверху, административно, как один из аспектов западного образа жизни.

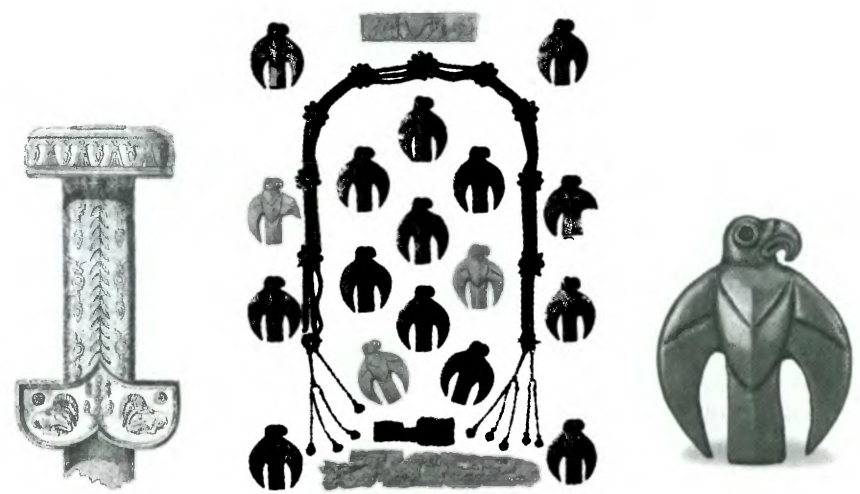
3. Сентиментальное освоение классического наследия (60-е гг. XVIII в. — начало XIX в.). За два года до издания «Истории искусств древности» И. И. Винкельмана, в 1762 г., воцарилась на русском престоле Екатерина II. Урожденная немка, она получила воспитание в духе французского Просвещения, переписывалась с энциклопедистами и Вольтером. Характерный для них культ гражданских идеалов был связан с интересом к античности, вдохновлял эстетику *неоклассицизма* и был приправлен модной чувствительностью. Закупка классических древностей на Западе возросла, а в 1768 г. (через год после гибели Винкельмана) был открыт построенный возле Зимнего дворца Эрмитаж — специально для царских коллекций античного искусства и европейской живописи Ренессанса. Если в петровской Кунсткамере, вопреки ее названию, вместе с предметами искусства и древностями хранились всякого рода «куриозы» (заспиртованные уроды и редкие минералы), то новое здание было заполнено именно древностями, причем преимущественно как раз предметами классического искусства.

Собрание античных гемм Екатерины II насчитывало 10 тысяч камней — ныне это больше половины всей коллекции гемм Эрмитажа. Императрица подбирала их, руководствуясь исключительно своим вкусом и ради любования: «Одному Богу известно, сколько радости дается ежедневным общением со всем этим», — писала она (Формозов 1961: 113).

Победоносные войны 1768–1774 и 1787–1791 гг. с Турцией завершились Ясским миром, по которому Россия получила причерноморское побережье (Новороссия) и часть Крыма. А с этой территорией в ее состав вошли места древних греческих колоний — у России появилась «своя античность».

Античные геммы из собрания Екатерины II

В первые годы нового периода еще продолжались и работы старого типа. В 1763 г. генерал А. П. Мельгунов раскопал на Украине курган Литая Могила, раскопал с изрядной по тому времени фиксацией, но на нее долгое время не обращали внимания, и раскопанные вещи из этого кургана вошли в науку под названием «Мельгуновского клада». Новым было то, что этот «клад» золота был раскопан не в Сибири, а на Украине. В 1768–1774 гг. в Сибирь и на Урал еще направлялись новые «ученые путешествия», в зону обследования на Востоке страны вошли Поволжье и Приуралье. Это экспедиции П. Палласа, И. Георги, И. И. Лепехина, П. И. Рычкова и его сына капитана Н. П. Рычкова. Обследовались курганы, развалины городов (Биляр), древние рудники, «каменые бабы».



Вещи из «Мельгуновского клада»

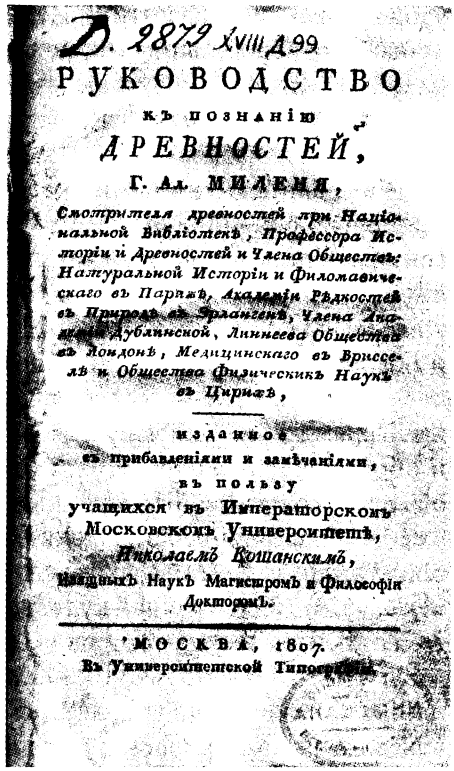
Но после 1774 г. интерес уже в основном переместился на крайний Юг, на освоение новых земель империи, связанных с классическим прошлым. Академик П. С. Паллас отправлялся не только в Сибирь и на Урал, но и в Крым и на Тамань. В 1799 и 1802 гг. Павел Сумароков ездил по Крыму и свои наблюдения и впечатления изложил в книгах; во второй из них, «Досуги Крымского судьи или второе путешествие по Тавриде» (1803–1805), восторгается руинами античности. Еще более погружен в «золотой век» классической древности другой сентиментальный путешественник — Иван Муравьев-Апостол, герой войны 1812 г., ездивший по Крыму в 1820 г. (Формозов 1961: 46–48; 1974). Он опубликовал свое «Путешествие в Тавриду» в 1823 г., но его восприятие полностью сформировано периодом сентиментального освоения классического наследия. Оба, однако, не только восторгались. Сумароков идентифицировал с Керчью древний Пантикапей, Муравьев-Апостол заказал снять план Ольвии (опознанной еще Палласом).

За раскопками Мельгунова последовали полуграбительские раскопки других генералов в Причерноморье. Все они копали без фиксации, искали древнее золото, но не брезговали и серебряными монетами, а также керамикой — вазами с росписями. В 1803 г. офицеры создали музей в Николаеве, в 1811 г. возник музей в Феодосии (эта сеть музеев расширялась и далее: в 1825 г. — музей в Одессе, в 1826 г. — в Керчи). В 1804 г. в Москве при Университете было основано «Общество истории и древностей Российских».

Мы тщетно стали бы искать в русской ученой литературе этого времени отзвуки идей Винкельмана о смене стилей, но его возведение античности в эстетический идеал, воплощенное в практике неоклассицизма, затронуло и Россию. «Всё делалось а л'антик... — писал о времени 1804–1805 гг. Ф. Ф. Вигель (1928: 178; Формозов 1961: 43). — Везде показались алебастровые вазы с иссеченными мифическими изображениями, курильницы и столики в виде треножников, курульские кресла, длинные кушетки, где руки опирались на орлов, грифонов или сфинксов».

В начале XIX в. появились два переводных руководства: французское «Руководство к изучению древностей» О.-Л. Милена (имелись в виду материальные древности) и немецкая «Ручная книга древней классической словесности, содержащая археологию...» И.-И. Эшенбурга («ручная книга» — это калька с немецкого Handbuch — руководство) — тут впервые в русский язык был введен термин «археология».

В России в это время археология понималась вполне в духе этих руководств — как изучение классического наследия по памятникам изобразительных искусств (по архитектуре, скульптуре и росписям). Материальные древности, не причастные к искусству, игнорировались или воспринимались как дополнительный, вспомогательный материал к пониманию древних памятников искусства. Лишь очень редко и скупо — как источники сведений по истории. Изучение материальных древностей было в основном лишь частью искусствоведчески-филологического комплекса знаний о классическом мире.



Д. 2879 XVIII Д 99

РУКОВОДСТВО

къ познанію

ДРЕВНОСТЕЙ,

Г. Ал. МИЛЛЕНА,

Смотрителя древностей при Національной Библіотекѣ, Профессора Исторіи и Древностей и Члена Общества Натуральной Исторіи и Филоматическаго въ Парижѣ, Академіи Рѣдкостей въ Природѣ въ Эрлангенѣ, Члена Академіи Дублинской, Линнеева Общества въ Лондонѣ, Медицинскаго въ Брюсселѣ и Общества Физическихъ Наукъ въ Цирихѣ,

изданное

съ прибавленіями и замѣчаніями,

въ пользу

учащихся въ Императорскомъ Московскомъ Университетѣ,

Николаемъ Кошанскимъ,

Изящныхъ Наукъ Магистромъ и Философіи Докторомъ.

МОСКВА, 1807.

Въ Университетской Типографіи.

Переводное руководство О.-Л. Миллена по древностям, 1807 г.

Отечественные древности продолжали пребывать в небрежении. «Я за все русские древности не дам гроша, — писал в это время в частном письме известный русский поэт К. Н. Батюшков. — То ли дело Греция? То ли дело Италия?» (Формозов 1979: 80). Много образованных людей с теми же чувствами было и в следующий период, но тон задавали уже другие.

4. Романтики и патриотическое прозрение: открытие древностей собственного народа (начало XIX века — середина 50-х гг. его же). Как и в других европейских странах, наполеоновское нашествие и национальное унижение, а затем Отечественная война 1812 г. вызвали взрыв патриотических чувств и пробудили интерес к древнему прошлому своего народа, к его памятникам в родном краю. Этот порыв вливался в широкое течение *романтизма*, выросшее на почве недовольства реальным состоянием общества. Выход был найден в обращении к духовному совершенству, в подготовке тем самым иного, лучшего будущего. Или, наоборот, культивировался

уход в прошлое и в далекие экзотические страны, где предполагалась лучшая жизнь. Течение это, подготовленное философией Гердера, находило адептов и в России.

В отношении к древностям романтические запросы общества сказывались двояко.

Увлечение античными древностями не прекратилось, а даже приобрело больший размах, но его характер изменился. Исчезли сентиментальные воздыхания и умиленность. Открыто выявились прикладные, практические цели — от престижных и меркантильных (пополнение музеев и коллекций) до художественных и познавательных (помощь художникам в воссоздании древнего антуража, помощь историкам, комментарии к античным темам). В это время античная искусствоведческая археология расширялась и обогащалась за счет охвата скифских памятников, в которых обнаруживались работы античных торевтов на близкие скифам темы вместе с драгоценными изделиями самих скифов. Но еще не было понимания, что это скифские вещи. Памятники эти воспринимались как связанные с античной культурой (их приходилось сопоставлять с текстами греческих авторов — Геродота, Гиппократа и др.), но в то же время было ясно, что они оставлены не греками, а коренным населением, даже предполагалось, что предками славян. Античная археология становилась, таким образом, менее античной, менее классической. Благо в России были всё-таки не чисто классические города, а колонии, где греки жили в тесном соседстве и общении с коренным, местным населением.

С 1811 г. в Керчи раскопки с точной фиксацией вел по собственному почину мелкий чиновник француз-эмигрант Поль Дюбрюкс. Он начал с добывания древностей на продажу. но увлекся и превратился в самоотверженного ученого. Дюбрюксу принадлежат планы античных городищ, используемые и поныне. С 1820 г. его археологическими работами руководил керченский градоначальник Иван Стемпковский, отставной полковник, бывший адъютант герцога Ришелье (француза на русской службе). Пройдя школу в Парижской Академии надписей, он перешел от сбора случайных вещей к раскопкам с документальной фиксацией найденного. В 1823 г. он подал Новороссийскому губернатору записку «Мысли относительно изыскания древностей в Новороссийском крае». Там была изложена программа, сформулированы новые требования к археологическим исследованиям. Предложил он и создать научное общество для этого. Такое общество было создано в 1839 г. — Одесское общество истории и древностей (Тункина 2002).

Продолжались, однако, и кладоискательские раскопки — исключительно для пополнения Эрмитажа древними золотыми украшениями. На этом поприще отличались керченские чиновники Ашик и Корейша. Дюбрюксами они не стали, но всё же отчеты их есть, и все раскопанные ими компексы восстановимы, так что сугубыми кладоискателями их назвать несправедливо. После обнаружения большого количества золота в кургане Куль-Оба (1830) кладоискательские раскопки развернулись с особенным азартом.

В 1843 г. зародился проект издать Боспорские древности, и они были изданы в 1854 г. под редакцией руководителя отдела Эрмитажа академика Л. Э. Стефани.

В 1846 г. в Петербурге было основано Археолого-Нумизматическое общество, имевшее сугубо классическую ориентацию, тесно связанное с верхами чиновничества и армии и издававшее свои труды на французском языке.

Другим следствием романтического движения и волны патриотизма было зарождение интереса к славяно-русским древностям. Пробуждение этих интересов было стимулировано «Историей государства Российского» (1816–1829) знаменитого писателя Н. М. Карамзина, назначенного официальным историографом государства. Карамзин представил российское самодержавие как итог

Императорский Эрмитаж пополнялся монетами и золотыми украшениями из памятников Причерноморья. Акварель К.А.Ухтомского: Зал монет в Эрмитаже

развития национальных особенностей русского народа, а для этого обратился к его истокам, найдя там величие и привлекательность. Истоки же он видел в началах монархии, письменности и православия. По выражению Пушкина, «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Коломбом». Но Пушкин же (см. Лебедев 1992, 64, 69) припечатал Карамзина едкой эпиграммой:

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
и прелести кнута.

Первым проблеском новых интересов в отношении материальных древностей была деятельность польского энтузиаста Зориана Доленги-Ходаковского (это был псевдоним Адама Чарноцкого), ратовавшего за осознание великого славянского прошлого. Многие считали его полусумасшедшим маньяком, но у него была продуманная система взглядов, противостоявшая концепции Карамзина. Он считал, что письменная история искажена церковными летописцами в угоду церкви и монархической власти, а истину могут выявить только фольклор, народное творчество и материальные памятники. Его привлекали языческая старина и домонархический быт славян. Ходаковский призывал выявлять, сохранять и описывать все материальные древности (статуи, оружие, керамику, надписи, городища, погребения) вместе с песнями, народными названиями растений и т. п. Главным образом, он собирал сведения о городищах, считая их древними святилищами.

В 1820 г. он опубликовал в журнале свой «Проект ученого путешествия по России для объяснения славянской истории». Академия наук выделила средства, и три года Ходаковский обследовал Северо-Запад России, раскапывая сопки, составляя планы городищ. Под историей он понимал определение древних обиталищ народа и описание древнего народного быта по вещественным памятникам и фольклору (Формозов 1961: 57–66; 1979:69–78; Лебедев 1992: 65–67). Это был интерес скорее палеоэтнографический.

В 1822 г. на месте Старой Рязани, разрушенной ханом Батыем в XIII в., был случайно обнаружен клад древнерусских княжеских парадных украшений (бармы — оплечье). Эта находка поразила воображение современников и усилила интерес к славяно-русским древностям. Знатный куратор археологии Оленин занимался не только античной, но и славяно-русской археологией. Он аттрибутировал найденный в 1809 г. шлем князя Ярослава Всеволодовича, написал

В царствование сравнительно либерального Александра I увлечение славяно-русскими древностями еще не очень удалялось от классической археологии: собственно славянское прошлое подгонялось под античный образец (Минин и Пожарский на памятнике в Москве, а Суворов в Петербурге изображены полуголыми, в одеждах римских героев), а известные деятели русской культуры, включая самого Карамзина, не видели в русских древностях ничего эстетически высокого и привлекательного. Когда же на трон вступил Николай I, подавивший восстание декабристов в Петербурге и ставший «жандармом Европы» (гонителем европейских революций), в России возобладал так называемый «квасной» патриотизм. В старинных русских традициях царская администрация увидела противоядие против европейского духа вольномыслия. Эту охранительную идею выразила формула министра просвещения графа Сергея Уварова о триединстве девизов: «самодержавие, православие, народность».

В 1827–1837 гг. киевский митрополит Евгений (Е. Болховитинов) проводил раскопки первой киевской церкви — Десятинной — и Золотых Ворот Киева. В это время в архитектуре стал насаждаться искусственно созданный «византийско-русский» стиль. В угоду этим политически-архитектурным интересам шла и археологическая деятельность. Русские древности стали противопоставляться античным, особенно с 30-х гг. В 1846–1859 гг. была издана «Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества».

Таким образом, ветви археологии — классическая и средневековая, — которые в остальной Европе сформировались в разное время, в рамках разных отраслей знания, созревали порознь, вдохновлялись разными интересами и развивались разными группами ученых, в России зародились почти одновременно, руководствовались одними и теми же интересами — эстетически-прикладными и политическими. И занимались ими нередко одни и те же ученые. (Специализация профессий в дальнейшем всё-таки произошла, но обе ветви археологии и далее сохраняли единство, пребывали в одних и тех же учреждениях, пользовались одними и теми же журналами).

Таким ученым-универсалом был Алексей Николаевич Оленин (Формозов 1979: 5, 13–19; 1986: 44–45; Лебедев 1992: 73–80; Тункина 1995: 89). Родом из знати, воспитанник наперсницы Екатерины княгини Дашковой, возглавлявшей две академии, он учился в Дрезденской артиллерийской школе, участвовал в войнах, ушел

империи и сенатором — это он в дни восстания декабристов привел Государственный совет к присяге новому царю Николаю I. Но этот вельможа и политик интересовался искусствами и всерьез исследовал древности. Он стал директором Публичной библиотеки в Петербурге, позднее и Президентом Академии художеств.

«Оленинский кружок», сложившийся у него дома, и руководимые Олениным учреждения — Публичная библиотека и Академия художеств — были в это время центрами развития археологических интересов. Оленин считал, что археология прежде всего нужна для разъяснения темных понятий истории (что означали те или иные предметы вооружения, архитектуры и т. п.), а кроме того, она «должна давать, особливо художникам, ясное понятие о нравах, обычаях и одеяниях славных в древности народов». Таким образом, это интерес прикладной, художественный и этнографический. Занимался Оленин как античной, так и славянской археологией. В первой он написал «археологический комментарий» к переводу «Илиады», в другой — издал исследование о Тьмутараканском камне (1806), в 1809 г. аттрибутировал шлем князя Ярослава, написал капитальный труд о Старо-Рязанском кладе (1831). Вокруг Оленина собирались и с ним переписывались знатоки и любители древностей.

В 1832 г. Оленин изложил свою программу археологических исследований: «Опыт об одежде, оружии, нравах, обычаях и степени просвещения словен». Перед смертью он возглавил комиссию по изданию многотомных «Древностей Российского государства». Эти тома вышли в 1849–1853 гг. не вполне в соответствии с программой Оленина, и всё-таки по ней.

В 1837 г. более узкую и конкретную программу выдвинул Вадим Пассек перед Обществом истории и древностей российских при Московском университете. Это была программа исследования российских курганов — памятников, которые должны были дать сведения о народах, насыпавших их, раскрыть их верования и домашний быт (Формозов 1961: 66–69; 1986: 52–54). Отличие от программы Оленина в том, что интерес сместился с художественых аспектов на общекультурные. Но Пассек рано умер от чахотки, и осуществить его идеи суждено было другим.

Археологией увлекся молодой граф Алексей Сергеевич Уваров (Формозов 1983: 84–102; 1986: 67–68; Купряшина 1991: 51–69; Лебедев 1992: 94–101, 105, 109–111), сын министра просвещения, выдвинувшего пресловутую формулу триединства «самодержавие,

образование — слушал лекции в Петербургском, Гейдельбергском и Берлинском университетах (в последнем археологию преподавал в то время Э. Герхард, основатель Германского Археологического Института, перенесший идею смены стилей Винкельмана на анализ керамической росписи). Занявшись археологией как профессионал, молодой граф написал двухтомное сочинение об античных памятниках Причерноморья. Но затем он заинтересовался древностями отечественного Средневековья, и в 1851–1854 гг. вместе с археологом и востоковедом П. С. Савельевым они организовали грандиозные по охвату раскопки курганов во Владимирской губернии. За три года было раскопано 7 759 курганов. Цели преследовались те, которые наметил еще Пассек, но программа Пассека была перевыполнена. Результаты этого труда Уваров опубликовал в капитальном труде «Меряне и их быт по курганным раскопкам» через 30 лет после начала раскопок. Курганы он отнес к летописному финно-угорскому племени меря, хотя на деле, как мы теперь знаем, это были памятники русского населения. Так же, как Оленин, Уваров объединял в своем лице обе разрозненые в Европе ветви археологии — античную и средневековую.

В 1851 г. в Археолого-Нумизматическом обществе в Петербурге произошел переворот (Веселовский 1900). Пользуясь сдвигом в настроениях большинства, руководство захватила группа членов, патриотически ориентированных и частью не очень разборчивых в средствах (эти не только собирали народные творения, но и фабриковали монархические произведения, якобы народные). Они резко изменили направление деятельности общества, объявив его Русским Археологическим Обществом (РАО), и труды его стали печатать на русском языке. Это было логическим завершением всей тенденции описываемого периода.

Первобытные древности России не были в это время в таком фаворе. Частные коллекции кремневых изделий имелись уже и в России (коллекции Раевской, графа Тышкевича, генерала Бартенева), иногда описания их публиковались. В журналах 20–30-х гг. проскальзывали сведения о европейских открытиях останков «допотопных» людей, хотя в 1826 г. цензурный устав объявил: «Всякая вредная теория, таковая, как, например, о первобытном зверском состоянии человека, будто бы естественном, <...> не должна быть одобряема к печати». В 40-х и первой половине 50-х гг. слежка стала жестче — в печать уже не проникало ничего, что могло бы противоречить библейской

5. Кристаллизация археологии в эпоху Великих реформ (середина 50-х — начало 80-х гг. XIX в.). В 1855 г., не выдержав поражения в Крымской войне, умер Николай I. Поражение было следствием технической и общей отсталости России от ведущих государств Европы, а отсталость была обусловлена архаичным общественным строем. Новый царь, Александр II, понимал это и начал социальные реформы — в 1861 г. было отменено крепостное право, затем последовали реформы просвещения, правовой системы и другие.

Одно из первых новшеств в культуре касалось археологии. В феврале 1859 г. была создана при Министерстве двора Императорская Археологическая комиссия — зародыш центрального государственного учреждения, в ведение которого вошли сбор сведений о древностях, стимулирование их исследований и экспертиза. В распоряжение Археологической комиссии должны были поступать все археологические находки с казенных и общественых земель (не с частных). В подчинении Министерства двора был и Эрмитаж, так что Археологическая комиссия была с ним тесно связана: наиболее ценные находки поступали в Эрмитаж. Археологическая комиссия ежегодно публиковала Отчеты о своей деятельности (ОАК), где были точно расписаны все находки и их судьба (куда они поступили на хранение).

Сама Археологическая комиссия на первых порах проводила главным образом раскопки скифских курганов, для чего из Москвы был приглашен известный историк Иван Егорович Забелин, не имевший не только археологического, но и вообще какого-либо образования и не знавший ни древних, ни новых иностранных языков, но после многолетней работы в архивах ставший авторитетным знатоком русских письменных и бытовых древностей. Копая не очень охотно и не очень строго (хотя и знал, как следовало бы), он открыл богатейшие и первоклассные комплексы — Чертомлык, Александропольский курган и др. Всё же они раскопаны сносно, и многие детали зафиксированы.

В 1863–1864 гг. в дополнение к петербургским археологическим центрам было создано два центра в Москве: Московское археологическое общество (МАО) и Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете (ОЛЕАЭ).

Основателем МАО был граф А. С. Уваров, к этому времени 37-летний археолог, имеющий за плечами и масштабные раскопки, и опыт в обеих ветвях археологии — античной и средневековой, и печатные труды, и положение в высшем свете. Он пренебрег карьерой ради археологии. Дом графа А. С. и графини П. С. Уваровых стал московским

центром археологии в России. МАО стимулировало раскопки более широкого круга памятников, чем Археологическая комиссия — и по территории, и по видам, но средств на раскопки не имело.

Зал заседаний Московского археологического общества

МАО занялось проведением Всероссийских Археологических съездов. С 1869 г. съезды проходили каждые несколько лет, всякий раз в другом городе, и, поскольку они организовывались как очень торжественное и важное событие, вместе с подготовкой к съезду приходила в этот город и в этот регион активизация археологических исследований. После каждого съезда выходили монументальные многотомные Труды съезда. Всего до революции состоялось 15 Археологических съездов (Анучин 1890; ИМАО 1915).

Сводная фотография участников
III (Киевского) Археологического съезда

Усилиями Уварова в 1872 г. в Москве был открыт Российский Исторический музей, в основном с археологическими экспозициями.

Одновременно с МАО в Москве появилось и Общество Любителей Естествознания, вскоре прибавившее к своему названию: Антропологии и Этнографии (ОЛЕАЭ). А на деле в круг его интересов вошли преистория и вещественные древности дописьменного периода, т. е. первобытная археология. Организатором Общества был известный русский антрополог, географ и естествоиспытатель А. П. Богданов.

Как явствует из методологических статей Уварова и Забелина, в славянской археологии их занимала главным образом этническая принадлежность памятников, а также интересовал широко понимаемый быт древнего населения, т. е. по сути — его культура. Археологические источники этой информации они не выделяли в особую отрасль, рассматривая их наряду и наравне с этнографическими сведениями из полевых и музейных наблюдений и из письменных источников (Тихонов 1996). Все эти виды источников они включали в археологию, т. е. выделяли эту дисциплину не по специфике источников, а по двум основаниям. Практически выделение производилось по условиям познания: выделялся период, не освещенный или слабо освещенный летописями. А теоретически (в собственном представлении исследователей) эта наука выделялась по объекту освещения: не событийной, а бытовой стороне жизни, т. е. культуре. Археология была для них чем-то вроде палеоэтнографии.

В течение всего этого периода накапливались материалы по доисторическому времени. С одной стороны, на основе некоторой либерализации цензуры появилось много переводов западных произведений о первобытных памятниках, так что и широкому читателю, даже не владевшему иностранными языками и не имевшему доступа к иностранной литературе (в специальные библиотеки она поступала), стали доступны сведения об открытиях Буше де Перта, Ч. Лайелля, Й-Я. Ворсё, Ч. Дарвина, Дж. Лаббока. Часть этих имен и открытий стала известна в переводах (Ворсё, Лаббок, Лайелль), часть — из сочинений западных популяризаторов-материалистов, часть — в русских пересказах. Автором одного анонимного пересказа оказался даже сам цензор. Появились и самостоятельные сочинения русских ученых по этой тематике, в том числе работы российских немцев академика Карла Максимовича Бэра, профессора Дерптского университета

В 1874 г., когда участники III (Киевского) Археологического съезда направлялись осматривать Софийский собор, настоятель собора, по воспоминаниям историка Костомарова, спросил их: «Не пожаловали ли вы сюда отыскивать доказательства, что человек произошел от обезьяны?» Возглавлявший археологов Уваров успокоил протоиерея: «Мы не шагаем в такую даль» (Формозов 1979: 27). Однако некоторые крупные открытия, связанные с каменным веком, были сделаны и в России. Они сконцентрировались в коротком отрезке времени — конце 70-х — начале 80-х гг. Это раскопки палеолитической стоянки Костёнки под Воронежем, проведенные Иваном Семеновичем Поляковым, обследование Крымских пещер и обнаружение в них палеолита и мезолита, сделанные Константином Сергеевичем Мережковским, а также описание доисторических стоянок на Ладожском озере, выполненное проф. А. А. Иностранцевым. Все они, как и Бэр, не гуманитарии, а натуралисты — биологи, геологи, географы.

Однако и сам Уваров занялся каменным веком. В 1877 г. в его собственной усадьбе Карачарово под Муромом (где по эпическим былинам обитал русский богатырь Илья Муромец) были обнаружены в слое обитые кремни и кости животных. Уваров пригласил Полякова и других специалистов обследовать стоянку. Эта находка позволила Уварову отвергнуть мнение Ворсё о необитаемости России в палеолитическую эпоху. В 1881 г. Уваров выпустил обобщающий труд «Археология России. Каменный век». Это была сводка памятников. Уваров принял деление на палеолит и неолит (эпоха обитого камня и эпоха шлифованного камня), предложенное Лаббоком, но не принял периодизацию Г. Мортилье. Он остался на позиции Э. Лартэ: определять периоды по фауне, а не по археологическим находкам. Для него вообще палеолит — не эпоха, когда жили принципиально отличные от современного человека существа, а лишь один из периодов человеческого прошлого, сопоставимый с мерянским и славянским периодами (впрочем, верхний палеолит, известный Уварову в России, действительно был связан с человеком современного типа). Хронологии, которая бы противостояла короткой библейской, не приводится. Нет упоминаний о Дарвине и о неандертальском черепе. Уваров не соврал настоятелю Софийского собора: он действительно «не шагал в такую даль».

Но другие ученые-доисторики, из натуралистов, были близки к такому маршу. Кое-кто из них был причастен к революционной деятельности: Черский, открывший палеолит в Иркутске, был ссыльным польским повстанцем, Поляков был учеником мятежного князя

6. Выделение археологии в особую науку (последние два десятилетия XIX в. и первые полтора-два десятилетия XX в.). Либеральные условия развития археологии окончились с убийством царя-освободителя Александра II в 1881 г. Террористы спровоцировали не революцию, а реакцию — Россия вступила в полосу зажима и подавления свобод. Новые правители начали вводить централизацию во всем и полицейский порядок. Упорядочение стало девизом режима. Это усилило естественную тягу к дифференциации и структуризации наук, включая археологию. Материальные древности, прежде изучавшиеся вместе с письменными и другими древностями в рамках широко понимаемой археологии, теперь стали выделяться в отдельную дисциплину, и археология стала пониматься как специализирующаяся именно на их изучении. Письменные древности, как и фольклорные источники, более не включались в одну сферу с артефактами.

Общество переживало духовный кризис. С течением времени нарастало революционное движение, соответственно, ширились и настроения тех, кто шарахался от революционеров. Большинство археологов стояло на стороне самодержавия — и естественно: в археологии было очень много аристократов и священников. Графиня Прасковья Сергеевна Уварова, заменившая в руководстве МАО мужа, как-то обмолвилась: «Археология — наука людей богатых». В России это было так.

Даже в советское время всё не сразу изменилось. Когда в начале 1930-х гг. началась «чистка» кадров научных учреждений, справка о «засоренности» аппарата Эрмитажа чуждыми элементами выглядела так: белогвардейцев и жандармов нет, офицеров старой армии — 7, фабрикантов — 1, детей служителей духовного культа — 5, из торговцев и купцов — 4, дворян — 55 (Пиотровский 2009: 102).

В особенно трудном положении оказалась в России первобытная археология, изучение палеолита. По университетскому уставу 1884 г. не была предусмотрена кафедра антропологии: незачем стимулировать естественнонаучное исследование человека, способствовать распространению дарвинизма. Переводные труды по палеолиту в начале XX в. появлялись, но своих собственных крупных исследований по этому разделу не было с 1883 до 1920 г.

Широкие обществоведческие проблемы были теперь не в чести. Поощрялись осторожность и ограниченность исторических задач. В моду вошли «скептические школы» и критицизм. Широкое и расплывчатое понимание археологии, которое не очень

А. С. Лаппо-Данилевский

отличало ее от древнейшей истории и совокупного источниковедения (включая палеографию, эпиграфику, нумизматику и проч.), утратило поддержку в научной среде. Исторические выводы потребовалось подкреплять основательным критическим изучением источников, а это влекло за собой специализацию на отдельных видах источников. Археология сконцентрировалась на источниковедческом изучении материальных древностей. Первым сформулировал такое понимание петербургский историк-источниковед, занимавшийся и археологией, А. С. Лаппо-Данилевский, сначала в своих курсах лекций по историографии, читавшихся в 90-е гг., потом в курсе по методологии истории, читавшемся с рубежа веков и изданном двумя выпусками в 1910–1913 гг. (Тихонов 1996: 20; 1997), и особенно в курсе по методологии источниковедения, неизданном.

С 1886 г. во главе Археологической комиссии был поставлен граф А. А. Бобринский, известный исследованием археологических памятников в окрестностях своего имения в местечке Смела на Украине (трехтомное издание опубликовано в 1882 г.). В 1889 г. в связи с общей централизацией были запрещены самовольные (по сути грабительские) раскопки и Археологическая комиссия получила монополию на выдачу «Открытых листов» (разрешений на право раскопок). Если на казенных землях всё попадало под контроль Археологической комиссии в Петербурге, то для раскопок на частных землях было достаточно благоволения владельцев земли, а для помещиков многое значило рекомендательное письмо от графини Уваровой. Но Уварова претендовала на более значительную роль археологических обществ в контролировании регионов, искала освобождения от контроля Археологической комиссии. Бобринский же принялся вводить контроль комиссии с большим рвением. Это вызвало резкий протест ведущих членов МАО во главе с графиней Уваровой. В ответ кое-кто из петербургских археологов вышел из состава МАО.

Раскол в российской археологии отражал конкуренцию двух главных центров, обладавших своими традициями. Он привел к более явному оформлению двух региональных школ. Петербургская, имевшая за собой Эрмитаж, Археологическую комиссию и государственную поддержку, стояла за более профессиональный подход (хотя на деле полевая методика хромала), предпочитала вещеведение, требовала строгости методов и большей близости к материалу. Археологи Московской школы, организованные вокруг Московского археологического общества и обильно принимавшие в свою среду любителей, отличались большей широтой интересов, чаще шли на обобщения и смелые исторические выводы.

Археологическая комиссия продолжала разрабатывать скифские курганы, пополняя Эрмитаж. Большое их количество раскопал в 1889–1917 гг. член АК профессор-востоковед Николай Иванович Веселовский. Его методика раскопок и фиксации была хуже Забелинской, а памятники ему попались также чрезвычайно богатые, среди них курган Солоха со знаменитым золотым гребнем. Под Майкопом Веселовский открыл большие курганы правителей бронзового века.

В Петербургском Археологическом Институте, который готовил не археологов, а архивистов, был всё-таки введен курс первобытной археологии. С 1891 г. его читал проф. Веселовский, он также читал и в Петербургском университете, а в 1901–1902 гг. курс был издан под названием «Первобытный человек». Это было первое в России учебное пособие по первобытной археологии. Читался в Археологическом институте и курс «Художественнная техника в применении к археологии». Читал его с 1891 г. известный художник Николай Рерих.

В Москве Археологический институт возник гораздо позже — в 1907 г., археологию там преподавал В. А. Городцов.

В московском кругу археологов, предводительствуемом Уваровой, выделялся своей деятельностью проф. Д. Н. Анучин, ученик Богданова. Антрополог и географ, он делал профессиональные работы также по этнографии и первобытной археологии, но перемещение его кафедры с историко-филологического факультета на физико-математический в 1884 г. затруднило ему занятия первобытной археологией и контакты с остальной археологией (но он оставался заместителем председателя МАО).

В Варшаве, бывшей тогда в составе России, небольшой центр археологии создал профессор исторического права Д. Я. Самоквасов (Щавелев 1991, 1993), потом переселившийся в Москву. Он издал своды

по городищам Русской земли (доказав, что были это не святилища, а укрепленные поселения), по могильникам России, а среди его раскопок — норманнское княжеское погребение в Чернигове: Черная Могила.

Продолжала быть видным центром археологии на юге России Одесса с ее музеем и Новороссийским университетом. С 1870 г. там профессорствовал Н. П. Кондаков, позже переехавший в Петербург и основавший свою школу археологов-классиков с уклоном в изучение искусства, особенно греко-восточного, в частности византийского (Klejn 1999a; Клейн 2005; Тункина, Кызласова — монографические работы о Кондакове).

К концу века в русской археологии выросло два очень крупных и влиятельных археолога: в Петербурге — А. А. Спицын, в Москве — В. А. Городцов. Судьба обоих в чем-то схожа. Оба прибыли из провинции, оба происходят из средних слоев общества (Спицын — сын приказчика из крестьян, Городцов — сельского дьякона). Оба не прошли археологической школы, но влияние их столь велико, что весь период начала XX века (до революции) Лебедев (1992: 347) именует «спицынско-городцовским».

Спицын прибыл в Петербург из Вятской губернии, и по окончании университета работал в Вятке, где подвизался на ниве краеведения. Упорной и тщательной работой он завоевал авторитет, и его взяли в Археологическую комиссию. Через его руки стали проходить в огромном количестве археологические материалы со всей России, и он сортировал их, упорядочивал, систематизировал. Он выпускал обзоры по губерниям и сводки по группам схожих памятников, каковые группы получили наименование археологических культур (в России термин употреблялся с 1901 г.). В 1899 г. он установил по ареалам разных типов височных колец точные границы обитания летописных русских племен (Спицын 1899б), по летописи известные лишь очень приблизительно. Эта работа опередила на несколько лет аналогичную работу, которой прославился классик немецкой археологии Косинна, — его «Орнаментированные железные наконечники копий как признак восточных германцев» (она вышла в 1905 г.).

Такой же авторитет завоевал в Москве Городцов, происходивший из-под Рязани. Он долгое время, уже занимаясь археологией и участвуя в Археологических съездах, оставался офицером. Если Спицын шел в археологию от кабинетных штудий, то Городцов пришел с поля, сначала из экскурсий (разведок), затем из экспедиций. В экспедициях он обследовал памятники того или иного района и выявлял

последовательность типов памятников этого района — строил обобщенную стратиграфическую колонку подобно тому. как это делал за несколько лет до него Софус Мюллер в Дании. Такие колонки Городцов построил в конце XIX в. для окрестностей Рязани, а в первые годы XX века — для Изюмского и Бахмутского уездов Украины. Эти типы памятников он позже стал именовать культурами и выпустил сводку культур бронзового века Средней России (Городцов 1916). Если Спицын шел к культурам от выявления их территорий, то Городцов — от их хронологических рубежей.

И Спицын и Городцов своей систематизацией немало содействовали тому, что в древнем прошлом России стала доступной наблюдению судьба каждой отдельной группы населения, каждого отдельного общества, оставившего своеобразную культуру. И тот и другой видели за ними народы, этносы. Здесь было еще нечто от этнографического интереса их предшественников, но Спицын и Городцов предполагали влияния этносов друг на друга и миграции. Археологическая карта ожила — культуры пришли в движение и взаимодействие. Дописьменное прошлое предстало как смена и передвижение культур и стало преисторией. Археология, не только средневековая, но и первобытная, отделялась от этнографии и словесности и вступала в историческую систему наук. Позже Спицын писал: «Если бы я не уехал в провинцию, <...> из меня вышел бы не археолог, а историк по моей особой склонности к этой науке» (Спицын 1928: 332).

С 1907 г. Городцов начал преподавать в Московском Археологическом институте, а с 1909 г. Спицын начал преподавать русскую археологию на историко-филологическом факультете Петербургского университета и основал там археологический кабинет (см. подробнее: Тихонов 2003: 74–85). В 1908 г. вышел курс лекций Городцова «Первобытная археология», а в 1910 — «Бытовая археология». Под бытовой археологией он имел в виду историческую (античную и средневековую), но ориентированную не на судьбы личностей, а на развитие культуры, на судьбы народов. Кроме того, как явствует из труда его современника Сергея Жебелёва, будущего академика, «бытовая археология» противопоставлялась еще и «художественой» (которой занимались археологи-античники) (Жебелёв 1923).

Классическая археология продолжала действовать в традиционном ключе — с уклоном в сторону анализа художественных древностей. Наиболее видным представителем этого направления был Н. П. Кондаков, который в 1888 г. получил приглашение в Петербургский университет и переехал туда из Новороссийского

университета (Одесса), а за ним переехал кое-кто из его учеников. Из них для археологии особенно значительны трое: Я. И. Смирнов, Б. В. Фармаковский и М. И. Ростовцев. Ростовцев был по образованию и профессии историк, учился у академика Ф. Ф. Зелинского, изучал экономические отношения в аграрном секторе Римской империи. Но, пройдя школу Кондакова, увлекся смешанным греко-варварским искусством причерноморских колоний, а затем вышел на тему синтеза разноэтничных культур («Эллинство и иранство на Юге России», 1918). В своих исследованиях он умело использовал археологический материал, очень метко сформулировал корреляционное определение археологической культуры (позже введенное в науку Чайлдом), впрочем, не применяя этого термина. Он руководил раскопками одного из крупных скифских курганов (Мордвиновского). Археологический материал служил у него не только для искусствоведческих оценок, но и для общих культурно-исторических заключений.

Петербуржец С. А. Жебелёв, также историк по образованию, ученик Ф. Ф. Соколова и Н. П. Кондакова, изучал эпиграфику, классическую филологию и историю греческих полисов Северного Причерноморья. В теоретическом плане он мыслил классическую археологию именно по-кондаковски — как направленную на изучение главным образом художественных памятников. Но сам-то он как раз изучал археологический материал как источник для чисто исторических реконструкций. У него также и античная археология выходила на путь служения истории.

7. Археология в революции и революция в археологии (1917–1934). Еще раз подчеркиваю, что я здесь имею в виду не научную революцию, а то, как сказалась на российской археологии политическая революция. А этим понятием я охватываю и Февральскую революцию и Октябрьский переворот 1917 г. (хотя последний, если быть социологически точным, новой революцией не являлся, а был лишь этапом общей революции 1917 г., в котором радикальная группировка, опиравшаяся на часть рабочих, батраков, люмпен-пролетариат и национальные меньшинства, захватила власть государственым переворотом и ликвидировала демократические свободы).

а) Потрясение и смена структур (1917–1924). Послевоенная и революционная разруха отражалась и на археологии. Денег на раскопки не было, иностранная литература не поступала, люди были озабочены выживанием, многие древности в запустении погибли.

Революция поначалу не внесла ничего нового в содержание археологических исследований, но означала резкое их сокращение (не до того было) и полный слом старых структур археологии (Формозов 1995б). Императорская Археологическая комиссия и Эрмитаж подчинялись Министерству двора — не стало ни министерства, ни двора. Московское археологическое общество состояло в значительной части из знати и духовенства — знать перестала быть знатью, духовенство было подавлено, сокращено и частично репрессировано. Археология развивалась в России как «наука людей богатых» — в стране не стало богатых. Частные коллекции были частично разграблены и уничтожены, частью национализированы и влились в крупные музеи, частью переданы самими владельцами еще до Октябрьского переворота в эти музеи, в частности собрание древностей Уваровых — в Российский Исторический музей.

Сильный урон развитию археологии в стране нанесла гибель одних крупных ученых-археологов (смерть Я. И. Смирнова, Д. Н. Анучина и Ф. К. Волкова от потрясений и истощения, самоубийство Иностранцева, расстрел А. В. Адрианова) и эмиграция других — Э. Р. Штерна (еще до революции), Н. П. Кондакова, М. И. Ростовцева, А. А. Бобринского, П. С. Уваровой, Ф. А. Брауна и др. Но многие остались — среди них: А. А. Спицын, В. А. Городцов, Б. В. Фармаковский, А. А. Миллер, Н. П. Сычев.

В то же время революционные власти стремились придать стихии цивилизованную форму. Уже в ноябре 1917 г. новосозданный Народный комиссариат просвещения обратился к населению с призывом оберегать памятники культуры; 19 сентября 1918 г. было принято постановление о государственой их регистрации и учете; 10 октября 1918 г. были запрещены вывоз и продажа за границу памятников искусства и старины, хотя в то же время Троцкий инициировал распродажу сокровищ Эрмитажа (а Сталин продолжил).

Весной 1918 г. обсуждался членами ИАК план создать на ее месте Академию Археологии или Академию археологических знаний, но потом по совету большевистского историка М. Н. Покровского, ведавшего наукой в Наркомпросе, т. е. народном комиссариате (министерстве) просвещения, решили в угоду новым властям назвать ее Академией материальной культуры. Такое название (с материальной культурой вообще) сбивало традиционные хронологические границы предмета занятий. Продвигая свой план, археологи уповали на родственные и дружеские связи членов

Академик Н. Я. Марр (сидит в центре) на групповом снимке основателей и первых членов РАИМК в саду Старого Эрмитажа 7 авг. 1919 г. За его спиной — его ученик И. А. Орбели (в белой одежде)

а Ростовцев — кузеном Луначарского. Ленин одобрил план, однако заметил сбивчивость и собственной рукой вписал в название слово «истории». Это не спасало от сбивчивости, но хоть ориентировало на протяженность во времени. Так возникла Российская Академия Истории Материальной Культуры (РАИМК). В нее было набрано 28 действительных членов.

Академии придали обширные функции, включая занятия историей, этнографией, лингвистикой, антропологией и искусствоведением. Структура была не только всеохватной, но и гораздо более централизованной, чем Археологическая комиссия: в Москве существовала лишь секция Академии. В Петрограде (быв. Петербурге) при Академии был создан Институт археологической технологии, в Москве — Институт художественных изысканий и музеев. Но Музей антропологии и этнографии (быв. Кунсткамеру) оставили в Академии наук, по отношению к которой РАИМК была совершенно отдельным учреждением, а Эрмитаж не подчинялся ни той, ни другой. В 1924–1925 гг. «действительных членов» (распорядителей) было по-прежнему немного, но в системе РАИМК работало 128 сотрудников в Петрограде и 100 в Москве (Пескарева 1980; Платонова 1989; Длужневская 1991).

Во главе РАИМК с самого начала оказался академик Н. Я. Марр, полугрузин-полушотландец, лингвист по образованию, организовавший раскопки древней армянской столицы Ани. Человек он был талантливый, но психически неуравновешенный и несамокритичный. Образование его было высокопрофессиональным, но очень узким и неархеологическим (специалист по истории древнеармянской литературы), а претензии — огромными. Он выступал со все более революционными идеями относительно всего языкознания в целом. Кавказские языки («яфетические», по его терминологии) он объявил предшествующей стадией индоевропейских — не только по структуре, но и по материалу (по лексике и морфемам), а ведущим языковым процессом провозгласил не деление, а скрещивание языков. Доказательствами Марр себя не утруждал. Лингвисты долго закрывали глаза на его бредовые идеи, считая, что зато он хорошо знает культуру и владеет археологией, а археологи терпели его очевидное невежество в археологии, учитывая его опыт в раскопках города и считая его великим лингвистом. К 1923 г. Марр завершил формулирование «нового учения о языке» («яфетической теории»), но на археологии это пока не отражалось.

Другим важным нововведением была организация специализации по археологии в университетах, где с 1919 г. были организованы ФОН (факультеты общественных наук). В 1922 г. в составе ФОН были открыты археологические отделения. Одновременно были закрыты оба археологических института — Петроградский и Московский (влиты в университеты). В Москве руководителем археологического отделения стал археолог В. А. Городцов, а в Петрограде — историк профессор С. Ф. Платонов, за которым стоял его лучший друг, приват-доцент А. А. Спицын, археолог (но Платонов скоро был оттеснен от руководства, а Спицын к руководству не был причастен). В следующем году московское отделение было преобразовано в Институт археологии и искусствознания, возглавленный Луначарским, а в составе института было отделение археологии, которым руководил Городцов.

До революции в стране было немногим более 150 музеев, в революционной смуте часть из них погибла. Но за послереволюционные десятилетия число их увеличилось в 5 раз (с 94 до 576) за счет небольших местных музеев. Многие из них были краеведческими, и почти непременно с археологическими экспонатами Развивались краеведческие общества. По данным 1927 г., за десять лет число таких

Раскопочная деятельность, почти прекратившаяся в годы революции, понемногу развертывалась снова. С двух десятков экспедиций в 1920 г. она дошла до трех сотен в 1925 г.

В новых структурах работали в основном старые кадры, хотя и поредевшие, и работали по-старому, сохраняя старое направление и содержание исследований. Поскольку же за пределами археологии жизнь резко переменилась, эта ситуация не могла быть стабильной. Не были стабильными и новые структуры — революционный зуд не был еще исчерпан, и их всё время перестраивали. Это, конечно, не способствовало серьезным исследованиям.

б) Революция в археологии: московский порыв (1924–1929). Еще до смерти Ленина, когда он тяжело болел, а точнее — с 1922 г. (с конца Гражданской войны) Сталин забрал в свои руки важные рычаги управления страной, но действовал сдержанно, так как положение его было шатким. После смерти Ленина (январь 1924) он начал быстро оттеснять от власти «ленинскую гвардию» и становиться единоличным правителем. Это означало более жесткий стиль руководства, ликвидацию послаблений частному сектору в экономике, курс на крайнее усиление идеологической монополии.

С 1926 г. РАИМК была преобразована из Российской во всесоюзную — Государственную (ГАИМК), т. е. ее функции были распространены на весь Союз ССР. С мая 1924 г. все обществоведческие научно-исследовательские институты Московского университета, в том числе и Институт археологии, были объединены в Ассоциацию, а с 1926 г. она была выделена из МГУ в особое учреждение — РАНИИОН (Российская Ассоциация Научно-Исследовательских Институтов Общественных Наук). Это было сделано для централизации контроля за развитием общественных наук. С 1927 г. и ГАИМК вошла в эту ассоциацию.

В 1925 г. в университетах из ФОНов выделились более специализированные факультеты: в Ленинграде (как теперь назывался Петроград) факультет языка и материальной культуры, а в Москве — этнологический факультет, куда входило и археологическое отделение.

В Московском университете при Институте и Музее антропологии (на физико-математическом факультете) сложилась *палеоэтнологическая школа*. Ее возглавлял Б. С. Жуков, ученик Анучина. Продолжая естественнонаучные традиции Д. Н. Анучина, школа Жукова рассматривала человека в единстве биологических и социальных характеристик и в неразрывной связи с естественной средой.

О. Н. Бадер, С. П. Толстов (хотя в 1920-е он развивался в этой школе как этнограф, специалист по касимовским татарам, но впитывал и общие установки школы), М. В. Воеводский, Е. И. Горюнова, А. В. Збруева и др. Они стремились восстановить по археологическим данным формирование древних этносов под влиянием природной среды. Формальным анализом они выявляли культурные комплексы (культуры), как можно дробнее, и приписывали им этническое значение. Социальная интерпретация археологических данных проводилась «методом наложения» этнографических сведений на археологический материал.

Археологию эти ученые, противники «новых методов», считали этнологией (этнографией), распространенной на древнейшее прошлое; соответственно, их особенно интересовали пространственные аспекты культуры и ее многообразие, вариантность. Они, однако, не замечали сгруппированности памятников в археологические культуры. Вариативность культуры они воспринимали сепаратно, по фракциям, — в керамике, в орудиях и т. п.

Всё это было совершенно чуждо устремлениям учеников Городцова. Сам Городцов, глядя в прошлое глазами диффузиониста, видел его как взаимодействие археологических культур. Ученики же его в середине 20-х годов разделились: одни — Фосс, Кривцова-Гракова, Крайнов и многие еще — остались приверженцами старых городцовских традиций, а другие культурами не очень интересовались — их занимали социологические проблемы.

Академик В. М. Фриче, социолог и искусствовед

В рамках РАНИИОН была организована переподготовка кадров в коммунистическом духе. Особое внимание было уделено молодежи. Известный большевистский социолог и искусствовед В. М. Фриче (в будущем академик-коммунист) собрал вокруг себя группу учеников Городцова а также молодых искусствоведов и историков. Из учеников Городцова тут были

А. В. Арциховский, А. Я. Брюсов (брат знаменитого поэта), С. В. Киселев, А. П. Смирнов — всё в будущем известные советские археологи. Под влиянием занятий в семинаре Фриче эти молодые археологи увлеклись идеями марксизма и решили «построить марксистскую археологию». В какой-то мере их убежденность в примате производства и, особенно, техники, интерес к орудиям труда стимулировал и сам В. А. Городцов.

Марксизм, и сам-то построенный на чрезмерных упрощениях, был вдобавок воспринят в вульгаризованном виде. Исходя из неглубокого понимания марксистской идеи примата производства, а также из веры в регулярность соответствий между сферами культуры, молодые москвичи предложили «*новые методы в археологии*» — упрощенную реконструкцию надстроечных явлений (социальных структур, идей) по остаткам орудий («*метод восхождения*») без обращения к этнографии и непосредственным отпечаткам в археологическом материале (Арциховский 1926, 1929). Некоторые москвичи, однако, искали отражение социальных отношений в особых категориях памятников — жилищах и поселениях (Брюсов 1926; Киселев 1928).

Сторонники «новых методов» и социологизации археологии завзято нападали на другое московское направление — «палеоэтнологическую школу» Б. С. Жукова. С 1924–1925 гг. начались их доклады на секциях РАНИИОН — о социологическом значении эволюции земледельческих орудий (Арциховский), о социологической истории жилища (Брюсов), поселения (Киселев) и т. д. Еще в годы их студенчества состоялся диспут молодых представителей обоих конкурирующих направлений (Городцов и Жуков участия в диспуте не принимали). К 1929 г. трое учеников Городцова подготовили коллективный доклад «Новые методы в археологии». От имени всех троих с докладом выступил Арциховский (1929).

Он применил к археологии формулу Маркса. Маркс учил, что система экономических. политических и идеологических отношений определяется уровнем производства, прежде всего развитостью орудий труда. Возьмите тип мельницы, говорил Маркс, ручную, ветряную или машинную, и можно определить соответствующий тип общества — первобытный, феодальный или капиталистический. На этом Арциховский построил свой «метод восхождения» — от основы (орудий труда, обнаруживаемых археологией) к надстройкам (общественному устройству и т. п.). Археология получалась у него могущественной наукой: надо только знать установленные марксизмом соответствия, и можно запросто восстанавливать любые социальные

и ментальные структуры прошлого: по сохранившимся орудиям — без письменных источников, без этнографии. Археология оказывалась наукой равнопорядковой с историей.

Однако «марксистская археология» Арциховского и его команды не успела взойти на трон, и помешали ей не московские «палеоэтнологи». Удар пришел из Ленинграда.

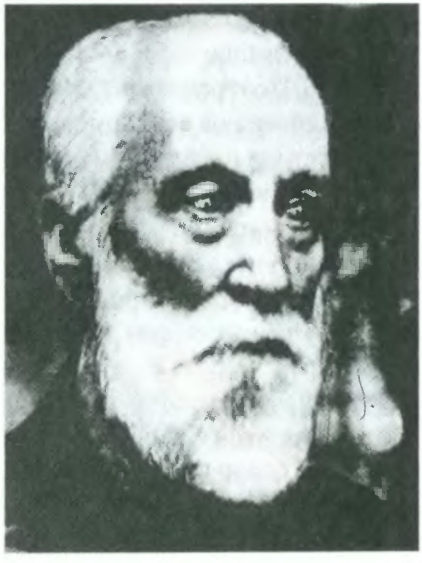
в) Революция в археологии: ленинградская кампания (1930–1934). К 1930 г. Сталин окончательно утвердился как диктатор, коллективизация сельского хозяйства была завершена, с нэпом (новой экономической политикой Ленина) было покончено. Идеи свободы, мировой революции и ликвидации государственного аппарата стали мешать диктатору, его лозунг был — построение социализма в одной стране (и быстро!) при усилении государственной власти, диктатуры «пролетариата» и обострении классовой борьбы. Сопротивление надлежало безжалостно подавлять. Остатки «ленинской гвардии» (Н. И. Бухарин и др.) были лишены власти.

В науке прежде всего нужно было «советизировать» Академию наук. Попытка провести на выборах в академики восемь коммунистов не удавалась. Одним из упорно сопротивляющихся был академик С. А. Жебелёв. Использовав его статью памяти Я. И. Смирнова в иностранном журнале, где он назвал революционные годы «лихолетьем», а Ростовцева — своим другом, в 1928 г. было затеяно «дело Жебелёва» — о его исключении из Академии. Но удалось ограничить репрессии выговором, а Жебелёву пришлось публично каяться (Каганович 1994; Тункина 2000). Коммунистов избрали в Академию, но, чтобы ее приструнить и устрашить, ЧК-ГПУ были сфабрикованы широкомасштабные и абсурдные дела — «Академическое дело» (или дело С. Ф. Платонова — Е. Ю. Тарле) 1929–1931 гг. (Академическое 1993–1998), по которому были арестованы десятки академиков и научных работников (из археологов С. И. Руденко), затем «дело славистов» 1933–1934 гг. (Ашнин и Алпатов 1994), по которому арестовывались главным образом сотрудники Русского музея и Эрмитажа (из археологов Н. П. Сычев, А. А. Миллер, Г. А. Бонч-Осмоловский, С. А. Теплоухов, М. П. Грязнов и др.).

Обстановка в стране была напряженная. Быстрая и сплошная коллективизация (крестьян загоняли в колхозы) сопровождалась массовым «раскулачиванием», вывозом зажиточных крестьян, лишаемых имущества, в Сибирь, кровавыми репрессиями. Жестокие гонения обрушились на традиционную духовную опору крестьянского сопротивления — религию и церковь.

С. А. Жебелёв

Краеведов, имевших тогда множество организаций по всей стране, обвинили в поддержке национализма и местного патриотизма в ущерб общенародным и общенациональным интересам. Репрессии обрушились и на археологическое краеведение за его любовь к старине и заботы о древних церквях как национальном культурном достоянии. Чтобы повернуть краеведов от памятников к социальному строительству, были созданы Общество краеведов-марксистов и журнал «Советское краеведение». О главе краеведческого движения проф. И. М. Гревсе этот журнал в 1932 г. писал: «Гревс идеализирует буржуазно-помещичий строй, проводя эту идеализацию под флагом сохранения памятников старины... Гревс откровенно заявляет, что всеми памятниками старины "должно дорожить" и "следует оберегать их от разрушения и порчи"... Следовательно, по Гревсу, самодержавием тоже надо было дорожить и охранять его» (В. Г. 1932).



Проф. И. М. Гревс

Глава краеведов, ленинградский профессор И. М. Гревс, был изгнан из науки, журнал «Советское краеведение» закрыт, краеведческие организации по всей стране распущены. Число провинциальных музеев было сокращено с 342 до 155 (Формозов 1995б: 35).

Шла беспрецедентная травля старых кадров археологии, приведшая почти к полной смене как состава исследователей, так и самого содержания науки. В науку пришло много молодежи, неопытной, часто некультурной и амбициозной.

Стремясь обеспечить использование археологических материалов марксистской историей и тем поставить их изучение на службу обществу, молодые энтузиасты обрушились на своих дореволюционных предшественников и их учеников с резкой, отчасти справедливой, но перехватывающей через край нигилистической критикой (Равдоникас 1930; Худяков 1933). Прежде всего, они осуждали «ползучий эмпиризм» подавляющей части дореволюционных археологических работ, их замкнутость в формальных вещеведческих штудиях («голое вещеведение»). Тут было много справедливого, но обычную ограниченность трактовали как злой умысел или непреодолимый классовый порок. Еще хуже было, если в произведениях археологов старой школы усматривались идеализм, национализм и прочие -измы. Опытных археологов заставляли публично отрекаться от своих взглядов и каяться. Далее типологический метод был отвергнут как порожденный буржуазным эволюционизмом, фетишизирующий вещи и биологизирующий историю.

В археологических учреждениях, как и везде, проходили «чистки» — публичное избавление от «чуждых элементов». По воспоминаниям Б. Б. Пиотровского (2009: 102), «особенно неприятное впечатление произвела на всех "чистка" Ильина. Старый и очень уважаемый ученый стоял перед всеми, подперев руками голову (он был частично парализован), а на него нападали бойкие ребята А. Н. Бернштам и Е. Ю. Кричевский...», Ильин был вычищен по первой категории — без права поступления на другую работу. Это также означало лишение гражданских прав и продовольственных карточек. Оставлять ли на работе в Эрмитаже археолога-византиниста Л. А. Мацулевича, виновного в том, что он был сыном жандармского полковника, решали работницы табачной фабрики им. Урицкого, уполномоченные проводить чистку в Эрмитаже. Позже наиболее абсурдные обвинения были сняты и как раз эти «вычищенные» восстановлены.

Связи с зарубежной наукой были разорваны, публикация статей за рубежом была практически пресечена, а большая часть исследователей в этой ситуации сама убоялась публиковаться в зарубежных изданиях.

В 1931 г. подготовка кадров для идеологических дисциплин, в том числе и археологии, была выведена из университетов в самостоятельные Институты Философии, Литературы и Истории — Московский и Ленинградский (МИФЛИ и ЛИФЛИ). Это было сделано в порядке специализации на практических нуждах, но и для более жесткого контроля за особо идеологически важными науками — власти не доверяли университетам. В ГАИМК направляются руководителями в помощь Марру сотрудники Коммунистической академии (не путать с Академией наук!) Ф. В. Кипарисов и С. Н. Быковский. Кипарисов, получив филологическое образование и даже слушая в прошлом лекции Жебелёва, до Комакадемии работал профсоюзным функционером. Быковский пришел в революцию недоучившимся студентом-математиком, в годы Гражданской войны был комиссаром, затем короткое время сотрудником ЧК (Чрезвычайной Комиссии — предшественника КГБ), в Комакадемии стал историком. В РАИМК прибыл из Вятского пединститута. В аспирантуру был принят отличившийся следователь ЧК. Он занялся разработкой криминалистических методов исследования функций кремневых орудий — в противовес вещеведческим штудиям типологов. Это был Сергей Аристархович Семенов, известный впоследствии всему археологическому миру как создатель функционально-трассологического метода.

Марр выступает на XVI партсъезде с приветствием Сталину на грузинском языке, и Сталин в своем докладе дважды провозглашает идею о будущем слиянии всех языков в один — идею Марра. Марр вступает в большевистскую партию, и его учение становится обязательным для всех языковедов в СССР — «новое учение о языке», содержащее положения о скрещении языков как основном процессе языкового развития и о революционных скачках, преобразующих одни языки в другие, другого семейства.

В Ленинграде ученик Спицына Владислав Иосифович Равдоникас выступил с заказанной руководством программной работой. Доклад его назывался «Археологическое наследство» (1929), а напечатан был в виде книжки «За марксистскую историю материальной культуры» (1930). Она содержала негативную оценку дореволюционного состояния российской археологии как эмпиристской и узко-вещеведческой, а ее направления трактовала как классово обусловленные. Вся она была наполнена резкими критическими выпадами против многих современных археологов за их неумение или нежелание работать по-новому. В соответствии с ленинским названием Академии предлагалось строить науку о древностях как историю материальной культуры.

Это, однако, вызвало сомнения. Иван Иванович Смирнов (впоследствии видный историк) написал статью «Возможна ли марксистская история материальной культуры?». Маркс и Энгельс вообще ведь почти не употребляли термина «культура», и марксисты должны распределять весь материал по социально-экономическим формациям (первобытная, рабовладельческая, феодальная и т. д.), а орудия пусть фигурируют в этом плане не как материальная культура, а как техника.

Увлеченная только начатой перестройкой и «социологизацией» и не приспособленная к насущным задачам, РАНИИОН не уловила всех этих веяний и была упразднена. Часть московских археологов была влита в ГАИМК, став ее московским отделением. В «новых методах» Арциховского усмотрели бухаринские идеи (Бухарин тогда уже не был в числе вождей, а возглавлял в Ленинграде один из институтов Академии наук — истории естествознания и техники).. Кроме того, нехорошо было отвергать этнографию: ведь периодизация Моргана была одобрена Энгельсом. Да и вообще стоит ли марксизму признавать такую вещеведческую науку — археологию? Можно ли в принципе сделать ее марксистской? Критика со стороны ленинградцев была обобщена Быковским в его докладе на Всероссийском археолого-этнографическом совещании: «Возможна ли марксистская археология?» (1932). Быковский вообще предложил ликвидировать деление наук по видам источников — они ведь только зеркало, в котором отражается материал и не влияют на характер отражения. На характер влияет классовое авторство источника, а в остатках жизнь отражается одинаково, и надо делить науки соответственно эпохам, в конечном счете — по социально-экономическим формациям. Но, упраздняя археологию, он примирялся с необходимостью оставить археологов, владеющих методами добывания и обработки материальных древностей.

Московским новаторам пришлось каяться. В ответ на критику из Ленинграда они (Арциховский, Киселев, Смирнов) срочно печатают статью «Возникновение, развитие и исчезновение марксистской археологии», а Брюсов добавляет «Письмо в редакцию». Они заявляют, что «археоогия теряет право на существование как самостоятельная и даже как вспомогательная наука». После одного из «проработочных» заседаний разгоряченные создатели «марксистской археологии» сорвали со стены портрет своего учителя Городцова и растоптали его. На торжественном археолого-этнографическом совещании 1932 г. проф. В. К. Никольский выступил с призывом «разрушить старую археологию, не оставляя от нее камня на камне». Однако

совещание не приняло эти лозунги и признало за археологией право на существование в качестве вспомогательной источниковедческой дисциплины (Резолюция 1932).

Таким образом, самый предмет археологии и ее название были поставлены под сомнение: не сужают ли они возможности использования памятников, не отрывают ли древности от современности, не затушевывают ли информацию о производстве — определяющем факторе исторического развития? Археологию перестроили и переименовали в историю материальной культуры, но даже в таком виде она вызывала неудовлетворенность возможным отрывом вещей от идей. Начавшееся еще раньше и всё более усилившееся «распредмечивание», растворение археологии приводило к тому, что ею занялись историки (ак. С. А. Жебелёв и Ю. В. Готье, новоиспеченный историк С. Н. Быковский), этнологи-этнографы (С. И. Руденко, С. П. Толстов), филологи (ак. Я. Марр, А. Я. Брюсов). Это обогащало археологию идеями, но вливало в археологические занятия струю просвещенного дилетантизма.

Вдохновленные Марром ленинградские сотрудники Академии истории материальной культуры С. Н. Быковский, В. И. Равдоникас, М. Г. Худяков, Е. Ю. Кричевский и др. перенесли в археологию идеи «нового учения о языке» и построили в ней «теорию стадиальности». Согласно ей, совокупное общество развивалось повсеместно путем революционных скачков со стадии на стадию, перестраивая под воздействием экономики социальные структуры, причем перестройка эта приводила к этническим преобразованиям: яфетиды (кавказоязычные) киммерийцы без всякого стороннего воздействия превратились в скифов (которые, как теперь ясно, ираноязычны), скифы — в германоязычных готов, а те — в славян. Так рисовал развитие причерноморского населения Равдоникас в своей большой статье «Пещерные города Крыма и готская проблема в связи со стадиальным развитием Северного Причерноморья» (1932). Двое молодых археологов, А. П. Круглов и Г. В. Подгаецкий, рассматривали по стадиям бронзовый век, наполняя стадии социальным содержанием («Родовое общество степей Восточной Европы», 1935). Скрещения не отвергались, но их теоретическая функция как-то испарилась.

В трактовке Генинга (1982: 180–190) теория стадиальности совершенно отделяется от Марра и отождествляется с давним использованием термина «стадия» эволюционистами и с марксистской схемой социологических этапов развития по формациям. Да, у них

(или революционном) развитии по этапам, но специфика теории стадиальности именно в гиперболическом и упрощенном, схематическом понимании скачкообразности развития, в наполнении этой схемы этническим содержанием и полном отрицании миграций и влияний, в повсеместном автохтонизме. Это было тем новшеством, которым молодые археологи-марристы дополнили идею смены социально-экономических формаций, наложенную на старое представление о развитии по стадиям. В этом был смысл теории стадиальности. Теория стадиальности не была простым терминологическим переодеванием традиционных построений.

В годы, когда надо было по-новому цементировать многонациональное государство, признавая в то же время права наций и национальных культур на существование, теория стадиальности как нельзя лучше соответствовала государственной политике большевиков, нивелируя своеобразие народов и объясняя локальные различия не столько этническими традициями, сколько уровнем развития.

Разумеется, ленинградские активисты не отставали от москвичей, добиваясь марксистского звучания своих археологических работ. Если москвичи упирали на разработку экономического смысла археологических категорий (орудия, жилища, поселения), то ленинградцы искали путь к марксизму в «идеологических» древностях — в статуэтках (Ефименко 1931), погребениях (Равдоникас 1929; Артамонов 1934; Круглов и Подгаецкий 1935). В периодике ГАИМК этого времени теоретические статьи и рецензии (обычно разгромные) составляли 47% материалов, частнонаучные статьи — 35, публикации полевых отчетов — 17,5.

Эту перестройку, занявшую пятилетие 1930–1934, М. А. Миллер в своей книге 1955 г. именует «революцией в археологии», видя в ней запоздалое распространение Октябрьской революции на археологию и признавая за революцией только разрушительные функции. Если же научную революцию понимать как смену идей, как создание новой парадигмы, то надо признать, что эта революция началась со второй половины 20-х гг. и продолжалась (действительно, в резко изменившейся обстановке) в первой половине 30-х. Поначалу молодые ученые, марксистски ориентированные, стремились просто применить общие принципы марксизма (примат производства среди социальных факторов, вообще внимание к социальным вопросам и т. п.) к интерпретации археологических материалов, а после перелома на рубеже 30-х гг. — реорганизации археологических учреждений и перемены общей обстановки — суть марксистского преобразования археологии стала представляться более широкой.

Практическую реализацию установок марксистской школы в археологии, с ее поиском производственных мастерских и вскрытием мест обитания рядового населения широкой площадью, видят в обнаружении палеолитических жилищ не в естественных пещерах и гротах, а под открытым небом (первые открытия в 1928, решающие результаты в 1931 г.).

г) Революция в археологии: итоги. Оба периода революции в археологии (московский и ленинградский) означали радикальный уход от прежней археологии. В условиях острой идеологической борьбы и, так сказать, в процессе самоутверждения новое течение видело свою главную задачу в том, чтобы подтвердить и проиллюстрировать фактами археологии созданную классиками марксизма-ленинизма концепцию доклассового общества, отстоять ее (а также использованное ею учение Моргана) от скептиков, подвергнуть критике дореволюционные и зарубежные представления о первобытном и древнем человечестве. В этот период первобытное общество и последующие этапы истории рассматривались почти исключительно как социально-экономические формации, и в статьях московских и ленинградских археологов мелькали ключевые слова: «доклассовое общество», «первобытный коммунизм», «рабовладение», «феодализм», а также основные термины и формулировки Моргана и Энгельса — «род», «племя», «родовое», «дородовое», «матриархат», «патриархат», «дикость», «варварство», «военная демократия», «община», «парная семья», «возникновение государства». Была проделана огромная работа по детализации, конкретизации и развертыванию концепции, по ее приложению к разным районам и материалам, по унификации понятийной сетки, по систематизации высказываний классиков марксизма-ленинизма.

Возможно, в силу пиетета перед Морганом в этой концепции были некритически переняты некоторые методические приемы классического эволюционизма (произвольный подбор пережитков, свобода этнографических и археолого-этнографических параллелей). Раннее человечество воспринималось как совокупное общество, одинаково проходящее повсюду одни и те же этапы социально-экономического развития. Этнические и местные различия игнорировались, изучение их осуждалось как «буржуазный» подход. Древний человек представал как существо, целиком поглощенное трудом и подлаживанием структуры своего коллектива (семьи, родоплеменной или территориальной общины, народности) и способов распределения благ к задачам организации производства.

При всей упрощенности эта концепция, если суммировать оба ее варианта — московский и ленинградский, — открывала исследователям не замеченные ранее аспекты далекого прошлого — внезапные качественные преобразования в культуре, внутренние источники развития, роль усовершенствований техники производства для всего социокультурного развития, отражения социальных отношений в материальной культуре и др. Важно, что вообще изучалось развитие, прогресс — и это в то самое время, когда в науке Запада (особенно в Америке) исследователи, всячески вытравливая традиции эволюционизма, утратили из вида эту перспективу.

Резко возросло внимание к социально-экономической проблематике. Соответственно, с конца 1920–1930-х гг. сменились объекты исследований — археологи-античники перешли к раскопкам поселений и городов (столичные Пантикапей, Фанагория) и малых городов Боспора (Ольвия, Херсонес и др.), палеолитчики занялись раскопками широкой площадью и открыли жилища. Обязанность марксистов изучать историю «производительных сил» обратила археологов к раскопкам памтяников, на которые раньше не обращали внимания — изучение рыбозасолочных комплексов, керамических мастерских, земельных наделов и следов пахоты.

Недавно вышла толковая книжка О. С. Свешниковой (2009), где рассмотрены детально теоретические и методические принципы советской археологии в основном 30-х гг. Кроме указанных в моем «Феномене» «теории стадиальности», принципа автохтонности, метода восхождения и комплексного метода, там также рассматриваются еще три — ретроспективный метод, метод этнографических параллелей и принцип трудовых затрат. Из них два первых не специфичны для советской археологии — они наличны у Косинны и в эволюционизме, а последний хоть и связан с марксистским интересом к экономике, но не специфичен для марксизма (он интенсивно используется Ренфру). Однако все они действительно применялись в советской археологии с середины 20-х гг.

Теоретическая работа над всей этой оригинальной концепцией продолжалась недолго — примерно до середины 30-х гг. В то же время — из песни слова не выкинешь — адепты этой теории аттестовали ее как исключительную представительницу марксизма в археологии и единственно возможную, единственно верную. На западную науку молодые энтузиасты смотрели заносчиво и пренебрежительно — сверху вниз, с полным сознанием собственного превосходства. Отношение к зарубежным ученым было однозначно враждебным. Всех

их скопом зачисляли в лагерь реакции (Богаевский 1931; Брюсов 1933 и др.). Согласие с ними в чем-либо трактовалось как политическая близорукость или проявление тайных симпатий к капитализму.

Увлечение теорией закончилось внезапно в один день — 1 декабря 1934 г.

8. Советская археология (1934–1991)

а) В тисках сталинской державы (1934–1956). 1 декабря 1934 г. был убит Киров, партийный правитель Ленинграда, второе после Сталина лицо в партийной иерархии страны, его прокламируемый друг и — возможный соперник. Убийство если и не было организовано Сталиным, то уж во всяком случае было использовано им для полного физического уничтожения партийной оппозиции — путем развертывания в стране массового «ответного» террора. Сталин ввел драконовские законы и отменил остатки правовых гарантий личной безопасности. Были быстро уничтожены все представители «ленинской гвардии», почти все делегаты XVI съезда партии (1930 г.), весь генералитет армии, часть руководства науки и т. д. Особенный размах все эти репрессии верхов получили в 1937 г. (низовые шли и раньше). Террор был использован в первую голову против партийных кадров, обладавших навыками самостоятельности и некоторыми претензиями, но охватил также массу случайных людей — просто для того, чтобы нагнать страх на всех и привести всех к беспрекословному послушанию и угодничеству. Периодически «ликвидировались» и сами каратели — чтобы не набирали излишнюю силу. В стране был установлен культ Сталина. Тиран был, как водится, капризен, коварен и неимоверно подозрителен.

Репрессии затронули многих археологов (некоторых еще и раньше: Б. С. Жуков погиб в лагере или вскоре после освобождения ок. 1930 г.). Одни погибли в застенках карательных органов и лагерях (А. А. Миллер, Г. И. Боровка, А. А. Захаров, Ф. И. Шмит, расстреляны Б. Э. Петри, Н. Е. Макаренко, М. Г. Худяков, В. С. Адрианов, а также и заместители Марра С. Н. Быковский и Ф. В. Кипарисов), другие покончили самоубийством до (в ожидании) или после ареста (П. С. Рыков, С. А. Теплоухов), третьи томились в лагерях и ссылке (Н. П. Сычев, С. И. Руденко, Б. А. Латынин, М. П. Грязнов, Г. А. Бонч-Осмоловский, Ю. В. Готье и мн. др.). Иметь научные позиции стало смертельно опасно, и теоретические исследования мгновенно прекратились.

В обиход вошло зловещее словечко «вредитель» и равнозначащее — «враг народа», а обличительский раж переродился в тайное

и явное доносительство. Тайными доносами на научных оппонентов и соперников не брезговали и весьма известные ученые (их имена сохранила устная традиция, не всегда достоверная).

Марр последние годы своей жизни пребывал в страхе и депрессии. Когда к нему утром постучал его коллега, он увидел академика забравшимся под кровать — настолько тот опасался ареста. Вскоре Марр умер (1934) и был с помпой похоронен — как крупный государственный деятель, вдоль процессии шпалерами стояли войска. Его замы — Кипарисов (этот и сменил его), Быковский, только недавно насаждавшие марксизм в ГАИМК, — один за другим уходили на расстрел.

В обстановке соревнования с Западом очень поощрялось восхваление успехов социализма, достижений советской науки. Именно с этого времени в нашей археологической литературе привился тот своеобразный апологетический жанр — статьи и брошюры об успехах советской археологии. Подобного жанра нет, кажется, нигде в мире. В этих условиях легче было придерживаться той точки зрения, что марксистские основы археологии уже заложены, и принципиальных новшеств не требуется. Теоретическая работа приостановилась, и некоторое время исследователи ограничивались конкретными разработками материала в намеченном ранее направлении. Как раз в это время идеи предшествующего периода (критика типологического вещеведения, внимание к функциональным связям вещей в комплексах) получили позднюю реализацию в функционально-трасологическом методе С. А. Семёнова (диссертация второй половины 1930-х, книга 1957 г.).

Незадолго до убийства Кирова этот секретарь ЦК и руководитель Ленинграда вместе со Сталиным опубликовал замечания об учебниках истории, и власти приняли специальное постановление о преподавании истории. Школа Покровского была заклеймена как «социологизаторская», и социология как наука была упразднена. Власти не нуждались в объективном анализе социальных отношений в обществе — директивы, каким его видеть, спускались сверху. Любое теоретизирование в социальных науках было заведомо опасным — может завести не туда, куда нужно, и трактовать не так, как это угодно властям. Теперь на всю страну был один теоретик — один по всем общественным наукам. Он попыхивал трубкой в своем кремлевском кабинете и имел статус непогрешимости.

Историкам было рекомендовано заниматься конкретными исследованиями, изучать факты. В 1934 г. в университетах были восстановлены исторические факультеты, а в ЛИФЛИ — кафедра

истории доклассового общества, ее первым завом был Быковский. В 1936 г. ликвидирован ЛИФЛИ, и в 1937 г. кафедра истории доклассового общества возвращена в университет (уже без расстрелянного Быковского и как кафедра археологии), в 1941 г. — ликвидирован МИФЛИ (точнее влит в МГУ). Университеты были уже не опасны: везде было внедрено полное единомыслие.

Негативное отношение к теоретической работе в исторических науках нашло выражение в некоторых аспектах развернувшейся с 1934 г. критики взглядов Покровского — в осуждении «социологизаторского схематизма», в требовании конкретности исторической картины. Это способствовало повороту археологов к эмпирическим работам описательного характера, родило тягу к детальности, академической солидности. Появились монографические разработки отдельных тем, публикации материалов.

В 1934–1937 гг. в Институте антропологии, археологии и этнографии Академии наук СССР в археологической секции работали В. И. Равдоникас, С. Н. Замятнин, А. П. Окладников, С. Н. Бибиков Д. Н. Лев; исследователем-консультантом в нее был приглашен В. А. Городцов (см. Кузьминых и Белозерова 2011б). Она находилась как бы на отшибе политических событий, в ней было меньше известных партийных активистов (до прихода Быковского, уволенного из ГАИМК; Равдоникас вообще был беспартийным) — и, соответственно, меньше арестов — в отличие от ГАИМК, где за годы Большого Террора руководство не раз сметалось репрессиями. Когда в 1936 г. было разрешено создать новый археологический альманах, это разрешение получила не дискредитированная ГАИМК, а археологическая секция Института антропологии, археологии и этнографии АН СССР. Альманах был назван «Советская археология». Формула была найдена — не «марксистская археология», не «история материальной культуры», а *советская археология*, т. е. археология советской державы — отличная от дореволюционной и от западной, но не слишком воспаряющая к теоретическим высотам.

В 1937 г. ГАИМК была превращена в новое учреждение — Институт истории материальной культуры (ИИМК) в составе Академии наук СССР. С самим существованием археологической Академии было покончено. На ее месте возник рядовой, даже заштатный академический институт. Он выдвигал гораздо меньше претензий и пользовался гораздо меньшим влиянием, но зато был чисто археологическим. Археологи вернулись к эмпирическим работам описательного характера и к эмпирическим обобщениям.

Таким образом, восстановлены были в правах источниковедческие задачи и сам термин «археология» — этот процесс начался в середине 30-х гг. появлением кафедр археологии в университетах и альманаха (затем журнала) «Советская археология» и завершился в начале 60-х гг. переименованием головного академического Института истории материальной культуры в Институт археологии.

В связи со всеми этими изменениями воспряли духом москвичи, прежние создатели «марксистской археологии». Они перестроились, переориентировали свою археологию с социологии на историю — благо при эмпирическом подходе стало очень легко строить исторические реконструкции на археологических материалах, без обращения к этнографии — по здравому смыслу (т. е. современному опыту) и письменным источникам — и, конечно, в марксистском ключе. «Археология — это история, вооруженная лопатой», — провозгласил Арциховский, ставший к этому времени заведующим кафедрой археологии Московского университета. Связи с иностранными археологами были чрезвычайно затруднены и стали опасными — наша наука была отрезана от мировой.

Но в раскопках советских археологов появились некоторые существенные положительные новации, стимулированные марксистскими установками. От сосредоточения на раскопках могильников археологи в массе перешли к широкомасштабным раскопкам древних городов и поселений, а также грунтовых могильников. В противовес прежней охоте за сокровищами поощрялась обработка рядового материала. Был выделен ряд новых археологических культур. На основе сплошного обследования территорий создавались подробные археологические карты.

В стране работало уже ок. 300 экспедиций в год. Усилилось и введение археологических материалов в научный оборот (за 1918–1940 гг. опубликовано ок. 8 тыс. работ — сведения: Шер 1965; Винберг и др. 1965). Был создан коллективный обобщающий труд по первобытной и ранней истории СССР (Артамонов 1939), появились стабильные вузовские учебники по археологии и первобытной истории (Равдоникас 1939; Арциховский 1940). Особенно возросли знания о древнем прошлом бывших окраин царской империи (Кавказ, Средняя Азия, Сибирь). На них теперь обращали особое внимание, ради культурного подъема прежде отсталых народов окраин и дабы благоденствие нерусских национальностей при советской власти было очевидным. Открыты были памятники Урарту, курганы Триалети и Пазырыка, древний центр парфян — Старая Ниса и др. (Монгайт 1955; Шелов 1970).

Становилось всё труднее игнорировать это разнообразие, втискивать всё и вся в рамки универсальной схемы.

Война нанесла новый удар по российской археологии. Прервалась экспедиционная деятельность, многие археологи ушли на фронт, немало их сложило головы. Нашествием было уничтожено огромное количество музейных коллекций, часть была вывезена в Германию, и некоторые из этих также утеряны безвозвратно. Во время войны часть известных сотрудников ИИМК умерла от голода в Ленинградской блокаде (академик С. А. Жебелёв, Б. Л. Богаевский, Г. В. Подгаецкий, А. Н. Зограф, Е. А. Рыдзевская, Б. Е. Деген-Ковалевский, В. В. Гольмстен и др.), часть удалось в истощенном состоянии эвакуировать. Во время войны центр Института был переведен в Москву, а после войны центр в Ленинград уже не вернулся, в Ленинграде же теперь существовало лишь отделение Института (Платонова 1991). Дело в том, что Сталин был одержим подозрением, будто в Ленинграде сохранялась тоска по столичному статусу и тяга к независимости. В связи с этим вскоре после войны была раскассирована и частично расстреляна вся ленинградская партийная элита.

В непосредственно предвоенные годы, а особенно в годы Отечественной войны, в связи с угрозой национальному существованию и суверенитету народов СССР резко возросло к советской науке внимание к проблемам национального самосознания, к обоснованию патриотической гордости, к поддержанию отечественных традиций. Бесславная советско-финская война и поражения первого года Отечественой войны показали слабость сталинского казарменного социализма (на деле это был военно-феодальный строй с элементами рабовладения). Сталин был вынужден прибегнуть к мобилизации патриотических чувств народов СССР, прежде всего русского народа (поскольку русский солдат составлял основу армии). Победа укрепила его в этой позиции, а «холодная война» с ее противостоянием продлила военные настроения. Из-под декларативного интернационализма стал пробиваться вполне реальный национализм разного рода (Shnirelman 1995).

Советские археологи (С. П. Толстов, П. Н. Третьяков, М. И. Артамонов и др.) обратились к прославлению национального характера русского и других «братских народов» СССР, к выявлению их этнических особенностей и различий в древности, к прослеживанию этнических территорий в далеком прошлом. И, поелику возможно, к расширению этих территорий ради применения «исторического права» на современное владение ими. Народам старались приискать

«знатных предков» — связать их генетически со славными и могучими народами древности. Снова обрели права на существование и внимание этносы, миграции, влияния, преемственность, ассимиляция и т. п. — это как раз в то время, когда на Западе под действием модного скептицизма миграции утратили кредит и перестали фигурировать в исследованиях археологов (последним всплеском популярности миграций после дискредитации Косинны была книжка Чайлда «Миграции в Европе», вышедшая в 1950 г., но представляющая собой курс лекций 1946 г.; далее до 1980-х гг. Гимбутас оставалась чуть ли не единственным известным миграционистом). Советская теоретическая литература об этносе стала одной из наиболее разработанных в мире, может быть, самой разработанной.

Всему этому марровское учение — как в археологии, так и в языкознании — никак не соответствовало и просто мешало. В 1950 г. центральной и всевластной партийной газетой «Правда» была проведена большая дискуссия по языкознанию, в которой принял личное участие «великий вождь и гениальный ученый». Сталин объявил, что Марр не был марксистом и его учение ложное. Индоевропейское языкознание было восстановлено в правах, а «теория стадиальности» отвергнута. Очередному отряду ученых пришлось каяться, но на сей раз обошлось без больших репрессий.

В древнейшем мире исследователям открылись новые аспекты, и он, не утратив типологического единства, стал более разнообразным, красочным — разноэтничным. Он стал ближе, ибо заселился «предками» — предками славян, балтов, финно-угров, иранцев, армян, германцев, тюрок и т. д. Древнейшая история наполнилась событиями и если не действующими лицами, то действующими коллективами — народностями.

По другим линиям, однако, проработка и репрессии продолжались. Патриотическое рвение подогревалось частыми идеологическими компаниями «проработки» то тех, то других интеллектуалов — формалистов, националистов, космополитов (преимущественно евреев), «очернителей», «низкопоклонцев» (перед Западом), «антипатриотических критиков» и т. п. «Проработка» нередко завершалась увольнением с работы и фактическим запретом на профессию, иногда арестом. «Холодная война» препятствовала нормальному общению ученых с зарубежными коллегами, отношение к западной археологии оставалось сугубо критическим, , хоть у некоторых, скорее на заказном, декларативном уровне (см. Монгайт 1951), а к западным

археологам в целом — установочно враждебным, хотя среди них, учитывая появление социалистических стран и влиятельность компартий, стали различать реакционных и прогрессивных.

б) Стабилизация в послесталинское время (1956–1991). «Оттепель» в археологии (1956–1964). Это было время, когда страна развивалась от оттепели через заморозки к застою. Но для археологии это было время постепенного оживления, отрезвления и стабильного развития.

Со смертью Сталина (1953) не окончилась тирания диктатора, только единоличный диктатор сменился партийной олигархией. Но доклад Хрущева на XX партсъезде, разоблачивший Сталина как деспота и лишивший власти его ближайших сподвижников, означал уже некоторую либерализацию режима — писатель Илья Эренбург метко окрестил это «оттепелью». В какой-то мере это был отход от догматизма, начетничества, смягчались перегибы, чреватые рецидивами шовинистических страстей и национальной ревности. В некотором противоречии с традициями марксизма-ленинизма было даже объявлено об отказе от диктатуры пролетариата (которой на деле и раньше не было, была диктатура над пролетариатом и всем обществом) и провозглашено было, что мы живем в общенародном государстве. Началась нормализация отношений со странами Запада. В страну зачастили иностранцы.

Всё это привело к некоторым сдвигам в археологической науке. Постепенно ослабела острота столкновений «предков» разных этносов (например, славян и германцев) на палеоисторических картах, утихла борьба за «палеоисторические права» на те или иные территории (сам принцип «исторического права» был высмеян еще К.Марксом — 1960: 276). Автохтонность все больше утрачивала свои привилегии, а миграции — свою строго центробежную направленность (из России во все стороны). Сперва в ассортимент гипотез вошли центростремительные миграции внутри современных границ страны, затем извне (с территории актуально дружественных стран) и, наконец, из любых дальних очагов. Поиски таких очагов стали для некоторых предметом задорного щегольства и увлечения, как бы компенсируя обязательную прежде сдержанность в этом плане.

Доверие к ранее авторитетным и, казалось, стабильным автохтонистским схемам этногенеза растаяло (Третьяков 1966: 119; Артамонов 1967: 30-32), и даже сама методика, по которой они строились, была поставлена под вопрос (Клейн 1955; Монгайт 1967). Еще важнее,

что проявления самокритичности коснулись самой иерархии исследовательских задач: сначала были ликвидированы диспропорции (впрочем, кратковременные) в распределении мест для разных отраслей палеоистории по их близости к ведущим этносам современности — со славянами на первом месте (Рыбаков 1957а); славянорусская археология теперь не выпячивалась. Затем раздались призывы отказаться от деления предков каждого народа на «главных» и «второстепенных» и от назойливого преобладания этногенеза в тематике исследований вообще (Монгайт 1967).

В то же время уверенность в превосходстве реального социализма над капитализмом, подстегиваемая успехом первых лет «оттепели», еще усилилась. Этот идеологический энтузиазм, с одной стороны, требовал реализации предполагаемых преимуществ, например, плановости, централизованной управляемости — соответственно, был запланирован и начат свод археологических источников страны, рассчитанный на сотни томов (Рыбаков 1957б). Идея Рыбакова о сводах — это реанимация планов издания такого рода источников, которые планировались Городцовым на посту руководителя археологического подотдела Музейного отдела Наркомпроса РСФСР; см. об этом: Кузьминых и Белозерова 2011а).

С другой стороны, тот же энтузиазм, как и прежде, порождал нетерпимость к инакомыслию, к «пережиткам низкопоклонства перед Западом». Испуг перед венгерским восстанием 1956 г. и новочеркасским 1962 г. заставлял поддерживать накал борьбы с «западной агентурой». Коммунистическая борьба с религией давала новые вспышки, что скверно отражалось на церковных древностях. А крестьянской хватки и сметки нового вождя хватало лишь на решительные, но неглубокие и непродуманные преобразования. Значение фундаментальных наук он недооценивал, да и вообще интеллигенцию не понимал и все чаще вступал с ней в конфликт, но — с позиций абсолютной власти, так что это, конечно, сковывало исследования. Археология же входила в число тех наук, которые он, вероятно, втайне считал бесполезными.

Во главе Института истории материальной культуры с 1956 г. встал академик Борис Александрович Рыбаков, представитель славянорусской археологии, сделавший себе имя в предшествующий период на реализации патриотических идей в археологии (разработкой и возвеличением древнерусского ремесла и т. п.). С этого же времени (1957) альманах «Советская археология» сменился журналом «Советская археология», выходившим 4 раза в год (под редакцией

А. В. Арциховского), а с 1959 г. решено было окончательно оставить идеологические игры с историей материальной культуры и Институт был переименован в Институт археологии.

в) Стабилизация в послесталинское время (1956–1991). Археология «разрядки» и «застоя» (1964–1991). В 1956 г. Хрущев подавил венгерское восстание, в 1962 г. — новочеркасский мятеж, в последующие годы громил в своих выступлениях интеллектуалов. И всё же в середине 1960-х Хрущев был устранен от власти дворцовым переворотом, так как олигархия сочла его эксперименты опасными для режима. Чтобы оправдать переворот, было декларативно объявлено о необходимости изживать волюнтаризм, вводить научный подход. Это несколько повысило уважение к фундаментальным наукам, к методологии, обеспечивающей объективность исследований. В археологии появилась возможность развивать (с соответствующими реверансами в адрес классиков марксизма) теоретические исследования. Новый лидер Брежнев продолжал политику Хрущева на разрядку международной напряженности, и, соответственно, в археологии отношение к теориям западных немарксистских ученых стало более уважительным. Их полагалось оспаривать, но не отбрасывать с ходу, а кое-что можно было и принимать.

В эти годы уже вряд ли можно найти в советской археологической литературе декларативные и голословные призывы начисто отвергнуть «домыслы» западных теоретиков (прежде такое бывало — например: Худяков 1933; Авдусин 1953), теперь это было бы воспринято как досадный анахронизм.

Когда в 1968 г. я представил в «Советскую археологию» статью, где упоминал давнее выступление Монгайта о кризисе буржуазной археологии (Монгайт 1951), он прислал мне письмо с просьбой снять эту ссылку. Мотивируя просьбу, он выразил сожаление, что писал тогда «в таком неприятном тоне, с оскорблениями в адрес наших буржуазных коллег». «Мне даже стыдно вспоминать об этом "грехе молодости", — добавил он. — Так тогда было принято писать, и я по недомыслию писал, "как все". Хотя многое в этой статье верно, но самый тон лишает ее всякой ценности, и вряд ли стоит о ней напоминать нашим читателям» (личное письмо от 19.02.1968).

Заметное воздействие на тематику науки о древнейшем прошлом стали оказывать новые реальности: возросшая роль Советского Союза в международных делах, расширение связей с развивающимися странами Африки, Азии и Америки, озабоченность

глобальными проблемами охраны окружающей среды и сохранения мира (проблемы экологии). Сказалась на интересах историков и дискуссия о перспективах развития социалистических стран и «третьего мира» — о международном значении советского опыта строительства социализма и движения к бесклассовому обществу, о соотношении универсальных законов истории с местными особенностями. Наконец, выход человека в космос поставил перед учеными проблему уникальности человечества; сказалась и проблемная ситуация, возникшая в связи с созданием ЭВМ и возможностями «искусственного интеллекта».

Круг интересов советских исследователей заметно расширился, центр сместился в область антропогенеза и социогенеза. На первый план выступили такие темы, как происхождение мышления и речи, происхождение искусства, происхождение и суть культуры и цивилизации. Падение авторитета некоторых традиционных концепций (например, автохтонистской схемы этногенеза славян) и появление существенных разногласий в трактовках конкретного материала на базе одной марксистской философской методологии привели к мысли, что корень разногласий — в неразработанности археологической теории.

Восстановление социологии в семействе общественных наук в СССР, вызванное необходимостью научного решения современных социальных вопросов, привело мыслящих ученых к осознанию того факта, что исторический материализм выступает по отношению к ряду наук как общефилософская теория, не рассчитанная на решение конкретных задач данной науки, а последней требуется еще и собственная, частнонаучная теория. Снова интенсифицировались теоретические исследования в археологии. Оживились некоторые старые дискуссии (например, об «азиатской формации» и значении локальных различий для общей типологии формаций), возникли новые (например, о количестве и сравнительной радикальности скачков на пути от обезьяны к человеку).

Советское государство, став в этом деле пионером, ввело законодательство, обязывающее строительные организации обеспечить предварительное обследование застраиваемых территорий, выделяя часть своих ассигнований археологам. На этой основе развернувшиеся уже в 50-е гг. и последующие десятилетия огромные новостройки (каналы, водохранилища, мелиорация и др.) повлекли за собой колоссальную интенсификацию раскопочных работ и бурный рост накопленных археологических материалов. Ежегодное количество

экспедиций возросло до 500 к середине 50-х; в 1985 г. было проведено без малого 700 экспедиций. Количество публикуемых ежегодно работ выросло за десятилетие 1950–1960 гг. в 1,5 раза, за следующее — еще в 2 раза. К середине 70-х ежегодный выпуск достиг 3 тыс. работ, а общий фонд накопленной советской археологической литературы — 50 тыс. публикаций. Если за всё время с 1918 по 1940 гг. было выпущено 8000 книг и статей по археологии (Шер 1965: 326; Винберг и др. 1965), то в 80-е гг. выпускалось по 4000 работ в год (см. последующие тома советской археологической библиографии).

Старые методы обработки информации уже не годились — потребовалась математическая обработка, а это изменяло критерии объективности и логическую структуру исследований. Уже в 1965 г. вышел сборник, суммировавший достижения в этом плане (Колчин и Шер 1965).

Прежнее безраздельное преобладание двух-трех центров в археологии (Москва, Ленинград и Киев) при некоторой автономии республиканских центров (Тбилиси, Ереван, Ташкент и др.) стало подрываться ростом нескольких областных центров. Первым из них был Новосибирск, где был создан отдельный центр Академии наук, с Академгородком. Решение о создании Академгородка было принято в 1957 г., в 1959 г. построен первый институт, с 1966 г. — Институт истории, философии и права с сектором археологии. Там был организован университет, некоторые академики поселились там, появились новосибирские археологические издания. Затем стали пробиваться к известности другие центры — Казань, Уфа, Пермь, Свердловск, Ростов-на-Дону...

Однако «пражская весна» 1968 г. напугала брежневское руководство, и интеллектуальный климат в стране посуровел. Критика сталинизма была свернута, либеральные идеи стало труднее выражать в печати, дискуссии не приветствовались.

Используя государственные дотации, плановость и централизованную организацию всей археологической деятельности в стране, академик Рыбаков организовал выпуск 20-томного обобщающего издания «Археология СССР» и «Свод археологических источников» в несколько сотен томов (с большими недостатками успел осуществить только часть задуманного).

Сам он вскоре отошел от археологических исследований и занялся больше историей, письменным источниковедением, фольклористикой, религиеведением. Это никого не смущало. С самого основания РАИМК — Институт археологии возглавлялся не профессионалом-

археологом. С Н. Я. Марра началась традиция поручать руководство головным археологическим учреждением страны неспециалисту — за Марром последовали его замы историк Ф. В. Кипарисов и скороспелый историк со средним физико-математическим образованием из вятской провинции С. Н. Быковский, возглавлял Московское отделение института и видный историк А. В. Мишулин, до Б. А. Рыбакова долго на этом посту был историк А. Д. Удальцов, а после Рыбакова — антрополог В. П. Алексеев. Власти интересовала не столько профессиональная компетенция руководителя, сколько его благонадежность и политическое мастерство. Он должен был обеспечить идеологическую выдержанность курса и спокойствие во вверенной ему отрасли.

Собственные идеи Рыбакова об исконном проживании славян на территории Киевской Руси, о древней, в несколько тысячелетий, государственности на этой территории, об их «знатных предках» — скифах-сколотах — не находили признания у других археологов. Его гипотеза о полуторатысячелетнем возрасте Киева была более чем спорной — культурный слой в Киеве не прослеживался глубже девятого века, но возражения оппонентов должны были умолкнуть, когда на основании рыбаковской гипотезы Правительство СССР и Политбюро партии приняли постановление о праздновании полуторатысячелетнего юбилея Киева.

В отличие от предшествующих периодов, в брежневское время никакие гонения на инакомыслящих не могли унять попытки исследователей (в том числе и археологов) выбиться за отведенные идеологией пределы. На любой научной дискуссии раздавались голоса противников одобренной руководством точки зрения, хотя им и трудно было прорываться в печать. Бывало, что в оппозиции к руководству оказывались две-три видные фигуры, и тогда, скрепя сердце, приходилось признать две-три трактовки допустимыми. В Москве В. В. Седов (1970, 1979) разрабатывал особую концепцию происхождения славян. В Ленинграде Эрмитаж стал центром осознания подлинной роли готов в истории нашей страны (Щукин 1977, 1979); университетская группа (автор этих строк и его ученики) в 60-е гг. отстаивала значительность норманнского участия в сложении русского государства (Клейн, Лебедев, и Назаренко 1970). Кое-где теоретические и историографические обзоры переросли в переосмысление и критическую переоценку прошлого нашей науки и ее настоящего (Клейн, 1977а; Klejn 1977; Формозов 1977;

Вообще такие науки, как археология, культурология, социология, лингвистика, фольклористика, в это застойное время все-таки были областями брожения умов, здесь что-то совершалось, и специалистам этих отраслей завидовала молодежь смежных дисциплин.

Отношение к этому периоду впоследствии поляризовалось. Для верхов советской археологии, близких к власти, это было благословенное время. Стоит обратиться к статье В. И. Гуляева и Л. А. Беляева (1995), заправлявших головным журналом (он теперь из «Советской Археологии» стал «Российской Археологией»), а Гуляев возглавил и сектор теории в Институте археологии в Москве.

«Едва обернувшись назад, — пишут эти авторы, — ощущаешь опасность впасть в ностальгическое любование "прекрасной эпохой". Ведь приходится признать, что в эти годы положение археологии, — во всяком случае, ее общественное положение, — было довольно благополучным. <...> Во-первых, археология официально входила в систему общественных, исторических наук, призванных служить основой советской ("марксистской") идеологии. Это обеспечивало нашей науке поддержку государства, хотя и накладывало на нее, как и на все общественное знание, определенные обязательства. Впрочем, обязательства эти не были особенно обременительными... Говоря в самой общей форме, археология помогала доказывать и пропагандировать материалистическое понимание истории. Очень важно при этом отметить, что получалось это у археологии, в отличие от многих других исторических дисциплин? довольно естественно и солидно...» (Гуляев и Беляев 1995: 97–98).

Советская империя, отмечают они, уделяла значительные средства археологии и обладала стройной и разветвленой системой археологических учреждений.

С течением времени — чем дальше, тем больше — брежневское правление приобретало черты застоя, стагнации и, наконец, старческого маразма. Критика сталинизма, активная в хрущевские времена, теперь всячески зажималась. Инакомыслие, порожденное «оттепелью» 60-х, подавлялось с чрезвычайным рвением, а поощрялись консервативные и охранительные тенденции. Выискивая малейшие поводы для самовосхваления и самонаграждения, брежневский истэблишмент обожал всяческие юбилеи. К очередным юбилеям страны, событий, организаций и лиц приурочивались очередные постановления, списки лозунгов, награды, принимались обязательства и т. п. Общественная жизнь вяло текла от одной юбилейной кампании к другой. Ввиду кризиса социалистических

ценностей, опять был сделан упор на воспитание патриотических чувств. Обозначился крен в сторону национализма как в России, так и в других республиках. Все это сказывалось и на археологии.

Более 30 лет академик Б. А. Рыбаков, украшенный позже «Гертрудой» (Звездой Героя Социалистического Труда — от «Герой Труда»), возглавлял Институт археологии АН СССР. Его идеи об исконном (т. е. в течение многих тысячелетий) проживании славян на территории Киевской Руси, об очень древней, докиевской государственности восточных славян, об их «знатных» предках — скифах-сколотах и т. д. стали наиболее привилегированной концепцией в археологии (хотя другие совсем исключить было уже невозможно). Его гипотеза о том, что Киев на несколько веков старше, чем принято считать, построена талантливо, но вязь рассуждений слишком тонка, тогда как прямые факты (культурный слой) говорят против нее, и широким признанием среди археологов она не пользовалась. Однако все возражения противников должны были умолкнуть, так как на основе гипотезы академика Рыбакова Правительство СССР и Политбюро КПСС приняли совместное постановление о пышном праздновании полуторатысячелетнего юбилея Киева, с приглашением иностранных делегаций и т. п. Разумеется, вышли монументальные археологические труды в честь юбилея, «подтверждающие» столь почтенный возраст города. Правда, до возраста Рима не дотянули, но надо же что-то оставить будущим исследованиям...

Руководство археологических учреждений не сменялось десятилетиями. Иногда во главе музеев и академических институтов, их отделов оказывались весьма цепкие старцы. (Об одной такой даме мой коллега тихо съязвил на заседании: «Для трупа она слишком хорошо держит челюсть».) Они покойно спали в президиумах, глохли, как только речь заходила о возможности выхода на пенсию, но оказывались очень чуткими к малейшим указаниям свыше и бдительными. В своих подвластных они более всего ценили не талант, а скромность и услужливость. Поэтому наверх пробивались и сменяли умерших руководителей не смелые мыслители, а заурядные работники, а то и серые дельцы (нередко через партийные должности в научных коллективах). Достижение ученых степеней и званий сильно облегчалось административным положением и начальственным расположением.

Формозов в своих книгах 1995–2005 гг. (1995б; 1996; 2004а; 2004б; 2005), глядя снизу на всю эту систему и ее жизнь, видел все иначе, чем Гуляев и Беляев. Он жаждал ориентировки на познание истины,

а не на удовлетворение идеологического заказа партии и государства. Идеологический гнет и массовые репрессии сталинского времени, правда, отошли в прошлое, но археология, как и всё в стране, была устроена по принципу административно-чиновничьего произвола, идеология продолжала насаждаться хоть и менее жесткими методами, господствовали показуха и блат, процветали угодничество и безразличие к наследию веков. Обеспеченность кадрами и средствами были гораздо меньше, чем в других государствах.

Я в своей книге 1993 г. отмечал некоторые достижения советской археологии, но в целом признавал ее отсталость и гнилость.

Разрядка напряженности закончилась под новый 1980 г., когда советские войска вошли в Афганистан. Академика А. Д. Сахарова уволили и сослали в Горький, в Ленинграде начались аресты либеральных университетских преподавателей. Однако новый зажим свобод уже не удавался: вся верхушка партийной иерархии пребывала в старческом маразме, весь режим — в застое. Партийные вожди приходили к власти уже глубокими стариками и умирали, ничего не совершив.

9. Перестройка и «лихие» 90-е. Приход к власти в 1985 г. нового лидера, сравнительно молодого Михаила Горбачева, поначалу означал только существенную либерализацию, введение умеренных свобод. Новая внутренняя политика получила название «перестройки», но на деле, кроме введения «гласности» (т. е. ограниченной свободы слова) и некоторой демократизации выборной системы, в стране ничего не изменилось. Не перестраивался общественный строй. Контроль над средствами массовой информации, над печатью, финансами, армией и карательным аппаратом, над кадрами и преподаванием оставался в руках той же единственной партии, а ее прокламируемая цель, как и цель нового лидера, была всё та же — построение социализма. Ему лишь старались придать более цивилизованное обличье. Любопытно, что в археологии за 5 лет «перестройки» ничего принципиально нового не обнаружилось, а, как можно было видеть, археология — довольно чувствительный барометр перемен.

Однако всё же начались демократические перемены, все более глубокие: переоценка традиционных идейных ценностей социализма, откровенное освещение «белых» (на деле темных) пятен отечественной истории, отмена цензуры, дискредитация многих догм и плюрализм — свобода разным немыслимым ранее политическим взглядам. Горбачев не был по натуре борцом с системой: перемены

были вынужденными, социалистическая система не выдержала конкуренции с рыночной экономикой и демократическим строем. В казне не осталось денег: всё было растрачено на коммунистические авантюры и вооружение. У людей были сбережения в банке, но это были бумажки, не обеспеченные ничем. Кормить народ было нечем. Горбачев просто был моложе «кремлевских старцев» и по наивности думал, что небольшими подладками можно спасти социализм. Он не понимал, что система держалась на штыках и запретах как единое целое: вынь кирпичик — и всё здание рушится. Ну, оно бы рушилось и без того, но несколько позже, зато обвал был бы более страшным.

За эти годы, однако, распался «социалистический лагерь». Из-за экономической неэффективности своего хозяйства Советский Союз не выдержал гонки вооружений с США и должен был уступить в борьбе за сферы влияния. Сменили ориентацию стра́ны третьего мира, затем пали все европейские социалистические режимы, а гласность и приток иностранцев, а также участившиеся поездки русских за рубеж изменили информированность населения России — для него стали очевидными экономические преимущества капитализма. Русских гостей ошеломляло обилие на полках западных супермаркетов и качество западных товаров по сравнению с убожеством и скудостью советских магазинов.

Настоящие преобразования начались в стране в бурный 1991 г., когда Ельцын был избран президентом России, когда по примеру бывших соцстран рванулись во все стороны союзные республики и развалился СССР, когда в результате августовского путча рухнула власть коммунистической партии. Новое правительство начало проводить радикальные экономические реформы — деколлективизацию, приватизацию, либерализацию цен, создание свободного рынка и частного предпринимательства. Ошибки неопытных демократизаторов в условиях резкого падения цен на нефть (основной экспорт страны), развал старой экономической системы при отсутствии новой и разрыв традиционных экономических связей между республиками и странами, вылившийся в национальные войны между некоторыми из них, оказались неожиданными спутниками демократизации, очень болезненными для населения и бедственными для археологии (характеристика ситуации есть в работах: Klejn 1992, 1994; Клейн 1995б; Гуляев и Беляев 1992).

Первое следствие этих событий для изучения древностей — образование самостоятельных национальных археологий. Отделились

все бывшие союзно-республиканские археологии — украинская и белорусская, молдавская, прибалтийские, кавказские и среднеазиатские. Это вызвало рост местных национализмов, а переход русского населения этих республик на положение национального меньшинства в другом государстве с местным национализмом коренного населения породил в русском народе чувства национального унижения, к тому же подогреваемые бедствиями, а это вызвало рост русского шовинизма и антисемитизма (Chernykh 1995). Памятники, долгое время служившие основными материалами для многих русских исследователей, а равно и соответствующие музеи с коллекциями, оказались за границей, а поездки туда — затруднительными и дорогостоящими.

Второе следствие — децентрализация в археологии. Еще раньше на основе новостроечных экспедиций начали вырастать местные центры археологии — на Урале, в Поволжье, в Сибири, на Дону и т. п. Теперь, в связи с общей децентрализацией и падением авторитета центра, их роль в изучении местных древностей усилилась. Более того, Институт археологии разделился на самостоятельные институты в Москве и Ленинграде, снова переименованном в Петербург. Петербургский институт демонстративно вернул себе наименование Института истории материальной культуры. Впервые за долгое время профессиональные археологи возглавили основные археологические институты, причем если в Ленинграде это был сначала открыватель среднеазиатской энеолитической цивилизации В. М. Массон, а потом известный славист Е. Н. Носов, то в Москве Рыбакова сменил сначала В. П. Алексеев, затем заместитель Рыбакова и Алексеева, исследователь эпохи раннего металла Кавказа и Ближнего Востока Р. М. Мунчаев, . Но теперь, когда московский институт утратил свое прежнее научное лидерство, роль руководителя свелась к организационному и хозяйственному регулированию.

Третье следствие — резкое сокращение государственных дотаций на науку, в частности на археологию. В советской России всё управлялось сверху и всё было государственным. Избавление от власти идеологов лишило археологов и привычной материальной поддержки. Пришлось искать новые источники средств — от западных фондов, от местных меценатов (по-новому «спонсоров»), от фондов, создаваемых новым государством. В обстановке экономических трудностей переходного периода это оказалось очень нелегко. Резко сократились количество и размах экспедиций, еще больше — научных публикаций. Сильно уменьшился приток иностранной

литературы в библиотеки в силу сокращения валютных ассигнований на литературу.

С другой стороны, общение с зарубежными археологами стало чрезвычайно интенсивным, а выбор методологии и направления — совершенно свободным. Переименован головной журнал: теперь, как я уже упоминал, он называется «Российская археология» и стал издаваться в ином формате; журнал, можно сказать, захирел, но рядом с ним возникли альманахи в Петербурге и других городах. Самым крупным и интересным на постсоветском пространстве стал толстый археологический журнал «Стратум-плюс», выходящий 6 раз в год на русском языке за границей — в Кишиневе. Восстанавливаются археологические общества, но это оказалось безуспешной затеей: исчезла та среда, которая поставляла членов для этих обществ и делала эти общества сильными и влиятельными. А новые свободные предприниматели еще не имеют ни силы, ни ответственности, чтобы поддерживать археологию, хотя отдельные случаи спонсорства уже есть.

С конца 80-х и в России обнаружился взрыв интереса археологов к истории собственной науки, уже ранее охвативший археологию на Западе. Но там это было следствием скептической рефлексии, усомнения в состоятельности «больших теорий», а здесь это был результат переосмысления всего пути развития археологии в России. Открыты были закрытые и труднодоступные ранее архивы, рассекречены многие документы, разрешены самостоятельные оценки и разные мнения. В результате появились гораздо более откровенные книги А. А. Формозова, Л. С. Клейна, И. В. Тункиной, И. Л. Тихонова и многих других, в Москве историографы сплачивались вокруг Формозова, в Петербурге у И. Л. Тихонова в возглавляемом им Музее Университета стал регулярно работать историографический семинар.

Надо признать, в целом археология оказалась неготовой к этим переменам. Развиваясь понемногу в условиях общего застоя, она приспособилась к маленьким шажкам, мелким подвижкам и совершенно растерялась перед открывшейся бездной проблем. Академик Рыбаков, властно и уверенно державший археологию в послушном состоянии на службе партии, наложил неизгладимый отпечаток на структуры и кадры. Когда его сменил новый директор, академик В. П. Алексеев, известный антрополог, вокруг осталась та же команда и та же сложившаяся среда. По инерции всё шло по-старому, но все ждали чего-то нового.

Археология не была готова к переменам. Но многие археологи были готовы, и основу для этой готовности им дала сама их

наука — давнее брожение в ней, деятельность фрондеров и уклонистов, трудновоспитуемых и свободомыслящих. Неслучайно кое-где во главе новых демократических и национально-освободительных движений встали археологи. В Прибалтике это общества охраны памятников культуры. В Белоруссии археолог Зенон Позняк возглавил общество «Мартиролог Белоруссии», открыл и раскопал места захоронений жертв НКВД (=Народного Комиссариата Внутренних Дел) в Куропатах. В Ленинграде археолог Г. С. Лебедев оказался в числе руководителей общества «Мемориал», а молодой археолог А. А. Ковалев стал лидером группы «Спасение», которая в борьбе против сноса исторических домов города (в частности, дома Дельвига и гостиницы «Англетер») начала проводить первые в городе массовые митинги и пикеты. Оба, Лебедев и Ковалев, вошли в новый, демократический Ленсовет в качестве его руководящих деятелей (возглавили комиссии). Еще пять археологов баллотировались в депутаты, большей частью от демократических организаций...

По-видимому, в недрах застоя выросло поколение, чуждое застою.

Оставшееся в верхах прежнее руководство растерянно печалилось. Нужно было менять идеологические орентиры (атеизм на религиозность, интернационализм на шовинизм), но это было не так страшно — было подозрение, что вообще новые власти не нуждались в идеологическом обслуживании. Как доказывать свою необходимость? Сменились правила собственности на землю и древности, исчезла централизация... Беляев и Гуляев (1995: 104) констатировали «кризис археологии».

С другой стороны, демократизация и впрямь не приносила ожидаемых улучшений сразу.

Конечно, связи с заграницей возросли, препоны к выезду исчезли, но зато экономические возможности поездок за границу у наших археологов оказались очень скудны, и часто люди испытывали унизительную зависимость от иностранных ассигнований. А для выезда надолго появились препоны с той стороны — запреты на иммиграцию и подозрения, что все гости — это потенциальные иммигранты, жаждущие убежать от российских потрясений и трудного быта в западное царство спокойствия и изобилия. Действительно многие ученые ринулись на Запад, однако археологов среди них было очень мало (Лесков, Долуханов, Шилик и еще несколько человек). Некоторые покинули археологию, сменив профессию, — ушли в бизнес. Остальные вошли в массу обездоленных и недовольных (Клейн 1995б; Klejn 1992; 1994; Шер 1999).

В начале 90-х провал путча сторонников старого режима привел к распаду Советского Союза, к отделению союзных республик — прибалтийских, среднеазиатских, славянских, Казахстана и Молдавии. Россия разом ужалась до границ допетровской Руси. Советская власть пала, в магазинах появилось обилие продуктов, но нищенский уровень народных масс не мог повыситься сразу. Разрушение плановой экономики привело к остановке производства и сельского хозяйства. Введение свободного рынка означало скачок цен и ликвидацию сбережений (впрочем, фиктивных — не обеспеченных реальным достоянием).

Еще важнее была моральная неподготовленность всего народа. При советской власти какой-то минимум был обеспечен каждому без усилий, а в условиях свободы для заработка нужно было проявлять инициативу и энергию. За 70 лет советской власти народ от этого отвык. Люди растерялись. К тому же из лагерей вышли не только политические заключенные, но и многие уголовники. Вместо советского порядка, пусть и мертвенного, население столкнулось с разгулом криминала. Появилась масса недовольных «либерастами» и «дерьмократией». Это создавало базу для ностальгии по социализму. У водителей появились портреты Сталина в кабинах.

Развал империи означал обострение самых разных националистических настроений (сепаратистских и великодержавных), столкновение региональных интересов, кризис интернационализма (Chernych 1995; Шнирельман 2001; Shnirelman 2001).

10. Археология «нулевых». В отличие от денацификации в Германии, у нас декоммунизация не была проведена, и установилось если не двоевластие, то двоемыслие. Особую опасность представляли реваншистские настроения, питаемые чувством национального унижения в связи с потерей империи и утратой великодержавности. Тоска по «крепкой руке» и ностальгия по сталинскому величию создали условия для восхождения к вершинам власти офицера КГБ В. В. Путина. Подоспели усмирение Чечни и некоторая стабилизация экономики за счет доходов от экспорта нефти (удачно и без всяких усилий со стороны России выросли цены). Это позволило Путину приступить к завинчиванию гаек — сковыванию демократических институтов. На экономику и быт это оказало скверное воздействие (гигантская коррупция, показуха, воровство на всех уровнях, бездействие), но всё это маскировалось взлетами доходов от нефти — распродажей национальных запасов страны.

Власть мгновенно срослась с крупным сырьевым бизнесом. Ориентация экономики на экспорт сырья и компрадорскую роль в торговле привела к тому, что для власти и крупного бизнеса фундаментальная наука оказалась не нужна: своей промышленности и сельского хозяйства практически нет. Даже военная промышленность в упадке.

В этих условиях археология оказалась в трудном положении. С одной стороны, власть отказалась от поддержки науки в большом масштабе. Российская наука, которой в советское время власти старались обеспечить паритет с американской хотя бы в некоторых отраслях, сразу откатилась на уровень науки захудалых стран «третьего мира». Начался «отток мозгов» из физики, математики, биологии и т. д. на Запад (Клейн 2009). Бюджетное финансирование археологии почти прекратилось. С другой стороны, благодаря нефтяным деньгам, вкладываемым в крупное строительство (дороги, каналы, новые кварталы городов), археология (новостроечная) получила тот канал финансирования, которого естественные науки не имеют. Поэтому после катастрофического спада полевой активности в 90-е гг. наблюдается беспримерный рост в «нулевые» (2000-е) (Сорокина 2008).

Зарплаты археологов, однако, особенно вне полевой деятельности, остаются на уровне массы других ученых, то есть нищенскими. Многие вынуждены подрабатывать в других сферах жизни — водителями, торговыми агентами, грузчиками. Некоторые ушли из археологии, чтобы содержать семью. Целые школы угасают из-за иссякания притока научных кадров. Институты заметно постарели, старики умирают без адекватной смены. Столь же скудно и снабжение институтов техникой и литературой. Вообще в притоке иностранной литературы в российскую археологию можно видеть два резких спада — в годы революции и в 1990–2000-е.

Болезненно перенесла российская археология и разрыв старых связей. «Открытые листы» из Москвы отныне стали действительны только для территории Российской Федерации; Украина, Казахстан, Средняя Азия и другие резко сократили, а то и прекратили въезд российских экспедиций и запретили вывоз своих материалов в Россию. Многие российские археологи были вынуждены сменить специализацию. Ряд новых соседей (бывших союзных республик), исходя из национальных амбиций, стал изживать употребление русского языка, хотя в регионе это язык межнационального общения и некоторые страны продолжают в основном печатать свои

Академик А. П. Деревянко

археологические труды на русском. Особенно здесь заметен молдавский журнал на русском языке «Стратум-плюс», по годовому объему превосходящий «Российскую Археологию» (правда, четыре года он не выходил регулярно).

Столичные археологи утратили свою былую влиятельность еще и в силу значительной децентрализации. В целом ряде регионов образовались местные центры археологии (Новосибирск, Иркутск, Томск, Омск, Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Казань, Уфа, Волгоград и др.), с самостоятельными университетами, музеями, печатными изданиями и собственными научными школами, некоторые из них даже стали высылать экспедиции в соседние регионы (Сорокина 2008). Новосибирский центр явно позицинирует себя как главный археологический центр России: он больше по количеству сотрудников, чем московский Институт, его многолетний глава академик Деревянко до недавнего времени был академиком-секретарем Отделения историко-филологических наук в РАН. Располагая финансами, он смог развернуть в Новосибирском Институте междисциплинарные исследования, привлечь специалистов смежных наук из институтов Академгородка и других стран, приобрести необходимое оборудование, организовывать совместные экспедиции и межакадемический обмен с зарубежными коллегами. Молодежи за счет Института приобретается жилье, финансируется стажировка в ведущих научных центрах мира. Деревянко изыскал средства на возобновление Всероссийских археологических съездов. При Институте учрежден журнал, выходящий на русском и английском языках и читаемый во всем мире.

Таких возможностей ни Москва, ни Питер сейчас не имеют. В то же время разрушенная советская сеть книготорговли так и не восстановлена, так что часто Москва и Питер не получают провинциальной литературы.

В распадающейся империи со всё увеличивающимся экономическим разрывом между богатыми и бедными обострились национальные противоречия. С одной стороны, национальный стержень империи, русский народ, испытывая демографический спад и чувства национального унижения при виде крушения имперских амбиций, впадает в искушения шовинизма и реваншизма, а приток экономических мигрантов усиливает ксенофобию и приводит к экстремистским выпадам и эксцессам. Правительство мечется между карами за очевидные нарушения закона и поддержкой амбиций, которые оно в глубине души разделяет. С другой стороны, подъем бывших национальных республик, ставших независимыми соседями, пробуждает зависть в тех республиках, которые еще остались в составе России, и вкупе с экономическими неурядицами ведет к сепаратистским настроениям, также толкающим на экстремизм. Партизанская война в мусульманских районах (на Кавказе) не утихает, и лишь уступками властных полномочий местным элитам удается ее сдержать — но эти полномочия столь велики, что близки к самостоятельности (Чечня). К тому же приток северокавказских мигрантов, опирающихся на клановую поддержку и традиционное молодечество, резко усиливает в коренной России антикавказские и антимусульманские настроения.

Эти проблемы отражаются в археологии и культурной антропологии резким усилением войны на археологических картах, появлением массы расистской литературы — с апологией арийской расы, на которую претендуют разные народы — от славян до кавказцев и тюрок (об этом см. Шнирельман 2001; 2003; 2005; 2006; Shnirelman 2001; Буянова 2009; Путник 2009; Ларюэль 2010).

В условиях сохраняющихся, хоть и ограниченных свобод некогда сильная тяга молодежи к археологии сменилась апатией: другие профессии стали более притягательными — экономические, юридические и политические науки. Только упрямые романтики еще поступают обучаться археологии.

Словом, в нынешней России расширение археологической активности в регионах и рост ее в целом опасно зависят от колебаний международных цен на нефть, а на этом фоне наблюдается захирение традиционных столичных центров и угасание научных школ.

В итоге можно вспомнить высказывание Гуляева и Беляева о кризисе археологии в 90-х. Если взять полевую археологию, то, учитывая бурный количественный рост, дело выглядит так, что кризис преодолен, и это подкрепляется ростом региональных центров. Но если обратиться к другим показателям (уровень научных исследований,

развитие методов, функционирование связей, подготовка кадров, а главное — существование научных школ и традиций), то можно сделать вывод, что постсоветская археология вползает в наиболее глубокий кризис за всю свою историю, связанный с общим захирением фундаментальных наук в России.

Часть II

Движение археологической мысли

Не вокруг изобретателей нового шума —
вокруг изобретателей
новых ценностей вращается мир;
неслышно вращается он.

Ф. Ницше. Так говорит Заратустра.

Традиционная историография отечественной археологии не видела в ней течений, подобных западноевропейским «-измам». Картина развития археологии в России составлялась из индивидуальных биографий и сведений о возникновении и судьбе учреждений. А школы если и выделялись, то лишь по персональным связям маститого учителя с учениками. За эти пределы вышли В. И. Равдоникас (1930) и А. А. Формозов (1961), но первый подводил всю картину под узкую схему классовых идеологий, а второй больше интересовался сменой функциональных ролей археологии в обществе, изменением ее места в системе наук (Клейн 1993). Чем-то вроде смены ее парадигм. Г. С. Лебедев (1993) прямо ввел термин «парадигмы» в трактовку развития российской археологии.

Мною недавно издан двухтомный курс «История археологической мысли» (Клейн 2011). Имеется в виду основной аспект истории мировой археологии, хотя больше курс освещает археологическое мышление Европы и Америки. Россия там затрагивается мало (поскольку в нашей учебной программе ей предназначен отдельный курс). Но здесь нужно заняться именно археологическим мышлением как аспектом российской науки.

Прежде всего рассмотрим, проявлялись ли на российской почве общеевропейские течения археологической мысли и если проявлялись, то в порядке ли заимствования из западных стран или конвергентно, самостоятельно. Интересно также, чем они отличались от аналогичных западных течений и чем были вызваны эти отличия. Рассмотрим также, имелись ли в России течения самобытные, которых на Западе не было.

1. Народная археология. Я называю так — на манер лингвистического обозначения «народная этимология» — простонародные истолкования археологических памятников. Такие истолкования известны и у других народов. От остальной Европы Россия отличалась в этом отношении тем, что традиционный быт продолжался в ней дольше — до эпохи Петра I. Многие архаичные виды сооружений и вещей сохранялись в допетровской Руси в повседневном быту — либо у самих русских, либо у их соседей, либо же об этом сохранялись сведения в летописях и фольклоре. Поэтому население России осознавало эти заброшенные сооружения и вещи именно как созданные людьми в прошлом, в древности, хотя кем, каким народом и когда, обычно не знало. Это были курганы (на Украине называемые «могилами»), городища, древние храмы, керамика и т. п.

Другие виды древностей, непривычной формы или размера или из необычного материала, оказывались непонятны. Как и повсюду в Европе (Cartailhac 1877; Weber 1894; 1899; Mennung 1925; Davidson 1956; Amand 1957; Mazurkiewicz 1988 и др.), они приписывались природным или сверхъестественным силам. Таковы «громовые» стрелки и топоры, якобы порождаемые молниями (на деле кремневые наконечники стрел и шлифованные боевые топоры-молоты неолита), петроглифы, из палеонтологических находок — кости мамонта.

Изучением этих народных истолкований занимаются обычно фольклористы (Афанасьев 1865, I: 247; Высоцкий 1911: 146 — 148), но и в работах отечественных археологов можно найти немало сведений об этой «народной археологии» (Уваров 1881: 3–16; Худяков 1933: 38–40; Формозов 1961: 11–22; 1983: 5–6; 1986: 7–12).

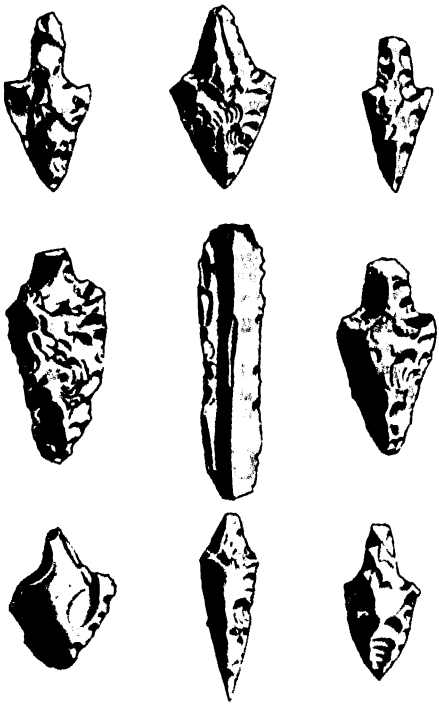
К «народной археологии» близки по своему отношению к древностям «сакральная археология» и «клейнодная археология». Выше (в разделе 1 части I) я поясняю, что я имею в виду под этими названиями. В перспективе «народная археология» перерастет в первобытную археологию, сакральная — в церковную, а клейнодная достанется геральдике и музейному делу.

2. Просветительский рационализм. Уже в русской «народной археологии» бытовало немало вполне рационалистических объяснений древностей. В России христианизация произошла более чем на полтысячи лет позже, чем в Центральной и Западной Европе. Еще в XIII веке в некоторых местностях удерживались языческие способы захоронения, поэтому населению не приходилось гадать о древнем назначении рядовых курганов, неясно было лишь то, каким народом

они насыпаны. Их приписывали соседним народам, о нападениях которых помнили: татарам, французам, шведам (хотя французы и шведы курганов не возводили). За чудесными великанами («во́латами») числились только огромные курганы, в основном в Белоруссии. Заброшенные укрепленные поселения не только были похожи на те, в которых жило само население допетровской Руси, но и сохраняли названия, говорившие об их назначении, — «городище».

С наступлением века Просвещения стала утрачиваться вера в обиходные объяснения древностей чудесными явлениями. В 1731 г. в «прибавлении» к первой русской газете «Санкт-Петербургские ведомости» была напечатана анонимная заметка «О перунах или громовых стрелах», критически констатировавшая, что народное суеверие приписывает им небесное происхождение — из громовых туч. Автор, явно хорошо знакомый с наукой того времени о естественной природе атмосферы, в предшествующих номерах делал предположения, отчего происходит гром. Он противопоставил народному суеверию рационалистическое объяснение «громовых стрел». На деле, утверждал автор, «они у наших предков вместо военного оружия были». Судя по тому, что именно в 1731 г. на строительстве Ладожского канала под Петербургом была найдена такая стрелка и академик Иоганн Георг Гмелин указал ее в каталоге первого русского музея, Кунсткамеры, в 1745 г., вполне возможно, что он и был автором этой заметки 1731 г. (в начале 30-х он уже проживал в Петербурге). В 1740 г. академик Герард Миллер писал в своей инструкции адъюнкту Фишеру: «Встречаются в земле <...> секиры древних, или так называемые громовые стрелы, да каменные наконечники стрел и долота, сделанные из агатов и яшмы».

В Европе такое истолкование «громовых стрел» было высказано еще в эпоху Возрождения (Леонардо да Винчи, Меркати), но еще в 1730 г., за год до заметки в «Санкт-Петербургских ведомостях», французская академия заслушала доклад Маюделя с подобным объяснением и... отвергла его! Между тем в России рационалистические объяснения были уже достоянием более широкой публики. Формозов (1961: 7) упоминает стихотворение Алексея Фиалковского «Громовая стрелка», помещенное в журнале «Растущий виноград», который издавался студентами Главного народного училища (учительской семинарии) в Петербурге. Автор стихотворения иронизировал над деревенскими знахарями, верившими в целительные свойства кремневых стрелок, коль скоро они падают с неба. Поэт не верил в целебные свойства стрелок и в их небесное происхождение и связь с громом.



«Громовые стрелы» — в России распознаны в петровское время как кремневые наконечники стрел первобытного человека (ныне относятся к неолиту)

В инструкции Миллера, составленной в 1740 г., кроме приемов регистрации и описания вещей, ставилась задача определения древнего возраста и функционального назначения вещи — путем сравнения «старинных предметов с нынешними вещами разных народов».

В этой инструкции Миллер писал: «Главнейшая цель при исследовании древностей этого края должна, конечно, заключаться в том, чтобы они послужили к разъяснению древней истории обитателей его». Эта цитата широко используется как свидетельство ранней увязки археологии с историей в России. На деле это всего лишь естественное понимание того, что древности связаны с прошлым, а прошлое — это предмет истории. Кроме того, сказались и личные интересы Миллера — он был историком и писал «Историю Сибири». Но здесь нет ни приемов обработки древностей как исторического источника, ни их расположения в историческом порядке, ни организационного выделения и закрепления за историей. Древняя история строится в основном не на них, а на письменных источниках (недаром Татищев так подчеркивал особый интерес вещей с надписями).

3. Стилистический компаративизм. Под *компаративизмом* (или *стилистически-компаративистским историзмом*) я здесь понимаю концепцию Й. И. Винкельмана, основанную на сравнительно-историческом методе. Придерживаясь *трансформизма* (в противоположность средневековому представлению о неизменности сущего), Винкельман, как известно, рассматривал древнее изобразительное искусство в историческом изменении по эпохам и установил *связь*

стиля с эпохой. Для Винкельмана в его труде «История искусств древности» (1763–1768) стиль — это эпоха, тогда как еще для Бюффона (1753) «стиль — это человек», а ведь Бюффон позже (1778) написал труд «Эпохи природы». Но идеи прогресса не было ни у Бюффона, ни у Винкельмана. Смену стилей Винкельман трактовал в *циклическом* ключе: каждый народ, выдвигавшийся на авансцену истории, проходил одни и те же стадии — детство, юность, зрелость и старость, и это отражалось в стилях его искусства. Идея смены стилей была использована для определения хронологии, особенно когда со скульптуры этот подход был перенесен на вазовую живопись (последователь Винкельмана Э. Герхард, а за ним А. Фуртвенглер).

В ближайшие полвека за публикацией основного труда Винкельмана вся эта концепция не нашла на русской почве адекватного отражения, не говоря уж о ее развитии. Правда, в России с последней трети XVIII века классические древности рассматривались тоже преимущественно как памятники искусства. Под влиянием трудов Винкельмана они расценивались как *эстетический идеал* (принципы *неоклассицизма*), а в прикладном отношении использовались для контроля — они должны были контролировать правдоподобие передачи античных сюжетов художниками. В первой трети XIX века Оленина называли «русским Винкельманом». Но, в сущности, историческая сторона трудов Винкельмана не была активно воспринята в России, и деятельность олонинского кружка не выходила за пределы *развитого антикварианизма*.

Позже российские антиковеды, конечно, использовали результаты реализации идей Винкельмана (например, классификацию античных ваз по стилям росписи — чернофигурному, краснофигурному и т. д.), но сами не разрабатывали ничего подобного. Что же до трактовки классических вещественных древностей как памятников искусства, то эту направленность можно видеть еще и в начале советского времени в книге Жебелёва «Введение в археологию» (1923). Жирную точку этой направленности классической археологии в России поставил лозунг Марра: «Долой Венеру Милосскую, да здравствует мотыга!»

4. Романтический этнографизм. *Романтическое* движение вспыхнуло на Западе в середине XVIII века как протест против искусственной цивилизации высшего света, против рационализма Просвещения и неоклассицизма. Оно выдвигало на первый план естественные чувства и характеризовалось интересом к национальному духу, выражаемому простонародьем, к национальному прошлому, особенно средневековому, и, соответственно, ко всему мистическому — руинам,

могилам, старинным культам. Уже тогда в Англии это движение обратило антикваріев к средневековым памятникам, особенно культовым, и к расширению круга материалов, привлекающих внимание в этих памятниках. В конце XVIII и начале XIX веков там появились ученые, раскапывавшие многие сотни курганов ради рядового, но массового материала. Они хотели узнать, как жили и творили культ те люди, которые оставили эти могильные памятники, и что это были за люди, какого роду-племени, известен ли этот народ летописям.

Такой же интерес в России к подобным памятникам был вызван русским романтизмом, который в литературе проявлялся в жанре *сентиментальных путешествий*, начиная с карамзинских «Писем русского путешественника» 1789–1790 гг. (Карамзин путешествовал по Европе и заразился идеями Руссо и Стерна), а в отношении к древностям делился на две струи.

Одна смешивалась с запоздалым винкельмановским культом античности и выражалась в сентиментальном смаковании античных руин и статуй, в бегстве из пошлой современности в идеализированный мир классической древности. Это было стремление восстановить вокруг руин и статуй его идеальный образ. В литературном жанре путевых заметок с этой тенденцией связаны книги Сумарокова («Досуги крымского судьи, или Второе путешествие по Тавриде») и Муравьева-Апостола («Путешествие по Тавриде в 1820 г.»).

Другая струя романтизма носила еще более патриотический характер, чем в Англии, будучи реакцией на наполеоновское нашествие. Интерес к родным, отечественным, славяно-русским ценностям и традициям появился в первой половине XIX века. Это программа путешествий Ходаковского, который увлекался городищами, как Стъюкли в Англии мегалитами, — предполагая в них святилища, культовые памятники. Это и программа Пассека — систематически обследовать курганы. Оба они интересовались и этнографической стороной этих объектов (Формозов 1961: 57–70).

Программу Ходаковского осуществил в 1820-е гг. он сам. Программу Пассека осуществили в середине века Уваров с Савельевым, раскопав 7 759 курганов Владимирской губернии и собрав в них огромный массовый материал. А вскоре еще 5 877 курганов раскопал на Ижорском плато близ Петербурга медик Лев Ивановский. Интерес этот подогревался естественным для многонациональной России желанием выяснить первоначальные территории, облик и соотношения ныне живущих народов, найти их предков. Отвлекаясь на изучение памятников каменного века, Уваров считал нужным

извиниться за то, что он обращается к памятникам, не связанным с ныне живущими народами, и выражал надежду, что такие связи, пусть через посредствующие звенья, обнаружатся.

В 1872 г. Уваров издал итоги своих курганных раскопок под названием «Меряне и их быт по курганным раскопкам». Он определил владимирские курганы как памятники финно-угорской народности меря — как позже выяснилось, неправильно. Это были славяно-русские древности. Из этого видны два обстоятельства: 1) у ведущих русских археологов еще не было средств генетической увязки древностей с современными народами и 2) по крайней мере некоторые из них не руководствовались националистическими побуждениями и не старались расширить древние территории русского народа. Их национальное самолюбие не было в уязвленном состоянии и не ощущало надобности в исторической компенсации. Поэтому этнические изыскания не опускались глубже славян, их соседей и скифов.

Основываясь на высказываниях самих Уварова и Забелина, Лебедев именует это течение «бытописательским». Но слово «быт», которое ныне обозначает повседневную домашнюю жизнь людей, тогда имело более широкий смысл. Под «бытом» археологи того времени понимали *культуру* народных масс, противопоставляя ее политической истории и шедеврам классического искусства. Во всем этом течении археология рассматривалась как простое расширение этнографии на отдаленное прошлое. Часто одни и те же ученые проводили и этнографическое, и археологическое обследование региона. Принцип, что каждый народ, каждое племя имеет отличительные особенности быта и отличительные типы вещей, казался естественным.

Весьма близкой к этому направлению была деятельность Вирхова и археологов его круга в Германии, усилиями которых городищенская керамика с волнисто-линейным орнаментом была определена как славянская, была выделена лужицкая культура (немцы тогда говорили «городищенский типус», «лужицкий тӣпус») и велись поиски ее этноса (Andree 1976).

Наиболее ярким и влиятельным проявлением этого подхода в России была работа Спицына «Расселение древнерусских племен по археологическим данным» (1899). В ней Спицын установил территории летописных русских «племен» (полян, древлян, кривичей, вятичей и т. д.) по ареалам их височных колец: семилопастные — вятичи, семилучевые — радимичи и т. д. Эта работа Спицына очень напоминает известную работу Косинны (признанную его лучшей работой) об орнаментированных железных наконечниках копий

как признаке восточных германцев (Kossinna 1905), но спицынская работа появилась на шесть лет раньше.

Правда, еще раньше Косинна выдвинул в своем Кассельском докладе (1895, опубл. Kossinna 1899б) некоторые принципы своего подхода, в частности принцип формирования культурных провинций по совокупности культурных признаков. Но, во-первых, этот принцип был тогда только сформулирован, во-вторых, на практике Косинна определял культурные провинции чаще всего не по совокупности, а по одному признаку (его противники выразили это иронической формулой: «один народ — один горшок»), а в-третьих, в работе Спицына и других русских археологов на рубеже веков стало формироваться и представление об *археологической культуре* как комплексе особенностей, характеризующих ту или иную древнюю группу населения. С 1901 г. этот термин уже применялся в России — с начала XX века в русской археологии известны трипольская культура, фатьяновская, зарубинецкая, черняховская культуры и др.

5. Археологический прогрессизм. Выраженное в идее «*трех веков*», это учение прибыло в Россию, как и в остальную Европу, из Скандинавии. Для его утверждения была необходима разработка в эпоху Просвещения *идеи прогресса*, провозглашавшей, что современность выше античного идеала. Это созвучно петровским реформам. Для Петра и его последователей — вплоть до «западников» XIX века — идеал находился не в античной Греции (и не в отечественных древностях, как для славянофилов), а в современной Европе, в европейской цивилизации. Таким образом, в России, в отличие от Германии, почва для мирного принятия идеи «трех веков» была подготовлена. В середине XIX века ряд переводов (в том числе книги Ворсо) и обзоры зарубежной литературы ознакомили русских археологов с достижениями скандинавских прогрессистов. В 1881 г. признанный глава российской археологии Уваров уже построил свою книгу «Археология. Каменный век» по схеме трех веков.

В дальнейшем идея прогресса была с особенным запалом подхвачена марксистами. Но здесь встал вопрос, в каком выражении эта идея нужна в археологии. Археология столкнулась с наличием аналогичной идеи, но выраженной в другой схеме, у этнографии. Обе науки важны для построения преистории.

В сущности, *этнографическая периодизация* по трем ступеням (дикость — варварство — цивилизация) была лишь разработана Морганом в эволюционном ключе, с эволюционными доказательствами,

а выдвинута она гораздо раньше. В первоначальном своем виде (у Ведель-Симонсена) это по духу вполне прогрессистская схема. Именно эта ее сторона, не исчезнувшая у Моргана, вызвала ее принятие Энгельсом, а уж от Энгельса она вошла в число устоев марксизма и была разработана в революционном духе.

Для марксистов, в частности советских преисториков (историков первобытного общества), существенной представлялась задача корреляции этих двух схем, ибо археологическая схема трех веков построена на прогрессе технических достижений, а для исторической интерпретации, для исторических реконструкций важнее этнографическая периодизация — по успехам в социальной жизни. Одни археологи пытались установить жесткую корреляцию между этими обеими периодизациями, другие — слить их в одну, наполнить археологическую периодизацию этнографическим содержанием или вообще отказаться от технологической периодизации как основы первобытной истории.

В конце концов здравый смысл победил, и, оставив для археологии технологическую периодизацию, для этнографии — периодизацию по росту цивилизованности, российские археологи стали разрабатывать для социальной истории особую периодизацию — по перестройкам социально-экономических отношений и признали на практике, что история вдобавок требует для каждого региона свою собственную периодизацию.

6. Эволюционизм. *Эволюционизм* включает в себя идею прогресса, но добавляет к ней идею постепенности развития и принцип вырастания последующего из предыдущего, развитых форм последующего из зародышей в предыдущем.

Разработанный в Англии и Франции, *археологический эволюционизм* стал известен в России сравнительно быстро — по рецензиям, обзорам, пересказам, а затем и переводам (Лаббок, Мортилье), но сильного очага в российской археологии не создал — в отличие от российской этнографии. Российские археологи были в массе более консервативны, чем российские этнографы. Их смущала связь археологического эволюционизма с либеральными идеями Г. Спенсера и особенно — с безбожными выводами Ч. Дарвина. Отдельные естествоиспытатели популяризировали Дарвина в России, но ведущие археологи (например, Уваров) воздерживались от его признания, историки и филологи (например, М. И. Погодин, Ф. И. Буслаев) резко возражали против дарвинизма, а причастный

к археологии В. В. Докучаев (основатель почвоведения) начал свою научную карьеру со статьи, специально посвященной опровержению Дарвина. Геологи, занимавшиеся археологией (А. А. Иностранцев), считали, что археологическая периодизация Мортилье ненадежна и надо базироваться на старой палеонтологической периодизации Ларте — по фауне (такова же была и позиция Уварова). В геологии Иностранцев, конечно, исходил из эволюционистских достижений Ч. Лайелла и др. (история Земли), но на историю человечества это не переносил.

Русские естествоиспытатели сделали в конце 1870-х — начале 1880-х гг. важные открытия палеолитических стоянок (особенно И. С. Поляков в Костенках и К. С. Мережковский в Крыму). Это иногда связывают с эволюционизмом (Генинг 1982: 69), но ничего собственно эволюционистского в этих открытиях нет. От Лаббока в России принимали лишь дальнейшее развитие системы «трех веков» (деление на палеолит и неолит), не принимая ее эволюционное осмысление.

В нашей литературе можно встретить утверждения, что эволюционизм был свойственен В. А. Городцову (Викторова 1977; Генинг 1982: 70–71). Это заблуждение. В подтверждение приводятся имеющиеся в учебнике Городцова отдельные экскурсы в науку о происхождении человека, его мысли о «развитии» и хронологии орудий и, конечно, его книжка «Типологический метод» (1923). В 1908 г. он принял в своем курсе периодизацию Г. Мортилье. Однако отдельные позитивные высказывания об эволюции, развитии, хронологии и т. п. можно найти у любого археолога конца XIX — начала XX в., периодизацию Мортилье к началу XX в. использовали уже все. Типологический метод Монтелиуса *не основан на идее эволюции* (хотя при объяснении Монтелиус и прибегал порой к эволюционной фразеологии), а *на идее градации*. А Городцов под «Типологическим методом» понимал вовсе не метод установления относительной хронологии, основанный на этой идее, а нечто совсем другое — *типологию как классификацию*. Методологическая ориентация Городцова была иной, диффузионистской. Кстати, и сам Монтелиус был скорее диффузионист.

Эволюционную периодизацию Мортилье перенесли в Россию учившийся во Франции Ф. К. Волков и его ученик П. П. Ефименко, чей капитальный труд о палеолите был выпущен лишь в 1934 г. Этот труд был выдержан в духе запоздалого эволюционизма Г. Мортилье, когда во Франции уже многое было перестроено по А. Брейлю. И то у Волкова были заметные отличия от Мортилье (он не воспринимал универсализма Мортилье, концентрируясь на одном этносе), а Руденко

и Ефименко склонялись к признанию большой роли географического фактора, и только под прессом марксизма Ефименко вынужден был возродить эволюционные толкования.

В первой половине 1930-х гг. *теория стадиальности*, отвергая праязыки и значение этнических границ вообще, настаивала на смешивании и скрещении народов. Тем не менее принцип автохтонного пребывания народов на своих местах удержала. Для подкрепления его А. П. Круглов и Г. В. Подгаецкий в своем «Родовом обществе степей Восточной Европы» ввели в концепцию революционной смены стадий (разрывавшей непрерывность) понятие «стадиальных переходов» — связующих звеньев, промежуточных типов, что было явным отступлением от революционной фразеологии к эволюционной. Стойко эволюционистской была томско-петроградская школа советских археологов — С. А. Теплоухов и его ученик М. П. Грязнов. Для них развитие шло автохтонно, и археологическая культура равнозначна периоду (это понимание видно у Грязнова еще в 1969 г.).

7. Палеоэтнологическое направление. Направление это первым в историографии выделил В. Ф. Генинг (1982: 77–87) и определил его родство с антиэволюционистскими течениями на Западе. Он совершенно не учел связь основателей этого направления с центрами эволюционизма во Франции. У И. Л. Тихонова, много поработавшего над историей палеоэтнологического направления (1994; 1995; 1997; 2003: 99–130), противоположный крен. Тихонов считает Иностранцева родоначальником направления, так как видит суть этого направления в соединении археологии с естественными науками и трактует его как непосредственное продолжение эволюционизма.

Всё это представляется мне неверным. Сотрудничество археологии с естественными науками (геологией, биологией, палеонтологией и т. п.) проводилось не только эволюционистами, но и, скажем, Шлиманом (к чьим публикациям ближе всего по комплексному подходу — интеграции наук — иностранцевская книга о человеке каменного века в Приладожье). Сотрудничество археологии с естествознанием поощряли и географические детерминисты (в Англии О. Г. С. Крофорд, С. Фокс), более того, делали это наиболее интенсивно. Все они не называли свою деятельность палеоэтнологией, и если определять *палеоэтнологическое направление* как сопряжение археологии с естествознанием, то это раздует его объем до полной неопределенности.

Мортилье действительно считал преисторию продолжением и частью естественной истории, но это вовсе не означало для него

зависимость от данных естественных наук, наоборот, он не принимал такого постулата Ларте. Иностранцев же вообще опирался не на эволюциониста Мортилье, а на прогрессиста Ворсо с его кьёккемеддингами. От Мортилье палеоэтнологи взяли главным образом термин, некоторые философские идеи (материализм) и классификационные понятия, а от Иностранцева — сопряжение специалистов по разным наукам в экспедиции (комплексность) и больше, пожалуй, ничего.

Основные фигуры этого направления действительно были связаны с археологическими центрами французского эволюционизма, но на его исходе, когда он уже размывался воздействиями других течений, а жили они не только в другое время, но и в другой стране, где гораздо сильнее было другое воздействие — Вирхова, тоже естественника и в политике либерала, но не эволюциониста.

Сам термин же «палеоэтнология» подчеркивает связь отнюдь не с естествознанием, а с этнологией! Течение это получило свое название от распространенного во Франции и Италии взгляда, что первобытная археология в сущности есть лишь продолжение этнологии (этнографии) в глубь времен. Там этот взгляд возник действительно в среде эволюционистов, у которых связи археологии и этнографии были и впрямь очень сильны (проблема этнографических аналогий и параллелей). Французские эволюционисты обозначали так свою науку, по мнению Тихонова, чтобы дистанцироваться от классической археологии, тяготеющей к искусству, и церковной археологии и подчеркнуть связь с естествознанием, но зачем тогда образовывать термин от «этнологии»? Видимо, сильнее было всё-таки желание подчеркнуть связь с этнологией.

В России же археологов больше привлекла не эволюционная, а другая сторона этой стыковки — рассмотрение археологического материала в распределении по этносам, по территориям, в увязке с природной средой. В чем-то здесь можно усмотреть параллель с *антропогеографическим* направлением Центральной Европы. Последователи этого направления, названного по «Антропогеографии», труду немца Ратцеля (Ratzel 1882–1891), отказались от упора на эволюционые аспекты древних культур и перенесли центр тяжести на территориальные аспекты — развертывание в пространстве и распространение культурных комплексов, весьма устойчивых и неизменных. В России Ратцеля переводил и популяризировал ученик Богданова А. А. Коропчевский (1842–1903) из Московского университета, перебравшийся на рубеже веков в Петербург, где он возглавил Российское Антропологическое Общество при Петербургском

университете. Он переводил также Дарвина, Лаббока и Тайлора. Его посмертно опубликованная работа «Значение географических провинций в этногенетическом процессе» (1905), основанная на положениях антропогеографии Ратцеля, дает первое употребление термина «*этногенетический процесс*» в русской литературе.

В России палеоэтнологическое течение развертывалось лишь в некоторой связи с западной антропогеографией и в более тесном контакте с эволюционизмом, чем это было характерно для антропогеографов, но всё же не как продолжение эволюционизма. Большое место здесь заняло сопоставление наук о человеке с географией и вообще науками о природной среде. У истоков этого течения стояли двое крупных ученых — один московский, другой петербургский, — соперничавшие друг с другом и недолюбливавшие друг друга.

В Москве это был Дмитрий Николаевич Анучин, ученик основателя русской антропологии А. П. Богданова. Анучин был продолжателем Богданова, преподавал антропологию в Московском университете на физико-математическом факультете (1880–1884), где создал Музей антропологии. Антропологию он понимал как науку, охватывающую и биологические стороны человека (физическая антропология) и культуру (этническая антропология). Одновременно он создал в России собственные школы в географии и этнологии. Археологией он занимался также, и в его трудах по истории материальной культуры сочетались археологические и этнографические данные. Что он соединял оба эти подхода — это вполне в духе времени и традиционно для России: таковы же были интересы Уварова, Забелина и других ученых «бытописательского» направления. Но внимание к воздействиям природной среды, обусловленное географическими интересами и знаниями Анучина, вносило новый акцент. В отличие от немецких «антропогеографов», сугубых гуманитариев, Анучин был естествоиспытателем, последовательным дарвинистом, следовательно, сторонником эволюционной идеи. Он сотрудничал лично с Мортилье во Франции. Не ограничиваясь теоретическим сочетанием наук, он проводил и комплексные экспедиции.

Но от эволюционистского подхода Анучин отличался вниманием к многообразию культурных явлений, к оценке географического фактора в формах этнического многообразия. В своих теоретических работах Анучин уделял внимание и диффузии.

Из его учеников на кафедре антропологии Московского университета уже в раннее советское время В. В. Бунак продолжил физическую антропологию, Б. А. Куфтин — этнографию, позже перейдя

к археологии, а Б. С. Жуков стал главой московской «палеоэтнологической» школы в археологии. Уже название школы показывает, что ее приверженцы рассматривали археологию как продолжение этнологии (в более поздней советской терминологии — этнографии) в глубину времен. «Палеоэтнологи» стремились тщательно дифференцировать отдельные этнические группы населения, различить их в древности, а для этого обращали особое внимание на всесторонний формальный и технологический анализ керамики. Они проводили комплексные экспедиции и добивались сплошного обследования территории, прослеживали особенности природной среды, чтобы уловить воздействие природного фактора на формирование культуры. В современной российской археологии они первыми стали применять статистику и корреляцию. В *культурном комплексе* (так они называли характерное для культурной группы сочетание элементов) они подчеркивали прежде всего сопряженность элементов, причем сопряженность в развитии — то, что одинаково изменяется.

Жуков был арестован в 1930 г. и исчез, а его школа рассыпалась.

Если поискать на Западе наиболее близкую аналогию деятельности московской «палеоэтнологической школы» (Клейн 1997), то это окажутся не французские археологи, а археологи-американисты США, которых У. Тэйлор окрестил «таксономистами», а Б. Триггер определил как американскую версию культурно-исторического подхода. Та же неудовлетворенность неопределенностью понятия «археологическая культура», тот же упор на формальную классификацию керамики, то же обследование сплошных регионов и т. д. А американцы развили этот подход примерно в то же время (1924–1939) и беспрепятственно.

Русские «палеоэтнологи» не успели довести свои схемы до формального совершенства, и в США перевели и издали (1933) работу противника «палеоэтнологов» — Городцова (1923), ту, в которой он, со своим систематизаторским интеллектом, был им наиболее близок.

«Палеоэтнологическое» направление сложилось и в Ленинграде. Как и в Москве, палеоэтнологическое направление развивалось под французским влиянием и характеризовалось подходом к археологии как к естественно-научной дисциплине, части широко понимаемой антропологии, где она помещалась вместе с физической антропологией и этнологией (этнографией). Они также оценивали археологию как продолжение этнологии в глубь времен. Это было связано со жгучим интересом к этническим проблемам — разграничению этносов в прошлом и выявлению корней современных народов.

Если в Москве по крайней мере основатели направления еще дружили с Мортилье, то в Петрограде-Ленинграде не все ключевые фигуры были столь непосредственно связаны с эволюционистами. У истоков направления здесь стоял этнограф, атрополог и археолог Федор Кондратьевич Волков (он же Хведор Вовк, националистически настроенный украинец). Это был современник Анучина, открыватель палеолитической стоянки Мезин. Волков был действительно увлечен эволюционными идеями Мортилье, но понимал их по-своему — с энтузиазмом подхватывал антиклерикализм, но сильно ограничивал универсализм ради концентрации на этносе. Его учениками были ленинградские украинцы Петр Петрович Ефименко и Сергей Иванович Руденко. Ефименко один из первых применил корреляцию к рязано-окским могильникам, но больше всего занимался палеолитом с позиций пережиточного эволюционизма и теории стадиальности, хотя перенимал кое-что и от антиэволюционистов. Руденко, проявивший себя в этнографии (башкиры) и антропологии, открыл пазырыкские курганы с погребениями в вечной мерзлоте, был репрессирован, а после освобождения занялся анализом воздействия природы на культуру. Он очень сочувственно воспринял географический подход Крофорда — написал хвалебное предисловие к его книге. А географическому подходу чужд эволюционизм. Ученик Руденко, сын известных поэтов Лев Николаевич Гумилев, также репрессированный (и не раз), продолжал эту традицию со всё большим уклоном в биологический детерминизм (вплоть до выводов о благости апартеида).

Другой влиятельной фигурой среди «палеоэтнологов» Ленинграда был Александр Александрович Миллер, учившийся в Парижской «Эколь д'антроположи» после Габриэля Мортилье и общавшийся с Брейлем и Обермайером. Но особенно интенсивно он дружил там с сыном Мортилье Адрианом и приехавшим из России Волковым. Он мало печатался, но оставил очень сильных учеников — Артамонова, Пиотровского, Иессена, Латынина, Круглова, Подгаецкого, Кричевского. Миллер также был арестован в 30-е гг., и его ученики сохранили от «палеоэтнологического» направления лишь интерес к этническим проблемам и некоторые общие представления.

Этому направлению в России странно не везло, но в этом невезении есть своя логика. В царское время, в 1880-е гг., преподавание антропологии было свернуто, а кафедра этнографии в Московском университете была переведена с историко-филологического факультета на физико-математический. Правда, это было сделано по просьбе самих этнографов, мысливших свою науку в кругу естественных наук, но

и правительство охотно пошло им навстречу — чтобы воспрепятствовать проникновению в гуманитарную среду естественно-научных воззрений, считавшихся опасными для религии. Это затруднило развитие школы. В советское время обращаться к естественным факторам вместо социально-экономических в общественных науках и к этническим проблемам было тоже опасно — это вызывало у властей раздражение. «Палеоэтнологи» сознательно или бессознательно своими устремлениями противостояли историзации (и через нее политизации) археологии, ее переводу на марксистские рельсы. Главы обеих школ «палеоэтнологов» — московской и ленинградской — были арестованы и исчезли, ряд членов школ также побывал в лагерях. Деятельность направления была дезорганизована и сломлена.

После того как в СССР снова разрешили интересоваться этнической стороной истории и даже стали поощрять эти интересы, именно ученики «палеоэтнологов» занялись вопросами этногенеза, этнической истории (М. И. Артамонов — ученик Миллера, П. П. Третьяков — ученик Ефименко, С. П. Толстов — ученик Жукова). Для большой группы советских археологов культурно-исторический процесс протекал только в генетически связанных цепях культур (я назвал их трассовыми секвенциями), и рассматривать его вне этих цепей для них не имело смысла. А чтобы добиться правильного рассмотрения, нужно было выяснить происхождение каждой культуры, выявить ее археологические корни. Москвичи искали эти корни чаще на месте (продолжая традицию Забелина), ленинградцы — чаще на стороне, в частности — в Центральной Европе и на западе Восточной Европы, но искали и те, и другие. А у Артамонова конца 60-х гг. можно найти и такую мысль, вынырнувшую из ассортимента «палеоэтнологии»: «Этнография изучает этнические особенности современных народов, а археология делает то же самое для прошедших времен... Теоретически между этническими и археологическими культурами существует полное соответствие» (Артамонов 1969: 5–6). И чуть позже: «...нет принципиальной разницы в подходе той и другой из этих наук к выявлению этнических культур... Археологическая культура то же самое, что культура этнографическая...» (Артамонов 1971: 28–29).

8. Диффузионизм. *Диффузионизм* в широком смчсле, включая сюда *миграционизм* и *трансмиссионизм* (или «теорию влияний»), захватил и предреволюционную Россию.

Интерес к культурным влияниям впервые появился в России в конце XIX в. Это работа Анучина «О культурных влияниях на доисторической

почве России» (1980). Но подлинным носителем диффузионистской концепции в России стал, пожалуй, не без воздействия Анучина, Городцов. Его обобщающие труды построены на идее «свет с Востока». Для каждого новшества он искал истоки вне данной культуры — в порядке либо инвазии, либо заимствования. Он внимательно следил за деятельностью виднейшего европейского диффузиониста Софуса Мюллера и в 1901–1902 гг. весьма быстро и точно скопировал в Изюмском уезде Украины его замечательные раскопки ютландских курганов, открыв ямные, срубные и катакомбные погребения в грунте, погребения «на горизонте», погребения в насыпи. Типы погребений соответствуют ютландским грунтовым погребениям, верхним погребениям и «самым верхним» Мюллера (Bundgrave, Overgrave, Overstgrave).

Городцов противопоставил свой «типологический метод» типологическому методу Монтелиуса — в полном соответствии с тем, что противником Монтелиуса был Софус Мюллер. Именно Софус Мюллер уделил самой разработке понятия «тип» больше внимания, чем Монтелиус — и Городцов разработал схему классификации, поместив «тип» в развернутую понятийную систему.

Историки российской археологии отмечают заслуги Городцова (наряду со Спицыным) в систематизации материалов российской археологии. Но систематизация и вообще связана с диффузионизмом — так, виднейшим систематизатором европейской археологии был Чайлд.

Характерен спор Городцова с главой «палеоэтнологической школы» Жуковым. Жуков строил периодизацию *изофеноменологически* — разбивал материал на периоды исключительно по типологическим сходствам и различиям вне зависимости от времени, а Городцов — *изохронологически*: периоды нарезались хронологическими сечениями, типологически определялись лишь ведущие культурные центры периода. Если ведущий центр вступал в бронзовый век, то и все одновременные с ним памятники считались относящимися к бронзовому веку, хотя бы там и не применялись бронзовые орудия. Такой подход естественен для диффузиониста: контакты здесь важнее, чем уровень развития.

Отдельные проявления городцовского подхода продолжались и в послевоенное время — такой же периодизации придерживались Фосс (1949), отчасти Брюсов (1952: 5). Но в целом такой диффузионизм, то есть трансмиссионизм, не имел в России заметного продолжения.

Другим влиятельным археологом, причастным к диффузионизму, был Спицын, и эта его причастность была продолжением его

романтической устремленности на выявление культур в надежде идентифицировать их с древними этносами и проследить их связь с современными. То есть его интересовала преемственность. В этом он также близок к Косинне, хотя гораздо меньше, чем в выявлении культур.

Согласно Косинне, каждая культура должна иметь предковую форму и это родство должно выражаться в сходстве вещей и структур. Это было ясно еще Вирхову, который, будучи медиком, выдвинул в медицине лозунг: «каждая клетка — от клетки», а в применении к памятникам прошлого этот принцип выглядел как «культура от культуры». Косинна ради генетической увязки культур развил *ретроспективный метод*, использовал для той же цели и типологическую эволюцию типов, а в территориальном аспекте по распространению типов увлеченно реконструировал бесчисленные миграции германцев — отсюда его концепцию и называют *миграционизмом*.

Спицын был не столь радикален. Он применял порою миграционные объяснения, но без особого упора на направленность миграций и на культуртрегерство. Подобно историкам, он видел мир прошлого населенным живыми субъектами. Роли индивидов здесь выполняли этносы — они двигались, сменялись во времени, сталкивались, изменяли свое обличье. Но его интерес оставался чисто этнографическим, а выводы очень осторожными. Называть его миграционистом вряд ли справедливо.

Миграционизм проник в Россию лишь очень поздно, явно под прямым, хотя и скрытым влиянием Косинны. Уже после Второй мировой войны престарелый Александр Брюсов развивал методикой Косинны концепцию миграций в бронзовом веке (культур боевого топора и шаровидных амфор) из России на всю Европу. Другие археологи, в том числе автор этих строк, признали правомерность многих миграционных реконструкций (в том числе и некоторых коссинновских), но на основании других методов, с другими критериями проверки и с другими намерениями. Во всяком случае «происхождение такой-то археологической культуры» стало после войны обычной темой археологических исследований и дискуссий.

Миграционизм, учение об экспансии, был, однако, лишь одной стороной концепции Косинны. Ею объяснялись перемены *вокруг* Центральной Европы. Для самого же этого региона постулировалось длительное непрерывное развитие, континуитет. Если вне Германии Косинну знали как миграциониста, то в самой Германии его именовали *автохтонистом* (Klejn 1976; Клейн 2000). Вот эта сторона его

концепций имеет мощное и гораздо более раннее соответствие в России, с тем же националистическим оттенком.

В рамках того же «бытописательского» направления в российской археологии Забелин и Самоквасов развили концепцию длительного развития русской культуры и государственности на тех же территориях, на которых существовала Киевская Русь. Они увязывали русский народ генетически со «знатными предками» — скифами. Здесь близость к истории более заметна.

Несмотря на холодный прием и критику в российской археологии, эта концепция оказалась очень живучей — она возрождалась снова и снова. Во второй половине 30-х — 70-е гг. академики Борис Греков и Борис Рыбаков построили схему развития российской государственности еще более глубокую, чем у Забелина с Самоквасовым, — включили не только скифов, но и трипольских земледельцев, т. е. начали ее с энеолита. В концепции этой множество слабых мест. А политические и националистические мотивы популярности ее у властей несомненны.

Можно ожидать, что она и в будущем найдет поддержку, но скорее уже не в России, а в украинском государстве (и уже ее там находит).

9. Комбинационизм. Название течения непривычно и принадлежит не его создателям и современникам, а историографу, автору этих строк. Он и объединил некоторых ученых в особую школу, выделив это течение (Клейн 1975б; 1993а).

Все основные течения археологии прежде всего стремились ответить на вопрос о причинах нарушения преемственности в развитии культуры, тогда как по идее преемственность должна быть налицо — иначе современное состояние немыслимо. А это вопрос о причинах резких сдвигов в культуре, о происхождении каждой археологической культуры, о ее генетических связях с предшествующими, вообще об источниках новаций. Некоторые ученые Запада уже в конце XIX в. — начале XX в. высказывали идеи о ведущей роли соединения разных традиций. Французский историк Г. Тард называл изобретение «логическим совокуплением». Немецкий этнолог Л. Фробениус придавал решающее значение в культурном творчестве «спариванию культур». Но только во втором и третьем десятилетиях XX в. англичанин У. Риверс четко сформулировал мысль о том, что новое возникает именно в результате слияния старых элементов культуры.

В российской археологии на рубеже веков, в 1899 г., переселившийся из Одессы в Петербург Н. П. Кондаков, изучавший древнее

искусство по археологическим материалам, выступил с идеей, что новое в искусстве возникает из *скрещения* старых форм (Кондаков 1899). Он утверждал, что древнерусское искусство возникло из слияния византийских, кочевнических и местных элементов. В первые десятилетия XX в. его методологические идеи развили его ученики: М. И. Ростовцев на примере Боспора и Скифии, Б. В. Фармаковский — на примере архаической культуры Кавказа. В первом случае иранский этнический элемент скрещивался с греческим (Ростовцев 1918), во втором — ионийский с Восточным (Фармаковский 1914). После революции Кондаков и Ростовцев эмигрировали, но другой ученик Кондакова, Жебелёв, оставшийся в советской России, сумел издать книгу эмигранта Ростовцева «Скифия и Боспор» в Ленинграде (Ростовцев 1925).

Концепция российских комбинационистов оказала явное воздействие на развитие *стадиализма*. Идею скрещения элементов советские археологи, конечно, восприняли от марровской лингвистики, но восприятие этого воздействия было подготовлено в самой археологии капитальными изысканиями Кондакова и Ростовцева.

Комбинационизм был, по-видимому, одним из краеугольных камней в фундаменте евразийского течения, популярного среди русских эмигрантов за границей. Оно рассматривало русский народ как результат скрещения европейской культуры с азиатской. Однако течение это реализовалось больше в исторических концепциях, чем в археологии.

10. Стадиализм. Директором ГАИМК — головного археологического учреждения страны — первые десятилетия советской власти был академик Н. Я. Марр, языковед-ориенталист по образованию и основной деятельности. В середине 20-х гг. он выдвинул «*яфетическую теорию*», затем преобразованную в «*новое учение о языке*». Это учение напрочь отвергало хорошо разработанную поколениями языковедов концепцию индоевропейского праязыка и объясняло близкое сходство языков не их родством (общим происхождением), а их смешиванием и скрещением. Историю речи эта теория рисовала как серию языковых революций, в ходе которых языки одной семьи (скажем, яфетической, т. е кавказские) без всякого стороннего вмешательства превращались в языки совершенно иной семьи — иного типа и иного материала (например, в индоевропейские). Доказательств не было по существу никаких. Однако «революционная» фразеология и шельмование индоевропеистики как буржуазной науки обеспечили Марру поддержку партийных идеологов.

Насильственно навязанная лингвистам, эта теория была подхвачена некоторыми молодыми археологами, особенно ленинградцами (Быковский, Равдоникас, Кричевский, Окладников и др.), и преобразована ими в археологическую теорию — «*теорию стадиальности*». На место языков были подставлены этнические культуры, и всё этническое развитие изображалось как серия скачков с одной стадии на другую, во время которых этнический облик культуры враз трансформировался. Теория снимала труднейшие проблемы этногенеза — любую культуру можно было произвести из любой. В культуре такие разовые трансформации было представить легче, чем в языке. Большая роль отводилась и взаимодействию культур, их слиянию, скрещиванию. Вопрос о корнях, о предках попросту отпадал. Все народы оказывались смешанными, предки у всех получались одинаковыми и в известной мере общими — у всех позади многообразная и мелко накрошенная смесь, из которой постепенным объединением и стадиальными трансформациями сформировались современные народы.

Первой наметкой этой теории была статья Быковского (1931) «Яфетический предок восточных славян — киммерийцы». Первой заметной реализацией этой теории была работа Равдоникаса «Пещерные города Крыма и готская проблема в связи со стадиальным развитием Северного Причерноморья» (1932). В этих статьях оба автора предлагали читателю поверить в то, что жившие ранее в Северном Причерноморье киммерийцы были яфетидами (т. е. были схожи по языку с нынешними кавказцами), что они в результате революционных языковых трансформаций (толкуемых как диалектические скачки) превратились в скифов (которые, как теперь ясно, были ираноязычны), те — в германоязычных готов, а готы — напрямик в славян. И что никто из них ниоткуда в Крым не приходил — всё происходило там, на месте. Просто сменялись язык и культура. Почему? Да потому, что резкая смена — это диалектический закон бытия.

Позже Ефименко (1933) и Борисковский (1932) пытались переложить стадиальность на факты палеолита, совмещая этапы этнографической периодизации Моргана с археологической Мортилье (наиболее полно это проделал Равдоникас в своей «Истории первобытного общества» 1939 г.), а Круглов и Подгаецкий постулировали смену стадий в бронзовом веке степей (1935). У них, однако, уже начисто отсутствовал этнический колорит. Они приурочивали стадии к техническим сдвигам, к этапам в развитии производства и, показывая скачкообразность этих сдвигов, старались раскассировать по этим этапам все явления культуры, в том числе и надстроечные. Это

выглядело более реалистично, чем фантастические трансформации языков и народов. Но чем реалистичнее это выглядело, тем меньше оставалось от теории стадиальности. Ведь суть стадиальности заключалась именно в чудесности преобразований, в возможности отказаться от поисков логики и преемственности развития. А здесь именно поиск логики и даже промежуточных звеньев цепи — «стадиальных переходов», как это называли Круглов и Подгаецкий.

В Отечественной войне 1941–1945 гг. проявилась значительная оппозиция народных масс сталинскому режиму (во власовское движение втянулись сотни тысяч), и это подвигло сталинское руководство обратиться к патриотическим чувствам и националистическим настроениям народов Советского Союза, в первую голову — русского народа. Принялись культивировать их своеобразие, самобытность, самостоятельность формирования и заботливо искать их корни. «Новое учение о языке» с его «яфетической» составляющей препятствовало этому. В 1951 г. в центральном органе партии, газете «Правда», была проведена многонедельная лингвистическая дискуссия, в которой принял личное участие Сталин. Он выступил против учения Марра. С «новым учением о языке» была отвергнута и «теория стадиальности» в археологии.

Вот когда стало можно критиковать академика Марра и выяснилось, что он был неважным лингвистом, а археологом — вовсе никаким за пределами своего раскопочного опыта. Не знал даже, что металла в палеолите не было.

При всей бездоказательности и сумасбродности, теория стадиальности внесла некоторые освежающие идеи в объяснение труднейших проблем археологии. Она обратила внимание археологов на внутренний источник преобразований в каждом обществе, т. е. на значение социально-экономических сдвигов для преобразования культуры, на действительно присущую всякому развитию скачкообразность. Впоследствии эти идеи стали всерьез обсуждаться во многих археологических школах Запада, особенно в «новой археологии».

11. Марксистский социоисторизм. Даже в антикварианистский период считалась бесспорной мысль, что древности собираются для прояснения истории. Позже это обратилось в максиму «археология — служанка истории», и в археологии постепенно складывалось отношение к материальным древностям как к потенциально историческим источникам — отрабатывались принципы стратиграфии, обращение

с замкнутыми комплексами и т. п. Но даже со всеми этими особенностями археология не выглядела исторической дисциплиной — в ней не было речи о структурах общества, об идейных движениях, о причинах и законах исторического развития. И естественно: археология формировалась как источниковедческая дисциплина, как наука, изучающая археологические источники.

Когда в России победили большевики, всей науке стали сверху навязывать марксистские доктрины и ценности. В этой обстановке молодые археологи стали искать, какие методологические идеи могли бы быть восприняты как отличия их деятельности от «буржуазной» археологии. Одним из первых на роль такого отличия был выдвинут *«комплексный метод»* (Никольский 1923) — смутный конгломерат идей, который понимался то как требование рассматривать вещи в замкнутых комплексах (что для Европы, однако, не было новым), то как призыв к соединению многих источниковедческих наук для полноценной исторической реконструкции, то как принцип интеграции с естествознанием, в частности организация «комплексных» (т. е. междисциплинарных) экспедиций. Но и это было известно со времен Шлимана. Первыми в СССР такие экспедиции организовывали в 20-е гг. Б. С. Жуков на Оке на Оке и Ветлуге, П. П. Ефименко в Северо-Западном регионе, А. А. Миллер на Северном Кавказе, С. И. Руденко в Башкирии и Казахстане, а в 30-е гг. большой экспедицией в Средней Азии руководил археолог и этнограф С. П. Толстов.

Археологи стали искать археологические соответствия марксистским понятиям, в частности адаптированным в марксизм понятиям Моргана. В этом особенно преуспели ленинградцы. Равдоникас разрабатывал согласование этнографической периодизации Моргана-Энгельса с археологической схемой «трех веков». Ефименко озаглавил свой большой труд о палеолите «Дородовое общество» (1934), а кроме того, усмотрел в женских статуэтках палеолита и энеолита свидетельства матриархата (1931). Равдоникас (1929) и Артамонов (1934) увидели в парных и коллективных погребениях бронзового века отражение угнетенного положения женщин в патриархальной семье. Бывший следователь ЧК Семенов (1940; 1957) разработал метод определения следов работы на древних орудиях под бинокулярным микроскопом, назвал этот метод функционально-трасологическим и противопоставил его традиционному определению функций орудий по типологии и этнографическим аналогиям. Это рассматривалось как достижение, обусловленное марксизмом, потому что он выдвигает орудия труда на первый план.

Особую роль сыграло социологическое увлечение молодых москвичей. В середине 20-х гг. в Москве группа молодых археологов, учеников Городцова, проходила переподготовку под руководством социолога-марксиста Фриче. Они стремились наложить марксистские понятия и принципы на археологический материал — изучить развитие орудий и показать, как это развитие обусловливало весь облик хозяйства и культуры, проследить связь форм жилища с хозяйством и социально-экономической структурой общества, и т. п. Для марксистской реконструкции прошлого по материальным остаткам они разработали «*метод восхождения*». Полагая, что марксизм дает безусловно достоверные схемы однозначного соответствия типов орудий труда социально-экономическим структурам общества, эти археологи считали возможным «восходить» в реконструкции от орудий труда как основы общественного здания к зависимым от этой основы экономическим структурам (в марксизме — к базису) и социальным, а также идейным отношениям (в марксизме — надстройкам). Коль скоро такое «восхождение» признавалось возможным, отпадала необходимость обращаться к смежным источниковедческим наукам — этнографии, лингвистике и даже к письменным источникам. Археология сама становилась историей — даже более достоверной, чем письменная, ибо материальные источники считались более объективными свидетельствами прошлого, свободными от субъективных искажений и примесей.

Правда, история подразумевает интерес к личностям и конкретным событиям, а они для археологов большей частью недоступны. Но в марксистской науке господствовало другое представление об истории, в котором вместо личностей и событий выступали коллективы (общества, массы) и процессы, а личности и события фигурировали лишь как «продукты» и «показатели» социальных отношений. Это была социологизированная история, вполне доступная археологическому рассмотрению.

Слабейший пункт в «методе восхождения» — однозначность соответствий. Но критика того времени была обращена на другие стороны метода. Радикальные критики, особенно из ленинградцев, поставили под вопрос вообще возможность и необходимость археологии как особой науки, поскольку, по их мнению, жизнь отражается в разных видах источников одинаково просто — как в зеркале. И исследования, стало быть, надо группировать не по зеркалам (археологическому, этнографическому и т. д.), а по тому, что в них отражается, т. е. по видам общества, по социально-экономическим

формациям, по эпохам. И критикуемые москвичи тотчас признали это и покаялись. Однако этот нигилистический радикализм был тут же отвергнут, и археология восстановлена в правах. Но авторитет «формационного подхода» остался непоколебленным.

Позже теоретическая основа «метода восхождения» более не восстанавливалась его создателями (Арциховским, Киселевым, Смирновым, Брюсовым), которые стали известными и авторитетными советскими археологами. Но те же исследователи и их ученики проводили этот методологический принцип в своих трудах и всю археологию рассматривали как ту же историю, только «вооруженную лопатой» (Арциховский). Это стало исходной предпосылкой школы, которая получила поддержку властей. Арциховский возглавил кафедру археологии Московского университета и журнал «Советская археология», его младший соратник и отчасти ученик Рыбаков в послесталинское время три десятилетия возглавлял головное учреждение страны (Институт археологии АН СССР) и всю советскую археологию. У одних советских ученых это течение характеризовалось больше собственно историческими интересами, у других — больше социологическими, но различия были несущественными.

В проблематике этногенеза эти исследователи предпочитали *автохтонизм*, не расходясь в этом с концепцией Марра, а после ее дискредитации восстановили аргументацию старых русских автохтонистов Самоквасова и Забелина, соединив ее с марксистскими рассуждениями о внутренних источниках возникновения государственности в каждом обществе. Брюсов же обратился к принципам и методике Косинны (автохтониста для центра Европы и мигрониста для периферии), подставив Юг Европейской части СССР на место коссинновского центра и реконструируя в бронзовом веке радиально расходящиеся миграции с территории Советского Союза на всю Европу.

Это течение, ближе других соответствующее советской идеологии и умело подстраивавшееся под нее, под ее зигзаги, оказалось очень живучим. В последние десятилетия советской власти с методологическими разработками в духе *социологического историзма* выступал и В. М. Массон в Ленинграде (1974; 1976), а В. Ф. Генинг в Киеве выдвинул подробное методологическое обоснование «*социологической археологии*», как он ее понимает — вполне в духе 30-х гг. (1982; 1983; 1989). Рекомендации Массона не выходят за пределы поиска стереотипных соответствий социальным структурам в археологических материалах, а пространные труды Генинга отличаются

изрядным догматизмом и схоластикой. Так что, можно сказать, течение выдохлось.

В последнее время, однако, аналогичные интересы стали проявляться и на Западе («социологическая археология» Ренфру и др.), так что российские археологи этого плана явились застрельщиками общемирового движения.

12. Субмиграционизм и секвенционизм. В лоне ленинградской палеоэтнологической школы сформировались взгляды и интересы П. П. Ефименко и М. И. Артамонова. Первый исследовал сначала рязано-окские могильники, потом — палеолит, и, переехав из Ленинграда в Киев, возглавил тамошний Институт археологии. Второй занимался многими отраслями первобытной археологии — от бронзового века до скифских и славяно-русских древностей, руководил кафедрой археологии Ленинградского университета и был директором Эрмитажа. Когда после войны ослабели, а потом были и вовсе сняты догматические установки теории стадиальности, эти исследователи (Артамонов 1948; Ефименко 1960), их ученики (Клейн 1962; 1973; 1999б) и ученики их учеников (Григорьев 1964) стали реконструировать миграции в любых направлениях, в том числе и вторжения на территорию собственной страны исследователей.

Это не было миграционизмом, так как в миграциях они не искали объяснение для любых нововведений. Просто был признан тот факт, что народы в прошлом двигались, этнические границы менялись, и это должно найти место в реконструкциях. Поэтому я назвал эти поиски *субмиграционистскими* (1993: 33).

Интересы этих исследователей лежали главным образом в проблемах этногенеза. Нивелирующему автохтонизму стадиалистов и ультрапатриотическому автохтонизму прагосударственников они противопоставляли интернационалистские убеждения. Они не верили в необходимость «археологического права» — глубокой древности обитания, которая якобы только и обосновывает право народа жить там, где он живет. А их реконструкция миграций была своего рода вызовом господствовавшей школе — и официозной политике.

Но их позиция имела и чисто научное значение. Чтобы верно изучать культурно-исторический процесс, надо сначала установить канал, по которому развитие проходило, а такой канал пролегает не обязательно по культурам одной страны, автохтонно. Культурные традиции передаются не через землю, а через контакты людских масс.

Массы же время от времени приходят в движение и перемещаются, иногда рывками и на далекие расстояния.

Теоретическое обоснование этой концепции было предпринято мною (Клейн 1973; 1981; 1988; Klejn 1973; 1974; 1976). Я исходил из того, что обычный ход исследований заключается в накоплении материалов из некоторых районов лучшей изученности и в построении там локальных стратиграфических колонок, а так как при миграциях обычно не происходит полного искоренения аборигенов, то почти всегда можно обнаружить линии преемственности между разновременными культурами одной местности. Складывается иллюзия автохтонности, тогда как на деле не исключается пришлое происхождение носителей новой культуры.

Ради преодоления этой иллюзии автохтонности я ввел понятие «*секвенций*» — цепей последовательных культур. Суть этого нововведения в том, что секвенций два вида. *Колонная секвенция* охватывает последовательность культур одной местности вне зависимости от преемственности между ними, а *трассовая секвенция* — культуры, связанные культурной преемственностью вне зависимости от их территориального расположения. Археологические источники даны нам в колонных секвенциях, а культурно-исторический процесс протекал ведь в трассовых секвенциях, и наша задача состоит в том, чтобы реорганизовать материал — перевести его из колонных секвенций в трассовые. Важны признаки, по которым можно различать связи между разновременными культурами — какого рода секвенции они образуют. Для преодоления иллюзии автохтонности и требуется различать два вида секвенций. В этом смысл всей концепции.

13. Сциентизм: дескриптивная археология. Научно-техническая революция стала ощущаться в мирных отраслях жизни нашей страны позже, чем на Западе, — уже в послесталинское время. Химические, металлографические и петрографические анализы, техника естественно-научного датирования стали всё шире внедряться в археологические исследования, и многие археологи стали уповать на эти методы как на ключ к решению основных проблем археологии. Представлялось возможным выделять археологические культуры и эпохи по материальным признакам, лучше выявляемым естественно-научными методами и технологическими анализами, и прослеживать эволюцию и преемственность именно в этом разрезе. Такой характер носили исследования Е. Н. Черных в 60–80-е гг.

Впрочем, уже создатель (в 30–50-е гг.) *функционально-трасологического метода* (изучения следов орудий под бинокулярным микроскопом) Сергей Аристархович Семенов противопоставлял свой метод типологии (определявшей функциональное назначение орудий по их форме) как подлинно научный метод недостоверным гаданиям. Для таких исследователей, как Семенов, применение естественнонаучных методов в археологии было логически связано с приоритетом, который марксистские социологизаторы придавали изучению материального производства, технологии, орудий. Так что на этом этапе сциентизм как бы вырастал из марксистского социоисторизма.

Позже эстафету этого плана переняли археологи, увлекшиеся математическими методами на службе археологии — статистикой и комбинаторикой (Я. А. Шер, Б. И. Маршак, В. Б. Ковалевская, Г. А. Федоров-Давыдов). В основном они развивали методы, уже освоенные на Западе. Первые опыты такого рода появились, однако, в российской археологии даже раньше, чем на Западе, — в 30-е гг., в работах П. П. Ефименко (1926), А. В. Арциховского (1930) и М. П. Грязнова (1941). Эти ученые надеялись решить все проблемы археологической типологии и классификации математическими методами — выявить реальные типы и культуры, объективно установить их связи и отношения. И Ефименко, и Грязнов надеялись сослужить этим службу теории стадиальности (так, Ефименко приравнивал археологические эпохи к стадиям, а Грязнов считал археологическую культуру просто этапом в эволюции). У этих исследователей сциентизм пробивался сквозь запоздалый эволюционизм и теорию стадиальности.

Оба советские течения — теория стадиальности и марксистский социоисторизм — в отличие от эволюционизма, противопоставляли социокультурное развитие природному, стало быть, в основном противостояли сциентизму. Дискредитация обоих течений, конечно, придала силу и самостоятельность тенденции сциентизации. Развернулось и экологическое ее направление (П. М. Долуханов), возродившее анучинскую традицию.

Компьютеризация стала входить в российскую археологию намного позже, чем на Западе — собственно, только с середины 90-х гг. Однако уже за несколько десятилетий до того, наблюдая ее развитие на Западе и пытаясь угнаться за ней с помощью перфорированных карточек, российские археологи поняли, что предстоящая и неизбежная компьютеризация потребует теоретической перестройки всей археологии. От археологов потребуются измерения, больше точности в описаниях, строгость определений, выработка точных

алгоритмов исследования и т. п. *Дескриптивная археология* стала лозунгом дня (И. С. Каменецкий, Б. И. Маршак, Я. А. Шер — совместный труд 1975 г., попытки школы Владимира Федоровича Генинга в Свердловске и Киеве).

Мое стремление применить теорию коммуникации к объяснению дискретности культурно-исторического процесса можно также рассматривать и в русле этого течения.

С начала же 70-х гг. я в нескольких небольших заметках пытался применить к анализу секвенций *теорию коммуникации* (Клейн 1972; 1981). Поскольку культурно-исторический процесс может быть приравнен к передаче информации от поколения к поколению, его можно рассматривать как сеть коммуникации и, соответственно, преемственность принимать за стабильность этой сети, а культурные сдвиги — за ее нарушения. Суть концепции заключается в том, какие культурные явления можно счесть за эквиваленты факторов, нарушающих стабильность сети. Тогда миграции окажутся только одним из возможных объяснений перерыва постепенности. В перечень таких факторов могут в зависимости от ситуации включаться и другие уже использовавшиеся объяснения (культурные влияния, экологические изменения и проч.), как и совершенно новые объяснения. Мне представляется, что такое рассмотрение перспективно.

Историографу не очень удобно писать о себе, но хочется дать полную характеристику времени, для которого, вероятно, я заслуживаю места в историографии. Во всяком случае другие историографы мое имя в этом контексте приводят (Лебедев 1992: 14, 344, 441, 444; Формозов 1995: 85–86; Тихонов 2003: 206–207). Всё же я как-никак преподавал двадцать лет археологию в одном из двух главных университетов страны, а потом тридцать лет писал и печатал книги по теории археологии, и в этой сфере мы вдвоем с Генингом создали большую часть русской археологической литературы. Существенно, что по сравнению с книгами Генинга мои обладают по крайней мере одним преимуществом: их не только цитируют, но и читают. Возможно, я уделил здесь чересчур много места переложению своих концепций, но трудно удержаться от искушения объяснить еще раз то, что мне представляется важным. Должен признать, что если поиски миграций были в последнее время широко распространены, то моя концепция секвенций, обосновывающая эти поиски, была прямо использована только некоторыми исследователями (напр., см. Щукин 1979), а попытку применить теорию коммуникаций не подхватил

никто, и всего два археолога (правда, очень авторитетных) вообще обратили на нее внимание и высоко ее оценили.

Зато еще одна моя концепция обрела сравнительно широкую известность. Речь идет о моей идее *эшелонированной археологии*. Она также связана с логикой исследования, с его превращением в некий алгоритм.

Сперва я пытался применить теорию коммуникации непосредственно к смене археологических культур. К середине 70-х гг. я пришел к выводу, что нельзя непосредственно исследовать культурно-исторический процесс анализом секвенций, даже трассовых, нельзя за каждым изменением в секвенции искать какой-то сдвиг в реальной жизни прошлого. Между ней и нашим анализом стоит *археологический источник*, и нужно сначала понять преобразования информации в нем — что с ней произошло при поступлении в источник и после его отложения (Клейн 1978а/1995). Последовательности этих изменений должна соответствовать *нормативная процедура* исследования — она образует своего рода алгоритм, и исследование должно быть строго *эшелонированным*, расчлененным на этапы (1975а; 1978б; 1999а). Эта моя концепция была более доходчивой, но менее оригинальной. К аналогичным выводам примерно в то же самое время пришли в США Люис Бинфорд, лидер «новой археологии», отказавшийся в этом от некоторых ее устоев (от ее «процессуальности»!), и Майкл Шиффер («поведенческая археология»).

Чтобы отстоять эту идею в России, нужно было выполнить две теоретических задачи: во-первых, ввести в советскую археологию представление о *внутренней критике археологических источников*, разработанное в западно-германской археологии Юргеном Эггерсом, а во-вторых, преодолеть советскую традицию *социоисторизма*, по которой предметом археологии надлежало считать непосредственно культурно-исторический процесс, т. е. общества прошлого в их развитии. Это означало преодолеть представление школы Арциховского — Рыбакова, что у археологии тот же предмет, что у истории. Я же предложил считать археологию не дубликатом истории, а источниковедческой дисциплиной. Это означало, что предметом археологии являются материальные древности как части культуры и как элементы культурно-исторического процесса. Археология преобразует материальные древности (археологические источники) в тексты археологов, которые и становятся собственно историческими источниками. Моя книга «Археологические источники» (1978) вызвала острую и длительную дискуссию о предмете археологии

и снискала много сторонников. Начинающие археологи до сих пор постигают по ней глубинные проблемы археологического познания.

14. Релятивистский субъективизм и постмодернизм. С развитием типологических штудий и дескриптивной археологии связана на Западе одна общеобъяснительная концепция, которая теперь проглядывается и у нас. В условиях дискредитации марксизма, а с ним и объективистского оптимизма вообще, головокружительные успехи естественных наук и сверхизощренность компьютерных программ сформировали у археологов веру во всемогущество исследовательского инструментария, в полную зависимость результатов исследований от того, кто им владеет. Кризис позитивистской и неопозитивистской методологии толкнул исследователей в противоположную крайность — к абсолютизации свободы исследовательского интеллекта в интерпретации источников, к преувеличению роли субъективного фактора в реконструкции прошлого. Обнаружившуюся свободу в выборе аспекта рассмотрения они истолковали как свободу формирования объекта.

К тому же недавний опыт истории, например советской и нацистской науки, показал, сколь зависимы выводы археологов и историков от политики, от социальной позиции ученого, от его субъективных пристрастий, а социологический анализ марксистского толка, ставший на Западе весьма влиятельным в археологии (*«критическая теория»*), придал этому выводу общезначимость, распространив его и на анализ других концепций.

В западной археологии ряд ученых (Дж. Бру и Дж. Форд в США, М. Мальмер в Швеции, и др.) выдвинул концепцию, согласно которой группировка материала и выводы целиком зависят от произвола исследователя, от избранных им определений, методов и критериев. Соответственно, вопрос о причинах дискретности культурно-исторического процесса, о скачкообразности развития, о природе разрывов между культурами в секвенции сам собою снимался: археологические культуры оказывались сформированы не древними создателями и носителями, а современными исследователями — сформированы из аморфного материала, возможно, представлявшего на деле континуум, непрерывное развитие.

В последние десятилетия советского режима эта концепция пробивалась и у нас, но очень спорадически (в палеолите — Г. П. Григорьев 1972), сейчас — несколько шире (в общей теории — Е. М. Колпаков 1991: 27–43).

С релятивизмом и упором на субъективные аспекты исследования связано еще одно направление в современной археологии — *постмодернистское*. В западной археологии оно, появившись в 80-х гг. XX века в работах Яна Ходдера и его учеников, получило название *постпроцессуального*, поскольку является ответвлением известного в разных науках и искусствах течения *пост*модернизма и поскольку противопоставило себя «новой археологии» Люиса Бинфорда и Дэвида Кларка, носившей название «*процессуальной*».

Между тем, процессуальным, т. е. ставящим во главу угла непосредственное изучение культурно-исторического *процесса*, учение школы Бинфорда и Кларка можно было считать только до середины 70-х, когда и в работах самого Бинфорда и в выступлении его ученика Шиффера акцент был перенесен на изучение формирования археологического источника, стоящего между культурно-историческим процессом и археологом («*поведенческая археология*» Шиффера). Таким образом, «поведенческая археология» является постпроцессуальной, а учение Ходдера можно было бы именовать постпостпроцессуальным, если бы вообще это обозначение имело за собой хоть какой-нибудь позитивный смысл, а не обозначало лишь время на шкале последовательности учений. Сами сторонники этого учения именуют свой подход то контекстным (хотя было другое направление под этим именем), то символическим и структурным, то критическим — по «критической теории» франкфуртского марксизма.

Еще меньше оснований называть «постпроцессуальными» проявления этого течения в нашей стране.

В течении, которое инициировано Ходдером, сочетаются недоверие к общим социологическим и культурным законам, которые так стремился выявить Бинфорд, упор на вариативность конкретной истории и обусловленость каждого явления контекстом, убежденность в полисемантизме каждого археологического факта, который лишь символ, лишь знак некоего явления прошлого, допускающий разночтения. Отсюда неверие в объективность добываемой истины — по представлениям «постпроцессуалистов», она определяется субъективным выбором исследователя, а этот выбор в свою очередь (и это есть вклад «критической теории») обусловлен его социальными, национальными и партийными пристрастиями. Их-то и надо критически изучать в конечном счете — пристрастия своих оппонентов и свои собственные. Этой политизацией постпроцессуалисты напоминают советских марксистов. К этому комплексу черт добавляются общие приметы постмодернизма: убежденность в исключительной

сложности мира, недоверие к познавательным возможностям науки, замена четких понятий размытыми, определений — метафорами, научного обсуждения — риторикой, описания — фразой, серьезного диалога — игрой, банальной истины — парадоксом. В некоторых работах отечественной археологии можно выявить скорее эти общие приметы постмодернизма, чем то, что именуется постпроцессуализмом.

Первым ярким проявлением постмодернизма на нашей почве я счел бы работу молдавского археолога М. Ткачука, представленную в качестве кандидатской диссертации в Петербурге в 1995 г. и вышедшую в Кишиневе книгой «Археология свободы. Опыт критической теории» в 1996 г. Постмодернизм здесь налицо: археология политизирована, идеи сложные, язык красивый и зыбкий, изобилует метафорами и парадоксами. «А во имя чего достоверность нужна археологу с историком? Какая именно достоверность им нужна?.. Всё это — исторические достоверности, но всё это — различные достоверности» (Ткачук 1996: 31). «Невозможно провести границу во времени, отделяющую эпохи, в которых мы утрачиваем больше, от эпох, которые мы прозреваем насквозь. Отсюда следует с неизбежностью вывод о том, что все культуры археологические» (1996: 107). В диссертации не было ни систематического анализа археологических фактов — типологии, стратиграфии, ни списков памятников, ни сравнительных таблиц — ничего, к чему привыкли археологи. Зато были ссылки на модных западных философов и заумные цитаты. Один оппонент дал разносный отзыв, ученый совет склонялся на его сторону.

Я тоже был оппонентом, и, признавая талант автора, определил его работу как постмодернистскую и критиковал не столько саму работу, сколько всё течение постмодернизма. В своем ответе диссертант блестяще защищал свои позиции и указал, что многие идеи ему подсказали мои книги. Действительно, в его диссертации было немало ссылок на меня: «Самый полный и наиболее глубокий ответ дан Л. С. Клейном...», «Открытие (по другому не назовешь) Л. С. Клейном специфики археологических источников...» (Ткачук 1996: 172, 176 и др.). Совет присудил Ткачуку искомую степень (теперь он директор основанной им Высшей антропологической школы в Молдавии), а я получил повод продумать заново свое отношение к постмодернизму и нашел в нем и кое-что полезное: осознание ограниченности наших знаний и возможностей, осознание сложности мира и опасности упрощенных решений.

Трезво поразмыслив, я действительно нашел в своем творчестве кое-какие идеи, могущие быть осмысленными в русле постмодернизма, — например, признание многосторонности и зыбкости понятия «археологический источник» (Клейн 1978); осознание важного места творческого сознания и интуиции исследователя в создании археологической теории (Клейн 1980); усмотрение роли предзнания в типологическом выявлении археологических культур (Клейн 1991); открытие диалектического взаимодействия двух противоречивых систем принципов в самой основе археологического познания (Клейн 2001)... В конце концов, Ткачук — ученик В. А. Дергачева, моего ученика, и мог бы рассматриваться как отпрыск моей школы.

Его работа остается единичным известным мне случаем проявления постмодернизма на постсоветском пространстве, и появилась она тогда, когда на Западе постпроцессуализм подошел к концу. Я уделил этой работе столько места потому, что — возможно, из-за своей оторванности в последние несколько лет от мировой археологической литературы (она плохо поступает сейчас в наши библиотеки) — не могу уловить, какое течение идет на смену рассмотренным концепциям в России (как, впрочем, и постпроцессуализму на Западе).

В своей книге «Феномен советской археологии» (1994) я более дробно распределил ученых между рассмотренными течениями. Кроме того, я выделил еще несколько общностей в советской археологии, именуя все эти формирования «направлениями», а также «поколениями», «устремлениями» и т. п., и снабдил их для удобства рассмотрения именами собственными («ярлычками»). Однако я не уверен, что будет корректно перечислять их наряду с уже упомянутыми здесь, то есть как идейные и методологические течения, обладавшие собственными концепциями в ранге парадигм или близкими к этому.

Каждое из этих более частных направлений или школ, существенно затрагивая некую сторону археологии, не образует в ней всеобъемлющей концепции или парадигмы, не охватывает весь стиль мышления, не создает новых принципиально объяснений основных археологических проблем. Поэтому я счел возможным опустить их здесь, а интересующихся адресовать к моей указанной книге.

Часть III

Российские археологи

Знать историю — это понимать людей, которые
поставляют материал... Изучать историю —
это изучать мотивы, мнения и страсти людей,
дабы проникать во все пружины, все механизмы
и все детали; опять же дабы понимать все иллюзии,
коим они следуют, поступая по рассудку...
Одним словом, это учиться понимать себя в других.

Лангле дю Френуа.
Новый метод изучения истории, 1713.

1. Биографический подход. В третью самостоятельную часть моей истории российской археологии я решил выделить биографии ученых, сделав ее, по крайней мере с точки зрения объема, главной частью книги.

Дело в том, что роль личности в истории, ранее всячески принижавшаяся советскими историографами в пользу коллектива и народных масс, ныне выступает в нашем сознании достаточно рельефно. Принижению личности и раньше приходилось изворачиваться перед лицом культа вождей (для них и их исторических аналогов и прообразов делалось исключение). Сейчас мы понимаем, что выдающиеся личности (в том числе и вожди) формировались под воздействием ряда исторически обусловленных и случайных факторов, среди которых сугубо личные качества тоже играли роль. Но, оказавшись на постах исключительной влиятельности и в обстоятельствах, где решения и деяния личности обретают огромную силу, личности начинают играть выдающуюся роль и надолго меняют ход истории. Маньяк типа Чикатило может замучить несколько человек, террорист может загубить сотни. Но став царем или диктатором, он распространит свои воздействия на миллионы. Князь Василий Голицын, возлюбленный Софьи, испытывал симпатии к европейской цивилизованности и брил бороду — это было его личное увлечение. Царь Петр с таким же увлечением на троне сбрил бороды всей знати и всему чиновничеству. Позже обычай брадобрития и ношение европейской одежды

распространились на весь народ. Таково было значение позиции личности в системе.

Часто это не только осознается, но и преувеличивается. Яркое свечение выдающихся фигур затмевает всё остальное и побуждает исследователя распространять имя и характеристику героя на широкую сферу, в которой он действовал, за пределы его истинного участка воздействия, — на целый период, эпоху, культуру, народ. Так, Лебедев (1992) именует по выдающимся археологам-организаторам целые периоды истории российской археологии:

археология Петра Великого — Академия наук;

Оленинский период — Академия художеств;

Уваровский период — Московское археологическое общество, бытовая дескриптивная парадигма;

Городцовско-Спицынский период — оба были классификаторами и систематизаторами;

Марровский период;

Рыбаковский период.

Покойного исследователя не смущал тот факт, что влиятельность Уварова не распространялась на Петербург, где доминировала Археологическая комиссия. Оленин был авторитетен не для всех, кто занимался археологией; важные для археологии решения принимались (и события происходили) без его участия. Ни Городцов, ни Спицын не распоряжались делами в археологии и были для других ее фигур (Забелина, Самоквасова, Уваровой, Анучина) уважаемыми коллегами, не больше. Марр в свою бытность председателем ГАИМК самой археологией практически не занимался. Рыбаков действительно правил всей археологией, но и в его время такие фигуры, как Пиотровский, Окладников, Артамонов, Массон-старший, были весьма независимы — они считались с Рыбаковым, но вели автономную деятельность.

Естественным и часто первым приходящим на ум подходом было увидеть в истории любой дисциплины прежде всего последовательность ученых, череду их жизнеописаний и перечни трудов. «История химии, — говорил А. Кекуле, — это история химиков». Фридрих Кёпп говорил: «Нет археологии, есть только археологи» (Коерр 1939: 11), а составители Хандбуха археологии добавляли: «...и история археологии остается всё еще историей археологов». (Handbuch der Archäologie, I,1: 12). Дэниел выражался схоже: «История археологии — это длинный календарь эксцентричных личностей!» (Daniel 1950: 155). Это биографический подход или индивидуалистический

детерминизм, равный индетерминизму, поскольку в индивиде случайное сочетание качеств и обстоятельств сказывается наиболее сильно.

Этот подход можно увидеть до сего дня — когда историографы разочаровываются в более обобщающих концепциях и причины исторических явлений видят в свободной, ничем не детерминированной воле индивидов, выдающихся личностей. Научные школы в этом случае расматриваются как индивидуальные создания крупных авторитетов — ученые группируются в школы вокруг учителя или по месту сложения. Как сказал о смежной науке Э. Карр: «Прежде чем исследовать историю, исследуйте историка...» Но у этого афоризма Карра было и продолжение: «Прежде чем исследовать историка, исследуйте его историческую и социальную среду» (Carr 1964: 44).

Биографический метод исследования истории науки когда-то был главным в ней и, во всяком случае, давно обратил на себя внимание методологов историографии (Оствальд 1910; Человек науки 1974; Семенова 1997; Репина 1999; 2001; Докторов 2007; Lee 1918; Thayer 1920/1977; Maurois 1929; Johnson 1955; Garraty 1957/1987; Kendall 1965/1985; Bertaux 1981). Родоначальником метода считается Ш. О. Сент-Бёв, писавший об ученых и писателях и составлявший их биографии на основе фактов среды, быта и интимной жизни. Это в дальнейшем было признано ограниченностью, и метод расширил свою сферу материала — на постижение смысла творчества, социальную обстановку и связанные с ней идеи творческой личности. Исследователь призван проводить свои занятия не столько в спальне своего героя, сколько в его творческой лаборатории (Мейлах 1973: 130). Но приходится ему обращаться и к закулисной деятельности великих людей, отнюдь не всегда столь благородной, как этого бы хотелось их почитателям: без этого некоторые поступки и отношения будут совершенно непонятны (Быков 1973).

В истории антропологических наук Борофски (1995) следом за формированием антропологии, которое он возводит к Моргану, Тайлору и Фрэзеру, выделяет «период героических менторов»: Боаса, Малиновского, Рэдклифф-Брауна и Дюркгейма, — вокруг которых создавались школы. Биографический подход сквозит и в книге Гирца «Труды и жизни. Антрополог как автор» (Geertz 1988), где рассматривается воздействие личных особенностей антропологов на их творчество и развитие науки. Эдам Купер в книге «Антропология и антропологи: современная британская школа» (1973/1985) также отводит ведущую роль в сложении школы личностному фактору.

Ранние виды истории археологии (я говорю о них в «Истории археологической мысли») — и дидактическая археология античников, и сенсационная археология популяризаторов, и даже в какой-то мере история археологических идей — исходили из того, что ход и повороты науки определяются выдающимися личностями. Возможно, поэтому их так заботили портреты. Так, с 1912 г. в Галле публиковалась серия «Классики археологии» (вышло три тома), в 1983 г. в Мюнстере, а в 1988 г. в Майнце опубликованы сборники портретов и кратких биографий немецкоязычных археологов-античников (Berghaus 1983; Lullius und Schiering 1988), а в 1994 опубликована антология источников по истории классической археологии «От Винкельмана до Шлимана» (Herzog 1994). В 1979 г. был даже издан толстый том «Анекдоты о немецких археологах и их изречения» (Brommer 1979), но эта книга относится уже скорее к популярным изданиям.

Во всяком случае, именно в рамках этих течений историографии вышло множество биографий выдающихся археологов, опубликовано немало мемуаров (т. е. автобиографий), есть книги типа антологии Эдварда Бэкона «Великие археологи» (Bacon 1976) и сборника автобиографий 11 выдающихся археологов «Мастера прошлого» Дэниела и Чиппиндейла (Daniel and Chippindale 1989). Вопросу о роли личностей в истории археологии и о значении биографических исследований в ней специально посвящены работы Дугласа Гивенса, Ярла Нордблада, Э. Боду, О. Гильберга (Givens 1992; Nordbladh 1995; Baudou 1998; Gillberg 1998) и др.

2. Типология ученых. Проще всего было бы расположить биографии в хронологическом порядке, но это затруднило бы выявление логической связи. Можно разбить совокупность биографий *по научным течениям и школам*. То есть можно сгруппировать ученых *по их идейной и методологической направленности* — тут выявятся антиквариянисты, эволюционисты, диффузионисты и т. д. или (в советской археологии) палеоэтнологи, стадиалисты, или (по другой разбивке) археоисторики и археосоциологи, дескриптивисты, археоэкологи и т. д. (Клейн 1993). Эта группировка, отражая смену концепций, несомненно связана с конкретной историей археологии. Но именно с конкретной, и в этом смысле она очень специфична и плохо сопоставима с историей других наук. И как тогда быть с археологами, сменявшими приверженность течениям? Кроме того, это дублировало бы вторую часть книги, повторяя ее в более подробном изложении.

Остается выявить *типы ученых*, по которым и сгруппировать биографии.

Типология ученых интересует как историка науки, так и биографа. Мейлах (1974: 14) заметил, что «вероятно, имеются какие-то невыявленные связи между типом и личностью ученого». Выделять типы ученых можно по-разному — в зависимости от подхода. Не так уж трудно произвести разбивку ученых *по психологическим типам*, сложнее — *по виду и масштабам их вклада* в науку. Методолог науки типизирует ученых *по их роли* в развитии некой теории, концепции. Так, Шварц (Schwartz 1978) проследил взаимодействие *типичных фигур* археологии в формировании всякой новой парадигмы, выделив фигуру Искателя, с которого всё начинается, поскольку именно он находит факты, необъяснимые старой теорией; затем в действие вступает главная фигура — Гений, который предлагает новые идеи, новые объяснения, новую теорию и тем самым приводит в движение всю команду — Систематизатора, Защитников, Добытчиков, Учителей и Эклектиков. С каждой новой концепциией всё это повторяется, и на новом витке появляются те же типичные фигуры.

С точки зрения науковедческой типологии для историографа привлекательнее другая группировка — *по месту, занимаемому теми или иными учеными в истории науки в целом*. Для всякой дисциплины в ее истории всегда есть начальный этап, на котором какие-то ученые поневоле выступают Пионерами, и у них есть особенности, обусловленные этой их ролью и спецификой данной науки в данной стране. Затем наука обретает зрелость, формируется, и кому-то богато одаренному выпадает на долю заложить ее основы, стать ее Основателем. Еще кто-то сумеет дать лучшие в ней образцы научного творчества, став Классиком. И так далее. Радикальная ломка и перестройка науки (какой была революция, называемая социалистической) влечет за собой свою серию ролей и, соответственно, типов ученых.

В истории российской археологии в этом плане я выделяю пять типов ученых: а) *пионеры, б) основатели, в) корифеи, г) классики, д) открыватели*. Далее уже в советской археологии по функциям в ней еще шесть — е) *передатчики традиции, ж) зачинатели «марксистской археологии», и) искатели национальных корней, к) раздвигатели границ, л) мастера, м) нонконформисты*. Характеристику каждого типа я сформулировал в отдельной работе (Клейн 2004) и здесь повторяю отдельно для каждого типа — как вводные замечания к обзору личностей.

Некоторое неудобство в такой группировке личностей, конечно, есть: они не выстраиваются в строго хронологической

последовательности. Чтобы несколько сгладить это неудобство, я постарался выделить типы так, чтобы они были как можно более хронологически компактными. Так, в сущности, открыватели и раздвигатели границ составляют один тип, но я разбил его надвое, выделив советских открывателей в отдельную группу.

3. Отбор. Стремясь представить отечественную археологию наиболее значительными фигурами, я, разумеется, понимаю, что любой отбор будет в большой степени субъективным. Выбор на основе каких-то объективных показателей (количество печатных работ, цитируемость, научные степени и звания и т. п.) может обеспечить непричастность исследователя (зачастую ценой громоздких операций), но не гарантируют истинной значительности фигур. Кроме того, я понимаю, что некоторые фигуры неизбежно выпадут из моего обзора просто потому, что не находятся в поле моего зрения, или у меня мало материалов о них, или я их недооценил. Поэтому я прошу рассматривать мою выборку как одну из возможных и доступных корректированию, но скорее за счет пополнения, чем за счет очистки от лишних фигур.

Всё же некоторые критерии, которыми я руководствовался, изложу, чтобы пояснить свои предпочтения. Я стремился отобрать значительные фигуры — тех, кто внес в археологию несомненный и заметный вклад, продвинул науку и обогатил ее существенными новациями. Тех, чьи работы обсуждаются и дискутируются, кто создал школы и породил или изменил течения. Мне хочется, чтобы это были фигуры, общепризнанные в своем значении.

Легче указать те критерии, по которым я не ввожу те или иные фигуры в свой обзор. Прежде всего я не включаю сюда никого из ныне живущих археологов по той причине, что их оценка в ряде случаев еще не устоялась. По необходимости то же касается и недавно умерших (ведь требуется некоторое время на сбор материала и написание биографии). К тому же объективно судить о живущих затруднительно: поневоле приходится считаться с тем, чтобы не обидеть коллег.

Затем я не включаю сюда фигуры, чей статус при жизни был высок только благодаря административному положению — посту или близости к власти. Разумеется, не включаю тех, чья слава обязана не археологической деятельности, а неким другим факторам.

Кое в чем я расхожусь в своем выборе с известными историографами. Так, Формозов в своей первой книжке по истории археологии уделил много внимания Вадиму Пассеку. Это действительно была

светлая фигура, Пассек выдвинул идеи, реализованные позже в деятельности Уварова и Забелина. Но сам-то Пассек не успел ничего крупного в археологии сделать. Поэтому у меня в биографическом разделе его нет.

Сейчас для многих Крупнов выглядит значительным ученым. Действительно: имел Государственную премию, был замом директора в Институте археологии в Москве, заведовал отделом — отвечал за Кавказ, оставил кучу учеников, сейчас они регулярно проводят Крупновские чтения — чем не величие? Но все эти достижения он имел лишь потому, что был приятелем Рыбакова, и тот его потянул наверх, чтобы был надежный человек рядом. Получив возможности, Крупнов использовал их добросовестно, трудолюбиво, но не было у него таланта к исследованию, и никаких переворотов в науке он не произвел. Но правил долго, руководил аспирантами по должности; те остепенились, засели на местах и образовали этакое сообщество, поддерживая друг друга, но не имея никакой особой исследовательской программы, особого набора методов, особой концепции — Крупнов и не мог им ничего подобного дать. Включив Крупнова в список виднейших, я бы поддержал дутую величину в пример многим нынешним. Не хочу этого делать. Крупнов был по гамбургскому счету скромным добросовестным работником без больших дарований. Такие тоже нужны, но прижизненные официальные оценки его были явно завышены. В одном ряду с Арциховским, Рыбаковым, Равдоникасом и др. он стоять не может.

Сомнительные случаи я всё же включил, но выделил их в особую группу. Так, в своих последующих книгах Формозов много занимался образом Константина Мережковского. Для Формозова это было естественно: Мережковский работал над палеолитом Крыма — областью исследовательских интересов самого Формозова. Конечно, как человек Мережковский чрезвычайно занимателен, его биография — проблема, загадка, и Формозов блестяще это показал. Возможно, биография Мережковского действительно показательна для эпохи. Но то, что Мережковский свершил в археологии, всё же имеет локальное значение: открыл палеолит Крыма. Тогда уж нужно брать и тех, кто открыл палеолит Кавказа, Средней Азии, Сибири и т. д. И не только палеолит, но и другие отрасли археологии. Их много. А в жизни самого Мережковского археология была преходящим эпизодом.

Лебедев описывает Николая Рериха в ряду выдающихся археологов как светлую личность и духовного лидера. Рерих был интересным художником, а археологией занимался походя и сравнительно мало,

не сделал в ней ничего выдающегося. Художником он был не без таланта, но своеобразным: он писал картинки, которые бы выглядели отлично как книжные иллюстрации, особенно детских и юношеских книжек, а Рерих писал их как станковую живопись, как большие картины, выпуская их тысячами. По натуре он был ультрапатриотом и мистиком, продолжателем теософии Блаватской, с явной манией величия — та же страсть поучать, те же географические регионы — Россия, Америка, Индия, то же позерство, то же создание секты, те же сектантские расколы. В этом плане ничего оригинального. Писания его выдержаны в нестерпимо ходульном стиле. Но он был более деловитым, чем Блаватская, и умел облекать свои эзотерические бредни в очень практичную форму, играя с советской властью и ГПУ, и, как многие основатели сект, извлекал из всего этого очень неплохие барыши. Как общественный деятель внес ценные идеи. Влечение Лебедева к нему понятно: Лебедев и сам был склонен к экскурсам в мистику. Я считаю, что уделять Рериху заметное место в истории археологии ни к чему: это будет лишь на руку его «рерихнувшимся» поклонникам, которые и так почитают своего кумира, как полубога.

Но сам этот вопрос нужно разобрать.

Наконец, повторяю: на моем отборе сказываются мои личные возможности и знания. Есть немало археологов, которые по всем своим параметрам могли бы вполне войти в мой обзор наряду с теми, кто отобран. Но не вошли — просто я их хуже знаю. Они меньше отображены в литературе, действовали дальше от моих интересов, у меня не оказалось интересных материалов для достойного отображения. Скажем, я, конечно, лучше знаю ленинградских/петербургских археологов, чем московских и провинциальных. Я старался соблюсти реальные пропорции, но, вероятно, пробелов в московской части окажется больше, чем в питерской.

Надеюсь, что, расставив эти вехи, я хотя бы приблизительно очертил поле, которое собираюсь охватить. Если моя книга окажется удачной и полезной, так что потребуется переиздание, обзор биографий можно будет и пополнить, но, вероятно, это нужно будет делать уже без меня. Надеюсь, что у меня найдутся способные продолжатели.

Пионеры

А вы трусливых не слушайте,
Вы их сдуйте, как пену,
Если вы есть — будьте лучшими,
Если вы есть — будьте первыми!

Если вы есть — попробуйте
Горечь зеленых побегов,
Примериваясь, потрогайте
Великую ношу первых.

Роберт Рождественский.
Если вы есть — будьте первыми.

Пионерами западной археологии были не археологи, а их предшественники по месту в эволюционной шкале наук — антикварии: коллекционеры и любители древностей. Пионерами российской археологии были тоже не археологи, но всё же цеховые ученые, только другого профиля, главным образом естествоиспытатели, члены Российской Академии наук, но также и радетели древностей из чиновничества, искренне страдавшие от недогляда властей за древностями и по собственному почину бравшие на себя обязанности государственной заботы о культурном наследии страны. В отличие от западных стран, где антикварии были, как правило, людьми коренной национальности, в России радетели древностей были почти все нерусскими. В Академии тогда преобладали немецкие ученые, приглашенные Петром и его преемниками, — из них в археологии отличились Даниэль Готлиб Мессершмидт, Герард Фридрих Миллер, Иоганн Гмелин, Петер-Симон Паллас, швед Филипп Иоганн Тауберт (фон Страленберг); в провинции чудаками, обращавшими внимание на древности, были тоже эмигранты — французы Поль дю Брюкс, Эдуард Тетбу де Мариньи, Жан Батист де Траверсе, полуфранцуз Бертье де ля Гард, Жан Море де Бларамберг из Фландрии, поляк Ходаковский и отпрыск обрусевшего польского рода Иван Стемпковский, далматинец Антон Балтазарович Ашик. Все пять виднейших пионеров русской археологии, отобранные для этой сводки, имели нерусские имена. Просвещенное отношение к древностям только еще начинало проникать в толщу русского населения.

Посланец Петра

Доктор Д. Г. Мессершмидт

Кто исполняет долг
В тяготах странствий, разве не охраной
Ему закон и государя мощь?

В. Гёте. Тассо.

1. Первый Мессершмидт в России. Для поколения русских, переживших Отечественную войну 1941–1945 гг., немецкая фамилия Мессершмидт (Мессершмитт) ассоциируется только с одним — с вражескими самолетами, налетавшими на наши войска. Но в русской истории был один Мессершмидт, ныне за пределами сибиреведения почти забытый, имеющий заслуги перед русской наукой, в частности и перед русской археологией (Новлянская 1970; Белокобыльский 1986: 10–23; Дэвлет 1996; Матющенко 2001, т. 1).

Он родился в Данциге (ныне Гданьск) еще в XVII веке, в 1685 г., когда Данциг принадлежал польскому королю. Мальчик был младшим сыном королевского корабельного инспектора. Отец дал детям хорошее по тому времени образование, они с детства учили древние языки (греческий и латынь, позже добавился и древнееврейский). Затем Даниэль Готлиб изучал медицину в университетах Иены и Галле и с 1713 г. занимался врачебной практикой, одновременно совершенствуясь в естественных науках — зоологии и ботанике. В 1716 г., воюя со шведами, Петр I осадил и взял Данциг. В Данциге на него произвел впечатление Музей естественнонаучных коллекций профессора Иоганна Филиппа Брейна. Петр, который мечтал о создании музея и Академии наук, способных соперничать с европейскими, попросил Брейна порекомендовать ему ученого, который бы мог собрать такие же коллекции в России, и Брейн назвал своего приятеля Мессершмидта. Петр поручил это дело своему лейб-медику Арескину, и в 1717 г. Даниэль Готлиб Мессершмидт получил от Арескина приглашение,

документы и аванс из далекой России. Ему был обещан пост директора музея. Тридцатидвухлетний врач Мессершмидт был предприимчив и отправился в только что основанный Петербург служить молодому русскому царю.

Россия этого времени уже два десятка лет переживала бурные потрясения. Лихорадочно строилась новая столица на берегу Финского залива, на краю государства. По велению царя верхние классы переодевались в европейское платье, сбривали бороды и надевали парики. В стране строились пушечные заводы, верфи и корабли. Осваивались и обследовались отдаленные земли огромного государства.

Прибыв в Россию, Мессершмидт столкнулся с первой неприятностью: его покровитель Арескин умер. Новым лейб-медиком царя стал Лоренц Блюментрост (в России Лаврентий Лаврентьевич). Он же возглавил Библиотеку и Кунсткамеру (позже и Академию наук), а брату своему Иоганну Деодату Блюментросту добыл пост «архиатера и президента Медицинской канцелярии». С надеждой на директорский пост Мессершмидту пришлось распрощаться.

В конце 1718 г. Мессершмидт получил повеление царя собрать небольшую команду и отправляться в Сибирь «для физического ее описания» — «для изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей: трав, цветов, корений и семян и прочих принадлежащих статей и лекарственные составы» (Новлянская 1970: 10). Таким образом, задание было в основном фармакологическое, и был Мессершмидт в подчинении Медицинской канцелярии. А попутно предписывалось собирать раритеты — редкости. Царь, только что создавший в Петербурге Кунсткамеру (букв. «хранилище искусств»), где собирал всякие редкостные и искусные изделия и необычные явления природы, интересовался и древностями — им тоже было место в Кунсткамере. Археология еще не была самостоятельной наукой, а скорее частью географии. Древности не выделялись из общего числа достопримечательностей страны. Специального указания на древности в указе не было.

А они уже обращали на себя внимание. В 1715 г. уральский заводчик А. Н. Демидов прислал царице по случаю рождения наследника партию золотых предметов, добытых близ Алтая из курганов. В 1616 и 1617 гг. сибирский губернатор князь М. П. Гагарин прислал царю две партии таких вещей. Из них составилась знаменитая Сибирская коллекция Петра I, хранившаяся в Кунсткамере, а потом в Эрмитаже (Руденко 1962). Осенью Гагарин побывал в Красноярске, и жители поднесли ему «древние вещи» из курганов, а губернатор в ответ выставил им 25 ведер вина.

Царь беспокоился о судьбе таких древних драгоценностей, но заботиться о них было поручено другим людям. В начале 1717 г., когда Мессершмидт еще только получал приглашение от Аре́скина, губернатору Сибири князю М. П. Гагарину был послан в Тобольск царский указ, в котором говорилось: «древние золотые и серебряные вещи, которые находят в земле древних поклаш, всяких чинов людем велено объявлять в Тобольску и велено у них брать те вещи в казну великого государя, а отдавать им за те взятые вещи ис казны деньги». В специальном указе 1718 г. это требование было расширено:

> «...Ежели кто найдет в земле или в воде какие старые вещи, а именно: каменья необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи или птичьи, не такие, какие у нас ныне есть, или и такие, да зело велики или малы перед обыкновенными; так же какие старые подписи на каменьях, железе или меди, или, какое старое и ныне необыкновенное ружье, посуду и прочее всё, что зело старо и необыкновенно — такожъ бы приносили, за что давана будет довольная дача, смотря по вещи, понеже не видав, положить нельзя цены...» (Кызласов 1983: 20).

Еще в одном указе было предписано насчет «протчих вещей» и «камней с потписью», «где найдутся, такие всему делать чертежи, как что найдут» — это текст, собственноручно написанный Петром. Еще до поездки Петра за границу по его указу 1699 г. велено было подьячему Лосеву с двумя стрельцами ехать в деревню Писанец на р. Туре и, сделав чертеж, зарисовать писаницу, причем так, чтобы знаки («письма») выглядели «ничем не розно и во всем бы сходно» (Кызласов 1983: 23). Но всё это первоначально касалось Мессершмидта в очень слабой степени.

2. Начало экспедиции. 1 марта 1719 г. Мессершмидт погрузил свои вещи и книги на шесть подвод и выехал из Петербурга в Тобольск. Его сопровождали двое слуг и два солдата-денщика. В Москве они присоединились к посольству в Китай и вместе с ним прибыли в конце декабря в Тобольск. Путешествие заняло 10 месяцев. По пути Мессершмидт составлял карту дороги. Он хотел ехать вместе с посольством в Китай, но от нового лейб-медика Блюментроста прибыл запрет. Наняли-то Мессершмидта для описания Сибири, вот и надлежит описывать Сибирь, ее животное, растительное и, вдобавок, минеральное царства (его в первоначальном задании не было).

Карты Сибири уже существовали, но на них были белые пятна, а богатства и достопримечательности занесенных на карту земель не

были учтены, описаны и измерены. Мессершмидт сам составил для себя более обширную программу действий и маршрут экспедиции. Позже, в апреле 1721 г., в письме томскому чиновнику Козлову Мессершмидт так формулировал цели своей экспедиции (разумеется, его прямая речь передана в тогдашнем переводе с немецкого):

> «По указу Царского Величества велено мне в Сибирской губернии и во всех городах приискивать потребных трав, и цветов коренья, и всякой птицы и прочее, також могильных всяких древних вещей шейтаны медные и железные, и литые образцы человеческие и звериные, и калмыкские литые зеркала под письмом, и буде кто... древние вещи могильные и все выше объявленные мне чтобы приносили и буде из тех вещей явитца что потребное, и за те могильные вещи дана плата будет немалая» (Кызласов 1983).

Кроме того, Мессершмидт решил заняться изучением местных языков, собирать рукописи, изучать климат, делать чучела животных и проч. Таким образом, кроме ботанических (с фармакологическими целями) и зоологических изысканий, а также собирания редкостей, появились в числе задач экспедиции и чисто археологические, по современному их обозначению, а по тогдашнему — поиски антиквитетов: металлических древних изделий, произведений искусства и ремесла, вещей с письменами, а происхождение их указано могильное. Дело в том, что в Сибири издавна «гулящие люди» сообразили, что «бугры», т. е. курганы, содержат древние могилы, а в них встречаются золотые изделия, и возник целый промысел «бугровщиков» — охотников за могильным золотом. Бугровщиков ловили, били батогами или кнутом, казнили, золото отнимали в казну, но промысел не исчезал (Курочкин 1995).

Путешествие Мессершмидта было чрезвычайно трудным. Указ из Петербурга был недостаточно предусмотрителен, местные власти не помогали, а чинили препоны, майор Лихарев, отправленный из Петербурга расследовать мздоимство губернатора Гагарина, отобрал у Мессершмидта его денщиков. Кстати, в 1719 г. губернатор был арестован, отдан под суд и в 1721 г. повешен на фонарном столбе перед зданием Двенадцати коллегий (старых, на Троицкой площади), у главного входа.

На приобретение редкостей Мессершмидт был вынужден тратить собственные средства, так как «жители этой страны так скрытны и скупы в отношении сообщения сведений и в особенности сведений о минералах, могильниках и тому подобных вещах, что без

предложения им лакомств и подарков нелегко узнать от них что-либо, стоящее внимания» (Новлянская 1970: 15). К тому же русского языка Мессершмидт не знал.

В ожидании более внушительного указа от высших властей Мессершмидт пробыл более года (две зимы) в Тобольске, делая оттуда вылазки по восточному склону Урала и знакомясь с местными архивами. Он составил каталог растений, коллекцию бабочек, чучела и описания птиц, таблицу числительных на 20 языках народов Сибири, делал ежедневные записи погоды и барометрические измерения, зарисовки памятников древности, каменных статуй и т. д. Одновременно готовил себе сотрудников для дальнейшего, более серьезного путешествия. Помощников себе он подыскал среди размещенных в Сибири пленных шведских офицеров. Их использовали и до него русские чиновники. Особенно понравился Мессершмидту капитан Филипп Иоганн Табберт, уже успевший изучить русский язык (русские его звали Иваном Филипповичем). На основе старых чертежей тобольского топографа С. У. Ремезова Табберт составил карту Сибири, которая понравилась Петру. Впоследствии он стал известен своими публикациями под именем фон Страленберга (Новлянская 1966). Мессершмидт ходатайствовал о том, чтобы Табберта отпустили с ним в экспедицию, «его царскому величеству к лучшему устроению, а из русских таковых (годных для этого дела) людей не обретается» (Кызласов 1983: 33). Кроме шведов Табберта и Д. Капеля, исполнявшего обязанности квартирьера и снабженца, в состав экспедиции вошли немцы переводчик Петер Кратц, повар Андреас Гесслер и 16-летний рисовальщик Карл Густав Шульман. Для ловли насекомых и сбора растений был куплен за 12 рублей 14-летний мальчик Ваня Путинцев, а для охраны взято несколько драгун, которые сменялись в острогах по маршруту.

Наконец в феврале 1721 г. был получен долгожданный указ от нового сибирского губернатора А. М. Черкасского, в каковом указе было предписано «управителям всех городов Сибирской губернии» помогать доктору Мессершмидту в его путешествии: «город от города давать ему служилых людей, сколько пристойно, и в городах давати ему квартиры свободные и, ежели где в городе обретаются коренья и минеральные вещи, объявлять ему» (Новлянская 1970: 18).

3. Многолетнее подвижничество. Так началось путешествие по диким местам Сибири, которое продолжалось ни много ни мало — восемь лет. Путники продвигались на лошадях по долинам и горам, на

лодках и плотах по таежным рекам, летом их поедом ела мошкара, зимой простужали сибирские морозы, постоянно мучили повсеместная грязь и неустройство российской глубинки: волокита и мздоимство местных властей, воровство и отлынивание от работы проводников. Выдача жалованья постоянно задерживалась — на годы! Лодки не раз тонули, гибла часть собранных коллекций, сбегали проводники, иссякало продовольствие, но Мессершмидт неутомимо проводил географические измерения, исправлял карты, отмечал неизвестные науке виды растений и животных, собирал и описывал растения, на жаре и на морозе потрошил настрелянную дичь и исследовал внутренности, разыскивал минералы, узнавал и записывал слова местных языков, сравнивал их с известными, добывал древние рукописи, тщательно описывал каменные статуи и, конечно, покупал находки раритетов и древностей. Те, которые не были предусмотрены царским указом, приобретал на свои средства.

Пересекая Барабинскую степь, Мессершмидт описал в дневнике (ныне в Институте Этнографии РАН в Петербурге, фонд к-III, оп. 1, д. 8), как осуществляется промысел «бугровщиков». Они уходят в степь на 20–30 дней пути.

> «Обычно они собираются вместе из всех вокруг лежащих деревень в количестве от 200 до 300 и больше человек. Прибыв на место, где они надеются что-то найти, они подразделяются на группы. После чего одна группа идет в одну сторону, другая — в другую, но недалеко друг от друга, чтобы иметь возможность поддерживать друг с другом связь, чтобы в случае прихода калмыков или казахов быть в состоянии защищаться, так как часто случается, что они вынуждены вступать с ними в бой, в результате которого некоторым приходится даже расстаться с жизнью. Заметив холм, насыпанный над языческими захоронениями, или скифский курган, они начинают копать его, но часто копают напрасно, так как находят только всякого рода медные или латунные, а также железные вещи, и тогда их труды мало вознаграждаются. Но иногда в этих могилах они находят много золота и серебра, золотые или серебряные уздечки, военные доспехи, изображения богов и другие предметы. Часто всё найденное золото достигает 6–7 фунтов» (Новлянская 1979: 25).

Три месяца Мессершмидт пробыл в Томске, пять месяцев в Абаканске, обследуя окрестности. На р. Томи Табберт обследовал изображения, высеченные на скалах у дер. Писаной. В августе 1721 г. на бурной речке Уйбат Мессершмидт обнаружил саблевидную стелу

с личиной и 13 строками надписи неизвестными письменами. Ему они показались родственными скандинавским рунам, он так их и назвал — руническими. Название этой енисейской письменности (оказавшейся средневековой хакасской) таким и осталось в науке. Но зарисовка, на которую он потратил два дня, не сохранилась (сохранился сам памятник). В Енисейской степи неподалеку от Абаканска Мессершмидт предпринял раскопки кургана. После двух дней раскопок была раскрыта могила, в которой был устроен деревянный ящик, а под ним разбросанные человеческие кости и крохотные кусочки меди и серебра. Очевидно, могила была уже разграблена, но устройство Мессершмидт описал и зарисовал. Табберта с людьми он отправил на р. Тесь зарисовать каменную фигуру человека на кургане, «усатого старика». Это оказался еще один памятник с енисейской письменностью. В Абаканске же заболел и умер шведский участник экспедиции, квартирьер Капель.

Тут в мае 1722 г. пришлось расстаться и с Таббертом, поскольку со Швецией был заключен мир и всем шведским пленным было приказано собраться в Тобольске. «С горькими слезами, — записывает Мессершмидт в дневнике, — простился я с моим честным, благочестивым, верным и прилежным помощником». В 1723 г. Табберт был отпущен в Швецию и там как фон Страленберг в 1730 г. издал книгу о географии Северной и Восточной Европы и Азии, где есть глава о Сибири. Более двухсот лет это была единственая публикация о совместном путешествии Мессершмидта и Страленберга. В книге Страленберг так сгруппировал сибирские древности: 1) могилы и могильные холмы, 2) письменные знаки на камне (петроглифы), 3) медали, 4) обелиски. Это была первая классификация археологических памятников Сибири.

Раскопки Мессершмидта и Табберта, правда, мало отличались от грабительских. Современным исследователям достаточно взглянуть на запись в дневнике Мессершмидта от 14 августа 1722 г.: «Денщики и служивые люди отправились раскапывать могилы» (Курочкин 1995: 11). Ученых интересовали только вещи, куриозы, раритеты. 18 августа Мессершмидт зарисовал каменное изваяние в долине Абакана (как сейчас мы знаем, неолитическое), в тот же день другое на каменной плите (бронзового века). Оба рисунка сохранились.

Между тем, глава Медицинской канцелярии Блюментрост, обеспокоенный отсутствием известий от Мессершмидта, прислал енисейскому воеводе указ проверить, жив ли ученый, а если умер, то опечатать собранные им коллекции. Мессершмидт отправил послание,

что медицинские и другие находки уже отправлены в столицу, что он продолжает работу, но ее очень затрудняет отсутствие жалованья уже полгода. В абаканском остроге он имел только хлеб и сухари, но местный житель подарил ему 50 кренделей, а прачка принесла ему яйца, молоко и калачи.

В Красноярске ученый наблюдал народные обычаи: при назначении архиерея взамен умершего двое священников брали тело покойного архиерея под руки и таскали его по храму, вручая предмет за предметом новому архиерею, который кланялся и целовал руку покойнику. С удивлением наблюдал немец русские народные увеселения — катания на шкурах с ледяных гор. Его шокировало, что в этих увеселениях принимал участие сам воевода. «Это развлечение черни, — с презрением отмечает Мессершмидт, — непристойное для почтенных людей». Наблюдал он и публичные пытки вора. Связав вору руки за спиной и подвесив за них к потолку, его били кнутом до крови, потом жгли его тело раскаленными щипцами, а затем, подвесив за связанные вместе за спиной руки и ноги на шесте, поджаривали на костре, пока не признался, где он спрятал украденное. «И интереснее всего то, — записывает Мессершмидт, — что такие показания он давал уже четыре или пять раз, но никаких товаров в указанных местах не находили» (Новлянская 1970: 47). Мессершмидту, человеку своего времени, не приходило в голову, что обвинение могло быть и облыжным.

Описывает Мессершмидт и мздоимство воевод. Красноярский воевода Зубов продавал должности начальников 14 приказов, брал взятки с 20 купцов, имел долю и в промысле «бугровщиков»; он, по словам местного портного, нажил 400 шуб из меха соболей, лис, рысей и проч. Зубов попал в опалу и был снят, но новый воевода Шетнев был не лучше. Получив жалованье для Мессершмидта, он задержал его на два месяца. В Енисейск незадолго до Мессершмидта прибыл молодой гвардеец, присланный арестовать обер-коменданта Вердеревского и доставить его в центр губернии Тобольск. Ночью гвардеец был убит у себя на квартире и брошен в колодец. По приказанию обер-коменданта труп был спешно закопан без расследования, а сам Вердеревский, мрачный и неразговорчивый, приняв Мессершмидта, распорядился снабдить экспедицию всем необходимым для дальнейшего путешествия.

Несколько раз, наталкиваясь на произвол, нерадение, взяточничество, невежество властей, на воровство и пьянство работников, в пылу раздражения немецкий ученый делал весьма нелестные записи

в дневник о русском народе и его качествах. Трудно обвинить его в германском шовинизме (как Мирзоев 1963: 13–19): он ведь фиксировал качества того общества, с которым сталкивался, а гнев затуманивал разум и вел к обобщениям. Но ученый честно служил русскому государству. Кстати, немецкого государства тогда и не было — было много мелких немецкоязычных княжеств, а Данциг был в польском подданстве. Так что высокомерие Мессершмидта было не столько немецким, сколько европейским. Да и сам царь Петр, видя разницу между европейскими странами и своей страной, явно считал европейскую цивилизацию выше и лучше, коль скоро ревностно стремился привить своим подданным западные нравы и быт.

На р. Нижней Тунгуске Мессершмидт обнаружил каменный уголь. «Я не сомневаюсь, — записывает он в дневнике, — что при желании здесь можно было бы устроить шахты и с большой выгодой добывать каменный уголь» (Новлянская 1970: 77). В Иркутске он изучает кости мамонта, незадолго до того привезенные туда с р. Индигирки. Некоторые европейские ученые считали, что это огромная амфибия, другие (и Страленберг) — что это морское животное. Татищев придерживался взглядов большинства — что это подземное животное, боящееся света. Мессершмидт опознал в мамонте родственника слона.

4. Долгое возвращение и скверный прием. В Иркутске же Мессершмидт в январе 1724 г. получил сразу два письма курьером из Петербурга от Блюментроста, датированые февралем и августом 1723 г. «Архиатер и президент», раздраженный отсутствием сведений, требовал отчета. «Считаю нужным просить, чтобы г-н доктор тотчас же по получении этого письма известил меня, считает ли он необходимым оставаться еще в тех местностях, где он находится сейчас... В противном случае я буду вынужден прислать вам приказ о выезде по первому санному пути в Москву». Сообщив Блюментросту о положении дел, Мессершмид отправился дальше, в Удинск, Селенгинск и Нерчинск. Поскольку еще в Иркутске он продал (за 16 рублей) Ваню Путинцева, он потребовал от местных властей предоставить ему за казенный счет двух мальчиков десяти-одиннадцати лет для собирания трав, птичьих яиц и гнезд (т. е. для лазанья на деревья) и двух художников. Художников не нашлось, а предоставленные мальчики «с воем и плачем» упирались и не хотели работать.

В Селенгинске Мессершмидт имел очень полезные и приятные беседы с Лоренцом Лангом, дважды побывавшим в Китае, и с его спутником архиереем, прекрасно разговаривавшим на латыни

Иван Кульчицкий, св. Иннокентий, епископ Тобольский

и цитировавшим латинских поэтов Овидия и Вергилия. О вещах религиозных — почитании икон, постах — архиерей разговаривал свободно и без всякого ханжества, что совершенно не соответствовало его сану. Новлянская (1970: 70) с удивлением выяснила, что этим архиереем (он у Мессершмидта не назван по имени) был Иннокентий (Кульчицкий), епископ Переяславский, впоследствии митрополит Тобольский, после смерти причисленный к лику святых. Мессершмидт умел ценить интеллект и в русских людях, а главным его недругом в России был как раз немец, правда, искренне стоявший (по своему разумению) на страже интересов России.

В Нерчинске в конце 1724 г. его застало новое письмо от Блюментроста, написанное почти год назад. Президент Медицинской канцелярии выражал надежду, что его предшествующие письма получены и «что, приняв их к руководству, вы в соответствии с моим желанием отправились в обратный путь... Не получая от вас до сих пор никаких известий, я принимаю ваше молчание как знак того, что вам больше нечего делать там, а потому предлагаю вам, по получении настоящего письма, как можно скорее выехать в Москву». При этом начальство сообщало, что лучше не обременять ведомство лишними расходами на транспорт. Нерчинск, недалеко от Амура, был самым восточным пунктом маршрута Мессершмидта.

Мессершмидт начал готовиться к возвращению, но продолжал исследования. Они затянулись еще на три года. Выезжая из Нерчинска, Мессершмидт посетил Нерчинский сереброплавильный завод, построенный греком Леванианом. На заводе работали арестанты и 90 наемных рабочих. Мессершмидт описал производство и его отличия от европейских. В день его отъезда завод и рудник не работали: все рабочие были пьяны, так как накануне выдавали зарплату. Ученый отметил, что воеводы и приказчики в дни получек специально

напаивали допьяна рабочих, чтобы, пользуясь их невменяемостью, обобрать их до нитки. Таким образом, он проследил корень дурной русской традиции напиваться в день получки.

При возвращении в Иркутск Мессершмидт столкнулся с очередным бегством местных работников: из лагеря убежали 12 подводчиков, захватив с собой лучших лошадей и четырех коров. У десяти новых подводчиков он приказал отбирать на ночь седла и оружие, но через несколько дней все подводчики, бросив седла и оружие (луки и стрелы), ускакали на лошадях. В Читинске приказчик Немиров заявил, что тунгусы отказываются дать экспедиции подводы. В гневе Мессершмидт выбросил его за дверь. Подводы нашлись.

В Иркутске после долгих проволочек ему выплатили жалованье за два года и дали гребцов и проводников. По Ангаре он поплыл в Енисейск. На первой же остановке сбежал молодой парень Алексей Бейбородин, прикомандированный вместо мальчика для сбора гнезд. Взамен ученому дали 11-летнего мальчика Бориса Бутакова. Этот тоже сбежал, был пойман и высечен. Через три дня он сбежал снова, и на сей раз успешно. Без достаточного состава сотрудников немец продолжал вести свои измерения, разыскания, описания и сборы. На Ангаре он описал «Писаный камень, или утес, на правом берегу Ангары, неподалеку от д. Климовой, на котором были нарисованы несмываемой краской две фигуры».

При своем возвратном посещении Енисейска Мессершмидт встретился с начальником Первой Камчатской экспедиции Витусом Берингом и его людьми, которые отправлялись на Камчатку, и провел в дружеских беседах с ними больше двух недель. Беринг уехал из Енисейска на восток, через три дня Мессершмидт — на запад. Свой багаж общим весом в 72 пуда (больше тонны) он вез на 12 подводах. Там были не только собранные коллекции, но и закупленные им для себя в последнее время китайские ткани и украшения, которые он надеялся выгодно сбыть, а некоторыми украсить свой дом.

Витус Беринг, начальник Первой Камчатской экспедиции

Между тем разгневанный таким вопиющим промедлением (прошло уже больше двух лет с повеления Мессершмидту вернуться) Блюментрост направил «промеморию» Тобольскому губернатору князю М. В. Долгорукому с требованием немедленно выслать Мессершмидта в Петербург, «а на сей 1725 год ему, доктору, жалованья не давать». Сведения о том, что доктор везет большой багаж и противится таможенному досмотру, дали повод подозревать, что он везет контрабанду (золото или меха). Когда Мессершмидт со своими уже 14 возами прибыл в Тобольск, ему не дали переодеться, а повезли к губернатору князю Долгорукому, как был — в шлафроке, без парика и шпаги. Губернатор велел комиссару тотчас же осмотреть те сани, которые путешественник хочет взять с собой на квартиру, и, буде там окажутся товары, обложить их десятинной пошлиной. Задержали два тюка.

Через неделю в присутствии губернатора вскрыли и произвели досмотр всех ящиков с коллекциями. Секретарь Баженов при этом обзывал ученого вором и мошенником. Контрабанды (золота, соболей и лис) не оказалось, но его издевательски спрашивали: «А разве шкурки жаворонка и семена ячменя, овса и пшеницы это тоже редкости и какое отношение они имеют к медицине?» Губернатор Долгорукий ругал его всячески. Между прочим, попрекал и жестокими расправами над слугами, отчего те от него постоянно бежали. Это был справедливый упрек. Мессершмидт возразил: «Я наказывал своих слуг за пьянство и открытое сопротивление распоряжениям, так как я обязан был держать их в повиновении, ибо закон Е. И. В. (Его Императорского Величества) и служба, на которой я состою, не могут терпеть пьяниц или строптивых слуг» (Новлянская 1970: 179). Он ушел оскорбленный и расстроенный. Пришлось уплатить пошлину и одарить подарками (взятками) губернаторского сына, чтобы привести багаж в порядок и уехать. По дороге из Тобольска в Москву он записал, что за время экспедиции поседел, полысел и заболел. Глаза воспалились, и зрение так ослабело, что он почти не может читать и писать. В свои 40 лет он выглядит стариком.

Тем не менее до самой Москвы он продолжал измерения и записи. 27 марта 1727 г. он прибыл в Петербург. За восемь лет здесь многое изменилось. Царь Петр I умер два года назад, его недолго правившая супруга Екатерина I также умерла. На престоле оказался подросток Петр II, а в стране всем заправляли родственники царской невесты Долгорукие, к клану которых и принадлежал тобольский губернатор, так грубо обошедшийся с Мессершмидтом. Стараниями Блюментроста

при дворе о путешественнике уже было создано скверное мнение. На другой день по прибытии все его тюки были опечатаны — как предназначенные к сдаче, так и собственные. Была создана специальная комиссия из академиков Делиля, Байера и Буксгаума под водительством библиотекаря Шумахера, которая должна была осмотреть все вещи, привезенные путешественником, и определить, что действительно подлежит сдаче. Вскоре академики сообщили, что пока за краткостью времени просмотрели только часть вещей.

> «Понеже опасно, — говорилось далее в их письме, — чтобы г-н д-р Мессершмидт, ежели он будет отпущен в свое отечество, не опубликовал эти куриозные вещи и описания к ним. Поэтому да благоволит Медицинская канцелярия взять с него скаску с присягой, чтоб об оном не публиковал без повеления Медицинской канцелярии» (Новлянская 1970: 152).

По приказу Блюментроста путешественник свез все вещи на подворье Медицинской канцелярии, и там шесть дней академики занимались учетом всего привезенного, протокол вел академик Г. Ф. Миллер. Все редкости и коллекции были забраны в Кунсткамеру, даже монгольские, тангутские и китайские, равно как предметы одежды сибирских народов, которые Мессершмидт не имел задания собирать и собирал для себя, на свои средства. Но удержание этих последних было ему возмещено. Он получил вознаграждение в 200 рублей — меньше своего полугодового жалованья. Кроме того, ему было обещано вернуть те вещи, которые окажутся лишними (дубликаты и не являющиеся редкостями).

Он принес присягу, что без разрешения Академии наук не будет публиковать оставшиеся у него рисунки растений и другие «куриозные вещи».

5. Судьба пионера. Вступив в брак с Бригиттой Элен, Мессершмидт, оплеванный и обиженный, отбыл в 1729 г. с возвращенной ему частью коллекций и рукописей на корабле в Данциг. К сожалению, судьба обеих частей его собрания, за которые шел такой ожесточенный спор, была плачевна. Корабль, на котором он плыл, затонул, людей спасли, но весь багаж погиб. Погибли книги ученого, рукописи, коллекции и всё имущество. Та же часть коллекций, которая досталась Кунсткамере, сгорела в пожаре Академии наук в 1747 г. Остались только дневники, рукописи и рисунки — они хранились в архиве.

Ученый не дожил до этого пожара. Не найдя радушного приема и у себя на родине, где его успели забыть, а связи оборвались, в том

самом году, когда более удачливый Страленберг опубликовал свою книгу, Мессершмидт совсем больным вернулся в Петербург, где, видимо, рассчитывал принять участие в работе над своими коллекциями. Но Блюментросты, ведавшие Академией, Кунсткамерой и Медицинской канцелярией, его не приглашали, а Мессершмидт, по гордости, не напрашивался. Он жил в крайней бедности, на поддержку из милосердия некоторых знатных персон, в частности Феофана Прокоповича, и умер в безвестности в 1735 г., дожив только до 50 лет.

В числе его сохранившихся рукописей — так и не вышедшая трехтомная книга на латыни «Описание Сибири, или Картина трех основных царств природы, наблюдаемая в течение восьмилетнего путешествия по Сибири, Киргизии, Тунгусии, Самоедии, Бурятии, Даурии и т. д.» Третий том, «Филологически-историко-монументные и древние куриозы» содержит рисунки древних памятников: статуй, идолов, пограничных и надгробных камней, наскальных изображений и надписей, а также рисунки вещей, вырытых из древних могил. Дневник путешествия состоит из пяти томов общим объемом более 3 тысяч страниц, шестой том в 1831 г. был взят академиком Фуссом с собой в экспедицию и потоплен в р. Лене.

Надпись на здании Восточно-Сибирского отделения Российского географического общества (ныне Краеведческий музей в Иркутске)

Пятитомные дневники Мессершмидта опубликованы только через 235 лет после возвращения экспедиции, в 1962–1969 гг., на немецком языке в ГДР (Messerschmidt 1962–1969).

Однако результаты исследований Мессершмидта не лежали втуне. Ими непрестанно пользовались многие поколения ученых. Не забыты и его археологические находки и открытия. По следам Мессершмидта прошел Г. Ф. Миллер, в конце XIX века его дневники использовал В. В. Радлов, в XX веке Л. Р. Кызласов и др. (Кызласов 1983; Мартынов 1983: 33–37; Матющенко 1992: 10–12, 2001). На здании Восточно-Сибирского отделелния Российского Географического общества (ныне Иркутский Краеведческий музей) написано его имя.

Он был пионером разных исследований в Сибири — орнитологических, ботанических, этнографических, археологических. В археологии его подвижническая деятельность во многом предвещала жизненные драмы последующих русских археологов. Ведь многие язвы России остались неисцеленными. Всё так же нища российская глубинка, всё то же воровство на всех уровнях, то же пьянство, то же взяточничество властей, то же небрежение своими обязанностями. Но и та же неприхотливость и выносливость простых русских людей (такой выносливостью, по мнению Мессершмидта, не обладает ни один народ в мире), то же радушие, те же блестки таланта и эрудиции. И сегодня всё еще археолог ощущает себя в России кем-то вроде чудаковатого иностранца, подозрительного, плохо оплачиваемого и разговаривающего на непонятном языке.

Противник Ломоносова

Герард Ф. Миллер

Умное слово застывает в тугом ухе.
В. Гёте. Фауст.

1. Немец Федор Иванович. Миллеров в истории русской археологии и филологии было несколько. Этот — первый. Фамилия происходит не от английских Миллеров, а от немецких Мюллеров, фамилия которых просто на ранних этапах передавалась на русском так же (происхождение то же, от слова «мельник»). Историк России С. М. Соловьев (1854) и историограф Академии наук академик Пекарский (1870–1873) так и пишут его фамилию с исправлением: Мюллер. Исправление не привилось. Этот первый Миллер, Герард Фридрих (в России Федор Иванович), был еще чистым немцем, не обрусевшим, как его нынешние потомки и однофамильцы. Но он стал крупным ученым именно в России (он не был приглашенным специалистом) и именно русским ученым (не просто немцем на русской службе). Дело в том, что он прибыл в Россию не маститым ученым, а безвестным юношей по собственному почину, в поисках работы. И остался на всю жизнь.

Заслуги его перед русской наукой колоссальны (Büsching 1785; Биографии 1821; Пекарский 1870: 332–334; Соловьев 1854; Каменский 1996; Бахрушин 1999; Hoffmann 2005 и др.). Но при жизни они не признавались, а после смерти, особенно в XX веке, имя его чернилось и усиленно предавалось забвению: «посредственный немецкий ученый», «немецкий фальсификатор русской истории» (ссылки см. в Миллер 1999: 9). Долгие годы его вспоминали только как «норманиста», чужака и пигмея, дерзнувшего спорить с великим Ломоносовым (Белковец 1988а; 1988б). Соловьев неслучайно подчеркивал немецкое звучание его фамилии: с трудов Соловьева идет традиция видеть в истории российской исторической науки борьбу двух тенденций: с одной стороны истинно русской, патриотической, представленной

Ломоносовым, Щербатовым, Болтиным и прочими природными русскими, а с другой — чуждой, немецкой, представленной академиками-немцами на русской службе — Байером, Миллером (Мюллером), Шлёцером и др. Традиция эта была раздута до предела в годы сталинской борьбы с космополитизмом. На самом деле в XVIII в. такого четкого распределения не было, и академики группировались по-разному, вне зависимости от этнического происхождения, а Ломоносов, который старался представить борьбу именно так, на самом деле сотрудничал со многими немцами, да и академики-немцы враждовали между собой. Мессершмидта притеснял немец же Блюментрост. Миллера преследовал не только Ломоносов, но и противник Ломоносова секретарь Академии немец Шумахер.

А главное, современная наука признает: Михаил Ломоносов, выдающийся естествоиспытатель, был предвзятым и потому никудышным историком, стремился подладить историю к политике и карьерным соображениям, и в их споре был, несмотря на частные ошибки, несомненно, кругом прав Миллер.

2. В Россию за удачей... и призванием. «Российскому государству служу я с 1725 г., но не имел я щастия в живых застать Петра Великого...» (Миллер 1975/1999: 150). Так, через полвека после приезда в Россию, но еще с немецким синтаксисом, писал Федор Иванович о своем появлении здесь (кстати, непонятно, почему Иванович — имя его отца было Томас, в русской передаче — Фома). На самом деле еще мальчиком он всё-таки видел Петра, когда тот проезжал через его родной город Герфорд в Вестфалии, и, по преданию, будущий исследователь Сибири долго бежал за царской каретой. Мальчик, родившийся в 1705 г., был сыном ректора местной гимназии, а мать его происходила из семьи профессора теологии города Ринтельна. В университет Ринтельна Миллер и поступил по окончании гимназии в 1722 г. (когда Мессершмидт уже год как работал в Сибири). Не проучившись там и двух лет, перебрался в Лейпциг, где многому научился у философа и историка И. Б. Менке. Во-первых, Менке обрабатывал и издавал исторические источники, а во-вторых, выпускал научно-популярный журнал. И то и другое потом пригодилось Миллеру в России.

В июне 1725 г. Миллер получил в Лейпциге степень бакалавра и, не став продолжать учебу, следом за старшим братом рванулся на поиски удачи в далекую Россию. В те годы это было обычным среди студентов. «Эти простаки, — писал Шлёцер, — полагали, что нигде

нельзя легче сделать себе счастье, как в России. У многих в голове был выгнанный из Иены студент богословия, который впоследствии сделался русским государственным канцлером» (Schlözer 1802: 31; Шлёцер 1875: 378). Имелся в виду Остерман, но были и другие: Лефорт, Бирон, Миних...

В Петербурге немецкий бакалавр нанялся в Академию наук «студентом» преподавать латынь, историю и географию. Рослого, бойкого и способного юношу приметил заправлявший делами в Академии глава библиотеки И. Д. Шумахер и стал давать ему разные организационные поручения. Главным из них было редактирование «Санкт-Петербургских ведомостей» — эту газету издавал Правительствующий Сенат, но после свержения Меншикова в 1728 г. Сенат отбыл со двором в Москву, поручив издавать газету руководству Академии. Миллер не только регулярно выпускал первую русскую газету, но и основал первый русский литературный и научно-популярный журнал «Примечания к ведомостям». В своих изданиях Миллер усердно проводил просветительскую работу, объяснял природные явления, боролся с суевериями.

На следующий год следом за президентом Академии Блюментростом отправился в Москву и Шумахер. Тут уж Миллеру пришлось заправлять всеми делами Академии вместо него. Он надеялся на руку дочери Шумахера и на замену тестя в должности главы библиотеки Академии наук. Столь быстрое продвижение молодого человека без всяких заслуг и его наушничество Шумахеру породили раздражение академиков. Когда в 1730 г. он баллотировался в профессора, но потерпел фиаско, с большим трудом Шумахеру удалось его протолкнуть — фактически он стал профессором по назначению.

И. Д. Шумахер

В том же году пришло известие о смерти отца. Миллер поехал улаживать семейные дела, а Шумахер добавил к этому командировку в Англию и Голландию. Целью было рассеять дурные слухи о русской Академии, распространявшиеся уволенными членами, и завербовать новых членов. Миллер это выполнил, да и сам стал членом ряда научных обществ. Но уезжать надолго в обстановке вражды и зависти было рискованно.

Вернувшись в Петербург в августе 1731 г., Миллер столкнулся с карьерной катастрофой: Шумахер резко изменил к нему отношение.

Из запертого шкафа в казенной квартире Миллера исчезли все доверительные письма Шумахера — тот, значит, заподозрил какой-то подвох со стороны своего протеже и конфисковал их. Возможно, Мюллер слишком рано проявил независимость суждений, которую Шумахер не терпел. Возможно, расстарались недруги в Академии, нашептывая Шумахеру о каких-то остротах Миллера (на которые он был большой мастер). Так или иначе, протекция сменилась враждой.

> «Я счел нужным проложить другой ученой путь, — вспоминал позже Миллер, — это была русская история, которую я вознамерился не только сам прилежно изучать, но и сделать известною другим по лучшим источникам. Смелое предприятие! Я еще ничего не сделал в этой области и был еще не совсем опытен в русском языке, однако полагался на мои литературные познания и на мое знакомство с теми находившимися в академической библиотеке книгами и рукописями, которые я учился переводить при помощи переводчика. Г. Байер, объяснявший древнюю русскую историю и географию из греческих и северных писателей, подкреплял меня в этом предприятии» (Пекарский 1970: 318).

Через год после возвращения Миллер основал еще один журнал — «Sammlung Russischer Geschichte» («Собрание русской истории»). Это был журнал по русской истории, задачей которого было издание источников по русской истории в немецком переводе с целью исправить ошибочные представления о России и русской истории в Европе. На многие годы этот журнал, стоявший на полках Вольтера, Гердера и Гёте, стал источником знаний по русской истории для всей Европы. Становилось ясно, что Миллер избрал для себя именно историю как основной предмет (возможно, под влиянием академика Г. З. Байера).

Но при исчезновении поддержки со стороны Шумахера дальнейшие перспективы в Петербурге становились сомнительны и неясны без каких-то экстраординарных действий, каких-то успехов и собственных научных заслуг. В 1733 г. отправлялась на восток Вторая камчатская (или Великая северная) экспедиция Витуса Ионассена Беринга. В ней формировался академический отряд — натуралист Иоганн-Георг Гмелин, астроном Людовик Делиль де ля Кройер и другие. В Миллере взыграл тот авантюрный дух, который восемь лет тому назад погнал его в Россию. Теперь он метнул его в Сибирь. Знакомый с капитан-командором Берингом, Миллер записался в экспедицию. Он сам вспоминал позже, что ссора с Шумахером немало способствовала этому решению: «Для избежания его преследований,

я вынужден был отправиться в путешествие по Сибири, чему он один благоприятствовал, лишь бы удалить меня...» (Пекарский 1870: 26). Он еще не знал, что отправляется на десять лет.

3. В Сибирь на десять лет. Задания перед экспедицией были поставлены Адмиралтейств-коллегией и Сенатом: изучить северные берега России и «доподлинно выяснить..., имеется ли соединение Камчатской земли с Америкой». Один отряд должен был пройти из Архангельска на восток к устью Оби. Второй отряд двигался из Тобольска, столицы Сибирской губернии, на север к устью Енисея. Еще два отряда отправлялись из Якутска на судах. Второй целью экспедиции было открыть пути в Японию, изучить Курилы. В экспедиции участвовали также братья Харитон и Дмитрий Лаптевы, штурман Семен Челюскин и др. (Островский 1937; Ваксель 1940). Академический отряд работал самостоятельно. В его составе профессора Гмелин и де ля Кройер проводили естествоведческие изыскания, профессор Миллер и его помощник С. П. Крашенинников собирали материалы по истории, этнографии и географии края, а в географические материалы входили и древние памятники, связь которых с историей была Миллеру ясна.

Относительно археологических памятников отряд имел четкую инструкцию от Сената:

> «всякого рода камения, или развалины здания или палаты, старые гробы или кладбища, статуи, сосуды скульптурные или глиняные, ветхие и новые, идолы или болваны, славнейших градов виды и положения места крепости и прочие иные нарисовать прилежно должен, а иные ежели можно будет и сюда привезти подабает» (Мартынов 1983: 41).

В начале августа академический отряд выехал из Петербурга, в октябре он был в Казани, в январе 1734 г. прибыли в Тобольск. Летом 1734 г. ученые двигались на 65 подводах через Омск и Семипалатинск на Кузнецк.

> «В то время, — запишет Миллер потом в рукописи о путешествии, — были мы еще в первом жару, ибо неспокойствия, недостатки и опасности утрудить нас еще не могли. Мы заехали в такие страны, которые от натуры своими преимуществами многие другие весьма превосходят, и для нас почти всё, что мы ни видели, новое было. Мы подлинно зашли в наполненной цветами вертоград, где по большей части растут незнаемые травы; в зверинец, где мы самых редких азиатских зверей в великом

множестве перед собой видели; в кабинет древних языческих кладбищ и тамо хранящихся разных достопамятных монументов» (Пекарский 1970: 323–324).

Как видим, он отмечает в числе захватывающих достопримечательностей и археологичекие памятники.

Около Усть-Каменогорска Миллер начал археологические исследования, раскапывал курганы. Затем на лодках проплыли по реке Томи до Томска, обследовали Томскую писаницу. Вот как он ее описывал:

«Скала состоит из какого-то ломкого камня тальковой породы, внутри зеленоватой, снаружи грязноватой, которую многократно пересекают поперечные жилы другого более мягкого пластующего камня из талька и кварца. Самая нижняя часть скалы, покрытая изображениями, возвышается над поверхностью реки приблизительно на две сажени и имеет внизу некоторый выступ, соприкасающийся с рекой, взобравшись на который не без труда, можно прекрасно видеть главную часть фигур. Фигуры выступают как бы на одной доске вверх сажени на три, причем среднее пространство занимает одна из вышеозначенных жилок, идущая горизонтально. Вблизи, направо, на таком же расстоянии от реки, видна другая группа фигур, имеющая только треть вышины предыдущих и вместе с ними простирающаяся на семь саженей в ширину. Отсюда по трещинам между обеими передними частями писаной скалы есть очень трудный проход к более отделенному углу верхней части, который совершенно таким же образом, как и передние места, украшен фигурами и обращен также к югу. Фигуры иссечены каким-то резцом так, что внутренняя зеленоватая окраска камня совершенно ясно обрисовывает их очертания. Большая часть представляет оленей, серн, козлов, лосей, лошадей и других животных этих мест. Некоторые же дают изображения людей, но все они даны только наружными очертаниями и довольно грубо. Более других замечательна на правой нижней части фигура человека, у которого голова окружена лучами; на верхней передней части — два человека, держащие друг друга за руки. В более отделенном углу — человек со стадом животных, привязанных одно к другому; в одном месте фигура рыбы, какой нигде больше не удавалось встречать. В нижней части многие фигуры, вследствие чьей-то шалости, сильно обезображены, нередко к старым фигурам прибавлены новые. В верхней же части и в упомянутом дальнем углу, куда никто не мог проникнуть или по трудности пути лишь немногие отваживались пробраться, всё уцелело и не осквернено» (Миллер 1750/1999: 526–527).

Томская писаница

Это описание не очень отличается от современных археологических описаний.

В 1735 г. ученые вели изыскания в окрестностях Красноярска, Нерчинска и Читы, и так год за годом. Летом 1739 г. они проводили раскопки курганов в долинах Енисея и Абакана. Множество курганов осмотрели возле деревни Абакано-Перевозной. Там они встретили старика отшельника Серенгу, который 30 лет жил в хижине среди курганов, раскапывал их и, продавая найденные вещи, этим кормился. Его сведения об устройстве могил и о вещах, в них находимых, очень пригодились Миллеру. Все металлические вещи этих курганов состояли исключительно из меди, железа там не было.

Раскапывали Миллер и его соратники курганы и по Иртышу. Они оказались по устройству и вещам беднее енисейских. Миллер решил, что они принадлежали не столь богатому населению.

Миллер неустанно трудился в архивах и на природе, с неутомимостью переносил тяготы многолетнего путешествия, с запальчивостью преодолевал бюрократические рогатки и нерадивость местных властей. Даже на таком здоровом человеке, каким он был, это не могло не сказаться. Осенью 1737 г. он почувствовал себя больным. «Сия его болезнь, — писал в Петербург Гмелин, — еще прошлого году в Якутске началась... Сия болезнь состоит в жестоком биении сердца

и превеликом страхе, который по переменам приходит, а иногда три и четыре дня не перестает с таким движением пульса, что я часто обмороков опасался...» (Пекарский 1970: 327). Судя по симптомам, это была «грудная жаба» — стенокардия, ишемическая болезнь сердца.

Поскольку Миллер заболел, на Камчатку отправили Крашенинникова, а сами профессора сначала проследовали на север до Мангазеи, а потом проплыли вверх по Енисею до Саянского острога.

Осенью 1739 г., после шести лет путешествия решено было возвращаться домой, но следуя не старой дорогой, а по-иному, чтобы затронуть исследованиями новые местности. Это продолжалось еще четыре года. В 1740 г. Миллер встретился в Сургуте с посланными им в помощь и на смену адъюнктами Георгом Вильгельмом Стеллером и с Иоганном Эдгаром Фишером, которому Миллер передал свой архив и составленную им инструкцию для продолжения исследований. Сам же по дороге домой проводил исследования на Урале.

Инструкция эта, перепечатанная Радловым в «Сибирских древностях» (MAP 15), содержала шесть разделов с 1347 пунктами, пятый раздел был о древностях (т. е. охватывал археологические материалы), шестой — о нравах и обычаях (этнографический). Этнографический был для Миллера важнее — включал 923 вопроса. Археологический был развернут в сто статей. Когда Миллер был уже в экспедиции, аналогичные анкеты с вопросами, включающими материальные древности, составлял В. И. Татищев, но инструкция Фишеру была гораздо подробнее.

От преемника требовалось вести журнал всего путешествия, не пропуская ни одного дня пути, «чтобы не осталось вписанным в журнал ни одно дорожное наблюдение». Излагались принципы описания, зарисовывания, функционального определения вещей по сопоставлению с современными («нынешними вещами различных народов»). Об этой инструкции Формозов (1961: 34) отметил: «Миллер различает до десятка типов сибирских погребальных сооружений и предписывает Фишеру исследовать множество вопросов. Надо выяснить и число погребений, и глубину их, и ориентацию, и есть ли при погребениях костяки овец и коней. Надо записать, где лежат вещи — в ногах или в головах... Блеск сибирского золота не затмил для Миллера значения рядовых находок». Формозов и Лебедев цитируют по Радлову указание Миллера: «Глиняные сосуды при этом не следует оставлять без внимания», — в круг источников вводилась керамика, ставшая потом одной из важнейших категорий массового археологического материала (Радлов 1894: 114; Лебедев 1992: 57–58).

Инструкция предназначалась не только для Фишера — было предусмотрено, что она «и впредь при таких же случаях основанием служить может». Подлинник ее Миллер отправил в Академию Наук.

В 1742 г. в Туринске Мюллер захворал «простудною горячкою», которая тогда свирепствовала по всему востоку России как повальная болезнь (видимо, грипп). Когда он свалился, за ним ухаживала вдова умершего немецкого хирурга. На ней он и женился.

В Петербург он возвратился в феврале 1743 г., проехав 31 362 версты (Пекарский 1870: 332, хотя Мирзоев указывает 33 025 верст (Мирзоев 1970: 77), Гмелин и Крашенинников — в том же году; Фишер же и Стеллер вернулись только в 1746-м.

4. Результаты путешествия и приём. В том, что Миллер привез из Сибири, первое место занимали не археологические материалы и наблюдения, а собранные в огромном количестве письменные источники — летописи, челобитные, всякого рода грамоты разных веков, скопированные им в архивах, разбросанных по всей Сибири (в острогах, крепостях, канцеляриях воевод) и в силу удаленности сохранившихся лучше, чем архивы центральной России. Там нашлись, например, документы, освещавшие лакуны в истории Смуты и эпохи Лжедмитрия. Копии из 20 сибирских архивов составляют 35 огромных томов, не считая комментариев и выписок самого Миллера. Всё же он был прежде всего историк-источниковед. Только на втором месте стояли антиквитеты — материальные древности, которые Миллер рассматривал как вспомогательный материал истории, т. е. тоже как источники по истории.

Наибольшее количество выявленных памятников представляли могилы. «Древние могилы, кои находят в странах России и Сибири, — писал Миллер, — различного бывают виду, хотя большая часть оных вероятным образом происходит от одного народа». Первое верно, второе — нет, но для времени, когда вся первобытность была в глазах историков сжата до нескольких тысячелетий, ошибка естественна. Для объяснения обнаруженных в человеческих могилах костей животных и вещей Миллер прибегал к сопоставлению с наблюдениями, которые сейчас назвали бы этнографическими, то есть к сравнительному анализу, применявшемуся на Западе Лафито (книга его вышла в 1724 г.). В «Изъяснениях о некоторых древностях, в могилах найденных» Миллер (1764/1999: 513) писал:

> «Когда я упомянул о костях лошадиных, кои в сих могилах найдены вместе с человеческими, то оное есть доказательство

особливого суеверия, наблюдаемого еще и ныне некоторыми восточными народами. Многие так думают, что Магометов рай, кажется, на том же основан, что отшедшие души на том свете так, как на сем, одинаковою жизнью наслаждаются. На такой конец знатному человеку потребна та лошадь, на которой он ездил, надобна ему милая его жена и любимый служитель».

Он приводил в пример «индиянок» и якутов. Видя разную оснащенность могил, он заключал (1764/1999: 514): «Богатые могилы доказывают знатность погребенных особ и богатство того народа. Скудным и простым людям никаких драгоценностей в могилу класть было не можно, и когда в большой стране все могилы скудны, то сие есть доказательство о бедности всего народа». Это, конечно, упрощение, в котором не учитывается воздействие погребального обряда: всё зависело от того, каким рисовался загробный мир. Но это упрощение жило вплоть до XX века.

Первую классификацию могил представил не Миллер, а Гмелин в книжке, опубликованной за рубежом, но в основе ее лежала классфикация Миллера, изложенная в инструкции Фишеру.

Другой категорией памятников, которыми Миллер занимался в Сибири, были городища. Он тщательно обследовал остатки татарских, остяцких, вогульских и тунгусских укрепленных поселений, упоминаемых в найденных письменных источниках. Обследовал он также и русские городища, тогда как позднейшие археологи еще долго не обращали на них внимание.

Исследуя писаницы, Миллер и Гмелин пришли к выводу, что Страленберг ошибочно считал надписями изображения людей и животных, а также непонятные фигуры на этих писаницах. Миллер уловил даже в этих писаницах разные стили изображений и пришел к выводу об их принадлежности разным народам. Сравнивая писаницы с изображениями на шаманских бубнах, он счел писаницы произведениями современных сибирских народностей. Это было ошибочное впечатление, но сакральный характер писаниц был установлен таким образом правильно.

Привез Миллер и коллекцию предметов сибирского языческого культа, шаманский бубен и костюмы.

А самое заметное, что Миллер привез из Сибири, — это были новые знания и умения, усвоенные там. В экспедицию уехал 28-летний историк-новичок, а вернулся утомленный трудами, но опытный почти сорокалетний ученый, досконально проработавший более двадцати архивов, собравший огромные материалы по истории, археологии

и этнографии, самостоятельно доведший свои методы критической обработки источников до уровня, достигнутого в это время на Западе. Он имел лишь зачатки сведений об этой методике от своего университетского учителя Менке и от чтения Лейбница, остальное он разработал сам в ходе практического опыта.

5. Схватки и гонения. Как раз когда Миллер вернулся в Петербург, в Академии происходили бурные события. Академики добились удаления от дел и ареста ненавистного Шумахера (как оказалось, только на время) и теперь, выведенные из терпения пьяными загулами и буянством академика Ломоносова, обращались к императрице с жалобой: убежденные «в показанном нам от Ломоносова несносном бесчестии и неслыханном ругательстве», они требовали «учинить надлежащую праведную сатисфакцию, без чего Академия более состоять не может». А пока академики постановили не допускать его на заседания. Это постановление было принято на пятый день после приезда Миллера, и он, всегда придирчиво требовательный относительно любого умаления своих привилегий как академика (равно и достоинства всей коллегии), принимал деятельное участие в наказании Ломоносова. Ломоносов объявил, что никогда не простит ему этого участия (Пекарский 1870: 336).

Между тем и Шумахер вернулся к власти в Академии, и Ломоносов набирал в ней силу. Шумахер настроил против Миллера президента графа Разумовского и его фаворита Теплова. Двойной оклад, обещанный Миллеру за экспедицию, был снова уменьшен до первоначального, его труды не печатались. Он на это жаловался Разумовскому, указывая, что его «ипохондрическая болезнь», «которая начало обыкновенно имеет от многих трудов, а потом и часто приключается от досады и печали», много у него прибыла от того, что обещанного сенатским указом вознаграждения он не получил, «и дается мне жалованья самый молодший оклад». И что он видит, «что мои труды токмо червям на пищу или другим людям, которые после меня пользоваться будут, в похвалу служить имеют так, как сделалось с описаниями покойного доктора Мессершмидта, которые и поныне лежат непечатаны...» (Пекарский 1879: 343).

Герард Фридрих (Фёдор Иванович) Миллер

В 1747 г. был принят новый «Регламент» Академии наук, в котором гуманитарный разряд не был предусмотрен, а члены Академии были разделены на академиков и профессоров. Профессора должны преподавать в академическом университете, не исключая и гуманитарные науки. От этой перестройки профессор Миллер, пожалуй, выиграл: ему было пожаловано увеличение оклада и звание историографа России, а также должность ректора академического университета (таким образом, он стал первым ректором первого российского университета!) в обмен на принятие российского подданства. А переписку с заграницей он должен вести отныне только через канцелярию Академии наук. В 1748 г. академик Гмелин уехал за рубеж, причем Ломоносов и Миллер вдвоем поручились за него, что он вернется. А он вернуться отказался. Обоим поручителям вдвое уменьшили жалованье. Уехавший ранее Делиль прислал Миллеру письмо, в котором он намекал на некий их сговор нечто опубликовать за границей из истории Академии, к чему Академия относилась с крайней опаскою — большей, чем к разглашению государственной тайны. От Миллера потребовали разъяснения, он писал оправдательные объяснения, что ничего предосудительного не имелось в виду.

Затем последовал эпизод, который тогда имел мало касательства к археологическим материалам, но он затрагивал тему, которая в наше время приобрела злободневное звучание именно в археологии, — тему этногенеза и норманнский вопрос.

В марте 1749 г. Ломоносову и Миллеру было поручено выступить на торжественном собрании Академии 6 сентября, в день тезоименитства императрицы Елизаветы. Рекомендуя Ломоносова президенту, Шумахер мотивировал это так: «Очень бы я желал, чтобы кто-нибудь другой, а не г. Ломоносов произнес речь в будущее торжественное заседание, но не знаю такого между нашими академиками... Оратор должен быть смел и некоторым образом нахален... Разве у нас, милостивый государь, есть кто-нибудь

М. В. Ломоносов. Прижизненное изображение 1757 г.

другой в Академии, который бы превзошел его в этих качествах?» О Миллере же было сказано так: «...у него довольно хорошее русское произношение, громкий голос и присутствие духа, очень близкое к нахальству!» Шумахер, конечно, не без задней мысли столкнул лбами обоих «нахалов» (Пекарский 1873: 402).

Ломоносов, искушенный в писании од, сочинил похвальное слово императрице Елизавете, и к нему не было претензий. Между прочим, он влагает в уста императрице такое обращение к подданным: «Я видеть Российскую Академию из сынов российских состоящую желаю». Ломоносов всячески желал внушить властям, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать». Он боролся за доминирование в Академии. Немецкие члены Академии намек собрата поняли, но смолчали.

Миллер же подошел к своей задаче со всей серьезностью историка. Он подготовил латинскую речь о происхождении русского народа и его имени, в которой он, используя выводы своего старшего коллеги Байера, объективно и критически проанализировал бытовавшие в средневековых российских сочинениях байки о происхождении русского народа от библейских героев или от вымышленного Руса. Он использовал летописную легенду о призвании варягов и все доступные ему данные об участии варягов (норманнов) в создании русского государства и о северном, скандинавском происхождении имени «Русь».

Шумахер подверг диссертацию сомнению и предложил академикам «освидетельствовать, не отыщется ли в оной чего для России предосудительного?» При рассмотрении речи многие коллеги выступили против ее произнесения на собрании, особенно Ломоносов, Крашенинников и Попов, которые соперничали с немцами в Академии и готовы были трактовать выступление Миллера как зловредный выпад против славян. Они сформировали жупел норманизма, продержавшийся более двух веков.

16 сентября Ломоносов представил свой первый отзыв на «скаредную» диссертацию Миллера. Он обвинил Миллера в том, что тот цитирует больше иностранных ученых, а «российских авторитетов не токмо просто, но не редко и с поношением опровергает» (позже это обвинение в точности повторялось в сталинское время гонителями космополитов). Ломоносову показались «темной ночи подобными» стремления Миллера опровергнуть происхождение Москвы от библейского Мосоха, а россиян от реки Росса. «Правда, что г. Мюллер говорит: прадеды ваши от славных дел назывались славянами, но

сему во всей диссертации противное показывать старается, ибо на всякой почти странице русских бьют, грабят, благополучно скандинавы побеждают...»

Торжественное собрание было отложено. По требованию Миллера назначено разбирательство «в генеральном собрании без всякого пристрастия».

Ломоносова со товарищи поддержали Теплов и Шумахер. 19 октября Шумахер злорадно пишет Теплову, фавориту Разумовского, президента Академии, что Миллер избрал предмет скользкий и придется его поправлять: «гг. профессора и адъюнкты трудятся теперь над диссертациею г. Мюллера и в понедельник начнут битву. Я предвижу, что она будет очень жестокой, так как ни тот, ни другие не захотят отступиться от своего мнения».

Чрезвычайно интересно дальнейшее напоминание Шумахера о том, как он сам предупреждал Миллера и как именно рекомендовал ему развивать тему в «диссертации»:

> «Помню, что я утверждал, что она написана с большою ученостью, но с малым благоразумием. Это оправдывается. Г. Байер, который писал о том же предмете в академических Комментариях, излагал свои мнения с бóльшим благоразумием, потому что употреблял все возможные старания отыскать для русского народа благородное и блистательное происхождение, тогда как г. Мюллер, по уверению русских профессоров, старается только об унижении русского народа. И они правы. Если бы я был на месте автора, то дал бы совсем другой оборот своей речи. Я бы изложил таким образом: происхождение народов весьма неизвестно. Каждый производит их то от богов, то от героев. Так как я буду говорить о происхождении русского народа, то изложу вам, милостивые государи, различные мнения писателей по этому предмету и потом выскажу мое собственное мнение, поддерживая его доказательствами, довольно — по крайней мере, по моему рассуждению — убедительными. Такой-то и проч. Я же, основываясь на свидетельствах, сохраненных шведскими писателями, представляю себе, что русская нация ведет свое начало от скандинавских народов. Но, откуда бы ни производили русский народ, он был всегда народом храбрым, отличавшимся геройскими подвигами, которым следует сохраниться в потомстве. По краткости времени, мы коснемся только замечательнейших, отложив прочие до другого случая. Здесь бы он мог говорить о подвигах князей, великих князей, царей, императоров и императриц. Но он хотел умничать! Habeat

sibi! (Вот и получил!) — дорого он заплатит за свое тщеславие!» (Пекарский 1960: 56–57).

30 октября он добавляет: «...профессор Мюллер теперь видит, что промахнулся с своею диссертациею De origine gentis russicae (О происхождении русского народа)... Мне сказывали, что когда Попов говорил Мюллеру: tu, clarissime autor, nostram gentem infamia afficias (ты, яснейший автор, обесславил наш народ), то тот почти лишился чувств» (Пекарский 1970: 57).

Таким образом, Шумахеру суть спора была безразлична, научная истина тоже, а выше всего он ставил дипломатичную тактику, хитроумную подачу, угодливый характер изложения. «Тщеславием» Миллера и его «желанием умничать» Шумахер называл стремление ученого быть серьезным историком, устанавливать научную истину. С назиданиями Шумахера был вполне согласен профессор Тредьяковский: «Благоприятность и предосторожность требуют, чтобы правда была предлагаема некоторым приятнейшим образом. Гибкая, говорю я, и удобообращающаяся поступка приобретает множество другов». Поэтому он предлагал в историческом повествовании кое-что «переменить, исправить, умягчить, выцветить» (Бахрушин 1999: 32).

Миллер же в одном письме излагал свое кредо так: «быть верным истине, беспристрастным и скромным». Историк «должен казаться без отечества, без веры, без государя... Всё, что историк говорит, должно быть строго истинно, и никогда не должен он давать повод к возбуждению к себе подозрения в лести» (Пекарский 1870: 381). Это он и осуществлял. В противоположность этому Ломоносов (см. 1957: 148–149) искал в истории прежде всего основу для патриотических настроений и полагал, что русскую историю должен излагать «природный россиянин», ибо только такой сочинитель не будет склонен «ко шпынству и посмеянию». Он мало работал с русскими летописями, а черпал свои знания из «Синопсиса» — позднего украинско-польского искаженного пересказа. Кроме того, Ломоносов опирался на библейские тексты, средневековые предания и созвучия имен — эту методику Миллер справедливо отвергал (Каменский 1991). Возражая Ломоносову, Миллер говорил, что «есть разница между историческим рассуждением и панегириком» и что он не желал писать последнего (Пекарский 1873: 438–439).

Рассмотрение в генеральном собрании продолжалось с 23 октября 1749 г. по 8 марта 1750 г. В новом отзыве Ломоносов писал: «Всего

несноснее, что в своем исступлении или полуумстве Миллер опровергает пребывание апостола Андрея Первозванного в земле российской, тогда как Петром Великим орден Андрея Первозванного учрежден!» Этот второй отзыв Ломоносова стал исходным пунктом для двухсотлетнего развития позиций антинорманизма. Споры шли на латыни. Впоследствии Ломоносов вспоминал (1952, 6: 549): «Каких же не было шумов, браней и почти драк! Миллер заелся со всеми профессорами, многих ругал и бесчестил словесно и письменно, на иных замахивался палкою и бил ею по столу конферентскому». Читая это, Алпатов замечает (1985: 23): «Если учесть, что Ломоносов тоже был человек крутого нрава и ходил тоже с палкой, то нетрудно себе представить всю ожесточенность этих ученых баталий».

Канцелярия постановила, приняв в основание отзывы Ломоносова, Крашенинникова и Попова, речь Миллера уничтожить, «так как она предосудительная России» (Пекарский 1870: 359–362). Миллер был снят с должности ректора университета. Более того, президент граф Разумовский в своем указе обвинил Миллера в ряде грехов: уговорил-де Гмелина уехать, сговаривался с Делилем, клеветал на Крашенинникова, что тот был у него «под батожьем», а главное, что из Сибири он привез только никому не нужные копии бумажек (можно было просто запросить канцелярии, чтобы их прислали!) и к тому же позорит Россию! Резюме: понизить Миллера в чине и оплате, переведя его из профессоров в адъюнкты (В сталинские времена с космополитами расправлялись куда суровее.)

Через несколько месяцев его простили, вынудив просить прощения. Уж очень был умелый и ревностный работник. Но и Миллер в результате всех своих невзгод стал осторожнее и сдержаннее. Он охотно делился своими богатыми знаниями по истории России, но становился немым, когда заходила речь о чем-либо предосудительном для российских порядков.

Все эти годы он писал по добытым им источникам историю Сибири. В 1750 г. вышел первый том. Дальнейшее издание застопорилось. Миллер стремился каждое положение подтвердить ссылкой на источники и обильным цитированием этих источников. Академическое начальство рассматривало это как ненужную роскошь и пустопорожнее желание раздуть объем книги в ущерб академическому издательству. В конце концов в 1752 г. было принято решение поручить Фишеру сократить рукопись Миллера, что Фишер и выполнил, издав в 1768 г. «Сибирскую историю» в двух томах на немецком языке... под своим именем (Миллер был упомянут в предисловии

как сделавший подготовительные работы). В 1774 г. вышел русский перевод этого издания.

6. Позднее признание. В 1754 г. Миллер стал конференц-секретарем Академии, вел все ее протоколы, жалованье его было повышено. К этому времени он имел обширное международное признание — был членом Королевского общества Англии, Парижской Академии наук, Стокгольмского, Лейпцигского и других обществ. В связи с воцарением Екатерины II в 1762 г. его положение стало еще более улучшаться. Никто не мог попрекнуть его немецким происхождением: он служил уже больше 30 лет русскому государству, да и сама царица была теперь немкой. Когда в 1763 г. генерал А. П. Мельгунов, пытавшийся противостоять дворцовому перевороту, был отослан на юг и раскопал там Литой курган с раннескифским царским погребением (впоследствии этот комплекс вошел в науку под названием Мельгуновского клада), Екатерина именным указом повелела именно Миллеру сделать их научное описание.

Он завел себе отличный каменный дом на 13-й линии Васильевского острова напротив морского кадетского корпуса, заполненный домочадцами и приживалами. В этом доме он на время поселил приглашенного им из Германии Августа-Людвига Шлёцера, талантливейшего историка, который ввел в науку русские летописи, разделение критики источников на внутреннюю и внешнюю и самый термин «источник». Нрав у гостя был тоже отнюдь не благостный, и скоро они с Миллером рассорились.

> «Мюллер, имевший тогда 56 лет, был красивый мущина, чрезвычайно высокий и крепкий, — пишет Шлёцер в своих воспоминаниях. — Он мог быть чрезвычайно бойким, у него были остроты и колкие возражения; из его маленьких глаз проглядывала сатира, а в образе мыслей было что-то великое, справедливое, благородное. Он был теплый патриот за честь России, которая, однако, до сих пор его очень оставляла в пренебрежении...» Причиной Шлёцер называет «чрезмерную запальчивость». «Он наделал себе много врагов, могущественных, тайных и явных между товарищами чрез свое властолюбие, а между подчиненными — суровым обращением» (Шлёцер 1802: 28).

В 1764 г. против Шлёцера выступили в союзе Ломоносов и Миллер, хотя и безуспешно: Шлёцер стал академиком. Это было важно не только для истории, но и для российского общественного развития: Шлёцер был прогрессивных взглядов — типичный просветитель-вольтерьянец,

он первым в России выдвинул и мотивировал идею отмены крепостного права.

В следующем году Миллера перевели в Москву, в богатейший архив Министерства иностранных дел. При этом в распоряжении Миллера оказались многие документы Академии наук, которые он в конце жизни пожертвовал государству же (за что был щедро вознагражден императрицей Екатериной, очень к нему благоволившей). Она, живя временами в Москве, часто звала к себе старого академика и беседовала с ним. В 1772 г. во время большого московского пожара у Миллера приключился инсульт («параличный удар»), от которого он, однако, оправился и даже продолжал работать. В 1779 г. его на обеде у князя М. Н. Волконского повидал английский путешественник Уильям Кокс. Он так описывает свои впечатления:

> «Миллер говорит и пишет свободно по-немецки, по-русски, по-французски, по-латыни и свободно читает по-английски, по-голландски, по-шведски, по-датски и по-гречески. Он обладает до сих пор изумительной памятью, и его знакомство с малейшими подробностями русской истории прямо поразительно. После обеда этот выдающийся ученый пригласил меня к себе, и я имел удовольствие провести несколько часов в его библиотеке, в которой собраны чуть ли не все сочинения о России, вышедшие на европейских языках... Его собрание государственных актов и рукописей неоценимо и хранится в величайшем порядке» (Коукс, цит. по: Каменский 1996: 407).

Библиотека Миллера была еще при жизни куплена царицей и оставлена во владении Миллера до его смерти. Он умер в начале 1783 г., в возрасте 78 лет.

Миллер считал себя историком. Бахрушин (1999: 33) пишет, что по шлёцеровской классификации историков, различающей три типа — собирателя, исследователя и повествователя, — Миллер принадлежал к первому. Он не обладал вкусом к исторической философии и критике, предпочитал эмпиризм. «В обязанности исторического писателя, — утверждал он, — входит точное следование оригиналу». Фишер на это заметил: «Это скорее обязанности переводчика: исторический писатель — не литературный вор» (Мирзоев 1970: 86). Это писал человек, который опубликовал работу Миллера под своим именем! Миллер отвечал: «Весьма невежливо..., что он меня желает превратить в литературного вора за мою добросовестность», и пояснял, что не хочет быть романистом. Эти два российских немца разговаривали на разных языках.

На деле Миллер был в сущности не историком, а источниковедом, охватывая своей деятельностью все три основных вида исторических источников — письменные, этнографические и археологические. Историком его называют потому, что он больше занимался письменными источниками, и потому, что ориентировал свою работу на цели истории.

Но и археологические источники он первым в России поставил в один ряд с письменными. У него было источниковедческое чутье. Так же, как в Москве, в архиве Коллегии иностранных дел он протестовал против уничтожения старых челобитных («Они уже не нужны, — говорило начальство, — дела закрыты, челобитчики померли». Каменский 1996: 394), так он наставлял Фишера не оставлять без внимания глиняные сосуды. Почему? Он, вероятно, не мог бы объяснить. Но чуял, что это когда-то сгодится.

И было у него твердое убеждение в необходимости исторической истины, заставлявшее его годами рыться в сибирских архивах, копать промерзлые могилы, противостоять академическому начальству и запальчиво спорить на латыни с Ломоносовым, обладавшим заслуженным авторитетом во многих науках и преимуществами коренного жителя России.

Академик Г. Ф. Миллер, один из основателей русской исторической науки и собирателей материалов для российской археологии

«История Сибири» Миллера издана в 1937 г., переиздана в 1999. К «портфелям Миллера», хранящимся в Академии наук, всё еще обращаются историки и археологи. И будут обращаться. А в истории русской археологии Миллер остался фигурой очень значительной (Г. Ф. Миллер 2007). К. Н. Бестужев-Рюмин называл его «настоящим отцом русской исторической науки», похоже оценивал его и В. О. Ключевский (Белковец 1988: 31–32). Во времена, когда археология

еще не была отдельной наукой и отечественными (первобытными и средневековыми) древностями занимались в основном географы, позже биологи, он подошел к этим материалам как источниковед с ориентацией на историю. Позже историки, занимающиеся археологией и этнографией, часто появлялись в русской науке (Погодин, Забелин, Самоквасов, Рыбаков), и это определяло ее специфику. Миллер был первым. Первый историограф России, редактор первого русского исторического журнала, первый ректор первого русского университета.

Француз-романтик в Керчи

Поль Дюбрюкс

Уставший романтик пред горсточкой пепла,
Сидит одинокий, забытый судьбой...
Александр Канторович. Философия поэта.

1. Из кавалеристов в археологи. Античная археология России в глазах образованной публики ассоциируется с блеском скифского золота Эрмитажа и величественными руинами греческих городов Северного Причерноморья, их изучение — с роскошными изданиями петербургских ученых, с деятельностью академиков-немцев и меценатским покровительством царских придворных. Но у начала античной археологии в России стоял сугубый дилетант, полунищий француз-эмигрант. Рассказывая о встрече с его сыном в своих «Записках», Ф. Ф. Вигель (1893: 165) назвал его сыном «одного поганого француза, в Керчи живущего». Имя этого осевшего в России «поганого француза» (Paul du Brux) в России передавалось по-разному — от Поля Дюбрюкса или де Брюкса, до Павла Алексеевича Брикса. Биография его, мало освещенная в литературе (Тетбу де Мариньи 1848; Брашинский 1979: 29–37; Хршановский 1999), ныне дотошно исследована по литературным и архивным данным И. В. Тункиной (Тункина 1999; 2002: 144–157, 167–180, 385 и др.; 2004а; 2010), и остается лишь воспользоваться ее трудом.

По словам самого Дюбрюкса, он принадлежал к знаменитому шотландскому роду Брюсов, переселившемуся после английской революции во Францию, но это предание пока остается не подтвержденным архивными документами.

Во время Великой Французской революции 19-летний (он родился в 1770 г.) Поль дю Брюкс, один из сыновей люксембургского офицера С. А. С. Гийома по прозвищу Дюбро или Дюбрю, вступил в Корпус альпийских стрелков, созданный в 1792 г. Люксембург принадлежал

австрийской династии Габсбургов, но в результате революционных завоеваний отошел к Франции. Младшим лейтенантом пехоты Поль сражался на стороне роялистов вместе со своим отцом в войсках принца Л. Ж. Конде (из Бурбонов) в составе армии Австрии, потом России и был награжден орденом Св. Людовика. После поражения роялистов скитался вместе с остатками разбитого войска по Германии, а в 1797 г. семья Дюбрюксов осела в Западной Волыни. По третьему разделу Польши в 1797 г. эта область отошла к России, но Дюбрюксы остались подданными Франции.

Во время консульства Наполеона (1799–1804) его отец и братья вернулись во Францию, а Поль, к тому времени 30-летний, то ли так и работал домашним учителем, хотя не имел никакого образования и на французском языке писал со многочисленными ошибками (но владел и немецким), то ли вступил на короткое время в русскую военную службу. Так или иначе он остался непримиримым роялистом и не стал возвращаться во Францию, а вместе с младшим братом остался в России и по разрешению французского короля поступил на русскую службу. Из Франции прибыла и его семья — жена и двое сыновей (две дочери родились уже в России).

С молодых лет Дюбрюкс вступил в масонскую ложу, и, перебравшись в Петербург, он через масонские связи приобрел знакомство с влиятельными людьми — с видным французским эмигрантом генералом русской армии графом А. Ф. Ланжероном, с подполковником, а затем видным чиновником С. М. Броневским, а через него — с министром М. М. Сперанским и графом Н. П. Румянцевым, министром и канцлером. С Броневским и Румянцевым молодого француза сближали не только масонские связи, но и увлечение древностями. Позже он писал, что еще в Париже, а затем при скитаниях в Германии не упускал возможности осмотреть кабинеты редкостей с антиквитетами.

В 1810 г. Броневский оказывается в должности градоначальника Феодосии в Крыму, а Дюбрюкс поселяется в Еникале на Керченском полуострове (Керчь входила тогда в Феодосийское градоначальство) и тотчас представляет министру финансов Д. А. Гурьеву доклад о возможности лова сельдей и анчоусов в Керченском проливе. В следующем году он уже перебрался в город покрупнее того же градоначальства — Керчь, хотя городом Керчь того времени было трудно назвать: две улицы, 80 дворов, где жили греки, армяне, грузины и русские (турецкое и татарское население бежало). В этой глухомани и осел француз, и с его помощью Броневский основал Федосийский

музей — по характеристике А. А. Скальковского (цитируемой у Тункиной), прообраз Керченского и Одесского музеев.

В 1812 г. в Крыму свирепствовала чума, и Дюбрюкс был инспектором по медицинской части. В Отечественной войне 42-летний Поль Дюбрюкс не участвовал, зато участвовал его сын Огюст (Густав), который неоднократно ранен и награжден орденами. А в 1814 г. Дюбрюкс оказывается управляющим имением Гурьева. В 1815 г. Ланжерон становится новороссийским губернатором (в губернию входил и Крым), а Дюбрюкс — надзирателем Керченской таможни с крохотным жалованьем 400 рублей в год. Семья его довольствовалась «соленой рыбой, которой по временам снабжали его шкипера». По словам его друга Тетбу де Мариньи (1848: 229–230), он «привык к бедности». Потом, в 1817 г., он стал приставом керченских соляных магазинов (складов) и смотрителем соляных озер. Он добивался (и добился) открытия морского порта в Керчи.

Учитывая влиятельных покровителей, Дюбрюкс мог бы рассчитывать на более прибыльные должности, и его бедность свидетельствует о том, что он таковых не искал. Около середины 1820-х гг. 55-летний Поль Дюбрюкс вообще оставил государственную службу и, как выражается Тункина, «полностью посвятил себя обуревавшей его страсти — археологическим исследованиям» (Тункина 2002: 146). Жил он в эти годы, по ее предположению, на средства, которые генерал-губернатор Новороссии (в это время уже граф М. С. Воронцов, тоже меценат и любитель древностей) выделял на проведение раскопок и разведок для пополнения Керченского музея древностей.

2. Раскопщик и столичные гости. С момента переезда в Крым Дюбрюкс следил за случайными находками древностей, а с 1811 г. сам начал вести раскопки. Первые раскопки он сам описывает так:

> «Прогуливаясь однажды по морскому берегу в $1^1/_2$ верстах от города в сторону Еникале, я увидел историческую гробницу и, раскопав ее своею тростью, <...> извлек <...> маленькое этрусское блюдечко... В том же месте я нашел чашку красивой формы» (Хржановский 1999: 162).

Блюдечко вряд ли было этрусским, но проверить это трудно: первые находки он продал. А в то время вся краснофигурная керамика именовалась этрусской. Первоначально неутолимая тяга к древностям смешивалась с практической целью — пополнить свой скудный семейный бюджет, продавая найденные вещи странствующим вельможам и меценатам. Затем его всё больше увлекала разгадка тайн, связанных

с древностями, — чьи они, какого времени, какие события истории отражают. Первое его известное открытие в Керчи — городская стена древнего Пантикапея (1811 год). В 1816–1818 гг. раскопано было много объектов — жилые постройки Пантикапея, курганы и катакомбы, раскопки у подошвы горы Митридат.

После того как Броневский был уволен с поста градоначальника и отдан под суд за предполагаемые злоупотребления в строительстве, весной 1817 г. керченская полиция обратила внимание: «титулярный советник Дюбрюкс... неизвестно с какого поводу раскапывает могилы и разбрасывает гробы, отчего между жителями происходят разные разглашения, в отвращение чего и чтобы не допустить нелепости до распространения» приказано было под угрозой ареста остановить работы. Дюбрюкс вынужден был обращаться к новому гражданскому таврическому губернатору А. С. Лапинскому и объяснять, что раскопки ведутся с ведома и на субсидии Ланжерона. Дюбрюкс завел «Дневник раскопок, произведенных в некоторых керченских курганах по распоряжению его сиятельства графа де Ланжерона под руководством титулярного советника Дюбрюкса». К описанию приложено 5 планов на 3 листах и рисунки находок с указанием масштаба. *Это был первый в русской археологии дневник раскопок.* «Для изменения расстояний, — указывает Дюбрюкс, — я употреблял веревку в 20 сажен; для более точного измерения углов — компас; планы могил я поверял до трех раз, чтобы означить со всевозможной точностью, что именно такие развалины суть остатки такого-то города или укрепления...» (цит. по Хршановскому 1999: 164).

Зарисовки находок из курганов, сделанные Дюбрюксом в 1817 г.

Со временем кладоискательские раскопки Дюбрюкса стали приобретать более научный характер — он раскапывал курганы на снос (тогда как по всей России еще долго копали их траншеями и колодцами), вел дневник раскопок, составлял чертежи памятников и делал рисунки вещей. Как бывший офицер он умел снимать планы и карты местностей. У себя он завел нечто вроде домашнего музея — настоящее древлехранилище. Он описывет свой «музеум» так:

> «В нем хранится много золотых вещей, как-то: браслеты, серьги, кольца, фигуры животных, женщин и прочее; обломки статуй... Много надгробных камней с фигурами и надписями, два из них мраморные, драгоценнее всего надписи памятников, воздвигнутых в царствование царей Боспора. Медалей (за медали он принимал монеты) должно быть до 200, большая часть коих прекрасно сохранилась и чрезвычайно интересна. Кроме упомянутых вещей, в музеуме хранится значительное количество стеклянных сосудов и глиняных ваз различной формы и величины; три шкапа, наполненные статуэтками и бюстами из глины и гипса» (цит. по: Брашинский 1979: 32).

Рецензент книги Ашика, конкурента Дюбрюкса, «Воспорское царство» Е. Шевелёв (1850: 736–737) вспоминает этот музей не столь уважительно: музей в доме Дюбрюкса «был не что иное, как самый жалкий склад камней с надпиями, обломков статуй, барельефов, колонн и других предметов древности, разметанных по двору, без системы и порядка, инде полувросших в землю».

В это время его раскопки в Крыму посещали великие князья и жертвовали по нескольку сот рублей на раскопки. Великий князь Михаил Павлович даже приказал Дюбрюксу раскопать один из огромных каменных курганов возле горы Митридат. Там нашли два надгробья, эллинистические надписи и знаменитый расписной Склеп Пигмеев. В мае 1818 г. в Керчь прибыл император Александр I. Его флигель-адъютант А. И. Михайловский-Данилевский накануне царского визита к Дюбрюксу посетил француза и оставил следующую запись в своих мемуарах:

> «Я немедленно познакомился с служившим по соляной части французским эмигрантом Брюксом, который слыл за антиквария и несколько лет открывал гробы древних греков и скифов. Что человек сей не учен, то доказывает самое короткое с ним свидание; он по-латыни не знает, об успехах, сделанных в филологии в новейшие времена, и не слыхал, и даже по-французски говорит дурно, мало учился, тридцати лет (ошибся адъютант. — Л. К.)

> вступил в военную службу во Франции и потом сочинил книжку под заглавием "Essai sur la cavalerie legère" (это верно, брошюру о легкой кавалерии написал. — Л. К.). Всякий видит, что переход от легкой конницы до глубокой древности немного труден. Не менее того (т. е. тем не менее. — Л. К.), его старания заслуживают благодарность, ибо ни один из наших соотечественников не занимался изысканиями таврических древностей, и надобно жалеть, что нет никаких средств к изучению филологии» (цит. по Тункиной 2002: 148).

«Слыл за антиквария», «не учен», малограмотный кавалерист — вот мнение придворного о Дюбрюксе, но ведь этот сугубый дилетант самозабвенно и неустанно добывал и спасал древности, а ученых антикваров ему на смену не видно было.

На другой день, во время царского визита, Дюбрюкс признался: «Чтение Геродота и Страбона <...>, а еще больше скука заставила меня сим заняться; я открыл уже до двадцати гробниц, но небольших; для пространнейших же потребны средства, которых у меня недостает: мне выдано было до сего времени из Кабинета пятьсот рублей и пожаловано великим князем Николаем Павловичем сто, а всего шестьсот рублей». Дюбрюкс показывал царю свои раскопки, водил его в открытые склепы и катакомбы. Осмотрев домашний музей Дюбрюкса, монарх пожаловал Дюбрюксу бóльшую часть его же находок (они ведь, в принципе, принадлежали казне) и одарил его бриллиантовым перстнем, но денег на дальнейшие раскопки не дал. Отчеты о раскопках на французском языке Дюбрюкс посылал в Императорскую Академию наук.

В 1819 г. его раскопки посетил петербургский чиновник и очень образованный любитель древностей П. И. Кёппен, член Румянцевского кружка (это кружок вокруг канцлера) и Вольного общества любителей российской словесности, впоследствии академик. В путевом дневнике Кёппен записывает:

> «В Керчи посещал я могилы, разрытыē г. Дюбрюксом: в одном месте находятся 16 склепов, в связи между собой состоящие. Склепики эти, однако, по уверению г. Дюбрюкса, пред сим уже кем-то ограблены. Для объяснения привезенного мною плана сих разрытых могил нужно иметь полный, весьма любопытный журнал занятий г. Дюбрюкса, который им мне и обещан. Изображения найденных в могилах вещей доставлены были к его сиятельству г-ну графу Ланжерону, который уверил меня, что оные препроводил к господину министру духовных дел и народного просвещения. Крайне жаль, что все сии редкости не

находятся в одном месте, ибо г-н Дюбрюкс, по просьбам путешествовавших в Крым особ, большую часть найденных им древностей роздал в частные руки» (Тункина 2002: 149–150).

Кёппен уже понимал нежелательность разрознивания вещей из одного культурного комплекса. Дюбрюкс этого не понимал — и не поймет до конца жизни.

В апреле-мае 1820 г. Дюбрюкс сам посетил Петербург, встретился с Кёппеном и вместе с Ланжероном побывал на заседании Вольного общества любителей российской словесности, куда был избран членом-корреспондентом. С его помощью, в результате его щедрых даров («статуйки Меркурия и царицы Омфалы», слепки с римской маски, лампы и проч., присланные «г. де Бруксом») при обществе был создан «музеум редкостей». Ланжерон, предполагает Тункина, ввел Дюбрюкса в круг столичных литераторов декабристской ориентации, многие из которых тоже были масонами. Тогда же в Петербурге Дюбрюкс посетил и великого князя Михаила Павловича, который выделил ему еще 500 рублей на раскопки и высказал пожелание получить более подробные сведения о древностях Крымского берега Боспора Киммерийского. Для Дюбрюкса пожелание августейшей особы было равносильно приказу, и он принялся за труд, ставший его главным произведением: «Описание развалин и следов древних городов и поселений, некогда существовавших на европейском берегу Босфора Киммерийского...»

В середине августа того же года с семейством Раевских посетил Керчь Пушкин. В письме к брату он пишет:

> «Морем приехали мы в Керчь. Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я — на ближней горе посреди кладбища увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных, — заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни — не знаю. За несколько верст остановились мы на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнявшийся с землей, — вот всё. что осталось от города Пантикапеи. Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками; какой-то француз прислан из Петербурга для разысканий — но ему недостает ни денег, ни сведений, как у нас обыкновенно водится» (Формозов 1979: 28–29).

«Какой-то француз» — вот всё, что Пушкин запомнил о Дюбрюксе, с которым он, возможно, и не встречался. Руины башни, фундаменты жилищ, виденные Пушкиным, ныне уже не сохранились. Город рос,

и руины исчезали. Многое сохранилось только в рисунках и описаниях, составленных «каким-то французом».

Несколько месяцев спустя в доме Дюбрюкса остановился драматург и дипломат И. М. Муравьев-Апостол, любитель античного искусства и древностей, отец трех декабристов. В своем сентиментально-романтическом «Путешествии по Тавриде в 1820 г.» он оставил такое воспоминание об этом посещении:

> «Здесь живу я очень спокойно в хорошем доме и сверх сей выгоды имею в вежливом хозяине проводника, с которым я уже обошел все места, заслуживающие примечания. [...] Не всякий может, взяв заступ, идти копать могилы. Исключительное на это право принадлежит г-ну Дю-Брюксу, и то еще хорошо, что раскапывают курганы с осторожностию. Впрочем, и здесь с открытыми основаниями поступают точно так, как в Ольвии: их отыскивают для употребления на строение, на бут; и таким образом, конечно, изгладятся и последние следы, по коим можно было бы основать какую-нибудь догадку о топографии Пантикапея и прахом своим еще заслуживающего внимания археолога. Может быть, и теперь еще не поздно было бы делать изыскания, но если ожидать от них успеха, то надобно, чтобы они были методические. Кто может ручаться в том, что в грудах камней, обращаемых на бут или в известь, не случилось надписей, которые бы пояснили весьма темную историю Воспора? [...] Чего же не можно ожидать на самом пепелище Пантикапея? Всё, однако же, я говорю и повторяю, что надобно быть здесь настоящему археологу и нумисмату, который бы систематически занимался своим делом, знал бы, где он роется и не только что отрывает, но еще и в каком положении одна к другой находилися вещи, найденные им в земле» (Муравьев-Апостол 1823: 259–260, 264–267).

Ненастоящий археолог, не знает, что он открывает и где роется, — таково мнение писателя о Дюбрюксе, но хорошо, что копает «с осторожностию». А нужен «настоящий археолог и нумисмат», который бы лучше понимал, что он раскапывает, и отмечал взаиморасположение вещей.

Это рассуждение Муравьева-Апостола показывает, что к 1820 г. такие идеи, как желательность сохранять выкопанные каменные конструкции и фиксировать положение вещей в комплексе, не только входили уже в исследовательскую методику лучших мировых раскопщиков-антиковедов, но и становились достоянием просвещенных любителей в России. Действительно, уже в первой половине

XVII века Клод Пейреск во Франции подчеркивал важность точных обмеров памятников архитектуры и точных копий статуй. Во второй половине того же века граф Кэлюс, издавая свои многотомные сводки античных памятников, заказывал инженерам, строителям мостов и дорог, планы и чертежи их. Век спустя, во второй половине XVIII века, кузнец Гриньон, раскапывая галло-римское поселение у Шатле во Франции, изготовлял планы раскопов. Раскопки 1808–1815 гг., проводимые Ардити и Мазуа в Помпеях, вскрывали целые улицы, при этом раскопщики интересовались планами домов и всей утварью. Не отсюда ли взял Муравьев-Апостол свое требование фиксировать взаиморасположение найденных вещей?

Однако это были примеры, опережавшие время. Идея замкнутого комплекса вещей, обосновывавшая такие требования, была еще впереди — она была разработана Ворсо только в середине XIX века. Копать же большими площадями, чтобы ясно было взаиморасположение вещей, в Помпеях начали только при Фиорелли, в 60–70-х гг. XIX века.

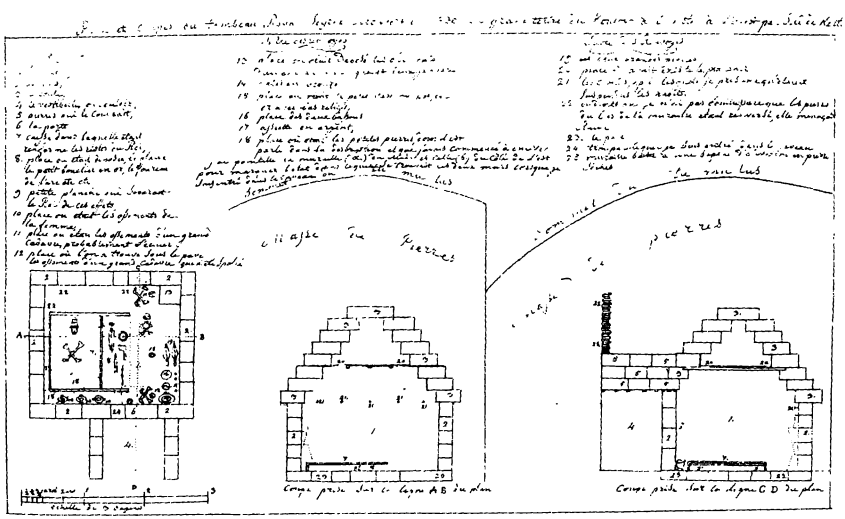
В этом свете соображения Муравьева-Апостола, развитые им под впечатлением раскопок Дюбрюкса, представляются очень прогрессивными. Да и сами раскопки — всё-таки «с осторожностию» и снятием планов, — не так уж грешили против методического уровня своего времени. Гость ощущал, что хозяин интуитивно движется в нужном направлении, но печаловался, что он так необразован и непрофессионален. Сам же Муравьев-Апостол, скорее всего, пришел к своим идеям самостоятельно.

Его опус ведь был представителем жанра сентиментально-романтических путешествий — как книга Карамзина «Письма русского путешественника» и книга Сумарокова «Досуги Крымского судьи». Авторы уходили от суетной повседневности в мир красоты и гармонии. Карамзин больше тянулся к сельской жизни на лоне природы, посетившие Тавриду Сумароков и Муравьев-Апостол — к «золотому веку», древнему искусству, классической культуре. На лоне природы они любовались «естественной» жизнью и описанным у античных авторов идеальным бытом древних. Так же, как последователей Карамзина влекла этнографическая русская реальность, так Муравьеву-Апостолу хотелось реконструировать по реалиям, по следам и остаткам сцены древнегреческой жизни, так хорошо ему знакомые у классиков. Вот почему ему требовалось зафиксировать взаиморасположение вещей. То стремление зафиксировать состав и расположение находок, которое у Петра и вершителей академических путешествий диктовалось

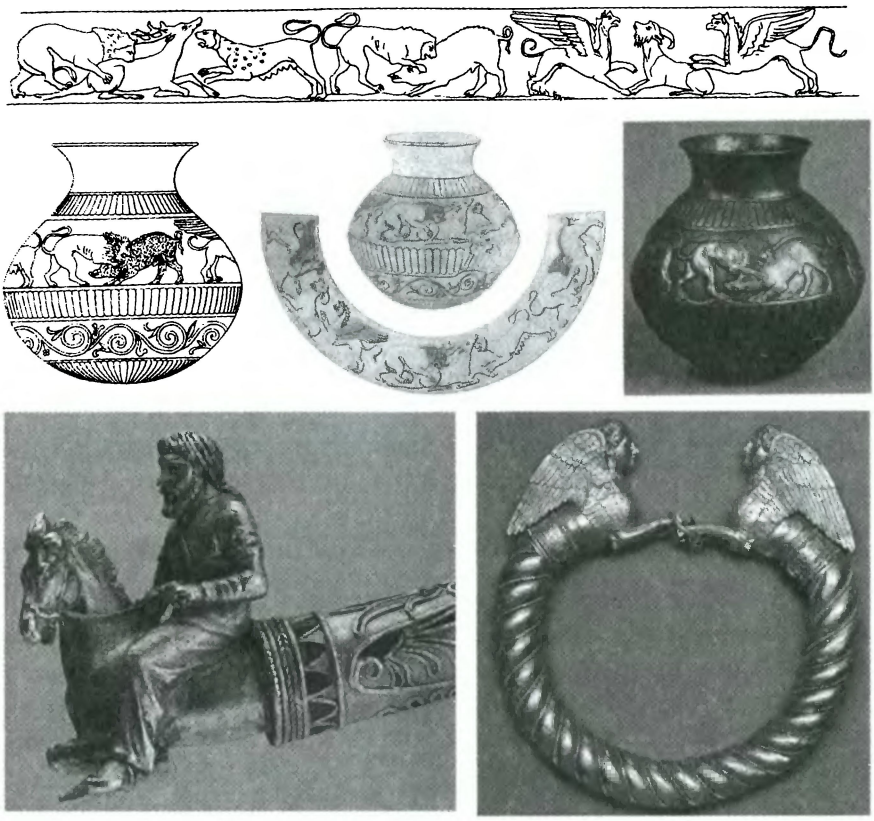
скорее бюрократическим стремлением к порядку, к инвентаризации и протоколированию, характерным для абсолютной монархии, у сентиментальных путешественников начала XIX века происходило от более археологической тяги к реконструкции древних обрядов и быта.

Трудно сказать, как Дюбрюкс пришел к своей полевой практике, для его времени продвинутой, — читал ли он кое-что из французских антиковедов (скажем, Кэлюса), или больше ориентировался на российских академиков XVIII века, или сочетал идеи, нахватанные у просвещенных и более образованных собеседников в Петербурге и Крыму, со своей интуицией. Его главным стимулом было, вероятно, тоже романтическое стремление представить вычитанные у Геродота и Страбона сцены античной истории. Дюбрюкс был, несомненно, романтиком — сражался за погибшее дело короля, вступил в масонскую ложу, участвовал в борьбе с холерой в Крыму и теперь жаждал восстановить как можно полнее картины этой далекой прославленной жизни, так непохожей на его собственное прозябание...

3. Куль-Оба и соревнование любителей. В марте 1820 г. канцлер граф Румянцев предложил графу Ланжерону объявить за Дюбрюксом пожизненное право производить раскопки на территории древнего Пантикапея (на протяжении пяти верст) с правом собственности на найденные вещи. Раскопки были продолжены на средства Румянцева (1500 рублей).



План и разрез склепа Куль-Обы, сделанные Дюбрюксом в 1830 г.



Золотые вещи из Куль-Обы

Дюбрюкс еще в начале 1820-х гг. сдружился с энтузиастом изучения классических памятников полковником Стемпковским и помогал ему в обследовании памятников Крыма. Это особенно усилилось, когда в 1828 г. Стемпковский стал керчь-еникальским градоначальником. В 1830 г., когда солдаты случайно открыли каменный склеп со скифским погребением и золотыми и серебряными вещами в кургане Куль-Оба, именно Дюбрюкс под руководством градоначальника Стемпковского описывал находки: золотая массивная бляха в виде лежащего оленя, электровый сосуд со сценами из скифской мифологии, золотые обкладки ножен от меча, гривны, диадема, серьги, серебряные позолоченные рога для питья, серебряные позолоченные кувшины с шаровидным туловом, бронзовые амфоры, котлы и прочее.

Но отвезти их в Одессу, а затем в Петербург Стемпковский отправил бухгалтера Ришельевского лицея Дамиана Карейшу, ставшего

помощником начальника его, Стемпковского, канцелярии. Языкастый и бойкий Карейша представил в Петербурге в январе 1831 г. дело так, что он и был основным открывателем Куль-Обы. Он-то и получил от императора в награду бриллиантовый перстень и поручение продолжать раскопки, а также 2000 рублей на это дело. Таким образом, право раскопок перешло к нему от Дюбрюкса.

Уязвленный Дюбрюкс в январе 1832 г. направил на имя императора прошение и приложил к нему «описание и план открытой в 1830 г. близ Керчи древней царской гробницы», а также «замечания о различных родах древних гробниц, находящихся в Керчи и в окрестностях сего города». Генерал-адъютант граф П. М. Волконский направил рукопись Дюбрюкса известному антиковеду А. Н. Оленину (директору Публичной библиотеки и президенту Академии художеств) и в Эрмитаж академику Е. Е. Кёлеру. Оленин ответил так:

> «Описание г. Дю-Брюкса, хотя весьма сбивчивое и планы его и разрезы весьма неисправные, открыли мне, однако ж, многие обстоятельства, которые могут служить к лучшей поверке изготовленного мною отчасти толкования предметам, найденным в сей гробнице и здесь нарисованным художником Солнцевым, для надлежащего поднесения государю императору. Жаль, что навык г. Дю-Брюкса находить и открывать древние гробницы не отвечает его познаниям, не токмо в археологии, но даже в природном его языке. Тому причиною, что он подобными делами случайно токмо занимался, не менее того (тем не менее. — Л. К.) он, по мнению моему, достоин награждения за его усердие, которое заставляло его презирать и самую видимую опасность...» (Тункина 2002: 168).

Академик Кёлер направил министру двора свой отзыв, в котором с немецкой педантичностью изложил свое мнение по пунктам:

> «1) ...замечания сочинителя о наружности разных родов старых гробниц близ Керчи содержат много хорошего и справедливого; он дает при том известие для отыскания тех, которые отчасти заключают в себе достопамятных вещей и отчасти тех, которые до сих пор еще не были открыты;
>
> 2) ...и рисунок со стен сих гробниц весьма хороший и точный, потому что он соответствует с теми, которые я сам во время двух моих путешествий в Крым видел; сей рисунок и тем достоин примечания, что строение сих гробниц ни в каком сочинении еще не описано, не срисовано;
>
> 3) его известие об открытии последнего в 1830 г. открытого кургана в Кулобе и тем достойны замечания, потому что из

оных узнаем расположение внутренности сей гробницы, где в ней лежали погребенные и где лежали разные золотые вещи, привезенные в Санкт-Петербург, и как они были расположены во внутренности оной;

4) исторические и топографические его замечания о местоположении разных мест в Крыме несправедливы и без пользы. Впрочем, темный слог его сочинения и обстоятельность оного причиняют великие затруднения в понятии оного» (Тункина 2002: 169–170).

Снова мнение столичных ученых оказалось двойственным: с оной стороны, они отмечали усердие Дюбрюкса, полезность и даже необходимость его работ, с другой — его ошибки и плохой язык, вызванные отсутствием образования. Существенно, что пришлось отметить и важнейшую особенность его планов и описаний: они позволяли восстановить положение каждой вещи в гробнице — особленность, отсутствующая во многих отчетах того времени и даже позднейших. Реакция властей была тоже двойственной: Дюбрюксу был пожалован бриллиантовый перстень с аметистом, стоящий 500 рублей, а право дальнейших раскопок осталось за Карейшей.

В декабре 1833 г. Дюбрюкс представил великому князю Михаилу Павловичу, от которого более 15 лет назад было поручение описать крымские памятники, рукопись именно такого труда на французском языке — «Описание развалин и следов древних городов и укреплений, некогда существовавших на европейском берегу Босфора Киммерийского...», 256 страниц текста, карта, 14 планов и три таблицы рисунков. Ответа не было. В 1834 г. Дюбрюкс направил письмо на высочайшее имя с новой рукописью и упоминанием об отправленной великому князю. Снова Волконский обратился за отзывом к Оленину. На сей раз Оленин ответил очень резко. На письме сохранилась его пометка о том, что предстоит «вывести обстоятельное заключение о бесполезности труда г-на Дюбрюкса». Было и обоснование:

«Я должен сказать, что труд сей ни в каком отношении не заслуживает особенного внимания. Господин Дюбрюкс, как полагать можно, не приготовился предварительным учением к предпринимаемым им трудам. Сверх того, что он, кажется, не имеет обширных сведений в науках, приложенные... планы развалин очень дурны; если добавить, что г-н Дюбрюкс пишет дурным слогом, даже с разными ошибками противу правописания, то при всей скромности нельзя не сказать, что этот труд г. Дюбрюкса не стоит печати и что подносить Его Величеству подобные вещи едва ли можно счесть приличным» (Тункина 1995: 24; 2002: 171).

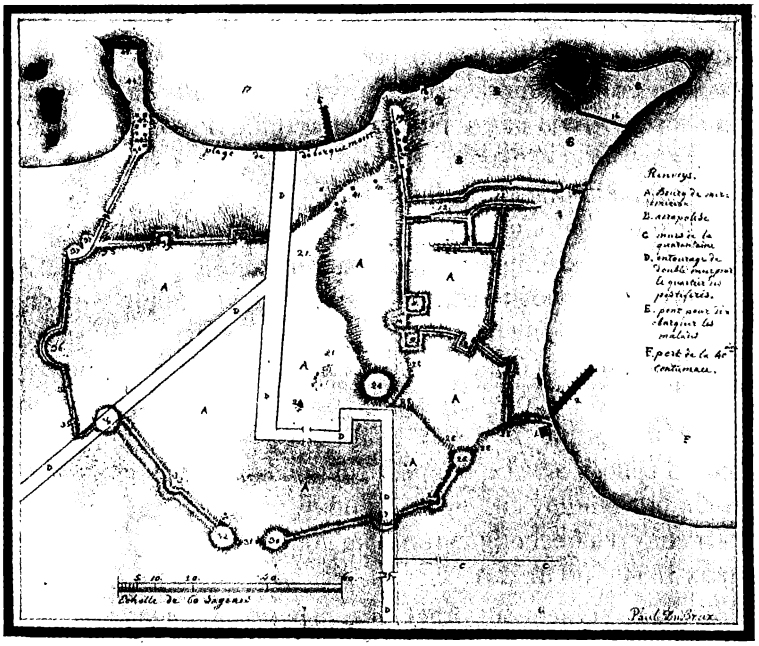
Между тем Керченский музей, находившийся в доме Дюбрюкса (при директорстве Бларамберга), был перевезен в новое здание. Ставший его директором Ашик и соперничавший с ним Карейша начали бурную раскопочную деятельность, настоящую охоту за кладами. Они лихорадочно вскапывали курган, вскоре, не найдя золота, бросали его недокопанным и принимались за другой, причем там, где Карейша ничего не нашел, после него Ашик находил погребение, и наоборот — где всё бросал Карейша, находил что-нибудь Ашик. Глядя на эту «золотую лихорадку», Дюбрюкс критиковал методический уровень всех троих официальных раскопщиков — Бларамберга, Ашика и Карейши. Он отмечал необходимость «тщательности и неторопливости при проведении раскопок», показывая это на примерах. Так, в кургане, который Бларамберг бросил, Дюбрюкс, прокопав всего аршин земли, открыл трупосожжение в урне. У Ашика и Карейши он «обнаружил ту же ошибку, что и у г-на Бларамберга»: раскопки ведутся беспорядочно и не доводятся до материка. Об их раскопках 1834 г. он пишет:

> «Единственный упрек, который можно сделать гг. Карейше и Ашику, что, когда, казалось бы, сама фортуна направляла их раскопки в этом году, они не составили точного описания расположения предметов в погребениях, формы погребений, как размещены останки... и т. д., короче, всех обстоятельств, которые могут навести на выводы и дать какое-то представление о времени и обычаях... древних народов» (Тункина 2002: 186).

К сожалению, столичные эксперты предпочли, как это часто бывает, более лощеных и поверхностно образованных чиновников, умеющих общаться с верхами, провинциальному неотесанному простаку-энтузиасту, хотя он-то и вел раскопки наиболее осторожно, терпеливо и умно.

Денег на раскопки у него теперь не было. Оставалось вести поверхностное обследование памятников, съемку. Ежегодно за малым исключением в течение 14 лет Дюбрюкс, имея планшет с бусолью и веревку для измерения расстояний, снимал планы с памятников и уточнял их, возвращаясь на одно и то же место по 20–30 раз, «как каторжник». Он уходил порою на расстояние в 60 км.

> «Отличительной чертой характера керченского археолога, — пишет Тункина (2002: 152), — было необыкновенное бескорыстие души. Дюбрюкс мог продать свое "древлехранилище" коллекционерам за несколько тысяч рублей, но, несмотря на свою крайнюю бедность, этого не сделал. Значительную часть



План развалин Мирмекия, сделанный Дюбрюксом

находок он раздаривал своим вельможным покровителям и путешественникам, посещавшим Керчь. [...] Одна из ваз, купленная Бетанкуром, была впоследствии продана за 4000 р. ассигнациями».

Списки своих исследований с описанием памятников боспорской цивилизации Дюбрюкс направлял членам императорской фамилии, известным ученым и меценатам, надеясь на их публикацию. Однако субсидий не воспоследовало, и ни одна из его крупных работ не была издана, а собственных средств на издание у него не было. А так как он предоставлял неизданные рукописи всем желающим, то его сведениями обильно пользовались многие. Например, другой охотник за древностями, директор Керченского музея Ашик, и директор Одесского музея Бларамберг заимствовали у него немало для своих публикаций, даже не упоминая его имени. Бларамберг представил в Петербург копии с его планов, выдав их за свои. Основные труды Дюбрюкса вышли после его смерти, «Описание следов и развалин» — в 1854 г.

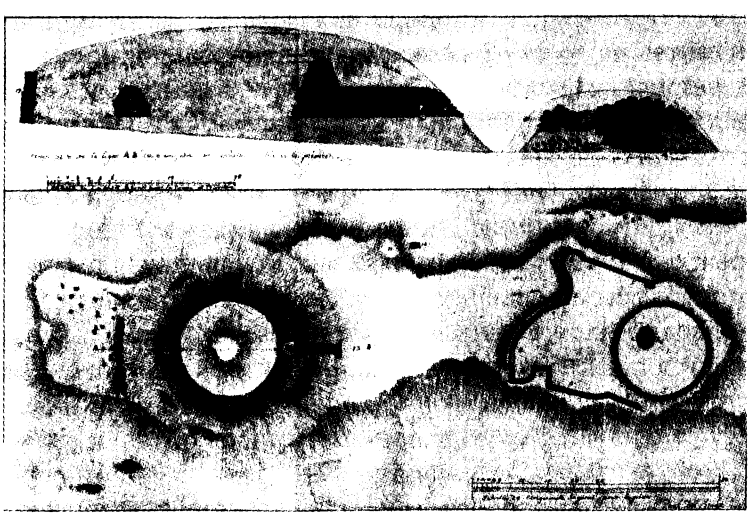
К концу жизни он часто болел. Незадолго до смерти писал своему другу Тетбу де Мариньи: «С начала февраля у меня нет огня в комнате; случается часто, что по два, по три и по четыре дня сряду я не

знаю другой пищи, кроме куска дурного хлеба. Давно уже отказался я от моей бедной чашки кофе без сахару, которую я пил по утрам. Солдатский табак покупаю я тогда, когда у меня есть лишние две копейки» (Тункина 2002: 156). Он умер в 1835 г. шестидесятипятилетним, в полной нищете, обладая огромными неприкосновенными сокровищами — коллекцией антиков и собранием сведений о классических древностях Тавриды.

Не сохранилось ни одного его портрета, да и неизвестно, был ли портрет сделан. Не сохранился и дом, где он жил. На новом строении висит мемориальная доска: «На этом месте находился дом, в котором жил с 1811 по 1835 гг. основатель Керченского музея древностей и отечественной античной археологии Павел Алексеевич Дюбрюкс 1774–1835». Русификация произведена посмертно.

Многие его определения открытых памятников ошибочны.

> «Но, как это ни странно, — пишет современный археолог Хршановский (1999: 169), — труд его оценивался и оценивается последующими поколениями крымских археологов всё выше и выше. Буквально выхоженные и извлеченные из небытия древние города Боспорского царства — Парфений, Мирмекий, Илурат, Китей, Киммерик, выработанные правила и методика описаний развалин, тщательность исполнения чертежей с лихвой перекрывали все его ошибки в идентификации или интерпретации того или иного памятника».



План и разрез Золотого кургана,
выполненные П. Дюбрюксом не позднее 1833 г.

Тункина (2002: 179) пришла к выводу о необходимости полной реконструкции и нового издания «*всех без исключения текстов* Дюбрюкса 1810–1830-х гг. по архивным рукописям, хранящимся в Москве, Киеве, Петербурге и Париже». «Можно с уверенностью сказать, — пишет она, — что новое издание труда Дюбрюкса введет в научный оборот материалы первостепенной важности для специалистов по античной археологии Европейского Боспора». Не так уж много есть в истории археологии трудов почти двухсотлетней давности, о которых можно сказать нечто подобное.

В началу нового тысячелетия Тункина разыскала в архивах и фондах музеев сохранившиеся сочинения Дюбрюкса на французском и русском языках, его планы и чертежи, и коллектив авторов во главе с Тункиной издал все собранное в двух томах (Дюбрюкс 2010).

Стратег классической археологии
Иван Стемпковский

И сбылся сон пророка и стратега...
Александр Афанасьев. Моя ночная птица.

1. Адъютант дюка Ришелье. Другой зачинатель античной археологии Тавриды, Иван Стемпковский, — младше Дюбрюкса на 8 лет, но это был человек другого, более высокого социального статуса. Биография его, прежде мало освещенная в литературе (Ашик 1863), также детально изучена И. В. Тункиной (2000; 2002: 120–140, 161–167), и ее труды теперь основной источник для обращающихся к его биографии.

Польский шляхетский род Стемпковских имел ветвь «греческого», то есть православного вероисповедания. Принадлежавший к этой ветви Якоб Стемпковский, спасаясь от притеснений со стороны римско-католической церкви, бежал в Россию при Петре I и умер в Смоленске. Сын его Ерофей принял российское подданство, а внук Алексей женился на дочери казачьего полковника Ивана Цыплетева, отстоявшего Царицын от Пугачева, и имел четырех сыновей и четырех дочерей. Старший из этих детей носил имя Ивана (вероятно, в честь деда). Он родился в с. Никольском близ Царицына за год до Великой французской буржуазной революции, в 1788 г. Память о польском происхождении сохранилась и у его нынешних потомков (праправнуков), но Иван Алексеевич был, конечно, русским дворянином. Это видно по тому, что знание польского правописания латиницей его фамилии (Stępkowski) было утеряно и, публикуя на французском свои статьи, автор транслитерировал свою фамилию с русского: J. de Stempkovski, потом J. de Stempkowsky.

Он рано осиротел (отец оставил ему небольшое имение — сельцо Рязановка с 32 душами крепостных). Окончив Саратовское народное училище, 16-ти лет юноша поступил в военную службу

Арман Эмманюэль дю Плесси, герцог (дюк) Ришелье, основатель Одессы

подпрапорщиком под начальством мужа своей тетки со стороны матери, генерал-майора Кобле, шотландца на русской службе. Кобле стал комендантом Одессы, и его красивый племянник попался на глаза военному губернатору Херсонской, Екатеринославской и Таврической губерний герцогу Ришелье, когда тот прибыл в Одессу градоначальником. В августе 1808 г. молодой офицер был назначен дивизионным адъютантом и личным секретарем Ришелье, на каковом посту он пробыл официально до 1815 г., а фактически продолжал состоять до 1819. «Дюку мальчик полюбился... — пишет о нем Вигель (1893: 210). — Можно сказать, что Стемпковский вырастал вместе с Одессой и принимал участие в устройстве нового портового города. Светская образованность была в нем отличная, а ученость его по археологической части простиралась до того, что он был избран членом Французского института».

Здесь известный мемуарист отметил ту особенность личности Стемпковского, которой он и вошел в историю археологии.

Стемпковский получил отличное образование. Он владел французским, немецким, итальянским, знал геометрию, историю, географию, умел чертить и рисовать. Ашик добавляет, что он «говорил на многих живых языках в совершенстве и знал языки греческий и латынь», правда, древние языки знал не в совершенстве, но в смысле простейших надписей мог разобраться самостоятельно. Ашик пишет, что классическими древностями Стемпковский увлекался еще с 14 лет, т. е. с учебы в Саратовском училище. Это неудивительно. В конце XVIII и начале XIX века в Россию пришли немецкие идеи о подражании античности в искусстве (Винкельман) и французская мода на стиль «а-ль антик» в одежде и утвари, на неоклассицизм в архитектуре. Знать учила детей греческому и латыни, образованные люди читали античных авторов. Из Петербурга это увлечение докатилось и до

Саратова. Разъезжая по служебным делам и посещая разные места Новороссийского края, Стемпковский стал собирать коллекцию античных монет и вообще увлекся наукой о древностях. В Одессе молодой офицер свел знакомство с местными антикварами Бларамбергом и приезжавшим в Одессу Дюбрюксом.

Иван Стемпковский, адъютант дюка Ришелье (с портрета Н. Бушарди)

Сопровождая повсюду дюка Ришелье, Стемпковский отличался и в военных предприятиях — на Кавказском фронте и в европейском походе русской армии против Наполеона. Был награжден орденом, дослужился до чина капитана и был переведен в лейб-гвардии Измайловский полк. Стемпковский сопровождал Ришелье в Вену, затем был в Париже при Главной квартире русской армии. С 1816 по 1818 г. он находился во Франции при штабе отдельного корпуса генерал-адъютанта графа М. С. Воронцова. С этого времени он пользуется и доброжелательным отношением этого вельможи и мецената, ставшего потом новороссийским генерал-губернатором. В сентябре 1818 г. 40-летний Стемпковский был произведен в полковники, но из благосклонности государя к дюку Ришелье его прежний адъютант был оставлен при нем.

По-видимому, состоя при Ришелье, еще в Вене Стемпковский совершенствовался в древних языках, а в Париже он получил возможность вести научные работы в Парижской Академии надписей и изящной словесности. При этом он сблизился с известным французским антиковедом Дезире Рауль-Рошеттом, который посвятил ряд книг античной истории Северного Причерноморья. Всё свободное время Стемпковский употреблял на пополнение своих знаний, изучал античных и средневековых авторов, из которых сделал 6 огромных томов выписок. Во Францию Стемпковский привез всё свое собрание античных монет, чтобы показать его французским нумизматам. Он представил в Парижскую Академию надписей свои работы о новейших находках монет и надписей в Причерноморье и в 1821 г. был избран ее член-корреспондентом. Более того, по договоренности со своими друзьями из Причерноморья

Бларамбергом и Дюбрюксом он договорился в Париже о введении в научный оборот новооткрытых памятников Причерноморья. Некоторые памятники были предоставлены для публикации Рауль-Рошетту, а кроме того, получил возможность опубликовать там свои работы и Бларамберг.

С 1820 г. в течение 4-х лет Стемпковский, хотя и состоял при армии, из-за болезни находился большей частью в отпуску. Эта болезнь была чахотка. В 1824 г., прослужив в армии 20 лет, он подал в отставку и поселился в сначала в Саратове, потом в Одессе. Дело в том, что дюк Ришелье, который в 1814 г. вернулся во Францию, где стал премьер-министром и министром иностранных дел Людовика XVIII, умирая в 1822 г., завещал все свои имения в России и 150 тысяч рублей своему любимому адъютанту. Дачу в Одессе Стемпковский потом подарил городу, а имение в Крыму Гурзуф в 1824 г. продал графу Воронцову. С 1822 г. Стемпковский руководил увековечением памяти Ришелье, и стараниями бывшего адъютанта был возведен в Одессе знаменитый памятник дюку работы Мартоса на Приморском бульваре. В 1826 г. были разрешены некоторые недоразумения, связанные с отставкой и болезнью Стемпковского, и он получил при выходе в отставку мундир генерал-майора.

Всё это время он не оставлял своего увлечения античными древностями. В 1820 г. он вместе с Дюбрюксом снял план городища Мирмекия, потом помогал ему в схеме плана Пантикапея, локализовал Нимфей, верно определил местонахождение Танаиса на Недвиговском городище. В 1822 г. принимал участие в раскопках Бларамберга в Ольвии. С 1822 по 1828 г. Стемпковский опубликовал ряд небольших статей на французском языке во Франции и в «Одесском журнале» об античных древностях Причерноморья.

2. Программа археологического изучения края. В августе 1823 г., вскоре после вступления Воронцова в должность новороссийского генерал-губернатора, Стемпковский представил ему свою записку на французском языке: «Заметка об исследовании древностей, изыскиваемых в Южной России». На русском языке он опубликовал ее четыре года спустя в расширенном и переработанном виде в журнале «Отечественные записки» (Стемпковский 1827).

Записка эта стала программным проспектом объединений российских любителей древностей, антикваров-краеведов Южной России. Стемпковский обратил внимание начальства, а затем и читателей на то, что руины постоянно используют как каменоломни для строящихся

зданий. В результате уничтожаются следы прошлого — «следы сии, по мере заселения края, ежедневно более и более изглаживаются». Многие поселения, упомнаемые древними географами, уже не найти на местности. Многие причерноморские памятники, отмеченные прежними российскими путешественниками (П. С. Палласом и др.), уже не существуют. Часть древностей попала в руки коллекционеров, увезена за границу. Такие вещи «навсегда... потеряны для науки».

Задача образованных людей — спасти от гибели древние памятники. Что же делать для этого? По мысли Стемпковского, антиквари должны объединиться в научное общество, разработать общую программу полевых и кабинетных исследований и способствовать созданию археологических музеев. Основная цель такого общества — «разыскивать, собирать и хранить, описвать и объяснять все памятники древности, на северных берегах Черного моря разновременно найденные и впредь находимые». «Благородное соревнование» между антикварiями и взаимная критика будут способствовать прогрессу науки и отысканию истины.

Стемпковский так конкретизировал эти задачи:

1. Составить свод известий древних авторов по истории и географии края.
2. Составить полные своды уже опубликованных эпиграфических, нумизматических и археологических памятников. Составителям надлежит «распределить оные по порядку городов и народов, коим они некогда принадлежали; извлечь наилучшие об оных суждения тех ученых мужей, коими они были изданы и описаны, и дополнить сии суждения новыми объяснениями.
3. Описать все находки, попавшие в частные собрания, как и археологические памятники, находящиеся на местности, главным образом руины городов.
4. Проводить «под надзором членов» общества археологические раскопки в развалинах городов и древних гробницах. При этом особое внимание следует уделять поиску древних надписей и монет — «сих надежнейших исторических свидетельств, которые могут послужить к дополнению большею частию утраченных летописей царств, городов и народов, на берегах Понта Эвксинского существовавших». Одновременно общество будет заботиться об охране «от совершенного разрушения остатков тех древних зданий, кои еще заметны». Вещи же надо собирать и бережно хранить в музеях.

5. Составлять планы всех древних поселений, следы которых еще видны на поверхности, архитектурно-археологические обмерные чертежи — планы и профили сохранившихся зданий.
6. Составить карту древних поселений, сопоставляя сведения древних авторов с археологическими остатками на местности, и локализовать «местоположение многих знатных городов, коих следы почитаются ныне потерянными» (перечисляются конкретные перспективные пункты от устья Дуная до Тамани).

Тункина (2002: 138–139) характеризует записку Стемпковского как «первую научно-исследовательскую программу русской науки о классических древностях юга России», отмечая парадоксальность того, что такая программа была выработана дилетантом, а не профессиональным ученым.

Но кто мог бы считаться тогда профессиональным ученым в этой сфере? Профессора университетов, сотрудники Эрмитажа, члены Академии наук по данной специальности — их было тогда страшно мало. Антикварии обычно не были профессионалами, а антикварии в это время только-только становились археологами. Кроме того, профессиональным ученым обычно свойственно понимание ограниченности своих задач и функций, а в те времена особенно. С другой стороны, Стемпковский был не таким уж дилетантом — серьезно занимался наукой в Академии надписей в Париже, объезжал памятники, публиковал сугубо научные статьи, общался с известными учеными. Строго говоря, Стемпковский не был профессионалом, т. е. археология не была его службой, но она была его любимым занятием, к которому он относился серьезно. Формозов (1961: 54) называет его «серьезным исследователем» и продолжает: «Это был настоящий археолог-профессионал. Среди его заслуг может быть названо то, что он начал исследование городов Боспора, понимая, что городские слои не менее важны для науки, чем золото из могильников». Как отставной генерал и воспитанный светский человек, знакомый с крупными вельможами, Стемпковский мог думать о судьбах всей археологии целого края, и к нему прислушивались.

Граф Воронцов подал Александру I в 1825 г. доклад о необходимости учреждения музеев в Одессе и Керчи (маленькие археологические музеи уже существовали в Николаеве — с 1806 г., и в Феодосии — с 1811). Результатом инициативы Стемпковского было открытие двух археологических музеев — в Одессе (1825) и Керчи (1826), директором которых был назначен Бларамберг. В 1826 г. «Мысли относительно изыскания древностей в Новороссийском крае» (под таким названием

записка Стемпковского была переведена на русский) были зачитаны в Московском обществе истории и древностей, но не нашли в нем широкой поддержки. Общество ориентировалось не на классические историю и древности, а на родные русские (см. Тункина 2003: 140). В 1839 г., уже после смерти Стемпковского, было основано Одесское общество истории и древностей, следовавшее его программе. Схожие задачи поставило перед собой и Русское Археологическое Общество, возникшее в Петербурге в 1846 г.

Формозов (1961: 45–46; 1986: 40–41) считает Стемпковского типичным представителем *эстетствующего антиковедения*, идущего от Винкельмана, и связывает его отношение к классическим древностям с *романтически-сентиментальными* идеями Сумарокова и Муравьева-Апостола. Он мотивирует это цитатой из его записки о задачах археологических исследований:

> «Ничто не может быть утешительнее для ума просвещенных людей и достойнее их благородных усилий, как стараться спасти от совершенного забвения существующие еще в отечестве нашем остатки образованности народов столь отдаленной древности, ничто не может доставить им больше удовольствия, как находить по истечении 20 столетий памятники, которые могут дать самые достоверные свидетельства относительно религии и правления, наук и художеств, деяний и нравов поколений, столь давно угасших. Таковыми исследованиями мы можем некоторым образом извлекать удовольствие и пользу из самого праха» (Стемпковский 1827: 42).

Что побудило Формозова считать этот пассаж сентиментально-идиллическим? Слова «утешительнее», «удовольствие», «художеств»? Но художества тут только один из многих объектов познания древних поколений, а удовольствие имеется в виду не от любования древностями, а от их спасения и обнаружения «свидетельств», т. е источников. Тункина (2002: 139) отказывается разделить в этом мнение Формозова. Она обращает внимание на то, что объектами научного исследования, по Стемпковскому, должны стать *все древности*, независимо от их материальной и художественной ценности: «Мы должны тщательно собирать и хранить каждый отрывок древних рукописей, надписей на камнях, каждую медаль, каждый обломок статуй, барельефов: самая незначительная вещь может иногда объяснить древние предания и разогнать мрак, их покрывающий».

> «В своих исследованиях, — пишет Тункина (2002: 130), — Стемпковский стремился выйти за узкие рамки филологического

> или антикварно-художественного анализа различных категорий археологического материала, используя его прежде всего в качестве полноценного исторического источника. Основной страстью ученого, несомненно, являлась нумизматика, прежде всего изучение монет Боспорского царства... Уступая профессиональным антиковедам в знании классических языков, вместе с тем обладал и неоспоримым преимуществом — Иван Алексеевич хорошо знал те места Северного Причерноморья, откуда поступали надписи, монеты и другие находки».

У Стемпковского проглядывает здесь если не понимание роли археологических материалов как источников истории в точном смысле, то во всяком случае как *источников по древней культуре*. Это то, что Лебедев (1992: 97, 164, 180–188) называл «бытописательной парадигмой», связывая с деятельностью Уварова, и что является этнографической целью археологического познания — у Стемпковского: «религия и правление, науки и художества, деяния и нравы поколений».

Тункина высказывает резонное предположение, что в Одессе этого времени Стемпковский познакомился и с Пушкиным, который как раз в это время (1821–1824 гг.) отбывал свою ссылку в Одессе. Дело в том, что оба часто бывали в доме у Бларамберга, имевшего молодых дочерей и дававшего веселые вечера. Три года спустя в письме к московскому историку Погодину, издававшему «Московский Вестник», Стемпковский писал: «Покорнейше прошу напомнить обо мне почтеннейшему сотруднику Вашему Александру Сергеевичу Пушкину и принесть ему равномерно мою истинную благодарность». Благодарность была, как полагают, за приглашение участвовать в журнале. Тункина высказывает также догадку, что именно семейное предание Стемпковского (от его деда Цыплетева) о Пугачевском бунте послужило Пушкину стимулом для написания «Капитанской дочки». Знаком был Стемпковский и с Н. И. Гнедичем, переводчиком гомеровской «Илиады», который из-за болезни год жил на Юге.

Однако не столько знакомство с видными литераторами, сколько со знатоками античности, а особенно опыт работы в Парижской академии надписей и научное общение с французскими антиковедами, обеспечили высокий уровень его научных публикаций. Зная тяжесть своей болезни и близость конца, Стемпковский лихорадочно работал. За короткий срок он успел написать около научных 40 статей. Доминирующую позицию в русской науке об античных древностях тогда занимал академик Г. К. Э. Кёлер из Эрмитажа, приехавший в конце

XVIII в. из Германии (в России Егор Егорович). Это был кабинетный ученый, имевший заслуги перед русской наукой (он способствовал государственнй охране памятников), но отличавшийся ревностью к конкурентам (Рауль-Рошетту) и нетерпимостью к малейшим проявлениям самостоятельности провинциалов. Поэтому он не мог наладить с ними контакт и использовать их знания местных памятников. Отстаивая свою монополию, он обрушивался с жестокой критикой на их публикации, далеко не во всем справедливой, а нередко и просто изобиловавшей ошибками. Стемпковский умел отстаивать работы их и своего французского учителя от нападок «почтенного нашего старшины». В отличие от Кёлера, благодушный и приветливый Стемпковский был объединителем и стратегом.

3. Золото скифов и начало систематических раскопок. В 1828 г. прежний командир Стемпковского граф Воронцов, к этому времени бессарабский и новороссийский генерал-губернатор, купивший у него имение Гурзуф, предложил ему стать градоначальником в Керчи. Это не было таким уж незначительным назначением: тогда в России было всего четыре градоначальства: в Петербурге, Одессе, Севастополе и Керчи-Еникале. Градоначальником он стал во время русско-турецкой войны и был погружен «в омут дел и забот». Тем не менее он жаждал жить в мире древней славы. Стемпковский обращался к вышестоящим с предложением вернуть крымским городам «прославленные в истории веков» древнегреческие названия — переименовать Керчь в Пантикапей, Еникале и Карабурун в Ираклий и Нимфей соответственно, а Керчь-Еникальское градоначальство в Воспорское. «Город Керчь... должен... воскреснуть и именем, которое, напоминая древнюю славу здешних мест, более бы говорило уму и воображению, нежели носимое им теперь варварское название» (Тункина 2002: 132). Это было не так уж чудачески — предложение было в духе екатерининского «Греческого проекта», когда планировалось завоевание Турции и восстановление Византийской империи под властью внука Екатерины — имея это в виду, города новозавоеванных земель назывались греческими именами: Севастополь, Симферополь, Мелитополь, Мариуполь и т. д. Но эпоха «Греческого проекта» прошла, и теперь это было не ко времени.

В 1829 г. в Севастополе вспыхнул «чумной бунт», жестоко подавленный Воронцовым, и тот приказал переселить причастных к бунту отставных матросов с семьями в Керчь. Для постойки их домов

солдатам приказано было ломать камень на холме Куль-Оба близ Керчи. Дюбрюкс сообразил, что это не природный холм, а курган, значит, внутри должна быть могила. «Занимаясь более четырнадцати лет раскопанием курганов в окрестности Керчи, я был уверен, что не ошибся, и сообщил свое замечание господину Стемпковскому» (Брашинский 1979: 40). Тот поставил людей наблюдать. Тут и был 22 сентября 1830 г. открыт каменный склеп с богатейшим скифским погребением. Золота было до 8 фунтов, т. е. более трех килограммов, в частности была там золотая обкладка горита с тиснеными изображениями ряда сцен.

Три дня шли раскопки. Дюбрюкс снимал план. При этом, как он описывает, «огромный камень, отделившийся от свода,... упал на то место, где я находился с двумя работниками несколько минут перед тем и которое было мною оставлено по случаю жаркого спора с офицером, заградившим свет, чтобы самому лучше видеть, и таким образом спасшим нам жизнь». Зрители видели, «с каким страхом работники оставили меня одного в склепе, бросившись к дверям, толкая друг друга, чтобы скорее выйти» (Брашинский 1979: 50–51). Описание находок провели П. Дюбрюкс и врач П. И. Ланг под руководством Стемпковского, при раскопках присутствовали Антон Ашик, чиновник по особым поручениям при командующем, откомандированный в распоряжение Стемпковского, и правитель его канцелярии Дамиан (Демьян) Карейша. Оба тоже увлеклись древностями.

На четвертый день Стемпковский отправил доклад Воронцову и распорядился об охране древностей от расхищения. Он предполагал отправить главную часть находок в Эрмитаж, а мелкие вещицы и дублетные экземпляры бляшек предлагал продавать, чтобы обеспечить финансирование раскопок. Воронцов распорядился доставить вещи в Одессу, но это было трудно сделать в условиях продолжающейся эпидемии холеры. Известие об открытии дошло ло Петербурга почти через два месяца, и не от Воронцова, а из Генерального штаба. Разгневанный царь велел немедленно доставить вещи в Петербург.

Стемпковский хотел сам доставить находки в Одессу и в Петербург царю, но он не мог отлучиться от вверенного ему города ввиду эпидемии холеры. С вещами уехал Карейша, и 11 февраля 1831 г. в двух ящиках вещи прибыли в Петербург. Молодой бойкий чиновник рассказывал царю о том, как он доставал из земли эти драгоценности, произвел впечатление и был награжден перстнем и двумя тысячами рублей на продолжение раскопок.

Золотой олень из Куль-Обы

Однако во время начальных раскопок на ночь караул снимали: Дюбрюкс был уверен, что ночью никто не полезет в грозившее обвалами место. Но после отправки древностей в Петербург Стемпковский узнал, что через несколько дней после открытия местные жители проникли в склеп и, просеяв землю свозь решето, нашли немало нашивных золотых бляшек с одежды погребенных. Более того, вскрыв пол гробницы, они обнаружили еще одно погребение, и на костях скелета находилось множество золотых украшений: «браслеты» с головками львов, толстое золотое кольцо (видимо, гривна) с головками львов по концам. О найденных «золотых листах с фигурами» Стемпковский догадался, что это была обкладка горита, аналогичная найденной в первом погребении. Кроме того, удалось увидеть у грабителей золотую бляху весом в три четверти фунта (св. 300 граммов) в виде лежащего оленя. Ее выкупили. Многие вещи были разрублены и переплавлены в слитки. Потом еще долго приобретали по частям отдельные золотые вещи из Куль-Обы, поступившие в торговлю: бляхи с изображениями скифа на коне, двух стреляющих скифов, пляшущей вакханки и др.

Член Государственого совета Оленин обратился к одесскому градоначальнику А. И. Лёвшину с просьбой высказаться на предмет: «Возможно ли с успехом продолжить отыскивание древностей в Крыму, на тех местах, где некогда существовала Пантикапея, а ныне построен г. Керчь?» Лёвшин ответил утвердительно и выразил мнение, что необходимо отпускать в течение 10 лет по 2 тысячи рублей в год,

а руководство возложить на керчь-еникальского градоначальника Стемпковского. Начались систематические раскопки, финансируемые государством. Император поручил ведение работ Дамиану Карейше под надзором Стемпковского. Стемпковский составил в мае 1831 г. инструкцию для Карейши:

1) в первую очередь раскапывать те курганы, «в коих можно надеяться скоро, и с малыми издержками, найти древние вещи»;

2) экономить средства и не нанимать рабочих в то время, когда плата рабочим бывает высокой;

3) при раскопках находиться безотлучно, особенно «в то время, когда можно льститься вскоре найти свод, и тому подобное»;

4) составлять на месте описи находок и присылать памятники к градоначальнику для хранения;

5) все расходы заносить в приходно-расходную книгу с расписками получателей денег;

6) выяснять, не занимается ли кто из частных лиц раскопками, задерживать их с помощью полиции;

7) задерживать и лиц, случайно нашедших древности, но не поставивших об этом в известность власти, а вещи конфисковать.

Нетрудно заметить, что при всей прогрессивности представлений Стемпковского и при всей его заботе об экономичности раскопок, в его инструкции нехватало многих существенных методических предписаний, казалось бы, вытекающих из его методических принципов. Он упустил потребовать от Карейши, чтобы тот зачерчивал взаимное расположение находок, вел регулярный дневник раскопок, заботливо собирал и вещи не из драгоценных металлов. И раскапывать предстояло курганы, а не поселения. Стемпковский прямо нацелил Карейшу на поиск ценных находок: раскапывать в первую очередь те курганы, в которых скоро и с малыми издержками можно такие вещи найти. Это был явно лозунг кладоискательской археологии. То, чего император и общество ждали. Блеск золота на время затмил все остальные аспекты археологии. Карейша, получивший освобождение от всех остальных обязанностей на ряд лет и ставший в сущности первым профессиональным археологом-полевиком, был ориентирован всё-таки на поиски золота. Вместе с Ашиком и Бларамбергом они стали, ревностно соперничая друг с другом, охотиться за золотом, лихорадочно и беспорядочно копая курганы, выхватывая из земли древнее золото и бросаясь к следующему кургану без заботы о доследовании. Отстраненный от раскопок Дюбрюкс с обидой и огорчением отмечал это.

Впоследствии одесский профессор и директор музея Н. Н. Мурзакевич (1888: 586–587) вспоминал о раскопках Ашика и Карейши:

> «Желая получить подарок или крест за находку, оба ретивые соперника наперерыв старались раскопать побольше курганов... Лично они не присутствовали почти никогда... Описания или рисунков на месте не делали... Вещи двойные, тройные, четверные, по произволу упомянутых господ, раздавались, кому им нравилось, или сбывались за границу. <...> а часть мастерами золотых дел расплавлялась в плавильном мешке. Множество глиняных предметов разбивалось на месте находок, когда оные не соответствовали видам кладоискателей. Руководителем всех курганных работ был отставной матрос Дмитрий и несколько других землекопов... Курганы, гробницы не только не сохранялись и не поддерживались, но, вследствие необъяснимого равнодушия официальных кладоискателей, разбирались на городские постройки... [У Карейши] и у Ашика я заметил большие запасы ваз, сосудов, вещей, монет, которые, лежа все в куче, служили магазином, из которого ежегодно отправляли в Эрмитаж вещи, сказывая в рапорте, что такие-то и такие-то вещи были в сем году отысканы там и там. Вазы, виденные мною в 1836 г., Ашиком предъявлялись в 1838 г., и т. д.»

Тункина (2002: 269–271, 302–303, 389) полагает, что Мурзакевич, враждовавший с керченскими археологами, был не вполне объективен в общей оценке их, что его обвинения их в регулярной продаже древностей за границу и обогащении за счет казны неправдоподобны. Она отмечает, что оба сделали и много полезного для археологии, а их недостатки зависели во многом от требований властей, но факты их упущений и ухудшения методики по сравнению с Дюбрюксом и Стемпковским она и сама приводит (180–181, 328–329).

В 1830 г. Стемпковский окончательно потерял здоровье в непосильных для него разъездах, в изнурительной борьбе с эпидемией холеры. Он умер в 1735 г. на руках у Дюбрюкса. Предчувствуя близкую смерть, он составил завещание: «Если умру в Керчи, то желал бы, чтобы похоронили меня на вершине горы Митридат и там устроили часовню; книги мои жертвую Одесской публичной библиотеке». Коллекцию монет завещал он другу детства, еще одному воспитаннику Ришелье, Жозефу Мефреди, но ее конфисковали в пользу Эрмитажа, а Жозефу Мефреди сначала ничем не компенсировали лишение наследства, потом уплатили часть стоимости, наконец выдали 25 тысяч рублей как всю оставшуюся стоимость. Часовня же простояла сто лет. В 1940-х гг. часовня вместе с могилой Стемпковского была

Часовня Стемпковского на горе Митридат

снесена при устройстве советского обелиска Славы. У нас так водится, что, воздавая славу одним героям, рушим память других и, возводя обелиски абстрактной Славы, сметаем останки конкретных людей, заслуживших ее.

Поборник дохристианской «славянщизны»

Зориан Ходаковский

Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда,
Всё, что смешит ее, надменную,
Моя единая отрада.

Н. Гумилев. 1913.

1. Юродивый поляк. В 1819 г. в Петербурге появился странный человек, выходец из польских губерний России, называющий себя Зорианом Ходаковским. Рябой от оспин на широком лице, он был помешан на славянских языческих древностях, на «дохристианской славянщизне», как он это называл (польск. słowiańszczyzna — славянская культура, славянство), и всех расспрашивал о следах этого времени в родной местности. Сочетание этой страсти с бедностью, неотесанностью и польским акцентом вызывало в светском обществе недоумение, смех и обеспечивало пришельцу репутацию полусумасшедшего маньяка. Вот как описывает его Ксенофонт Полевой, брат известного историка, в своих мемуарах (Полевой 1934: 138–140):

> «Всегдашний костюм его составляли серая куртка и серые шаровары, а на голове что-то вроде суконного колпака. В таком костюме являлся всюду и обращал на себя внимание солдатской откровенностью, близкою к грубости. Всех дам без различия с простолюдинками называл он "матушка", всех мужчин — "батюшко"... Он обращался с расспросами ко всякому, нарочно ходил на Болотный рынок... и умел выспрашивать у русских мужичков о "городках". Часто принимали его то за вора, то за шпиона и таскали на съезжую».

Такие же расспросы он вел и в доме у Полевых, приставая с ними к гостям, даже к барышням.

> «Происходили в глазах наших истинно комические сцены... Входит в комнату человек, вовсе ему незнакомый, и еще не успел этот человек сказать, зачем пришел, как Зориан начинает допрашивать его. Кое-как отделавшись от допросчика, тот спрашивает — что это, помешанный, что ли? Другие принимали его за пьяного».

Ходаковскому было тогда 33 года, и оставалось ему жить всего шесть лет. За эти шесть лет он успел вписать себя навечно в историю русской археологии — без его упоминания не обходится ни одно изложение этой истории, ни один учебник. Биография его полна умолчаний, в «Очерках» Формозова та часть, что была до появления в России, не фигурирует вообще (кое-что упомянуто в его поздней книге — Формозов 2007а: 19–20), у Лебедева кратко пересказана та биография, которая была опубликована Полевым в 1839 г. (через 15 лет после смерти Ходаковского), а она основана на автобиографии самого Ходаковского, сознательно фальсифицированной: неправильно указано место рождения, подданство (австрийское), имя и фамилия. На деле не было ни похода с Наполеоном до Москвы, ни ранних приключений в Галиции. Зато в России происходили с ним другие события, гораздо более одиозные, которые нужно было скрывать. Оба историографа упустили польские источники, проливающие свет на эту часть биографии. Сама подлинная фамилия Ходаковского была открыта в России только в 1838 г., а в Польше только в 1840 г.

Зориан Доленга-Ходаковский (Адам Чарноцкий)

2. Скрываемое прошлое. Был он старше Стемпковского на 4 года, но археологией занялся позже его. Настоящее его имя было Адам Чарноцкий, а Зориан Доленга-Ходаковский — это был не литературный псевдоним, а придуманная взамен настоящей фамилия-укрытие.

Дело в том, что первое время его легальное пребывание в России было в большой опасности, да и впоследствии он был близок к тайным обществам. Происходил он из польско-белорусской мелкой шляхты, мать была из обедневшего рода князей Бородичей, отец, однако, служил у других помещиков управляющим имениями. Сын родился в 1784 г. в деревне Подгайной близ Несвижа в районе Новогрудка. В Польше это было Минское воеводство, но после разделов Польши (третий в 1795 г.) это Литовская, позже Гродненская губерния. Значит, был российским подданным. Когда Адаму было 8 лет, умерла мать, и он был отдан на воспитание князьям Бородичам в Минск, потом снова мыкался с отцом по чужим имениям Белоруссии и Мазовии. Эти странствия привели к хорошему знанию простонародья, с которым он потом всегда умел общаться. Затем был отдан в Слуцкую трехлетнюю школу (там учились по два года в каждом классе), сразу в высший класс, а отец вторично женился. В это время 15-летний Адам записывает в дневник:

> «Земля — пустыня, люди жаждут только золота, учиться не хотят и сами науки не дадут. О, если бы я хоть от одного человека получил поощрение! Чтобы меня хоть один захотел обучить, чему он мыслит, чтобы хоть один захотел исследовать, что мыслю я. Я бы ничего более не жаждал и был бы счастлив. Беда моя, что им бы только высмеивание и отохочивание от моей профессии...» (Rawita-Gawroński 1898: 7).

Уже тогда его высмеивали. В 1800 г., за год до окончания школы, 16-летний Адам остался круглым сиротой. Приютили его родичи Чарноцкие из милости. Около 1803 г. пристроился обучаться адвокатскому ремеслу на практике в Новогрудке, с 1807 г. — в Минске. Пристрастился работать в архивах, с упоением читал польские хроники и русские летописи. В 1807 г., когда он работал помощником у новогрудского воеводы графа Несёловского, по соседству с российской Белоруссией, отхваченной у Польши, Наполеон создал Варшавское княжество. Туда, под знамена Наполеона, стремились тысячи польских волонтеров, мечтавших о восстановлении Речи Посполитой. За полвека до того Пруссия, Австрия и Россия окончательно разделили между собой польское государство, и вся надежда была на победы наполеоновской Франции. В 1808 г. Адам тоже решил бежать в Варшаву. Но его письмо другу об этом намерении попало в руки российских чиновников. Адам был схвачен, увезен сначала в Гродно, потом в Петербург, где провел 9 месяцев в тюрьме. Оттуда возвращен в Новогрудок, где лишен дворянства и отдан в солдаты. Вот тут

и начинается та часть биографии, которую он тщательно скрывал всю жизнь. О ней рассказывает его дневник «Моё путешествие без охоты», начатый тогда и ведшийся всю жизнь.

Солдата направили в дивизию генерала Глазенапа, расположенную в Омске (Ходаковский никогда не упоминал, что познал Сибирь). Марш из западного пограничья России в Сибирь его отряд проделал пешим ходом, проходя по 30–35 верст в день. Солдатская служба в Сибири продолжалась два года. В 1810 г. война с Наполеоном назревала, и дивизию Глазенапа направили из Сибири в Польшу. Адам прошел тот же путь обратным ходом. Дивизия расположилась в Бобруйске. В 1811 г. российский солдат Адам Чарноцкий исчез. Доложили начальству, что Адам умер.

На деле он дезертировал. Он прибыл в наполеоновскую Варшаву с планом Бобруйска, составленным собственноручно. Французы охотно использовали смелого агента, знающего славянские языки. Под именем Зориана Любраньского его направляли с ответственными поручениями на российскую территорию вести переговоры с польской знатью (в частности, с князем Юзефом Понятовским, а также с каким-то князем Ипполитом N) и с православными священниками. После того как он вступил в 5-й полк пехоты адъютантом-«подофицером», маршал Даву стал посылать его за Неман с тайными миссиями (4 и 12 мая 1812 г.). 30 мая он получил бессрочный отпуск, но был оставлен при главной квартире для ответственной тайной работы. Ему предложили офицерское звание, но он вежливо отказался, сославшись на то, что в офицерском качестве ему будет труднее работать тайно.

В автобиографии Ходаковский утверждал, что проделал с наполеоновской армией всю трудную российскую кампанию — до Москвы и с разгромленной, замерзающей и гибнущей армией назад и был взят в плен казаками. На деле он пережидал кампанию в Смоленске, возможно, был при переправе через Березину. Затем исчез снова и всплыл под фамилией Хшановского (Chrzanowski) в Польше. Еще раз сменил фамилию и на сей раз объявился как Зориан Доленга-Ходаковский. Несмотря на амнистию, объявленную Александром I, все эти меры были необходимы: вина дезертира и наполеоновского шпиона вряд ли была бы прощена.

3. От борьбы за независимость к общеславянской романтике. Он бежал на Западную Украину — на Волынь. В эти тяжелые для него времена он сблизился с другими польскими осколками разбитого

войска — генералом Кропиньским, который стал поэтом, Каролем Сенкевичем, который стал историком, и др. В этой среде Ходаковский загорелся планами изучения народного быта, народной поэзии. Он увидел новый смысл в жизни. В дневнике появилась запись:

> «Есть счастье на земле! Шататься среди народа, жить всей силой поэтической жизни крестьян! Как я счастлив в моей сермяге, с моей скудной пищей, когда мне отвечают своим воспоминанием, своими чаяниями! <...> Злое сердце у того, кто не любит народ всей братской любовью!» (Rawita-Gawroński 1898: 28).

На русско-польском пространстве это были первые планы «хождения в народ».

Но мечты о свободе и национальной независимости надолго оказались под спудом. Романтические чувства, навеянные духом времени, устремились в далекое прошлое, подальше от печальной действительности — в Польше более, чем где бы то ни было. В этом прошлом Польша простиралась от моря до моря, а еще древнее было праславянское прошлое, в котором не было верховенства России, и все славянские народы были равны, а центр был, возможно, на территории Польши... Польских интеллектуалов тянуло к этому великому прошлому, начиная с Яна Потоцкого. Этот польский аристократ времен Екатерины II, Павла I и Александра I изучал античных и византийских авторов, увлекаясь проблемой происхождения славян, и русское государство относилось к этому благосклонно. Он проделал путешествия по Европе, Азии и Африке, ездил в составе русского посольства в Китай, стал автором известного романа «Рукопись, найденная в Сарагосе». Он был избран членом русской Академии наук, и произведения его тотчас по выходе переводились в России. Потоцкий больше уповал на данные языка, но и материальные древности не забывал. Именно у него Дюбрюкс и Ашик заимствовали идею сноса кургана до материка (Тункина 2002: 55–56).

Не с 1810 г. (как он писал в своей автобиографии), а позже, после 1813 г., Ходаковский, с юности любивший архивы и хроники, увлекся национальным польским прошлым и стал собирать народные песни и предания, изучать топонимику на польских землях. В его любви к народному творчеству далекого прошлого был еще один аспект: он считал, что это песни и предания времени народной вольности, когда еще не было ни царской власти, ни церковной. Это импонировало борцу за свободу и независимость. Он считал, что в хрониках христианского времени языческое прошлое изображается искаженно, более грубым и примитивным, чем оно было на самом деле. Чтобы

Князь Адам Чарторыйский

узнать реальное прошлое, надо обратиться к народным преданиям и обрядам, восходящим к дописьменному времени, к язычеству. Его интерес скоро распространился и на археологические памятники. Это произошло около 1816 г., возможно, в самом начале 1817 г. (Blombergowa 1993: 14).

Через посредство друзей он познакомился и сблизился с куратором округа князем Адамом Чарторыйским. Тот оценил его идеи и пригласил его в свое имение Пулавы.

Этот польский аристократ, в фаворе у Александра I, не только заинтересовался идеями Ходаковского, но и оказал ему финансовую поддержку и даже подстегивал его энтузиазм. С осени 1817 до весны 1818 г. Ходаковский на средства князя путешествовал по Малой Польше (Сандомир — Ченстохово — Краков), собирая фольклор и топонимику, обследуя древние замки и их руины, курганы и городища. Потом он распространил свою деятельность на Западную Украину, долго бывшую в орбите польского государства. Много археологических памятников обследовал в имении генерала Людвига Кропиньского, где подружился с хозяином. Обращался в город Кременец, лицей которого в это время был научным центром Западной Украины, просил инженера, преподававшего в лицее топографию, помочь в обмерах городищ в окрестностях города. В Перемышле (Пшемысле) тоже побудил местного геодезиста помогать в обмерах огромного кургана. В ходе следующего путешествия, весной 1818 г., обнаружил и правильно локализовал древние города Волынь и Червень (центр Червоной Руси). Путешествовал по всей Украине (Львов — Киев — Чернигов) и охватил также Белоруссию (Гомель).

По настоянию князя Чарторыйского в 1818 г. написал статью «O Słowiańszczyźnie przed Chrześcjaństwem». Название можно перевести как «О дохристианской культуре славян» или «О славянских

языке, культуре и обо всем славянском до принятия христианства» («славянщизна» — по-польски нечто вроде «славянство», «всё славянское»). Ходаковский писал Кропиньскому, что «взялся за эту преждевременную и неточную статью неохотно, ибо это против моей установки» (Maślanka 1967: 201). Князю статья тоже не очень понравилась, но он озаботился о ее публикации — она была напечатана Кременецким лицеем в Варшаве на польском языке (Chodakowski 1818). В этой статье Ходаковский ставил следы славянских предков в земле и в народной культуре выше письменных сообщений иностранных миссионеров. Он отвергал описания древних славян как грубых варваров без собственной культуры. Она просто утрачена в результате принятия христианства. Ходаковский призывал записывать все местные имена урочищ, выявить древние имена богов, названия растений и животных, учесть все городища:

> «Сбережем случайные, но довольно нередкие открытия, которые делаются в земле, — те разные небольшие изваяния, изображения, металлические орудия, посуду, горшки с пеплом. Сосчитаем и точно измерим все большие могилы, насыпанные в честь некой личности и одиноко пережившие века. Охраним от уничтожения надписи, высеченные на скале в подземных пещерах. Снимем планы с положения местностей, пользующихся давней известностью... Узнаем все названия, какие деревенский люд или его лекарки в разных странах дают растениям, соберем, сколько возможно, песни и старые гербы. Опишем главнейшие обряды. Внесем всё это в единую книгу...» (Chodakowski 1967: 31).

По справедливой характеристике Лебедева (1992: 66), «это — комплексная программа исследований, объединяющая цели и методы археологии и этнографии, исторической географии и лингвистики, фольклористики и геральдики, — первая в отечественном славяноведении».

Чарторыйский надеялся, что публикация этой статьи побудит руководство Кременецкого лицея или Виленского университета дать Ходаковскому постоянное место работы и финансовую поддержку. «Глядя на его труд, пыл и способности, жаль было бы оторвать его от его предмета, — писал он ректору Виленского университета. — Использованный иначе, он был бы утрачен» (Францев 1906: 335, прим. 4). В письмах Ходаковский писал, что хотел бы распространить свои обследования на славянские земли не только в российской, но и в австрийской и прусской монархиях и что 1000 рублей в год были бы достаточны.

Ректор не хотел ссориться с влиятельным магнатом, но внутри университета встретил противодействие. Влиятельные профессора (братья Снядецкие) обращали внимание на дилетантизм Ходаковского и отсутствие критического анализа, незнание элементарных правил логики. Они ставили под сомнение возможность осуществить такое обширное предприятие силами одного плохо подготовленного человека. Ксёндз Станислав Юндзилло указывал на недопустимое шельмование христианства. В итоге Университет ограничил свою помощь пожалованием роскошной грамоты на пергаменте, торжественно разрешающей Ходаковскому раскопки и изыскания в архивах и библиотеках. Но ни единого рубля в поддержку. Ходаковский зло иронизировал, что из столь большой грамоты в крайнем случае можно будет выкроить пару сапог для путешествия (Pigoń 1929: 6, 8, 11).

Он обратился в Варшавское Общество друзей наук, жаловался на некомпетентность судей (по професии Снядецкие — астроном и химик), попросил создать проверочную комиссию, куда бы вошли известные ученые-гуманисты Вавжинец Суровецкий, Юзеф Сераковский, Иоахим Лелевель и другие. Комиссия высказала благосклонное мнение, но не дала ни гроша.

Итак, Ходаковский публиковал по итогам своих походов статьи в польской печати, но скоро натолкнулся на сопротивление польской среды, в которой позиции католической религии были очень сильны. Польские научные институции отказывались поддержать его исследования, рассматривая их как еретическое прославление язычества и нападки на христианство.

4. В Россию с надеждой. Еще в 1817 г. в письме Кропиньскому Ходаковский просил его повлиять на Чарторыйского, чтобы тот принял тягу Ходаковского к изучению других славянских земель, не только польских. «Пусть его патриотическая мысль не отделяет мне других славянских стран. Если я перестану быть братом для русских, чехов, венгров и прочих, мне придется остановиться со всем намерением, и польская древность исчезнет» (Францев 1906: 334). Так этот недавний мятежник и изменник сменил политическую ориентацию на российскую. Весной 1818 г., когда его покровитель Чарторыйский высказывал надежды, что Вильно или Кременец смогут выдавать рублей 600 в год на исследования, а Ходаковский полагал, что потребуется миниум 1000, он стал подумывать о поисках более могущественного покровителя. Воспользовавшись визитом царя в Варшаву, он подготовил для него доклад с посвящением:

Светлейшему государю
Непобедимому витязю
Великому Кагану
Верховному старейшине славян
Владетелю берегов Дуная
Милому гостю Варшавского замка
Щедрому распорядителю
Светлому и молодому месяцу
Наследнику Великого Владимира
Наисильнейшему русскому царю
Ляшскому королю
Счастливой и светлой заре славянской
Александру Павловичу
Бья челом на мосту через трясину устланном
Зориан Доленга Ходаковский
Четырехлетнее путешествие и труд в их нынешнем изложении
С постоянной жаждой их окончания
И верные свои службы
Посвящает
(Францев 1906: 336).

Но вручить это послание не решился. Он вдруг получил лестное письмо от другого русского потенциального покровителя — графа Николая Петровича Румянцева, канцлера в отставке и известного коллекционера-мецената (Румянцевский музей в Москве ныне называется Пушкинским). Ходаковский вступил в переписку с канцлером, послал ему свои материалы — копии средневековых грамот. Взамен получил от него вышедший недавно первый том «Истории» Н. М. Карамзина.

Граф Николай Петрович Румянцев, канцлер в отставке

Ходаковский сообразил, что в огромной России польская пресса провинциальна, а вот среда русской интеллигенции менее зациклена на религии, русские столичные журналы охотно принимают материалы о славянских древностях, воспринимая это как русский патриотизм. Кропиньскому он писал, что, лишаясь польской поддержки, «мог бы ее получить у русских господ. Этих мало

будет беспокоить, что я раньше обвинил латинских церковников, они больше будут озабочены славой всего славянства, на которое по политическим причинам имеют право. Северная гарантия для нас всегда в помощь» (Maślanka 1967: 238). «Наши жаждут славы только национальной, собственной, а русские — всего славянства, что отвечает моему предприятию», — писал он в письме другому другу (Maślanka 1967: 197). Более того, он увидел, что колоссальная практически необследованная территория России изобилует материалами, которые он искал, а в образованных кругах русской столицы есть люди и журналы, интересующиеся этой тематикой. Ходаковский решил сменить место жительства и в 1819 г. подался в Петербург.

Н. М. Карамзин

В России же к этому времени романтический и патриотический интерес к истории получил иное выражение. Идейным лидером в этой сфере был Карамзин с его «Письмами русского путешественника» (1791–1796) и 12-томной «Историей государства Российского» (1816–1829). В «Письмах» он сформулировал взгляд консервативных кругов России на события в Европе: он принимал некоторые идеи Руссо, но не принимал Французскую буржуазную революцию. В «Письмах» русское общество призывалось к осмыслению прошлого России, и в «Истории» эта идея реализовалась. Но для Карамзина история России ограничивалась письменными источниками и начиналась с установления монархии Рюриковичей. Становление самодержавия было для него благотворнейшим итогом всего исторического развития России. Эпиграмма, приписываемая Пушкину, язвительно отмечала это:

> В его «Истории» изящность, простота
> Доказывает нам, без всякого пристрастья,
> Необходимость самовластья
> И прелести кнута.

Те, кто в России был недоволен этой монархической концепцией отечественной истории (а такие силы в России, как видим, были), восприняли программу Ходаковского как историческую систему,

противостоявшую системе Карамзина: Ходаковский исходил из убеждения в том, что письменная история и ее источники фальсифицированы церковью в угоду государственной (княжеской, королевской, царской) власти и не могут дать истинное знание о народном прошлом. Он призывал обратить внимание на то, что значительная часть развития славянства и России проходила в дописьменный период, период домонархический и дохристианский. Это импонировало зреющим в России силам либерально-аристократического бунтарства, вскоре оформившимся в декабристские тайные общества. Эти общества не были изолированы — родством и дружбой с ними были связаны симпатизировавшие либеральным идеям круги интеллектуалов — литераторов, ученых, экономистов.

Так получилось, что пионером славистической этнографии и фольклористики в России оказался поляк, только недавно побывавший в Сибири и помогавший Наполеону вторгнуться в Россию. Но и новое вторжение Ходаковского в Россию проходило нелегко.

Прибыв в Гомель, где тогда была ставка Румянцева, Ходаковский был разочарован. На Румянцева не произвели впечатления планы польского гостя по обследованию городищ, он был глух к этим идеям. Ходаковский шутил, что тут ему Наполеон повредил (Румянцев действительно оглох от потрясения, когда Наполеон вторгся в Россию). Граф даже городищ в собственном имении не знал. В Гомеле Ходаковский застрял: не было денег на дальнейшую поездку. Пришлось опять сменить ориентиры — на сей раз возложить надежды на князя Голицына, министра народного просвещения, которому уже писал князь Чарторыйский. Написал ему из Гомеля и сам Ходаковский. К письму приложил доклад «Рассуждения касательно русской истории».

В докладе этом повторял, уже на русском, основные положения «Славянщизны». Ходаковский отказывался доверять историкам, которые основываются только на летописях христианского времени, заведомо искаженно изображающих языческое прошлое. Он обращался к историкам с призывом покинуть свои кабинеты, выйти в поле и прислушаться к песням селянина, узнать его поверья и обычаи, обследовать городища и курганы, где таятся следы древней славянской жизни. Он подробнее развивал тему городищ:

> «Писал ли кто-либо о том, что так наз. городища распространены от реки Камы на запад до самой Лабы (Эльбы), от Двины до Балканских гор и Адриатического моря и что их столько, сколько было квадратных миль, населенных славянами? Мне это удалось заметить, равно как и то, что, где бы они ни уцелели,

> везде они в основных чертах схожи: имеют небольшие округлые валы, насыпанные исключительно из черной земли, имеют вход с востока, всегда находятся при реках или источниках, в наикрасивейших местах...» (Доленга-Ходаковский 1819).

Поместил там и довольно резкие критические замечания об «Истории» Карамзина. По Ходаковскому, Карамзин пол-России отдал финнам и Биармии, юг — хазарам, а Литве отвел исконно русские земли между Вильно и Гродно, где издревле звучала русская речь. Карамзин считал, что самоназвание русских происходит от варяговнорманнов, прибывших из местности Рослаген, а Ходаковский, в духе славянофильских своих убеждений, отзывался об этом так: «Мы же, воспевая в древнейших песнях русокосых дев и имея везде русалок, называясь испокон веков Святой Русью, будем ли стыдиться имен наших праотцов? "Рослаген" пусть остается за Соленым Морем и в чуждом нам мудрствовании». Итак, уже «мы» называемся «Святой Русью», да еще «испокон веков»...

5. Проект, апогей и крах. На деньги, присланные опять Чарторыйским, Ходаковский отправился в Петербург. По дороге заехал в Псков к митрополиту Евгению — известному историку Болховитинову. Тот написал коллеге в Петербург: «Третьего дня... в 12 часу нечаянно явился ко мне Ходаковский и до 7 вечера занимал меня чтением своих теорий, на другой день тоже заканчивал и едет к вам тем же занять вас: приготовьтесь к терпению» (Францев 1906: 351, прим. 3). Во Пскове в католической церкви сыграли свадьбу: Ходаковский скоропалительно женился на попутчице, с которой познакомился по дороге из Витебска в Псков, — на девице немецкого происхождения, отлично владеющей русским языком, Констанции Флеминг. Венчались в католической церкви.

Прибыв в Петербург осенью 1819 г., Ходаковский был очень хорошо принят президентом Русской академии (не академии наук) Шишковым. Ведший кампанию за очищение русского языка от иностранных слов, Шишков охотно слушал Ходаковского весь день — с 10 утра до часу ночи. Гораздо более холодно принял его Карамзин. Дальнейшие события предсказывал митрополит Евгений, хорошо информированный:

> «Ходаковский, дерзнувший и к министру адресоваться со своими гипотезами противу Карамзина, мне кажется, une tête exaltée, entêtée et infatuée (малый экзальтированный, упрямый и самонадеянный). Канцлер, видно, хорошо рассмотрел его,

> когда отказал ему в ресурсе... Не знаю, чего он может просить и ожидать от президента Российской академии, занимающегося только этимологией... А министр, верно, покажет его мечты прежде всего Карамзину, и тогда мечтатель убит будет в кредите» (Францев 1906: 356).

Ходаковский не ожидал, что еще до его прибытия в Петербург его доклад Голицыну будет опубликован как статья в «Вестнике Европы» (Доленга-Ходаковский 1919), и уж вовсе он не хотел публиковать свою критику Карамзина, поскольку рассчитывал на его поддержку. Потом в письмах долго извинялся перед Карамзиным, уверяя, что не имел в виду хулить его книгу. Карамзин смягчился, даже пожертвовал лично Ходаковскому 50 рублей («более не имею»). Это было важно, потому что Голицын обратился именно к нему за суждением о предложении Ходаковского. Карамзин, вопреки предсказаниям митрополита, отозвался благосклонно:

> «Имею честь повторить то, что сказал Вам устно о пользе, которую может принести использование г. Ходаковского. Не буду говорить о его домыслах и заключениях, поправляющих Нестора и меня скромного, я полагаю, что он принесет немало пользы любителям нашей истории, если обозрит на месте памятники, особенно городища, даст их верное описание...» (Францев 1967: CXVIII).

Голицын предложил Ходаковскому подробно изложить свой план. Ходаковский подал пространную рукопись под названием «Проэкт ученого путешествия по России», и Голицын передал его на рассмотрение научному комитету для оценки, а рукопись направил в журнал «Сын отечества», где она вскоре и появилась (Ходаковский 1820). Весной 1820 г. в комитете подробное рассмотрение выполнил математик академик П. Н. фон Фусс. Он отметил недостатки проекта и личности просителя: «План этот не является образцом порядка, точности мысли и систематичности в логике представления. Также правила правописания и чистоты слова в нем не соблюдаются». Затем отмечено, что теории автора не одобряются известными русскими учеными. «Несмотря на это, сей план указывает в его создателе ученого, соединяющего знание русских и польских историков с широкими знаниями географии славянских земель, славянских обычаев и обрядов». Фусс признал предложенное путешествие полезным для России и счел рациональным выдавать просителю по 2000 рублей серебром в течение 4 лет (Францев 1967: CXIX–CXX). Это превосходило все ожидания Ходаковского.

Но его ждало еще большее потрясение: рассмотрев отзывы, министерство ассигновало на путешествие по 3000 рублей серебром в год и одноразовую сумму в 1000 рублей на закупку оборудования и материалов. Ходаковский был на седьмом небе: «...настал в моей жизни праздничный год (Jubileus annus), и я, снабженный открытыми листами... отправился из С.-Петербурга в мое путешествие, 17 августа 1820 г.» (Ходаковский 1838: 5). Предлагали ему в помощники некоего Фишера, но Ходаковский отказался, «чтобы, — объяснил он, — как можно меньше похвалы досталось немцам» (Францев 1906: 351).

Быстро ширилась и его известность. «Вестник Европы» и «Сын отечества» — это были едва ли не самые популярные журналы России. В кругах русской интеллигенции Ходаковский нашел благодарную аудиторию. Пусть многие, особенно в светском обществе, видели в нем свихнувшегося чудака, наиболее образованные и просвещенные воспринимали его всерьез. В России он был первым, кто отправился «в народ». Что касается его чудаковатых манер и облика, то, видимо, чувствуя нехватку средств на должную экипировку и недостатки своего воспитания, а также сознавая корявость своей русской речи, он решил еще более усилить их и играть простака из народа. Его письма выдают более умного и образованного человека, чем тот полудурок, которого описывал Полевой.

Путешествие по России он начал с берегов Невы, обследовал и раскапывал сопки, жальники, заносил на карту городища. Родившийся ребенок заболел и умер в Старой Ладоге. Там же заболела жена Констанция. Вместе с больной супругой Ходаковский, продолжая свои исследования, добрался через Псков и Новгород до Твери, где его недолгое семейное счастье окончилось: больная жена, не вынесши тягот странствий, умерла. Оттуда проследовал в Москву, а из нее еще выезжал в сторону Можайска. Требовавшиеся от него ежемесячные отчеты он отказался посылать: в полевых условиях писать их было для него невыполнимо. Из его отчетов видно, в каких условиях проходили его изыскания. Так, на одно место с интересным названием Чернобожье насупротив Белых Богов не было провоза.

> «Во второе ж место прибыл я в навозном ящике на двух колесах, которой привели из скотного двора, и по уверению помещика, довольно крепким для тряской дороги, ибо весь тот день возили в нем навоз на его пашню. Не было в том селе ни одной телеги на 4-х колесах, даже и за вольную цену. Нечего было делать: обложивши соломою тот ящик и насилу поместившись

в оном с ногами, я потащился к Черному божеству» (Ходаковский 1822/1844: 8).

Весной 1821 г. он отправил из Москвы отчет, в котором писал:

> «Мои достижения не являются для начала слишком обольстительными. Заключаются они в маленькой посылке, которую тут и прилагаю, это стрелка из ладожской сопки, ножик из жальника на Волотове, печатка, вырезанная из сердолика, — она находилась на новгородском городище и принадлежала какому-то из князей, а также несколько монет». Остальные находки, глиняные черепки и кости из могил, хранятся в ящиках. «Не будучи уверен, что памятники этого рода будут приняты благосклонно, не осмеливаюсь их представить и готов оставить их для интересующихся в здешней управе» (Францев 1967: 323).

Предчувствия его не обманули. В Министерстве надеялись, что результатом затрат явятся обширные карты, планы и грамотные списки памятников, тома их описаний, а среди находок появятся какие-нибудь эффектные вещи княжеского обихода — оружие, драгоценности, изваяния с надписями. Черепки и кости, стрелки и ножички ценятся как массовый археологический материал сейчас, но их значение было совершенно непонятно тогдашним руководителям науки и образования. В этом смысле Ходаковский намного опередил свое время. Тем, кто так опережает, всегда приходится туго. Академик Фусс в новом отзыве от июля 1822 г. писал министру Голицыну:

> «...Если Вы спросите, какую выгоду получила отечественная история от проведенного пока путешествия Ходаковского, то я, к сожалению, должен сказать, что в его отчете я не нашел выяснения ни одного важного исторического пункта и что исследования и утверждения разных маловажных пунктов опираются на этимологии и ничем не подтвержденные сведения и согласно правил исторической критики не заслуживают веры». И дальше в том же духе. «Из того, что я представил, становится ясно, что (и почему) от продолжения этих путешествий я не ожидаю позитивных результатов, оправдывающих нужные на это затраты. И поэтому я бы посоветовал воздержаться от них» (Францев 1967: CXXXIV–CXXXVII).

Карамзин с ним согласился. В 1823 г. министерство решило прервать дотацию и обратилось к царю за утверждением этого решения. Высочайшее изволение было дано. Ходаковский долго не знал о нем и продолжал собирать материалы, ведя расспросы и влезая в долги.

Когда узнал, обозвал Министерство Просвещения «Министерством Затемнения» и обвинил во всем Карамзина. Министру Голицыну написал: «Я хотел одного иметь отца в особе Вашего Сиятельства и каковым-то роком подвергнулся отчиму Н. М. Карамзину, который ради своей Истории не желает моих успехов». А другу написал: «Шлёцеру мешал Ломоносов, а мне Карамзин» (Францев 1906: 363).

Между тем нужны были средства на проживание: он был опять женат. Вторично женился, кажется, на русской — на служанке историка Полевого. Из нужды Ходаковский отправился на заработки в Тверскую губернию, где нанялся к одному помещику управителем имения, как когда-то отец. Все эти годы он выносил огромные физические напряжения от постоянных скитаний, разъездов и непрерывного подвижнического труда, но держался, видимо, на энтузиазме. От расстройства пришел в упадок духа, заболел и в с. Петровском умер, не дожив до сорока лет. Умер 17 ноября 1825 г., за несколько недель до восстания декабристов.

6. Вклад Ходаковского. В книгах Формозова и Лебедева биография Ходаковского несколько «выпрямлена» — его жизнь лишена в них зависимости от польских меценатов и избавлена от искательного подлаживания к русским властям. Кроме того, заметно преувеличена его связь с декабристами и Пушкиным. Некоторая параллель тут действительно есть. Увязка эта строится на противопоставлении взглядов Ходаковского и декабристов «Истории» Карамзина. Декабристы Н. М. Муравьев и М. Ф. Орлов критиковали Карамзина за его невнимание к дорюрикову «республиканскому» периоду истории Руси, и вроде бы за то же его критиковал Ходаковский. Орлов, кроме того, возмущался тем, что Карамзин не занялся происхождением славян, а Ходаковский тут «поправил» Карамзина. Вот как это излагает Формозов (1961: 60–61):

> «...Ходаковский как ученый пошел дальше декабристов. Пушкин, знакомый с их критикой Карамзина, писал, что Орлов "пенял Карамзину, зачем в начале своего творения не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян, т. е. требовал от историка не истории, а чего-то другого" (следует ссылка на Пушкина, Полн. собр., т. 11, изд. 1949, с. 57). Тем самым Пушкин указывал на то, что критики Карамзина не объясняли, на каких источниках должно основываться исследование древнейшего славянства. Ходаковский же именно показал, где следует искать источники по древнейшей истории славян».

Странно. В ироническом отношении Пушкина к критике Карамзина декабристом Орловым я не смог уловить ни малейшего оттенка тоски по источникам, я увидел лишь то, что, по мнению Пушкина, Карамзин — историк, а Орлов это игнорировал и требовал от Карамзина, чтобы тот перестал быть историком. Что, следовательно, в представлении Пушкина этногенез славян — не дело историка, а «что-то другое». Пушкин здесь на стороне Карамзина. Как он относился к Ходаковскому? Вероятно, знал и ценил его работу по изысканию древностей и особенно народных сказаний и поверий (есть сведения, что после его смерти хлопотал о сохранности его архива), но вряд ли брал его сторону в споре с Карамзиным. Стихи его с упоминанием Ходаковского носят скорее юмористический характер:

Новый Ходаковский
Люблю от бабушки московской
Я толки слушать о родне,
О толстобрюхой старине.

Параллель взглядов Ходаковского с декабристскими очень нечеткая. Декабристов интересовали республиканские аспекты дорюрикова периода, Ходаковского же больше привлекали древнеславянское единство и равенство. Они критиковали Карамзина за игнорирование происхождения славян, Ходаковский — за ограничение письменными источниками. Из декабристов Ходаковский общался только с Ф. Н. Глинкой, с которым Пушкин тогда же, в начале 20-х, советовался, как вести себя на допросе у Милорадовича, и то вряд ли поводом для общения Ходаковского с Глинкой были вольнолюбивые взгляды Глинки, скорее, его интерес к древностям (впоследствии он даже археологические памятники обследовал). В 1830 г. Пушкин и Вяземский, гостя в Твери у Глинки, умоляли его уговорить вдову Ходаковского, жившую в Тверской губернии, затребовать бумаги ее мужа у Полевого, который задержал рукописи и не печатал. Шишков писал об этом Аксакову, называя архив Ходаковского «сокровищем» и «золотым рудником». Литераторы полагали, что Полевой задерживает рукописи умышленно, надеясь воспользоваться ими для своей «Истории русского народа» и присвоить чужие открытия. «Повидайся нарочно с Пушкиным и стороной заговори об этом, и ты увидишь, что он тебе скажет» (Формозов 1979: 70).

Ходаковский старался доказать, что все городища были святилищами и ожесточенно спорил с историком К. Ф. Калайдовичем (Формозов 2007а: 21–28), который считал их все укреплёнными поселениями. Полемическую статью Ходаковского через 13 лет после

его смерти опубликовал историк и издатель профессор М. П. Погодин, «исключив всё временное и бранное» и дав ей название «Историческая система Ходаковского» (Ходаковский 1838). Ныне ясно, что основная часть городищ — это укрепления и укрепленные поселения, так что правда за Калайдовичем, но часть городищ, например небольшие и круглые, в результате проверки раскопками оказалась действительно святилищами.

Седьмой же том «Русского исторического сборника» (1844) был целиком отведен под публикацию «Донесения о первых успехах путешествия по России Зорияна Долуги-Ходаковского», написанного в 1822 г. Жаль только, что первое донесение оказалось и последним, а сам Ходаковский его не увидел напечатанным — ему было бы тогда 60 лет. В томе представлена археологическая карта (в основном городищ) обследованной части России и приложенный к ней сравнительный словарь топонимики (наименования урочищ). В отдельных главках описаны сопки и жальники. Ходаковский отмечал, что это только шестая часть собранного им словаря. Он был противником чисто кабинетных спекуляций и энтузиастом полевых сборов и изысканий. Том завершается словами: «Я еще раз скажу, что удобнее всех исследований можно судить в обителях и комнатах; жаль только, что в пространстве и недрах земли нашей не то открывается» (Ходаковский 1844: 378). Лично исходить земли со славянскими древностями — это было не так уж трудно для человека, сходившего пешком в Сибирь и обратно...

Формозов обращает внимание на то, что «археологические памятники ранних славян первыми принялись искать именно поляки». Он поясняет, что это закономерно: потеряв самостоятельное государство, элита польской нации находила утешение в углублении национальных корней в древность, в общеславянское могущество. А русская элита, вдохновленная соображениями об объединительной миссии России, готова была поддерживать их в этом.

«Не забудем еще одно обстоятельство, — добавлял Формозов (2007а: 30–31). — Движение Ренессанса затронуло Польшу в большей мере, чем Московскую Русь. В частности, коллекции древностей появились там уже в XVI веке. А книги с рисунками археологических находок — в XVII. Поэтому за поисками Ходаковского стояла трехсотлетняя традиция, какой в России тогда еще не было».

В архиве Ходаковского осталось свыше тысячи украинских народных песен (они опубликованы посмертно, и их впоследствии использовал Гоголь), словарь топонимики в четырех томах, много

исторических заметок. Погодин в своей «Древней русской истории до монголького ига» привел две карты городищ по Ходаковскому. Формозов (1961: 64–66) приводит примеры раскопок Ходаковского и показывает, что он не только подробно описывал структуру сопок (чернозем в исподе, венец из камней на поверхности, песок и щебень с берега реки в насыпи, покрытие холма толстым дерном, горшочек с севера могилы), учитывал рядовые находки (11 железных ножичков из жальников), бережно сохранял такие находки (даже кости из могил, что было совершенно необычно для того времени). Формозов (1861: 62–63) же собрал сведения о современниках и корреспондентах Ходаковского, которые также (порою даже до него) интересовались городищами и дополняли его списки (журналист М. Н. Макаров, А. Г. Глаголев, А. Бояркин, В. Н. Каразин, псковский митрополит Евгений, в миру Болховитинов). Это показывает общественный резонанс его инициативы.

Дело, начатое Ходаковским, не угасло. С 1818 и по 1830 г. в Петербурге выходили «Отечественные Записки», и их издатель коллекционер и любитель отечественных древностей П. П. Свиньин совершал ежегодно «археологические путешествия по России», объезжая одну губернию за другой и публикуя дневники своих путешествий в своем журнале, а находки помещая в свой личный Русский Музеум (Формозов 1967; 1979: 80–87).

О Ходаковском пишут не только как об одном из первых русско-польских этнографов и фольклористов (Ровнякова 1963), но и как о пионере украинской этнографии (Доманицький 1905), основателе белорусской этнографии и археологии (Каханоўски 1984; Аксамітаў і Малыш 1991), одном из видных российско-польских славяноведов (Францев 1906; Ровнякова 1979) и зачинателей дворянского революционного романтизма в Польше (Poppe 1955; Maślanka 1965).

Однако наиболее заметное место он занял в истории российской археологии (Формозов 1961, 1967, и др.). По Лебедеву, Ходаковский завершает период «ученых путешествий» в российской археологии, начавшийся академическими путешествиями в начале XVIII века. По Формозову, с Ходаковского начинается внимание к отечественным, русским древностям. Формозов и Бломберг (Blombergowa 1993: 35–36) считают, что Вадим Пассек, выступивший в 1837 г. с программой раскопок курганов, и Алексей Уваров, выполнивший позже эту программу, были продолжателями дела Ходаковского. Даже его идея городищ-святилищ, долго казавшаяся сумасбродной и фантастической, нашла своих продолжателей в современной российской

археологии, сделавших подтверждение этой гипотезы Ходаковского применительно к части городищ делом своей жизни (Русанова и Тимощук 1993). Спицын, резко критиковавший даже Уварова, в самом конце XIX века (1999: 149) восклицал о прозрениях Ходаковского: «это попросту гениально».

Ходят ли сейчас гениальные самоучки Ходаковские по необъятным просторам России, непризнанные и высмеиваемые высоколобыми учеными? Возможно. Но, в отличие от начала XIX века, они не могут рассчитывать на признание в будущем. То была эпоха самоучек и пионеров. Она прошла. Ныне дилетанты-любители древностей тоже могут сделать много, но лишь как помощники археологов, под их неусыпным наблюдением. Для нас в фигуре Ходаковского ценно не то, что он был самоучкой, а то, что был новатором. Это ценно во все времена, и во все времена отчаянно трудно.

Основатели

Ромул и Рем взошли на гору,
Холм перед ними был дик и нем.

Н. Гумилев. Основатели.

Вопрос об отцах-основателях науки всегда очень труден, потому что не очень ясно, с какого времени числить возникновение данной науки в той или иной стране. В России на это звание могут претендовать археологи-аристократы, представители высшей знати, большей частью занимавшие крупные посты в бюрократическом аппарате. Только они обладали достаточными полномочиями, позволявшими в стране самодержавия и крепостничества проявить инициативу и организовать в большом масштабе исследования материальных древностей.

В первой трети XIX века это президент Академии художеств и государственный секретарь Алексей Иванович Оленин — он ввел в России принципы Винкельмана и осуществлял в широком масштабе исследования артефактов; в середине XIX века это министр внутренних дел, граф и генерал Лев Алексеевич Перовский — по его инициативе была создана комиссия для исследования древностей, которой он и руководил; в третьей четверти XIX века это попечитель Московского учебного округа и председатель Общества истории и древностей при Московском университете граф Сергей Григорьевич Строганов, также руководивший комиссией, превратившейся вскоре в Императорскую Археологическую комиссию, — головной археологический орган в стране; наконец, к тому же отрезку времени относится деятельность основателя Московского археологического общества графа Алексея Сергеевича Уварова — он явился организатором всероссийских археологических съездов.

Кроме того, неясно, насколько корректно считать основателями нескольких человек. И не всегда они, делая в сущности одно дело, ценили друг друга.

Сановный археолог

А. Н. Оленин

Шел высокий человек маленького роста...
Даниил Хармс

1. Двоящийся образ. Россия первой половины XIX века изобиловала колоритными и многогранными личностями. Поэт, губернатор и министр Державин, адмирал и лидер литераторов Шишков, министр и литератор Уваров, путешественник и литератор, президент Академии художеств и директор Императорской библиотеки граф Александр Сергеевич Строганов... Но по многогранности Алексей Николаевич Оленин превосходил их всех. Его величество император Александр I называл его «тысячеискусником» (*Tausendkünstler)*. Кем только ни был Оленин — управляющим Монетного департамента Госбанка, директором Публичной библиотеки (ныне Национальная), президентом Академии художеств, сенатором и обер-прокурором III департамента Сената, статс-секретарем Государственного совета, членом Академии наук и разных комиссий, причем многие из этих постов он занимал одновременно. И всё это время он был археологом, палеографом, эпиграфистом, историком.

Знаменитый Александр Гумбольдт, посетив Петербург, написал, что Оленин — «единственый универсальный ученый в России» (Голубева 1988: 74). Историки культуры отмечают, что почти полвека неформальный «оленинский кружок», сложившийся из завсегдатаев его дома, был одним из центров литературной жизни Петербурга, собирая видных литераторов — от Державина, Крылова и Жуковского до Грибоедова и Пушкина, а также очагом изобразительных искусств и театральной жизни. Оленин служил Екатерине II и трем последующим императорам: Павлу, Александру I и Николаю I. Он был вельможей, владел поместьями, в которых было более 2 тысяч крепостных мужского пола. Современные историографы не сомневаются, что «в начале

А. Н. Оленин

XIX столетия А. Н. Оленин действительно был крупным государственным деятелем, подвижником в области литературы, искусства, науки, человеком высочайшей культуры, ума, нравственности» (Агафонова 1993: 60). Его биография, выпущенная в советское время (Тимофеев 1983), описывает его жизнь и дом-музей в Приютине с ощутимым любованием и умилением. Более полная биография, вышедшая недавно (Файбисович 2006), еще более апологетична.

Этому величию несколько противоречила внешность сановного археолога — он был очень маленького роста. Язвительный Вигель (1892, 4: 144) иронизировал: «чрезмерно сокращенная особа». Жихареву (1955: 407) он запомнился как «маленький и очень проворный человечек». «Лилипут», — обзывает его Корф. Каменская (1894: 336–337) с юмором описывает его появление в обществе: в генеральском мундире, сапогах с кистями и шпорами, на маленькой голове шляпа с громадным султаном, а на боку палаш больше самого хозяина. «Тогда он был уморительно смешон, — заключает она, — и гораздо более походил на детскую игрушку *casse-noisete*». Но это всего лишь добродушное подкалывание, не отменяющее величия дел и души.

С другой стороны, В. А. Жуковский характеризовал дом Оленина как «место собрания авторов, которых он хочет быть диктатором» (Голубева 1988: 65). М. А. Корф, сменивший Оленина на посту директора Публичной библиотеки, писал о нем: «мелкий и пустой человек», «любил собирать у себя литераторов более из тщеславия, чем по вкусу к литературным занятиям», «отчаянная ничтожность». «...Он был человек в высшей степени отрицательный, с какими-то опрокинутыми понятиями и суждениями о вещах, без энергии, без рассудительности, тем более без ума». Корф пояснял свою нелестную характеристику: во введенных им каталогах Оленин «забывал

безделицу — означить место, где стоят внесенные в каталог книги» (Корф 1899). Ф. Ф. Вигель (1899, 2: 355) ехидно отмечал, что Оленин был «искателен в сильных при дворе и чрезвычайно уступчив в сношениях с ними». Один из декабристов, Николай Тургенев, в своем дневнике называл Оленина «тарабарщик», «шут» и записывал, что «в маленьком теле маленькая душа» (Голубева 1997: 118, 154–155). Ходил слух, что, когда Фонвизин писал комедию «Недоросль», он списывал своего Митрофанушку с юного Оленина, а Пушкин (и уж это не слух), сочиняя «Евгения Онегина», честил Оленина в черновиках 8-й главы почище того: «о двух ногах нулек горбатый», «пролаз, нулек на ножках» (Голубева 1997: 126).

Если иметь в виду причастность Оленина к наукам, то особенно бросалась в глаза его активность в археологии. Современники сравнивали его с «отцом археологии» Винкельманом, называя «русским Винкельманом». Основатель Московского археологического общества граф А. С. Уваров выразился весьма категорично: «Оленин был одним из основателей русской археологии» (Голубева 1988: 86). Лебедев (1992: 68–80) считает деятельность Оленина столь важной для археологии, что называет период 1825–1846 гг. в российской археологии «олениским». Формозов, отведя Оленину менее видное, хотя и заметное место (1961: 49–50; 1986: 44–45), оспорил лебедевское решение, считая его неудачным: археологическая деятельность Оленина сказывалась только в Петербурге, и олицетворял он только одну ветвь формирования славяно-русской археологии (1994: 241).

Чтобы разобраться в этом споре, нужно рассмотреть всю карьеру Оленина (Стояновский 1881; Тимофеев 1983; Starr 1986; Голубева 1888; Созинова 1990; Тункина 1995; особенно полно Файбисович 2006) и сравнить его вклад в археологию со вкладом его виднейших современников. Он на 10 лет старше Ходаковского, старше и Дюбрюкса со Стемпковским, но «олениский период» в археологии Лебедев начинает с 1825 г., когда Ходаковский умер. Впрочем, и археологическая деятельность Оленина началась раньше, чем у них всех.

2. Вверх по карьерной лестнице. Настоящая фамилия Оленина — Аленин. Олениным сделал себя сам Алексей Николаевич в расцвете своей карьеры, произведя фамилию от Оленя. А первые полжизни он подписывался Алениным. Алениы — стариный дворянский род, числящий в своих предках Ермака, известного под этим прозвищем, тогда как по рождению он был Василием Тимофеевичем Алениным. Значительное время смоленская ветвь этого рода провела

под польской властью, и род имеет польский герб Равич или Рава (черный медведь с розой в лапе).

Родился Алексей Аленин в 1764 г. в Москве, но большую часть детства провел в Салауре — родовом имении отца, в Рязанской губернии. Отец Алексея Николай Яковлевич служил в лейб-гвардии конном полку корнетом и женился на княжне Анне Семеновне Волконской. Почему девица из высшей знати согласилась на брак со сравнительно худородным дворянином, а дворянин тотчас уехал из дома в полк (не наоборот, как бывает при женитьбе офицера), объясняет слух, переданный Корфом: новорожденный, то есть Алексей, был на деле внебрачным сыном Матвея Федоровича Кашталинского, сказочно богатого (пока не проигрался в карты) приятеля Потемкина. В. М. Файбисович (2006: 18–20) собрал изрядное количество фактов, подтверждающих этот слух (Кашталинский был очень маленького роста — как и Алексей, Николай Аленин был чрезвычайно холоден к сыну, а Алексей — безразличен к генеалогии Олениных, в биографии Алексея Николаевича просматривается покровительство Кашталинского, и т. п.).

Дома мальчик получал хорошее и весьма широкое образование у гувернера-француза, но отец (официальный) видел сына офицером, а властная мать мечтала о карьере при дворе. Она и отвезла десятилетнего сына в Петербург, но в пажеский корпус мальчик был определен не по протекции своей крестной матери Е. Р. Дашковой, родственницы его матери и приятельницы императрицы (поскольку Дашкова была в это время в опале), а скорее хлопотами Кашталинского, обер-церемониймейстера.

В пажеском корпусе мальчики из знатных семей получали образование, приличное светскому человеку и придворному, а также изучали военные и юридические науки. Во время учебы там Алексей составил каталог своей личной библиотеки, сохранившийся в архиве и опубликованный. В библиотеке 12-летнего мальчика 30 французских книг и 19 русских. Из них 17 относятся к словесности, 7 — это грамматики и словари, 6 книг по военному делу, 6 по истории и всего по одной-две книги из естественных и точных наук, философии с религией и географии. Религии мало, а Вольтер, д'Аламбер и Бюффон есть. В екатерининское время истовая набожность считалась подходящей для простонародья, а аристократия читала Вольтера (Мартынов 1977). Судя по библиотеке мальчика это никак не Митрофанушка, но Файбисович (2006: 29–30) сомневается, что Алексей составил каталог своей библиотеки — скорее, это библиотека отца.

В 1780 г. по повелению императрицы 17-летний Алексей Аленин был отправлен в Германию для совершенствования. Там он учился в Дрездене в артиллерийской школе. Школа была захудалая, но Дрезден был культурной столицей Европы, а российским посланником в Дрездене был князь А. М. Белосельский-Белозерский, чрезвычайно образованный человек, в салоне которого юноша мог приобщиться к искусствам и литературе.

За четверть века до него в Дрездене жил Винкельман, любуясь там сокровищами античного искусства, и его вышедшая еще в 1764 г. «История искусств древности» произвела на Аленина огромное впечатление, как и на всё образованное общество. Молодой Гёте увлекался Винкельманом и написал хвалебные статьи о нем. Вот та атмосфера, в которой Аленин оказался в Германии. Сам он в Дрездене, пользуясь Королевской библиотекой, составил словарь «старинных военных речений» с подробными комментариями. Разумеется, там он освоил немецкий язык, так что теперь он свободно говорил по-французски, по-немецки, также он знал итальянский язык, немного испанский, а из древних латынь и церковнославянский. Позже выучил греческий, еврейский и арабский. Легенда о Митрофанушке явно сочинена недругами.

В Россию возвратился в 1785 г., был назначен в артиллерийский полк и сдружился с Капнистом и Львовым, литераторами и членами Академии наук. Представив в Российскую академию свой словарь, он по предложению президента Академии княгини Дашковой был избран членом Академии наук в 22-летнем возрасте и почти одновременно с производством в капитаны.

Вскоре после этого он влюбился. Во время жениховства он командиром гусарского полка участвовал в войне против Швеции (1789–1790), а затем во главе гусаров в составе драгунского полка участвовал в войне против Польши (1790). Его возлюбленная, миловидная девушка, была дочерью певчего из придворной капеллы, который стал потом руководителем капеллы. Родом он был из мелкопоместных украинских дворян и разбогател благодаря оборотистости своей жены. Эта безграмотная женщина владела земельными участками и домами в Петербурге, Москве, Твери и других городах. Мать Аленина, урожденная Волконская, пять лет отказывалась благословить такой неравный брак, мечтая породниться с Долгорукими, но в 1791 г. удалось уговорить ее, и 27-летний Аленин женился на Елизавете Марковне Полторацкой, с которой и прожил в любви всю жизнь. Полторацким принадлежали дома и заводы между Фонтанкой

и Сенной площадью. Трехэтажный дом в этом месте Аленин получил в приданое. Это был их первый семейный дом, потом они поселились на Мойке и, наконец, на Дворцовой набережной.

В 1795 г. Аленин в возрасте 31 года вышел в отставку полковником (как и отец в свое время), поступил на службу в Госбанк и на деньги, полученные также в приданое, начал строить большую дачу в 20 верстах от Петербурга, в местности, которой они дали название Приютино. К началу нового века дача была в основном построена. Этот двухэтажный барский дом с гостевым флигелем, привольным садом и многочисленными службами стал на всю жизнь летним гнездом четы Алениных и их детей и гостеприимным очагом для многочисленных гостей. Аленины очень любили, чтобы в доме было всегда полно интересных гостей, и, учитывая место хозяина во властных структурах и культуре столицы, их хлебосольный очаг стал притягательным центром для людей литературы и искусства, политики и науки.

Павел I назначил Аленина управляющим Монетным департаментом и обер-прокурором в III департамент Сената. Аленин перестроил и переоборудовал Монетный двор и преподнес Павлу на серебряном блюде груду новочеканных монет. Павел тут же надел на шею Аленина Большой Мальтийский командорский крест. Потом к ним постепенно прибавлялись высшие ордена империи.

Александр I сразу же по воцарении, в 1801 г., сделал Аленина своим статс-секретарем. На службе императору Аленин придерживался консервативных устоев, был противником замышлявшихся реформ, оппонентом Сперанскому и Кочубею, но Аракчеева не любил и всячески ему противодействовал.

В 1808 г. 44-летний Аленин был назначен помощником директора императорской библиотеки, графа А. С. Строганова, а в 1811 г. он был утвержден директором. Какие-то мистические связи протянулись между этими двумя родами. В свое время дед Ермака бежал от царского гнева в Сибирь к Строгановым, а теперь Алексей Аленин стал помощником Строганова. Помощником своим Аленин взял своего приятеля С. С. Уварова, и тот исполнял эту должность много лет — вплоть до своего назначения министром народного просвещения.

Императорская библиотека была создана на базе трофейной библиотеки Польской республики, и для нее было построено специальное здание на Невском проспекте. Предшествующие управители библиотеки, французы граф Шуазель-Гуффье и шевалье д'Огар, привели библиотеку в состояние развала и разрухи, многие книги

Публичная библиотека в Санкт-Петербурге

пропали. Аленин перестроил здание, пробив новые окна для света и ликвидации сырости, расставил в залах шкафы удобнее (с просторным подходом к ним) и увеличил их количество, украсил библиотеку статуями и бюстами, устроил читальный зал для посетителей и превратил библиотеку в Публичную. Кроме того, он разработал специальную систему библиографической классификации для каталога (вышла отдельной книгой в 1809 г.). Но каталог предназначался только для инвентаризации, а не для поиска книг. Аленин также выхлопотал крупные ассигнования на покупку новых книг и постановление, чтобы при любом издании в России в императорскую библиотеку поступал безвозмездно обязательный экземпляр. На службу в библиотеку он принял известных литераторов: Крылова, Гнедича, Востокова.

Собственно, он является истинным основателем Публичной библиотеки в Петербурге, он сделал для нее чрезвычайно много. Но в таком новом деле не могло обойтись без упущений — так, вместо каталога с шифрами-адресами книг был изготовлен только инвентарь. Всё это приходилось переделывать одному из следующих директоров, М. А. Корфу, — естественно его раздражение. Да и зависть к успехам Аленина, вероятно, сказывалась.

Открытие библиотеки было назначено на 1812 г., но война заставила повременить с ним. Отправляя старших сыновей Николая и Петра на войну, Аленин напутствовал их письмом, содержавшим родительские наставления, дающие представление об убеждениях самого отца. Он просил сыновей, чтобы их деяния были «честны, человеколюбивы и не зазорны». Далее он наставлял сыновей:

> «Будьте набожны без ханжества, добры без излишней нежности, тверды без упрямства; помогайте ближнему всеми силами вашими, не предаваясь эгоизму, который только заглушает совесть, а не успокаивает ее. Будьте храбры, а не наянливы, никуда не напрашивайтесь, но никогда не отказывайтесь, если вас куда посылать будут, хотя бы вы видели перед собою неизбежную смерть, ибо, как говорят простолюдины, "двух смертей не бывает, а одной не миновать". Я и сам так служил и служить еще буду, если нужда того востребует. Будьте учтивы, но отнюдь не подлы, удаляйтесь от обществ, могущих вас завлечь в игру, в пьянство и другие скаредные распутства, неприличные рассудительному и благовоспитанному человеку... Будьте бережливы, но не скаредны и в чужой земле берегите, как говорят, деньгу на черный день».

В конце письма следовала приписка, очень характерная во все времена для России:

> «P. S. Если вы будете к нам писать по возможности, то ни о каких политических делах не уведомляйте, нам только нужно знать о здоровье вашем, о выборе знакомства, о прилежании вашем к ученью, т. е. к наукам и художествам, буде вы на то можете употребить время от службы остающееся» (Тимофеев 1983: 80–81).

В Бородинском сражении старший сын Николай был убит ядром, которое вырвало у него сердце, а второй сын Петр получил ранение в шею и руку. Убитый горем Аленин возвел памятник сыну в своем саду. Впоследствии Лев Толстой использовал этот случай в «Войне и мире» для образа князя Болконского — тот тоже поставил памятник сыну в своем саду. Как и Аленин, Лев Толстой тоже происходил от Волконских по материнской линии и приходился погибшему Петру Аленину троюродным братом.

В ожидании Наполеона Аленин упаковал и вывез из Петербурга на бриге 150 тысяч книг из императорской библиотеки на противоположный берег Ладожского озера; потом их пришлось возвращать и снова расставлять.

Здание Академии художеств в Петербурге

В 1812 г. Аленин получил повышение: он стал членом и секретарем Государственного Совета вместо разжалованного и сосланного М. М. Сперанского. Именно в это время он стал подписываться через «О» (Оленин) и придумал себе монограмму, в которой «О» было основой, а на него снизу наезжало «л», так что нижняя часть «О» образовывала перекладину в «А», снизу же торчали две ножки этой буквы. Следом за ним переменила фамилию и вся родня.

Кстати, эта монограмма послужила поводом для пушкинского злого эпитета «нулек на ножках» (хотя первым эту ехидную остроту придумал Фаддей Булгарин).

В 1817 г. Оленин получил еще один пост — президента Академии Художеств. В Академии он застал еще худшие развал и разруху, чем в библиотеке. Студенты обносились и голодали, старшие классы избивали младших учеников, здание обветшало и грозило обрушениями, в кассе было всего 17 рублей 26 копеек, а долг составлял 300 тысяч. В то же время управители нажились и разбогатели. Оленин добился средств на ремонт и благоустройство, направил на продажу копии, сделанные учениками, накупил хороших красок и других материалов, организовал досуг воспитанников. В залах установил закупленные за границей копии с античных скульптур, чтобы ученики копировали и срисовывали шедевры античного искусства — в полном соответствии с рецептами Винкельмана. Академия при нем расцвела.

«При всем том, — вспоминает очень почитавший его Солнцев (1876: 25), — справедливость требует упомянуть, что Алексей Николаевич не пользовался расположением своих подчиненных, почему — решительно недоумеваю». Возможно, сказывался контраст между невзрачной внешностью Оленина и его активностью, всеведением, вездесущностью и неустанным возвышением.

3. Либерал и слуга самодержавия. Оленин также провел в жизнь постановление министерства о запрете обучать в Академии крепостных — те, которые уже обучаются, должны быть либо отпущены на свободу своим помещиком, либо изгнаны из Академии.

Но никто из помещиков не согласился отпустить своих крепостных. Аракчеев, крепостной которого был также отчислен, возмущался в письме к Оленину: «Почему господам не иметь права отдавать и выучить и сделать настоящим человеком из своих людей, но приневолить меня никто не может сделать его вольным». В ответном письме Оленин объяснял Аракчееву, почему нельзя крепостных обучать совместно со свободными:

> «...в академии воспитываются художники, в которых, по существу их званий, должно непременно, для истинной пользы и возвышения искусства, возвышать и мысли, и чувствования, образовать их ум и сердце, говорить им непрестанно о свободе мыслей, о свободе в выборе предметов учения, о свободных художествах, ибо они так испокон века называются всеми просвещенными народами. Таким образом крепостной человек, несколько лет сряду проучившийся, по наставлениям учителей своих и товарищей, к слову "свобода" и к понятиям о личной свободе, о необходимости оной для свободных художеств, о правах художества, об открытой ему дороге к получению посредством успеха в оных чинов и личного даже дворянства, возвращается наконец в дом к своему помещику в крепостное состояние, и тут не токмо в совершенном отчаянии и в жестокой самой к нему ненависти, но с ненавидением даже и того дарования, посредством коего он мыслил выйти из несносного для него крепостного состояния, тут, по общей привычке русского народа, он начинает с горя пить...» (цит. по: Тимофеев 1983: 121).

Здесь видно, что вольтерьянские мысли о благе свободы вполне сочетались в Оленине с убеждениями о незыблемости крепостного права. Свобода, но не во всём и не для всех. При всем том он не без оснований слыл либералом. В 1819 г. предложенный им устав восстанавливаемого Петербургского университета был отвергнут как

несовместимый «с духом правительства и министерства духовных дел, манифеста о соединении министерств» (имелось в виду слияние министерства духовных дел и народного просвещения). Оленин был обвинен в том, что стремится «противопоставить книгам Бытия историю человеческого рода», деля кафедру естественной истории на кафедры зоологии, минералогии и ботаники, чтобы «приблизить университет к анархии» (Тимофеев 1983: 56–57).

Еще более он проштрафился в эпизоде со своим вице-президентом. В 1822 г. Оленин был вынужден предложить Совету Академии художеств избрать в почетные академики царского фаворита Аракчеева, которого он очень не любил, графов Кочубея и Гурьева — всё особ, приближенных к государю. На это предложение вице-президент А. Ф. Лабзин, человек грубый и прямой, вообще противник олениновских преобразований, высказался так: если совет сочтет их достойными этих званий только из-за их близости к государю, то он, в свою очередь, предлагает избрать и царского кучера Илью, потому что он к царю ближе всех и даже может сидеть к царю спиной. Оленин пошутил, что сообщит выбираемым о том, какого товарищества удостоил их Лабзин. Царь же распорядился за такую дерзость уволить Лабзина и сослать в деревню, а Оленину за то, что отделался шуткой, — «строжайший выговор».

Восстание декабристов в 1825 г. Оленин встретил с негодованием и страхом. «О безумие! О злодейство, — писал Оленин дочери, — потому что если б этим, просто сказать, разбойникам удалось сделать переворот, то они бы погрузили Россию в потоки крови на пятьдесят лет» (Тимофеев 1983: 148). Оленин был верным слугой царю, а кровавый характер радикальной революции он понимал на примере Франции, но была тут, вероятно, и оглядка на возможную цензуру (вспомним его приписку в наставлении сыновьям). Всё время восстания Оленин находился в архиве Государственного совета, и именно у него хранились текст отречения Константина в пользу Николая и документы, подготовленные для присяги.

Но вот участвовать в работе следственного комитета и Верховного уголовного суда он отказался. Он мотивировал это тем, что среди арестованных находится его двоюродный брат С. Г. Волконский, но причины были глубже: многие из декабристов (братья С. и М. Муравьевы-Апостолы, М. П. Бестужев-Рюмин, С. П. Трубецкой, Е. П. Оболенский, Н. И. Тургенев, Ф. П. Толстой, И. Г. Бурцов и др.) были друзьями дома, а за младшего сына, Алексея, Оленин очень беспокоился, и вполне обоснованно: Алексей (чего отец не

знал) состоял в «Союзе Благоденствия», правда, рано вышел из него. На допросах о его участии говорили многие декабристы (они вообще легко выдавали друг друга). Дочь Аннет уже после восстания и ссылки записывала в дневнике: «Видеть народ свободным — есть желание сильнейшее души моей». И поясняла: свобода — в запрете продажи людей, в освобождении от крепостного права за выкуп, а не в конституции, которую хотели дать декабристы. Очевидно, в этом отражались разговоры в семье...(Голубева 1997: 124).

Царь снизошел к старому слуге: сведения об участии сына, Алексея Оленина, в тайном обществе велено было оставить без внимания, а сам Оленин был назначен государственным секретарем, Аракчеев же утратил бразды правления. Но сыну Оленина пришлось подать в отставку со службы в Гвардейском генеральном штабе, и он оставался под надзором. Отец же в 1828 г. вскоре утратил пост государственного секретаря и был назначен членом Государственного совета и Главного управления цензуры. В 1836 г. он распорядился в библиотеке «площадных повестей, гадательных книг, романов, журналов и других тому подобных бесполезных и большей частью вредных для юношества сочинений, без особого разрешения начальства сей библиотеки никому не выдавать». Традиция спецхранов была заложена в России уже тогда, и тоже Олениным.

В остальном же его деятельность оставалась подвижнической. В 1831 г. во время эпидемии холеры и холерных бунтов библиотека была закрыта на 5 месяцев. Чиновников и докторов темные люди хватали и убивали, подозревая, что это они разводят холеру. На Сенной площади казаки усмиряли беспорядки. По воспоминаниям Солнцева (1876: 54, прим.), на Гороховой толпа, увидев карету, везшую холерных больных в госпиталь, набросилась, вытащила из нее больных, отпрягла лошадей, а саму карету опрокинула в канаву с криками: «Холеру потопили!» В. Ф. Одоевский писал тогда князю Г. П. Волконскому:

> «Из всех живых я видел почти одного Оленина — в огромной шинели, с портвейном в руках, с сигарой в зубах, с холерой на языке и между тем со спокойствием в сердце, ибо он принадлежал к числу немногих, которые во время болезни сохранили присутствие духа и хладнокровие; он прекрасно действовал и со всеусердием помогал больным; я его вдвое больше полюбил с сего времени» (Голубева 1988: 60).

В 1838 г. умерла любимая супруга Алексея Николаевича Елизавета Марковна. Приютино, приносившее только убытки и напоминавшее

об утрате, продали в 1841 г. В 1840 г. Оленину, вопреки своей воле, пришлось ликвидировать в Академии художеств свое создание — учебные классы: по велению царя экономии ради отныне в Академии должны были учить только ремеслу художника и ничему больше. В 1843 г. 79-летний Оленин, сильно одряхлевший и больной, подал в отставку, которую царь не принял; в апреле того же года престарелый сановник умер.

Умер весь в сокрушительных долгах, потому что ни дохода от двух с половиной тысяч крепостных, ни огромных жалований не могло хватить на расточительный светский образ жизни, считавшийся необходимым для российского вельможи и его семьи.

4. «Олениниский кружок». В XIX веке, когда научные учреждения, общества и журналы были еще немногочисленны и слабы, большую роль в развитии культуры играли неформальные кружки интеллигенции по интересам и литературные салоны. Таким кружком было в последней трети XVIII века содружество, сложившееся вокруг архитектора и поэта Н. А. Львова. В этот кружок, увлекавшийся античной культурой, входили поэты Г. Р. Державин, В. В.Капнист, И. И. Хемницер, М. Н. Муравьев. Собирались они обычно в доме Державина, который с ростом своей поэтической славы и административного положения (от губернатора к министру) всё больше выдвигался на первое место в этом содружестве. В этот круг друзей в 90-е гг. втянулся и Оленин, который был в нем самым молодым (на 20 лет моложе Державина).

Оленин пришелся ко двору своими знаниями античных древностей и своими рисовальными способностями. Вместе со Львовым они изготовили в 1795 г. иллюстрации к изданиям стихов Державина — виньетки и аллегории. Державин высоко оценил искусство «изографа» Оленина, обращаясь к нему в стихах с новым заказом:

> Оленин милый! Вспомяни
> Твое мне слово — и черкни.
> Представь мне... и т. д.

С ростом административной и прочей влиятельности Оленина, с обустройством его дома на Фонтанке и просторной дачи в Приютине вокруг него и в гостеприимном салоне Елизаветы Марковны стал складываться свой круг родных, друзей и единомышленников. Сначала сюда вошли драматурги А. А. Шаховской, В. А. Озеров и С. Н. Марин, затем, в начале XIX века, драматург и баснописец И. А. Крылов, а вскоре поэт и переводчик Н. И. Гнедич, поэт К. Н. Батюшков и др. Из художников сюда входили Орест Кипренский, позже

братья А. и К. Брюлловы и др. Кружок занимался творчеством в стиле классицизма, а его влиятельность в обществе и известность распространялась не только через литературу и спектакли, но и через салон Олениных, где бывали княгиня Голицына, князья Волконские, графы Чернышевы, растущий сановник С. С. Уваров, которому, по его признанию, Оленин был «с ранней молодости в числе коротких приятелей» (Тимофеев 1983: 106).

Крылов и Гнедич, не имевшие собственной семьи, подолгу жили у Олениных, являясь как бы их домочадцами. Оленин выпросил у Александра I десять тысяч рублей на роскошное издание басен Крылова, а к юбилею баснописца выхлопотал ему орден. Гнедичу он помогал представлять древнегреческие реалии для перевода «Илиады», и каждая песнь ее оглашалась прежде всего в доме Олениных.

После Отечественной войны в число близких знакомых вошел переехавший из Москвы поэт и царедворец В. А. Жуковский (к его стихам Оленин также рисовал виньетки). Жуковский принадлежал к числу московских поэтов, объединившихся вокруг Карамзина и начавших писать романтические баллады с модной чувствительностью. Шаховской высмеивал эту новомодную слезливость как пришедшую с запада. Литераторы разделились: ревнители старого русского слова объединились в общество, названное «Беседой» (отставной адмирал А. С. Шишков, Державин, Шаховской, Крылов, поначалу Оленин, но потом Оленин рассорился с Шаховским), а сторонники романтизма создали по инициативе С. С. Уварова свое объединение «Новый Арзамас» (Батюшков, Вяземский, Вигель, позже Пушкин). Литературная борьба не мешала противникам сходиться в доме Олениных. Вместе с ними Приютино посещали Грибоедов, Мицкевич.

Пушкин бывал у Олениных вместе с другими «арзамасцами» после окончания лицея (1817–1820) и затем после возвращения из ссылки в 1827 г. В 1828 г. он начал ухаживать за дочерью Оленина Анной, которая была столь же маленького роста, как и отец. Многие любовные стихи Пушкина посвящены ей (Прийма 1958; Цявловская 1958). На стихи Вяземского, посвященные глазам другой красавицы, Пушкин возражал:

Она мила — скажу меж нами —
Придворных рыцарей гроза,
И можно с южными звездами
Сравнить, особенно стихами,
Ее черкесские глаза.
Она владеет ими смело,

Они горят огня живей;
Но, сам признайся, то ли дело
Глаза Олениной моей!
Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты!..

Анна Алексеевна Оленина,
дочь А. Н. Оленина

Летом 1828 г. подошло к концу начатое в 1826 г. рассмотрение дела о запрещенных цензурой стихах Пушкина, которые были всё-таки пущены по рукам. Объяснения самого Пушкина и решение Сената обязать его подпиской впредь не обходить цензуры поступили в департамент гражданских и духовных дел Государственного Совета. В департаменте под еще более обтекаемым решением подписались Оленин и еще двое членов. Но в общем собрании членов Совета к этому добавили секретный негласный надзор за поэтом. Вряд ли об этом Оленин сообщал Пушкину: он был слишком осторожен. Но о требовании подписки Пушкин, конечно, знал, как представлял себе и участие Оленина в заседании Государственного Совета и репрессивном решении. В начале августа к этому добавилось обнаружение богохульной поэмы «Гавриилиада». Пушкин был допрошен и отрицал свое авторство. С него взяли подписку о полном подчинении цензуре. Он был взбешен.

Тут же добавилось и неудачное сватовство к Анне Олениной. Она Пушкина никогда не любила, маменька была тоже всегда против этого брака, а вдобавок Пушкин злословил в свете (Олениным передали, и это записано в дневнике Анны Олениной): «Мне бы только с родными сладить, а с девчонкой я уж слажу сам» (Тимофеев 1983: 207). Предполагалась помолвка, но сорвалась. По воспоминаниям одного из учеников Брюллова (видимо, по слухам), Пушкин прибыл на нее уже после обеда, тотчас Оленин имел с женихом объяснение один на один в кабинете, и Пушкин перестал бывать у Олениных (Козмин

1922). По другим данным, помолвка и не планировалась, потому что Оленины не хотели породниться с бедным и опальным поэтом (Прийма 1958; Цявловская 1958). После отказа он писал о бывшей возлюбленной уже так (в черновиках 8-й главы «Евгения Онегина»):

Anette Olenine тут была...
Уж так жеманна, так мала!..
Так бестолкова, так писклива,
Что вся была в отца и мать.

Теперь и несостоявшийся тесть стал «пролаз, нулек на ножках».

5. Изучение античных древностей. Всё это время Оленин занимался изучением древностей — нумизматикой (создал в библиотеке отдел нумизматики, впоследствии переведенный в Эрмитаж), эпиграфикой, археографией, археологией, и нельзя сказать, что это был его досуг (как «Досуги Крымского судьи» Сумарокова). Нет, это скорее театральные, художественные и литературные занятия были досугом, а изучение древностей было для него серьёзным делом, хотя и не основной профессией. Археология была не выделена из прочих отраслей изучения древностей (нем. *Altertumsforschung*).

Всю жизнь он оставался верен заветам Винкельмана.

> «Памятники искусства древних, подлежащие археологическому разбору, — писал он, следуя Винкельману, — должны быть мне представлены, при ученых толкованиях об оных... не иначе..., как с приложением подлинных памятников, или по крайне мере с самыми верными и подробными противнями (это старинное русское слово вместо иностранного *facsimile*). Вот мой символ веры археологический, филологический и технический» (Тункина 1995: 18–19).

Вдохновленный Винкельманом, Оленин обожал античную культуру и считал, что прежде всего нужно добиваться точного воспроизведения античных шедевров, досконально знать античную бытовую культуру. Он был если не ведущим среди петербургских эллинистов (Stuart 1986: 8–10), то самым влиятельным. Вместе с Уваровым он уговорил Гнедича, уже 6 лет переводившего «Илиаду» ямбическим стихом, перейти на гекзаметр, и Гнедич послушался их. В течение 20 лет (1806–1826) он помогал Гнедичу разбираться в реалиях древнегреческой жизни, пояснял ему, как выглядели и что собой представляли разные вещи, оружие, доспехи, одежды, обряды.

Но особого размаха его увлечение античными древностями достигло в начале 1830-х гг., когда в Керчи была случайно обнаружена

богатейшая скифская могила в кургане Куль-Оба (1830). С самого начала Оленину было доверено царем курирование этой сенсационной находки и всего, что с ней связано. В 1831 г. Оленин обратился к одесскому градоначальнику А. И. Левшину с вопросом: «Возможно ли с успехом продолжать отыскивание древностей в Крыму, на тех местах, где некогда существовала Пантикапея, а ныне построен г. Керчь?» Левшин ответил утвердительно и пояснил, что на ведение таких раскопок потребуется в течение 10 лет отпускать по 2 тыс. рублей, а руководство работами можно возложить на Керчь-Еникальского градоначальника Стемпковского, известного своими археологическими изысканиями, для зарисовок же прислать художника из Академии художеств.

Император, впечатленный рассказом молодого чиновника Карейши, привезшего сокровища из гробницы в Петербург, поручил ему раскопки под контролем Стемпковского. Все письменные отчеты Карейши и директора Керченского музея древностей Ашика передавались на заключение Оленину и в Эрмитаж академику Кёлеру. Правда, император поручил Кёлеру, а не Оленину составить научное описание находок, чем Оленин был уязвлен настолько, что занялся сам, параллельно с Кёлером, изучением древностей из Куль-Обы и собирался издать книгу. Тункина (1995: 22) разыскала в дневнике княгини М. А. Гагариной запись на французском:

> «Господин Оленин принес мне одну вещь, замечательную как в отношении исполнения, так и с точки зрения его собственных исторических исследований. Это рисунки русских древностей, найденных в Керчи: колье, браслеты. сделанные в греческом вкусе, и некоторое количество деталей в барельефах и орнаменты, доказывающие аналогию, прослеживаемую между греческими и русскими вещами... Рисунки очень красивы, <...> а описание их будет сделано самим Олениным. Он один из наиболее интересных людей, встреченных мною в России, человек высокообразованный, чрезвычайно добрый, приятного характера. Он обладает всем, чтобы поддержать и защитить всё, что ему доверяют».

Занятый бездной других дел, Оленин так и не осуществил намерение выпустить книгу о Куль-Обе. В его архиве обнаружена в нескольких вариантах рукопись «Керченские греко-скифские древности, или Краткий разбор вещей, найденных в 1830 г. в древней гробнице близ Керчи». Он предполагал, что гробница принадлежала неким скифским, парфянским или понтийским владетелям, а вещи были

греческими. Датировал он весь комплекс временем «Митридата Евпатора или Дионисия, т. е. за век и более до Р. Хр.». Сейчас ясно, что время погребения куда более древнее, но о точной дате идут споры, восточное же влияние в искусстве мастеров он уловил верно. Знаменитого оленя золотой бляхи из Куль-Обы он сравнил по манере исполнения с оленями на серебряной бляхе из Сибирской коллекции Петра, но считал, что рога и копыта изображены неверно просто по неумению (Тункина 1995: 21).

Раскопки же в Крыму осуществляли Ашик и Карейша, причем, соперничая друг с другом и охваченные «золотой лихорадкой», в спешке погубили много курганов. Вину за это Тункина возлагает на столичных кураторов Оленина и Кёлера. Они ни разу сами не посетили раскопки, а проверяя отчеты, снисходительно принимали писания Ашика и Карейши, составленные с пробелами и упущениями, но хорошим слогом, и отвергли толковую сводку Дюбрюкса, поскольку он был не столь образован и писал коряво и не очень грамотно даже на своем родном французском.

А. Б. Ашика Оленин похваливал за «осторожные», «основательные» и «скромные» замечания. «Этот молодой человек может далеко идти по сей части, если не возмечтает, что он всеведущ, как то иногда думают многие из недоученных наших соотечественников». Ашик действительно совершенствовался, улучшал свои раскопки, но многие древности погибли безвозвратно.

Однако в 1833 г. у Оленина возникла идея составить инструкцию для улучшения методики полевых исследований в Новороссии для «методического сколько можно производства <...> поисков, с указанием на предметы, требующие особого при сем деле внимания и осторожности, а именно при открытии вещей, угрожающих мгновенным разрушением, которые <...> должны быть немедленно срисованы на месте, с самою строгою точностью, отчетом и поспешностью». К сожалению, эта идея не была реализована.

Ашика Оленин просил всё же в 1838 г. при открытии гробниц «означать одними очерками места, где на остовах покойников или подле оных находились <...> вещи <...> и в каком порядке все сии предметы были расставлены, показывать очерком способ построения склепов с лицевой их стороны и в разрезе». Оленин замечал также, что Д. В. Карейше «недостает некоторых вспомогательных сведений, как-то общих понятий о зодческом и строительном искусстве, также достаточного умения рисовать» (Тункина 1995: 23). Он полгал, что так как Ашик и Карейша не имели специальной подготовки, то они

всё равно не получат «желательного полного успеха в своих работах» (Тункина 1995: 25).

Более важно было то, что Оленин еще в 1831 г. предлагал создать общероссийский правительственный орган, который бы ведал археологическими раскопками в стране. Такой орган, по замыслу Оленина, можно было бы назвать Археологической комиссией, или Попечительным Советом, или Главным управлением изыскания древностей в России. Такой орган, по мысли Оленина, необходим для «правительственного <...> производства археологических поисков, для надлежащего и столь нужного для истории наблюдения нравов и обычаев народов, населяющих Россию; для систематического и осторожного производства работ при открытии древностей и для разрешения встречающихся недоумений по части археологической» (Тункина 1995: 24). В состав этого руководящего органа он предлагал включить лучших ученых Академии наук (сплошь немцев), «а может быть, со временем и наших собственных соотчичей».

Обращает на себя внимание, что компетенцию этого органа Оленин распространял только на Южную Россию, главной его задачей считая разведку древностей в Крыму, на Кавказе и в прилегающих землях, то есть явно связывая его с изучением античных древностей — они милы сердцу поклонника Винкельмана, они способны показать «просвещенной Европе, какими разнородными богатствами Россия изобилует, — даже и в изящных произведениях искусства древних греков», а к тому же они могут дать те сокровища для Эрмитажа, которые так ценит Двор. Стоит отметить, что археологические работы не отделены в задачах планируемого органа от этнографических наблюдений — археология еще оставалась в представлении Оленина невыделенной из общего сонма исторических вспомогательных наук, хотя для него эти науки практически уже существуют отдельно от самой древней истории — как ее источниковедение.

Оленин излагал свою идею о необходимости создания Археологической комиссии или чего-то подобного в письме к министру Двора П. М. Волконскому, но тот откликнулся вопросом об издержках, и дело заглохло (Тункина 1995: 23–25). Снова оно всплыло только через два десятилетия, когда все археологические раскопки были подчинены министру внутренних дел графу Л. А. Перовскому (с 1852 г.), после его смерти переданы Строгановской комиссии, а с 1859 г. — Археологической комиссии (и название-то использовано оленинское!). И снова в связи с его именем всплыло имя Строганова — на сей раз Сергея Григорьевича.

6. Изучение русских древностей. Оленин был воспитан и вырос в екатерининское время, когда Россия получила новороссийские земли, богатые античными памятниками, а просвещенные люди увлекались древнегреческими авторами и Винкельманом. Естественно, что Оленин знал и любил античную культуру, изучал античные древности. Формозов (1961: 49–50; 1986: 44) полагает, что, взявшись за изучение русских древностей, Оленин подгонял их под античный, классический образец. Формозов вообще считает эту тенденцию характерной для времени Александра I (видя в Оленине ее выразителя), тогда как увлечение русскими средневековыми памятниками и их противопоставление античным начинается со времени Николая I, напуганного декабристским восстанием и связывающего античные идеалы с революцией.

Такая характеристика Оленина представляется мне не совсем верной. Формозов опирается на замечание Л. Н. Майкова (в биографии Батюшкова) об установках оленинского кружка: показать, что «героическое, возвышающее душу, присуще не одному классическому — греческому и римскому миру, оно должно быть извлечено из преданий русской древности и возведено искусством в классический идеал». Формозов связывает с этим появление героев русского прошлого в античных одеждах на картине Кипренского о Дмитрии Донском (1805) и на памятнике Минину и Пожарскому Мартоса (1818). Но это произведения искусства, к тому же довольно ранние, близкие по времени к Медному Всаднику (тоже в античном одеянии). Сам Оленин как раз был против такого смешивания эпох. В разработанном им курсе археологии для художников он вменял им основываться на верных сведениях ученых, «ибо ничто не может быть столь неприятно для образованного любителя художеств, как видеть в превосходно исполненной картине нелепое и невежественное смешение обычаев, обрядов, одеяний, оружия, архитектуры и скарба, совершенно несвойственных народу и времени, к которому изображенное живописцем или ваятелем... принадлежит» (Тункина 1995: 19).

Кроме того, Оленин был истинным царедворцем и очень хорошо улавливал дух времени и настроения государя и светского общества. В соответствии с веяниями национального романтизма он очень рано обратился к русским древностям, писал о них не меньше, чем об античных. Но он действительно не противопоставлял их античным образцам и не создавал их искусственно (в отличие от николаевских квасных патриотов Сахарова и др., описанных Формозовым).

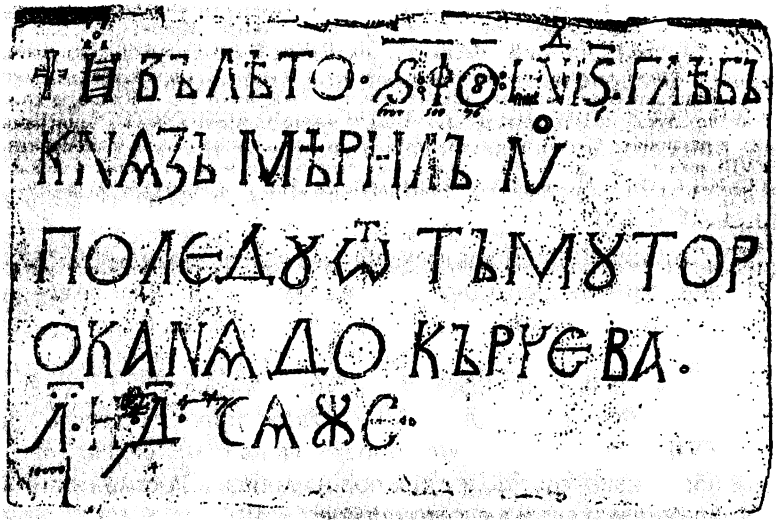
Более того, Формозов (1961: 52–53) цитирует «Николаевскую Россию» маркиза де Кюстина, чтобы проиллюстрировать, как насаждалась фальсификации церквей под древность. Лебедев (1992: 70) добавляет к этому цитату из Стасова об архитекторе Тоне, который, применившись к запросам и угодив «в такт», изобрел псевдорусский стиль. Но вот как описывает это изобретение очевидец Солнцев (1876: 88):

> «В конце 30-х годов государь был недоволен проектами Большого Кремлевского дворца — он возмущался: "Что это все хотят строить в римском стиле", — и требовал, чтобы было "в русском вкусе". Тон приехал по этому поводу к А. Н. Оленину, который, указавши на мои и Ефимова рисунки, посоветывал ему сделать что-нибудь в этом роде. Тон составил проект русского храма XVII века. Государю этот проект очень понравился. Тон приобрел известность, и с тех пор начались в России постройки храмов и зданий в русском стиле».

Русские древности привлекали Оленина еще до Отечественной войны.

В 1802–1804 гг. он вел спор с маститым историком Л. Шлёцером о способах публикации русских летописей. Шлёцер считал разумным публиковать только свою реконструкцию — восстановленный им по многим спискам текст «Повести временных лет». Оленин же требовал публикации самих списков, со всеми их языковыми и смысловыми разночтениями, чтобы можно было проверить любую предложенную реконструкцию.

Затем Оленин занялся Тмутараканским камнем. В 1794 г. была издана книга графа А. И. Мусина-Пушкина «Исследование о местоположении древнего Тмутараканского княжества». Где только его ни помещали историки: в Рязанской земле, у Азовского моря, у Астрахани... Для Мусина-Пушкина, известного коллекционера и любителя истории, дело решал Тмутараканский камень. Камень этот (мраморная плита) с надписью был найден на Тамани в 1792 г. В надписи сообщалось, что князь Глеб Святославович измерил по льду ширину Керченского пролива, и указан год этого события — по нынешнему летосчислению, 1068-й. В книге рисунок камня был исполнен Олениным (тогда еще Алениным). Публикация имела большое политическое значение: такой локализацией древнерусское княжество увязывалось с античной Пантикапеей, и тем самым поддерживалась идея, с которой носилась государыня — что Россия является прямой преемницей античной греческой цивилизации.



Надпись на Тмутараканском камне 1068 года

После публикации возникли подозрения в том, что камень подделан. Мусин-Пушкин обратился к Оленину как к знатоку древностей за поддержкой. К этому времени Оленин имел постоянного помощника в лице Александра Ивановича Ермолаева, окончившего Академию Художеств в 1800 г. Ермолаев жил в доме Олениных и помогал ему во всем. Вместе они провели 1806 г. дотошное изучение слепка с надписи, формы букв, написания слов, и Оленин издал сочинение о Тмутараканском камне в виде письма к Мусину-Пушкину. Он подтвердил подлинность находки, древность камня и местоположение Тмутаракани. Это был первый в России труд по палеографии и эпиграфике.

Он содержал такое программное заявление:

> «Доколе русская словесность не будет иметь: 1. Полного собрания, или свода всех наших летописей и разных других древних русских и иностранных книг, в коих находятся повествования о России, 2. Древней Российской географии, основанной на ясных исторических доводах, и, наконец, 3. Палеографии славяно-российской, то до времени, пока все это изготовится, — историю Русскую будет трудно писать» (Оленин 1806: 46).

По просьбе Карамзина Оленин посылал ему отрывки «Остромирова Евангелия», скопированные Ермолаевым. Постепенно Ермолаев превратился в опытного палеографа.

Шлем Ярослава Всеволодовича

В 1809 г. возле Юрьева-Польского был найден шлем с древнерусской надписью, упоминающей имя Федора. Оленин смог по этим данным установить, что шлем принадлежал Ярославу Всеволодовичу, во крещении Феодору, и был им утерян в Липецкой битве 1216 г.

Уже через год после своего назначения в библиотеку, в 1809 г., Оленин выхлопотал разрешение и пятитысячное пособие на проведение первой длительной археографической экспедиции по России. Экспедицию возглавил К. М. Бороздин, сын сенатора и любитель древностей, а участие приняли Ермолаев, архитектор П. С. Максютин и художник И. А. Иванов. Задачей экспедиции были поиски старинных грамот, старинных одежд и зарисовка древних строений и изваяний. Экспедиция продолжалась полтора года и охватила Старую Ладогу, Белозерск, Вологду, Киев, Чернигов и другие старые города.

После этой экспедиции Оленин развернул свою идею о необходимости собрать воедино и издать все русские летописи. Он обращался с этой идеей в Синод. В «Кратком рассуждении о издании полного собрания русских летописей» он изложил программу такого издания, начатого в широком масштабе уже после его смерти.

После смерти Ермолаева в 1828 г. Оленин привлек к себе другого молодого художника, Федора Григорьевича Солнцева, который был сыном крепостного, окончившим Академию художеств в 1827 г. с золотой медалью. По поручению Оленина теперь Солнцев объезжал города России, зарисовывая древности. Оленин обучал Солнцева критическому отношению к археологическим источникам:

> «Я обязан Вам сказать, в осторожность, что вы должны худо верить всем наименованиям, данным в Оружейной палате разным предметам старинного нашего оружия, утвари, одеяния и скарба. Особенно остерегайтесь в показаниях о принадлежности тех вещей такому-то будто бы знаменитому вельможе, князю или царю. Покойный П. С. Валуев, некогда начальствующий над Московской мастерской Оружейной палаты, имел страсть приписывать сии предметы в принадлежность знаменитым людям в истории русской. Он это делал без всякого основания и без доказательств, а единственно по пустым преданиям или по собственному изобретению. Также и г. Свиньину прошу не верить: его воображение слишком пылко для холодных археологических исследований. Итак, если вы в старинных самых описях мастерской Оружейной палаты не найдете подтверждения, что такая-то вещь принадлежит именно такому-то, то всякий раз следует писать таким образом: доспех, латы, броши, зерсало, кольчуга, шлем <...> приписываемые такой-то особе» (Солнцев 1876: 51).

Эти строки 1830 г. очень напоминают такие же наставления Винкельмана. Одним из итогов солнцевских экспедиций стало открытие фресок киевской Софии.

В помощь историческим живописцам Оленин издал в 1832 г. «Опыт об одежде, оружии, нравах, обычаях и степени просвещения славян от времени Траяна и русских до нашествия татар». Одновременно он готовил «Полный живописный курс археологии и этнографии для художников».

Еще в 1822 г. недалеко от Рязани был найден клад драгоценностей, как оказалось, XII–XIII веков (это было место Старой Рязани, разрушенной полностью при татаро-монгольском нашествии). Эта находка сразу же резко усилила внимание общества, ориентированного всё

Бармы из Старорязанского клада

еще на античные памятники, к русским древностям. Естественно, что Оленин, занимавшийся уже с начала века и русскими древностями, также стал изучать эту сенсационную находку и в 1831 г. выпустил солидную книгу «Рязанские русские древности». Видимо, царь потому и поручил не ему, а Кёлеру исследовать находки из Куль-Обы, что, возлагая на Оленина общее курирование археологическими изысканиями всякого рода, считал его самого прежде всего специалистом по русским средневековым древностям, а не по античным.

Как можно было убедиться, пафос Оленина относительно всех отечественных древностей (летописей, надписей, монет, археологических объектов) состоял в их сборе, сведении воедино и издании для удобства изучения и использования при написании истории. В 1841 г. Оленин составил черновой проект «Древностей России», в котором писал:

> «Размышляя о несовершенстве Отечественной нашей истории и розыскивая истинные тому причины, находим мы, что источники, из которых она почерпнута, весьма недостаточны. Хотя сведения о нравах, обычаях и просвещении предков наших хранятся во многих рукописях и в памятниках древнего

нашего искусства, но все это находилось доселе, так сказать, под спудом, и в печати, а особливо в гравировке, мало что еще в свет показалось, — а потому доселе История Российская составляет токмо самое скучное летосчисление (такой-то великий князь родился, женился, воцарился, побил своих соседей или был побежден и умер).

Нет в ней той общей черты, которая посредством описания нравов и обычаев разного времени, сближает отдаленные народы и доказывает единообразие рода человеческого. Нет в ней тех знаков, по которым соследить можно меру познаний, причины падения или возвышения искусства, степень просвещения, влияние оного на благоденствие народов» (Стояновский 1881: 5–6).

Ради этого он и предлагает собрать все летописи и сочинения прошлых веков и издать их, извлекая из них рассуждения о нравах и обычаях, а также сопроводить «картинами». То есть его не удовлетворяет традиционная событийная история, сводимая к деятельности царей и героев, история карамзинская. Ему видится история законов, нравов и обычаев — история культуры. Такую писал Вольтер, такую писал Винкельман. Вот для чего он изучает древности всякого рода, включая археологические.

На основе своего проекта Оленин подал докладную записку государю. В последний год его жизни, 1843-й, по распоряжению Николая I создается комиссия для подготовки многотомного издания «Древности Российского государства». В эту комиссию вошли патриарх изучения российских древностей А. Н. Оленин, оленинский выученик художник Ф. Г. Солнцев, попечитель Московского учебного округа граф С. Г. Строганов (опять Строганов!), директор Оружейной палаты А. Ф. Вельтман и профессор Московского университета И. М. Снегирев. Оленин так формулировал задачи издания: «Главная цель сочинения <...> будет состоять в точнейшем исследовании нравов, обычаев и одежды русского народа от VI до XVII веков». Каждой категории (церковной утвари, царским регалиям, оружию, посуде, зодчеству и т. п.) предполагалось посвятить отдельный том. Шеститомное издание вышло уже после смерти Оленина, в ближайшее десятилетие (1849–1853). Перед тем Снегирев с помощью Солнцева издал в нескольких томах и «Памятники московской старины» (Солнцев изготовил к ним рисунки).

Это был как бы памятник ушедшему энтузиасту издания сводов.

В предисловии к «Древностям русского государства» Оленин как бы извинялся перед читателем за примитивность некоторых русских

древностей: «В числе моих рисунков находятся и такие, которые грубостью и уродливостью <...> покажутся недостойными сего собрания; но, за совершенным недостатком хороших того времени памятников, и сии, так сказать, карикатуры весьма драгоценны...» В следующем поколении это вызвало возмущение В. В. Стасова, отмечавшего, что Оленин даже заставлял своих рисовальщиков подправлять, «улучшать» изображаемые фигуры (Платонова 2010б: 45). Тут сказывалось воспитание последователя Винкельмана, его эстетические идеалы. Но всё же Оленин включил эти памятники в собрание.

Как же можно в итоге охарактеризовать значение Оленина в истории отечественной археологии? В письмах академику Кёлеру он сам скромно оценивал себя как образованного любителя. По сравнению с ним Кёлер был, конечно, профессионалом, но гораздо более ограниченным и узким. Оленин занимался не только археологическими исследованиями, но и другими делами, археологические же исследования его охватывали очень широкий круг вопросов. Кроме того, он мыслил широко и продумывал общую организацию науки о древностях в стране, направляя ориентацию исследований, более того, добивался единой методики раскопок, а благодаря его влиятельности и лидерству его идеи в конце концов реализовались. Да, больше всего его лидерство ощущалось в Петербурге, но ведь это была столица!

Можно сомневаться в том, что именно Академия Художеств была в это время археологическим центром страны, как полагал Лебедев (древности больше стекались в Императорскую библиотеку и Эрмитаж), можно также не принимать именование периодов по личностям, но, пожалуй, для своего времени Оленин был в России самым влиятельным в археологическом изучении древностей. Он был первым в стране, чьи работы могли быть изданы (и были изданы) как «археологические исследования», причем среди них есть как работы по античной археологии, так и по средневековой русской. Называть его основателем археологии в России, как его охарактеризовал Уваров, пожалуй, не совсем корректно, потому что археология как отдельная наука в России при нем еще не возникла. И всё же он более других содействовал введению в России принципов Винкельмана, а Винкельмана же зовут «отцом археологии», хотя и при нем классическая археология еще не была отделена от истории искусства. Так что Уваров не так уж далек от истины.

В «Программе систематического разделения курса истории, археологии и этнографии для питомцев императорской Академии

художеств» Оленин ставил перед преподавателем (и перед собой) задачу «памятниками проверять предания, сравнивать древнее искусство и обряды с настоящим временем и делать из того философические заключения» (Тункина 1995: 19). Звучит для того времени очень прогрессивно.

С Оленина начинается длинный ряд русских археологов-вельмож: Перовский, Строганов, Уваров, Бобринский... А при советской власти более скромное, но тоже вельможное продолжение: Рыбаков, Артамонов, Пиотровский...

Эмбриология первобытной археологии

К. М. Бэр

Как там до рожденья в женском лоне,
Что за страсти зреют в эмбрионе?

Валерий Белов

Сенильные цыплята,
эмбрионы-полиглоты
рассуждают целыми днями,
толкуют свои сны.
А если нас не будут теперь насиживать?
И скорлупа не расколется никогда?

Гюнтер Грасс. В яйце.

— До чего мне это *надоело!* — сказал вдруг после долгого молчания Шалтай-Болтай, не глядя на Алису. — Все зовут меня яйцом — ну просто *все до единого!*

Люис Кэррол. Алиса в Зазеркалье.

В вестибюле стояли аккуратно обшитые металлическими полосами деревянные ящики, в количестве трех штук, испещренные заграничными наклейками на немецком языке, и над ними царствовала одна русская меловая надпись: «осторожно — яйца»...
— Да они что же, издеваются надо мною, что ли, — выл профессор, потрясая кулаками и вертя в руках яйца. — ... Я не позволю смеяться надо мной. Это что такое, Панкрат?
— Яйца-с, — отвечал Панкрат горестно.
— Куриные, понимаешь, куриные, черт бы их задрал! На какого дьявола они мне нужны?

М. Булгаков. Роковые яйца.

1. Археолог без археологии? Тем, кто занимался историографией археологии до Формозова, как-то не приходило в голову, что славному естествоиспытателю, «отцу эмбриологии», академику Бэру стоит отвести серьезное место в истории российской археологии. Зоолог, медик, эмбриолог, географ, антрополог, энциклопедист, но — археолог?! Археологических раскопок не проводил, археологичесими учреждениями не руководил, книг по археологии не оставил. Тем не менее с него начинается доисторическая археология в нашей стране. Он инициатор важного направления в отечественной археологии.

Значение его для нашей археологии несколько меньше, чем значение Вирхова для немецкой (Вирхов возился с археологией больше), но того же плана.

А. А. Формозов впервые написал о Бэре в своих очерках (1961: 74), перечислив его заслуги перед археологией: Бэр выпустил несколько статей по археологии, ознакомил русскую публику со скандинавской концепцией трех веков, напечатал программу сбора коллекций каменных орудий и начал их накапливать в своем Анатомическом кабинете в Академии наук. Несколько подробнее Формозов развил эту тему в книге о начале каменного века в России (1983: 17–20), присовокупив рассказ о переводе под бэровской редакцией книги Ворсо. Повторив эти сведения, Г.С. Лебедев (1992: 92–94), добавил к ним предложение Бэра создать специальный музей для доисторической археологических находок. авторы юбилейного издания истории Археологической комиссии (ИАК-150: 556–565) пишут также о бэровском предложении археолого-этнографических экспедиций, о его идее миграций с востока и о его последователях в Академии наук, развивавших его идеи в археологии. Наконец, Н. И. Платонова поместила в сборнике памяти Формозова большую статью (2010в) об академике Бэре и начале изучения первобытных древностей России.

И всё же, мне представляется, значение Бэра для российской археологии ракрыто далеко не полностью. Как ни странно это может показаться, но, чтобы уяснить себе вполне то, что внес Бэр в археологию, нужно более полно представить его вклад в биологические и географические науки (Овсянников 1879; Холодковский 1923; Вернадский 1927; Первый сборник 1927; Бэр 1950; Райков 1961; Назаров и Цуцкин 2008).

2. Род и корни Бэра. Российские Бэры происходят из Вестфалии. Прадед Карла Эрнста фон Бэра служил в шведской, затем в польской армии и переселился в Прибалтику в первой половине

XVIII века, возведен в дворянское достоинство Священной Римской империи (Нелидов и Эссен 1928). Карл Эрнст родился в феврале 1792 г. в имении Пиип Эстляндской губернии недалеко от Ревеля (ныне Таллина, в Эстонии). С начала века Прибалтика, завоеванная Петром у шведов, входила в состав Российской империи. Отец ученого Магнус Бэр был женат на своей кузине Юлии фон Бэр, и, поскольку детей было много, двоих, в том числе Карла Эрнста, отдали на воспитание бездетному брату Магнуса Карлу Генриху в его имение Лассилу, а восьми лет отец забрал его и поручил домашним учителям. Биографы отмечают, что мальчиком Карл часто приносил домой разные окаменелости, улиток и другую живность, но это характерно для многих детей.

После домашних учителей 15-летнего подростка отдали в Ревельскую дворянскую школу, и он был сразу принят в один из старших класов (в младших ему было велено посещать только уроки греческого).

3. Медик. Окончив школу в 1810 г., поступил в Дерптский (ныне Тартуский) университет. Это был единственный немецкий университет России. Бэр, по собственному признанию, наобум решил избрать медицинскую карьеру, но преподавание медицины было в Дерпте тогда не на высоте. В 1812 г. Бэр отправился «постоять за родину» на театр военных действий в Ригу (против нее шла армия Макдональда) военным врачом, однако заболел там тифом. В 1814 г. выдержал экзамен и защитил диссертацию на степень доктора медицины («Об эндемических болезнях в Эстляндии», написана на латыни).

Для продолжения медицинского образования Бэр выбрал Вену. Отец и брат помогли ему деньгами. Но там уровень преподавания ему не понравился. Знаменитый Гильдебрандт не прописывал больным лекарств, а практиковал «методу выжидательного лечения». Бэр разочаровался в венских медиках и в практической медицине вообще. Он отправился пешком в Вюрцбург к Деллингеру, который обучал его препарировать животных. В это время знакомый профессор Бурдах из Дерпта переехал в Кенигсберг и предложил Бэру поступить к нему прозектором на кафедру физиологии (резать животных и готовить препараты для лекций). Бэр отправился, опять же пешком, в Кенигсберг. Будучи прозектором, не имея даже статуса приват-доцента, Бэр с 1817 г. открыл, так сказать, свой собственный курс сравнительной анатомии беспозвоночных животных для студентов — показывал и объяснял анатомические препараты и рисунки. Сам Бурдах стал посещать его лекции.

4. «Отец эмбриологии». Так начался Кенигсбергский период его жизни. В 1819 г. Бэр женился на Августе фон Медем (у них родится шестеро сыновей и одна дочь) и получил повышение — стал экстраординарным профессором зоологии с поручением организовать при университете зоологический музей. Связи с Кенигсбергом окрепли, а с родиной ослабели: там в 1820-е гг. умерли мать и отец.

Поначалу в зоологии влекли Бэра разные проблемы, включая антропологические. Некоторые антропологические идеи отразились в опубликованной в 1822 г. статье «О происхождении и распространении человеческих племен». В ней проводится мысль, что происходят все племена от общего корня (Бэр был моногенистом), но под влиянием разных природных условий выглядят поразному (термина «раса» Бэр избегал, считая его унизительным и «неблаговидным»).

Карл Эрнст фон Бэр

В 1824 г. он начал даже печатать свои лекции по антропологии, но вышла только часть I «Антропография» — соматическая, а планировались и части II и III — сравнение человека с животными, влияние климата и т. д. Часть вторая называлась «антропономия» — она трактовала поведение человека, то есть была идентична современной этологии человека. Эти части не вышли. Эмбриологические исследования захватили Бэра целиком. Но это была прелюдия (и приуготовление) к позднейшим занятиям Бэра антропологией. Они не были абсолютно неожиданными для этого ученого.

В сравнительной анатомии тогда светилом был Жорж Кювье. Еще в 1812 г. он опубликовал свою теорию типов как высших единиц в систематике животных. По ней животные делятся на четыре основных группы (лучистые, членистые, моллюски и позвоночные), внутри которых сходства всей структуры животного очень велики, тогда как между группами существуют принципиальные различия. Эти группы организмов, схожих по общему плану, были названы *типами*. Бэр самостоятельно пришел к тому же выводу, хотя и позже

(опубликовал в 1826 г.). Однако он пришел к этому на других основаниях — не чисто анатомических, а подкрепленных наблюдениями за развитием организмов: разные типы избирают разные пути развития. Потому иногда говорят о теории Кювье — Бэра.

В 1826 г. 34-летний Бэр был назначен ординарным профессором анатомии и директором анатомического института в Кенигсберге. В том же году он стал иностранным членом-корреспондентом Российской академии наук.

Изучая птичьи яйца и сравнивая с зародышами млекопитающих (собаки и др.), Бэр открыл, что у самок млекопитающих тоже есть крохотное яйцо, из которого возникает зародыш, только оно не выделяется наружу из тела, а ждет оплодотворения внутри тела. А затем зародыш питается не за счет большого запаса в яйце, как у птиц или пресмыкающихся, а за счет материнского организма. Он открыл яйцеклетку и у человека. Это открытие было им обнародовано как послание в Санкт-Петербургскую академию наук — в благодарность за избрание его членом-корреспондентом. То есть, работая в Кенигсберге, он считал себя членом сообщества российских ученых. Ну, для немца Российская академия наук была, можно сказать, родной: она всё еще состояла из приезжих немцев, и друг Пушкина Вяземский называл ее «немецкой слободой».

«Послание о развитии яйца млекопитающих и человека» было написано по латыни в 1827 г. За это окрытие Академия наук избрала его действительным членом.

Изучая зародышей цыплёнка (при этом разбив на разных стадиях 2000 яиц), Бэр наблюдал, как сначала появляются общие контуры, а из них обособляются всё более и более специальные части — идет всё большая дифференциация. При том он опроверг господствующие представления, что всё в яйце уже есть с самого начала, только микроскопически маленькое. Кое-кто считал, что зародыш вообще происходит не из яйца, а внедряется в него из спермы сперматозоидом. Это был *преформизм*, а у Бэра — *трансформизм*. Через два года, в 1828 г., вышел на немецком языке первый том его знаменитой «Истории развития животных», в 1837 — второй том (третий том, посвященный развитию человеческого плода, был издан уже в 1888 г., то есть уже после смерти Бэра).

Бэр заметил, что на самой ранней стадии зародыш цыпленка не отличается от зародыша млекопитающих, а дальше появляется всё больше различий. Бэра осенила идея, что «тип руководит развитием, зародыш развивается, следуя тому основному плану, по которому

устроено тело организмов данного класса». В зародыше появляются сначала простые признаки *типа*, затем более сложные — *класса*, затем — еще более детализирующие: *отряда, семейства, рода* и, наконец, конкретного *вида*.

Это открытие послужило базой для более общих соображений. Всякое развитие состоит в преобразовании чего-либо ранее существующего. В процессе развития каждое новое образование возникает из более простой основы. Все животные образуют ряд всё более усложняющихся форм с человеком на вершине. В конечном счете все типы и виды животных происходят от одной исходной формы. Это *эволюционизм*. К. М. Бэр решительно отметал «чудо творения», так как он «не может и не должен верить в чудо. Допущение чуда упраздняет законы природы, между тем как назначение естествоиспытателя как раз и состоит в том, чтобы в "чудесах" раскрывать законы природы». Правда, Бэр полагал, что эволюция замедляется, затухает, и чем выше организм, тем он устойчивее. Это изложено им в 1834 г. в статье «Всеобщий закон природы, проявляющийся во всяком развитии».

Всё это было проделано еще до обнародования клеточной теории и теории Дарвина.

От яйца естественно было перейти к икринкам, от птиц и млекопитающих — к рыбам. «Исследование развития рыб» появилось (тоже на немецком) в 1835 г.

В своих трудах по эмбриологии Бэр сформулировал несколько закономерностей, называемых «Законами Бэра». Это «законы зародышевого сходства».

1. Наиболее общие признаки любой крупной группы животных появляются у зародыша раньше, чем менее общие признаки; после формирования самых общих признаков появляются менее общие — и так до появления особых признаков, свойственных данной группе.
2. Зародыш любого вида животных по мере развития становится все менее похожим на зародышей других видов и не проходит через поздние стадии их развития.
3. Зародыш высокоорганизованного вида может обладать сходством с зародышем более примитивного вида, но никогда не бывает похож на взрослую форму этого вида.

Бэр обратил внимание и на сходство между развитием зародыша как индивидуального организма и развитием всего вида, засвидетельствованным палеонтологией, — проходятся одни и те же этапы.

Впоследствии (в 1866 г.) это было сформулировано как *биогенетический закон* Эрнстом Геккелем: развитие особи (онтогенез) является коротким и быстрым повторением (*рекапитуляцией*) эволюции вида.

5. Библиотекарь и натуралист в северных путешествиях. Уже в 1829 г. Бэра избрали действительным членом Российской Академии наук и пригласили в Петербург. Но семья была против, в России условия работы были плохо налажены, да и незнание русского языка вернуло его в Кенигсберг. Он сложил с себя звание русского академика.

Однако здоровье его было сильно подорвано неумеренными занятиями наукой. В «Автобиографии» он отметил:

«Однажды я засел у себя в доме, когда на дворе еще лежал снег, и вышел на воздух — к валу, лежавшему в нескольких сотнях шагов от моего дома, — лишь тогда, когда рожь уже вполне колосилась. Этот вид колосящейся ржи так сильно потряс меня, что я бросился на землю и стал горько упрекать себя за свой образ действий. Законы природы будут найдены и без тебя, сказал я себе, — ты ли или другой их откроет, нынче ли, или через несколько лет, — это почти безразлично; но не безрассудно ли жертвовать из-за этого радостью своего существования?»

В это время он рассорился с министром просвещения Пруссии, который в запале стал упрекать его за то, что он на никому не нужные вещи потратил столько государственных средств — разбил попусту 2000 яиц! Поездка в родные места разобраться с оставшимся от умершего брата имением означала для него умеренное питание и движение — здоровье стало лучше. Он запросил Петербургскую Академию, не примут ли его снова. Ответили положительно, место нашлось. Его вторично избрали в академики.

В 1834 г. сорока двух лет Бэр переселился в Петербург, где он стал Карлом Максимовичем. Среди его новых обязанностей было заведование иностранным отделением Библиотеки Академии наук (он руководил им до самой отставки). В 1841 г. он представил новую схему классификации книг. Разработав новую систему классификации, он составил громадный систематический каталог в 22 тома, написанных им самим от руки (карточек еще не было — в картотечную форму каталог был переведен только в 1891 г.).

Библиотечная классификация Бэра отличалась от многих принятых в мире — была более современной и удобной. Его классификация отражала его видение системы наук. Философия, в отличие

от старых библиотек, уже не включала в себя естествознание и психологию; в антропологию входили физическая, этнология, психология — рассмотрение тела человека и душевных проявлений; история была объединена с географией (время с пространством); отрасли искусства соединялись с естественными науками — например, музыка с акустикой; животные располагались в порядке эволюции — от простейших к высокоорганизованным. Многие считают, что, перейдя впоследствии на Десятичную классификацию, БАН утратила ряд преимуществ классификации Бэра (Загорская 1995).

Но здесь, в России, его интересы резко меняются. Он первое время сожалел, что эмбриологическими исследованиями в новых непривычных и неудобных условиях заниматься не может. Однако его всё больше привлекают путешествия и громадные просторы России, во многих отношениях мало исследованные. Биолог становится географом, а географию он понимал прежде всего как изучение производительных сил страны.

Занявшись анатомией моржа, он решил, что нужно побывать на Ледовитом океане и посмотреть, «что может природа сделать на Крайнем Севере с такими малыми средствами». Летом 1837 г. на небольшой парусной шхуне «Кротов» он совершил путешествие на Новую Землю — дальние северные острова, где до него не бывал ни один натуралист. Оно продолжалось четыре месяца. Были собраны коллекции флоры и фауны, сделаны метеорологические наблюдения, установлено, что Новая Земля — это продолжение Уральского хребта. Через два года он отправился в новую поездку — на острова Финского залива и в Лапландию, а в следующем году осматривал уже Кольский полуостров.

Это был очень активный сотрудник Академии наук: с 1840 г. вместе с геологом Георгом фон Гельмерсеном (Григорием Петровичем), тоже выпускником Дерпта и впоследствии генералом и академиком, стал издавать научный журнал под названием «Материалы к познанию Российской империи». Результатом обследования Севера явилась монография 1842 г. о вечной мерзлоте — «Материалы к познанию нетающего льда в Сибири» на немецком языке. Переведена на русский почти через 100 лет — в 1942 г.

Эти путешествия побудили его принять участие в хлопотах по созданию общества, которое бы могло поддерживать такие начинания. В 1845 г. эти хлопоты увенчались успехом — было учреждено Русское географическое общество. В числе многих соучредителей был и академик Бэр.

6. Биология человека. С 1841 г. Бэра назначили ординарным профессором сравнительной анатомии и физиологии в Медико-Хирургической (впоследствии Военно-Медицинской) Академии. Ему уже без малого 50. Всё еще не владея русским языком, лекции свои он вынужден читать по-латыни.

С 1842 г. в Академии наук ему поручили родственное дело — заведовать Анатомическим кабинетом, в котором хранились с петровского времени уроды в банках, купленные у голландского анатома Рюйша препараты и в беспорядке — черепа. Бэр начал приводить в порядок и пополнять краниологические коллекции. Анатомический кабинет он преобразовал в Музей соматической (физической) антропологии и доисторической археологии.

Практикующим врачом он не был: изучал тело человека в сравнении с другими животными. Через 10 лет (почти шестидесятилетним) смог представить в Академию наук большую статью о человеке — «Человек в естественно-историческом отношении» (Бэр 1851). Он всё еще писал в основном на немецком, но эту статью перевели на русский язык.

В Медико-Хирурической академии работал по 1852 г. и тяготился этим, пока наконец не сложил с себя это профессорское звание. Он предпочитал ездить в путешествия, а эти отлучки были несовместимы с преподаванием.

7. Натуралист в путешествиях по русским водным бассейнам. С 1851 г. начинаются новые путешествия Бэра по России. Они предприняты с практическими целями. Кроме географических и этнографических исследований, это прикладная зоология. Экспедиции направлялись на Чудское озеро и берега Балтийского моря, на Волгу и Каспийское море. В этот район он проделал шесть поездок за 1851–1852 гг. Результаты опубликованы в первом томе «Исследований о состоянии рыболовства в России». В 1853 г. на Каспий с ним ездил в качестве статистика Н. Я. Данилевский, в будущем известный историк и философ. А всего поездки в район Каспийского моря для изучения рыболовства продолжались с небольшими перерывами 4 года.

Повод был такой. Министр государственных имуществ был обеспокоен оскудением моря: рыбы стало мало. Бэр установил, что практикуемые способы лова не давали рыбе возможности размножаться. Её хищнически вылавливали до нереста (икрометания), а это обрекало промысел на неизбежное падение. Бэр выступил с требованием

ввести государственный контроль за охраной рыбных запасов и их восстановлением.

Также он предложил заготавливать впрок каспийскую сельдь бешенку (черноспинку), которая до того шла лишь на вытопку жира. Рыбопромышленники не верили в это новшество, но Бэр произвёл сам засол бешенки и на дегустации убедил всех в полной доброкачественности рыбы. Стало возможно заменить каспийской сельдью «голландскую» сельдь, ввоз которой в Россию прекратился из-за Крымской войны.

Из восьми частей его «Каспийских исследований» всего интереснее восьмая часть — «О всеобщем законе образования речных русел». Бэр подметил закономерность: в русских реках, текут ли они на север или на юг, вода всегда подмывает высокий правый берег, а левый всегда низкий и пологий. Это вошло в географию как «закон Бэра». Бэр и объяснил это явление Кориолисовой силой: при вращении возникает сила, стремящаяся сместить тело (в данном случае воду) с радиуса вращения. Суточное вращение земного шара известно. В северном полушарии это смещение дает движение воды вправо, а в южном — влево. Причем чем ближе к экватору, тем размах вращения больше, следовательно, больше и сила, с которой вода напирает на подмываемый берег.

Труды Бэра по результатам каспийских экспедиций, изданные в четырех томах, считаются классическими. Они явились началом нового периода в истории русского рыболовства и ихтиологической науки.

Путешествовал он и в Средиземное море, по Европе.

8. Антрополог. Весною 1857 г. 65-летний учёный вернулся в Петербург. Теперь Бэр занялся преимущественно антропологией. В 1858 г. он ездил летом в Германию, принял участие в съезде естествоиспытателей и врачей в Карлсруэ и занимался краниологическими исследованиями в базельском музее. Он пополнил коллекцию человеческих черепов в Анатомическом музее Академии наук, постепенно превращая его в антропологический музей, а краниологическое собрание Академии наук стало одной из богатейших коллекций в мире.

Бэр пришел к мысли, что всем антропологам нужен один общий метод измерения черепов. Чтобы реализовать эту идею, в 1861 г. Бэр отправился за границу, посетил разных ученых и предложил созвать антропологический конгресс. Конгресс состоялся в Геттингене, но к полному соглашению не привел. Но предложенная

Академик
Карл Максимович Бэр

Бэром унифицированная система измерений и краниологической терминологии позволяет считать его «Линнеем краниологии». Он принял классификацию черепов, предложенную Ретциусом (долихокефалы, или длинноголовые, и брахикефалы, или короткоголовые), и предсказал, что эта классификация станет определяющей в антропологии. Так и случилось. В связи с методом Ретциуса он предложил систему измерения черепов, которая могла бы внести единство в терминологию краниологов.

Бэр предложил измерять длину черепа, наибольшую ширину, высоту, горизонтальный объем и теменную выпуклость в срединной плоскости и, кроме того, обозначать относительное положение большого затылочного отверстия и развитие затылка. Каждый череп надо рассматривать в пяти «нормах» (ракурсах): сзади (затылочная норма), сверху (теменная норма), спереди (лобная норма), сбоку и с основания. И так далее. Эту систему он изложил в своем отчете о съезде антропологов в Геттингене в 1861 г. Система эта подвергалась многим изменениям, но последующие системы Велькера, Эби и других основаны на ней. За эту заслугу Бэра и называли «Линнеем краниологии».

В сочинении «О папуасах и альфурах», вдохновившем Миклухо-Маклая на выбор жизненного пути, идет речь о присхождении физических различий. Бэр по-прежнему избегал применять термин «раса» к человеку, считая это «неблаговидным» и принижающим человеческое достоинство. Происхождение человеческого рода он считал единым, придерживаясь моногенизма. Соответственно, он отвергал учение о неравноценности человеческих рас. Он считал, что «полигенистов привели к выводу о множественности человеческих видов побуждения другого порядка — стремление считать, что негр заведомо должен отличаться от европейца <...> может быть, даже желание поставить его в положение человека, лишённого влияния, прав и притязаний, присущих европейцу».

Как можно было видеть из его библиотечного каталога, в его представлении антропология включала в себя не только телесную сторону человека, но и его умения и обычаи (как изучение птиц охватывает умение вить гнезда), не только развитие зародыша и взрослой особи, но и предысторию вида. Поэтому он занимался и доисторической археологией. В 1859 г. он сделал доклад в Русском географическом обществе «О древнейших обитателях Европы» (опубликован в 1863 г.), где рассказал о достижениях доисторической археологии во Франции, Дании и Швейцарии. В 1864 г. опубликован расширенный вариант доклада. В 1861 г. Бэр выпустил перевод книги Ворсо «Северные древности королевского музея в Копенгагене».

В его размышлениях антропология была связана с географическим подходом, и *географический детерминизм* был ему не чужд. «География в обширном смысле слова, — пишет он, — сделалась наукою всеобщего интереса, с тех пор как работы таких ученых, как Гумбольдт и Риттер, наглядно показали, что на лице Земли написаны не только законы распространения органических тел, но отчасти и судьбы народов».

Свои взгляды на факторы мировой истории он изложил в статье «О влиянии внешней природы на социальные отношения отдельных народов и историю человечества». В ней он пишет, что все определяется взаимодействием двух факторов: местообитанием и внутренними задатками народов. Большую роль он отводил *миграциям*. Человек, переселившийся в Европу из более теплых стран, со временем опять переселится на свою первоначальную родину. Но Европа — это школа цивилизации. Ее суровые условия умеренного климата были необходимы для умственного развития. «Если бы, — говорит Бэр, — Земля повсюду представляла рай, то и человек был бы чем-то вроде неоперенной райской птицы, беззаботно поедающей готовую пищу, не имея никакого стимула к усовершенствованию своей природы». Мигранты унесут с собою из Европы любовь к труду, сокровища наук и искусств, успехи промышленности, а также опыт государственной жизни.

В 1860 г. смежный с Музеем антропологии и доисторической археологии Этнографический музей возглавил академик А. А. Шифнер. У Бэра и Шифнера возникла идея объединения обоих музеев. В 1862 г. была опубликована в Записках Академии наук (т. 1, кн. 1: 115–123) совместная статья Бэра и Шифнера «О собирании доисторических древностей в России для этнографических музеев». Слияние обоих музеев было осуществлено уже после ухода Бэра, в 1878 г.,

когда возник Музей по Антропологии и Этнографии преимущественно народов России. Это «преимущество» было убрано в 90-е гг. XIX века, а вместо того к названию было добавлено «имени Петра Великого». В 1894 г. археологические коллекции были выделены в отдел археологии.

9. Национальность. Всю свою жизнь Бэр, конечно, оставался немцем. Он говорил и думал по-немецки. При этом был честным гражданином российского государства, подданным российского царя и не находил в этом ничего странного. Он разделял эту черту со многими российскими немцами. Вспомним, что Германии как государства тогда не было. Было много немецких государств с собственным подданством, враждовавших между собой: Пруссия, Ганновер, Бавария, Вюртемберг, Австрия и др. С другой стороны, в России издавна жило много немцев — российских подданных.

Правда, в Прибалтике, которая принадлежала России, часть немецкого населения придерживалась сепаратизма и ориентировалась на другие соседние государства, владевшие прежде этой землей, — Швецию, Польшу, кто-то и на Пруссию (наследницу Немецкого ордена). Но Бэр к этой группировке явно не принадлежал. В 1840 г. геолог граф Кейзерлинг, возглавлявший остзейских немцев и заботившийся об особом положении остзейских немцев в России, писал, что посещение Бэра произвело на него тяжелое впечатление: Бэр, по ироническому определению графа, сделался «хорошим русским патриотом» (Райков в Бэр 1950: 28).

Платонова (2010в), на мой взгляд, несколько преувеличивает русифицированность Бэра и его отход от немецких чувствований. Мог, мол, к концу жизни изъясняться по-русски (с грехом пополам), особо любил русские древности. В его высказываниях она выделяет курсивом соответствующие места:

> «Если Россия не займется изучением своей древнейшей старины, то она не исполнит своей задачи как образованного государства. Дело это уже перестало быть народным: оно делается общечеловеческим. Но затронется и разовьется интерес чисто национальный, если мы узнаем результаты всего того, что сделано на этом поприще другими народами...»

В этой цитате Платонова выделяет курсивом «Но затронется и разовьется интерес чисто национальный». А ведь можно выделить другое: «Дело это уже перестало быть народным: оно делается общечеловеческим».

Его друзьями в России были русские путешественники-немцы, ученые-немцы, люди с иностранными корнями: Литке, Врангель, Миддендорф, Крузенштерн, Даль.

Принадлежность к немецкому племени сказывалась и в том, что часть русских ученых относилась к нему с заведомым недоверием: мол, не может он понимать потребности русского народа, чужой он, норовит унизить русского человека и возвысить своих соплеменников-немцев. Это затрудняло Бэру перспективу стать реальным лидером русской науки, к его призывам прислушивались не все. Он понимал это. В Автобиографии писал:

> «...Немцам, живущим по эту сторону Наровы, говорят: "Зачем вам глядеть на Запад, вы вовсе не немцы, так как Петр Великий завоевал вас!" С Востока же мы слышим: "Держитесь от нас подальше, не нарушайте наш патриархальный покой, Бирон достаточно нам насолил!" Напрасно искать логическую формулу, в которой можно было бы объединить и герцога Бирона, временщика первой половины XVIII века, и обычного немца нашего времени, который, ища пропитания, странствует, занимаясь наукой... Как угодить этим людям? Что делать? Уйти обратно за Неман? Или уйти в Царствие небесное? Это было б, пожалуй, всего лучше...» (Бэр 1950: 407).

Себя он явно отождествлял с «немцем нашего времени, который, ища пропитания, странствует, занимаясь наукой». Но очевидно и то, что он не желает уходить «за Неман», что он прижился в России и живет ее интересами. В еще большей мере это касалось обрусевших российских немцев последующих поколений. Впоследствии в таком же положении оказались евреи России, сменившие немцев в функции поставщика кадров науки.

10. Конец работы. В 1862 г. Бэру исполнилось 70 лет. Он вышел в отставку, при этом был избран почётным членом Академии. В августе 1864 г. в Санкт-Петербургской академии наук состоялось торжественное празднование полувекового юбилея его научной деятельности. Царь пожаловал юбиляру пожизненную пенсию в 3000 рублей, а Академия наук учредила Бэровскую премию по естественным наукам.

Э. Л. Радлов (1927: 71) подметил в Бэре одну любопытную черту:

> «...он умел быть стариком... Быть стариком — это значит смотреть на всё под видом вечности, *sub specie aeternitatis*. Разочарования, которые жизнь приносит всякому, в человеке, обладающем искусством быть стариком, не вызывают ни озлобления,

ни зависти, но они в то же время не делают его равнодушным. Это есть настроение резиньянции. Но не всякому легко создать это настроение, предполагающее и самоограничение, и самокритику, и скепсис. У Бэра легко подметить все эти черты, создающие в нем то, что мы называем юмором».

На собственном юбилее Бэр обратился к присутствующим с такой речью:

«Смерть, как известно каждому, доказана опытом, и этот опыт повторялся весьма часто, но необходимость смерти всё-таки ничуть не доказана. Чтобы организмы, переживающие зиму и лето и имеющие средства накоплять пищевые материалы, чтобы эти организмы обязательно должны были умирать, — это, повторяю, не доказано. Знаменитый Гарвей анатомировал однажды мужчину, который умер на 152 году своей жизни, и нашел все его органы совершенно здоровыми, так что этот человек, вероятно, мог бы жить еще долго, если бы его не переселили из деревни, ради лучшего ухода за ним, в столицу, где он умер от слишком хорошего ухода. Я склонен поэтому считать смерть за проявление подражательности, за нечто вроде моды, и моды совершенно ненужной...» (цит. по Варламов: 179).

В начале лета 1867 г. 75-летний Бэр, дабы избавиться от множества официальных обязанностей в столице, переселился в обитель своей юности — тихий университетский город Дерпт. 16 (28) ноября 1876 г. Бэр скончался тихо, как будто уснул, в возрасте 84 лет. Не лучше ли ему было оставаться в привычном и деятельном Петербурге?..

Известный скульптор А. М. Опекушин изваял памятник сидящего в кресле Бэра. Он установлен в Дерпте (Тарту), а варианты его — у входа в Зоологический музей Академии наук и в Библиотеке Академии наук.

За Бэром числится около 300 печатных работ; кроме того, большое количество его трудов осталось ненапечатанными. Большей частью его рукописное наследие сохраняется

Памятник Бэру работы А. М. Опекушина

в архиве Академии Наук. «Бэровский фонд» в Архиве состоит из 762 номеров.

В год смерти Бэра, 1876-й, была опубликована его критическая работа о Дарвине — «Об учении Дарвина». Бэр был эволюционистом, но не признавал дарвиновскую теорию естественного отбора, считая, что случайный фактор не мог породить столь мощное движение к целесообразности. Он был готов признать изменчивость видов, но не верил в то объяснение изменчивости, которое предлагал Дарвин. По его мнению, естественный отбор не в силах породить морфогенез. Выход за рамки вида означает вырождение — приводит к созданию уродов, а не к трансформации вида. Секрет-то лежит в признании роли мутаций, а их объяснила только генетика уже после смерти Бэра.

Даже при советской власти эта особенность мировоззрения Бэра рассматривалась с уважением: к теории естественного отбора скептически относился и Энгельс, хотя и по другим причинам и с другими оттенками. Энгельса (письмо П. П. Лаврову) смущали привлечение мальтузианства и выводы «социального дарвинизма». А Бэр придавал большее значение некой внутренней силе живого — «целестремительности». Но Бэр был и против витализма. В немецком языке цель может передаваться двумя словами: *Zweck* и *Ziel*. *Zweck* — это сознательно поставленная цель, *Ziel* — это предопределенный результат процесса. Говоря о целестремительности, он употреблял слово *Ziel*, а Дарвин не употреблял слова «эволюция», так что различие со взглядами Дарвина не так уж велико.

11. Значение Бэра для археологии. Бэр действительно не так уж много занимался непосредственно археологическими артефактами и памятниками. Ну, собирал доисторические древности в своем Анатомическом кабинете с 40-х гг., и это стало потом ядром археологического отдела Музея антропологии и этнографии в Петербурге. Ну, ознакомил русскую публику с концепцией трех веков и книгой Ворсо. Ну, предлагал программу сбора каменных орудий, археолого-этнографические экспедиции и археологический музей. Всех этих актов мало, чтобы войти в число самых заметных фигур археологии. Но Бэр обладал колоссальным научным авторитетом и влиятельностью в России, и его небольшие вклады быстро превращались в значительные перемены. После его призывов Иностранцев начал собирать каменные орудия, Лерх занялся их изучением, а Русское географическое общество позже взялось финансировать раскопки Полякова и Мережковского.

В России археология до Бэра понималась как изучение античного искусства (в традициях Винкельмана) и как источник иллюстраций для древней истории, в середине века — и как изучение Древней Руси. Места для первобытности в ней не было. Своим влиятельным каталогом для Библиотеки Академии наук и своим Музеем антропологии Бэр порождал новое отношение к доисторическим древностям — их включение в естественную историю, их объединение с материалами этнографии и соматической антропологии. Как и везде в мире, новая отрасль археологии зарождалась вне традиционной гуманитарно-ориентированной археологии и была связана с естествознанием. В этом смысле фигура Бэра в российской археологии была вполне аналогична фигуре Вирхова в немецкой. Столь же крупный и прославленный биолог, так же пришедший к археологии через антропологию, так же связанный с учреждением музеев и ученых обществ, такой же доброжелательный (и умеренный) скептик по отношению к Дарвину.

Можно полагать, что позиция Бэра наряду с ориентировкой на западных авторов повлияла на определение места доисторических древностей в антропологических знаниях у Анучина, Полякова, Мережковского и др.

Имело место и непрямое воздействие взглядов Бэра. Поездка Н. Я. Данилевского в Каспийскую экспедицию 1853 г. под руководством Бэра не прошла для Данилевского бесследно. В 1869 г. он выдвинул свое «естественно-научное» учение о *культурно-исторических типах* в книге «Россия и Европа». По Данилевскому, народы подобны организмам. Судьба народов определяется тем, к какому культурно-историческому типу данный народ принадлежит. У каждого типа — свой план организации. Один тип не передает начала цивилизации другому. Таких типов всего несколько. В этом видят отражение теории типов Кювье–Бэра. А так как у Данилевского типы сменяют друг друга в порядке прогресса, то эволюция налицо — это

Н. Я. Данилевский

воздействие не Кювье, а Бэра. Через 20 лет после появления (в 1859 г.) книги Дарвина, в 1879 г., Данилевский написал опровержение теории Дарвина — «Дарвинизм. Критическое исследование». Повторяя аргументы Бэра и других, он писал, что не естественный отбор в борьбе за существование, а внутренняя сила определяет судьбу организма — и народа.

Данилевский — первый из ряда пропагандистов концепции замкнутых культур, демонстрирующих циклическое развитие. Следующими были О. Шпенглер, Н. С. Трубецкой, В. Шубарт, А. Тойнби, П. Сорокин, Л. Н. Гумилев и др. Если взглянуть шире, то из русских это, с одной стороны, идеологи, отстаивающие идею особого пути России, непригодности западного либерализма для нее, с другой — люди, озабоченные сохранением самобытности русской культуры перед напором мощных иностранных влияний.

Данилевский занял видное место среди славянофилов. Он имел много сторонников и еще больше читателей. В среде историков и этнологов формировались представления о неподвластности духовной жизни воздействиям, чуждым данному народу, о слабости и неэффективности культурных влияний, о распространении обычаев и типичных вещей только миграциями (опять же из репертуара Бэра). По-видимому, это как-то повлияло и на толкования археологов, причем не только в ростках доисторической археологии, но и в археологии средневековой. В России не было ярко выраженного миграционизма, но наивно-миграционистские толкования и отвержение влияний были естественны в атмосфере, созданной не в последнюю очередь обсуждением концепции Данилевского.

Э. Л. Радлов

Сыграли свою роль в археологии и ученые из круга Бэра по Академии наук. Таких было на виду двое — Радлов и Лерх, оба — немцы и лингвисты-востоковеды. Бэр ведь пестовал идею выявить археологически заселение Европы с востока, предполагавшееся тогдашней лингвистикой.

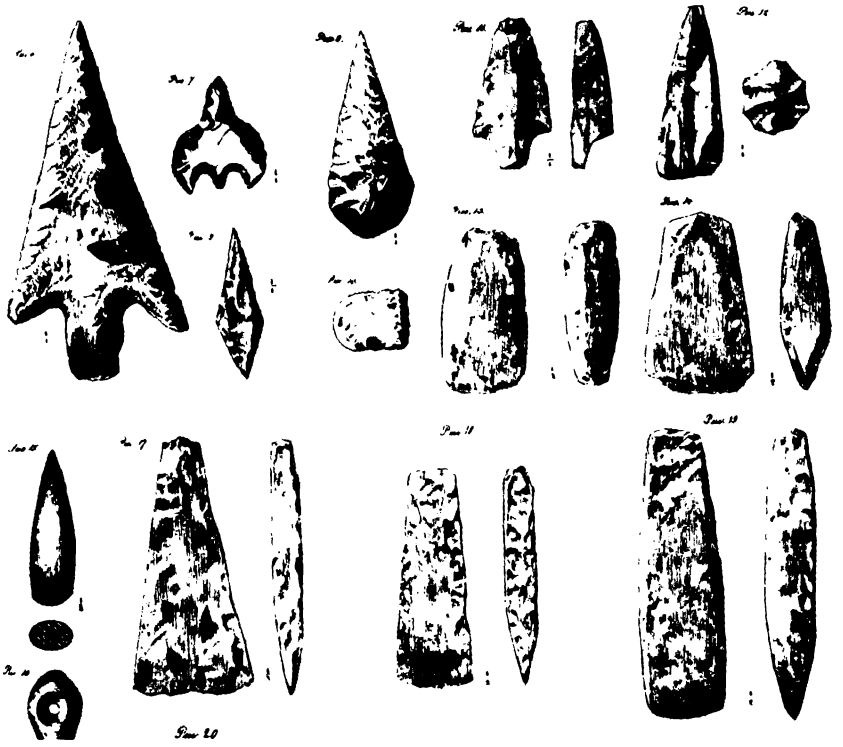
Леопольд Федорович Радлов из Берлина был хранителем Этнографического музея Академии

наук. Языковед, специалист по языкам Северо-Восточной Азии, он хорошо владел и основными европейскими языками, включая скандинавские. В 50-е гг. он изучал древности Скандинавии и Центральной Европы. В связи с планами Бэра ввести в антропологические и этнографичские музеи еще и доисторическую археологию Радлова послали в европейские музеи ознакомиться с тамошними собраниями и постановкой дела. Он не только ознакомился с северными древностями по литературе и музеям, но и перевел на русский язык книгу Ворсо «Северные древности», а Бэр сделал комментарии. Книга вышла в 1861 г., а в 1865 г. Радлов умер в возрасте 46 лет.

Младше Радлова на 10 лет, Петр Иванович Лерх — востоковед, специалист по курдскому языку и восточной нумизматике. Человек очень скромный, непритязательный и со сменой увлечений, он не стал защищать диссертацию, а служил протоколистом в Академии наук, потом с 1873 по 1877 г. секретарем Археологической комиссии, потом библиотекарем Университета. С 1862 г. Лерх начал публиковать в «Известиях Русского археологического общества» свой аналитический обзор доисторической археологии (неолита и бронзового века) Северной и Западной Европы. Он всё время подчеркивал преемственность своих взглядов от воззрений академика Бэра, а Бэр ориентировался на скандинавских археологов. По научному потенциалу Лерх был археологом вполне европейского уровня.

П. И. Лерх

В 1865 г. в русле предложений Бэра Лерх подал в Археологическую комиссию «Соображения об археологической поездке в северные губернии», предлагая обследование территории финских народностей. Лерх получил больше тысячи рублей (по тем временам очень большая сумма). Лерх провел эту экспедицию, сделал на II Археологическом съезде доклад о каменных орудиях на Северо-Западе России и ряд публикаций. Свои результаты Лерх докладывал на Копенгагенском конгрессе антропологов и историков в 1869 г. и на Стокгольмском конгрессе археологов в 1874 г. Готовился к III Международному конгрессу ориенталистов в Петербурге в 1876 г., когда его разбил паралич



Рисунки кремневых орудий из статьи П. И. Лерха

и отнялась память. Длительная болезнь и смерть в 1884 г. оборвали и эту карьеру — Лерх не дожил нескольких лет до 60-ти.

Бэру не удалось обзавестись таким большим кругом сотрудников и соратников, как Вирхову, не довелось стать и формальным лидером (он был президентом только Энтомологического общества, хотя насекомыми занимался мало). Вероятно, сказалось недостаточное знание русского языка, возможно, и традиционная отчужденность российской среды в Академии от немецкой (ср. борьбу А. О. Ковалевского за избрание Д. Н. Анучина в 1890-е гг. академиком против немецкой группировки В. В. Радлова — Романовский 1999; Платонова 2010в: 613–614). Российский Вирхов оказался менее заметным в археологии, чем немецкий. Но место то же.

Создатель археологического центра
С. Г. Строганов

Консерватор — это либерал, у которого есть внуки.
Лео Рокуэлл

1. Почва и корни. Подробных биографий графа Сергея Григорьевича Строганова как археолога нет. Да и вообще о нем написано мало (Гурулева 2005; Платонова 2010а). Между тем он оставил в российской археологии значительный след. Его стараниями в столице империи возник центр археологической деятельности, без которого археология страны немыслима. А ведь это был вельможа, генерал, слуга царю, казалось, совершенно неподходящая фигура для организации науки, да еще столь непрактичной, как археология. Вообще князь А. В. Долгоруков говорил о нем, что редко в одном человеке сочетаются такие достоинства с такими недостатками. Действительно, это был чрезвычайно противоречивый человек. Вот ему археология и обязана учреждением своего центра.

Какой же ход событий к этому привел?

Строгановы — очень богатый и разветвленный род, ведет свое происхождение от новгородцев, завладевших в XVI веке соляными месторождениями в Сибири и на Урале. Участвуя в покорении Сибири, они уже до Петра владели десятками тысяч крепостных. Помогая царям в военное время деньгами, Строгановы получили при Петре баронский титул, а при Павле одна ветвь рода стала графами (Купцов 2005). Сергей Григорьевич, по рождению барон (а мать его — урожденная княжна Трубецкая), женился на Строгановой же (своей двоюродной племяннице), объединив две ветви этого рода. Отец и дед жены были известными меценатами, очень образованными людьми. Дед был президентом Академии Художеств и директором Публичной библиотеки — о нем шла речь выше, в биографии Оленина. С Натальей Павловной Строгановой во владение барона Сергея Григорьевича

перешел графский титул, 45 тысяч крестьян и Строгановский дворец на Невском, построенный Растрелли для прадеда Натальи Павловны и перестроенный Воронихиным, бывшим крепостным Строгановых. Дворец с Минералогическим кабинетом, библиотекой, художественными и нумизматическими коллекциями. В этом дворце часто бывали Державин, Крылов, первые лица русской культуры.

Что касается самого Сергея Григорьевича, то он, родившись в 1794 г., получил военно-инженерное образование в одном из лучших учебных заведений России — окончил Институт корпуса инженеров путей сообщения и всю жизнь был военным. Отличился в Бородинском сражении, в 1813 г. прошел кавалеристом в глубь Европы до Парижа. Его кузен, владелец майората, был убит в бою, и наследником опять же стал Сергей Григорьевич. Из барона он превратился в графа и в 1815 г. женился. Он и до того входил в самую богатую русскую знать (имея около 3 тысяч душ крепостных), а в результате женитьбы он получил огромные владения — десятки тысяч душ.

Его переводят в гвардию. В 1817 г. ротмистр Строганов был назначен флигель-адъютантом Александра I, затем он участвовал в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. — уже генерал-майором от кавалерии, после войны стал флигель-адъютантом Николая I. К 1837 г. он был уже генерал-лейтенантом и генерал-адъютантом. Это было одно из высших званий в русской армии — присваивалось полным генералам и генерал-лейтенантам, входившим в окружение императора. Но обладая огромным состоянием (ко времени освобождения крестьян у него было 80 тысяч душ и 7 уральских заводов, за женой числилось 157 тысяч душ), был независим в суждениях и равнодушен к карьере. Душевное умиротворение доставляли ему коллекционирование монет и произведений искусства, изучение древностей. Была у него и богатейшая колекция икон.

В специальной работе (Клейн 1997) я рассматривал мотивы коллекционирования и пришел к выводу, что это в большой мере эскапизм — уход от реалий жизни в мир, который легко устраивать и переустраивать по-своему. Но я оговаривал, что это в меньшей мере касается собирания произведений искусства. У Строгановых же не было причин тяготиться реалиями жизни — этот мир, можно сказать, был создан для них. Хотя кто знает, всё же они не стояли на самом верху иерархии, да и верхние фигуры были связаны традицией, долгом, этикетом, ожиданиями окружения.

Но были у Строгановых и свои мотивы ударяться в коллекционирование и изучение древностей. Для Строгановых история Российского

государства была нерасторжимо связана с их родословной, а история их рода была одним из устоев истории государства. Как им было не собирать во дворце Минералогический кабинет, когда соль была одним из ведущих минералов Древней Руси, а на соляных копях и солеварнях строилась сила первых Строгановых. Как им было не увлекаться нумизматикой, когда денежные накопления приблизили их к царям. По преданию, первые Строгановы и сами содержали иконописные мастерские — у искусствоведов известны старинные «строгановские иконы». Будучи заводчиками и культуртрегерами в Сибири и на Урале, Строгановы привыкли по семейной традиции ценить мастеров и мастерство, архитектуру и другие искусства. А поездив по Европе, они убеждались, что в более цивилизованных государствах, служивших образцом для Петра, знать собирает древности наравне с сокровищами искусства и государственная власть соревнуется со знатью и с другими государствами на этом поприще.

Когда С. Г. Строганов был с войсками в Париже, он долго изучал там художественные сокровища, вывезенные Наполеоном из покоренных стран, и изделия французских мастеров. Он пришел к выводу, что успехи французских мастерских являются следствием существования в этой стране сети общедоступных рисовальных школ.

2. Непостоянный просветитель. В 1825 г., то есть в год воцарения Николая I, молодой граф основал на свои средства в Москве бесплатную школу рисования, открытую для всех сословий (потом Художественно-Промышленное Училище, именуемое Строгановским, ныне художественно-промышленный университет). Двенадцать лет он руководил ею, чая найти новых Воронихиных. Это и другие благие деяния графа Строганова, особенно ссора с Уваровым, подчас побуждают его современных биографов рисовать фигуру либерала и чуть ли не фрондера (ИАК-150 2009: 31–32). Да нет, граф был верным слугой царю и сыном своего класса, но умным сыном и слугой, чуждым крайностей и подобострастного угождения.

В это время напуганный декабристским мятежом Николай I стремился устранить в обществе причины, способствовавшие мятежу. В частности, убрать корни свободомыслия из воспитания. Как повествуется в книге Петрова (2003), в мае 1826 г., в преддверии казни декабристов, еще до своего венчания на царство Николай послал Строганова в Московский университет с ревизией. Граф получил секретное предписание обратить внимание на *«вредный образ мыслей»* студентов и на *«благонамеренность самих наставников»*.

Посетив вступительную лекцию профессора-филолога (будущего академика) Ивана Ивановича Давыдова (1794–1863) *«О возможности философии как науки»,* Строганов нашел ее вредной, велел изъять печатные экземпляры лекции, запретить профессору Давыдову преподавание и вообще временно закрыть кафедру философии. Преподавание философии в Московском университете было прекращено почти на 20 лет, и лишь в 1845 г. по инициативе самого графа Строганова преподавать философию был приглашен М. Н. Катков (1818–1887), будущий реакционный публицист и издатель газет. Граф распространил на Московский университет инструкцию по наблюдению за студентами, подготовленную ранее для Виленского университета (это выражено во *«временных правилах»* внутреннего распорядка Московского университета 1826 г.).

В 1826 г. граф Строганов был назначен членом комитета по устройству учебных заведений, ликвидировавшего автономию университетов. В Комитете граф Строганов вместе с министром народного просвещения и президентом Императорской Академии наук адмиралом А. С. Шишковым, возглавлявшим Комитет, и графом М. М. Сперанским составили *«славянский триумвират» (это тот самый Шишков, который боролся с иностранными заимствованиями в языке и галоши требовал называть «мокроступами»).* Граф Строганов резко выступал против отправки молодых ученых за границу. Он участвовал в подготовке школьного устава 1828 г., перестроившего образование на сословных началах: для дворян — одни заведения (лицеи и гимназии), для разночинцев — другие, крепостным и вовсе незачем учиться.

В то же время Строганов не принадлежал к реакционному крылу комитета. На одном из заседаний он выступил против предложения графа К. А. Ливена, министра народного просвещения, об издании специального руководства для учителей по дидактике догматически-религиозного характера. Строганов заявил, что оно напоминает *«язык того времени, когда под покровом религии скрывалось гонение на просвещение и науки».*

Затем комитетом был подготовлен университетский устав 1835 г., урезавший намеки на вольномыслие в университетах. При подготовке устава именно Строганов выступил инициатором запрещения преподавать естественное право в Московском университете и просил графа Уварова рекомендовать *«неофициальным порядком»* профессорам юридического факультета раскрывать *«абсурдность теорий, на которых зиждется наука естественного права»* (ОПИ ГИМ. Ф.17. Оп.1. Ед.хр.81. ЛЛ. 80-81). В то же время Строганов выступал против

предоставления министру права не только утверждать, но и самому назначать профессоров университетов. По настоянию графа Уварова пункт всё же был принят.

В 1828–1829 гг. Строганов снова на войне — с турками на Дунае.

В 1831–1834 гг. Строганов исполнял обязанности военного губернатора в Минске и Риге. Кстати, младший брат его, Александр Григорьевич, был в 1839–1841 гг. министром внутренних дел, а до того и после того — генерал-губернатором в разных местах, один раз — в Петербурге. Ему приписывают изобретение блюда беф-строганоф для открытых обедов, на которые оба Строгановы пускали всех желающих, лишь бы были в приличном платье. Царь вполне доверял этому семейству.

В 1835 г. граф Сергей Григорьевич был назначен попечителем Московского учебного округа. Буслаев (1897: 108–109) вспоминает, как в годы его студенчества в Университет прибыл «молодой (всего 40 лет) попечитель... граф Сергей Григорьевич Строганов... свитский генерал, с серебряными эполетами и такими же аксельбантами... один из немногих любимцев императора Николая Павловича и его ровесник по годам, а при новом попечителе и новый инспектор — наш возлюбленный Платон Степанович Нахимов, в амуниции моряка, по чину — капитан II ранга». Студенты почувствовали благотворное обновление сразу же — граф отменил сдачу студентов за провинности в солдаты. Через два года (в год смерти Пушкина) был избран председателем Российского общества истории и древностей при Московском университете. Несмотря на участие в зажимных мерах до того, он был просвещенным покровителем Московского университета, который переживал при нем блестящую эпоху.

Как ни странно, граф стал действовать вопреки собственным предложениям недавнего времени. Он стал подыскивать на профессорские должности талантливых молодых людей с заграничной подготовкой и широким кругозором, и его не смущали передовые взгляды. Отправил за границу на стажировку группу молодых преподавателей. Граф был убежденным последователем Петра, цивилизатором и «западником». Профессорами Университета стали О. М. Бодянский, Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, С. П. Шевырев, С. М. Соловьев, Ф. И. Буслаев, П. Н. Кудрявцев. Строганов даже пытался (но безуспешно) оставить при Университете опасных в глазах министерства профессоров-естественников И. Е. Дядьковского и А. В. Болдырева, уволенных за распространение антирелигиозных и материалистических взглядов. Зато М. И. Погодина,

отстаивавшего «норманнскую теорию», попечитель, выходец из «славянского триумвирата», выжил из Университета (Кочубинский 1896; Петров 2003).

По-видимому, общие охранительные взгляды Строганова сталкивались с его заботой об успешности и процветании его собственного удела, с поощрением мастерства, а тут приходилось поступаться принципами. Возможно, подействовала университетская среда, отличная от военной и близкая графу по интеллектуальным интересам. Говоря языком психологов, менялась референтная группа графа.

Граф и сам пробовал свои силы в археологических исследованиях — в 1841 г. (год смерти Лермонтова) опубликовал небольшую работу о кладах серебряных украшений, найденных в Ярославле и в Владимирской губернии.

В это время министром просвещения был граф Сергей Александрович Уваров, человек образованный и либерально мыслящий, но чутко улавливавший пожелания государя. В результате не без оснований прослывший консерватором и даже реакционером. В 1840 г. он издал секретный циркуляр, рекомендовавший резко ограничить прием в высшие учебные заведения детей низших сословий. Строганов, в роду которого и крепостных, если проявят талант, освобождали и делали архитекторами, решительно воспротивился этому указу. Это была первая его размолвка с Уваровым.

Министр просвещения граф Сергей Александрович Уваров. Портрет маслом работы Василия Голике

Показательна его первая встреча с И. Е. Забелиным летом 1845 г. Тот тогда был молодым безвестным писцом, работавшим в архиве и увлеченно рывшимся в рукописях. Он принес Строганову какое-то деловое письмо от своего начальства. Строганов вряд ли знал, что молодой человек уже опубликовал одну заметку в журнале. Но что-то заинтересовало графа. Разговор записан в дневнике Забелина. Генерал спросил:

> «Где вы воспитывались?» — «В Сиротском доме под попечительством Дм. Львова». — «И только?» — «Только, ваше сиятельство, но я занимался наукой». — «Где вы занимались?» — «Дома, у себя». — «В университете не были? Никак нет, но я слушал лекции». — «Какие?» — «Всеобщей истории, русского законодательства» (Забелин 2001: 29).

Имелись в виду лекции Грановского. Генерал уже два года возглавлял работу над изданием «Древностей российского государства», и ему нужны были работники. Он взял Забелина делопроизводителем в Комитете по изданию «Древностей», потом сделал его своим личным секретарем. Он старался не упустить Воронихина.

Для Забелина, Буслаева и других ученых работать со Строгановым было и интересно, и тяжко. Забелин (2001: 57) описывал это в своем дневнике так:

> «Метода Строганова состоит в следующем. Он миллионер. Поступает и все дела ведет честно. Поручает вам и убежден, что и вы также честно будете вести дело, ибо для вас ничего не нужно. Ваше положение не изменяется, как и его. Он остается при том же миллионе, а вы при своей тысяче. Он считает это равнозначительным и равным вполне. Он не хочет знать, что вся эта передряга стоит для вас очень дорого во всех отношениях, и со стороны денег, и со стороны беспокойства».

Буслаев добавил: «Они вообще убеждены, что осчастливили, если пожали вашу руку или посадили вас рядом, а тем более, если сделали вас учителем своего сына» (там же). Увы, это убеждение разделяли и Буслаев с Забелиным, но возмущались только на словах. Забелин тщательно отмечал в дневнике, кто из знати и как подал ему руку — в перчатке, или без, или в перчатке, надетой на два пальца (государь).

Как бы продолжая характеристику, данную Строганову Долгоруковым, Герцен в «Былом и думах» писал о нем, сравнивая его с предшествующим попечителем Московского учебного округа, князем С. М. Голицыным:

> «Понятия Строганова, сбивчивые и неясные, были всё же несравненно образованнее. Он хотел поднять университет в глазах государя, отстаивал его права, защищал студентов от полицейских набегов и был либерален, насколько возможно быть либеральным, нося на плечах генерал-адъютантский "Наш" с палочкой внутри и будучи смиренным обладателем строгановского майората (H+I это вензель Николая I, а майорат — нераздельное

наследование, у Строгановых тридцати или сорока тысяч душ крепостных. — Л. К.). <...> С такими двумя бельмами, как майорат и "Наш" с палочкой, трудно ясно смотреть на божий свет, и граф Строганов иногда заступал постромку, делался чисто-начисто генерал-адъютантом, то есть взбалмошно-грубым, особенно когда у него разыгрывался его желчный почечуй, но генеральской выдержки у него недоставало, и в этом снова выражалась добрая сторона его натуры...

Когда он бывал в либеральном направлении, он говорил о книгах и журналах, восхвалял университет и все сравнивал его с тем жалким положением, в котором он был мое время. Но когда он был в консервативном направлении, тогда упрекал, что я не служу, что у меня нет религии, бранил мои статьи, говоря, что я развращаю студентов, бранил молодых профессоров, толковал, что они его больше и больше ставят в необходимость изменить присяге или закрыть их кафедры».

Далее произошел следующий диалог между генерал-адъютантом и Герценом, сосланным из Москвы во Владимир (где и состоялся диалог):

«— Я знаю, какой крик поднимется от этого, вы первый будете меня называть вандалом.

Я склонил голову в знак подтверждения и прибавил:

— Вы этого никогда не сделаете, и потешу я вас, могу искренно поблагодарить за хорошее мнение обо мне.

— Непременно сделаю, — ворчал Строганов, потягивая ус и желтея, — вы увидите.

Мы все знали, что он ничего подобного не предпримет, за это можно было позволить ему периодически постращать, особенно взяв в расчет его майорат, его чин и почечуй» (Герцен 1958: 177 –179, 182).

Пикантность ситуации была в том, что генерал-адъютант Строганов, прибыв наездом во Владимир, пригласил к себе ссыльного Герцена, чтобы похвастать перед ним улучшениями, которыми Московский университет был обязан просвещенному управлению графа, и заслужить похвалу Герцена!

Он также пытался добиться более мягкой цензуры для писателей. Но либеральные статьи в уваровском проекте устава университетов (отмена экзаменов) Строганов нашел разрушительными и сообщил об этом императору. «Спина у Строганова гнулась туго, — писал историк Левандовский (1990: 108), — он не то, что перед Уваровым, которого в грош не ставил, он перед самим Николаем не боялся отстаивать

свое мнение». Проект был провален. В результате подобных акций в 1847 г. Строганов поссорился с министром Уваровым.

Министр придрался к тому, что в магистерской диссертации славянофила К. С. Аксакова из исторического факультета содержались выпады против Петра I. Правда, Строганов сам приказал изъять эти страницы, а факультету был сделан выговор. Но министр добился, чтобы Строганову было велено установить «наблюдение за славянофильской пропагандой». Такое распоряжение приравнивало его к жандарму, и Строганов счел его оскорбительным. Он подал в оставку с поста попечителя учебного округа. Годом позже в издании Общества истории и древностей был напечатан перевод книги о России путешественника XVI века англичанина Флетчера. Флетчер нелестно отзывался о том, что он увидел в России. Нелестные отзывы о России! В сфере воспитания юношества! На дворе был 1848 г. — в Европе революция. Из министерства Уварова ушел донос государю. Строганов удержался на посту председателя Общества. Покинул его значительно позже (Платонова 2010а).

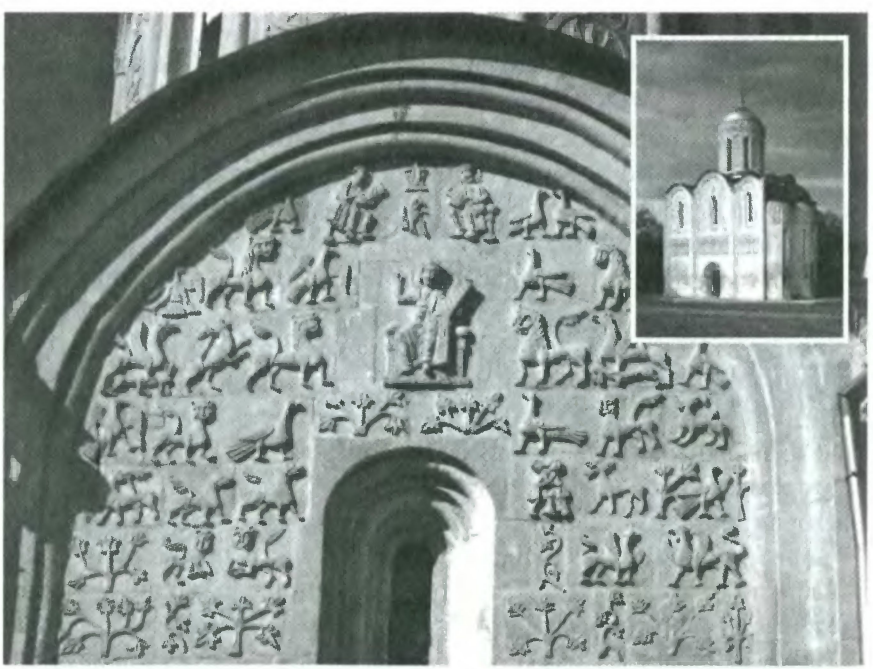
Но, уходя с поста попечителя, он, что называется, хлопнул дверью — доложил в рапорте государю о некрасивых интригах, коими Уваров его выжил. И Уваров тоже потерял свой пост. Вполне возможно, что уволил его царь Николай не из-за Строганова, а просто потому, что в ту пору царь уже переходил к более жесткой политике, сделав ставку на Аракчеева, и даже Уваров с его формулой «самодержавие, православие, народность» был слишком либерален и перестал его удовлетворять. Но в семействе Уваровых считали, что это Строганов сумел переиграть Уварова, и питали к Строганову враждебные чувства (Тихонов 2006).

Строганов не вышел из доверия Николая. Под впечатлением революции 1848 г. в Европе граф подал царю записку о необходимости ужесточить цензуру и вошел в состав секретного комитета Д. П. Бутурлина. Генерал Бутурлин, военный историк и дельный директор Публичной библиотеки, был назначен осуществлять высший надзор за печатными изданиями. Характер деятельности его Комитета ярко живописует в своих воспоминаниях графиня А. Д. Блудова, которая, впрочем, называет его приятным и остроумным в разговоре. Бутурлин требовал, чтобы вырезали несколько стихов из Акафиста Покрову Божьей Матери, как, например, такой: «Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и звероннравных». Когда граф Блудов заметил Бутурлину, что он, таким образом, осуждает своего ангела, св. Димитрия Ростовского, который сочинил этот Акафист,

Бутурлин возразил: «Тут есть опасные выражения». Блудов заметил, что подобные выражения есть и в Евангелии. Бутурлин, впрочем, уже в шуточном тоне, ответил, что если бы Евангелие не было такой известной книгой, то цензуре, конечно, нужно было бы исправить и ее (Брокгауз). Можно было бы спросить, кого это Бутурлин хочет предохранить от эпитета «владыка жестокий и зверонравный», но на это Блудов не решился.

Как видим, чуть отойдя от Университета, граф Строганов тотчас забыл свой университетский либерализм и вспомнил свои старые охранительные взгляды. Перед нами опять тот же николаевский генерал-крепостник, хотя и образованный, просвещенный и умный.

3. Археолог. На досуге Строганов занялся любимым делом — наукой и древностями. Он написал книгу «Дмитриевский собор во Владимире на Клязьме, строенный с 1194 по 1197 г.». Книга вышла в 1849 г. (Строганов 1849). Это было солидное произведение по истории русской архитектуры. Тут есть тоже некоторое противоречие. Генерал был крайним «западником». Около 1850 г. И. Е. Забелин со



Дмитриевский собор во Владимире

своим другом Д. А. Ровинским пришли к Строганову, полагаясь на его «авторитет как любителя и знатока искусства и покровителя художественным делам». Забелин в 1895 г. вспоминает:

> «Когда я представил ему наш проект, граф, коренной западник в своих воззрениях, раскритиковал его на том главном основании, что, по его мнению, никакого русского искусства до реформы Петра не могло существовать, что если и есть какие-либо достойные памятники, то все они воспроизведены иностранными мастерами. "Я не понимаю, — говорил граф, — о каком искусстве вы будете писать. Тут есть какое-нибудь недоразумение. Я советую вам оставить это предприятие"» (Формозов 1984; 39).

А в резьбе Дмитриевского собора во Владимире Строганов как раз усмотрел участие французских мастеров, что, кстати, аргументированно подтверждено современными исследователями (Иоаннисян 2007: 277–315). Но оригинальной резьбой своей этот собор выделяется из всех русских соборов, так что роль западноевропейских мастеров не распространяется на всю древнерусскую архитектуру. Воззрения же Строганова странным образом сочетались у него с антинорманизмом, приведшим к вытеснению Погодина из университета.

Труд этот и другие ученые труды Строганова сильно повлияли на такого ученого, как Ф. И. Буслаев. «Как много обязан я в своих исследованиях по иконографии и вообще по искусству назидательным советам и указаниям графа Сергея Григорьевича, — писалБуслаев (1897: 168), — а также его собственным печатным работам по этим предметам». В воспоминаниях ученый добавляет: «Он был для меня вторым университетом, <...> высшим и заключительным» (цит. по: Кызласова 1985: 38, прим. 49). Приводя эти цитаты, Платонова (2010а: 154) считает, что Строганов стоял у истоков винкельмановского направления в отечественном искусствознании.

Генерал-адъютант
С. Г. Строганов, основатель
Археологической комиссии

Как я уже упомянул, с 1843 г. Строганов руководит другим, гораздо более импозантным изданием — шеститомных «Древностей российского государства». Как сказали бы сейчас, явился ответственным редактором. Составителем же был художник Ф. Г. Солнцев, который с 1830 г. объезжал всю Россию, срисовывая памятники: древние здания, вещи — оружие и утварь, церковную и домашнюю. Издание выходило в 1849–1853 гг.

С портретов этого времени на нас холодно смотрит величественный магнат в генеральской шинели, лицо удлиненное с выдающимся подбородком и с усами, переходящими в бакенбарды. Прежде всего генерал. Для археолога фигура вроде бы странная, но таких не так уж мало в разных странах — Канингхэм, Питт Риверс, Мортимер Уиллер, Моше Даян, а в России — еще и Мельгунов, Оленин, Бранденбург, Муравьев-Карсский, Комаров.

Формозов (2004: 20–23) причисляет Строганова, как, впрочем, и Уварова, скорее к дворянам-дилетантам, чем к профессиональным ученым. Между тем Питт Риверс и Мортимер Уиллер считаются столпами профессионализации археологии в Англии. Во всяком случае генералы вносили в археологию организованность, любовь к порядку, планам и картам — элементы профессионализации. А дворянское образование давало культуру письменной речи и владение языками. Наконец, очень важное для археолога обстоятельство, особенно в России, — принадлежность к состоятельному слою, финансовая независимость, возможность думать и заниматься исследованиями, не заботясь о хлебе насущном. В чем-то они были дилетантами — не прошли систематического курса наук о древностях, не получили хорошей школы. А кто тогда это имел? Не отдавали всё время археологии, имели другие профессии и обязанности. Но и археология входила в их обязанности, так что становилась профессией, хотя и не единственной, не исключительной. И уж точно не приносившей заработка.

Книга Строганова о Дмитриевском соборе не хуже других написанных в середине XIX века по той же или схожей тематике.

Начало Крымской войны прервало мирную деятельность Строганова. Хотя ему уже около 60 лет, с 1853 по 1855 г. он снова на войне.

4. Археологическая комиссия. В 1855 г. кончаются война и царствование Николая I. На престол вступает Александр II. Для Строганова это резкий взлет карьеры. С 1856 г. он член Государственного Совета и один из самых приближенных к царю сановников.

В 1856 г. умер граф Перовский, отвечавший за археологические изыскания в России. Вся забота об археологии из отдельного министерства уделов передается (вместе с ним) в министерство двора. В ноябре царь издает указ министру двора графу В. Ф. Адлербергу: «Заведование археологическими розысканиями, поступившими ныне в состав Министерства Императорского Двора, возлагаем на члена Государственного Совета, Генерал-Адъютанта, Генерала от кавалерии Графа Строганова 1-го под ведением Вашим».

Старая команда археологов вокруг графа Перовского и его помощника молодого Уварова рассыпалась. Служить под началом Строганова, врага его отца, Уваров не желал и уехал из столицы в свое имение под Москвой. Однако Строганов хорошо знал русских археологов, представлял, кто есть кто. Из команды Перовского решился работать со Строгановым только П. С. Савельев. В декабре 1856 г. он пишет в Керчь А. Е. Люценко:

> «Спешу <...> успокоить Вас насчет будущности археологических разысканий вообще и Керченского музея в особенности. Начальником археологических в России разысканий <...> назначен граф Сергей Григорьевич Строганов, страстный археолог и владелец одного из богатейших частных музеев. Он хочет усердно приняться за эту часть и устроить ее на прочных основаниях. Тяжкая болезнь его отца до сих пор препятствовала ему приняться за дело; ждем также ассигнования сумм на будущий год» (ИАК-150 2009: 33).

Сборы проходили медленно. Через год, в 30 декабря 1857 г., Забелин записывает в дневнике свой разговор со Строгановым. Тот обратился к Забелину:

> «Государь мне поручил всю археологическую часть, находящуюся в заведовании Перовского, при Кабинете. Я хочу составить Комиссию. Вы не откажетесь? — Помилуйте, Ваше Сиятельство, вы меня осчастливите. — Я думаю пригласить сюда Кене: он, кажется лучше всех других по западной археологии, Савельева П. С. по нумизматике, русской и восточной археологии, и вас по русской. Вы будете получать 1000 рублей в VI классе» (Забелин 2001: 37).

Всё это время Строганов разрабатывает проект положения о «Главной Археологической комиссии» — так он ее хочет назвать, чтобы подчеркнуть ее властные полномочия над всеми археологическими памятниками и работами в стране. Адлерберг относится к этому без энтузиазма. Он хочет, чтобы новое учреждение именовалось

«Археологическая комиссия Министерства Императорского Двора» — тогда бы подчеркивалась влиятельность его министерства, но комиссия при таком раскладе получается не центральным органом, а ведомственным. В итоге слово «Главная» из названия было убрано, но Строганову удается внести в название эпитет «Императорская», чем статус ее всё же поднимается. Соответственно, не удается внести в устав запрет вести раскопки без разрешения Комиссии. Это получается ведущее раскопочное учреждение, но не больше. Не орган надзора и контроля, как это водится в других государствах (примерами для России были Франция Бонапартов и Италия). Положение об Императорской Археологической Комисии было утверждено 2 февраля 1859 г.

Вот бюрократия! Три года утрясали создание Комиссии, когда все было в основном ясно с самого начала. И бюджет, и штат.

Первоначально штат Археологической комиссии состоял из председателя, назначаемого государем и не получающего жалованья (ну какое жалованье нужно Строганову!), старшего члена (с годовым жалованьем 1200 р.), двух младших членов (жалованье по 1000 р. в год), делопроизводителя (800 р.), журналиста (350 р.), канцелярского чиновника (200 р.) и художника (500 р.). Журналист — это не представитель прессы, а секретарь, ведущий журнал поступлений, опись находок. На раскопки выделялось 10 тысяч рублей ежегодно (ИАК-150 2009: 40).

Младшим членом был принят Забелин, Савельев умер в год назначения и поработать в Комиссии не успел, найти подходящего старшего члена долго не получалось, наконец в 1861 г. барон Владимир Густавович (Эрнст Вольдемар) фон Тизенгаузен был принят

Строгановский дворец на Невском

делопроизводителем, потом возведен в младшие члены, потом в старшие, а при следующем председателе Бобринском для него была введена должность товарища (заместителя) председателя. Затем в Комиссии работали профессор Н. П. Кондаков, граф И. И. Толстой и др.

С самого начала Комиссия выдавала «Открытые листы» за подписью Строганова, уполномочивающие производить раскопки и обязывающие чиновников оказывать подателю листа содействие. Документы под таким названием выдавали тогда своим людям и другие ведомства. Это было нечто типа «подорожной», командировочного удостоверения, облегчающего передвижение по стране и доступ к рабочим объектам — памятникам. Еще не было порядка, при котором без Открытого листа раскопки производить нельзя.

Первое время Комиссия размещалась в нескольких комнатах Строгановского дворца на Невском, шедевра Растрелли. Сам Строганов жил в Москве, в 1859 г. — в качестве Московского генерал-губернатора. Но в 1860 г. он был назначен воспитателем наследника престола (а после его смерти в 1865 г. — других царских сыновей) и переселился в Петербург.

Эпоху реформ Строганов встретил с неудовольствием, был противником освобождения крестьян. В 1860-е гг., после студенческих волнений, вошел в число тех, кто выработал правила, запрещавшие политические сходки и уменьшившие число бесплатно обучавшихся студентов. Но принял участие и в создании устава 1863 г., вернувшего университетам автономию. В 1870 г. возглавил комиссию по реорганизации средней школы в духе реформы министра графа Д. А. Толстого — это было разделение образования на классическое и реальное. Эту реформу, жизненную и практичную, он всячески поддерживал.

К делам Московского археологического общества относился скептически. На призывы подготовительного комитета к I Археологическому съезду в 1868–1869 гг. откликнулся массой критических замечаний, а завершил их так: «не намерен принимать участия ни в каких делах Комитета ни съезда гг. археологов» (Тихонов 2006: 366). Так что конфликт между ним и семейством Уваровых оставался в силе и расширялся на археологию обеих столиц.

Между тем Археологическая комиссия работала неустанно, раскапывала курганы и (реже) городища, главным образом на юге России, скупала случайные находки, публиковала ежегодные отчеты. Сохранилась инструкция К. Н. Тихонравову по раскопкам курганов, собственноручно написанная Строгановым в 1863 г.:

«1. До начала раскопок составить план местности с обозначением расположенных на ней курганов.

2. Обо всем ходе работ вести поденный журнал с возможной подробностью. В этом журнале должно заключаться описание наружного вида и величины разрываемого кургана, свойства его насыпи, означение, в каких слоях какие попадались вещи. Наконец, при открытии в нем гробницы, устройство и размеры ее, положение в ней погребенного и расположение вещей около остова или на самом покойнике.

Для более наглядного объяснения <...> прилагать <...> точные планы».

Затем указано: сохранять черепа, представить вещи, не оставлять работы без надзора и так далее — всего 9 пунктов (ИАК-150 2009: 822).

Убийство царя-освободителя Александра II престарелый граф воспринял с естественным негодованием как свидетельство вредности либерализма. В Государственном Совете он решительно против идеи конституции, предлагаемой М. Т. Лорис-Меликовым. Строганов — в союзе с обер-прокурором Синода К. П. Победоносцевым, «который над Россией простер совиные крыла» (А. Блок).

Но в 1881 г. Строганову уже 87 лет. Исполнять все его должности ему стало очень трудно, это видно по тому, что состав Комиссии уменьшился, активность тоже — Комиссия не расходует свой бюджет, до половины всех денег возвращается в казну. Строганов подыскивает себе замену. Его выбор останавливается на его родственнике А. А. Васильчикове, директоре Эрмитажа. В начале 1882 г. царь удовлетворяет его прошение об оставке и передаче дел Васильчикову с одновременным оставлением того в должности директора Эрмитажа. А Археологическая комиссия переехала в Эрмитаж.

Весной того же года граф Строганов умер — в пасхальную ночь.

Вместе с подготовкой Комиссии правление Строганова в ней заняло четверть века. Четверть века в центре археологической активности государства находился человек вовсе не свободомыслящий, никак не прогрессивных взглядов, но толковый, беспредельно богатый, уважаемый властью, распорядительный, честолюбивый и увлеченный. Возможно, именно такой человек был необходим, чтобы в косной бюрократической России пробить идею о необходимости центра археологических работ. Приучить к важности древностей всю страну — царей, митрополитов и народ.

Строитель российской археологии

А. С. Уваров

Из того ли то из города из Муромля,
Из того села да с Карачарова
Выезжал удаленький дородный добрый молодец...
Былина «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».

1. Связи в культуре. У колыбели российской археологии стоял баловень судьбы и неутомимый работник. Казалось, играючи этот атлант держал на своих плечах быстро растущее тело российской археологии. Это ему А. К. Толстой, его двоюродный брат, в 1854 г. адресовал свое стихотворение о русском размахе:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!..
(Толстой 1981: 206).

Будто нарочно родовое имение Уварова располагалось в селе Карачарове Муромского уезда, родине легендарного богатыря Ильи Муромца.

Российская археология как наука формировалась вокруг двух устоев — *Императорской Археологической комиссии* в Петербурге (с Российским археологическим обществом и Эрмитажем) и *Московского археологического общества* во второй столице. Руководители Археологической комиссии сменялись, а Московским археологическим обществом от начала до конца более полувека руководили граф Алексей Сергеевич Уваров и затем (до самой революции) его супруга Прасковья Сергеевна (наиболее полные биографии см. Анучин

1886; Материалы 1910; Формозов 1993). Оба принадлежали к самому влиятельному, родовитому и богатому слою русской аристократии. Семейными связями и родословной они были укоренены в русской культуре и государственности.

Отец графа Уварова Сергей Семенович был тот самый николаевский (Николая I) президент Академии наук и министр просвещения, который придумал пресловутую формулу — «самодержавие, православие, народность», ставшую надолго девизом консерваторов в России. Он был покровителем Пушкина, а потом его врагом, и Пушкин (1949: 337) тогда о нем писал: «Уваров большой подлец <...>, негодяй и шарлатан. Разврат его известен (ходили упорные слухи, что Уваров был гомосексуален. — Л. К.). <...> Он крал казенные дрова...» и т. д. Дед Семен Федорович Уваров, ведущий происхождение от татарского мурзы XV века Минчака, командовал гренадерским полком при Екатерине и был любимцем князя Потемкина, который звал его Сеня-бандурист.

Богатство Уваровых идет не от него, а от другого деда — графа А. К. Разумовского, который был сыном последнего гетмана Малороссии (а до того простого казака) и племянником фаворита Елизаветы Петровны. При Александре граф Алексей Кириллович был министром просвещения. На дочери графа Екатерине Алексеевне женился сын Сени-бандуриста и отец археолога. Та была некрасива и немолода, но принесла будущему министру как приданое огромные имения и 11 тысяч душ крепостных, а также он практически унаследовал пост министра. Сестра графа Разумовского, Наталья Кирилловна Загряжская, была прообразом Пиковой дамы для Пушкина. А незаконный сын графа и дядя археолога, Лев Алексеевич Перовский (фамилию получил по имению Перово), был при Николае I министром внутренних дел, что весьма пригодилось археологу.

Жена археолога Прасковья была урожденной княжной Щербатовой, по матери — из князей Святополк-Четвертинских, ее бабушка — княжна Гагарина, все из Рюриковичей. Отец ее, князь Щербатов, был другом Пушкина. Именно с Прасковьи Щербатовой Лев Толстой, ухаживавший за ней в юности, писал свою Китти в «Анне Карениной». Сестра ее деда Святополк-Четвертинского, в замужестве Нарышкина, была любовницей Александра I, и брат ее, заявив царю, что, к сожалению, не может вызвать на дуэль своего государя, удалился от дел (Купряшина 1990; 1991; Формозов 1993). Таким образом, для Алексея Уварова некоторые общеизвестные события русской истории и культуры были частью семейной хроники.

Вопреки вполне очернительскому изображению в советской исторической литературе, у министра Уварова, отца археолога, при всей реакционности политики и всей личной непорядочности (беспринципный карьеризм, бесчестность, скаредность), было немало положительных качеств. Он был хорошо образованным человеком, которого ценили как собеседника А. Гумбольдт, Гете, Карамзин, знал семь языков, сочинения свои писал на французском. Он был членом литературного объединения «Арзамас», в котором состоял Пушкин, перевел на французский стихотворение Пушкина «Клеветникам России», голосовал за избрание Пушкина почетным академиком. Именно он убедил Гнедича переводить «Илиаду» гекзаметром. При нем на посту президента Академии наук и министра просвещения были созданы Пулковская обсерватория и Археографическая комиссия. Посещая Москву, министр приглашал в свою подмосковную усадьбу Поречье профессоров Московского университета — Т. П. Грановского, М. П. Погодина, С. П. Шевырева, бывали там и петербуржцы В. А. Жуковский, П. А. Плетнев. Они читали в усадьбе лекции, дискутировали. С. С. Уваров и сам писал о классических древностях — об элевсинских мистериях, догомеровской эпохе (Формозов 1993).

Такова была атмосфера в доме.

2. Дипломат, камер-юнкер, антиквар. Алексей Сергеевич был единственным сыном президента Академии наук (затем министра). Он родился 28 февраля 1825 г. — в год мятежа декабристов, первый год николаевского царствования. В школу не ходил, с ним занимались домашние учителя. В 1841–1845 гг. учился в Петербургском университете на отделении словесности философского факультета. Научным его руководителем был академик Ф. В. Грефе. Академик был филологом-эллинистом, археологией не занимался, но интерес к античности привил своему ученику. По окончании университета, как в свое время его отец, Алексей Уваров поступил на службу в ведомство иностранных дел, в канцелярию министра Нессельроде.

Алексей Сергеевич Уваров, студент

Одновременно стал камер-юнкером при дворе. Отец выделил ему имение Карачарово, но сын жил в основном в Петербурге. В 1846 и 1847 гг. ездил с дипломатическими поручениями в немецкие княжества и, проводя там по 2–4 месяца, использовал эти визиты для посещения лекций в Берлинском и Гейдельбергском университетах.

В Берлинском университете тогда преподавали Эдуард Герхард, уже издавший свои «Rapporto volcente» (отчеты о раскопках в Вульчи), и Теодор Панофка, его римский соратник. Эдуард Герхард известен тем, что продвинул археологию от изучения монументального искусства к изучению вещественных древностей вообще и сформулировал методы археологии Винкельмана. В Гейдельберге до 1844 г. долго преподавал Фридрих Крёйцер, более всего известный своей книгой «Символика», оказавшей влияние и на Герхарда с Панофкой, и, вероятно, гейдельбергские ученики его еще обсуждали эти проблемы в последующие годы, когда там побывал Уваров. (Schiering 1969: 75–78, 81, 160). Обе тенденции — к смещению внимания в сторону вещественных древностей и к символике впоследствии, видимо, сказались на научной деятельности Уварова.

Формозов (1993: 230) подчеркивает, что для расширения кругозора выбраны были немецкие университеты, а не французские. Он считает, что здесь чувствуется воздействие отца: министр Уваров явно отвергал революционную Францию (куда чуть позже С. М. Соловьев ездил слушать лекции Ж. Мишле и Ф. Гизо). Министр предпочитал Германию, а сын придерживался тех же симпатий и антипатий, что и отец. Это возможно, но дипломатические миссии были как-никак именно в немецкие княжества, а следующая (в 1847 г.) — в Неаполь. Так или иначе, ориентация с давних пор была на немецкую науку (ср. состав петровской Академии). А в Германии, Австро-Венгрии и России были в XIX в. общие интересы к древней истории, отличные от интересов западноевропейской науки: там в атмосфере рыночного хозяйства и гражданских свобод дело шло к формированию эволюционизма и к решению проблем антропогенеза, в Центральной и Восточной же Европе, где на первом плане были проблемы самоопределения наций и территориальные споры, археология всё больше концентрировалась на выявлении культур и их территорий (Клейн 2011а: 342–343).

С молоду Алексей Уваров коллекционировал древние монеты. Многие юноши увлекаются коллекциями, а богатые люди имеют для этого хорошие средства; вкус к древностям навеян интересами отца и университетским образованием. Так что ничего особенного

и незаурядного. Коллекционирование ввело Алексея в кружок петербургских антикваров, в значительной части немцев, собиравшихся каждую субботу на квартире Я. Я. Рейхеля. В 1846 г. один из этих антикваров, Б. В. Кене, надумал превратить неформальный кружок в Археолого-нумизматическое общество (за год до того уже было учреждено Географическое общество). Решено было использовать связи молодого Уварова в администрации, и его включили в число членов-учредителей. Ему был 21 год.

Уваров быстро показал, что будет не на периферии, а в центре активности общества. Он подарил обществу свои коллекции монет, предложил начать археологический словарь и сам представил образец статей на букву «А», выделил из своих средств премии в 300 руб. серебром за научные сочинения на заданные темы. Одним из первых получил такую премию И. Е. Забелин. Словом, в обществе Уваров выступил как меценат и организатор.

В 1847 г. обсуждение истории Северного Причерноморья породило идею обследовать этот район. Поскольку общество не располагало средствами на раскопки, Уваров решил снарядить экскурсию или, как сейчас говорят, экспедицию на свой счет. Он составил программу и осуществил ее в 1848 г. Европа пылала в революции, а 22-летний Уваров обследовал Северное Причерноморье. С ним вместе были выпускник Академии художеств М. Б. Ведель и антикварий П. Ю Сабатье. С последним Уваров поделил район: сам направился обследовать Ольвию и всё, что западнее, а район Керчи и азиатский Боспор был выделен Сабатье. В 1849–1850 гг. в своем Карачарове Уваров работал над материалами и в 1851 г. выпустил книгу «Исследования о древностях Южной России и берегов Черного моря», в основном посвященную Ольвии. Сабатье же издал в 1851 г. книгу о Керчи.

Книга Уварова была построена в основном на эпиграфическом и нумизматическом материале, используя литературные труды предшественников. Проводить собственные раскопки он не решился. Исследование было выполнено грамотно, на уровне своего времени, но без принципиальных прорывов. Несколько полнее предшественников, немного точнее — это всё. Но для Уварова это было важное личное достижение: он выяснил, что может заниматься наукой не хуже других, а средств у него больше.

3. Профессиональный археолог. Между тем революция 1848 г. в Европе, игнорировавшаяся молодым Уваровым, непосредственно коснулась его судьбы. Николай I испугался событий в Европе, и даже

консервативный курс министра Уварова показался царю слишком либеральным. Он отправил министра в отставку, старика разбил паралич, и, оставив Петербург, тот перебрался в Москву и свое подмосковное имение Поречье. Молодой Уваров остался без отеческой опеки. Он решил покинуть Министерство иностранных дел и устроился в Министерство внутренних дел к своему дяде Перовскому на должность чиновника по особым поручениям. Он стал надворным советником и камергером.

А раскопки в России развертывались всё шире, особенно на Юге — скифских курганов и античных городов, в Эрмитаж поступали украшения, амфоры, обломки статуй, надписи. В 1850 г. была учреждена Комиссия для исследования древностей во главе с графом Л. А. Перовским, участником битвы при Бородине, внебрачным сыном графа А. К. Разумовского, министра просвещения и попечителя Московского учебного округа. Перовский был завзятым коллекционером, проводил раскопки. 30 августа 1852 г. император издал указ о подчинении Перовскому всех археологических изысканий в России. В следующем году Перовский и его археологические заботы были переведены в другое ведомство: Перовский стал министром уделов и возглавил Кабинет Его Величества — личную канцелярию царя, ведавшую имуществом (в том числе землями) царской фамилии. С ним перешел в новое ведомство и Уваров.

Граф Лев Алексеевич Перовский, глава Комиссии для исследования древностей и дядя А. С. Уварова

Таким образом, отказавшись от карьеры дипломата, Уваров оказывался на службе по археологии. Возможно, это не был сознательный выбор профессии, а было просто намерение молодого человека перейти в ведомство, где ему было обеспечено родственное покровительство и более быстрое продвижение. Но и занятия археологией, возможность совмещать службу с хобби, несомненно, привлекали антиквара-любителя и сыграли свою роль в выборе карьеры.

В 1850 г. Перовский предложил своему чиновнику по особым поручениям провести раскопки

каких-нибудь древнерусских памятников. Он склонялся к Новгороду Великому, 25-летний Уваров возразил, что раскопки в Новгороде уже проводились и ничего не дали, а вот знакомые ему курганы близ Карачарова выглядят многообещающими. Он, еще обследуя Новороссию близ Ольвии, рассчитал, что средний курган можно раскопать за день; за лето, стало быть, штук 140... Проект был принят, из казны выделено 2500 рублей, и с 1851 г. раскопки во Владимирской губернии развернулись с богатырским размахом. За 98 дней раскопали 757 курганов в 17 могильниках Владимирского и Суздальского уездов, в следующем году — 2318 курганов в 77 могильниках Суздальского и Юрьевского уездов. Помогали некоторые чиновники, а профессионально — землемер В. Алеев (планы могильников) и художник Н. Медведев (зарисовка находок).

Затем экспедиция был перепоручена П. С. Савельеву, востоковеду, археологу и нумизмату, известному и как журналист. Он также был взят в ведомство Перовского и раскопал еще 4654 кургана в двух губерниях — Владимирской (Юрьевский и Переяславский уезды) и Ярославской (Ростовский уезд). То есть Савельев раскопал почти вдвое больше курганов, чем сам Уваров.

С этими раскопками связаны осудительные оценки деятельности Уварова как главного представителя аристократической археологии царской России. В российской археологии было принято считать методику Уварова образцовой: «дневник и журналы ведены были с величайшей точностью и подробностью» (1871 Тр. I АС т. I: XC; Ардашев 1906–1907: 25–40). Но и осуждение началось еще до революции — с уничтожающего отзыва выдающегося археолога А. А. Спицына.

В 1905 г. в революционной атмосфере крушения авторитетов разночинец Спицын, занявшийся разбором владимирских коллекций Румянцевского музея, увидел «беспорядочную груду материала» и пришел к выводу, что при раскопках полевая документация не велась вообще, а опись вещей была составлена Уваровым по памяти и отчетам. Восстановить комплексы вещей по курганам невозможно. Владимирские курганы потеряны для науки, погублены. «Выводы гр. Уварова нас уже не могут удовлетворить, так как они не основаны на точном материале». Спицын (1905: 89–90) завершал свой отзыв патетически: «Грандиозные раскопки 1851–1854 гг. в Суздальской области будут долго оплакиваться наукой и служить грозным предостережением для всех любителей массовых раскопок». Пафос Спицына, члена Археологической комиссии, был подогрет пререканиями петербуржцев с Московским археологическим обществом,

где председательствовала графиня П. С. Уварова, и постоянным соперничеством двух центров археологии.

Естественно, эта декларация послужила основанием для разгромной критики в сталинское время раскопок и вообще деятельности Уварова, главного археолога царской России. Ученик Спицына В. И. Равдоникас (1930: 26) в переломный год отношения к старой археологии развивал Спицына: «всесокрушительные раскопки курганов» велись «в коллекционерской погоне лишь за вещами», «здесь сказалось легкое, барское отношение Уварова к науке». И дальше: «Располагая большими средствами, к науке он относился как другие из его класса к охоте, к балету, к разведению породистых лошадей, к карточной игре и т. д., то есть как к хорошему средству заполнить праздное время, которое некуда было девать» (1930: 38). Соперник ленинградца Равдоникаса москвич А. В. Арциховский (1947: 194) заявлял о раскопках Уварова, что «даже для своего времени они возмутительны». В академическом труде по историографии отчественной истории (Арциховский 1955) он писал, что этот дилетант загубил 7000 курганов и был достойным наследником своего отца, известного мракобеса.

Предпринимая в 1960-е гг. пересмотр отношения к старой русской археологии и персонально к Уварову, А. А. Формозов указывал, что раскопки во Владимирской губернии были направлены на изучение русских древностей, на решение исторических задач и исследование всего быта населения, получение рядового материала, а не только эффектных вещей. Это прогрессивные черты. Но уваровскую методику Формозов не реабилитировал, а в том, что задачи были историческими, позволительно усомниться: скорее этнографическими.

В эпоху перестройки появилась работа ленинградца В. А. Лапшина (1986), в которой содержалась мотивировка совершенно другой оценки владимирских раскопок. Оказывается, в 1851–1852 гг. дневники Уваровым всё-таки велись, они были обнаружены А. Н. Кирпичниковым в фондах ГИМ, а затем использованы Е. А. Рябининым, самим Лапшиным и др. А дневники Савельева 1853–1854 гг. были известны еще Спицыну. Просмотр уваровских дневников показал, что с ними вполне можно работать, что комплексы описаны покурганно. Отражены размеры насыпи, обряд погребения, перечислен инвентарь, фиксируется его положение относительно покойника, в 60% указана ориентировка.

Курганы, оказывается, копались не колодцем или траншеей, а на снос, глубина же находок замерялась по останцу в центре. В материке добавочно прокапывались две контрольные канавки крест-на-крест.

Формозов, вернувшись к этой теме, одобрил пересмотр Лапшина, отметив, однако, что он всё же перехвалил Уварова. Ровики в курганах не прослеживались (хотя это умел делать еще А. Д. Чертков в своих раскопках 1839–1845 гг.). Планы курганов не зачерчивались — правда, этого тогда не делал никто. Лапшин считает, что документация была утрачена уже в музеях при передаче коллекций из музея в музей. Возможно, но из трех найденных мечей место находки одного выяснить невозможно — это вина не музея. В ящиках, посланных в Москву, образцов курганной посуды не оказалось. Стратиграфические наблюдения отсутствуют. А без них не выяснить, как в коллекцию попали каменные орудия — с землей насыпи, или в порядке вторичного использования (как объекты колдовства), или среди курганов были и первобытные. Антропологичекий материал был взят выборочно и не был обработан. Словом, нареканий достаточно. Главное: он был тороплив и копал с непозволительным размахом: коль рубнуть, так уж сплеча. Археология не терпит такой спешки.

Савельев умер в 1859 г., а Уваров напечатал краткую заметку о владимирских курганах в «Записках» Русского археологического общества в 1856 г. и надолго отложил обработку материала.

Экспедиция во Владимирскую губернию была использована для решения еще одной задачи — Уваров разыскал могилу князя Дмитрия Пожарского в Спасо-Евфимьевском монастыре в Суздале и доказал ее принадлежность герою освобождения России. Там была возведена часовня, после революции ее разрушили и на месте монастыря организовали колонию малолетних преступниц. После Отечественной войны колонию распустили и на этом месте поставили памятник Пожарскому. Теперь там музей (пока еще не монастырь).

В 1853 г., когда Владимирскую экспедицию возглавил Савельев, Уваров обратился вновь к Причерноморью. Он провел небольшие раскопки в Ольвии, Херсонесе и на городище Кременчик — на руинах Неаполя Скифского близ Симферополя. Раскапывать древние города не умели не только в России — дело было ещё до раскопок Олимпии. Задачу видели в том, чтобы добыть статуи, надписи и монеты. В Херсонесе удалось выявить византийскую базилику с мозаичным полом и 24-мя мраморными колоннами. По приказу царя мозаика была отреставрирована и перенесена в Эрмитаж, где уложена в один из залов античного отдела. Уваров и его археологические достижения были на виду у царя.

В 1854 г. раскопки завершились под грохот канонады: началась Крымская война, франко-английская эскадра приступила к обстрелу

Крыма. Кончалось николаевское царствование, а вместе с тем и полевой период в жизни Уварова. Больше крупных раскопок он не вел.

4. Потрясения. Уваров вступил во Владимирское ополчение, хотя участвовать в боевых действиях не довелось.

Но потрясения были связаны не только с войной и поражением. В феврале 1855 г. скончался император Николай, в сентябре умер отец археолога С. С. Уваров, в 1856 г. — дядя Перовский. Алексей Сергеевич оказался наследником огромного состояния, но утратил поддержку во властных структурах. В 1859 г. была учреждена долго проектировавшаяся Археологическая комиссия, но во главе ее поставлен граф С. Г. Строганов, давний враг С. С. Уварова. Уваров-сын поддерживал с ним отношения, но служить под его началом не было смысла. В 1857 г. он ушел из министерства уделов и перебрался в Москву, где 32-летний камергер получил пост помощника попечителя Московского учебного округа. В 1859 г. ушел в отставку и перевел свою резиденцию из Карачарова в Поречье.

Всё это как-то связано с тем, что в 1859 г. он женился на княжне Прасковье Сергеевне Щербатовой, и супруги поехали в свадебное путешествие за границу на два года. Побывали в Англии, Испании, Франции, Италии. В Англии Уваров посетил Герцена, чего его отец, вероятно, делать бы не стал. Всё-таки другие времена. В Италии он задержался надолго, особенно в Равенне, где изучал византийские храмы. Вообще в путешествии Уварова интересовали именно византийские храмы и иконы, он искал в романских соборах Италии истоки владимиро-суздальсокй архитектуры. В программной речи позже, на III Археологическом съезде, он говорил, что для русской археологии три круга зарубежных древностей важнее всего — византийский, скандинавский и славянский (Уваров 1878: 47). Вот с ними он и стремился ознакомиться, что и отражено в его путевых заметках и записях, вошедших в посмертные «Сборники мелких работ» (Формозов 1993: 236).

Целью Уварова было создать обобщающие труды «История византийского искусства» и «Христианская символика» (возможно, в последней цели сказалось воздействие обучения в Гейдельберге, у последователей Крёйцера). «Символика» пополнялась Уваровым до последних лет жизни. Но обе книги не вышли, а то, что проникло в печать, было опубликовано слишком поздно. Н. П. Кондаков преуспел значительно больше в изучении византийского искусства, а из «Христианской символики» первый том вышел в 1908 г., а второй

так и остался в рукописи (в архиве Уварова). Вышедший том сильно устарел к моменту выхода, хотя в чем-то представлялся полезным для справок. К этой работе Уваров был недостаточно подготовен, а главное — не отдавался ей целиком, не уделял ей досточно времени и непозволительно запаздывал. И не понимал этого.

Много дел было в Поречье. Уваров стал обустраивать семейное гнездо по-своему. Отец собирал антики и картины великих художников. Сына больше привлекали русские древности. Он скупал готовые коллекции известных собирателей — в каждой были сотни экспонатов. Пополнял и одиночными покупками на рынке в Москве и на Нижегородской ярмарке. Описание этого собрания издано посмертно (Каталог 1897–1908). После освобождения крестьян в 1861 г., сразу по возвращении из свадебного путешествия, нужно было заняться устройством 16 тысяч крестьян и имущественными отношениями с ними. Занимался Уваров и земской деятельностью, строительством больниц и школ в своих губерниях — Московской и Владимирской.

5. Организатор. Между тем в Петербурге продолжало заседать Русское Археологическое Общество, активным членом которого был в молодости Уваров. Оно издавало «Записки» на французском и на русском языках, а с 1859 г. — «Известия РАО». Созданная Строгановым в 1859 г. Археологическая комиссия развернула из Петербурга активную деятельность по всей России. По поручению комиссии И. Е. Забелин, некогда получивший Уваровскую премию, раскопал в 1863–1864 гг. самый великолепный скифский курган — Чертомлыцкий, давший роскошные сокровища, в том числе знаменитую Чертомлыцкую вазу — серебряную амфору с изображениями скифов вокруг стреноженного коня. Видимо, без малого сорокалетнего графа обуяла ностальгия по времени, когда он был в центре археологической активности страны. Сил и средств было достаточно. Он решил создать новый центр археологической деятельности, независимый от Петербурга.

Хотя он и был в попечительстве Московского округа, как когда-то Строганов, но общество истории и древностей при Университете было для него закрыто: там председателем остался всё тот же Строганов. Нужно было создавать совершенно новое общество (Тихонов 2006: 364).

12 февраля 1864 г. граф, высокий и стройный человек, с бакенбардами и густой шевелюрой, пригласил к себе в имение Поречье нескольких московских любителей древностей и предложил им создать

Граф А. С. Уваров — организатор Московского археологического общества и Археологических съездов

в Москве Московское археологическое общество, МАО (в Петербурге Русское археологическое общество, РАО, существовало с 1846 г.). Для московского общества были выдвинуты три задачи: развивать археологию, преимущественно славяно-русскую, популяризировать археологические знания и устраивать археологические съезды. 4 октября Общество было официально учреждено. С разрешением от царя поступила и денежная субсидия по 3000 рублей ежегодно, которая затем возросла до 5000 в год. Вскоре в общество вступили известнейшие московские профессора-историки и археологи: М. П. Погодин, С. М. Соловьев, И. Е. Забелин и др. Формозов отметил, что, в отличие от РАО, среди учредителей МАО мало людей с иностранными фамилиями: «Национальное самосознание за 20 лет возросло, — объясняет Формозов (1993: 237), — да и Москва более русский город, чем космополитический Петербург». Вероятно, сказались и исходные настроения главного учредителя — графа Уварова.

Общество избрало иную специализацию по сравнению с петербургским. Из всех древностей петербургские антикварии предпочитали античные и скифские, хорошо представленные в Эрмитаже, также восточные (Средняя Азия), тогда как МАО занялось преимущественно первобытной археологией и славяно-русскими памятниками. На первом же заседании Уваров (Материалы 1910: 127) ясно поставил эту задачу и связал ее с освобождением от наполеоновских завоеваний в Европе:

> «Пробужденное чувство народности, по умирении Европы, обратилось на изучение всего родного. <...> Общий характер науки христианских древностей изменяется и принимает во

всех странах характер национальный. Под влиянием чувства народности в Европе возникают Археологические Общества».

Граф с сожалением признает:

> «У нас наша русская старина не дошла еще до такой обработки. <...> Русская Археология не сложилась еще в стройную, правильную науку, не имеет строгой научной формы, но должно сознаться, что это происходит не от недостатка материалов, как некоторые полагают, а от совершенно другой причины: от какого-то векового равнодушия к отечественным древностям. Не только мы, но и наши предки не умели ценить важности родных памятников, и без всякого сознания, с полным равнодушием, безобразно исправляя старинные здания или восстанавливая их сызнова, они не понимали, что каждый раз вырывали страницу из народной летописи».

Уваров не связывал это отставание с общей отсталостью крепостнической России. Но он призывал бороться с этим частным отставанием. Заседания петербургских антиквариев были камерными, доступными только для избранных. В Москве, исходя из прокламированных целей, стала привлекаться публика и читались лекции. «В этом сказался дух демократических 1860-х годов», — полагает Формозов (1993: 237). Вряд ли круг семейства Уваровых был так уж демократичен. Да, при поездке в Лондон в 1861 г. он посетил Герцена и потом переписывался с ним (Формозов 1983: 87). Но Уваров, например, не допускал дам в члены Общества, и, чтобы не подавать дурного примера, его супруга при его жизни не была членом МАО. В большей либеральности сказывалась скорее удаленность от двора и столичной бюрократии, а также цели популяризации и просвещения. В отличие от петербуржцев, москвичи взялись за охрану памятников и предотвратили гибель многих из них, в частности «Курьерского дома» — палат дьяка Аверкия Кириллова, построенных при Иване Грозном. Александр II отдал их МАО, и общество полвека собиралось в этом здании.

Формозов очень объективно сопоставляет печатную продукцию РАО и МАО, отдавая преимущество петербуржцам. В «Записках» РАО вышло много первоклассных трудов — В. В. Латышева, М. И. Ростовцева, Б. В. Фармаковского, А. А. Спицына, В. Р. Розена, В. В. Бартольда, тогда как в «Древностях» (трудах МАО) преобладают заурядные, ныне устаревшие работы по древнерусскому искусству и быту. Сам Уваров сделал на заседаниях Общества за 20 лет 70 докладов. Поставив перед Обществом задачу создать археологический словарь,

Уваров всячески поощрял публикацию материалов для него и сам их писал, написал 30 таких статей: «Апракос», «Алкопос», «Потир», «Божница», «Закомара» и т. д.

Но вот чем МАО решительно отодвинуло РАО в тень, это организацией археологических съездов. Этим достижением МАО стало вровень с Археологической комиссией по своему значению для российской археологии. Идея была выдвинута с самого начала деятельности Общества, в 1864 г., и была вполне в духе одновременных установок археологов Запада — Франции, Англии и Германии, как и конкретная форма проведения. Первый археологический съезд в Европе собрался в Невшателе в 1866 г. Разрешение на всероссийские археологические съезды было получено в 1868 г., а первый съезд открылся в Москве 16 марта 1869 г. На проведение съезда граф пожертвовал 11 тысяч рублей. Схожие суммы жертвовал и на другие съезды.

И. Е. Забелин (2001: 91–92), отражая настроение строгановской Археологической комиссии, описывает съезд скептически:

> «Извозчик — и подъехал я за каретою, санями и т. д. в половине первого. Красная ливрея на швейцаре и лакеях, красное сукно на лестнице, за которое, когда я было невзначай зашагал на нем, швейцар дал мне замечание — по сукну не ходить. Порядок. Но кому пальто отдать, никого не было. Иду наконец вверх. Прямо зеркало, по сторонам два красных лакея высокие, стоят неподвижно, точно статуи, у одного лицо смахивает на египетское что. Эффектно. <...> Билеты принимал какой-то молодой офицерик с белым бантом в знак принадлежности к археологическому корпусу».

На кафедру взошел министр Делянов.

> «Рожа какая мерзопакостная, точно какой-то волдырь водянистый, что-то вроде водяной мозоли. В речи, кроме официального сказания о разрешении съезда, заключалась похвала выспренная старому Уварову, которого он обозначил усопшим, вместо покойный, и затем, конечно, слава пропета молодому. Объяснилось, каким путем разрешен съезд. Толстой, министр, находился в очень близких отношениях к старому Уварову — всё дело понятно, почему торжествует молодой. Потом явился на кафедру этот Уваров и восхвалил министра, и Делянова, и университеты...»

В заключение Забелин желчно заносит в дневник:

> «Записывать всё скучно. Общая характеристика всего съезда та, что это была ярмарка тщеславия. Всякий хотел рисоваться

> перед публикою, иные прямо себя хвалили целыми статьями.<...> Погодин, первый оратор, раздавал всем оценку, как отец и учитель в школе. Этот хорошо, и тот так себе. Похвала себе, смешанная с похвалой приятелям. Но состояние науки не выяснено».

При всей наблюдательности Забелина он за парадом проглядел основное: что, готовя съезд, археологи проделали огромную работу, мобилизуя силы на обследование территории, открыли новые памятники, собрали сведения воедино, на съезде обменялись опытом. Собственно, съезды превращали археологию в постоянную институцию. В дальнейшем и сам Забелин выступал на них.

Далее съезды проходили регулярно через каждые три-четыре года и, как на Западе, каждый раз в новом городе. Второй — в Петербурге (1871), третий — в Киеве (1874), четвертый — в Казани (1877), пятый — в Тифлисе (1881), шестой — в Одессе (1884). Это был последний съезд, на котором присутствовал (и председательствовал) уже тяжело больной Уваров (он умер в том же году). Но съезды проходили с той же регулярностью и после его смерти — до самой Первой мировой войны. Революция оборвала эту традицию, столь важную, конституирующую для российской археологии.

На съезд собирались археологи со всей России. На первый съезд прибыло 130 археологов, на третий 240, на шестом было более 400. Съезд продолжался около недели. К каждому съезду создавался подготовительный комитет, который продумывал и печатал вопросы, готовил выставки, проводили раскопки в окрестностях города, в котором намечался съезд. После съезда *in folio* выходили колоссальные и тяжеленные тома его трудов, именно фолианты (три-четыре, а то и пять). В библиотеках они стоят обычно на полу, потому что их трудно поднимать. Важнейшие работы выходили в «Трудах» съездов (см. подробнее об АС: Хроника 2006; Серых 2006; Вдовин и др. 2008).

МАО и всероссийские съезды были первым основополагающим вкладом Уварова в российскую археологию. Вторым было создание Исторического музея в Москве.

В 1869 г. Уваров побывал в Дании, где на него огромное впечатление произвел Национальный музей в Копенгагене — лучший, передовой археологический музей Европы. В 1872 г. в России была устроена Политехническая выставка. На ней имелся Севастопольский отдел, отражавший героическую оборону Севастополя во время Крымской войны, от которой русское общество отделяли всего полтора десятилетия. Возглавлял этот отдел генерал-адъютант

А. А. Зеленой, а помощником его был Уваров. По окончании выставки и родилась идея сохранить экспонаты и устроить постоянный национальный музей, отличный от Эрмитажа. В Эрмитаже собраны главным образом предметы европейского и восточного искусства, а в Москве задались целью устроить показ предметов русского творчества, причем не только искусства, но и археологии, а также вещей, отражающих всю историю народа и государства. Музей предполагалось расположить на Красной площади. В 1872 г. получено было разрешение царя, и ответственность была возложена на Зеленого, но, поскольку он проживал в Петербурге, фактически всем заправлял Уваров и его знакомый по земской работе Н. И. Чепелевский. Вся первая половина 70-х гг. прошла в строительных и оформительских заботах. Заказаны были картины крупнейшим художникам — В. М. Васнецову, И. К. Айвазовскому, Г. И. Семирадскому. Уваров предоставил музею свои личные коллекции и призвал к тому же членов МАО.

Он долго уговаривал Забелина войти в число директоров музея. А Забелин опасался, что на него и свалят всю черную работу, и отказывался. В дневнике под 1872 г. Забелин (2001: 102) записывал, что Уваров, как бес, явился его «умасливать» и «соблазнять».

> «Служба будет покойная. Всю зиму не будем ничего делать, а там будем директорами и как кто хочет, так и будет служить. Вас никто и ничто не будет беспокоить, заведем особые кабинеты себе для работы. Вы, может быть, думаете, что я хочу воспользоваться здесь чужими трудами. Нет, ведь мы разделимся, у меня и своего дела будет пропасть. <...> Если вам жалованья мало, вы скажите. Мы сами хозяева, у нас есть миллион. Назначим себе что надо.
>
> Я стою на своем. <...> Объяснил только, что это походит, как бы бесы смущают пустынника. "Так я сатана?" — и он захохотал и покраснел до ушей».

Шесть раз Забелин поднимался, а Уваров не пускал. Наконец другие уговорили Забелина.

Но затем выявились разногласия между ним и другими организаторами. Член комитета И. Е. Забелин возражал против принятого проекта здания, возражения вызвал и составленный Уваровым устав музея, и Уваров отошел от дел «из-за интриг», как он выразился в письме к Зеленому. Это показывает, что стиль уваровского руководства был весьма авторитарным. Мнения коллег он готов был выслушать, но не принимал.

А. С. Уваров в конце жизни

Тут последовала череда событий совершенно другого плана, существенная для понимания некоторых причин возобновившейся влиятельности Уварова. Несмотря на удаление от двора, отношения с царской фамилией складывались на редкость удачно. В 1875 г. Уваров предпринял новое путешествие по южному берегу Крыма для изучения античных памятников, известив об этом по старой памяти двор, и на сей раз ему было поручено показать эти древности царским отпрыскам. С четой Уваровых отправились в Крым младшие сыновья царя Александра II великие князья Сергей и Павел и племянники царя Николай, Георгий и Александр Михайловичи, а с ними их воспитатели и учителя. Были обследованы Херсонес (Севастополь) и Ялта, осмотрены «дольмены» (каменные ящики), а близ Гагры проведены раскопки. В следующем году Уваров читал курс из пяти лекций великим князьям Сергею и Павлу Александровичам. В сущности, это было первым заметным преподаванием археологии в России. На лето 1878 г. был составлен маршрут путешествия великих князей по городам и землям Северо-Восточной Руси для полевой практики. Графиня Уварова заботилась о выборе курганов для таких раскопок. Уже в 1879 г. в письме Уварову адмирала Д. С. Арсентьева, попечителя великих князей, обсуждается возможность назначения 22-летнего великого князя Сергея Александровича председателем (разумеется, почетным) правления Исторического музея (Стрижова 1998: 95–96).

В 1881 г. произошла смена фигур. Генерал Зеленой умер, а после убийства царя вступивший на трон Александр III изъявил пожелание, чтобы к его коронации музей был открыт. Уваров вернулся к работе. Председателем правления музея был назначен великий князь Сергей Александрович, брат царя (впоследствии генерал-губернатор Москвы) и слушатель Уварова, а Уваров стал «товарищем председателя», то есть фактически директором. Фотография этого времени показывает того же внушительного человека в бакенбардах и бордюрной бородке,

все с тем же добрым взглядом умных глаз, но слегка согнутого под тяжестью многих забот.

В марте 1883 г. было открыто для публики 11 залов. Первый и второй содержали каменный век, третий и четвертый — бронзовый, пятый — начало железного (структура явно повторяет датскую), далее шли античные города и христианские древности, шестой зал был отдан скифам, седьмой и восьмой — Киевской Руси.

А в следующем году Уваров умер, не дожив до 60 лет.

6. Две монографии. Публикацию результатов своих и савельевских грандиозных владимирских раскопок Уваров отложил в долгий ящик. Она появилась через 20 лет (после начала раскопок) в 1871 г. в трудах I Археологического съезда под названием «Меряне и их быт по курганным раскопкам», а вскоре вышла отдельным изданием — как книга (Уваров 1872).

Уже в названии содержится основная ошибка. Уваров, как и другие археологи середины XIX века, полагал, что русские, будучи христианами, не могли хоронить своих покойников в курганах и класть туда вещи — это ведь языческий обряд. Значит, курганы возвело финно-угорское племя меря. А крестики в могилах Уваров объяснял заимствованием от соседей — русских: использовали, мол, просто как украшения. Теперь мы понимаем, что это были не меряне, а кривичи.

Другая ошибка связана с тем, что не были еще по-настоящему выделены на русской территории каменный и бронзовый века, культуры не отделены одна от другой. Все находки рассматриваются как одновременные с курганными. Сюда каменные орудия и подмешаны. Уваров считал, что меряне по своей отсталости еще вовсю пользовались каменными орудиями.

Но для своего времени это был не такой уж плохой труд, совсем не дилетантский — очень профессиональный. Впервые в России обработан в таком масштабе массовый материал. Задача, вопреки суждению Формозова, ставилась не историческая, а этнографическая — восстановить «домашний быт» одного из летописных племен. При этом использованы и раскопки предшественников, а в параллель к вещественным источникам — летописные сведения, известия арабских путешественников. Синтез источников налицо. Хронология устанавливалась по нумизматическим датам, весь материал разбит на две хронологические группы.

Уваров выступал здесь как лидер, подающий пример. Впоследствии по этому образцу были проведены раскопки Л. К. Ивановского

на Ижорском плато, легшие в основу изучения славян Северо-Запада. А в плане обработки и обобщения материала его продолжателем является именно Спицын в своем расселении летописных племен.

Интуицией исследователя и на основании опыта других стран Уваров ощущал, что объединение древностей родного края в одну массу обедняет древнюю историю, что она, вероятно, богаче и надо развернуть ее во времени подробнее. Он это сделал через десять лет. Идея выделения каменного века в Западной Европе уже была разработана, в Датском музее наглядно представлена. После середины века вышли книги Дарвина (1859 и 1871), был открыт неандерталец (1856), и английские геологи признали (1859) открытия Буше де Перта — достоверность залегания палеолитических орудий вместе с костями ископаемых животных в четвертичном периоде. Это привело к общественному признанию идеи эволюции и происхождения человека от других приматов. В 1863 г. Наполеон III наградил Буше ле Перта орденом Почетного Легиона.

В России Николая I этой проблематике был выставлен заслон. Цензоры не пропускали чего-либо подобного. Но в годы реформ заслон пал. Ученые-естествоиспытатели успешно вели поиски памятников палеолита (И. С. Поляков, К. С. Мережковский). «Императорская археологическая комиссия этой тематики сторонилась. Уваров поступил иначе» (Формозов 1993: 241).

Побывав в 1869 г. на Международном археологическом конгрессе в Копенгагене, он познакомился там с лидерами традиционной первобытной археологии Р. Вирховом, Й.-Я. Ворсо, антропологом Ж. Катрфажем, да и не только с традиционными учеными, но и с известным материалистом К. Фогтом. Взгляды Фогта Уварову не понравились: «Что Дарвин не посмел высказать (книги 1871 г. о происхождении человека еще не было. — Л. К.), то он развил до крайних пределов». Через два года и Дарвин посмел.

В 1874 г. на III Археологическом съезде в Киеве прозвучало сообщение о раскопках в России первой палеолитической стоянки — Гонцы под Полтавой. Н. И. Костомаров (1922: 421) в своих мемуарах привел показательный эпизод, который я в этой книге уже упоминал. Участники съезда отправились осматривать Софийский собор. Протоиерей встретил их вопросом: «Не пожаловали ли вы сюда отыскивать доказательства, что человек произошел от обезьяны?» Именно Уваров поспешил его успокоить: «Мы не шагаем в такую даль».

Он предпочитал не затрагивать вопрос о происхождении человека от животного предка. Но палеолитические стоянки и их

древность отрицать не приходилось. В родимом Карачарове он не был с 1855 г. В 1877 г. оттуда пришло известие, что крестьяне нашли в овраге кости мамонта. Уваров отправился туда, наладил там раскопки и убедился, что останки мамонта залегают в одном слое с кремневыми орудиями. По сведениям муромского землемера Добрынкина, на дюнах Оки у села Волосова были находимы кремневые орудия. Раскопки Уварова близ Волосова дали пять погребений, принятых за неолитические (на самом деле они принадлежали поздняковской культуре Старшего Волосовского могильника, то есть бронзовому веку).

Всё это побудило Уварова взяться за обобщающую работу «Археология России», разбитую на эпохи. Первый том «Каменный период» был готов к 1881 г. Он выходил двумя выпусками (Уваров 1881). Учтено было 6428 пунктов. Каменный век был разделен на два этапа, как в Европе: палеолит и неолит. Правда, сейчас ясно, что некоторые памятники эпохи бронзы (например, фатьяновские могильники) отнесены Уваровым к неолиту, но это неточности, простительные для того времени, — данных было еще недостаточно. С церковной догматикой противоречий нет: в книге нет абсолютных дат палеолита, не упоминается неандерталец, ни разу не назван Дарвин — она вполне могла печататься в Синодальной типографии (более подробный разбор см.: Формозов 1981; 1983: 84–102).

Это было признание наукой достоверности каменного века и даже его деления на палеолит и неолит в России (напомним, в Германии в это самое время видные археологи Л. Линденшмидт и Кр. Хостман еще отвергали каменный век — до самого конца столетия). Кроме того, это была первая обобщающая монография по археологии России, созданная почти на пустом месте, но ограниченная каменным веком. Сохранились и наброски для тома по бронзовому веку, но ранняя смерть не позволила Уварову осуществить эти планы. Этому баловню судьбы было отказано только в одном благе: ему не была дарована долгая жизнь. Но в его «Археологию России» археологи заглядывают до сих пор.

7. Взгляды Уварова. В название третьего «Сборника мелких трудов» мужа редактор, графиня П. С Уварова, внесла его «статьи по теории». И в дореволюционное время (Ардашев 1906–1907; 1911) и в постсоветское (Лебедев 1992: 94–101, особ. 97) графа характеризуют как теоретика археологии. Завзятым теоретиком он был, правда, новых теорий и методов не выдвигал, но над проблемами общей

археологии размышлял. Его идеи, не будучи оригинальными вкладами, показательны для науки той поры, а в силу его влиятельности получали значение руководящих и проводились в жизнь. Среди них есть и теоретические, они заслуживают рассмотрения.

Наиболее полно они выражены в докладе Уварова на III Археологическом съезде в 1874 г. «Что должна обнимать программа для преподавания русской археологии». Это была та программа, которую Уваров попытался *mutatis mutandi* реализовать через два года в курсе лекций великим князьям, позже читал и в Обществе избранной публике. До чтения студентам дело дошло в 1878 г. в Петербургском археологическом институте, и широко развернулось только через три десятилетия, когда Городцов начал читать лекции в Московском археологическом институте (1907), а Спицын в Петербургском университете (1909). Таким образом, самой программой Уваров опережал время.

Собственно способу преподавания уделена едва ли одна пятая всей статьи, всё остальное — анализ *предмета археологии*. Тому же посвящены и лекции, читанные в Московском археологическом обществе в 1879 г., и рукопись «Русская археология», изданная посмертно (Уваров 1910: 191–210; 262–303). Это понятно: коль скоро археология — новая для России наука, нужно определить ее *предмет и границы*, а также основные *задачи и принципы*.

Уваров пребывал в трудном положении. С одной стороны, он по условиям воспитания и среды был человеком традиций, с другой — был энергичным реформатором по натуре.

Археология в это время находилась в переходном периоде — в стадии смены предмета. Классическая (античная) археология еще сохраняла со времен Винкельмана предметом своих занятий монументальное искусство (скульптуру и архитектуру) Греции и Рима. Она уже расширяла свои объекты на другие вещественные памятники — могилы и оружие, но очень туго принимала рядовой материал и оставалась слитой с искусствознанием. По методам она оставалась *в рамках филологии*, потому что интерпретацию искала только в надписях и хрониках. В то же время в Германии Э. Герхард и Л. Преллер уже сдвигали рамки археологии на охват всех вещественных памятников.

Национальная археология, которая всё больше теснила классическую, была в основном *христианской*, т. е. *средневековой*. Она была тесно связана с историей церкви и всё больше сдвигалась в сторону истории государства и народа. Ее источник интерпретации находился

в летописях и народных преданиях. Для России же она была тесно связана с античной археологией через Византию. Если классическая культура, на которой была основана европейская цивилизация, была сметена и заменена средневековой европейской, то продолжающая классическую византийская культура развивалась рядом с русской до XV века, влияла на русскую и во многом определяла ее путь. Поэтому в Европе античная археология резко отделена от средневековой, а русская средневековая археология в большой мере продолжала традицию античной. Их было трудно разделить, и Уваров неслучайно занимался и той, и другой, и Византией. Для него, а тем самым для МАО, это была *одна наука*.

Наконец, появлялась и третья категория памятников — *доисторические*, тесно связанные с геологией и биологией, то есть с естественнонаучными дисциплинами, и занимались этими древностями в основном естественники — медики, геологи, биологи. Тут вставали вопросы о явном несогласии геологических данных с библейской хронологией, о происхождении человека и т. п. Лидировали в этих исследованиях антропологи. На Западе из этих исследований выросла совершенно особая отрасль науки — *преистория*, родственная археологии, но отдельная от нее. До сих пор в ней слиты функции археологии с функциями истории (применительно к доисторическим временам), но развивается она в рамках *антропологических*, а не исторических наук. В России антропологическая тематика зажималась в угоду государственной церкви, по крайней мере по вопросам антропогенеза, и естествоведам на этом пути ставили препоны (так, была ликвидирована кафедра антропологии проф. Д. Я. Анучина). Доисторические древности, совпадавшие в России с дохристианскими, могли рассматриваться как всего лишь предшествующая христианской стадия отечественного прошлого.

Уваров, не собиравшийся лезть в опасную проблему антропогенеза, принимал сведения о глубочайшей древности палеолита, игнорируя их противоречия с библейской хронологией.

Таким образом, в России создавались условия для того, чтобы российская археология формировалась как единая наука, без характерного для Западной Европы жесткого разделения на две-три отрасли. И реализовать эти условия предстояло Уварову.

Он отверг как устаревшие все определения археологии, предлагающие считать ее сугубо наукой о древнем искусстве. Вот как он характеризует археологические источники в посмертно изданной работе «Русская археология»:

> «С тех пор как новые открытия по первобытной археологии указали на важность каждого малейшего прзнака рукоделия для разъяснения этих доисторических эпох, с тех пор и воззрение на вещественные памятники совершенно изменилось. Сперва требовали от памятника известную художественную отделку, почти совершенно законченную, чтобы признать его настоящим археологическим памятником. Теперь стали обращать внимание преимущественно на все технические подробности способа изготовления памятника, на составные части самого материала, из которого он изготовлен, и, наконец, на всякий след, доказывающий присутствие человеческого труда. Таким образом, даже предмет, не изготовленный рукою человеческою, а принадлежащий к предметам естественным, как раковина, кость или камень, принадлежит к археологическим памятникам, если до него коснулась рука человека» (Уваров 1910: 290).

Но одновременно Уваров в угоду традиции отверг и определение археологии как науки, изучающей «почти исключительно одни вещественные памятники». По его собственному определению, под словом «археология» следует понимать «науку, изучающую древний быт народов по всем памятникам какого бы ни было рода, оставшимся от древней жизни каждого народа» (Уваров 1910: 174). Он относит сюда памятники зодчества, ваяния и живописи, палеографические, памятники письма и языка, эпиграфические, нумизматические и сфрагистические, и, наконец, памятники религиозного, общественного и домашнего быта (Уваров 1910: 188). То есть, подобно видным историкам и филологам его времени (И. И. Срезневскому, К. Н. Бестужеву-Рюмину), Уваров объединял *под именем археологии всё источниковедение*. Более того, археология в его понимании, занимаясь как вещественными, так и письменными и даже устными источниками, не является служанкой истории (вспомогательной дисциплиной).

> «История, равно как и археология, занимается исследованием остатков древнего быта, и они обе суть отрасли одной и той же общей науки — бытописания народов. Не предмет их исследований составляет существенное между ними различие, а самый *способ* или *метод*, употребляемый при этих исследованиях» (Уваров 1910: 184).

Эта формулировка о параллельности двух наук привилась в нашей археологии, особенно в советской науке (Арциховский и его школа — см. Клейн 1977), так как давала возможность марксистским

идеологам решать в рамках археологии общеисторические проблемы, требующие привлечения других источников, и тем самым избегать «голого вещеведения», знаменовавшего в их представлении эскапизм от марксистских выводов. Они сводили дело к преимущественной опоре на те или другие *источники*: если на вещественные — это археология, если на письменные — это история.

Но сам Уваров толковал свое определение не так просто. Он старался отграничить археологию от искусствознания и от истории, понимая, что в случае простого преобладания тех или иных источников пропадает принципиальное различие между археологией и историей.

От смешения с искусствоведением он уходил тем, что различал в каждом памятнике художественную сторону и археологическую — в последнюю входили вопросы контекста, датировки, сохранности (реконструкции), техники изготовления (Уваров 1910: 175–178). Ясно, что в таком понимании археология, не оставляя вовсе художественную сторону, сосредоточивается на археологическом изучении предметов.

Разделение с историей для Уварова решалось по-иному. Он отводил истории задачи обычной исторической интерпретации письменных и устных источников, а археологии — ту обработку вещественных источников, которая предусматривается «археологическим методом» — изучением контекста, датировки, реконструкции, техники изготовления. А сверх того, археология в его понимании извлекает из всех видов источников всю информацию, касающуюся не политической истории, а бытования предметов. В лекциях, читанных в Обществе, он поясняет, что, скажем, из письменного источника «Слово о богаче и Лазаре» XII века

> «археологический метод выберет всю обстановку внутренней жизни, как-то описание: упряжи белых коней, одежды богача и его слуг, блюд, подаваемых за обедом, сосуд ценных, выставляемых на стол или в которых подавали кушанья и питии, и наконец — постели из слоновой кости, с настилкою ее. После этих вещественных подробностей, археологический метод отметит также, что во время обеда музыканты играли на гуслях и свирелях...»

В устных памятниках — былинах и песнях — археологический метод высветит, как привязывали коня к дубовому столбу, к кольцу булатному (Уваров 1910: 198–199). Иными словами, из всех источников археологический метод извлечет информацию о материальной культуре. Получается, что для Уварова задолго до советских идеологов 30-х гг. археология сводилась к истории *материальной культуры*.

Слабость этой трактовки проявлялась в том, что, несмотря на всю авторитетность и влиятельность маститого теоретика, практика науки непрерывно преодолевала и отторгала эту трактовку. Специализация отраслей источниковедения требовала выделения каждого вида источников и отдельной науки для его обработки. Археология всё больше сосредоточивалась на источниковедческом изучении *вещественных источников*.

В своей статье 1873 г. о «признаках народности» курганов Уваров (1910: 211) походя отпускает любопытное замечание: «Доселе археологическую науку рассматривали у нас только теоретически, как необходимую ветвь отечественной истории, но на самом деле мало обращали внимания на вещественные памятники и их значение». Вот именно. Он говорит здесь о «*монументальной археологии*», не замечая, что вся археология наступающего времени «монументальна».

Показательно, что Уваров считает археологические источники самыми полными и важными, более важными, чем письменные, и говорит об «известном преимуществе таких источников перед памятниками письменными» (Уваров 1910: 192–193). По его замечанию, они «часто разъясняют нам то, что пропущено в летописях и актах», а для доисторических времен являются единственными (Уваров 1910: 285). Поэтому он считает несправедливым именовать археологию вспомогательной наукой.

Археология, по Уварову, отличается от истории и тем, что занимается и доисторическими памятниками, за пределами компетенции истории (куда история в его время не вторгалась). Именно Уваров предложил на I Археологическом съезде заменить этот термин, ввиду его неопределенности, другим — «*первобытные*», и все проголосовали единогласно (Уваров 1910: 186). Этот уваровский термин удерживается в отечественной археологии до сих пор.

Уваров решительно принял и насаждал в русской археологии датскую прогрессистскую схему трех веков и французскую концепцию палеолита, но, как и в Германии, в России было очень мало проблесков эволюционизма. Эта идеология, характерная для свободно развивавшихся рыночных (капиталистических) обществ, миновала Россию и Германию. Тут изучение культуры больше канализировалось интересами национальной идентификации и разграничения. Поэтому внимание археологов направлялось на выделение культур, выяснение их связей, отношений и корней, их этнического распознания.

Уже на II Археологическом съезде 1871 г. Уваров предложил подготовительному комитету вопрос (записан 17-м) для обсуждения:

«Могут ли некоторые вещи, находимые в могильных курганах, служить отличительными признаками того племени, которое воздвигало эти курганы, и какие археологические исследования отчасти уже указали на границы между племенами, обитавшими на Руси?» Это было за четверть века до знаменитого Кассельского доклада Косинны (он состоялся в 1895) и совпадало с аналогичными интересами Вирхова. Уже в 1873 г. Уваров поместил в III томе «Древностей» (вып. 3) статью «О существенных и второстепенных признаках народности могильных насыпей» (перепечатана в «Сборнике мелких трудов» — Уваров 1910: 211–231). Так в русской археологии была в сущности впервые введена в оборот концепция *«этнических признаков»*.

Второстепенными Уваров считает те признаки, которые есть у многих народов и не образуют своеобразия. Он отнес сюда обычай насыпать курган, кремацию или трупоположение, ориентировку и др. Существенными Уваров считал те признаки, которые отличают один народ от другого. Он относил сюда только устройство самой могилы внутри насыпи, местность, соответствующую летописным сведениям, и (под вопросом) редкостное сидячее положение остова. Но первым долгом — постоянное и совокупное наличие одних и тех же второстепенных признаков, то есть их постоянное сочетание. Это всё звучит очень современно.

А. А. Формозов одобрительно описывал обращение Уварова к историческим задачам. Г. С. Лебедев согласился с моим замечанием, что это были *не исторические, а скорее этнографические задачи — изучение этносов и этногенеза*. Постоянное повторение Уваровым терминов «быт», «бытописание» привело Лебедева (1992: 89–90, 96–97, 111) к именованию концепции Уварова и его соратников «бытописательской парадигмой». Я отнесся к этому критически (Клейн 1995). Не только из-за непригодности термина «парадигма», но и потому, что термин «быт» понимался в те времена гораздо шире, чем сейчас, и за ним у Уварова скрывалось другое понятие, еще не очень твердо вошедшее тогда в русскую археологию и выраженное термином «культура».

Это видно из следующего пассажа Уварова (1910: 184):

> «Пока история довольствовалась изложением одних внешних факторов, не обращая внимания на общественный и внутренний быт народа, она не достигала того, что требует бытописание, и ее Монтень с справедливостью клеймил метким прозванием: *histoire bataille*. Но этот недостаток в исторических исследованиях стал понемногу исчезать при постепенном развитии исторической критики, и недавно еще исторические исследования, под

несомненным влиянием исторической науки, получили особое направление и преобразовались в так называемую теперь *культурную историю* народов».

Традиции, заложенные Уваровым, по крайней мере проблемы, им поставленные, существовали в Российской археологии очень долго и не исчезли в советской.

8. Роль и место Уварова в российской археологии. В дореволюционной археологии было достаточно панегирических оценок роли графа Уварова в отечественной науке — как основоположника археологии в России, и это продолжалось в первое послереволюционное десятилетие. Советская археология сталинского времени отторгала старую археологию царского времени и всячески принижала ее лидеров, прежде всего графа Уварова. Он характеризовался как дилетант, загубивший уйму памятников и оставивший кучу никчемных сочинений.

Переоценка началась в пору хрущевской оттепели, когда Формозов (1961: 85–88) подчеркнул заслуги Уварова в создании Московского археологического общества, Исторического Музея в Москве и организации всероссийских Археологических съездов. Лапшин (1986) опроверг заложенное Спицыным представление об из рук вон скверной методике раскопок Уваровым владимирских курганов, а Лебедев (1992: 105, 111 и др.) в своей «Истории отечественной археологии 1900–1917 гг.» вводит в периодизацию «уваровский период» российской археологии (1846–1881 или 1884), деля его на «раннеуваровский период» (1846–1864), «зрелый уваровский период» (1964–1871) и «поздний уваровский период» (1871–1881 или 1884).

Тут явно спорна сама идея именовать периоды по конкретным лицам — для обоснования ее требуется вера в исключительную влиятельность фигуры (например, петровская эпоха). Но не говоря уж об этом, воздействие Уварова мало затрагивало столичный центр археологии — работу Археологической комисеии и Эрмитажа. Затем бросается в глаза непомерное преувеличение влиятельности и значения молодого графа в период его активности в Российском Археологическом Обществе в Петербурге («Ранний уваровский период»). Если бы работа Уварова в археологии пресеклась на этом этапе, никому и в голову не пришло бы объявлять Уварова первой фигурой в археологии. Тогда графы Перовский и Строганов были несомненно более значительны. Даже время после уваровского периода Лебедев (1992: 197) всё же именует по Уварову: «Постуваровский период» (1884–1899).

В таком преувеличении значимости Уварова нет нужды. И без того Уваров — достаточно крупная величина в российской археологии — если не ее единственный основоположник, то несомненно ее виднейший строитель, инициатор ее крупнейших предприятий и важных идей.

Своими массовыми раскопками владимирских курганов, первыми в России, он занял то место, которое в археологии Англии занимали Ричард Колт-Хор и Уильям Каннингтон со своими тщательными раскопками 379 курганов в Уилтшире в начале XIX века, опережавшими Уварова на полвека. По своим организационным мероприятиям и по общей концепции археологии он сопоставим с крупнейшей фигурой XIX века в первобытной археологии Германии — Рудольфом Вирховом. Тот тоже организовал музей, общество и инициировал съезды. Но свое общество (Берлинское антропологическое) Вирхов основал в 1869 г. — на пять лет позже Уварова, а соответствующий Музей (этнологии) основан им в 1873 — на 10 лет раньше Уварова (но к тому времени в Берлине уже существовали музеи древностей). Практически деятельность Вирхова и Уварова протекала одновременно. Правда, Вирхов был первопроходцем в построении концепции археологии, изучающей культуры, «культурной археологии», зато Уваров превосходил его по широте охвата, включая в сферу своих интересов и античную археологию, а не только первобытную.

9. Эпилог: графиня Уварова. После смерти Уварова дело его продолжили его соратники во главе с вдовой Прасковьей Сергеевной. Она была избрана председателем Московского археологического общества и вела его до самой революции — 34 года. Вместе с правлением мужа в течение двух десятилетий это составляет более полувека.

Графиня П. С. Уварова (в дев. княжна Щербатова)

Графиня еще как княжна Щербатова получила отличное домашнее образование. Литературе и искусству ее обучал Ф. И. Буслаев, рисованию — А. К. Саврасов, музыке — Н. Г. Рубинштейн. На 17 лет младше мужа, мать семерых детей, во время супружества она вела большое хозяйство, могла запросто

ездить на коляске без кучера, была сотрудницей мужа во всех предприятиях, а в последние годы его жизни фактически руководила обществом вместе с ним.

После его смерти вдова продолжала руководить съездами (с седьмого по пятнадцатый), редактировала труды общества, выступала и с собственными научными работами — их она выпустила 174, в том числе книгу «Могильники Северного Кавказа». Она показала себя энергичным и толковым организатором, помогала молодым археологам, продолжала щедро жертвовать на нужды общества. Избранную почетным членом Академии наук, ее называли «второй Дашковой». Некоторые биографы считают ее равной графу Уварову по вкладу в науку (Храпова 1990), но Формозов (1993: 242) полагает это преувеличением: заслуги ее несомненны, но была она всё же дилетантом. В научном плане тон в Обществе задавали другие фигуры — Забелин, Самоквасов, Городцов, Анучин.

Графиня Уварова, многолетний председатель МАО

Лебедев, отдавая ей должное как организатору, подмечает другие черты в ее характере, сыгравшие негативную роль в истории археологии.

> «Служение означало для нее неизменность. "Не изменять заветам" — станет знаменем ее жизни, этого она потребует и на последнем, XV, А[рхеологическом] С[ъезде] от молодого поколения. Все свои силы, возможности, средства, энергию сплотившейся вокруг нее "дружной тесной дружины" она употребит на сохранение неизменным и неприкосновенным построенного Уваровым здания. <...> И с каждым годом разворачивавшихся переломных десятилетий, сила и власть, воплощенные в этой безусловно незаурядной личности, становились властью реакционной силы, неспособной к движению и развитию» (Лебедев 1992: 224).

Первая мировая война сорвала XVI Археологический съезд в Пскове, а революция и вовсе положила конец царской России, ее

археологии и влиятельности графини Уваровой. В 1918 г. она эмигрировала в Югославию. Там она писала книгу об истории МАО. Судьба рукописи неизвестна. Недавно в Москве вышли мемуары П. С. Уваровой под названием «Былое. Давно прошедшие счастливые дни» (Уварова 2005; см. рец. Беляев 2006).

Корифеи

Корифей (греч. κορυφαῖος) — в античной драме руководитель хора. На ранней стадии трагедия начиналась с выхода на орхестру хора во главе с корифеем — пародa. Корифею принадлежал вступительный речитатив в торжественных анапестах. Корифей <...> двумя-тремя стихами подводил итог услышанному монологу, или сообщал о приходе нового персонажа, или напутствовал уходящего.

Википедия, неоконченная статья об античном театре.

Под этим названием я объединяю ученых, которым было бы неверно отвести первые места в истории российской археологии — ни по времени, ни по масштабу воздействия, но которые всё же были в ней очень видными фигурами. Термин «корифей» указывает на масштаб личности, не подразумевая ее лидерства. Однако, вообще-то, в этом термине не содержится оттенка второразрядности. Это лишь в балете «корифейками» называют четырех балерин, танцующих хотя и впереди кордебалета, но на втором плане — позади примы. В античной драме корифей — один перед хором. В науке корифей — выдающийся ученый, даже не первоклассный, а экстра-класса, внесший в науку огромный вклад, который в истории науки не обойти.

Таких в истории российской археологии было немало во все времена. Я отобрал здесь тех, деятельность которых относится к периоду становления археологии как науки. Все такие фигуры не были профессионалами — в том смысле, что не жили на средства, заработанные исключительно археологией. Это относится не только к тем, кого я включил в группу корифеев, но и к другим русским археологам до революции. У них были и другие источники дохода, другая деятельность, которую люди могли считать основной для них, и часто это другая наука — история и источниковедение (И. Е. Забелин), юриспруденция (Д. Я. Самоквасов). Но и просто другая профессия или сфера занятий — педагогика (В. И. Сизов), геология (А. А. Иностранцев), военное дело (Н. Е. Бранденбург), медицина (К. М. Бэр, Л. К. Ивановский, В. Б. Антонович — этот, правда, свое медицинское образование так и не применил), живопись (Н. К. Рерих), административные и хозяйственные занятия (П. С. Уварова, А. А. Бобринский).

Из них отобраны пять — не все, которых можно было бы включить. Однако если есть фигуры, оставшиеся за бортом, то вряд ли можно сказать, что какая-то из включенных фигур недостойна этого места.

В поисках славного прошлого

Д. Я. Самоквасов

Так мы над горестной Варшавой
Удар свершили роковой,
Да купим сей ценой кровавой
России целость и покой!
.....
Грозой спасительной примера
Державы целость соблюсти,
Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать
И весть на подвиг просвещенья
Единомысленных, как рать.

Ф. Тютчев. Как дочь родную на закланье. 1831.

1. Формирование юриста. Видный историк права, архивист и в меньшей мере этнограф, Самоквасов был в археологии едва ли не заметнее всего. Его место в истории русской археологии определяется хотя бы открытием на Черниговщине «Черной могилы», знаменитого кургана варяжского князя, но за Самоквасовым еще и «Могилы русской земли», и изучение городищ, и теория автохтонного происхождения славян. Он прославился своим антинорманизмом и в общем стоял на шовинистических и консервативных позициях, за что либеральная историография его не жаловала. О нем мало литературы (Памяти 1912; Анучин 1914; Уварова 1914), но в конце XX века появился биографический труд курского профессора С. П. Щавелёва о знаменитом земляке Самоквасове, использующий широкую базу источников, в том числе архивных (Щавелёв 1998; см. также Щавелёв 1991; Щавелёв 1992 и др.). На фактические данные из этого труда можно положиться, их и примем за основу рассмотрения. Правда, даже очень доброжелательно относящийся к автору этой биографии Формозов (2004: 32–33) отмечает его некритическое отношение к своему предмету,

панегирический характер труда. Таким образом, нужно найти линию трезвого отношения, пролегающую между панегирическим тоном почитателей (в некрологах или биографии земляка) и нигилистическим отвержением в либеральной историографии.

Дмитрий Яковлевич Самоквасов (1843–1911) родился в усадьбе своих родителей близ села Стаховщины Новгород-Северского уезда Черниговской губернии. Самоквасовы были худородными мелкопоместными дворянами (дворянство получил прадед археолога за военный чин в казачьем войске), в 1859 г. столичная бюрократия не признала доказательства благородства достаточными и исключила Самоквасовых из родословной книги. Дмитрий Яковлевич, став профессором и действительным статским советником, вернул тем самым потомственное дворянство себе, а потом выхлопотал и возвращение дворянства всему роду.

Новгород-Северская гимназия славилась хорошим преподаванием и приучением воспитанников к краеведению. За несколько десятилетий до Самоквасова там директорствовал профессор-юрист Тимковский, а учился Ушинский. Из гимназии Митя вынес владение иностранными языками и любовный интерес к родному краю.

В то же время нельзя забывать, что гимназические годы Самоквасова прошли в глубинке николаевской России, в которой всячески насаждалась национально-охранительная идеология, выраженная уваровской формулой «самодержавие, православие, народность». Это было время, когда строились храмы в псевдорусском стиле, когда Россия выступала как жандарм Европы (подавление венгерской революции), когда шло усмирение национально-освободительных восстаний в Чечне и Польше.

Когда Мите было 12 лет, николаевский период окончился поражением России в Крымской войне, в которой против России выступали Англия, Франция и Турция. Патриотические настроения, вызванные войной против целой коалиции и стойкостью русских воинов при осаде Севастополя, сменились унынием от национального унижения. Людей образованных с широким кругозором это обратило к осознанию отсталости крепостнической России и к мыслям о необходимости перемен. На этой почве и зародились реформы. Натуры критические и мятежные метнулись в революционное движение (из той же Новгород-Северской гимназии позже вышли народоволец Кибальчич и народник Михайлов). В среде же со скудным образованием и ограниченным кругозором (а такой была мелкочиновная среда, к которой принадлежали Самоквасовы,

да и Митя учился не блестяще) национальное унижение порождало лишь тоску по утраченному величию и озлобление против других народов.

Из последнего класса гимназии, не доучившись, 19-летний Митя в 1862 г. поступил в Демидовский лицей в Ярославле. На вступительных экзаменах по всем предметам «удовлетворительно» (что тогда означало «хорошо»), только по русской словесности «весьма удовлетворительно». Но через полгода передумал и подал заявление в Петербургский университет на физический факультет по отделу естественных наук, а когда оно было отклонено, подал на юридический. Юридический факультет был тогда не только дорожкой к профессии, но и очагом общеобразовательной подготовки. Его окончили поэт Волошин, художники Врубель, Рерих, Добужинский. Но на юридический Самоквасов тоже не прошел: в аттестате не было латыни. Пришлось сдавать при столичной гимназии — не сдал. Только через год сдал, и в 1863 г. был принят. В дальнейшем его то исключали из-за невзноса платы за обучение, то давали по бедности освобождение от платы и даже стипендию по той же причине. Родители, обремененные другими детьми, помочь не могли. Подрабатывал студент Дмитрий и частными уроками.

Экономическое положение его не вызывает сомнений — бедность, жизнь впроголодь, на мизерные заработки и государственное воспомоществование. Но было бы ошибочно думать, что такое положение непременно ведет к революционным настроениям. У натур конформных и индивидуалистичных из такого положения рождается не солидарность с такими же бедняками, а лишь стремление выбиться наверх. Кроме того, когда ничто в собственном положении не тешит самолюбие, вступают в действие механизмы психологической самозащиты и отыскивают, чем всё-таки можно было бы гордиться — обычно это убежденность в своем национальном превосходстве над соседними народами. Поэтому беднота, низшие слои обычно более склонны к национализму и шовинизму, и особенно склонна к этому мелкочиновная среда, причастная к державному механизму власти. Не избежал этих настроений и мыкающийся по частным урокам студент Самоквасов.

Но серьезность и старательность студента превозмогли все невзгоды. По окончании курса факультет отобрал его для подготовки к профессорскому званию, и вскоре он уже был магистрантом. Руководителем магистранта на кафедре гражданского права был, по-видимому, Градовский, известный своими либеральными взглядами.

Эти взгляды остались чужды Самоквасову, как и взгляды других петербургских профессоров: Костомарова, Бестужева-Рюмина. Он сохранил на всю жизнь преданность консервативно-монархическим устоям, результат провинциально-патриархального воспитания.

2. От истории права к городищам. Тема диссертации — «Древние города России». Тема вроде бы не юридическая. Но если городища — это остатки городов или хотя бы городков, то государственно-правовой аспект намечается: города — это центры администрации, власти. Кто их создал, кому они принадлежали — это всё для Самоквасова были вопросы острые, волнующие.

В науке того времени точка зрения Зориана Ходаковского о том, что городища Руси — это святилища, была уже архаизмом. Археологи К. Ф. Калайдович, П. И. Кёппен, В. В. Пассек и И. Д. Беляев отвергли это определение и доказали, что в массе городища — это остатки укрепленных поселений. Однако московскому историку М. П. Погодину идея Ходаковского пришлась по душе, и рукопись Ходаковского, умершего в 1826 г., он издал в 1838 г. Погодин, придерживавшийся норманизма, утверждал, что города появились только с норманнами, а докиевские городища были святилищами (кстати, часть городищ и сейчас опознана как святилища). На 1860-е гг. падает пик дискуссии Погодина с Костомаровым о варягах, в которой Костомаров отстаивал антинорманистские позиции. Вопрос приобрел остроту. Либеральные идеи Костомарова были чужды Самоквасову, но антинорманизм нравился.

Молодой диссертант выступил против определения Ходаковского о функциональном назначении городищ, но принял его мысль о том, что они донорманнские и что по их ареалу можно выяснить расселение восточных славян. Проштудировав летописи, Самоквасов установил обширный список городских названий, не учитывемых обычно историками. Оставалось проверить их наличие на местности. На пробу он выбрал свой Новгород-Северский уезд. Летом он осмотрел берег Десны и на протяжении 25 верст обнаружил 11 городищ с валами и рвами. Заложил в них шурфы и собрал подъемный материал. Это оказались орудия труда, предметы вооружения, монеты — словом, следы проживания, а не жертвоприношений.

Свое заключение и доказательства Самоквасов изложил в 1870 г. на заседаниях Русского Археологического Общества в Петербурге и секции этнографии Географического Общества. Граф Уваров, к тому времени уже глава Московского археологического общества, со всем

своим авторитетом поддержал докладчика, но историк Погодин, маститый филолог Срезневский и ряд других ученых выступили против. Срезневский упрекнул докладчика в ограниченности базы фактов — памятники одного лишь уезда.

Самоквасов в следующие два года предпринял археологические путешествия по России и обследовал 72 городища в 11 губерниях. Среди обнаруженных им городищ некоторые оказались чрезвычайно важными в археологии и впоследствии дали названия археологическим культурам: Дьяково, Юхновское, Трипольское, Гочевские, Салтово, Старая Ладога — для археолога эти имена чрезвычайно значительны. Все эти городища он, однако, считал славянскими городами в историческом смысле, т. е. центрами власти, ремесла и торговли, микрогосударствами. Между тем, во-первых, далеко не все они были славянскими, и не все летописного времени. Во-вторых, большей частью это были просто укрепленные поселки сельского типа, родоплеменные центры-убежища. В-третьих, Самоквасов отрицал существование у славян неукрепленных поселений — селищ. К тому же Самоквасов обследовал их самым грубым образом: закладывал «пробные ямы» (шурфы) и собирал подъемный материал. Многослойность городищ от него ускользала, не обнаруживалась и многотипность.

Два городища он раскопал хотя и частично, но более основательно — в Суджанском уезде Курской губернии, а также несколько десятков курганов в расположенном рядом огромном могильнике. Это позволило ему установить их взаимосвязь (городищ с курганами) и датировать по найденной в погребении немецкой монете XI века.

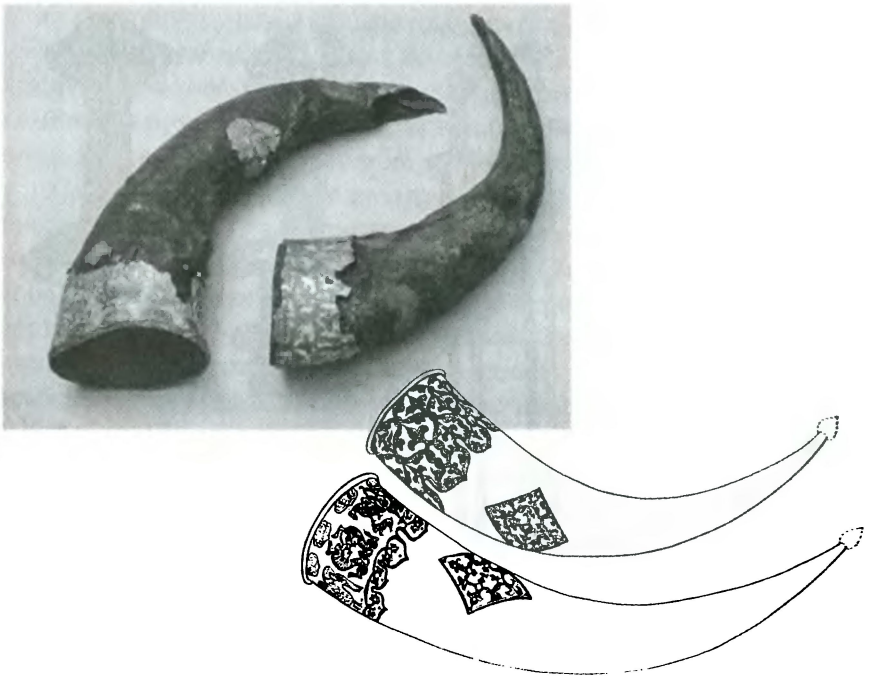
В итоге всех этих работ в 1873 г. в Петербурге вышла его книга «Древние города России. Историко-юридическое исследование». Защищал он эту книгу как диссертацию в Киеве, где оппонентом был В. Б. Антонович. Антонович диссертацию одобрил, а Киевский университет присудил диссертанту степень магистра государственного права (хотя право было на обочине его темы). Но рецензии специалистов были критическими именно по части истории и археологии. Знаменитый социолог М. М. Ковалевский и другие ученые возражали против обилия «настоящих» городов в Древней Руси. Самоквасов не сдавался и спорил с критиками. Теперь очевидно, что Самоквасов был прав в определении жилого характера городищ и в утверждении, что в Древней Руси было много городов, выросших из таких укрепленных поселков, а его критики были правы в отрицании за всеми городищами статуса городов.

3. Анкета и черниговские курганы. Граф Уваров, к тому времени переехавший из Петербурга в Москву и основавший Московское археологическое общество, привлек молодого ученого к работе Общества, и между Уваровыми и Самоквасовым на всю жизнь установились добросердечные отношения. С 1869 г. раз в несколько лет Общество организовывало Археологические съезды, каждый раз в новом городе России, а ко времени съезда готовилось обследование всего региона вокруг этого города. Маршруты археологических экспедиций Самоквасова отныне определялись именно этими целями, отсюда их географический размах.

Более того, он решил навести учет археологических объектов по всей стране. Для этого он составил анкету из 12 вопросов и с помощью географа П. П. Семенова (в будущем Тян-Шанского) разослал ее через Центральный статистический комитет по всем губерниям. Из прибывших ответов стало видно, что в Киевской губернии обнаружено 783 городища и 28 547 курганов, в Черниговской — около 150 городищ и т. д. Это гораздо больше, чем на карте Ходаковского. Самоквасов готовил «Сборник топографических сведений о курганах и городищах России», но издателя не удавалось найти. В конце концов он передал материалы Императорской Археологической комиссии, А. А. Спицыну. Спицын позже опубликовал значительную часть этих материалов. Ими пользуются доныне, тем более что ряд памятников с тех пор исчез с поверхности земли.

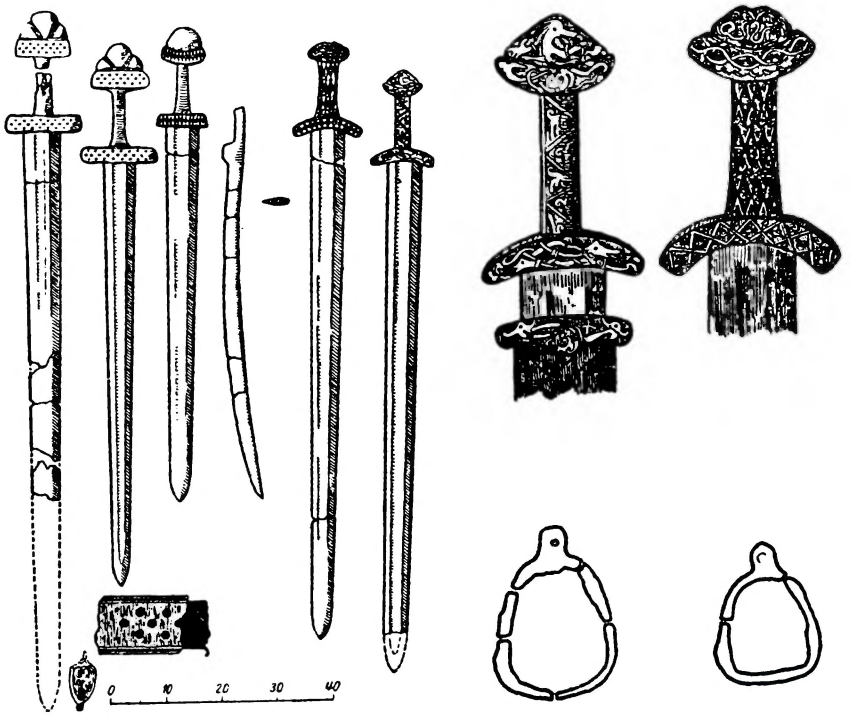
Курганы увлекли его сначала своей связью с городами. Уваров как руководитель Московского археологического общества ассигновал Самоквасову некоторую сумму на раскопки и рекомендовал сосредоточиться на какой-то одной из племенных земель славян, как это делали другие археологи. Для Самоквасова было естественно выбрать родную Черниговщину, и скоро он собрал коллекцию предметов из 313 курганов Северской земли. Под конец полевого сезона 1872 г. раскопал курганы в городской черте Чернигова.

Главным объектом этих ракопок стала Черная могила высотой в 11 м и свыше 40 м в диаметре. По местному преданию, здесь покоился основатель Чернигова князь Черный. Раскопки шли два полевых сезона: 1872–1873. В кургане оказались похоронены двое мужчин (взрослый и юноша) и женщина. Покойники были сожжены, курган возведен на половину высоты, наверху помещены извлеченные из кострища предметы, затем курган досыпан доверху, и на вершине установлен дубовый столб, а вокруг кургана ров шириною в 7 м. В числе находок пара турьих рогов в серебряных чеканных оправах,

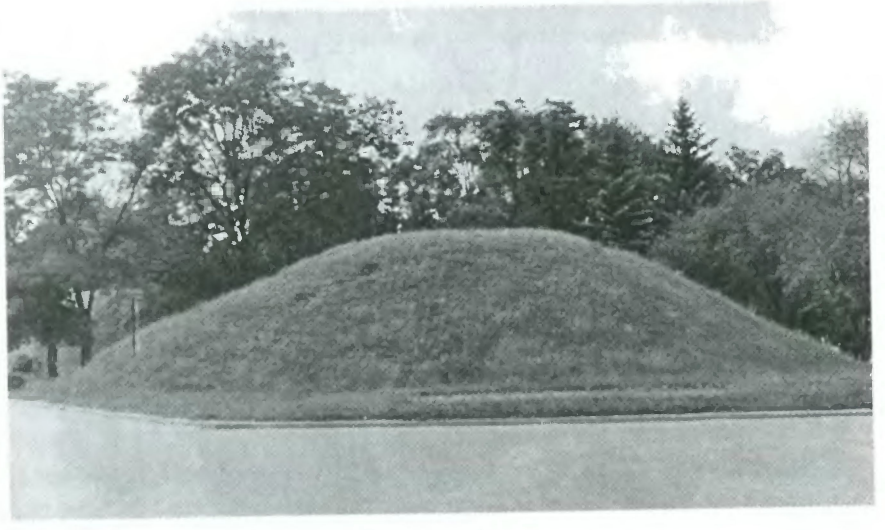


Турьи рога из Черной могилы

Деталь серебряной оковки турьего рога из Черной могилы



Мечи и стремена из Черной могилы



Курган Черная могила был восстановлен
Д. Я. Самоквасовым после раскопок

одна с растительным орнаментом, другая с изображением охоты на диковинную птицу; также бронзовая позолоченная статуэтка языческого божества (по типу — скандинавского Тора); два полных комплекта оружия и доспехов; конская сбруя, женские украшения и т. д. Погребение датируется по монетам второй половиной X века.

Самоквасов решил, что это могила славянских северских князей, последних перед присоединением к Киевскому княжеству. Теперь могилу убедительно атрибутируют как скандинавскую (об этом говорят ладейные заклепки, фигурка Тора, меч-скрамасакс и другие черты скандинавского ритуала). Видимо, это пришлые варяжские князья типа Рюриковичей. По замечанию Д. И. Багалея, рассказ арабского географа X века о похоронах знатного купца-воина руса (а в арабских источниках русы — это не славяне, а пришельцы из-за моря) представляет своего рода протокол раскопок Черной могилы. На наконечнике копья изображены два креста — христианизация норманнов началась раньше, чем славян (Лебедев 2005: 365–409). Таким образом, антинорманистская концепция Самоквасова наглядно опровергалась его собственными раскопками, но он этого не видел, не подозревал.

Еще два черниговских кургана, на Болдиных горах — Гульбище и Безымянный (высотой в 8,5 и 7 м) содержали почти столь же богатые погребения того же круга, но более древние (последняя четверть IX века или позже). После завершения полугодовых раскопок Самоквасов велел насыпать все три кургана вновь, чтобы не разрушать исторический пейзаж. Это один из первых в мире примеров такого отношения к памятникам, к сожалению, до сих пор остающийся у нас неповторимым.

Находки были показаны в 1874 г. на выставке III Ахеологического съезда в Киеве, а Самоквасов представил там два доклада — о значении городищ и о курганах как исторических источниках. Самоквасов там выступал уже как варшавский профессор.

4. Профессор в Варшаве. Женившись на 19-летней курской девице Таисе Шумаковой (брак оказался прочным, хотя и бездетным), в 1873 г. Дмитрий Яковлевич переехал в Варшаву. Этот город он выбрал потому, что там ему открывались перспективы быстрого служебного продвижения. Со времени подавления польского восстания 1863 г. прошло всего шесть лет. Незадолго до приезда Самоквасова Главная школа Варшавы была преобразована в университет, основной задачей которого была русификация Привисленского края, как

стали именовать Царство Польское. Либеральный университетский устав 1863 г. здесь не применялся, а юридическое образование расширялось в сторону общекультурного, чтобы обеспечить большее воздействие на местное студенчество. Дабы привлечь русских ученых в провинцию, Варшавский университет мог давать профессорское звание и не имевшим докторской степени. Это привлекло Самоквасова. Назначенный доцентом, он в том же году был переоформлен экстраординарным профессором. Жалованье его возросло с 1200 до 2000 рублей в год.

Специально отобранный профессорский состав в Варшаве был более патриархальным и национально-охранительным, чем в столицах. Эта среда могла лишь поддержать и укрепить националистические и консервативно-монархические взгляды Самоквасова. Но были среди профессоров и талантливые личности, общение с которыми расширяло кругозор — историк Н. И. Кареев, Н. П. Барсов — основатель исторической географии Древней Руси, историк Д. В. Цветаев — брат основателя Московского музея изящных искусств и дядя будущей поэтессы, далее специалист по государственному праву А. Л. Блок — отец поэта, лингвист А. С. Будилович — лидер панславизма, для Самоквасова — родственная душа.

Самоквасов не только читал курс истории гражданского права, но и вел семинарские занятия, а вне Университета был видным деятелем Русского собрания в Варшаве, центре русской культуры.

Его сослуживец по Варшавскому университету проф. Д. В. Цветаев так вспоминал впоследствии о деятельности Самоквасова:

> «Как ученый и университетский профессор, Д. Я. свой курс по истории русского права сделал особо содержательным, живым и интересным, внеся в него и свою страстную любовь к русским древностям. Многочисленную свою аудиторию он знакомил с произведениями культуры наших предков, особенно с теми, которые он сам открывал в своих раскопках и которые свидетельствовали, что русские люди еще в пору очень стародавнюю жили совсем не какими-либо дикарями, а стояли на значительно высокой ступени культурного развития. Он раскрывал начала сравнительно гуманитарного русского права, при постепенном политическом и культурном росте Русского государства, поднявшего много народов из первобытного состояния и принявшего под свою защиту многие племена, обреченные, казалось, на погибель в среде чужих им турецкого и немецкого миров. При этом Д. Я. убежденно установлял, что Россия, при своих прочных исторических основах, вполне способна к дальнейшему

неизмеримому развитию и совершенствованию. Всем этим он вызывал в своих слушателях стремление к внимательному изучению столь важного научного предмета и вел их в сознательному уважению русского народа...» (Памяти 1912: 32).

Бывший студент К. Н. Тур в том же 1912 г. вспоминает своего профессора иначе:

> «Человек крупный, с сильным малороссийским акцентом, он читал нам по тетради скорее археологию, чем историю права. В сущности С-в и был археологом и постоянно занимался раскапыванием на своей родине, Малороссии, курганов. Как профессор он был слаб и никакого понятия об истории русского права мы из его лекций не вынесли, потому что собственно он ее и не читал. Мучил он нас результатами своих археологических разведок и много, очень много распространялся о древних русских городах...»

Щавелёв, приводя этот пассаж (1998: 53), эффект этой оценки очевидца стремится ослабить ссылкой на общую критичность этого юриста, но сам же в другом месте замечает о своем герое: «В любом другом российском университете с его увлечением полевой археологией ему, пожалуй, пришлось бы туго» (1998: 47). Отмечает он и скверный язык текстов Самоквасова: «...рыхловатость изложения, штампованность некоторых излюбленных фраз, риторичность речевых оборотов... Письменная, а значит, и устная речь Самоквасова на десятилетия законсервировала известные архивистам особенности канцелярски-официального стиля изложения деловых бумаг середины XIX века» (1998: 36). Академик Б. Д. Греков (1958: 172) выразился о стилистике Самоквасова еще категоричнее: «облек свои мысли в такую форму, пользовался такой своеобразной терминологией, что много надо затратить предварительных усилий, чтобы понять подлинную сущность мыслей автора».

Д. Я. Самоквасов, профессор, декан и ректор в Варшавском университете

Однако студенты в общем, видимо, любили чудаковатого и косноязычного профессора, так как он, помня о своих годах студенческого мытарства, всегда готов был вступиться за студентов и помочь им материально, а коллеги-профессора относились к нему с уважением: он избирался членом университетского суда, в 1883 г. получил чин ординарного профессора, в 1887 г. был избран деканом и отправлял эту должность до конца своего пребывания в Варшаве — до 1891 г., а в самом конце этого срока исполнял и должность ректора.

Польская же интеллигенция, принимая национализм Самоквасова как естественный, уважала русского профессора за его археологические увлечения, которые обращались ведь и на польские древности. Он выезжал со студентами и в окрестности Варшавы на раскопки. Дома у него постепенно собиралась всё растущая коллекция древностей из раскопок и подъемных сборов. Археологические занятия требовали больших денег: на разъезды, наем землекопов, покупку случайных находок, печатание результатов, устройство витрин — на всё это уходило по тысяче и более рублей в год. С 1876 г. удалось выхлопотать ежегодное пособие из казны по 500 рублей в год. Остальное Самоквасов по-прежнему доплачивал из собственного кармана.

В декабре 1876 г. 33-летний профессор побывал в гостях у И. Е. Забелина. Тот был уже в возрасте (56 лет), в дневнике (2001: 115–116) записал:

> «Говорили о том, о сем, всё о курганах, древностях, часа полтора. Заявил, что тяготится своим собранием и желал бы его куда-нибудь пожертвовать с условием, чтоб ему давали на каждогодние раскопки вроде члена (Археологической. — Л. К.) Комиссии. Я, говорит, предложу Строганову, пусть они мне дают. Видимо, что метит в члены Комиссии. Не потому ли явился ко мне, чтобы пронюхать, как это устроить? Я объяснил, что там железа не любят. Упомянул я о музее цесаревича. Он говорит: "Именно я бы отдал всё туда, чего лучше". Пришел в телячий восторг от этой фантазии. Говорю, что и Уваров будет рад. Поговорите с ним. <...>
>
> В среду опять явился ко мне. Совсем иные речи. Всё хлопочет, как бы устроить свои вещи и самому пристроиться. У Соловьева познакомился с Шервудом и принес обвинение на Уварова в нерадении по музею, что Уваров не всех членов взял в Ученую комиссию, не вел протоколов, что борются две власти. <...> Видимо было, что Самоквасов уже метит на место Уварова, доказывая, что он не всё знает, а он знает больше, что надо вот так и так сделать...

> Как он похож на Шервуда, достижение своей самолюбивой цели и затем всё, что мешает? — по боку».

Эта запись характеризует как циников и прагматиков обоих — и молодого простоватого Самоквасова, и старого ироничного Забелина. Позже, в начале 80-х, Самоквасов установил-таки добрые отношения с Уваровым, когда тот отдыхал в Кисловодске, — пригласил его на свои раскопки курганов под Кисловодском и специально подготовил интересные курганы (Уваров 1910).

Уваровых и МАО он поддерживал и в их вечной борьбе с Археологической комиссией за первенство в России. В 1888 г. он писал антропологу А. П. Богданову:

> «Душевно Вас благодарю за присылку "Русских ведомостей", с прекрасными статьями, направленными против стремления Археологической комиссии захватить в свои руки административную опеку над материалами русской археологии и антропологии. Если эти статьи не будут иметь действия где следует и будет издан закон, какого добивается Археологическая комиссия, то нашим учёным Обществам и отдельным их членам останется только английский способ действия: на предстоящем Археологическом съезде в Москве мы устроим особое заседание, посвященное определению отношения ученых к новому закону, протокол которого затем напечатаем в газетах и сообщим министрам и Государю».

И далее излагает целое обвинительное заключение против Археологической комиссии: она заботится только об изыскании образцов древнегреческого искусства для Эрмитажа, уничтожая без пользы русские курганы; нельзя разрознивать курганные комплексы: золото в Эрмитаж, остальное — в другие музеи; нужно изъять древности из частной собственности, и т. д.

5. Под славяно-русским стягом. Именно в Варшаве, с ее обнаженным противостоянием двух национализмов — местного, национально-освободительного, сепаратистского, связанного с католической религией, и имперского, великодержавного, русификаторского, опирающегося на православие, — прояснилась идейная позиция Самоквасова. В борьбе двух национализмов он четко занимал место в лагере великодержавного, монархического, православного. Именно в Варшаве окончательно сложилась историческая концепция Самоквасова, его, можно сказать, идеология, которая обусловливала его выбор тем и интерпретацию археологических материалов, идейную

направленность его лекций и писаний. Она не была вполне самостоятельной. Самоквасов примкнул к уже сложившейся исторической школе, «славяно-русской», став одним из ее лидеров.

Это была школа или, скорее, группировка, своего рода «партия» историков и филологов, отстаивавших истины кондового славяно-русского патриотизма: богоизбранность России, великую цивилизационную миссию русского народа по отношению ко всем подвластным и соседним народам, превосходство православия над всеми христианскими религиями, не говоря уж о нехристианских, и благодетельность самодержавной монархии для России. Эти идеологи выступали решительно против того, что они объявляли норманизмом, то есть против признания важной, или, упаси боже, ведущей роли варягов в образовании русского государства. Они считали, что непременно нужно доказать автохтонность славян на территории Руси, их неразрывную исконную связь с этой почвой. Разумеется, необходимо показать и высокий уровень древнерусской культуры — иначе как же претендовать на руководство другими народами?

Ведущими деятелями этой «партии» были Д. И. Иловайский, развивавший «теорию государственных бытов» (для каждого народа свой «государственный быт») и в своем школьном учебнике истории России, вероятно, более монархист, чем сам царь; С. А. Гедеонов, изложивший основы антинорманизма в своем труде «Варяги и Русь» и отрицавший самое наличие скандинавов на Руси; И. Е. Забелин, производивший славян от скифов; и Д. Я. Самоквасов, отстаивавший древность городов и земледельческой оседлости на Руси. Самоквасов, моложе Забелина на 23 года, а Иловайского на 9 лет, вошел в эту когорту позже других и принял многие их тезисы, но не все. Гедеонов, Иловайский и Забелин считали варягов не норманнами, а западными славянами, несмотря на их скандинавские имена. Самоквасов готов был признать пришествие варягов из Скандинавии, их захват власти в землях восточных славян, но считал, что варяги застали у славян не первобытный, а раннегосударственный строй — систему племенных княжений. Культура их была не ниже скандинавской. Поэтому варяжские князья скоро ославянились.

> «По свидетельству вещественных памятников, — писал он, — славяноруссы представляются нам не рассеянными, полудикими племенами, а народами земледельческими, сплоченными в политические союзы и имевшими в глубокой давности и до времени рецепции христианства в России сношения с цивилизованными народами <...> Европы» (Самоквасов 1888: 106).

Этот вывод, который и «норманисты» не стали бы отрицать, сформулирован в «Истории русского права» — университетском курсе Самоквасова. Первая часть этого курса «Начала политического быта древнерусских славян» защищена была в 1878 г. как докторская диссертация. Признавая участие норманнов в русской истории, автор, однако, выступает в этом труде против концепции истории русского государства, которую он называет норманистской, — возводящей важные русские государственные учреждения к норманнам. Тут он всё-таки пересаливал: ничего скандинавского в русской культуре и в государственной традиции не видел — ни полюдья, ни дружин, ни терминологии власти (князь, витязь, тиун, вира).

Второй выпуск «Истории русского права», вышедший в 1886 г., назывался странно для истории права: «Происхождение славян». Здесь Самоквасов защищал забелинскую теорию происхождения славян от скифов. Между тем уже было доказано Всеволодом Миллером ираноязычие скифов, так что в лучшем случае могла идти речь только о субстрате. Прямыми предками славян скифы никак не могли быть. К тому же Самоквасов одновременно отстаивал Дунайскую прародину восточных славян. Согласовать ее с происхождением от скифов было трудно.

Незадолго до конца своего пребывания в Варшаве на VIII Археологическом съезде в Москве Самоквасов сделал доклад «О происхождении русских и польских славян и о причине появления кладов римских монет в земле древних руссов и ляхов» (работа была опубликована в III томе Трудов VIII съезда, когда автор уже покинул Варшаву). В этой работе Самоквасов представил каталог римских серебряных монет I–III вв. на территории России — сам по себе ценный вклад в археологию. Но карту этих монет он рассматривал как доказательство своей гипотезы о миграции праславян с Дуная под натиском летописных «волохов», в которых он видел римлян. По Самоквасову, беженцы из покоренных Римом территорий (Дакии и прочих) могли обратить свою недвижимость в звонкую монету и на новых местах жительства припрятали ее — поместили в «подземные банки».

Вообще-то, идея древнего пребывания славян на Дунае очень стара — ее поведал летописец. Ныне эту гипотезу археологи реализуют, прослеживая натиск пражской культуры VI–VII веков на Балканы и затем откат ее носителей под натиском византийцев в VII веке. Но Самоквасов избрал для миграции III век. У него для доказательства гипотезы о миграции праславян с Дуная в III веке строился ряд вспомогательных гипотез — о продаже жилья на Дунае, о наличии денег

у беженцев, о сокрытии этих денег в земле, о славянстве этих беженцев. При таких условиях состоятельность гипотезы минимальна, гипотеза оказывается надуманной, порожденной страстным желанием углубить события славянской истории в римское время.

На съезде и после него коллеги не приняли доводов Самоквасова и признали монетные клады свидетельствами торговли римлян с варварами (это традиционная трактовка), а уход монет в клады — обычным сокрытием от опасностей того времени (вражеских нашествий, неспокойного быта). Самоквасов обвинил своих оппонентов в создании больших недоразумений — для него очевидность его трактовки была совершенно ясной. В 1888 г. Д. Я. Анучин возразил ему брошюрой: «Кто вводит в науку большие недоразумения? Вопрос и ответ профессору Д. Я. Самоквасову». Самоквасов остался на своих позициях. Он не умел признавать правоту оппонентов, еще меньше умел видеть зыбкость своих построений, если на них опирались его любимые идеи.

Щавелёв подметил одно любопытное совпадение (1998: 102). Известное восклицание Блока «Да, скифы мы, Да, азиаты мы / С раскосыми и жадными очами!» очень близко совпадает с теорией Забелина — Самоквасова. Между тем в Варшаве на юридическом факультете кафедрой гражданского права ведал Александр Львович Блок, отец поэта. Это о нем поэт писал: «Он диссертацией блестящей / Стяжал отменные хвалы / И принял кафедру в Варшаве <...>/ Готовясь лекции читать, / Запутанный в гражданском праве...» («Возмездие»). Профессор Блок сменил Самоквасова в должности декана. Щавелёв допускает, что фраза «Да, скифы мы!» вполне могла прозвучать в устах Дмитрия Яковлевича при общении с Александром Львовичем и перекочевать от последнего к сыну. Ведь сын вспоминал, как ему доводилось «в чужой Варшаве / с ним разговаривать о праве, / юристов с ним критиковать».

«Славяно-русская» концепция (Д. И. Иловайский, И. Е. Забелин, Д. Я. Самоквасов и др.) продолжала в русской обществоведческой мысли традицию славянофилов (А. С. Хомяков, К. С. Аксаков и др.) и историков самодержавно-охранительного направления (Н. М. Карамзин, М. П. Погодин). Сама она стала историографическим наследием, которое в советское время подхватили националистически настроенные историки — «государственники» и «почвенники» — в сталинское время ставшие официозом (Б. Д. Греков, Н. С. Державин, отчасти В. В. Мавродин и др.). В археологии эту позицию разрабатывали Б. А. Рыбаков, П. Н. Третьяков и др. Но во второй половине XIX века

«славяно-русская» концепция не была ни единственной, ни господствующей. Ей противостояли по меньшей мере две другие концепции.

Одна их них строилась на тех же методологических принципах, но исходила из других этнополитических задач, поскольку развивалась другой этнической группой. Это была украинофильская концепция, которую выдвигали представители подчиненного близкородственного народа, даже не считаемого правящими силами за отдельный народ. Они назывались малороссами, и даже их признанное самоназвание (украинцы) несло отпечаток периферийности и провинциальности (Украина — окраина). Собственно, по происхождению (из казачей старшины) и месту жительства Самоквасов мог бы принадлежать к этой группировке, да и говорил с «малоросским» акцентом, но его род обрусел, а выходцы из окраинных областей, чья принадлежность к господствующей нации несколько под сомнением, обычно оказываются наиболее яростными великодержавными националистами.

Провозвестниками украинофильской школы были петербургский историк Н. И. Костомаров и киевский археолог В. Б. Антонович, а в полной мере она развернулась в произведениях украинских историков М. С. Грушевского, Д. И. Багалея, В. А. Пархоменко и др. Эти ученые считали, что истинными наследниками Киевской Руси являются не жители окраинных московских земель, а украинцы. В ответ представители московской «славяно-русской» школы заявляли, что Киевская Русь была совершенно сметена татарским нашествием, города разрушены, а самое дееспособное население ушло на север и стало великороссами. Украинофилы на это возражали, что разрушение городов Киевской Руси было неполным и т. д. Ныне аргументация украинофилов подхвачена сторонниками исконной «самостийности» Украины, претендующими на статус официоза в независимой Украине.

Вторая историографическая концепция, противостоявшая монархизму и шовинизму «славяно-русской» школы, развивалась историками либерально-демократического толка. Ее главными представителями были К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев и Б. Н. Чичерин, а в последние десятилетия века — начале следующего продолжали В. О. Ключевский и П. Н. Милюков. Эта школа отстаивала общие закономерности развития у России с Европой, несмотря на исконное изначальное своеобразие России. Изначальное своеобразие России эти ученые усматривали в преобладании общинной или родовой собственности, а силу, поставившую Россию на общеевропейский путь развития, эта школа видела в государстве (ее и называли «государственной») и уповала на

исходящие от государства либеральные реформы. Опиралась эта школа на западническую традицию, и впоследствии ее учение нашло свое продолжение в кадетской и социал-демократической историографии, а затем, подавленное в советское время, возобновилось в новой России как одна из двух альтернативных концепций: первая остаивает включение России в общеевропейскую либерально-демократическую цивилизацию, а вторая, противостоящая ей, — особый путь развития России, очень близкий азиатской традиции государственной собственности и основанного на ней патриархального деспотизма (Цамутали 1977).

Таким образом, хотя конкретные выводы и объяснения Самоквасова давно отошли в прошлое, занятые им позиции имеют продолжение в современной историографии, так что он всё еще находит своих поклонников в науке и своих противников, а историограф не может остаться абсолютно к нему равнодушным.

5. Методика разведок и раскопок. Разрабатывая на собственном опыте методику раскопок, Самоквасов вместе с почитаемым им Уваровым (что не исключало подсиживания) создавал московскую традицию регламентации этого дела (петербургскую традицию создавала Археологическая комиссия).

В 1874 г., на III Археологическом съезде, столь знаменательном для Самоквасова, по инициативе Уварова была создана комиссия для составления инструкции археологам по ведению разведок и раскопок. Ведь археологического образования в России не было. Комиссию составляли три профессора: историк В. Б. Антонович из Киева, медик Л. К. Ивановский из Петербурга и юрист Д. Я. Самоквасов из Варшавы — все три к этому времени наиболее опытные в России раскопщики. Они консультировались с другими опытными раскопщиками — генералом Н. Е. Бранденбургом, историками И. Е. Забелиным и Костомаровым, филологом И. И. Срезневским, нумизматом В. Г. фон Тизенгаузеном и, конечно, с графом А. С. Уваровым. Коллективно выработанный текст глава комиссии Самоквасов прочел на заключительном заседании съезда.

Позже он не раз повторял в своих методических брошюрах основные требования инструкции и аргументировал их уже от своего личного имени. Так, уже в 1878 г. он опубликовал свои «Условия научного исследования курганов и городищ».

В основу разведочной части инструкции положена самоквасовская анкета. Предписывалось указывать координаты, внешний вид,

размеры, соотношение друг с другом и со стабильными географическими ориентирами, собирать подъемный материал. Во втором разделе, посвященном раскопкам, закладывались основы научного отношения к раскапываемым памятникам как историческим источникам. Инструкция требовала прекратить бессистемные поиски вещей в земле, с отбором драгоценностей, и беспорядочные сборы коллекций. Вводилось понятие документации, фиксирующей находки относительно места и глубины нахождения. Вводилось и понятие комплекса вещей. Весь комплекс предметов, найденных при погребении, инструкция требовала соединять вместе и в хранении и на выставке, прикрепляя их на один планшет, не разрознивать комплексы.

Правда, раскопки поселений рекомендовалось проводить узкими траншеями, раскопки курганов — колодцем или траншеями крест-накрест, на разведках применять стальной щуп. Но всё же эта методика была куда лучше вспахивания поселений плугом с выборкой выпаханных находок, что применял Хвойко еще в начале XX века.

Самоквасов и сам копал, если сравнивать с европейским уровнем, архаично, не всегда держа на уме сохранность комплекса вещей. Например, в том же 1878 г., когда вышла его методическая брошюра, в Черниговской губернии в руки властей попал клад древнерусских серебряных гривен из села Горбова. Губернатор пригласил профессора Самоквасова для экспертизы. По совету профессора клад был выкуплен у находчиков и распределен между Императорской Археологической комиссией, Московским археологическим обществом, музеями Киевского университета, Черниговским и личным самоквасовским. То есть он нарушил целостность комплекса. Впрочем, Археологическая Комисия поступила куда хуже: свою долю (9 гривен и 4 фрагмента) она продала графам Толстым по весу драгоценного металла. Очевидно, клад Самоквасов не рассматривал как единый комплекс — в отличие от погребения.

Всё же в каждой группе курганов Самоквасов две-три первых насыпи раскапывал на снос, пластами сверху вниз. Разобравшись в структуре насыпей, как ему казалось, типичной для данной группы, он переходил к раскопкам колодцем. Расчистку погребений он всегда делал лично «при посредстве ручной лопатки, ножа и сухого веника». Никогда не допускал раскопки в свое отсутствие, если не было интеллигентных помощников. Общий вид памятника и основные этапы раскопок, их результаты всегда зарисовывал или чертил, нередко поручал это художнику, а то и фотографу, что было тогда

дорого и сложно. Фотоснимками зафиксированы и раскопки Черной могилы. А главное, аккуратно вел полевой журнал: «Могила, при раскопке которой дневник не был составлен по правилам инструкции, признается потерянной для науки», — писал он позже (Самоквасов 1908: 4). Он описывал не только вещи, но и устройство могилы. Он же интересовался обычаями народов и возможностью установить по ним, каким народом те или иные памятники оставлены. Это был этнографический интерес.

Ему было свойственно стремление доследовать брошенные другими археологами насыпи, и он радовался, найдя там незамеченные погребения и находки, — и археологический памятник полнее изучен, и коллеги уличены в неквалифицированном подходе. Он проводил и охранные, спасательные раскопки, а историку А. А. Котляревскому в 1878 г. писал:

> «...Эти памятники, со времени уничтожения у нас крепостного права поступив в частную собственность крестьян, дорожащих каждым клочком земли, распахиваются и уничтожаются в чрезмерном количестве, и если не будут приняты своевременные меры, то не далее, как через 40–50 лет в России останется так же мало курганов, как на Западе Европы» (цит. по: Щавелёв 1998: 82).

На съездах и заседаниях Московского археологического общества он ставил властям насущные вопросы организации археологического изучения страны:

> «Какие учреждения получают право раскопок? Какой предварительной подготовкой должны обладать у нас лица, командируемые для раскопок? Не должны ли раскопки производиться комиссиями, состоящими из археологов и естествоиспытателей? Каковы должны быть общие правила дневника раскопок, обязательные для всех исследователей древних земляных насыпей? Где должны храниться материалы, добываемые путем раскопок, и не должны ли все эти материалы составлять государственную собственность?» (Древности. Труды МАО, т. VII, в. 1. М, 1877: 48 втор. пагин.).

Эти вопросы злободневны и сейчас. Но и тогда уже ответы на эти вопросы существовали, хотя и звучали несколько по-иному, чем ныне.

Постановка вопроса о совместных раскопках археологов с естествоиспытателями может показаться ранним призывом к участию геологов, палеонтологов и антропологов в археологических экспедициях, но это не совсем так: острие риторического вопроса было направлено в другую сторону. Речь шла не о том, что археологи не

должны копать без естествоиспытателей, а о том, что естествоиспытатели не должны копать курганы без археологов. Выпад был порожден действиями основателя и главы Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии А. П. Богданова, основоположника русской антропологии. С целью добыть черепа для антропологических исследований он с 1865 г. проводил самостоятельные раскопки курганов в Подмосковье. Самоквасов отстаивал необходимость присутствия и контроля историков в таких раскопках (археологов он причислял к историкам): историк, по его доводам,

> «читает всякое старьё, которое неизвестно естествоиспытателям: Геродота, Страбона, Птолемея и других, в этих источниках он находит массу сведений, могущих объяснить для него обрядную сторону, частности быта и прочие вопросы, волей-неволей ускользающие от естествоиспытателя, преследующего преимущественно антропологические цели» (Известия ИОЛЕАЭ, т. XXXV, в. 1, 1881: 11).

Действительно, раскопки Богданова оказались менее информативны, чем раскопки Уварова, Самоквасова и других археологов того же времени: не сопровождались дневниками, чертежами и т. п. С другой стороны, археологи игнорировали потребности и возможности антропологического и прочего естествоведческого изучения своих материалов. Самоквасов оказался в этом отношении более продвинутым: в результате контактов с Богдановым он включил в инструкцию пункт о сохранении остеологического материала. Сам он регулярно посылал черепа из своих раскопок Богданову, и тот благодарил его: «Вы единственный археолог, давший мне материалы для большой и, надеюсь, полезной работы, и Вы единственный, смотрящий истинно по-товарищески на задачи антропологии» (цит. по: Щавелёв 1998: 90). Общество ЛЕАЭ в 1876 г. наградило Самоквасова именной золотой медалью.

Вопрос о праве на раскопки и об учреждении, этим ведающем, получил ответ тоже — с 1889 г. право выдавать «Открытые листы» (лицензии) на раскопки было признано за Археологической комиссией в Петербурге, но оно действовало только на государственных землях. На помещичьих больше значило рекомендательное письмо от графа и графини Уваровых, и Московское общество конкурировало с Археологической комиссией в распорядительной деятельности, в частности проводило всероссийские Археологические съезды. Конкуренция порою достигала резких обострений, и в архиве МАО один из томов переписки озаглавлен «Пререкания с Археологической комиссией».

Коль скоро самоквасовская инструкция родилась на Археологическом съезде под контролем Уваровых, Археологическая комиссия решила создать свою регламентацию, и по ее поручению это выполнил Спицын. Когда в 1895 г. вышло спицынское руководство, по сравнению с инструкцией 1874 г. более современное, Московское археологическое общество решило обновить и свою инструкцию.

Во-первых, в 1908 г., к XIV съезду, Самоквасов выпустил обновленный вариант своей методической брошюры. В своем дневнике А. А. Бобринский записывал в 1910 г. по поводу этой инструкции:

> «Маститый археолог сердится. Всю жизнь твердил Дмитрий Яковлевич, что археологические находки следует выставлять в музеях и издавать в описаниях, группируя предметы по могилам, а не по их художественному тождеству, как ныне принято. Но его голосу не внемли и в результате — наши музеи и издания „мало полезны историку"».

В число упреков Самоквасова внесено и то, что раскопщики обращали „ничтожное внимание на устройство могил" (Переписка 2007: 91).

Во-вторых, новую рабочую группу на XIV Съезде в Чернигове составили Э. Р. фон Штерн, А. В. Селиванов, В. А. Городцов и, разумеется, Самоквасов. Группа приняла весьма прогрессивные директивы: раскапывать не более половины общей площади поселения, оставляемый на месте массовый материал (нехарактерную керамику, кости животных и т. п.) закапывать в точно отмеченном месте, те коллекции, которые не экспонируются, хранить в особых музейных кладовых разобранными по комплексам. Завершить подготовку наставления было поручено Самоквасову и Городцову, но Самоквасов заболел и скончался, так что «Руководство для археологических раскопок» выпустил уже один Городцов (1914 г.).

Переиздавая потом свою инструкцию, Спицын включил туда некоторые иллюстрации из Самоквасова, но сослался на... Самохвалова. Щавелёв (Переписка 2007: 344, прим. 515) считает, что это сделано намеренно, чтобы уязвить. Не думаю. Это описка по Фрейду: таким Спицын видел Самоквасова.

6. Могилы Русской земли. За два десятилетия варшавский профессор объездил всю Европейскую Россию и накопил огромный материал из своих раскопок. Начинал он с концентрации на городищах, а закончил увлечением курганами и разработкой обширной панорамы могил (в основном курганных) Европейской России. Логика

развития его интересов понятна: от обоснования высокой культуры и развитой государственности восточных славян Киевского периода к углублению древности их высокой культуры и обоснованию их местного происхождения на землях Восточной Европы. А это требовало уже не столько исследовать городской быт, сколько обнаруживать их этнические (как тогда говорили, племенные) границы и простирание во времени, выявлять корни их культуры, то есть изучать их языческую религию, обрядность, для археолога прежде всего погребальную.

Перенос интересов археологии на могильные комплексы был и вообще характерен для тогдашней археологии, но большинство археологов влекла к курганам возможность обнаружить драгоценные украшения и оружие, произведения искусства для музеев. Этих кладоискателей не очень озабочивала необходимость сохранить вещи в комплексе и зафиксировать их расположение и вообще облик всего сооружения. Когда они натыкались на бедные, рядовые могилы, они попросту бросали раскопки и переходили на новое место. Так поступали маститые археологи — Веселовский, Забелин. Понятие «замкнутого комплекса», уже разработанное в Дании Томсеном и Ворсё ради установления относительной хронологии, этим русским археологам оставалось чуждо.

Самоквасова, которого хронологические интересы датчан и их «замкнутый комплекс» также не очень занимали, его собственные интересы всё же вели к осознанию необходимости изучать могильные сооружения и связи вещей в комплексе — не столько ради относительной хронологии (хотя абсолютную он устанавливал — по монетам), сколько ради выявления обрядности.

Конечно, наилучшим способом решения стоявшей перед Самоквасовым научной задачи было бы обобщение всех известных к тому времени материалов из разных раскопок. Но осилить такую акцию было по организационным причинам очень трудно для провинциального профессора, а к тому же примешивались личные амбиции. Основываясь на раскопанных Уваровым с Савельевым в 1850-е гг. курганах Владимирской губернии, Уваров издал в в Трудах I Археологического съезда большую работу «Меряне и их быт по курганным раскопкам». Работа вышла в 1871 г. Правда, количество раскопанных курганов у них было почти восемь тысяч, гораздо больше, чем у Самоквасова, но зато лишь в одной губернии, а у Самоквасова — по всей России! Богданов, проведший в 1865 г. раскопки курганов Подмосковья, уже в 1867 г. издал по ним книгу «Материалы по антропологии

курганного периода в Московской губернии», причем археологическая сторона раскопок была раскрыта очень скудно. Забелин в 1866–1872 гг. обобщил в своем двухтомном труде «Древности Геродотовой Скифии» материалы всех своих раскопок за предшествующие годы. Почему же Самоквасову не сделать того же — это показало бы всем его вклад в археологию России.

Но для такого крупного издания нужны большие деньги. Уже в 1876 г. он ездил в Пертербург хлопотать об издании его результатов Академией наук. В 1879 г. он обращается в разные инстанции с просьбами о казенной субсидии на издание, перечисляет свои полевые открытия — каменные орудия вместе с расколотыми костями мамонта, кремневые изделия и керамика на дюнах, городище с костяными и бронзовыми орудиями без железа, курганы с золотом и бронзой, фундамент христианского храма в Чернигове и т. д.

> «Все эти факты совершенно новые и чрезвычайно влиятельные для нашей истории, но мне не хочется публиковать их в отдельности, с той целью, чтобы в одном издании сгруппировать все факты, добытые моими раскопками с 1869 г. <...> Будучи сгруппированными в одном издании, снабженные рисунками, эти факты получат такое значение, какого они не могут иметь в разрозненном виде, в отдельных журнальных статьях, лишенных рисунков» (цит. по: Щавелёв 1998: 104).

Ну, положим, большое значение эти факты получили бы, сгруппированные в изданиях тематически, а не все чохом, объединенные только личностью открывателя. Хлопоты об ассигнованиях сильно затянулись, а тем временем самоквасовское собрание материалов всё увеличивалось, а продумывание интерпретации тематически сужалось, сосредоточиваясь на курганных материалах. Через 10 лет после начала хлопот Самоквасов получил командировку за рубеж «для осмотра археологических музеев в Кракове, Вене, Буда-Пеште, Афинах, Константинополе, Болонье, Венеции, Флоренции, Риме и особенно в Неаполе» — в последнем месте собирались материалы из раскопок Геркуланума и Помпей. Самоквасов принял участие в этих раскопках и смог поработать с итальянскими археологами на могильниках. «Об узнанном мной в этом путешествии, о сходстве и различиях устройства и содержания могил Южной России и могил древних италов, пеласгов, этрусков, умбров, римлян, даков, гуннов я скажу несколько слов на предстоящем в Москве Археологическом съезде», — сообщал Самоквасов графине Уваровой (цит. по: Щавелёв 1998: 104).

На этом VIII съезде, в 1890 г., его коллекция впервые была выставлена целиком. Доклад свой Самоквасов посвятил «основаниям хронологического распределения этнографических материалов из курганов южной и средней России». Речь шла о распределении материала по эпохам, а материалу этому Самоквасов придал этнические («этнографические») определения, которыми иллюстрировал свою главную идею прямой преемственности летописных славян от ранне- и доисторических предшественников на территории России. Эпохи были названы так: 1) доисторическая (это палеолит); 2) киммерийская до VI–VII вв. до Р. Х. (в нее включались неолит, энеолит и бронзовый век — всё это время отводилось существованию киммерийцев, предшествовавших скифам); 3) тысячелетняя скифо-сарматская (раннежелезный век, с VI в. до Р. Х. по V в. нашего летосчисления), а она делилась на отрезки скифо-массагетский, скифо-сколотский (сколоты — это для Самоквасова славяне) и скифо-сармато-праславянский; 4) анто-славянская (это VI–XI века); 5) славяно-русская (XI–XIII вв.), 6) половецо-татарская (XII–XIV вв. — это, конечно, вставной эпизод, вызванный нашествием извне); 7) российские древности новейшего периода. Период варяжского присутствия, естественно, не предусмотрен.

На съезде эта система столкнулась с неприятием. Критики обращали внимание на исусственность подгонки разных памятников и культур под рубрики самоквасовской шкалы. Общее мнение выразил позже В. А. Городцов: «...в России введение этнографических терминов в отношении хронологии опасно и преждевременно» (Городцов 1908: 89). Самоквасов, однако, остался на своем и в 1892 г. издал «Основания хронологической классификации, описание и каталог коллекции древностей профессора Д. Я. Самоквасова», не изменив своих взглядов.

Сами свои коллекции Самоквасов решил передать на вечное хранение в Исторический Музей в Москве — национальное древлехранилище: «боюсь держать их дома, в частной квартире». Официально он оформил это как дар на имя государя. Перед этим он привел коллекции в окончательный порядок в Варшаве, наняв двух помощников: нужно было переписать начисто дневники всех раскопок за 20 лет, составить каталог и описание более 5000 отдельных предметов, изготовить фотоснимки и таблицы и т. д. В том же 1892 г., когда вышли «Основания хронологической классификации», вещи были отвезены в музей. Современники оценили патриотизм и бескорыстие ученого: он ведь мог продать свои коллекции в любой

европейский музей — цены на древности к этому времени поднялись необыкновенно. А он их отдал даром в отечественное древлехранилище. Впрочем, обычно такой дар императору отмечался высокими вознаграждениями дарителю. Кроме высоких орденов Самоквасов получил восстановление потомственного дворянства всему роду (всем братьям).

Самоквасов поставил и некоторые условия музею: во-первых, не разрознивать вещи из могил, хранить их помогильно, вступив в спор с Забелиным, который предпочитал выделить вещи, «показные для публики», во-вторых, не разрознивать и всю коллекцию — хранить ее вечно под именем дарителя.

На издание дневников денег не хватило, и перебеленные полевые дневники тоже были переданы в музей. Описания могил дождались и своей публикации, но значительно позже, через полтора десятилетия — в 1908 г. в солидном томе «Могилы Русской земли». Помогла издать их графиня Уварова. К этому времени готовился XIV Археологический съезд как раз в родном городе Самоквасова Чернигове. При подготовке съезда Уварова как председатель МАО выделила Самоквасову 1200 рублей на издание дневников и даже предложила держать корректуру издания. Благодаря насыщенности материалом и точности отсылок к инвентарным номерам музея этот фолиант остается путеводителем и справочником. По своим интерпретациям он явился итоговым обобщением, однако весьма запоздалым. Даже когда он готовился, в 1891 г., он создавал одностороннюю и искаженную картину из-за косной и тенденциозной позиции автора, а поскольку Самоквасов остался при своих взглядах, то ко времени публикации том был крайне архаичен.

Сам ученый к этому времени уже мало занимался археологией, так как давно сменил место работы и должность.

7. Москва: архивная эпопея. Выставив на съезде в Чернигове свою огромную коллекцию и решив подарить ее Историческому музею, Самоквасов уже знал, что покидает Варшаву. За 19 лет он заработал большую профессорскую пенсию (во враждебной Варшаве для этого требовалось не 25 лет службы, как везде, а только 20, и ему зачли в стаж срок магистратуры). Он решил переехать поближе к родным местам, в милую сердцу обстановку, и министерство предложило ему пост директора Московского Архива министерства. С января 1892 г. он этот пост занял. По сути это был главный исторический архив страны.

Это предложение министерства было оправдано не только юридическим образованием и чином Самоквасова, но и его опытом и авторитетом археолога. Ведь архивоведение, наряду с археографией (наукой о письменах и хронологии почерков) и дипломатикой (наукой об исторических документах), тогда считалось в России частью археологии. Не говоря уже о том, что древние письменные источники близки древним артефактам со своей материальной стороны (сохранность пергамента или бумаги, сохранность чернил или краски, символика знаков и изображений), рамки археологии тогда были более широки и расплывчаты. Археология тогда включала в себя изучение всех видов источников, лишь бы они были древние, в том числе и письменных документов истории — актов, грамот, жалоб. Тематика эта рассматривалась на археологических съездах; статьи по ней печатались в археологических изданиях; специалистов по документам и архивной работе должны были готовить археологические институты, более того, это было их главной задачей.

Архив Самоквасов застал в плачевном состоянии: громадные залежи документов пребывали неописанными, целые отделы даже не разобранными, жалованье сотрудников было мизерным, многие вакансии оставались незаполненными. Те, кто работал, предпочитали не нести свои рутинные обязанности, а делать в рабочее время свои диссертации или выполнять платные заказы со стороны. Здание требовало капитального ремонта. Самоквасов со всей энергией приступил к расчистке этих авгиевых конюшен. Он натолкнулся на упорное нежелание бюрократов отпускать ассигнования на дела, казавшиеся им ненужными, и на сопротивление наиболее знающих и талантливых сотрудников, привыкших к вольнице и к возможности заниматься в рабочее время собственными исследованиями. Только необыкновенное упорство Самоквасова и его неутомимость позволили ему всё преодолеть и выполнить все стоявшие перед ним задачи. Он сумел провести капитальный ремонт и оснащение здания водопроводом и электричеством, добился значительного расширения штатов и повышения заработной платы, заставил сотрудников проводить именно то, что нужно было для приведения архива в порядок, — каталогизацию и описание документов, начал издание каталогов. Многие историки теперь находили в архиве материалы для своих исследований. После 19 лет преподавания в Варшаве он провел 19 лет, управляя архивом, и оставил его организованным и процветающим учреждением.

С поддержкой Уваровой Самоквасов принял деятельное участие в организации архивного или археографического отделения в МАО,

а затем надумал реорганизацию всего архивного дела в стране (Самошенко 1984; Щавелёв 1998: 110–145). По аналогии с давним вопросником о городищах и курганах он составил анкету о состоянии архивов в стране. Результат оказался страшнее, чем ожидали даже скептики. Самоквасов резюмировал, что ежегодно гибнут во множестве древнейшие документы и даже целые архивы. Чиновники просто списывают их и уничтожают, чтобы не возиться. Предложенная им программа предусматривала централизацию архивного дела. Он предлагал ввести правительственный орган для руководства архивами и учредить в 12 учебных округах государственные архивы вместо ученых губернских архивных комиссий, сформированных, как сказали бы теперь, на общественных началах (эту форму труда всегда очень любили в России) и не имевших ни денег, ни власти. В монографии «Архивное дело в России» (1902) Самоквасов гневно восклицал: «Волею судеб архивное дело в губернии вручено 150–200 "ученым" в лице чиновников, исправников, безграмотных попов, отставных козы барабанщиков и недорослей». Обрушился он и на Археологический институт, который давал весьма широкое общекультурное образование, удобное для занятия синекур, но не готовил к упорядочению и описанию документов.

Против Самоквасова выступили видные деятели губернских архивных комиссий и Археологического института, да и многие провинциальные ученые — эти боялись чрезмерной централизации. Правительственная бюрократия тоже не поддержала проект Самоквасова: он требовал слишком много средств. Чиновники предпочитали несколько усилить губернские комиссии и на этом поставить точку. Архивная реформа Самоквасова осуществилась только после революции, да и то больше по линии централизации и бюрократизации, чем по линии достаточных ассигнований.

8. В Московском университете. С 1894 г., то есть на третий год после устройства в Москве, Самоквасов начал по совместительству преподавать в Московском университете, причем бесплатно, поскольку профессорская пенсия и директорское жалованье вполне его удовлетворяли. Руководство же Московского университета весьма устраивала политическая благонадежность варшавского ветерана — монархиста и патриота. Когда на открывшуюся вакансию второго профессора кафедры были выдвинуты две кандидатуры — консервативный А. Н. Филиппов и либеральный М. А. Дьяконов, оба из Дерптского (Юрьевского) университета, сделать выбор университет предоставил Самоквасову,

а тот выбрал, конечно, Филиппова. Это вызвало большое возмущение в стане ученых-либералов. Профессор Мануйлов (будущий ректор) в 1903 г. издал свой протест брошюрой, а В. О. Ключевский набросал язвительную отповедь Самоквасову, оставшуюся тогда неопубликованной (она опубликована в сочинениях Ключевского позже). Вольнолюбивая часть студенчества не посещала лекций Самоквасова, считая его «черносотенцем». Некоторое основание для этого имелось: Самоквасов был видным членом Союза русского народа.

Вообще в Москве его лекции вдумчивым и требовательным студентам просто не нравились. В своих воспоминаниях будущий академик-историк В. И. Пичета (1978: 61), высказав свое восхищение лекциями В. О. Ключевского, А. А. Кизеветтера, Н. А. Рожкова, М. В. Довнар-Запольского и др., писал далее:

> «Очень я интересовался историей русского права и сначала собрался посещать читавших его профессоров Д. Я. Самоквасова, Мрочек-Дроздовского и приват-доцента Числова, читавших отдельные части курса, но, прослушав немного всех этих троих бездарностей, я бросил их посещать...»

Зато писатель-эмигрант Михаил Осоргин вспоминал о лекциях Самоквассова с ностальгией. Впрочем, в его характеристике больше юмора и умиления, чем свидетельства глубины и практичности лекций о праве. По его воспоминаниям,

> «профессор Самоквасов, большой старик с отлично сделанной из осмоленной пакли бородой, в длинном сюртуке, видавшем виды, <...> говорил преимущественно о курганах. В своей жизни он раскопал бесчисленное количество курганов. Рассказывал он о них подробно, о каждом особо, и это имело какое-то отношение к русскому праву. Его главным козырем была коробочка с мелкими угольками, которая хранилась в одной из витрин Исторического музея. Раз в течение курса он вёл нас туда <...> Здесь, склонившись над витриной грузным корпусом и вынув коробочку, он с необычайным оживлением говорил:
>
> — Эта находка в корне меняет все прежние представления о наших предках. Что это за угольки? Посмотрите, но не касайтесь пальцами. Они найдены в погребальной урне. Это, милостивые государи, обгорелые зерна ржи! Значит, наши предки не были только дикими звероловами; они занимались и хлебопашеством. Значит, уже в те времена культура была достаточно высокой <...> и так далее.
>
> Мы заглядывали в коробочку и чувствовали умиление и гордость за предков. Профессор Самоквасов вырастал в наших

глазах, и на студенческих балах мы танцевали с его племянницей, занимая ее разговором о коробочке с обгорелыми зернами ржи» (Осоргин 1992: 592).

Когда возникли студенческие волнения 1901 г., Самоквасов, разумеется, не поддерживавший их, изъявил Совету университета свое неожиданное для реакционера мнение об этом. Он отметил, что применение силы, особенно полиции, только увеличивает «кадры революционных и сепаратических организаций». После очередной вспышки студенческих волнений Самоквасов направил министру просвещения записку под заглавием «Средство освобождения университетов от политики». Считая «превращение наших университетов в политические клубы» «хроническим заболеванием» («там нет науки, где господствует политика»), он предлагал радикальные средства исцеления: автономию университетов и свободу преподавания и посещения лекций, а также разрешение всех «корпоративных организаций студентов». Со стороны консервативного человека это было весьма умно и смело, особенно в преддверии революции 1905 г.

Свой курс лекций (по истории русского права) Самоквасов неоднократно переиздавал, в последнем, наиболее пространном варианте, в 1908 г.

9. Заключительный аккорд. Критически относясь к Петербургскому Археологическому институту, Самоквасов с надеждой встретил организацию в 1907 г. Московского Археологического института, где он надеялся читать лекции по русской археологии. Но руководство поручило их молодому В. А. Городцову. На обсуждении Самоквасов вспылил и бросил: «Это будет не институт археологии, а лавочка для продажи дипломов». Встал и гордо удалился. Но скоро сменил гнев на милость и стал усиленно помогать институту. Да и сам он работал, как целый институт. Были у него особенно производительные годы. Так в 1908 г., когда вышли его монументальная монография «Могилы русской земли» и последнее издание «Истории русского права», одновременно, в том же году, он выпустил еще и монографию «Северянская земля и северяне по городищам и могилам», брошюру «Происхождение русского народа» и детализацию инструкции: «Раскопки древних могил и описание, хранение и издание могильных древностей». У кого еще и в каком году прозвучал такой мощный заключительный аккорд?

Последняя его экспедиция прошла в следующем, 1909 г., когда ему было 66 лет, в Курской губернии, у с. Гочева. Неподалеку,

у деревни Клиновой, находилось имение его жены. Там, в доме тестя, Самоквасов любил отдыхать летом и оттуда ходил разведками по окрестностям. Огромный Гочевский могильник (св. 4000 курганов) был обнаружен во время таких экскурсий. В августе 1909 г. с пятью помощниками, членами Курской губернской архивной комиссии, наняв 80 крестьян-землекопов, Самоквасов за 9 дней раскопал до 270 курганов (в среднем по 30 курганов в день!) и прорыл 4 траншеи по площади городища, кроме того, были вскрыты 9 погребений на городище и урновые погребения на песчаных дюнах. Его биограф Щавелёв (1998: 184–185) восхищается этими раскопками как образцовыми, но современный археолог, присоединяясь к нему в оценке колоссальной работоспособности старика ученого, не может разделить с биографом восхищения методикой: при такой скорости раскопок расчистить, зачертить и тщательно описать погребения и устройство могил просто невозможно. Некоторым оправданием маститого археолога служит его убеждение, что могильник разрушается распашкой, что насыпи всё равно через 8–10 лет исчезнут, и что раскопки носят спасательный характер. Но примерно с той же скоростью Самоквасов копал всегда. Правда, в этом году раскопал больше, чем когда-либо.

Ведя эти раскопки, он уже был смертельно болен (как впоследствии оказалось, у него был рак легкого). С начала 1910 г. вынужден был подолгу лежать в постели, но всё еще вставал для чтения лекций сотрудникам архива. 5 августа 1911 г. умер. В числе венков на гробе был венок от Московского археологического общества, на котором Уварова велела надписать: «Богатырю-археологу».

Д. Я. Самоквасов в конце жизни

Археологический генерал
Н. Е. Бранденбург

Генералам науки не ставят памятников.
Их цитируют чем дальше, тем реже и — забывают.
А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Хищные вещи века.

1. Начало военной карьеры. Есть некие типологические контуры личностей, которые сказываются в общности некоторых известных фигур, в их сходстве по ряду параметров, в выделении социальных типов. Археологический генерал — такая типичная фигура. Бранденбург — из той плеяды генералов, которые внесли в археологию точность, аккуратность, организованность и техничность: Питт Риверс, Мортимер Уиллер, Строганов, Бранденбург. Подобно Питту Риверсу, он основал музей и начал с изучения истории оружия.

Можно было бы сказать, что Бранденбург внес в российскую археологию немецкую точность и аккуратность, но немецкие корни Бранденбурга проступают не очень сильно. Дворянский род Бранденбургов по происхождению немецкий, как-то связанный с маркграфами Бранденбургами, чье тысячелетнее правление в маленькой центральноевропейской области, после ее соединения с Прусским королевством, легло в основу Германской империи. Но в этом роду не только маркграфы, есть и другие ветви. В романовской России тоже было немало Бранденбургов. За века на русской службе некоторые ветви рода совершенно русифицировались, даже сменили протестантизм на православие.

Генерал Николай Ефимович Бранденбург (Анучин 1902а; Печенкин 1905; Маковская 2001; Кирпичников 2003; Длужневская и др. 2009) — не только православный, но и построил часовню на Варяжской улице в Старой Ладоге на месте церкви Св. Спаса. Во всяком случае он гораздо более русский, чем сами Романовы, в жилах которых благодаря бракам к концу существования династии текла почти исключительно

немецкая и датская кровь. По-видимому, генерал дорожил своими русскими корнями (по материнским линиям) гораздо больше, чем немецкими — он написал книгу по генеалогии рода князей Масальских, то ли имеющих западнорусские корни (в Великом княжестве Литовском), то ли Рюриковичей.

Николай Бранденбург родился в 1839 г. в Петербурге и, окончив гимназию, поступил почти восемнадцатилетним в Константиновский кадетский корпус. Корпус этот был образован только незадолго до того, в 1855 г., во время Крымской войны, на базе Дворянского полка, а полк этот существовал как филиал при 2-м Кадетском корпусе. Это был старый, еще Петром основанный центр подготовки командных кадров для артиллерийских и инженерных войск. Ясно, что артиллерия началась у Бранденбурга с самого начала его военной карьеры. Знания его оказались столь основательными, что зачислен он был сразу в третий, выпускной класс, так что в кадетах он пробыл совсем недолго. В мае 1858 г. он окончил Кадетский корпус с отличием и был произведен в унтер-офицеры. Любопытно, что при окончании ему вручили в награду двухтомник Лермонтова, а при производстве в унтер-офицеры — трехтомник Бенедиктова, ныне совершенно забытого поэта. Через месяц он был зачислен поручиком в Кексгольмский (имени) императора Австрийского гренадерский полк.

Но молодого офицера влекло к артиллерии. В ней ведь соединяются баллистика с ее математическим обоснованием, металлургия с ее химическим обоснованием и химические рецепты взрывчатых веществ, история артиллерии — всё это обладало для офицера, преуспевавшего в науках, неизъяснимым очарованием. Через два года он выпросился в 21-ю артиллерийскую бригаду, а еще через год был переведен во 2-ю лейб-гвардии артиллерийскую бригаду. Это как раз в годы, когда в России начались Великие реформы — отмена крепостного права, экономические, юридические, образовательные.

В том же 1861 г. офицер Бранденбург поступил вольнослушателем в Петербургский университет на факультет восточных языков. Дело в том, что именно в 60-е гг. активизировалось продвижение России на Восток — бурно пошло завоевание Средней Азии. Поступок офицера показывает, что он мыслил себя в этом движении, готовил себя к участию. Да, вероятно, и поражение в Крымской войне не считал окончательным решением противоречий с Турцией.

В 1863 г. Бранденбург — командир батарейной роты, а в 1867 г. избирается членом суда чести бригады, что показывает уважение

к нему офицеров. В 1870 г. он окончил факультет, защитив дипломную работу с серебряной медалью.

В то же время он занимается исследованиями по истории артиллерии и военного искусства в России и печатается в военных журналах. В числе этих статей есть и статья о необходимости создать в России музей по истории артиллерии — «Несколько слов о нашем историческом артиллерийском музее». Функции хранилища памятников артиллерии исполнял в России Достопамятный зал в Старом пушечном дворе Санкт-Петербургского арсенала близ Литейного моста, где, однако, наряду с пушками и ядрами, хранились табурет Степана Разина и чучело лошади Екатерины II. Было много пробелов в коллекциях, они располагались не в хронологической последовательности, не было описей, каталогов, библиотеки. Бранденбург предлагал программу переустройства этого хранилища в настоящий музей. Как пример он приводит прослеженную им судьбу орудий Соловецкого монастыря.

В 1866 г. удостаивается своей первой награды — ордена Святого Владимира 3-й степени.

2. Музей. Весной 1872 г. капитан Бранденбург отчисляется в Главное артиллерийское управление офицером по особым поручениям и получает задание подготовить артиллерийский отдел Политехнической выставки в Москве. А осенью того же года в Петербурге был основан Артиллерийский музей, и способного капитана-артилериста, показавшего свою страсть к наукам и успехи в них, назначили директором этого музея (где он сменил первого директора, пробывшего на своем посту недолго). В апреле 1873 г. 33-летнего Бранденбурга произвели в полковники, а в 1874 г. буквально осыпали орденами России, Австро-Венгрии и Прусии. Такая милость двора к молодому офицеру несколько непонятна. По-видимому, ему покровительствовал по личному знакомству кто-то из великих князей.

Между тем ему-то еще только предстояло сделать музей. В его распоряжение отдали коллекции Достопамятного зала и артиллерийского отдела Политехнической выставки. Отдали также архив Главного артиллерийского управления. Остальное нужно было разыскивать и добывать. Из склада беспорядочно нагроможденных скудных коллекций нужно было сделать упорядоченное хранилище, систематизированные экспозиции и научное учреждение. Если в 1872 г. в музее находилось 800 экспонатов, то к 1892 г. их было уже 10 000. Бранденбург сделал музей, лучший в Европе среди

учреждений подобного профиля, и руководил им до самой смерти — 30 лет (Бранденбург 1906).

Прежде всего он составил описи коллекций, стал излавать каталоги и интенсивно пополнять музей новыми экспонатами, извлекая их отовсюду — из руин военных фортов, частных коллекций и монастырей. Каталог музея, составленный Бранденбургом, был по сути опытом построения истории русской артиллерии.

В 1877–1878 гг. разгорелась русско-турецкая война на Балканском полуострове. Для директора Артиллерийкого музея Бранденбурга не было предусмотрено участие в военных действиях: он считался, так сказать, кем-то вроде штатского генерала. Его дело было — собрать коллекции, хранить и изучать их, водить по ним царя и его гостей. Но Бранденбург выпросил себе командировку в Действующую армию — для сбора материалов об участии артилерии в боях и вообще для исторических сведений — ведь в боях творится история России. А когда просьба была удовлетворена, он напросился отправить его штаб-офицером туда, где идут бои, и назначен командовать осадной артиллерией важных участков фронта. Он участвовал в битвах под Рущуком, Никополем и в знаменитой битве под Плевной.

Генерал и археолог Н. Е. Бранденбург, основатель и директор Археологического исторического музея

После семимесячного отсутствия Бранденбург вернулся в Музей.

В 1879 г. Бранденбург организовал Историческую библиотеку и Доисторический отдел Артиллерийского исторического музея, в залы которого открыл свободный доступ. Музей посещали и российские императоры, и военные министры, и руководители артиллерийского ведомства, да и сам Бранденбург был вхож в Зимний дворец.

3. Археология. Военно-исторические изыскания Бранденбурга, исходящие из музейного материала, ввиду специализации на

артиллерии, носили археологический характер. А так как Бранденбург был человеком, думающим широко, это неизбежно привело его к смежным и общим вопросам археологии. История оружия необходимо привела его к истокам вооружения в первобытности.

Он начал с поисков предметов старинного вооружения, естественным образом перешел к раскопкам, а это обратило его к методике раскопок и оценке сопутствующего материала. Заинтересовался проблемами истории самих раскапываемых народностей. Так генерал в конце 70-х гг. занялся археологией в чистом виде. Начал он с курганов.

К этому времени в России развернулись обширные раскопки курганов в разных областях. Археологическая комиссия в основном сосредоточила свое внимание на скифских курганах Юга Росссии, дававших сокровища для императорского Эрмитажа. Это в основном курганные раскопки И. Е. Забелина (1859–1868), Раскопки А. Н. Веселовского начались значительно позже — с 1889 г. Но раскопки курганов в коренной России начались значительно раньше, еще до создания Археологической комиссии. Это прежде всего грандиозные раскопки А. С. Уварова и П. С. Савельева владимирских курганов (1851–1854). Затем это не менее грандиозные раскопки медика и антрополога Л. К. Ивановского на Ижорском плато, в западной части Петербургской губернии (1872–1885). Одновременно начались раскопки профессора юриспруденции Д. Я. Самоквасова на Черниговщине и других районах России (1872–1909). Председатель Археологической комиссии граф А. А. Бобринский был известен личными раскопками курганов окрест своего имения Смела, но они начались чуть позже и шли параллельно с раскопками Бранденбурга (1880–1913).

Таким образом, раскопки курганов были общим, можно сказать, ведущим направлением в российской археологии, и Бранденбург в нее втянулся естественно и вполне объяснимо. Раскопки Ивановского шли в западной части Петербургской губернии, так что, если Бранденбурга интересовали именно окрестные древности, ему оставалась восточная часть губернии. На год позже там начались работы геолога Иностранцева на строительстве канала, но Иностранцев не трогал курганы. Почему Бранденбурга привлекли именно ближайшие к Петербургу курганные могильники, не вполне ясно. Возможно, просто потому, что недалеко ездить, а возможно, раскопки Ивановского показали богатство северных древностей по сравнению, скажем, с «мерянскими» древностями Уварова и Савельева. Ведь Бранденбургу было нужно прежде всего оружие.

В 1878 г. он вступил в Русское Археологическое Общество и отправился раскапывать курганы на реке Кумбите в Южном Приладожье. После двух лет раскопок и разведок он предложил Обществу развернутую программу исследований Северо-Запада, да и не только этого региона. Но основным районом работ стали река Паша и ее притоки в Южном Приладожье. Они расположены в двух смежных губерниях Северо-Запада России — Петербургской и Новгородской, по рекам Волхову, Паше, Сяси и Воронеге, впадающим с юга в Ладожское озеро. За семь лет (1878–1884) было раскопано 179 насыпей, с погребениями финно-угорского населения X–XII веков. Раскопки его сильно уступают раскопкам Ивановского в размахе, но зато превосходят их и многие другие по методике.

В 1886 г. Николай Бранденбург был произведён в генерал-майоры. Конечно, тут сказались не его археологические заслуги, а его служба директором Артиллерийского музея, но в колоритности этой фигуры в глазах двора сказывалось и ее погружение в древности, ее причастность к пополнению Эрмитажа (и своего музея) древностями из археологических раскопок. Это был, так сказать, в известной мере археологический генерал.

На основе своих раскопок Бранденбург выпустил через 11 лет, в 1895 г., солидный труд «Курганы Южного Приладожья» («Материалы по археологии России», вып. 18 — это издание Археологической комиссии). Все раскопанные Бранденбургом курганы описаны им *lege artis* — детально и точно: устройство курганов, положение погребений, сопроводительный инвентарь. Опись предметов из захоронений Приладжья включает 1004 единицы. Николай Ефимович писал:

> «Курганная культура южного Приладожья IX–XII вв. стала едва ли не первой, получившей развернутую археологическую характеристику. И хотя в число славянских она не входит, по времени открытия она оказалась одной из первых курганных общностей, выявленных исследователями славяно-русской археологии. Среди приладожских находок было немало вещей скандинавского происхождения — оружие, фибулы, браслеты».

4. Археологическая комиссия и МАО. Курганные раскопки Бранденбурга в Приладожье закончились почти одновременно с раскопками Ивановского и были почти одновременно изданы, но Бранденбург издал их под своим авторством, а раскопки Ивановского были прерваны его смертью, и издал их член Археологической комиссии А. А. Спицын. Спицын потратил много труда на обработку материалов

Ивановского, но всё же эта смена авторства могла покоробить Бранденбурга. Возможно, была тут кроме авторской солидарности с Ивановским и аристократическая нотка: причастному к дворцовым кругам Браденбургу могла нравиться или не нравиться та или иная позиция графа Бобринского, графа Толстого и барона Тизенгаузена (активных членов Археологической комиссии), но это были равные, а вот претензии недавнего провинциального краеведа и разночинца Спицына, даже не умевшего изъясняться на иностранных языках, должны были казаться нахальными и возмутительными.

Однако это всё предположительные настроения и тайные чувства. Гораздо больше должны были отвращать Бранденбурга от Археологической комиссии его интересы. Он был заинтересован в свободном распоряжении своими находками для пополнения своего музея, а вынужден был после каждых раскопок представлять находки в Археологическую комиссию, та отбирала лучшие вещи к Высочайшему обозрению, после чего решалось, что пойдет в Эрмитаж, а уж остатки можно было использовать для других надобностей.

Поэтому Бранденбург всё больше ориентировался на Археологическое общество, но не на Русское (Петербургское), тесно связанное с Археологической комиссией (одни и те же люди в руководстве), а на Московское, на графиню Уварову. Во всяком случае в 1887 г. на VII Археологическом съезде в Ярославле он делал доклад «О признаках курганных могил языческих славян в северной полосе России (опубликован в I томе Трудов съезда в 1890). От графини зависело расположение многих помещиков, а на частные владения монополия Археологической комиссии не распространялась. Если копать на частных землях, то открытый лист от Археологической комиссии не нужен, а о вещах можно договариваться с собственниками земель. Правда, тогда нужно было думать о других источниках ассигнований на раскопки. Поэтому связь с Археологической комиссией продолжалась. Бранденбург был даже введен в число членов-корреспондентов Археологической комиссии.

В виде специальных рефератов целый ряд работ Н. Е. Бранденбурга был опубликован в периодической археологической литературе: «О черепах из раскопок у Ладожского озера», «О следах каменного века в южном Приладожье», «К вопросу о типах фибул, встречаемых в древних могилах Европейской России», «О предполагаемых раскопках волховских курганов», «Раскопки предполагаемой Олеговой могилы», «Отчет о Михайловской сопке на Волхове». Это лишь небольшая часть трудов Бранденбурга, посвященных археологическим памятникам Приладожья.

Изучение Бранденбургом славянских курганов Петербургской и Новгородской губерний, а также скифских и кочевнических на Юге России имело большое значение для русской археологии.

Как артиллериста Бранденбурга, естественно, должны были особо интересовать и объекты обстрела и осады — цитадели. Ну а как историка его должны были занимать и крепости предшествующего времени. В Южном Приладожье — районе его раскопок — наиболее приметными в этом плане были развалины древнерусской крепости в Старой Ладоге. В Ладоге ее называли Рюриковой крепостью. К тому времени от крепости оставались только руины; каменные стены и башни были полуразрушены и продолжали разрушаться местными жителями. Но Бранденбург был сыном своего времени, и к Ладоге его привлекли прежде всего курганы. А может быть, он подумал о том, что могло бы привлечь Археологическую комиссию. Во всяком случае в Комиссию он обратился за деньгами для раскопок сопки «Олегова могила». В своем обращении он писал:

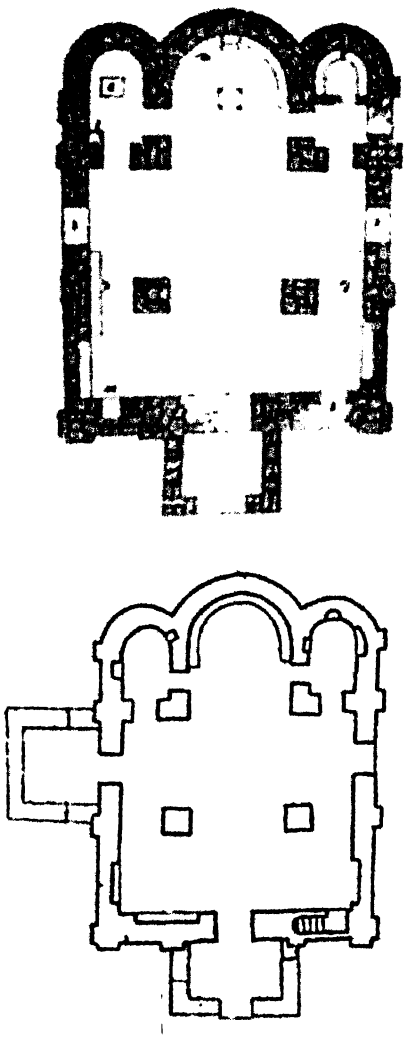
> «Не здесь ли в самом деле Олегова могила, согласно свидетельству Новгородской летописи? Если она действительно около Ладоги, то больше и искать ее негде, и именно в этом пункте нужно попытаться сделать драгоценное для русской археологии открытие. В соседнем кургане с упоминаемым быть может могила жены князя, погибшей вместе с последним, согласно языческим обрядам того времени, а курганы на другом берегу Волхова, быть может, свидетели кровавой тризны по Олеге!»

В 1886 г. Археологическая комиссия приняла предложение генерала, финансировала раскопки (700 рублей) и назначила его начальником экспедиции. Сопка была раскопана, но никакой княжеской могилы в ней не оказалось (Панченко и др. 1999).

Но работая в Старой Ладоге, генерал оценил и развалины крепости, и руины храмов. Он обнаружил руины древней церкви XII–XIII вв., а раскопать, ввиду ненастной погоды, удалось лишь ее алтарь и кое-что вокруг. Он предположил, что это церковь Спаса, а прилегающая местность составляла Спасский конец Ладоги. Договорился со специалистом по церковной архитектуре Н. В. Покровским об исследовании церквей Ладоги, но Покровский прибыл, когда раскопочный сезон Бранденбурга уже завершился. Но на следующий год Бранденбург запросил денег уже на раскопки церквей.

В дальнейшем Николай Ефимович продолжил изучать древности Старой Ладоги. В городе Бранденбург исследовал раскопками в 1887–1888 гг. остатки двух древних храмов. В раскопках обнаружены

вещи церковного обихода и монеты XV века. Продолжались раскопки до 1889 г. В результате он смог опубликовать труд «Старая Ладога», изданный одиннадцать лет спустя — в 1896 г. Конфуз с могилой Олега генерала не очень смущает: ну, не нашлось здесь, найдется в другом месте — возможно, в «сопке Ходаковского»: «Курган поражает своей выдающейся величавостью, не имея далеко кругом себе соперников, и при взгляде на него невольно приходит в голову поэтическая легенда новгородской летописи о смерти и погребении где-то здесь, в окрестностях, на Волхове Олега Вещего» (Панченко и др. 1999).



Планы Воскресенского храма XII века в Старой Ладоге: 1 — выполнен Н. Е. Бранденбургом, 2 — более современный, выполненный И. Л. Воиновой и Н. К. Стеценко (по сб. Ладога и Глеб Лебедев, 2004)

Зато археологические описания Бранденбурга весьма подробны, затронуты топография местности, описаны все периоды существования крепости — летописный, легендарный и доисторический. Одиннадцатилетнюю задержку с публикацией материалов Бранденбург объясняет плохим качеством наличных чертежей. Выполнить на месте новые чертежи было поручено известному архитектору В. В. Суслову. Ему удалось открыть и некоторые подробности конструкций, незамеченные Бранденбургом. Сделаны были и фотоснимки фресок Георгиевской церкви.

В 1888 г., когда в Министерстве обсуждалось пожелание Археологической комиссии предоставить ей контроль над раскопками и исключительное

право выдавать «Открытые листы», Московское археологическое общество, естественно, сопротивлялось, так как графиня Уварова привыкла сама распоряжаться на многих землях. Русское же археологическое общество в Петербурге, тесно связанное с Археологической комиссией, направило в министерство благожелательный отзыв. Но к отзыву было приложено анонимное «Особое мнение некоторых из членов», и автором этого особого мнения был Бранденбург, что не составляло большого секрета. Он был тесно связан с МАО, и его мысли совпадали с идеями графини Уваровой: в обществах состоят люди более квалифицированные, чем в Археологической комиссии, и не стоит жертвовать своим «Высочайше дарованным правом» (ИАК-150 2009: 116). Полемика выплеснулась на страницы газет, и журналисты придали ей скандальный оттенок.

С этого времени уже отчетливый холодок пробежал между генералом Бранденбургом и его петербургскими коллегами-археологами. А связи с Московским археологическим обществом крепли. В 1890 г. генерал выступал на VIII Археологическом съезде в Москве, посвященном 25-летию общества, с докладом «К вопросу о каменных бабах» (опубликован в III томе Трудов съезда).

В 1889 г. пятидесятилетний генерал приступил к обследованию мест сражений русских войск. За четыре года он обследовал места сражений при Ведроше, Мстиславле, Раковоре, на реке Пищали. Из наиболее известных исторических сражений он искал и изучал следы сражений на реках Каяле и Калке. Эти работы продолжались десять лет — до 1899 г.

С 1896 г. Бранденбург — генерал-лейтенант. В 1896 г. он собирался копать курганы на Днепре и обратился к графине Уваровой за поддержкой, сообщив ей, что для него «с Археологической комиссией дела иметь не желательно». Полагают, что в данном случае его антипатия к Археологической комиссии объяснялась еще и тем, что он собирался копать на частных землях, а вещи забрать к себе в музей (Длужневская и др. 2009: 851). В 90-е гг. (1890–1891 и 1893–1898) он копал курганы в Киевской и Полтавской губерниях, в том числе и на средства Археологической комиссии.

В это десятилетие Бранденбург занимался целенаправленными раскопками кочевнических курганов. Из них привезено в Артиллерийский музей единственное до сих пор в музеях погребение кочевника с конем. Но при этом не игнорировались и курганы других эпох — бронзового века, скифские и сарматские, славянские. Курганные раскопки шли в окрестностях Варшавы, Тирасполя, Чернигова,

Саратова, Симбирска, Анапы. Но особенно много Бранденбург копал в Среднем Приднепровье, где у него было имение недалеко от имения Бобринских. Там раскопал более 100 курганов в Каневском, Черкасском и других уездах Киевской и Полтавской губерний. В имении графини Санта-Донато он раскопал два скифских кургана — один большой (8,5 м высоты), другой гораздо меньше (высота 1,5 м). В малом кургане, у села Париевки, было два погребения, основное ограблено полностью, впускное — частично, и в нем сохранился почти полный комплект вооружения скифского воина, а греческая амфора была того же типа, что в Солохе. В большом кургане, у села Ильинцы, основное погребение было ограблено, но грабители пропустили большую электровую накладку горита с изображениями сцен из жизни Ахилла — точную копию горита из Чертомлыцкого кургана.

5. Конец жизни. Именно эти дневники были изданы после его смерти его помощником и преемником на посту заведующего Артиллерийским музеем Н. Печенкиным как «Журнал раскопок Н. Е. Бранденбурга» за 1888–1902 гг. (1908). А переданные из Артиллерийского музея в 1932 г. в Эрмитаж материалы бронзового века из курганов между Днепром и Доном были обработаны и опубликованы Н. К. Качаловой (1974), материалы же о скифах из этих раскопок были введены в научный оборот Л. К. Галаниной (1977). Всё это в «Своде археологических источников».

Вещи из раскопок Бранденбурга хранятся, кроме того, в музеях Артиллерийском — в Петербурге, Историческом — в Москве и Киевском археологическом.

В 1902 г. в России начали готовиться к 100-летию войны 1812 г. (хотя до юбилея было еще 10 лет). В связи с этим возникла идея создать музей всех войн, которые вела Россия. Для изучения опыта работы военно-исторических музеев за рубежом решено было командировать генерала Бранденбурга за рубеж, чтобы именно он изучил постановку дела в зарубежных музеях. За три месяца Бранденбург объехал в 7 государствах 14 городов и изучил работу 20 музеев. Это была очень интенсивная работа, ритм ее был чересчур напряженный для 74-летнего человека с больным сердцем. В Испании его постиг сердечный приступ, его привезли на родину в тяжелом состоянии, и 31 августа 1903 г. он умер от аневризмы сердца.

После отпевания в Сергиевском «всей артиллерии соборе» на Литейном проспекте гроб с телом покойного генерала вынесли из храма на плечах и установили на артиллерийском лафете, на котором был

закреплен серебряный венок от Главного артиллерийского управления. В последний путь археолога сопровождало множество военных, но странным образом от научных обществ, членом которых он состоял, не было никого. Видимо, отношение к генералу в среде петербургских археологов было холодным и отчужденным. Он был слишком самостоятелен, требователен и независим. На портрете, вообще-то, для генерала несколько непривычный образ: астеничное телосложение, большущий лоб, чрезвычайно интеллигентное лицо, вдумчивый взгляд.

Похоронен Бранденбург на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Археолог царского рода

А. А. Бобринский

Но пусть не тем, что знатного я рода,
Что царская во мне струится кровь,
Родного православного народа
Я заслужу доверье и любовь...

К.Р. Я баловень судьбы. 1883

1. Назначение. Убийство царя Александра II в 1881 г. и воцарение его сына Александра III означало и начало новой эпохи в Императорской Археологической комиссии — смену руководства. После тридцатилетнего и очень плодотворного председательства графа С. Г. Строганова в Археологической комиссии кратковременное (четырехлетнее) правление князя А. А. Васильчикова выглядело бледным и упадочным. Даже отчеты за эти годы не удавалось издавать (сводный отчет был издан после ухода князя). Васильчиков был одновременно директором Эрмитажа и в археологии ничего не смыслил и ею не интересовался. И вот 1 февраля 1886 г. на этот пост был назначен 33-летний граф Алексей Александрович Бобринский.

В нашей литературе принято писать Бобринский, но дореволюционное написание этой фамилии, удержанное некоторыми заграничными ее представителями, — Бобринской. Это исправление внес недавно И. Л. Тихонов, которому принадлежит первая достаточно полная биография этого деятеля (2002; 2004). Многие сведения почерпнуты здесь из нее. Но как раз это исправление представляется мне неверным, и я ему не следую: это просто архаизм, в XIX веке через «о» писались все такие фамилии (Ленской у Пушкина), тогда уж надо бы в родительном падеже писать: «Бобринскаго». На «-ой» оканчиваются по-прежнему только фамилии с ударением на последнем слоге (Шаховской). Так что оставим современную орфографию.

Можно сказать, что назначение Бобринского было если не ожидаемым, то не вызывало удивления.

С одной стороны, он в родстве с царем. Родоначальник Бобринских Алексей Григорьевич, прадед новоназначенного, был сыном Екатерины II от ее фаворита Григория Орлова. Фамилию свою получил от пожалованного Екатериной имения Бобрики в Тульской губернии. Таким образом, внук основателя рода (отец новоназначенного) приходился правнуком Екатерине, а царю Николаю I троюродным братом — хоть и незаконным, но по единоутробному родству. В нем царская кровь (Петрова 1993). Поэтому при рождении Алексея в 1852 г. его крестным отцом стал император Николай I. Для царской семьи это был человек свой и исключительно надежный. Он уже проявил себя как хороший организатор — к 1875 г. был избран в Петербурге уездным предводителем дворянства, через три года — губернским. Во время русско-турецкой войны занимается мобилизацией и поставкой лошадей в армию.

Граф Алексей Александрович Бобринский, многолетний руководитель Археологической Комиссии

С другой стороны, молодой граф с юных лет был страстным коллекционером древностей и интересовался археологией, с рубежа 1870–1880-х гг. вел раскопки курганов в своем имении Смела в Киевской губернии. В 1884 г. Русское археологическое общество отправило Бобринского своим представителем на VI Археологический съезд в Одессу. Там он читал доклад о своих раскопках. В следующем году он стал членом Одесского общества истории и древностей, а в Русском археологическом обществе возглавил Отделение славяно-русской археологии. Как раз в 1886 г. опубликовал свой доклад в Трудах VI Археологического съезда, а в следующем году первый том результатов раскопок (всего их было три тома). То есть руководить Археологической комиссией был назначен известный полевой археолог.

2. Юность. Как сформировался такой характер?

Алексей вместе с братом Владимиром получил домашнее образование, а учителем был один из лучших русских педагогов В. Я. Стоюнин. Затем продолжили образование в частном пансионе в Швейцарии, на родине Жан-Жака Руссо, с его идеями естественного воспитания, и знаменитого педагога Песталоцци. Однако в обучении юных графов по тогдашней российской традиции уделялось особое внимание новым и древним языкам, литературе и искусству. Настольными книгами юношей были Вергилий и Гораций, и они свободно изъяснялись на латыни. Аттестат зрелости получили в гимназии экстерном в 1870 г. и поступили на юридический факультет Петербургского университета, как это сделали за 30 лет до них их отец и дядя. На каникулах Алексей много читал. Особое впечатление на него произвел роман Тургенева «Отцы и дети» — сохранились эмоциональные записки, сделаные по прочтении (Тихонов 2004а: 96). Он и сам впоследствии пописывал стихи и прозу, сочинил и издал драму.

С кем был сам молодой граф — с «отцами» или «детьми»? По рождению он принадлежал к верхнему слою дворянства, стало быть, должен был симпатизировать поколению «отцов». Но Бобринские именно потому и были одним из богатейших семейств России, что уже дед и отец молодого графа повернули свои огромные владения на Украине на передовой капиталистический путь, используя наемный труд и ставя сахарные заводы. Их крестьяне были освобождены от барщины и жили сравнительно зажиточно. В революцию 1905–1907 гг. их обошли крестьянские поджоги и мятежи. Поэтому графу были по крайней мере понятны устремления «детей».

Факультет Алексей не окончил. Со второго курса ушел из-за сильных головных болей. После лечения и отдыха за границей, поступил на службу в канцелярию Комитета министров в 1873 г. В армию — как старший из пяти братьев — он по тогдашним российским законам не должен был идти, остальные братья служили в лейб-гвардии гусарском полку, а Владимир погиб на русско-турецкой войне. В феврале 1881 г., после убийства царя, граф Алексей получил назначение в Особое присутствие Сената для обсуждения дел о государственных преступлениях. Он участвовал в следствии и суде над народовольцами Желябовым, Кибальчичем и другими, включая родственницу графа Перовского — Софью Перовскую. Все восемь были повешены. В 1883 г. Алексей Бобринский пожалован званием камергера, а ко времени назначения в Комиссию — еще более высоким званием гофмейстера, позже — обергофмейстера.

Таким образом, это был крупный и родовитый сановник, весьма богатый, с гуманитарным образованием и обычными для наиболее культурного слоя русской знати увлечениями — литературой, коллекционированием и, что реже встречается, раскопками.

3. Возглавляя Археологическую комиссию. К его приходу Археологическая комиссия имела богатый опыт производства раскопок античных памятников и курганов на юге России, а также издательской деятельности. Нужно было только закрыть прорехи, образовавшиеся в результате бесхозяйственного правления Васильчикова. Но правовое положение Комиссии оставалось неурегулированным, комиссия была безвластной и поэтому не могла наладить охрану памятников и спасение древностей.

Бобринский возглавил подготовку нового устава Археологической комиссии. По нему выдача «Открытых листов» на право раскопок на всех казенных, общественных и церковных землях должна была производиться только Комиссией. К сожалению, раскопки на помещичьих землях нельзя было поставить в зависимость от Комиссии, так как этим нарушались бы права собственников. Но и церковные власти и монастыри также упорно сопротивлялись. Еще более яростно сопротивлялось Московское археологическое общество. Руководство его во главе с графиней Уваровой видело в Бобринском сильного конкурента, ввиду его близости к царю. Общество обращалось к высшим властям с петициями о стремлении Комиссии прекратить раскопки обществ, разгорелась полемика в прессе — одни газеты поддерживали Комиссию, другие — МАО. Бобринский не отвечал на оскорбления и выпады. Однако первое представление государю, 1887 г., о необходимости нового устава подписали только сотрудники Комиссии, без графа. Второе, в следующем году, подписал уже сам председатель Бобринский. В 1889 г. новый устав был утвержден императором. С этого времени и до сих пор «Открытые листы» выдаются центральным учреждением и требуется сдавать туда полные отчеты о раскопках.

Что касается частных земель, то представителям Комиссии приходилось договариваться с владельцами участков, обычно на условии раздела находок пополам: половина Комиссии, половина — владельцу. Тихонов приводит воспоминание сына Бобринского о разделе находок из Ольвии, которая находилась на землях графа Мусина-Пушкина.

> «Граф Мусин-Пушкин приезжал каждый год на выставку находок, которую мой отец устраивал в Археологической комиссии, и выбирал себе добрую половину вещей. Только вторую

половину мой отец спасал для Эрмитажа или какого-нибудь музея... Граф Мусин-Пушкин был очень культурный человек, но отец иногда кусал себе губы, когда Мусин-Пушкин себе забирал какую-нибудь мраморную статую пятого века до Рождества Христова» (Тихонов 2004а: 106).

Бобринский в 1909 г., будучи депутатом Государственной Думы, предлагал закон о запрете самовольных раскопок и на частных землях, чтобы и там на раскопки требовался «Открытый лист» от Археологической комиссии, но закон не прошел (на все земли это правило распространилось только после революции).

Постепенно Комиссия забирала под свой контроль и дело охраны памятников и реставрации древних зданий, встречая сопротивление церковных властей и МАО. Графиня Уварова (2005: 194–195) так описывает это в своих мемуарах: «Петербург заволновался, всполошился и стал хлопотать, чтобы дело сохранения было распространено и на Археологическую комиссию, чего Петербург и достиг... Общерусский интерес уступил петербургским происками и притязаниям».

В свою очередь Бобринский, посетив XI Археологический съезд в Киеве, записывает:

> «Впечатления, вынесенные мною из съезда, были самые неудовлетворительные. Научное отношение к делу было вытеснено дилетантизмом, популярничаньем, дешевым блеском поверхностных знаний, что, впрочем, и неудивительно, если принять во внимание состав съезда. Членом съезда имеет право быть всякое лицо, уплатившее 4 руб. за билет. В результате — на несколько сот членов съезда можно было насчитать не более двух десятков археологов — все остальные случайные любители и любительницы. Отношение же к делу председательницы съезда, графини Прасковьи Сергеевны Уваровой, сводилось в большинстве случаев к вопросам личного свойства. На первом плане личное самолюбие, желание, чтобы все разрешалось председательствуемым ею Московским археологическим обществом, и нетерпимость к какому бы то ни было иному археологическому учреждению. К Археологической же комиссии графиня Уварова относится прямо враждебно, протестуя против ее прав и законов, установленных к упорядочиванию дела раскопок и реставраций» (ИАК-150 2009: 141).

Уже на третий год своего правления Бобринский добился увеличения ассигнований на раскопки и издание добытых древностей. Существенным достижением была также новая статья легальных расходов — «сверхсметные кредиты» — это на покупку древностей

у частных лиц и т. п. Были расширены раскопки Херсонеса, начаты в 1901 г. раскопки Ольвии (специально на них тратились 6 тыс. руб. в год). Годовой бюджет Комиссии к началу XX века достиг без малого 58 тыс. руб. А рубль тогда был очень весомой монетой.

Бобринскому удалось значительно увеличить штат Комиссии. До его прихода весь ее коллектив (кроме Председателя) состоял из старшего члена В. Г. Тизенгаузена и младшего члена Н. П. Кондакова, а также технического персонала: производителя дел И. Суслова, художника И. Н. Медведева и сторожа Михайлова. При Бобринском были приняты в штат (в разное время) такие выдающиеся археологи, искусствоведы и эпиграфисты, как В. В. Латышев, Н. И. Веселовский, И. И. Толстой, А. А. Спицын, Б. В. Фармаковский, М. И. Ростовцев, Э. Р. фон Штерн, Ф. А. Браун, Я И. Смирнов, И. И. Репников и др. Кроме того, он получил разрешение приглашать сверхштатными членами и членами-корреспондентами «лиц известных ему научными трудами по археологии» — это дало ему возможность привлечь к работе археологов других городов. Ввел в штат фотографа. Добился повышения всем жалованья, а сам за свою тридцатилетнюю работу жалованья не получал, работал безвозмездно. Правда, при его богатстве в этом и не было необходимости.

Наконец, нужно отметить и борьбу Бобринского за сохранение древних памятников культуры. Так, он добился аудиенции у царя Николая II, чтобы предотвратить разрушение церкви Спаса-на-Нередице прокладкой железной дороги. При Комиссии Бобринский создал реставрационный отдел, и архитекторы-реставраторы П. П. Покрышкин и К. К. Романов объезжали многие российские земли, составляя чертежи и производя обмеры памятников архитектуры.

Тридцатилетняя очень плодотворная деятельность на посту руководителя центрального археологического учреждения страны одна обеспечила Бобринскому место среди виднейших фигур российской археологии.

Правда, в некоторых важных аспектах Комиссия продолжала быть архаичной. Так, в 1906 г., после 20 лет руководства Комиссией, Бобринский писал Самоквасову:

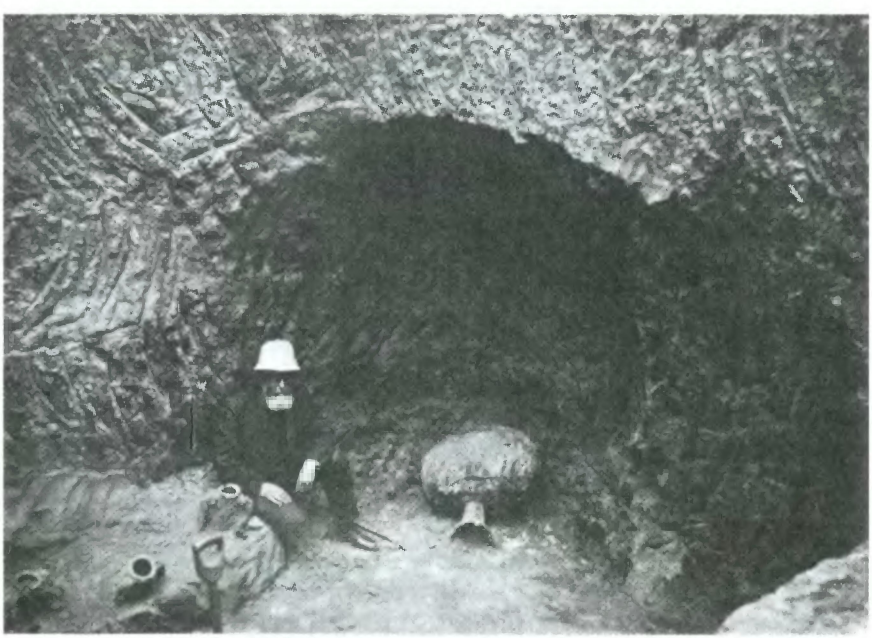
> «Могу обещать только одно, что на будущее время, при распределении добытых раскопками или случайно найденных вещей между музеями России — буду осторожен, постараюсь не разъединять находок одной и той же местности и (между нами) направлять не в Эрмитаж всё то, что рискует попасть в кладовые. <...> За последние годы моя Комиссия *de facto* обратилась

как бы в поставщика Эрмитажа. По положению же своему ей эта роль не предписана. По закону государь указывает предметы, которые должны поступать в Эрмитаж. Остальные (то есть опять же разрознивая комплексы. — Л. К.) распределяются между музеями России. <...> С будущего года думаю уже вступить в этом отношении на несколько иную дорогу» (Переписка 2007: 89).

4. В полевой археологии. Но за Бобринским есть еще и заслуга собственного участия в полевой археологии — его самостоятельные раскопки. Он был в ней активным деятелем, оставившим крупный вклад в накоплении материалов.

Более всего он известен своими раскопками в собственном имении Смела в Киевской губернии. В течение десятилетий он раскапывал там курганы и в 1887–1901 гг. издал три богато иллюстрированных тома «Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы», а раскопки проводил и после этого почти ежегодно до 1913 г. и публиковал отчеты в «Известиях» Комиссии и в изданиях РАО. Всего он раскопал в Смеле 523 кургана.

Методику он постоянно совершенствовал. Так, со второго тома он стал помещать фотографии, разрезы курганов и могил. Полевую



Граф А. А. Бобринский на раскопках кургана Солоха в 1915 г.

методику его оценивают по-разному. Равдоникас и другие советские археологи 30-х гг. с их классовым подходом, естественно, причисляли этого вельможу и аристократа к дворянским дилетантам кладоискательского пошиба и видели в его методике только недостатки. Но уже тогда Круглов и Подгаецкий (1935: 21–23) констатировали, что Бобринский был в России единственным исследователем XIX века, кто брал все кости животных и посылал их на определение к зоологам, а также описывал и забирал все мелкие кремневые орудия. Тихонов (2004а: 108–110) отмечает, что в полевых дневниках Бобринского уже в начале 1890-х гг. имеются планы курганов и могил, зафиксированы позы костяков, указана их ориентация, глубина и перечислены вещи при них. Он с одинаковой тщательностью описывал и зарисовывал богатые скифские комплексы и рядовые безынвентарные погребения бронзового века — «скорченные и окрашенные костяки». Собирал и описывал кремневые орудия и лепную керамику неолита. В отличие от некоторых своих маститых коллег, он всегда сам присутствовал на раскопках.

В первом же томе издания курганов Смелы Бобринский (1887: 8) писал:

> «Систематическое, правильное и постоянное собирание материала, производство раскопок и занесение в дневники не только описания всякого найденного предмета, но всех тех мелких фактов и подробностей, которые должны невольно останавливать внимание археолога, дадут со временем возможность осветить эти страницы далекого прошлого... Но исследователь, желающий принести свою долю пользы в этом деле, должен заранее отрешиться от погони за ценными предметами, даже вообще от исключительного розыска предметов древнего быта. Исследование кургана, в котором не найдено никаких вещей, может, при тщательном описании встретившихся в нем костей животных и подробностей человеческого остова, не говоря уж об антропологических указаниях, принести науке несмненно бóльшую пользу, нежели находки золотых или серебряных предметов. К сожалению, многие из наших исследователей часто подзабывают эту сторону вопроса, пренебрегают курганами, не содержащими вещей, и не описывают их; замечания о положении остовов делаются как-то вскользь, и весь этот материал исчезает для науки бесследно».

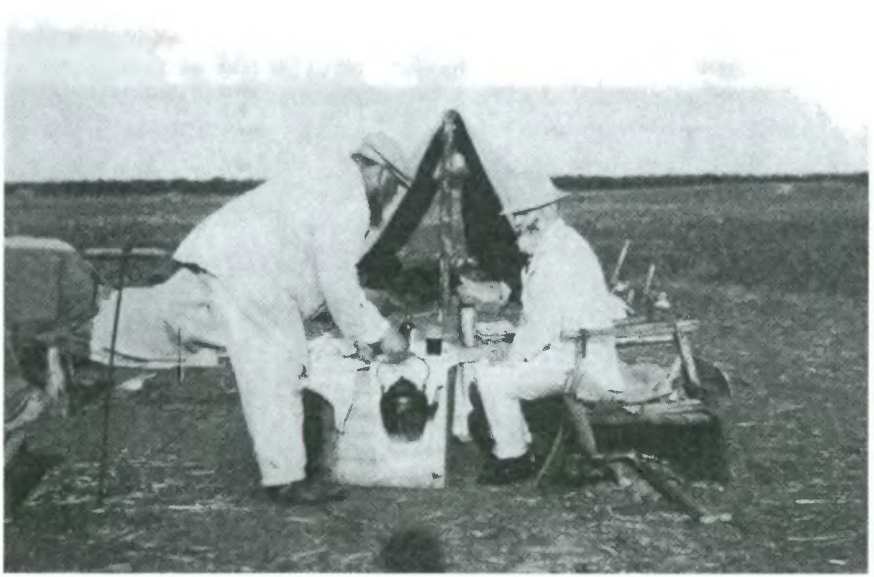
Но Равдоникас (1930: 39) приводит легенду, слышанную, вероятно, от его учителя Спицына:

> «Рассказывают, что Веселовский с Бобринским, копая вместе, в одном богатом погребении нашли прекрасной работы

меч. Уже в Петербурге, в комиссии, между ними разгорелся жестокий спор о том, где лежал меч. Один говорил, что справа от скелета, другой — слева. Когда обратились к надсмотрщику раскопок, рабочему Петренко, тот ответил, что ни справа, ни слева, а в ногах!»

Можно заподозрить легенду в злопыхательском фантазировании, хотя фамилия рабочего и вероятный источник информации Равдоникаса говорят о реалистичности эпизода (от раскопок доклад Равдоникаса отделяло всего полтора десятилетия). Но у нас есть и замечательный источник проверки — мемуары сына Бобринского, Алексея Алексеевича, вытащенные из забвения тем же Тихоновым. В интересующем нас фрагменте воспоминаний сын археолога через много лет рассказывает о своей поездке с отцом на раскопки Н. И. Веселовского в 1913 г. Веселовский тогда копал огромный скифский курган Солоха. В Смелу пришла от него телеграмма: «Дошел до погребения, которое, может быть, представляет большой археологический интерес. Приезжайте. Веселовский». Бобринский немедленно собрался, и 20-летний сын выпросил разрешения сопровождать его. Ехали железной дорогой, а от станции Никополь — по степи бричкой, запряженной парой лошадей.

Веселовский раскапывал курган уже больше месяца. Жил в палатке возле него. Воду возили бочкой из далекой деревни. Курган был



Н. И. Веселовский и А. А. Бобринский на раскопках кургана Солоха

высотой 27 футов (более 8 м). Насыпь уж была прорезана огромной траншеей, и темнело пятно могилы. Веселовский с Бобринским начали расчистку могилы и стали доставать оттуда предметы. «Всякую операцию мой отец останавливал и зарисовывал по плану, где именно каждый предмет был найден, а Веселовский вел подробную запись, отмечая поминутно, что именно когда было найдено». За один день оба археолога расчистили и достали 8 скелетов лошадей с уздечками, 16 амфор, далее скелет покойника в золотой гривне на шее и в бронзовом шлеме, при нем 7 серебряных чаш, три больших бронзовых сосуда и «несколько ваз для вина и масла», несколько булав, более трехсот золотых бляшек, в большой нише — колчан, наполненный стрелами. Всё это за один день!

Указывает сын археолога и такую деталь: «Вдоль скелета лежало два меча, один из них в золотых ножнах...» (Тихонов 2004б: 163). Очевидно, это те самые, об одном из которых и был спор у Веселовского с Бобринским. Таким образом, еще один очевидец свидетельствует не в пользу рабочего Петренко. Но тут важен сам факт спорности детали, и мы понимаем, что при такой спешке строгой и надежной фиксации и не могло быть.

Однако у эпизода есть продолжение. Закончив работу, Веселовский взял Бобринского под руку и сказал: «Пойдемте теперь закусить, в могиле больше ничего не осталось». Мемуарист продолжает:

> «Они тихим шагом направились к палаткам, где их ждал суп из баранины и чай. Я не мог оторваться от теперь пустой могилы и как-то машинально продолжал скрести землю своей острой лопаточкой... Вдруг моя маленькая острая лопаточка, которой я продолжал царапать дно могилы, царапнула что-то твердое, металлическое. Я копнул ниже, и из земли блеснул какой-то золотой предмет. Я копнул еще раз поглубже, и в моих руках оказался большой золотой предмет с какими-то зубьями».

Юноша в волнении закричал отцу: «Иди сюда обратно, скорей, я нашел золотой гребень...» Отец издали велел сыну не трогать гребень, чтобы не сломать. Но гребень был уже в руках сына. «Как я могу его сломать, — возразил сын, — он массивный, тяжелый, золотой». — «Не говори глупостей, — кричал отец, — золотых гребней не бывает...» — и быстрым шагом шел к могиле. Тучный Веселовский, прихрамывая, ковылял за ним. «Оба археолога выхватили у меня из рук тот предмет, который теперь знает весь ученый мир...» (Тихонов 2004б: 164). Это был знаменитый гребень из Солохи с изображением сражающихся всадников и пешего воина.

Золотой гребень из кургана Солоха

Сотрудница Эрмитажа А. П. Манцевич (1987: 15, 18, 20–25), специально занимавшаяся комплексом Солохи в советское время, констатировала, что описания, чертежи и зарисовки Бобринского часто гораздо полнее и точнее отчетов Веселовского, автора раскопок. Это так, но методика раскопок, при которой в раскопе возможно обнаружение вещей после раскопок, это весьма несовершенная методика. Ответственный за нее, конечно, в первую голову Веселовский, руководитель раскопок, но Бобринский был их участником, причем каким — председателем Археологической комиссии, обязанным наблюдать за соблюдением строгой методики, контролировать! Тем более что он знал ее принципы, излагал их в своих произведениях.

Для своего времени он был в полевой археологии одним из лучших, но, нацеливая полевую методику в нужном направлении, сам придерживался своих принципов непоследовательно.

5. Проработка археологического материала. Для оценки деятельности археолога полевая археология — существенный фактор, но не всё. Важно и то, как он проявил себя в обработке археологического материала, в кабинетных исследованиях, в обобщениях и интерпретациях. Каким показал себя исследователем в решении археологических проблем, обладал ли широким кругозором, эрудицией и владением научными методами.

В издании раскопок курганов Смелы Бобринский уже в первом томе (1887 г.) классифицировал материал по трем векам общеевропейской схемы, но к этому времени схема уже полвека жила в науке, а с начала 80-х применялась в российской археологии («Каменный век» Уварова). Во втором томе (1894) Бобринский детализировал свою периодизацию, распределив материал по периодам:

I — каменно-бронзовый, куда относятся окрашенные костяки и рогатый скот, II — скифский, с железными предметами и лошадьми, III — переходный от скифов к славянам, IV — славянский (VI–XIII века). В третьем томе (1901) он исправляет свою периодизацию, предлагая древнейший период именовать энеолитическим (бронзовый век он на Украине отрицает вслед за некоторыми другими авторами), скифскую эпоху называет скифо-сарматской, переходную эпоху определяет как эпоху переселения народов, а после славянской помещает еще одну — великокняжескую.

Эти довольно бесхитростные размышления не выходят за рамки обычной региональной детализации системы трех веков и не представляют большого вклада в науку. Появившиеся в начале XX века Изюмский и Бахмутский отчеты Городцова сразу же сделали эти рассуждения Бобринского безнадежно устаревшими. Городцов-то уловил сопряжение типов могильного устройства (ямные, катакомбные, срубные) с видами керамики и прочего инвентаря и подошел к выделению археологических культур.

В 1902 г. Бобринский делал доклад на Ярославском областном археологическом съезде о первобытной символике и орнаментике. В 1905 г. выпустил книжку «Херсонес Таврический». В 1913 г. сделал на Лондонском международном конгрессе доклад о Перещепинском кладе и в 1914 г. опубликовал этот доклад в 14-м выпуске Материалов по археологии России. Всё это небольшие работы, сугубо описательные. Нужно признать, что Бобринскому не хватало образования — второй курс университета, да и то юридический, не мог дать ему школы исследования научных проблем в археологии. Он оставался в ней работящим и разумным дилетантом.

Поэтому не все маститые археологи, которые работали в Археологической комиссии, были полны уважения к Бобринскому, хотя его близость ко двору и царской фамилии, как и его обходительность, вежливость и заботливость о подчиненных и о русской археологии, вызывали симпатию. Но не у всех. Когда царь в 1889 г. неожиданно назначил Бобринского вице-президентом Академии художеств без согласования с президентом, великим князем Владимиром Александровичем, своим братом, Бобринский обнаружил там серьезные финансовые нарушения и добился отставки конференц-секретаря Академии Исеева (хотел и под суд его отдать), а вместо него пригласил на эту должность своего подчиненного из Археологической комиссии графа И. И. Толстого. Но тот сразу же взял сторону великого князя. Вместе они добились ухода Бобринского из Академии (этот эпизод

Тихонов излагает по дневнику государственного секретаря А. А. Половцова, тестя Бобринского — Половцов 1966: 318), и Толстой был через три года сам назначен на должность вице-президента Академии.

Друг и соавтор И. И. Толстого профессор Н. П. Кондаков в 1891 г. тоже покинул Археологическую комиссию, не сработавшись с Бобринским. В 1911 г. он с сарказмом встретил сборник статей в честь 25-летия председательства Бобринского в Комиссии, предваренный предисловием, в котором сотрудники Комисии восхваляли своего шефа и писали, что работа в Комиссии под его «благожелательным руководством» представляет не тяжкий труд, а «истинное наслаждение». По словам Б. В. Варнеке, Кондаков говорил о Бобринском «особенно сурово и жестоко, издевался над его сотрудниками по комиссии, не постыдившимися посвятить целый сборник статей этому убожеству. Отчего не посвятили сборника швейцару комиссии? Тот во всяком случае был умнее» (Тихонов 2004а: 106).

При всей мотивированности такого отзыва клановыми раздорами, это было раздражение профессионала (по крайней мере в кабинетных исследованиях) вознесшимся дилетантом и разночинца — человеком, выдвинувшимся исключительно родовитостью. Но ведь не все родовитые делали столько для археологии!

Более серьезный бунт возник на рубеже XX века — «старая гвардия» возмутилась благоволением Бобринского «новобранцам». «Старая гвардия» — это были барон В. Г. Тизенгаузен, товарищ (т. е. заместитель) председателя, член Коммисии Ф. А Браун, делопроизводитель И. А. Суслов и директор Керченского музея К. Е. Думберг. «Новобранцами» считались члены Комиссии Н. И. Веселовский, А. А. Спицын и регистратор И. С. Сутулло. О Веселовском околоточный надзиратель Федриков доносил, что тот не присутствует при раскопках, уезжает к себе на дачу, а раскопки ценнейших памятников (Майкоп!) ведут вместо него надсмотрщики Евфимов и Маленко, которые на самом деле являются ворами и «счастливчиками», торгуют древностями и кутят.

Ф. А. Браун

«Новобранцев» обвиняли в том, что их целью стала «обработка чужого труда», его «скомпоновка и напечатание под своим флагом, но за счет Комиссии». Имелся в виду, конечно, Спицын, а прямо ему вменяли в вину «издание приятельских коллекций».

Каплей, переполнившей чашу, был отказ Веселовского выполнить распоряжение Брауна ехать спасать гибнущие курганы и демонстративное манкирование «новобранцами» юбилея Тизенгаузена и Суслова. Разъяренные Тизенгаузен, Браун, Суслов и Думберг подали в отставку и покинули Комиссию. Бобринский в письме Суслову каялся: «Грешен я в том, что моим чересчур добрым и любезным отношением, к сожалению, довел до кризиса».

6. Политическая деятельность. Нужно признать, что стать вполне профессиональным археологом мешала Бобринскому его постоянная политическая деятельность, частично добровольная, частично навязанная государем. Я уже указывал его раннее избрание предводителем дворянства Петербургской губернии, которым он был 21 год, его участие в следствии и суде над цареубийцами. Также его вице-президентство в Академии художеств. Как камергер и затем гофмейстер он должен был присутствовать на всех мероприятиях двора — бесчисленных празднествах, тезоименитствах, приемах, на многих совещаниях. В 1893–1896 гг. он управляет петербургскими сиротскими заведениями, с 1894 г. — член сельскохозяйственного совета министерства земледелия и государственных имуществ, а также президент Вольного экономического общества, с 1896 г. — сенатор, с 1906 — председатель Совета объединенного дворянства всей России и депутат III Государственной Думы. Это крупная политическая фигура.

В Думе он вначале не состоял ни в одной партии, но был одним из виднейших членов крайне правой фракции. Его противником выступал его старый враг, И. И. Толстой, имевший репутацию либерала (в бытность министром просвещения, в революционный 1905 г. действительно провел сравнительно либеральные меры: заменил два древних языка в гимназиях на одну латынь, разрешил преподавание на родном языке, отменил обязательность гимназической униформы и выписки из кондуитов при поступлении в вузы, учредил родительские комитеты и т. д.). Толстой оставил дневник (1997: 166, 202, 314, 395), в котором честит Бобринского «откровенным реакционером» и «черносотенцем» (сам Толстой выступал в защиту евреев от притеснений).

Когда член Археологической комиссии Б. В. Фармаковский, человек демократических убеждений, был в январе 1904 г. приглашен читать лекции в Петербургском университете по истории живописи, он запросил разрешения руководства Комиссии. В письме родителям Фармаковский сообщает: «Граф Бобринский разрешил мне читать на условиях, что я не буду говорить студентам о конституции и революции...» (Фармаковская 1988: 141). Но в 1905 г. революция всё-таки разразилась.

Бобринский сколотил правую партию «Отечественный Союз». Фармаковский на спаде революции писал родителям:

> «Граф Бобринский организовал новую партию, которая еще правее партий 17 октября и правого порядка. Ее отличает от последних 1) то, что она против всеобщего избирательного права, 2) то, что она не допускает полного равноправия инородцев <...> 3) то, что она против назначения министров из среды большинства палаты и ответственности министров только перед палатой (а не перед монархом) <...>, партия признала полную свободу религий, выставляя требование, чтобы православие было религией господствующей и чтобы школа, кроме учения, воспитывала бы чувства законности и патриотизма. Бобринский требует, чтобы все члены Археологической комиссии примкнули к его партии» (Фармаковская 1988: 127).

Вскоре Бобринский даже избирался в очередную Думу от Союза Русского Народа, но не прошел: тогда от Петербурга никто из правых не был избран. В Третью Думу Бобринский избирался уже от провинциальных губерний и прошел. Но настоящим вожаком агрессивной правой фракции Бобринский не сумел стать: его салонные манеры не удовлетворяли требованиям уличной публичной политики. А главное, он с самой юности трезво глядел на самый верх. В январе 1881 г., незадолго до убийства царя Александра II, он он провел два вечера при дворах великого князя Владимира и наследника престола Александра (вскоре царя). В своем дневнике записал:

> «Оба двора, признаюсь, меня удивили. Играли в карты, слушали музыку, ужинали. <...> и всё это без единого умного или серьезного слова. Пустое, скучное, полное смешно поддерживаемого этикета и иногда шутками вкуса <...> несколько сомнительного — вот любимое времяпровождение этих императорских высочеств с 10 до 4 часов утра. О, моя бедная Россия, какое будущее тебя ожидает?»

В молодости он подумывал об ограничении самодержавия, видел в этом спасение от революции. В 1881 г., сразу после цареубийства, он записал в дневник:

> «Окружающие императора Александра III будто бы отсоветовали ему всякие конституционные меры: "Нельзя уступать силе!" О, эти окружающие! О, ограниченные, несчастные, безумные люди!.. чем защищаться против группы убийц, видимо, решившихся на всё? Конституция или по меньшей мере народное представительство, по-видимому, есть средство защиты, указанное провидением. Дай бог, чтобы император не дал себя ослепить ужасным положением, в котором он находится» (Мурзанова 1931: 102).

Еще до думской деятельности, в 1892 г., Николай II, тогда наследник, послал его в Тамбовскую губернию для преодоления голода от неурожая. Отчет Бобринского был столь объективен и нелицеприятен, вскрыл такие глубинные причины голода, указав на ошибки правительства, что в «Правительственном вестнике» его отказались печатать.

Кроме того, Бобринский сохранял независимость суждений и здравую оценку собственных соратников по Думе и правым обществам. В дневнике Бобринского о его работе в Думе есть такие записи: «ограниченность и упрямость нашей маломозглой правой фракции в Думе и Совете» или «наши думские правые энергетически отстаивали свой панический ужас перед всяким земством вообще». О предводителях дворянства этот их глава судит сверху: «Обедал я у Столыпина с массою губернских предводителей. Сдается мне, что в предводители избираются очень благонамеренные, но очень глупые люди». Исходя из этого, иронически он даже готов усомниться в собственном уме (Мурзанова 1928).

Черносотенцем-антисемитом он не был: собирал средства в помощь еврейским семьям, пострадавшим от погромов, и в благодарность еврейская община преподнесла ему свиток Торы в серебряном футляре.

Его называли «левым членом правой группы». Но опыт знакомства с революцией 1905 г. и интересы сохранения дорогого ему дворянства (как — в его глазах — лучшей части общества, как опоры России) постепенно склонили его вправо. Понимая всю ущебность и тупость этой политики, он продолжал ее отстаивать. В 1912 г. он был назначен членом Государственного Совета, в 1916 г. был недолго товарищем министра внутренних дел, а затем министром земледелия.

7. Конец. Между тем события развивались для него трагически. Он был против распутинщины, но убийства Распутина не одобрял. Дальше — хуже. Армия разложена и разбегается. Рабочие и их семьи бунтуют. После свержения самодержавия Бобринский, хоть и весьма дальний родственник царя, по совету А. Ф. Керенского, уезжает с семьей из Петрограда на Кавказ, в Кисловодск. Пробыв там весну и лето, он возвращается в Петроград уже после захвата власти большевиками. В столичную заваруху 65-летний граф ринулся, чтобы обезопасить свой дворец, где хранились бесценные художественные и археологические коллекции. 26 апреля 1918 г. он участвует в заседании Археологической комиссии, где по его предложению вместо умершего Веселовского старшим членом назначается Спицын. Комиссия по охране памятников старины и искусства берет под государственную охрану частные собрания, в том числе дворец Бобринских. Но уже в июле 1918 г. опубликован декрет Совнаркома Северной области о национализации дворцов Шуваловых, Строгановых и Бобринских. Археологическая комиссия переходит в ведение Наркомата просвещения, и 20 июля Бобринский получает официальную командировку от Государственной археологической комиссии на юг — в село Парутино (Ольвию), передав руководство делами комиссии Спицыну.

Добравшись до Одессы, он на французском корабле покидает Россию навсегда, отплыв в Константинополь. Денег у него почти не было, с собой ничего не удалось взять. Жена, дочь государственного

Дворец Бобринских на Адмиралтейском канале в Петербурге

секретаря Половцова, осталась в России. Она была астрономом, писала научные статьи, умерла в 1920 г. Брак практически распался задолго до отъезда супруга. В Константинополе 68-летний граф повенчался с уехавшей с ним Р. П. Новиковой. В 1921 г. он переехал во Францию, жил в Ницце. Там и скончался в 1927 г. в возрасте 75 лет.

Роскошный дворец Бобринских на Адмиралтейском канале в Петербурге долго был в запустении и разрухе. Потом его долго ремонтировали, и сейчас в нем располагается новое учебное заведение постсоветской эпохи — Смольный институт свободных искусств и наук, организованный совместно Петербургским университетом и Бард-колледжем США.

Археолог в числе прочего

Д. Н. Анучин

Ты знаешь... На том рубеже,
Когда подошел к середине,
А сам — разгильдяй и поныне
Без всяких богатств в багаже...

Ю. Ким. Философическое.

Ай время! Ай да мы! Подите-ка,
Считали: рохли, разгильдяи.

Борис Пастернак. Зарево, I, 4.

1. Юношеские мечты. Фигура необычная и странная, Анучин как бы перенесен в XIX век из эпохи Возрождения. В век специализации и дифференциации наук он занялся сразу целым пучком наук — зоологией, географией, антропологией, этнографией и археологией, во всех стал специалистом и авторитетом. Он основал школу, в которой это объединение наук стало основным принципом. Что еще более странно, он пришел к этому не от четкой целеустремленности на широкие проблемы, требующие задействовать несколько наук сразу, а от метаний, от неопределенности в интересах. Даже от болезненности, мешавшей сосредоточиться на учебной программе.

Дмитрий Николаевич Анучин родился в 1843 г. в Петербурге в одноэтажном доме своих родителей на тогдашней окраине города на Петербургской стороне напротив Крестовского острова. Отец его был сыном сельского священника Вятской губернии, в юности был направлен в семинарию, но, не окончив ее, был отдан в солдаты. Он участвовал в Отечественной войне, выслужил младший офицерский чин и потомственное дворянство, вышел в отставку подпоручиком и стал комиссаром магазинов гоф-интендантства. Это позволило ему жить безбедно и обеспечить будущее сыновей. Мать была крепостной,

но в документах ее удалось записать купчихой 3-й гильдии. Она была дочерью ушедшего в город оборотистого подрядчика, который поместил ее в пансион, где она освоила грамотность и разговорный французский. Из их шестерых детей Дмитрий был младшим, а из старших выжили только двое.

Старшего, Михаила, определили в Военно-Инженерное училище, он стал офицером. Среднего направляли тем же путем, но он поступил в Университет и уже студентом умер. Эта смерть стала тяжелым ударом для родителей, и они скончались один за другим в 1857 г., когда Дмитрию было 14 лет. Старший брат, ставший в семье главным, тяготился военной службой, он ушел в отставку и стал учиться в Медико-Хирургической Академии.

К этому времени Дмитрий, которого в детстве обучали приходящие учителя (немецкого, фортепиано и др.), учился уже в гимназии. Ездил он туда на собственной лошади. Он был лучшим учеником по гуманитарным дисциплинам, но посредственным по математике. Из всех наук больше всего любил географию, которую преподавал В. С. Парамонов, очень передовой учитель, знакомивший учеников с «Колоколом» Герцена и «Полярной Звездой». Дмитрий много читал, упражнялся в сочинениях и сам. Сохранилась «Памятная книжка», написанная им в 1855 г. в 12-летнем возрасте. Это программа на будущее:

«Читать книги на французском и немецком языках;
изучать английский и итальянский языки;
прочесть Шиллера, Гёте, Шекспира, Байрона;
перевести из Гётева "Фауста" и "Эгмонта", из "Гамлета" и из Шиллера,
купить микроскоп и делать различные наблюдения,
сходить, где продаются монеты и медали;
быть в Публичной библиотеке и читать книги,
быть в Эрмитаже, Дворце, Румянцевском музее, в Царском селе;
чтение иностранных книг;
собирание цветов и растений;
собирание насекомых;
собирание запрещенных стихотворений;
купить зрительную трубу;
декламирование;
метеорологические наблюдения;
Шишков, Державин, Аксаков, Грибоедов, Гоголь, Полевой, Шиллер,
Гёте, Шекспир и др.»

Любопытно, что почти все пункты этого плана были в жизни выполнены. А в 1860 г., в начале эпохи реформ, Митя, будучи еще гимназистом, увлекся просветительской деятельностью — тогда вся демократическая интеллигенция ею увлекалась. Он принял участие в организации воскресной школы, созданной студентами университета, поработал в ней учителем. В том же году он окончил школу и поступил в Петербургский университет на историко-филологический факультет. С особым вниманием слушал лекции историков М. М. Стасюлевича и Н. И. Костомарова, филолога И. И. Срезневского.

Но пробыл он в Университете недолго. Стал жаловаться на слабость, боль в груди, кашель, возникло подозрение на чахотку (парень был мнительный). Брат повел его к своим приятелям по Медико-Хирургической Академии П. С. Боткину и И. М. Сеченову (этот был его другом еще по Военно-Инженерному Училищу). Оба будущих светила отечественной медицины осмотрели юношу и посоветовали года на два сменить климат — уехать на это время за границу, пожить летом в Германии, зимой в Италии. Лучше всего начать с Гейдельберга, где есть даже русский пансион. Это было сыновьям конторского служащего по карману. Дмитрий быстро собрался и в марте 1861 г. уехал.

2. Слоняясь за границей. Гейдельберг славился своим университетом. Его юридический и философский факультеты считались лучшими в Германии. Из естествоиспытателей в Университете работали Бунзен, Эрленмейер, Кирхгоф. Остановился Анучин в пансионе профессора Гофмана, который был раньше профессором Московского университета, но в 1848 г. (год революции в Европе) был выслан из России по неблагонадежности. Он учредил в Гейдельберге пансион для русских.

В пансионе юноша познакомился с химиком А. П. Бородиным, известным композитором, и его возлюбленной, певицей Е. С. Протопоповой, на которой Бородин потом женился. Были там и братья Ковалевские — биолог Александр Осипович и зоолог и палеонтолог Василий Осипович, основоположник эволюционной палеонтологии в России и муж Софьи Ковалевской. Последний был учителем дочерей Герцена и приезжал в Гейдельберг с ними. Был там А. И. Воейков, известный метеоролог. Словом, общество самое что ни на есть интеллигентное и просвещенное. Общение с естествоведами соблазнило Анучина на уроки химии, которые он стал брать частным образом у профессора Эрленмейера.

Лето Анучин провел в Риме, где с огорчением наблюдал, как подавлялось движение Гарибальди и происходило восстановление папской власти. На зиму он отправился в Швейцарию на озера, где познакомился с высокообразованным стариком Триульци, огромной библиотекой которого он мог пользоваться. Другим знакомым по возвращении в Рим был украинец Гладкий, выпускник юридического факультета Московского университета. Он всячески расхваливал свой университет и зародил в Анучине желание поступать именно в Московский.

Юноша испытывал недовольство, как он вспоминал впоследствии, «неопределенностью моего будущего, невыясненностью предстоящей мне карьеры, отсутствием во мне определенной наклонности к какому-либо занятию или роду деятельности, ясной цели, к которой я мог бы стремиться» (Воспоминания, цит. по: Карпов 1958: 41).

Брату Михаилу (обращась нему как к старшему на Вы) он писал из-за границы (8 /20 марта 1862 г., цит. по Карпов 1958: 41–42).:

> «Я думаю о моем образовании года 4 уже, а все-таки, надо сказать правду, немного выдумал. Другие нисколько не затрудняются в выборе занятий. Еще в детстве нравится иному какая-нибудь отрасль работы, и он идет по ней, потом понятия его расширяются, но он всё-таки идет по прежнему пути.
>
> Со мною было не так. У меня в детстве была мысль усвоить себе все знания, быть всесторонне образованным. И пошел по филологическому факультету именно потому, что там были самые широкие и разнообразные занятия: и античный мир, и Средние века, и быт русского народа, и история художеств, и всеобщая литература, и философия — всё входило туда. Но ведь всё это поэзия, мечты. На деле же — надо засесть за греческую грамматику, да просидеть за ней года два, чтобы узнать ее. А какая от этого польза? Высшая цель — быть учителем в какой-нибудь гимназии. Положим, это знание очень хорошее, но сколько надобно погубить на это здоровья и сколько вынести неприятностей! <...> Притом я понял пословицу: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Никто не мешает быть образованным человеком вообще, но при этом нужно выбирать какую-нибудь главную деятельность, деятельность не сухую, но живую, современную, положительную».

Врачи пришли к выводу, что туберкулеза у Дмитрия нет, есть только предрасположение к нему и слабое физическое развитие. Можно возвращаться. Перед отъездом из Италии он съездил еще в Неаполь и побывал на Везувии. Потом месяц провел в Париже.

Оттуда — в Петербург. В Петербурге провел только неделю, повидался с друзьями и отправился в Москву, куда за это время переселился его брат.

Итогом первого иностранного путешествия Анучина, вроде бы бездельного слоняния по курортным местам и тёплым городам, было освоение немецкого, французского и итальянского языков, знакомство с интереснейшими людьми и идеями, ознакомление с атмосферой зарубежной науки, приобщение к верхам интеллигенции. Пытливому, хотя и беспорядочному, нецеленаправленному юноше это пошло на пользу.

3. От зоологии к антропологии. В 1863 г. он был зачислен в Московский университет на естественное отделение физико-математического факультета. На факультете зоологические дисциплины преподавали ученики профессора Карла Рулье, эволюциониста еще до Дарвина, это были А. П. Богданов, С. А. Усов и Я. А. Борзенков. Геологию вел старый профессор Г. Е. Щуровский. Щуровский вместе с Богдановым как раз в 1863 г. основали при Московском университете Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. Президентом стал Щуровский. Что антропология рассматривалась как естественная наука, более-менее понятно, ведь имелась в виду соматическая (ныне: физическая) антропология. А вот что этнография вошла в число естественных наук, для нас ныне непонятно и было вызвано тем, что обычаи, нравы и даже одеяния расценивались как проявления природных склонностей народов. То есть этнография воспринималась в связи не с социальной историей, а с естественной историей. Этот взгляд усвоил и Анучин. Богданов и Усов стали его руководителями и непосредственными учителями.

Усов, преподававший зоологию позвоночных, в конце жизни занялся историей искусств и археологией — не с бухты-барахты, а в связи со своей специальностью. Он стал определять породы животных по костям из раскопок, а также на древних изображениях. Богданов же много поработал над выделением антропологии в России как отдельной науки. Самым его крупным трудом в этой области являются «Материалы для антропологии курганного племени Московской губернии» (изданы в 1865 г.). И эти увлечения анучинских учителей повлияли на развитие его склонностей.

Анучин окончил Университет в 1867 г. Усов хлопотал о его оставлении при кафедре для подготовки к профессорскому званию, но в этом году не оставили никого.

На студенческой вечеринке Анучин познакомился с Анной Агеевной Ушаковой, горничной в богатом доме. Она происходила из крестьян, была дочерью главного повара у помещицы. Анучин женился на ней и позаботился об образовании жены, приглашал на дом учителей. В 60–70-е гг. у них родились первые три дочери, а всего было восемь детей, из которых до старости дожила одна дочь.

Хотя семья означала расходы, Анучин не соглашался ни на какую службу, кроме преподавания в Университете, а места всё не было. Брат уехал назад в Петербург, чтобы закончить свое образование в Медико-Хирургической академии. Только в конце 1871 г. проф. Усов предложил Анучину должность ученого секретаря Общества акклиматизации животных и растений. Общество было связано с московским зоосадом, который был в небрежении и запустении. Животные гибли, публика переставала посещать зоосад. Анучин проявил недюжинные способности организатора, добыл через иностранных послов в дар много животных, наладил работу. Его заметки и статьи о животных стали появляться в сборнике «Природа», издаваемом Усовым. Среди них особо выделяется статья «Антропоморфные обезьяны и низшие типы человечества». В ней Анучин делает детальный сравнительный анализ и приходит к выводам, что человекообразные обезьяны стоят ближе к человеку, чем к низшим обезьянам и что каждый их вид схож с человеком в чем-то, в чем другие виды не схожи. Таким образом, ни один из видов современных обезьян не может считаться предком человека, а общего предка нужно искать среди ископаемых животных. Он должен быть ближе к человеку, чем нынешние обезьяны.

В 1873 г. Усов и Богданов предложили тридцатилетнему Анучину держать магистерский экзамен и взяться за диссертацию. Подготовка заняла немало времени. Наконец в 1874 г. он оставил секретарскую должность и в начале 1875 г. сдал магистерский экзамен. Теперь нужно писать диссертацию, и, ободренный успехом своей статьи о сравнении обезьян с человеком, Анучин хочет писать по антропологии, науки для России новой. Но материалов для диссертационной темы под рукой недостаточно.

В ожидании накопления он решил сделать пока небольшую антропологическую работу по сахалинской народности айнов. Это будет испытанием способностей к серьезному научному исследованию. Правда, по айнам тоже материалов кот наплакал: в музее у Богданова было три десятка портретных фотоснимков, 2 скелета и один неполный череп с пучком волос. Анучин был принят в Общество любителей

естествознания и после доклада об айнах, длившегося два заседания, был избран секретарем антропологического отдела. В начале 1876 г. большая статья Анучина об айнах была опубликована в «Известиях» Общества. Происхождение айнов осталось невыясненным, но описан этот народец был точно и всесторонне, как с анатомической стороны, так и с географической и социальной. Для русской антропологии работа стала классической, ее широко использовали и за рубежом.

4. Подключение археологии, этнографии и географии. Анучин по-прежнему не ставил себе строгих границ в занятиях наукой. Его интересовало всё, что он знал, особенно науки, смежные с зоологией и антропологией, весь комплекс наук о человеке.

Тут Московское археологическое общество вовлекло Общество любителей естествознания в обсуждение проекта французского профессора Шантра. Шантр предложил унифицировать значки для археологических карт, сделать их международными и обязательными: четырьмя цветами обозначить эпохи (палеолит, неолит, бронзовый век и железный) и принять одинаковые значки для обозначения однотипных древностей. Анучина всегда привлекали карты. Он включился в обсуждение и высказал ряд ценных мыслей. Так, он предложил уменьшить строгость унификации, потому что археология еще не достигла дотошного понимания своих объектов и жаль было бы упускать неясные объекты. Во-вторых он предложил двухцветные значки для переходных памятников (с вертикальным делением) и смешанных (с послойным). В-третьих, он увеличил количество значков, учитывая те древности, которых нет во Франции, но много в России.

Анучин, не имевший постоянного места работы и регулярной зарплаты, очень зависел от литературных заработков. Он продолжал публиковать очерки о животных и т. п., а параллельно с работой над айнами занялся редактированием перевода книги Дж. Лаббока (Леббока по тогдашней передаче) «Доисторические времена». Он решил дополнить книгу Лаббока примерами из жизни, более близкой русскому читателю, а также обновить книгу современными достижениями науки — ведь прошло уже больше десяти лет со времени написания книги. Эти свои включения он вставил в конце глав и в конце всей книги в квадратных скобках, а также в постраничных примечаниях. Третью главу он просто переписал заново — о самостоятельном очаге бронзо-металлического дела в Сибири и Средней Азии. Всего было написано новых 3,5 печатных листа (т. е. 55–60 страниц). Лаббок

избегал делать выводы, а Анучин решительнее формулировал в своих дополнениях выводы из всей книги.

В конце 1875 г. Анучин был избран членом Московского археологического общества.

В начале 1976 г. в «Ремесленной газете» (куда только ни залезешь от нужды в гонорарах!) печатаются с продолжением в шести номерах «Этнографические очерки Сибири. Русско-сибирская народность». Анучин нашел нечто новое и в этнографии: он проследил, как в процессе проникновения русских в Сибирь в Западной Сибири они строили города и села, оттесняя коренные народности в тайгу на север, а в Восточной Сибири они смешивались с коренными народностями, женились на местных женщинах, и там возникали в сущности новые народности — русско-якутская, русско-бурятская.

Дмитрий Николаевич Анучин в начале своих занятий археологией

Еще одна этнографическая статья этого времени — «Как люди себя украшают и уродуют».

Их успех побудил Анучина затеять целый цикл статей «Этнографические очерки Балканского полуострова».

В 1875 г. Анучин сумел найти место учителя географии в 6-й московской гимназии и в частной гимназии Репмана, потом еще в какой-то третьей. Это вместе с литературными гонорарами от широкого круга тем обеспечило жизнь семьи, но тяга к научной работе оставалась неудовлетворенной. Для диссертации же требовался сбор материала от путешествий по стране или по музеям за рубежом. Эта возможность вскоре представилась.

5. Второй объезд европейских стран. Во время Политехнической выставки 1872 г. один из ее устроителей К. Ф. фон Мекк, фабрикант и владелец железных дорог, внес по просьбе Богданова 25 000 рублей на учреждение в Московском университете первой в России кафедры антропологии. Министерство народного просвещения 8 октября 1876 г.

разрешило учредить такую кафедру на физико-математическом факультете, но без государственного участия. Жалованье профессору должно было поступать от процентов на капитал, пожертвованный фон Мекком. По предложению Богданова, профессором было решено назначить Анучина, а для подготовки к этому важному делу отправить его на два с половиной года за границу.

Анучин начал всё же с изучения краниологических коллекций в музеях Петербурга (месяц) и под Новый 1877 год выехал в Берлин. У Вирхова он познакомился с его Патологическим музеем и германскими черепами, распадающимися на три типа. Вирхов посетовал, что ему не удается основать кафедру антропологии в Германии, и позавидовал России. Через неделю с небольшим Анучин был уже в Париже. Это была главная цель его путешествия.

Он стал посещать в Антропологическом институте лекции известных французских антропологов — Брока, Топинара и др., а также лекции Габриэля Мортилье по доисторической археологии и Годри по палеонтологии. Одновременно посещал лекции в Коллеж де Франс по анатомии и гистологии. В Россию он отправлял статьи в «Медицинскую газету». В семи ее номерах был напечатан его «Обзор современной литературы по краниологии».

Затем Анучин посетил Англию, Бельгию и Германию. В Мюнхене он принял участие в 50-м съезде немецких естествоиспытателей и врачей. Присутствовал на докладе Эрнста Геккеля об учении Дарвина и его значении для естествознания. Против Геккеля выступил Рудольф Вирхов. Большинство было явно за Вирхова к вящему огорчению Анучина. Но занятия Вирхова посещал.

Съездив на побывку в Россию, где он в Географическом обществе повидался с Поляковым и Воейковым, он посетил Берлин, Лейпциг, Прагу и Вену. В Вене его ждала телеграмма от Богданова, в которой тот просил его провести в Париже переговоры об участии Общества любителей естествознания в Парижской всемирной выставке 1878 г.

В Париже Анучин узнал, что помещение, отведенное под антропологический отдел выставки, не сможет вместить экспонаты всех стран. Но Анучин потребовал 280 квадратных метров для России. Это требование побудило организаторов выставки начать строить павильон для антропологического отдела. Анучин завязал хорошие связи с ответственным за отдел профессором Катрфажем. Русский отдел стал центром внимания съехавшихся антропологов мира. Анучин получил от французской Академии почетный знак «офицера Академии».

Французы предоставили Анучину возможность (и комитет русского отдела выделил средства — 500 рублей) на раскопки курганов на юге Франции. Мортилье, Шантр, Картальяк и Массена согласились показать ему наиболее интересные пещеры и гроты и также провести раскопки нескольких курганов и дольменов. С Шантром вместе под Тулузой они раскопали за день 7 курганов (один лично раскопал Анучин), в двух были вещи. В кургане, раскопанном самим Анучиным, у скелета были бронзовые браслеты на ногах. С Картальяком Анучин раскопал дольмены на юге Франции и пещеры с остатками животных в Пиренеях.

В январе 1878 г. вернулся в Россию «со щитом» (выставка его утвердила как организатора и компетентного ученого).

6. То антрополог, то археолог. Для избрания в доценты кафедры требовалось напечатать и защитить диссертацию. А Анучин вернулся из заграницы без диссертации. Между тем вдохновленные успехом на международной выставке русские ученые решили сделать в 1879 г. в Москве антропологическую выставку, и ее нужно было готовить. И нужно было пока зарабатывать деньги писанием статей. И писать диссертацию. И готовиться к лекциям.

Соединяя несколько этих целей, Анучин публикует 1879 г. в «Русских ведомостях» (в пяти номерах) большую работу «Антропология, ее задачи и методы» (кстати, аналогичная статья Ф. Боаса «Задачи этнологии» появится в Америке только через 10 лет). Но антропологию Анучин понимает здесь узко, как только физическую антропологию.

Выставка открылась в Манеже. В ней было 6 отделов: геолого-палеонтологический, доисторических древностей, краниологический, медико-антропологический, этнографический и фотографический. Здесь налицо широкое понимание антропологии. Коллекции выставки были переданы в новое учреждение — Антропологический музей Московского университета, а хранителем музея был назначен Анучин. Тогда же он был избран членом Русского Географического общества.

Со второй половины 1879/80 учебного года он начал читать факультативно первый в России курс физической антропологии. За это он стал получать жалованье доцента, но оно было не очень щедрое — 1176 рублей в год, то есть менее 100 рублей в месяц. Прожить на него с семьей было невозможно, и Анучин продолжает промышлять литературными заработками. Он участвует в газете «Русская мысль» с научными обзорами.

В научном обозрении за 1881 г. он дает подробный анализ философии науки по разным течениям, критикует идеализм Шеллинга: «натурфилософы думали постигнуть природу путем метафизических измышлений и склонны были видеть в туманных продуктах своей фантазии важные и плодотворные открытия». Критиковал Анучин и другую крайность — «фактическую школу Кювье». Эта школа ограничивала себя собиранием и описанием фактов, находя опору в позитивизме Конта. «Положительной доктриной» Анучин считал материализм, не отвергая и вульгарный материализм Бюхнера. Он придерживался убеждения, что ни одна идея не оказала такого воздействия на прогресс естествознания, как учение об эволюции. Анучин был убежденным дарвинистом.

Диссертация Анучина развивала его работу о различиях видов обезьян и рас человека. Тема: «О некоторых аномалиях человеческого черепа и преимущественно об их распространении по расам». Изучено было 16 тысяч черепов, и были сделаны выводы, что аномалии распространены у разных рас по-разному (одни склонны к одним аномалиям, другие — к другим), но это так же, как с прочими расовыми признаками. Нет признаков (в том числе аномалий), которые бы отличали одни расы как высшие от других как низших. Диссертация была напечатана в 1880 г. и защищена в 1881 г. Анучин получил степень магистра зоологии и был избран на кафедру антропологии штатным доцентом.

Тем не менее поиски литературных заработков продолжались. Анучин стал временным, а затем и постоянным сотрудником газеты «Русские ведомости». Он писал там не только научные обзоры, но и обо всем: об университетских беспорядках, о недостаточности средних учебных заведений, о повышении платы за обучение, о самоубийствах молодежи, о народничестве, о славянском единении, об инородческом вопросе, о расколе, о холере и т. д.

В 1881 и 1884 гг. Анучин участвовал в работе двух Археологических съездов — V и VI. Пятый съезд происходил в Тифлисе, и на нем Анучин выступил с докладом о породах собак каменного века на побережье Ладожского озера (он определял кости для Иностранцева) — это была в России первая работа о происхождении домашних животных. И на этом же съезде Анучин прочел свой доклад «О вариациях форм древних наконечников стрел». По этому докладу через семь лет в Трудах съезда была напечатана развернутая работа «О древнем луке и стрелах». Анучин пришел к выводу, что бронзовые наконечники стрел столь однотипны и столь точно совпадают с границами

греческого мира (Юг Восточной Европы, север Средней Азии и Египет), что должны считаться греческими, а железные наконечники встречаются чаще на востоке России — у них другое происхождение. В эти самые годы Монтелиус в Швеции только разрабатывал свою типологию, несомненно, более детальную, а на немецком языке (более общедоступном, чем шведский) его принципы типологии вышли только в 1903 г.). Анучин оставался в рамках, заданных Ворсо в Дании и Мортилье во Франции. Но для России это было очень ново.

После съезда по предложению графа Уварова, Анучин один проделал большой поход-экспедицию по Чечне и Дагестану, обследуя пещеры и собирая фольклорный материал.

В Одессе состоялся VI Археологический съезд. На нем Анучин выступал с докладами о древнейшей истории домашних животных в России, о формах русских мечей, о каменных изделиях из Сибири и о знаках для археологических карт.

Своей диссертацией и лекциями Анучин заработал себе имя как антрополог, а своими громкими и крупными докладами на Археологических съездах — как археолог.

6. Бросок на географию. В 1884 г. был утвержден новый университетский устав. Кафедра антропологии по новому уставу в университетах, как и по старому, не предусматривалась (хотя Анучин оставался приват-доцентом на частно-учрежденной кафедре антропологии). Зато устав ввел новую кафедру на историко-филологическом факультете — кафедру географии и этнографии. Сорокалетний Анучин был назначен экстраординарным профессором географии по этой кафедре.

Назначение Анучина на этот пост было не просто избранием нового профессора. С его вступлением на каферу географии возобновилось преподавание этого предмета после колоссального перерыва! Ведь Николай I сразу после восстания декабристов в 1825 г. изгнал профессора географии из Московского университета за лекции по экономической географии, в которых раскрывались бедственное положение крестьянства и отсталость России, а в начале 30-х гг. вообще пресек преподавание географии в университете. Затем в 40-х гг. на три года преподавание возобновилось и окончательно было прекращено. Почти сорок лет географии в Московском университете вообще не было. Таким образом, хоть реакционный указ 1884 г. урезывал автономию университетов, в этом единственном отношении, т. е. восстанавливая географию, он был радикально прогрессивен.

Некоторое время еще обсуждался вопрос, стоит ли оставлять кафедру на историко-филологическом факультете или переводить на физико-математический, причем Анучин, а по его агитации и оба факультета, пришли к выводу, что нужно иметь две кафедры географии, поскольку нуждаются в географии оба факультета, но у каждого своя специфика. Министерство всё же решило в 1888 г. перевести кафедру на физико-математический факультет, но чтобы она обслуживала и студентов-историков.

За несколько лет, вводя каждый год новый курс, Анучин создал целую программу высшего географического образования и заложил основы создания русской географической школы.

Став профессором географии, Анучин не прекращал общественную деятельность, выступая в газетах и журналах. Так он выступил против указа министра Делянова от 1887 г. о прекращении обучать в гимназиях «кухаркиных детей». В указе было открыто заявлено, что гимназии должны освободиться от детей «кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников», ибо в этих случаях родители «не предоставляют достаточного ручательства в правильном над детьми домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для учебных занятий удобства». А главное, «детей таких лиц не следует выводить из среды, к коей они принадлежат, и через то, как показывает многолетний опыт, приводить их к пренебрежению своих родителей, к недовольству своим бытом, к озлоблению против существующего и неизбежного, по самой природе вещей, неравенства имущественных положений».

Анучин в своих «Русских ведомостях», либеральной «профессорской» газете (№ 214), охарактеризовал этот указ как оскорбительный для рабочих профессий. «Труд кучера, прачки, повара и т. п. сам по себе не заключает в себе ничего позорного», — писал он, поясняя, что есть немало примеров, когда «дети, вышедшие из бедных семей и низших сословий, обгоняли своих состоятельных сверстников, становились государственными и общественными деятелями». Он заявлял, что сословные ограничения образования поведут к упадку просвещ̀ения, так как «привилегированные семьи способны вырождаться». Он избежал реакции на неблагонадежность, но газету постигла кара: ей запретили розничную продажу.

К сожалению, его собственные дети развивались неудачно. Из троих выживших только старшая дочь была первой ученицей в классе, средний сын плохо учился и стал завхозом в редакции тех же «Русских ведомостей», младший сын выучился на юриста, но сошел с ума.

Видимо, то сочетание генов, которое у самого Анучина обусловливало болезненность (постоянные приступы слабости, головные боли) и психологические метания, но в конечном счете, сопряженное с честолюбием и трудолюбием, привело к широте и многопрофильности личности, оно же в детях, без этого драйва, дало скверный результат: слабость, неуверенность, неспособность к большим нагрузкам.

А профессор географии Анучин не оставлял и антропологию, хотя он нашел в ней географические аспекты. Он работал над капитальной монографией о географическом распределении мужского населения России по росту (на базе измерений 300 000 новобранцев). По его данным, самые высокие новобранцы — возле Балтийского моря и на юге страны, а самые низкорослые — на востоке и в Польше. Эти различия определяются этническим составом: так, урало-алтайские народы низкорослы по природе. Он пришел к выводу, что общие нормы роста при призыве неразумны: низкорослые вполне здоровы, если для них, по их популяции, это норма.

За эту монографию (опубликована в 1889 г.) он получил малую золотую медаль Географического общества и степень доктора географии. В 1890 г. он создает в Обществе любителей естествознания географическое отделение. И в том же году он избирается председателем всего Общества вместо ушедшего в отставку по старости Богданова.

В 90-е гг. он снова увлекается этнографией, которая входила же в ведение кафедры географии. В 1889 г. в России появляется журнал «Этнографическое обозрение» (издает Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете). Первый номер открывается большой анучинской статьей «О задачах русской этнографии» (как раз выходит одновременно со статьей Боаса «Задачи этнологии»). А работы его, напечатанные в 14-м томе «Древностей» (издания МАО) за 1890 г., можно считать как этнографическими, так и по археологии. Это его статья «Сани, ладья и кони как принадлежности похоронного обряда» и «К истории ознакомления с Сибирью до Ермака».

Продолжает он работать и в Московском археологическом обществе, практически направляя деятельность общества. На IX Археологическом съезде сделал доклад о первобытной трепанации черепа на территории России.

В 1893 г. Анучин основал ежегодник «Землеведение», который с 1894 г. выходил регулярно и в каждый том которого Анучин не уставал писать сам.

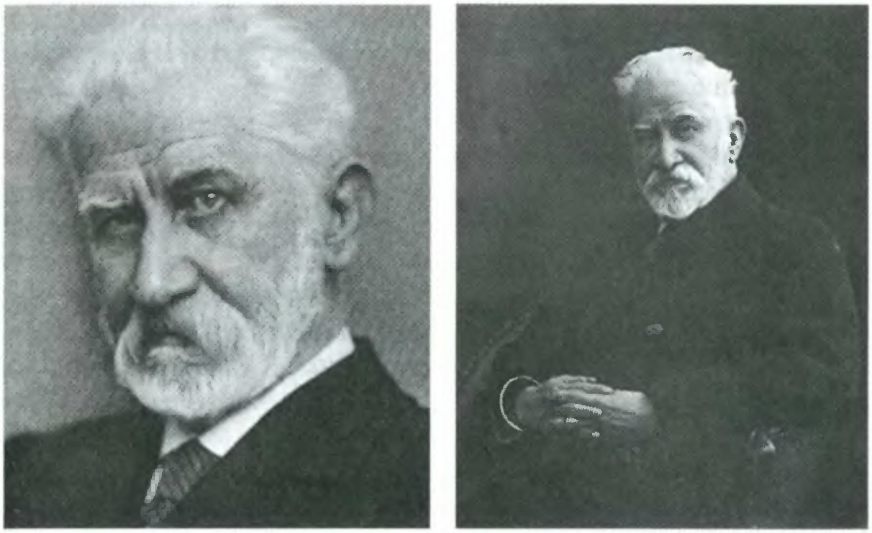
В 1894–1895 гг. Анучин провел экспедицию по изучению истоков Волги, Днепра и Западной Двины, а также русских озер. Ее результаты вышли через несколько лет.

В 1895 г. его (хотя и с большим трудом) избрали академиком по зоологии, его первоначальному образованию. Особенно старался А. О. Ковалевский, который считал это успехом в борьбе с засильем немцев (В. В. Радлов и другие). Но в те времена избрание в Академию предполагало конкретную работу, и этот успех означал, что нужно оставить Москву, Университет, кафедру, географию и переехать в Петербург. Анучин отказался от поста академика и остался в Москве. В порядке компенсации его избрали почетным академиком.

7. Последние годы: снова антрополог и археолог. В 1899 г. в 12 номерах «Русских ведомостей» печатается его работа «А. С. Пушкин (антропологический эскиз)». Он внимательно изучил все портреты Пушкина, измерял его посмертную маску, изучал сведения родных и друзей и пришел к выводу, что Пушкин — квартерон, но имел не негритянского предка, а хамитического — дед его Абрам Ганнибал был сыном абиссинского владетельного князя.

В 1900 г. в честь Анучина был основан «Русский антропологический журнал». В 1900-х гг., т. е. после 60-ти, он больших работ уже не предпринимал. Меньше внимания уделял и Московскому археологическому обществу, где он был вице-председателем. Всё время уходило на рутинную работу — лекции, руководство учениками, работа в газете, статьи на общественно-политические темы, устройство на свои деньги библиотек в родных селах отца и матери.

Ему было немногим больше 60, но из-за природной болезненности и огромной нагрузки старел он быстро и выглядел глубоким стариком, хотя сохранил стройность. Реально мысля, он подыскивал себе преемника. Из своих учеников он выделял Л. С. Берга, но в 1909 г. после защиты магистерской диссертации того не оставили на кафедре из-за еврейского происхождения. В 1910 г. черносотенного министра просвещения Шварца сменил Л. А. Кассо, который стал искоренять крамолу еще более крутыми мерами. В знак протеста 150 преподавателей Московского университета подали в отставку, а всего в России оказалось 146 свободных кафедр. Анучин колебался, но, чтобы не губить кафедру, с таким трудом завоеванную, не ушел. Зато он ушел из «Русских ведомостей», где возобладали более умеренные литераторы. А Берга в 1913 г. пригласили сразу две кафедры — в Харьковский университет и в Московский



Д. Н. Анучин в конце жизни

сельхозинститут. Берг (впоследствии академик) выбрал Москву и остался рядом с Анучиным.

После революции графиня П. С. Уварова, многолетний председатель МАО, подалась в эмиграцию. Московское археологическое общество возглавил Анучин. Он председательствовал в Обществе до самой смерти, а следующему председателю было отказано в утверждении. Общество было распущено. Вся археология была централизована, и во главе поставлена ГАИМК.

Поначалу Анучин, с его кадетскими взглядами, не принял советскую власть. В ноябре он пишет в письме акад. Ю. М. Шокальскому: «Да, Россия гибнет, можно сказать, даже погибла, развалилась, и еще больше развалится и станет скоро жалкой и всеми презираемой» (Алымов 2004: 12). Материальное положение ученого резко ухудшилось. Как вспоминает один из его учеников, 74-летний ученый «в эти годы не раз стоял в очередях, разыскивая съестные продукты по рынкам, выстаивал в пяти-шести местах в день в учреждениях с десятком им же добытых мандатов и удостоверений на предмет неуплотнения его в квартире, выдачи заработного пайка и т. п.» (Алымов 2004: 12–13).

В его записях этого времени важное место занимают заметки о выдаче продуктов. Трамваи не ходили. На лекции приходилось ходить пешком многие километры. В дневнике лаконичная запись:

«Устал, смертельно устал!» Не работало уличное освещение, а возвращаться приходилось поздно вечером. 1 сентября 1921 г. записано: «Темень; упал, расшиб коленку» (Карпов 1958: 338).

Но некоторые мероприятия властей он одобрял, в частности централизацию науки. В 1918 г. Анучин предложил новым властям выделить антропологию с этнографией в отдельную кафедру. Предложение было принято. Поскольку географическую школу он уже создал и преемников в географии себе нашел, он решил возглавить кафедру антропологии. Так он вернулся к тому, с чего начал свое штатное преподавание в Московском университете. На этой кафедре у него появились ученики и сотрудники: Бунак и Куфтин. Сам он читал на кафедре семь курсов.

В мае 1923 г. почувствовал обострение опухоли простаты, замучили боли. Госпитализировали и предложили делать операцию. Операцию он не выдержал. Смерть наступила 4 июня. Только несколько дней не дожил до восьмидесятилетия.

К сожалению, колоссальный архив Анучина был разрознен между разными учреждениями, а значительную часть ученики (Бунак, Куфтин и Жуков), посовещавшись, сожгли. Погибли письма Льва Толстого, Чехова, Короленко и др. Формозов объясняет это тем, что Анучин был деятелем кадетской партии, а в новых условиях это было порочащим обстоятельством, так что в архиве могли содержаться опасные для многих лиц сведения.

8. Личность и итог. Так закончил свои дни ученый-универсал, основоположник школ в нескольких науках, популяризатор науки, общественный деятель и педагог.

Когда пишешь его биографию, не оставляет чувство, что ее трудно собрать, отсутствует единый стержень. Будто перед тобою фрагменты биографии нескольких человек, хотя, несомненно, для него самого это были последовательные поступки и единое поведение. Его антропология вытекала из его зоологии и поддерживала его археологию, а его археология была связана с его этнографией, и во всех дисциплинах проявлялась его география.

Его универсальность удивительна. Здесь перед нами случай, когда явные недостатки молодого человека: неумение определиться, разбросанность, затянутая инфантильность — привели под воздействием колоссальной любознательности и трудолюбия к энциклопедической образованности и к сложению уникальной универсальности. Ведь он со своей жаждой нового, но и неупорядоченностью, бросался на

науки, которые не имели в России оформленности и университетского статуса (как география, антропология, этнография и археология). Естественно, что в этих науках он становился основоположником. Науки эти к тому же большей частью по природе своей связаны между собой — всё это науки о человеке, те, что в Америке относятся к антропологическим. Но в науках этих он по-позитивистски улавливал естествоведческую основу, законы природы. Поэтому он в каждой из них становился зачинателем нового направления, выдвигающего на первый план природную составляющую и на этой основе связи между науками, комплексность.

Развивая новые области науки, он был заинтересован в их утверждении и расширении, в ознакомлении общества с ними. Вообще он был энтузиастом просвещения народа, просвещения России.

> «Заслуги Анучина в деле популяризации науки в нашем отечестве положительно необозримы, — писал академик Л. С. Берг (1962). — Обладая прекрасным стилем и легким пером, Анучин имел дар всякую мысль, всякую гипотезу, всякий предмет излагать ясным, простым, общедоступным языком, вместе с тем нисколько не отступая от строгой научности. Поэтому исследования, статьи, заметки этого автора никогда не утратят своей свежести. Прочитав любую статью Анучина, чего бы она ни касалась, хотя бы его критический реферат, вы и сейчас испытываете полное удовлетворение, так как у Анучина всегда можно чему-нибудь научиться. Всё им написанное отличается, я бы сказал, научным благородством».

Среди тысячи оставленных им книг и статей есть немало очерков о людях науки. Среди них особенно тщательно выписаны такие фигуры, как Александр Гумбольдт и Рудольф Вирхов, — это естествоиспытатели такого же широкого охвата, каким обладал он сам, а Вирхов включал в свой круг деятельности очень интенсивно также археологию и этнографию (Гумбольдт тоже, но меньше). Анализируя их личности и достижения, Анучин имел полное право кое-что относить и к себе.

Вообще фигуры этого плана как-то сгущены в конце XIX — начале XX века: Ратцель, Вирхов, Боас и Анучин. Все они собирали вокруг антропологии смежные науки: географию, этнологию, археологию. Видимо, некие подспудные связи этих наук проступали сквозь рамки традиционной классификации наук, находили фигуры объединителей и толкали их на создание нового комплекса наук. Думается, что это движение основано на резком возрастании в это время потенций

биологических исследований и на осознании биологической основы психических и социальных явлений.

Готовя кадры, каждый раз в новых областях, Анучин выступал умелым педагогом. Он не любил подносить студенту на блюдечке библиографию к его теме. «Умный пес сам себе пропитание сыщет», — говаривал он. Андрей Белый, бывший его студентом, вспоминает о нем: «Основное впечатление от Дмитрия Николаевича — доброта, но не без сарказма, хитринки, осторожности, доброта — доминировала...» Описывает он и запомнившийся образ: «Между шкафом и столом, перед креслом, возглавлявшим стол, очень маленький, очень спокойный Анучин с хронической улыбкой вечности, с бегающими зорко глазами плакал морщинами лба перед тремя-четырьмя студентами» (Белый 1930: 244–246). По рассказу Белого (а он знал уже старого Анучина), лекции Анучин

> «как разговаривал, так и читал: иногда даже трудно было понять, началась ли курсовая лекция, иль частная беседа продолжалась; так и оканчивалась лекция, продолжаясь в беседе о том о сем; уходили: Анучин стоял в той же позе, схватясь за нос и пришамкивая студенту; ни разу не изменилась картина; всегда он ждал — в этой позе и в этом же месте; всегда провожал нас глазами от этого места...» (Белый 1930: 459)

Цели Анучина в педагогике и просвещении неуклонно обращали его к общественно-политическим вопросам его реформаторского и революционного времени, заставляли занимать определенные позиции. Так собиралась и формировалась эта личность.

Значение Анучина для археологии России заключается не столько в том, что он своими классическими работами (о санях, ладье и коне в погребальном обряде, о луке и стрелах, об археологических картах и т. д.) внес долговременный вклад в археологическую литературу (Уварова 1913; Киселев 1947), сколько в ином: воспитанный в духе позитивизма, он повернул археологию к использованию естественных наук (работы о домашних животных, о трепанации и др.). Своего учителя Усова он называл «археологом-натуралистом» (Анучин 1887). В известном смысле он и сам был таким. А в естественных науках он стоял на позициях дарвинизма.

Это не значит, что он был эволюционистом и в археологии, как это многие считают. В археологии он скорее был ближе к антропогеографии Ратцеля и еще больше к диффузионизму трансмиссионного толка (у Ратцеля основной акцент был на миграции). На VIII Археологическом съезде 1890 г. он выступал с программным докладом

«О культурных влияниях на доисторической почве России», произведшим большое впечатление на молодого Городцова. Это было первое авторитетное провозглашение идеи культурных влияний в России и одно из первых в европейской археологии (Уильям Риверс, Эллиот Смит и Гордон Чайлд — значительно позже). Анучин не воспринимал романтическое представление о цельных и единых народах — ни в расовом отношении, ни в культурном. Расовые и культурные общности для него состояли из индивидов, которые группировались поразному. Всякая раса и всякая культура воспринималась как смесь и варьирующий рой.

В докладе «О задачах и методах антропологии» (1902: 67) он говорил:

> «То, что мы называем расой, типом, есть нечто отвлеченное, есть идеал, к которому более или менее приближаются отдельные особи. В действительности мы имеем дело только с отдельными особями, несущими на себе, каждая, индивидуальные черты, из сопоставления коих мы должны еще выделить общий тип или выделить несколько типов, если таковые имеются».

Его ученик В. В. Богданов (1940: 23) вспоминает такой эпизод на обсуждении диссертации А. Д. Элькинда о евреях:

> «Хорошо помню, как в конце диспута <...> Анучин задал такой вопрос:
>
> — Вы рассмотрели все материалы, какие только можно было рассмотреть, дали характеристику и одного и другого типа, и третьего и т. д. Ну а основной тип еврея каков же будет? Каковы его основные физические признаки?
>
> А. Д. Элькинд, смутившись и подумав немного, сказал:
>
> — Не знаю.
>
> — И я не знаю, — сказал Анучин».

В. В. Богданов возражает тем биографам (см. Максимов 1913), которые, отмечая разбросанность Анучина, считают, что «многосторонность научных интересов Анучина не дала ему возможность создать что-нибудь монолитное, цельное ни в антропологии, ни в географии». Он на это отвечает, что Анучин и не стремился к построению всеобъемлющих теорий и систем. И приводит высказывание В. В. Бунака (1924):

> «Не будучи человеком отвлеченным, он обладал исключительной способностью отчетливого восприятия единичных конкретностей, которые, благодаря его выдающейся памяти, существовали для него независимо от каких-либо теоретических

систем. Реальный факт, как бы ни мало он укладывался в какую-нибудь систему, каким бы случайным или маловажным он ни казался, имел для Д. Н. самостоятельное бытие, и никогда никакие самые блестящие теории не изгладили бы этого факта, разве только новые факты».

Теоретиком Анучин не был. Он был позитивистом до мозга костей, эмпириком, мастером сравнительного метода, с широчайшим кругозором и острым чувством нового. Разрушителем границ.

Богданов добавляет:

«Анучин обладал редкой способностью комплексного мышления. Он видел не единичные явления, а воспринимал жизнь сразу целыми пластами и комплексами. В каждом изолированном явлении он видел все многочисленные связи, которые объединяют данное явление со всем остальным миром. <...> Сам он занимался несколькими научными дисциплинами, и даже каждую отдельную науку он трактует как комплекс нескольких наук».

Вот и археология для него есть фокус нескольких смежных дисциплин — географии, зоологии, антропологии, этнографии, географии. Это за несколько десятилетий до английской экологической школы. Дмитрий Николаевич много поездил по европейским странам, многому там научился и кое в чем опережал своих учителей.

Вклад геолога

А. А. Иностранцев

Понятие «дилетант» обросло многочисленными значениями, таит массу смыслов, чаще всего пренебрежительных. Но в действительности это слово происходит от итальянского «дилетто», означающего «удовольствие». Оно соответствует человеку, которому работа в смежной области знания доставляет радость и который занимается ею просто так, в своё удовольствие.

А. К. Сухотин. Парадоксы науки.

1. Колоритнейшая фигура. С портретов глядит на нас удлиненное лицо с длинными усами и небольшой, аккуратно подстриженной бородкой, глядит очень спокойно, внимательными миндалевидными глазами под большим лбом. Это известнейший российский геолог конца XIX — начала XX века, петербургский профессор А. А. Иностранцев, заведующий кафедрой геологии и минералогии, основатель петербургской геологической школы и основоположник отечественной петрографии. Профессор С. С. Кузнецов, бывший при нем студентом, описывает его так:

А. А. Иностранцев

«А. А. Иностранцев — колоритнейшая фигура столичной чиновничьей знати. Казалось, он впитал в себя всю ту строгую

А. А. Иностранцев в своем кабинете

> бюрократичность, всю ту чопорную холодность, которыми была пропитана сама атмосфера столицы огромной империи. Каждый день ровно в четверть одиннадцатого он входил в помещение подвластной ему кафедры Петербургского университета... Весь ученый персонал кафедры был уже на месте, когда А. А. Иностранцев, молча раскланиваясь, проходил в свой кабинет. Очень сухим казался этот профессор...» (цит. по Предисловию Прозоровского и Тихонова к книге: Иностранцев 1998: 13).

Этот сухой профессор, видный геолог, написал и книгу по археологии, только одну книгу (Иностранцев 1882). Ну что ж, у крупных личностей бывают хобби, влекущие их в другие сферы занятий — найти отдохновение или проявить себя, дать звучать струнам души, незатронутым основной профессией. Режиссер Джармен насадил роскошный сад, Черчилль любил собственными руками строить кирпичные здания в своем саду, Набоков ловил и изучал бабочек, пристрастие археолога Вадима Массона — коты, а профессор химии Бородин написал оперу «Князь Игорь».

Но книге, которую написал Иностранцев, суждено было надолго остаться выдающимся достижением в отечественной археологии (как, впрочем, и «Князю Игорю» в музыке). Историографы не перестают изумляться этому казусу — такой победительной вылазке в чужую науку, где вторгшийся должен был оказаться дилетантом, но

неожиданно внес в нее серьезный вклад. Почему-то никто не заметил, что это не было таким уж уходом Иностранцева в сторону от основной профессии. В геологии его основная специализация — *петрография* (он основоположник отечественной петрографии — науки о камнях) и *стратиграфия* (он кодифицировал мировую стратиграфическую шкалу) (Кузнецов 1969; Соколов 1981), поэтому неудивительно, что, коллекционируя камни, он брал и каменные орудия, а в числе методов геологической стратиграфии есть ведь не только палеонтологический, но и археологический (определение слоев и их датировки по типичным находкам).

Кроме того, как на Западе, так и в России первобытная археология и вообще развивалась на первых порах не из исторических и филологических интересов, как классическая археология, а на базе естественных наук. Археологическими исследованиями этого рода занимались биологи, геологи, географы, медики — работы Мортилье выросли из его геологических изысканий, Вирхов и его соратники были медиками, в России первобытные орудия собирались первоначально (в 50–60-е гг. XIX века) в Анатомическом кабинете академика Бэра. Так что в какой-то мере иностранцевский экскурс в археологию был просто естественным для геолога с очень широкими интересами и познаниями в геологии.

К тому же Иностранцев в юности имел приключения и знакомства, порождавшие у него влечение к древностям.

Труднее понять скорее направленность его исследований. Он был сыном доверенного офицера личной стражи Николая I и весьма лояльным подданным, солидным и чопорным профессором императорского университета, принадлежавшим к чиновничьей знати, но печатался он в либеральном журнале «Вестник Европы», в его воспоминаниях с неодобрением упоминается крепостное право, описано его участие в студенческом протесте против гражданской казни Чернышевского, а книгу его (ту самую, единственную археологическую) запретила к распространению в публичных библиотеках православная церковь. Фигура автора, видимо, была весьма противоречива. Он ужасно не любил толпу, при виде скопления народа всегда переходил на другую сторону улицы (ИВ: 76), но постоянно находился в студенческой аудитории и вне работы общался с широчайшим кругом лиц — регулярно посещал «среды» своего учителя и друга Д. И. Менделеева; дружил с художниками (особенно с Шишкиным), с известными артистами, хотя и не был завзятым театралом. Словом, разобраться в том, как сформировалась

личность этого автора знаменитого археологического труда, интересно и не очень легко.

2. От юношеского бунтарства к служению науке. Александр Александрович Иностранцев родился в 1843 г. под Петербургом в семье дежурившего при царе Николае I капитана Фельдъегерского корпуса. Отец имел небольшое имение и крепостных в Псковской губернии. Однажды, проезжая через восставшую Польшу в 1831 г., Николай пересел в карету стражи, а капитану Иностранцеву велел сесть вместо себя в царский экипаж. Капитан спасся только тем, что забрался там под сиденье — весь верх царской кареты был изрешечен пулями. В своей Автобиографии (ИВ: 52, 54–55) Иностранцев-сын описывает эгоизм царя, как и отставку отца на «грошовую пенсию», со скрытой иронией. Ни слова открытого возмущения он себе не позволил. Семья была большая, из восьмерых детей будущий геолог был шестым ребенком. Сдержанность его, очевидно, воспитана матерью: она не любила нежностей и в театре отталкивала маленького сына, когда он, пугаясь, к ней прижимался.

Гимназия-интернат, в которой он учился, была уже не классической (без греческого, и курс латыни был сокращен), а с расширенным преподаванием естественных наук. Учась в старших классах, гимназист Саша по субботам и воскресеньям ходил к своему старшему брату Косте, у которого было большое собрание запрещенной литературы, так что уже в ранней юности Саша читал герценовский «Колокол», перечел раза три «Былое и думы», а некоторые стихотворения Огарева переписал себе и товарищам и выучил наизуть. Он, правда, отмечает в «Воспоминаниях», что, разделяя возмущение авторов крепостным правом, не находил в этих произведениях реального выхода (ИВ: 45). Будущий профессор завел себе тетрадь большого формата, в которую делал эти выписки, а на обложку тетради наклеил портрет Герцена (ИВ 63). Среди гимназических товарищей Иностранцева были известный впоследствии революционер Ткачев и бунтарски настроенный в юности Миклухо-Маклай, впоследствии известный путешественник.

По окончании гимназии 17-летний Саша гостил у своего старшего брата Павла, архитектора, ведшего ремонтные работы в Новой Ладоге. Оттуда посетили Старую Ладогу, и брат поведал ему народную легенду, будто из башни якобы Рюрика существовал подземный ход под Волхов на противоположный берег реки. Саша упросил брата выделить рабочих и попытаться найти этот ход. Брат поставил нескольких рабочих, и под руководством Саши те стали очищать пол

в башне. «В одном месте пола мы нашли начало сложенной плитами известняка лестницы, откопав несколько ступенек которой, мы встретили постоянный уровень воды и на этом остановились...» (ИВ: 52–53). Тогда же Саша собирал и окаменелости, выпрашивая у настоятельницы местного женского монастыря большой молоток. Таким образом, археологические раскопки вошли в его жизнь одновременно с любовью к окаменелостям.

В Университет он поступил в 1863 г. на естественное отделение физико-математического факультета, где в это время преподавали светила естествознания: минеролог Пузыревский, химик Воскресенский, зоолог Кесслер, физик Ленц и другие.

Несмотря на завидное происхождение и образцовое воспитание, поведение студента не всегда было примерным. Он участвовал в студенческих попойках. Однажды присутствовавший в трактире полицейский офицер прекратил их веселье и составил протокол о том, что они были в нетрезвом состоянии. Студенты считали себя ни в одном глазу и пошли ночью к самому градоначальнику, чтобы тот засвидетельствовал, что они не пьяны. Градоначальника, генерала Трепова, студенты подняли с постели. Он вышел к ним заспанный и в халате, а когда они изложили ему свое дело, вспылил, стал кричать на них и приказал дежурному переписать их фамилии и направить попечителю учебного округа. Вскоре студентов вызвал к себе ректор, к которому от попечителя поступила жалоба Трепова. Но когда один студент спросил ректора, что же сказал попечитель, оказалось, что тот, сам бывший дерптский студент, сказал, что это и в Дерпте бывает очень часто. Ректор, едва удерживаясь от смеха, быстро повернулся и ушел. Инцидент был исчерпан (ИВ 71–72). Однако когда еще один студент провинился, Трепов сам распорядился высечь его. За это в Трепова стреляла Вера Фигнер, оправданная затем судом присяжных.

В мае 1864 г., будучи на втором курсе, Иностранцев узнал, что студенты собрались идти на Конную площадь, чтобы протестовать против намеченной там гражданской казни Чернышевского. Иностранцев в пять утра также направился на эту площадь. «Самый процесс казни, только за один литературный труд, при отсутствии каких-либо других обвинений, произвел на меня крайне угнетающее впечатление, и, в значительной мере озлобленный, я вместе с толпою отправился обратно». Возвращаясь, он увидел своего отца в фуражке с золотым галуном. Оказывается, отец, опасаясь за сына, тайно пошел следом, чтобы выручать его в случае ареста. Незадолго до того он увидел

у сына тетрадь с портретом Герцена и попросил дать ему для прочтения. Теперь она потребовалась сыну, чтобы описать гражданскую казнь Чернышевского. Оказалось, что отец сжег тетрадь, так как знал об обысках и арестах студентов перед расправой с Чернышевским.

«Таким путем исчезла моя тетрадь, а с ней в значительной мере и мой либерализм того времени», — резюмирует Иностранцев в Воспоминаниях (ИВ 63).

Политические сходки Иностранцев перестал посещать. «Я на сходки не ходил, отчасти из-за нехватки времени, но главное — из сложившейся у меня нелюбви к многочисленной толпе». Кроме того, Иностранцев считал, что «в большинстве случаев они совершенно безрезультатны, а постановления их совершенно не отвечают действительному желанию студентов. Такие сходки обыкновенно затевали или убежденные политики, как было уличено, или провокаторы». На одной сходке он оказался случайно. Он пришел послушать лекцию профессора Ленца, который был сыном известного физика и бывшего ректора университета. Студенты же решили освистать его и выгнать из аудитории, так как полагали, что он стал профессором лишь благодаря протекции отца. Они привели на лекцию двадцать переодетых солдат для скандала. Прибыла инспекция, солдаты бежали, а студентов переписали. Инспектор спросил Иностранцева с укором: «И вы на сходку?» Тот отвечал, что пришел на лекцию, и действительно остался ее слушать. Ленц прочел интересную лекцию и продолжал читать весь год уже без скандалов (ИВ 76–77).

Лекции Менделеева, тогда доцента, сначала студенту Иностранцеву не понравились:

> «Первоначально свои лекции Д. И. Менделеев читал крайне нудно, постоянно растягивая слова, запинаясь, и сопровождал всё это продолжительным нытьем. Но стоило только несколько освоиться с характером изложения, чтобы в этих лекциях усмотреть громадный интерес к изучаемому предмету, настолько полно было их содержание. Этих лекций было немного, но для меня они остались незабываемыми» (ИВ: 64).

Менделееву приглянулся внимательный студент, и он взял его к себе лаборантом, обслуживающим чтение лекций богачу и меценату Демидову (впоследствии князю Сан-Донато). С тех пор и началась их дружба. Профессору Пузыревскому также понравился Иностранцев, и он взял его с собой в экспедицию (как тогда говорили, в «геологическую экскурсию») в Финляндию, а потом порекомендовал ему

совершить самостоятельную «экскурсию» на остров Валамо (ныне Валаам). Там Иностранцев и сдружился с художником Шишкиным, писавшим там свои пейзажи. Жили и питались оба в монастыре, и в лесной чаще уединившегося геолога иногда пугал внезапный окрик: «А сегодня у нас за трапезой пшенная каша!» — это Шишкин, который по колокольному звону узнавал, будничное меню (гречневая каша) или праздничное (пшенная).

По окончании университета Пузыревский оставил Иностранцева для приготовления к профессуре. Вскоре тот получил место хранителя новосозданного геологического кабинета, а после женитьбы Иностранцева в 1869 г. к нему явились с визитом Кесслер и Менделеев и долго уговаривали занять место приват-доцента, т. е. начать лекции (без оплаты). Иностранцев отказался, так как считал себя недостаточно подготовленным. Потом с тем же пришел его учитель Пузыревский. Он обещал Иностранцеву через год иностранную командировку, и тот, соблазненный этим путешествием, согласился. Так в 1870 г. 27-летний Иностранцев начал лекции и в том же году был избран в штатные доценты.

Кстати, это был тот самый год, когда в далекой Турции уехавший ранее из России Шлиман начал раскопки Гиссарлыка, где обнаружил гомеровский Илион.

3. Геолог в России. С первой же лекции Иностранцев «на себе почувствовал недостатки нашего воспитания в противоположность английскому, где с ранней юности приучают молодежь к публичным речам. Мы же в этом отношении растем прямо дикарями и крайне конфузимся говорить и мыслить публично» (ИВ 85). Когда началась иностранная командировка, Иностранцев с супругой отправились через Варшаву в Вену и южнонемецкие города. Далее в воспоминаниях следует такой пассаж:

> «Переезжая границу, я, как кажется, и всякий, кто первый раз ехал за границу, был поражен теми крупными различиями во внешней обстановке, которая здесь чрезвычайно резко выступает. После наших жалких деревень с убогими избами, крытыми соломою, и грязными улицами сразу попадаешь в местность, где или встречаются обширные села и частые города, или видны отдельные дома, обыкновенно каменные, крытые железом, окруженные садом, с чистыми улицами, Такое резкое деление невольно возбуждает жалость к нашему отечеству, и воочию видишь его отсталость» (ИВ 88).

Поскольку это замечание сохраняет силу и сегодня, более 130 лет спустя, видишь преувеличенность националистических восхвалений царской России («Россия, которую мы потеряли») и вредность отстаивания «особого пути» России. Людей, ослепленных патриотизмом, было немало и тогда (славянофилы). Благонадежный и патриотичный Иностранцев был, несомненно, трезвым наблюдателем, а поэтому либералом и западником.

Он отнюдь не был ослеплен заграничным великолепием. Посетив лекции профессора-геолога в Вене, он нашел их весьма «элементарными». «Мысленно сравнив [их] объем и содержание по тому же вопросу со своими лекциями, я был вполне удовлетворен, так как у нас изложение того же курса ведется много полнее» (ИВ 98). Опять же и это соотношение остается таким же поныне (особенно если сравнивать наши курсы лекций с английскими или американскими — сужу по своему опыту).

Пробыв почти полтора года за границей, супруги с родившимся за границей первенцем вернулись из Италии в Россию. Везде за границей Иностранцев не только знакомился с постановкой геологического преподавания, но осматривал коллекции музеев, посещал интересные для геолога местности (в частности Везувий), раскопки древностей и собирал окаменелости. По возвращении Иностранцев занял место экстраординарного профессора (с мизерной зарплатой), позже защитил докторскую диссертацию и после семи лет в должности экстраординарного профессора был избран штатным профессором. Это было в 1880 г. Иностранцеву было в это время 37 лет.

Проводя параллелизацию русских геологических слоевс иностранными, Иностранцев был признан во всем мире как специалист по совершенствованию мировой стратиграфической шкалы, по которой определяют породы во всем мире. Он стал также выдающимся знатоком геологических богатств России. Часто к Иностранцеву обращались предприниматели для определения пород из найденных месторождений. На одну такую экспертизу его пригласили под Орел вместе с Менделеевым. Приехав в имение владельца, оба решили назавтра рано утром идти на рудную залежь. В 6 утра Иностранцев стал будить Менделеева, но тщетно. Тот бормотал : «Сейчас, сейчас», — и поворачивался на другой бок. Провозившись час, Иностранцев уехал на залежь один. Вернувшись вечером, он обнаружил, что Менделеев еще спит — он не вставал со времени отъезда и проспал в общей сложности около 20 часов! Такое с Менделеевым случалось. Он мог

работать без сна несколько суток, а потом спать чуть ли не целые сутки.

По этому поводу Иностранцев припомнил рассказ Менделеева об открытии периодической системы: таблица долго не давалась Менделееву, а когда он, намаявшись, заснул, то увидел во сне таблицу в готовом и совершенном виде. Проснувшись, набросал ее на клочке бумаги (ИВ 141–144). Это рассказ, зафиксированный Иностранцевым, вошел потом во все труды по психологии научных открытий.

Провозившись с экспертизой несколько дней, опоздали на скорый поезд, очень досадовали, но потом узнали, что этот поезд потерпел страшное крушение, а тихоходный поезд доставил спокойно обоих светил науки в Петербург к Новому году.

Известного химика-агронома Александра Николаевича Энгельгардта из Лесной академии заинтересовал разработанный Иностранцевым метод анализа фосфорита. Он написал Иностранцеву письмо, и они свели знакомство, а потом и подружились. Энгельгардт часто приезжал к Иностранцеву в гости и оставался ночевать. Они вели долгие беседы о сельском хозяйстве и экономическом положении России. Это тот самый Энгельгардт, который был либеральным публицистом, пропагандировал земельную реформу и критиковал помещичье землевладение. В 1870 г. он был за это арестован и заключен в Петропавловскую крепость. В «Воспоминаниях» Иностранцев сообщает, что их дружба продолжалась до самого ареста и высылки Энгельгардта из столицы в деревню (где тот создал знаменитое образцовое хозяйство). Иностранцев как раз считал политические взгляды Энгельгардта «вполне умеренными». «Косвенное влияние обаятельной личности А. Н. на меня, — вспоминает в старости Иностранцев (ИВ: 81), — не осталось безрезультатным, хотя и не в политическом отношении...» В каком же? Именно в годы знакомства с Иностранцевым (1863–1866) вышел ряд статей Энгельгардта, в которых он популяризировал открытия Буше де Перта во Франции — свидетельства каменного века, доказательства одновременного существования человека

А. Н. Энгельгардт

с вымершими животными, противоречащие Библии. Надо полагать, эти статьи друга не прошли мимо внимания геолога Иностранцева.

Познакомившись в своем путешествии по Европе с выдающимися геологическими музеями, Иностранцев стал работать над расширением и обогащением геологического кабинета у себя в университете, собирал повсюду образцы. По его призыву приносили камни его студенты и ассистенты (среди которых был будущий основоположник почвоведения Докучаев). С 1869 г. в кабинете оставлялись и каменные орудия доисторического человека. Определяя горные породы для предпринимателей, Иностранцев получал от них в благодарность не только образцы, но и оборудование — витрины, шкафы. Показав ректору тесноту хранения коллекций, добился новых помещений. Показав следующему ректору нагромождение камней, добился отпуска специальных сумм на витрины. Не без юмора он описывает свои мытарства:

> «Этот процесс создания нового музея в то время в России можно уподобить следующему: вполне раздетый человек, закутанный только в одну шинель или шубу, приходит к какому-нибудь благодетелю и неожиданно распахивает свое прикрытие. Благодетель в ужасе и дает просителю денег на покупку пиджачной пары; проситель, нарядившись в пиджак, но без белья, снова приходит, и благодетель дает ему денег на белье и т. д. Вот так же и мне пришлось созидать геологический кабинет, приспосабливая его к имеющемуся помещению, совершенно в противоположность тому, как это и делается в Западной Европе, где для данного музея специально возводили со всеми нужными приспособлениями здание. Здесь же приходилось довольствоваться тем, что было под рукою» (ИВ 121).

Леви-Стросс, описывая примитивную организацию труда, называет этот способ действий «бриколажем». Странно, прошло больше ста лет, минули войны и революции, а всё остается, как было. Неужто Россия осуждена на бриколаж?

4. Доисторический человек и природная среда. Городская дума Петербурга затеяла обновлять каналы для судоходства южнее Ладоги. Геолога Иностранцева пригласили консультировать строительство, и он поселился с семьей в селе Ивановском, откуда ежедневно отправлялся с пятилетним сыном осматривать берега. За год до избрания штатным профессором, весной 1879 г., на строительстве Ново-Ладожского канала, его землекопы обнаружили

в обнажении берега Невы орнаментированный роговой гарпун, явно не современный, а день спустя там же нашли череп человека. К этому времени Иностранцев уже лет десять собирал в своем геологическом кабинете не только минералы и образцы пород, но также палеонтологические окаменелости и находки каменных орудий. Через несколько дней он выехал на место, и сразу же в кабинет направился поток находок (Столяр 1994). В течение пяти месяцев ладожские материалы экспонировались в «Доисторическом отделе» Антропологической выставки в Москве, связанной с Конгрессом. Черепов было выставлено восемь (позже найдены еще два).

По окончании Конгресса Иностранцев снова вернулся к каналам. Он сосредоточил поиски на особенно «добычливом» участке — на трехверстовом отрезке Сясьского канала, к востоку от Волхова. Осмысливая эти находки, он выступает с несколькими докладами, в том числе на Антропологической секции VI съезда русских естествоиспытателей — «Подразделение каменного периода на отделы» (опубл. весной 1880 г.). Вплоть до 1882 г. на канале продолжались сборы материалов, и в этих работах участвовало 11 «кандидатов университета», то есть аспирантов. Это не были раскопки стоянок: понятия культурного слоя и структуры жилищ для Иностранцева еще не существовали. Но он хорошо понимал значение собираемых материалов для познания каменного века в России и роль естественно-научных определений находок человеческих изделий этого времени и останков самого человека.

Готовя к изданию монографию по этим материалам, он привлек к участию многих коллег-естественников из трех лучших университетов России. Сам он, кроме характеристики материальной культуры древних ладожан, определял геологическое положение находок и породы каменных изделий, а также значительную часть фаунистических находок (кости млекопитающих), а его ученик П. Н. Венюков анализировал химический состав черепков лепной керамики. Ректор К. Ф. Кесслер определял по костям виды потребленных человеком рыб, зоолог М. Н. Богданов — виды птиц. Из Московского университета был привлечен основоположник русской антропологии профессор А. Н. Богданов для определения человеческих черепов, также его ученик проф. Д. Н. Анучин — для определения пород собак, а медик М. Н. Тихомиров определял длинные кости человека. Остатки древесины обследовали ботаник проф. И. Ф. Шмальгаузен из Киевского университета по консультации с акад. А. Н. Бекетовым из Петербургского. И в 1982 г. вышел роскошно изданный монографический труд Иностранцева «Доисторический

человек каменного века Приладожья» с приложением всех этих экспертных заключенний, с таблицами и гравюрами, заказанными лучшим художникам России.

Это был не первый в России труд по каменному веку и не первый по неолиту. Большая работа иностранцевского ассистента В. В. Докучаева «Доисторический человек Окских дюн» о неолитических материалах была представлена в виде доклада в 1879 г. на VI съезде русских естествоиспытателей и врачей и опубликована в трудах съезда в 1880 г. В 1880 и 1881 гг. вышли две книжки зоолога И. С. Полякова о российском неолите и палеолите (в первой было обнародовано открытие знаменитой палеолитической стоянки в Костенках!) и статья «Каменный век в России». За год до иностранцевской монографии, в 1881 г., вышел двухтомный труд графа А. С. Уварова «Археология России. Каменный век». Как сгустились эти разработки каменного века России в начале 80-х гг.!

Монография Иностранцева отличалась тем, что это был первый в России опыт комплексного подхода — сотрудничества с рядом естественнонаучных дисциплин (Формозов 1983: 70–84). В мире первые образцы такого сотрудничества осуществили в середине века датчане при исследовании раковинных куч (кьёккенмеддингов), потом швейцарские ученые при исследовании свайных поселений, а первым масштабным проектом публикации такого комплексного исследования считается книга Шлимана «Илион. Град и страна троянцев», в которую включены экспертные вклады Вирхова, Махаффи и Сэйса, но эта книга вышла всего за год до книги Иностранцева — в 1881 г. В России же до Иностранцева никто так подробно не анализировал природную среду первобытного человека.

Принято связывать внедрение комплексного подхода в России (синтез археологии с этнографией и геогафией) с именем Д. Н. Анучина (Решетов 1994). Напомню, что Анучин вернулся в Россию из Франции только в 1879 г., а первой крупной работой Анучина, реализующей его идею синтеза естественных наук с познанием древнейшей истории человека, является как раз его доклад на V Археологическом съезде (1981) «О породах собак каменного периода на побережье Ладожского озера», инициированный Иностранцевым. Одну из двух пород собак, выявленных в этом исследовании, он и назвал «собака Иностранцева» — в честь того, кто организовал изучение природной среды первобытного человека.

Собранные и проанализированные данные показали, что среда эта, как она предстала в обследованных слоях в Приладожье,

принципиально мало отличалась от современной — там не было других, вымерших видов животных, да и климат был примерно тем же. Сам человек тоже относился к современному виду — это не был вымерший вид человека. Таким образом, хоть среди находок совершенно не было металла, речь могла идти лишь о конце каменного века. Среди археологов уже было распространено выдвинутое Лаббоком в 1875 г. название этого периода каменного века — «неолит», но Иностранцев не принял археологической периодизации Лаббока и Мортилье. Последовательный естествоиспытатель, еще в своем докладе о подразделениях каменного века (1880) он отвергал периодизации, построенные на основании археологических, т. е. неприродных находок, и настаивал на том, что этапы нужно определять исключительно по геологическим слоям, флоре и фауне. То есть он придерживался традиции Ларте и отвергал направление Лаббока и Мортилье, за которыми оказалось будущее. В сущности, он не видел в археологии самостоятельную дисциплину.

Его ученики Венюков и Соколов обнаружили у деревни Вельсы на Волхове кремневые изделия и черепки лепных сосудов. Сопоставив геологические условия находок с найденными на каналах, Иностранцев определил, что находки у деревни Вельсы более поздние, и в этом он был прав. Но исходя из наличия там только оббитых орудий, а у него на Ладоге есть полированные, он грубо определил Вельсы как палеолит по Лаббоку, а ладожские находки как неолит. Получилось, что палеолит позже неолита — опровержение схемы Лаббока (Формозов 1983: 81–82). Иностранцев упустил, что нельзя определять эпохи так примитивно — по одному лишь наличию или отсутствию шлифованных орудий (оббитые есть везде).

Были допущены и другие ошибки. Не распознавая очертания жилищ и культурные слои, Иностранцев принял все следы доисторического человека в Приладожье, разбросанные на трехверстовом участке, за одну стоянку. На ошибочность такого подхода ему указывал уже Поляков, побывавший на канале. А теперь установлено, что там представлено минимум три разные культуры, разного времени (Тимофеев 1994): *мезолитическая культура кунда* (тонкие остроги с одним зубцом, гарпун с крупными зубцами, костяные пешни), *нарвская ранненеолитическая культура* (наконечники стрел с конической головкой, фрагменты гладкостенной керамики с примесью толченой раковины и др.) и *неолитическая культура гребенчато-ямочной керамики* (шлифованные сланцевые орудия, керамика), относящаяся к *развитому лесному неолиту*, а деревянный челн относится вообще

к *железному веку*. Полевая методика археологических изысканий была никуда не годной.

Несмотря на все ошибки, значение этого труда было огромным. Продвижение в изучении самой материальной культуры неолита было в методологическом аспекте небольшим, очень неполным, но по собиранию и обобщению фактов оно было кардинальным, ибо в таком масштабе — первым. А по комплексному изучению природной среды доисторического человека — непревзойденным до самого последнего времени.

5. Дерзкий вызов. Поляковские открытия были чрезвычайно важными, но не носили обобщающего характера. Собственно, два капитальных труда заложили основы изучения каменнного века в России — уваровский «Каменный век» и «Доисторический человек» Иностранцева. Оба вышли почти в одно время — 1881–1882 гг., сразу же после убийства Александра II и воцарения Александра III, с чего начались откат реформ в России, конец либерализации, ужесточение политической и церковной цензуры. Уже само внимание к каменному веку таило в себе некое несогласие с Библией — ведь по Библии ранний человек был создан по образу и подобию Божию и получил Божественное Откровение; дикари мыслились деградировавшими людьми, утратившими высокую культуру. «...Всякая вредная теория, — говорилось в параграфе 190 российского «Устава о цензуре» 1826 г., — таковая, как, например, о первобытном зверском состоянии человека, будто бы естественном <...>, и тому подобные отнюдь не должны быть одобряемы к печатанию» (цит. по: Формозов 1983: 13).

После поражения России в Крымской войне и смерти Николая I, в либеральное царствование Александра II, началось ознакомление русского общества с отрытиями первобытной археологии на Западе. Труд Лайелла «Геологические доказательства древности человека», вышедший в 1863 г., был уже год спустя переведен в России. В 1870 г. вышла компилятивная книжка Д. П. Сонцова «О каменном веке», в которой автор перелагал выводы Буше де Перта, Лайелла, Лаббока и др., в частности о делении каменного века на два периода.

Еще более опасности для веры несла сопряженность представлений о низкой культуре начала человечества, о близости ее животному состоянию, с новым учением о происхождении человека от обезьяны — сочинения Дарвина вышли в 1859 г. («Происхождение видов») и 1871 г. («Происхождение человека»). Уже в 1872 г. их переводят в России. Начальник Главного управления по делам печати Михаил

Николаевич Логинов хотел пресечь издание переводов, и к нему обращена эпиграмма Алексея Толстого:

Правда ль это, что я слышу?
Молвят овамо и семо:
Огорчает очень Мишу
Будто Дарвина система?
Полно, Миша! Ты не сетуй!
Без хвоста твоя ведь ж...
Так тебе обиды нету
В том, что было до потопа.
(Толстой 1937: 394)

С убийством Александра II в 1881 г. либеральный период окончился. С 1882 г. до революции не печатались книги о каменном веке. Книга Иностранцева не только первая в ряде отношений, но и последняя в царское время.

В ней нашлось нечто, что вызвало гнев и возмущение церкви. Это — расчет хронологии позднего каменного века. Уваров в своей книге не касался этого опасного сюжета. Опасность заключалась в том, что традиционная библейская хронология отводила человеческому роду и всему божьему миру всего 6000–7500 лет. Любой существенный выход за эти пределы оказывался посягательством на опровержение библейской хронологии.

Еще Лайелл в своем труде говорил об «ужасающем пространстве времени» между палеолитом и нами. Шлейден в своей брошюре «Древность человеческого рода», переведенной на русский в 1863 г. и переизданной в 1865 г., рассуждал о позднем (от IV до XII вв.) сложении библейской хронологии (то есть отделял ее от откровения) и под этим прикрытием выдвигал идею о том, что человечеству не менее 100 тысяч лет. Иностранцев решил рассчитать давность своих находок по толщине слоев, отделяющих находки от поверхности. Конечно, такая датировка очень приблизительна — это Иностранцев понимал и оговаривал. Но всё же...

Английский геолог Леонард Хорнер, изучая отложения Нила у египетских памятников, пришел в середине века к выводу, что за каждые сто лет отлагалось по 3,18 дюйма (8,1 см). Иностранцев взял за исходную точку железный топор, найденный в торфе гораздо выше находок каменного века. Зная дату этого топора (он подобен тем, что были обнаружены раскопками Л. К. Ивановского в курганах X–XI вв. в Петербургской губернии), можно было рассчитать и древность открытого отрезка каменного века. Вышло 8250–9300 лет, то

есть гораздо больше, чем допускает библейская хронология. Вот где сказались подход естественника и (подспудно) либеральные идеи молодости и дружба с Энгельгардтом! Этот дерзкий вызов в условиях реакции не мог пройти безнаказанно. Через месяц после выхода книги духовная цензура православной церкви изъяла книгу Иностранцева из публичных библиотек. Он долго недоумевал о причинах запрета (ИВ: 159) — предположительные расчеты казались ему естественными и невинными.

Конечно, расчеты Иностранцева были ненадежны. Накопление слоев принято за постоянное, а оно не было таким. Мезолитическая культура Кунда, однако, близка к этой дате, а главное, перед мезолитом — огромная толща лет палеолита...

Интереса к первобытной археологии Иностранцев не утратил и в дальнейшем (Столяр 1994; Жервэ 1994). Он рецензировал археологические публикации (1886), проводил контрольные раскопки в окрестностях Новгорода (1892). В 1888 г. он, геолог, был избран президентом Антропологического общества России. Есть даже мнение (Тихонов 1994, 1995, 2003: 100–109), что он создал в археологии особую школу — *палеоэтнологическую*, которая изучала первобытного человека в природной среде и являлась посредствующим звеном между эволюционизмом Мортилье и советскими археологами. Это не так. Эволюционизму и Мортилье он был чужд, интеграции наук действительно способствовал, но это был так называемый *географический подход* в археологии, а советские палеоэтнологи придерживались иной направленности.

6. Конец по-российски. В 1885 г. вышел его учебник «Геология», который в 1914 г. был переиздан уже 5-м изданием. В геологии учениками Иностранцева были академики Н. И. Андрусов, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, А. А. Полканов, членкоры П. А. Земятченский и С. А. Яковлев, профессора В . В. Докучаев, В. О. Ковалевский, Б. К. Поленов и многие другие. Академик Л. С. Берг, намекая на авторитет и связи ученого в дореволюционной России, называл его «всесильный тогда геолог Иностранцев» (Прозоровский и Тихонов в ИВ: 13).

С революцией и Гражданской войной всё это оборвалось. Университет пришел в запустение, здание было погружено в темноту, аудитории не отапливались, студентов было мало, лекции читались только по вечерам в студенческих общежитиях, в шубах и при свечах. Профессора голодали. Как писал вице-президент Академии наук

Стеклов, лояльный к советской власти: «1918 и 1919 гг. были для нас весьма нелегкими... О занятиях науками нельзя было и думать, по крайней мере для большинства. На почве голодания и непосильного физического труда стали развиваться всевозможные болезни, люди начали пухнуть и истощаться. В частности, в академии многие выдающиеся ученые, еще не очень старые, начали умирать от истощения. Так погибли Федоров, Лаппо-Данилевский, Дьяконов, Шахматов, Смирнов и др.».

А. А. Иностранцев в конце жизни

В 1919 г., на 76-м году жизни, Иностранцев засел за «Автобиографию (Воспоминания)», каковую и написал — как отчет о своей жизни и своих свершениях. Питирим Сорокин, уехавший на Запад, в своей автобиографии сообщает об Иностранцеве: «В последние недели 1919 г. и он, и его жена тяжело болели. В конце концов, не имея возможности достать ни еды, ни лекарств, ни даже позвать на помощь», на исходе 1919 г., 31 декабря, под Новый год, глава петербургской геологической школы покончил с собой, приняв цианистый калий. Похоронили его почему-то на лютеранском Смоленском кладбище. Кафедральный служитель и ученик умершего Тимофеев свезли его гроб на детских саночках к месту погребения. «Тяжело было видеть этого ветерана научной работы <...>, — вздыхал секретарь Общества естествоиспытателей К. М. Дерюгин, — в коротком не по росту гробу, влекомого на санках-дровянках товарищами по науке <...> на место последнего упокоения. Не таких похорон заслужил этот поистине заслуженный деятель» (все последние цитаты — из предисловия Прозоровского и Тихонова к ИВ: 14–15).

Это был конец ученого, типичный, пожалуй, только для России. На Западе подобное окончание жизни выдающегося и признанного ученого могло быть лишь чрезвычайной редкостью, а в России оно было массовым и происходило то и дело — то революция и Гражданская война, то Большой Террор, то война и блокада, то разруха и небрежение... При таких условиях приходится удивляться таланту

и самоотверженности людей русской науки и тому, что она непрестанно рождает выдающихся ученых.

Иностранцев, написавший более полутораста геологических работ, был крупнейшей величиной в геологии, особенно в петрографии. Но и его единственная книга по археологии является, по признанию Формозова (1983: 84), «выдающимся трудом, не утратившим своего значения поныне». По мнению Формозова (1986), эта книга представляет собой «наибольший вклад в первобытную археологию России в XIX веке», и он «долго еще не устареет». Не устареет потому, что сохранил уникальное описание большого объема фактов, и потому, что представляет собой образец комплексного исследования и отличного издания археологического материала. Наибольший ли это вклад в первобытную археологию, можно спорить. Не потому, что вклад маловат, а потому, что российская археология XIX века богата на крупные вклады. Но бесспорно, что вклад геолога Иностранцева — один из крупнейших.

Открыватели

О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.

А. Пушкин. Рукописи, 1829.

И слежимся в обнимку с грязью, считая дни,
в перегной, в осадок, в культурный пласт.
Замаравши совок, археолог разинет пасть
отрыгнуть; но его открытие прогремит
на весь мир, как зарытая в землю страсть,
как обратная версия пирамид.

И. Бродский. Только пепел знает, что значит сгореть дотла...

Все значительные археологи делали какие-то открытия, но некоторых я отметил здесь особо — именно как открывателей. К этой категории я отнес тех, кто, во-первых, сделал чрезвычайно заметные, масштабные открытия, — открыл новые культуры, новые миры, а во-вторых, отмечен в истории археологии больше всего этим своим вкладом. Из этой категории я прежде всего хочу назвать Н. И. Веселовского, раскопавшего богатейшие курганы майкопской культуры и ряд царских скифских курганов, В. В. Хвойку, которому принадлежат открытия известнейших культур Украины — трипольской, зарубинецкой и черняховской, и Н. Е. Макаренко, раскопавшего Мариупольский могильник и тем впервые показавшего ранний неолит степей, И. С. Полякова, открывшего в России палеолит. Можно было бы также включить сюда К. С. Мережковского, открывшего палеолит в Крыму почти одновременно с открытиями Полякова. К. И. Невоструев открыл Ананьинский могильник, эпонимный для ананьинской культуры, которая, однако, была выделена и охарактеризована не им. Инженер Андион собрал при работах в гравийном карьере у д. Фатьяново черепа, черепки и каменные орудия и даже начал там раскопки, но Московское археологическое общество, недовольное его работами, поручило провести квалифицированные раскопки А. С. Уварову, В. Б. Антоновичу и Е. П. Дьяконенко. Кого считать открывателем? Вероятно, правильно будет ограничить список археологов-открывателей несколькими виднейшими фигурами.

Я открываю этот список фигурой И. Е. Забелина. Это спорное решение: Забелин открыл ряд скифских царских курганов — памятников исключительной ценности. Но скифская культура уже была известна хотя бы по Куль-Обе и Мельгуновскому кладу, так что принципиальной новизны не было. Но Забелин представил скифские древности как серию, как культуру, и его русское образованное общество воспринимало как открывателя целого пласта истории России. Кроме того, он очень близок по открываемым древностям, да и по методам и целям к Веселовскому, и их рационально рассмотреть в одном разделе.

Археолог поневоле

И. Е. Забелин

Либералу требуется всего двадцать лет,
чтобы стать консерватором, не поступившись
ни одним своим убеждением.

Роберт Энтони Уилсон.

1. Панегирик Забелину? Работа Ивана Егоровича Забелина как археолога, работа нежеланная, заняла всего шестую часть его долгой жизни, но ознаменовалась яркими открытиями. Слава Забелина как археолога была тоже недолгой — критика началась при его жизни и сменилась полным отвержением в раннесоветское время. Затем слава воспряла в годы вспышки патриотизма (панегирик Арциховского — 1948) и, казалось, окончательно утвердилась на приличном, хотя и более умеренном уровне в постсоветское время. Методы и выводы Забелина подвергались спокойной критике, но вклад ученого признавался крупным (Формозов 1984; 1988), а облик — прекрасным (Сахаров 1990). И вдруг в одной из последних книг Формозова читаем (2004: 24): «Мой очерк о нем (Формозов имеет в виду предисловие к новому изданию «Домашнего быта русских цариц» Забелина, 2001. — Л. К.) большинство восприняло как панегирик забытому ученому, и только самые проницательные читатели заметили, что автору его герой не слишком симпатичен». И далее следует резкая критика общей жизненной позиции Забелина.

Ну, если большинство восприняло очерк как панегирик, то, вероятно, это панегирик и был. Просто, публикуя новые книги об этике ученых, Формозов сообразил, что Забелин выдвинутым принципам не соответствует, и оценка его резко изменилась. Симпатия к нему, несомненно наличная в книге 1984 г. и вступительной статье 1988 г., исчезла в публикации 2004 г. В историографии 20 лет — большой срок. А содержание книги 1984 г. шире ее узкого названия. Совершенно

очевидно, что концентрация на истории Москвы введена Формозовым в название ради издания книги в «Московском рабочем»: издавать книги в советское время было очень нелегко, и не стоило пренебрегать подвернувшейся возможностью (ср. Формозов 1888: 10). Забелин был историком всей России, а историком Москвы (или историком царского быта, или историком скифов) — лишь во вторую очередь, это было производным. Всё же книга Формозова остается единственной монографией о Забелине и, сверх трудов Забелина и архивных материалов, является вместе с мемориальной речью Д. Н. Анучина (1909) главным источником суждений о Забелине для всех, кто о нем пишет.

В жизни Забелина и его трудах есть основания как для неизмеримого восхищения, так и для серьезной критики и неприятия.

2. Трудное начало. Происходит Забелин из самых низов городского чиновного люда. Родился в 1820 г. в Твери в семье писца Казенной палаты, коллежского регистратора — это самый низкий ранг, 14-й класс, получающий гроши. Отец, сын сельского священника, перевез семью в Москву и вскоре умер, оставив жену с двумя сыновьями без средств к существованию. Пришлось сначала младшего, Петра, отдать в Воспитательный дом, а потом пристроить и старшего, Ивана, в Сиротское училище. Младший был отдан из Воспитательного дома на усыновление, сменил имя, отчество и фамилию и исчез из вида родственников навсегда. Старший полунищенскую жизнь с матерью вспоминал как светлое детство. «Метода воспитания» в училище была, по словам Забелина, старозаветной и жестокой, пребывание в этом месте было для него наполнено «страхом и ужасом». Но учили — читать и писать и Закону Божьему.

Когда мальчику было 14, попечителем училища был назначен Д. М. Львов, сумевший заметно улучшить быт и обучение подростков. В старших классах преподавали русскую словесность, физику, географию, российскую, всеобщую и естественную историю. Львов, связанный с кремлевскими учреждениями, подыскал питомцу место в Оружейной палате. Иван был принят туда канцелярским служителем без чина в 1837 г. — шел по стопам отца, но в очаге истории.

Сначала он только переписывал канцелярские бумаги для директора, потом ему стали поручать более ответственные задания — проверять каталоги хранимых вещей, а это означало узнавать и сами вещи, сами древности. Через два года он стал водить по палате

посетителей, показывать экспонаты. Затем его привлекли к разбору архива палаты, и он познакомился с древними рукописями. В палате лежали не рукописи о политических событиях (эти были в других архивах), а документы по обыденной жизни — о царских одеждах, посуде, церковных службах и т. п. Он стал овладевать на практике старинным языком и скорописью, специфической терминологией.

В 1840 г. 20-летний юноша сработал небольшую заметку, сугубо описательную, о регулярных выездах царской семьи в XVII веке на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. Заметку он принес своему бывшему учителю по Сиротскому училищу, а к этому времени профессору Московского университета И. М. Снегиреву, автору популярных сборников пословиц и очерков по истории города. Снегирев порекомендовал статью в «Русский Вестник», там приняли, но отказались платить гонорар. Юноша обиделся и забрал статью. А Снегирев несколько лет пользовался услугами Забелина — тот для него выискивал справки в архивах, копировал надписи в соборах, всё это безвозмездно. Польза была та, что Снегирев порекомендовал его как полезного помощника академику П. М. Строеву, более серьезному ученому. Тот в 1842 г. написал о нем председателю Археографической комиссии П. А. Ширинскому-Шихматову:

> «Я почти завербовал одного молодого человека трудиться вместе со мною над выписками для Археографической комиссии. Он имеет столько знаний и навыка в деле археографическом, приобретенных им в месте службы, притом столько прилежен и любознателен, что я не обинуясь предвижу в нем отличного археолога» (Формозов 1984: 31).

Археологом Строев по старинке называл здесь, конечно, не специалиста по артефактам, а всякого, кто возится с любыми древностями. Строев просил для Забелина хотя бы чина коллежского регистратора. Рекомендация его не подействовала, так как министр Уваров не согласился, чтобы комиссия имела сотрудников и в Москве. В итоге Забелин стал помогать Строеву так же безвозмездно, как Снегиреву, и вышедший в 1844 г. под авторством Строева том (о царском одеянии при торжественных выходах) сделан фактически им. А ни слова благодарности ему ни у Снегирева, ни у Строева в книгах нет. Но Забелин прошел у них хорошую школу. В дополнение он разыскивал и покупал на Смоленском и Сухаревском рынках подержанные книги и журналы. Заработок его был около 100 рублей в год, потом поднялся до 300, но рядовой учитель получал 700. Между

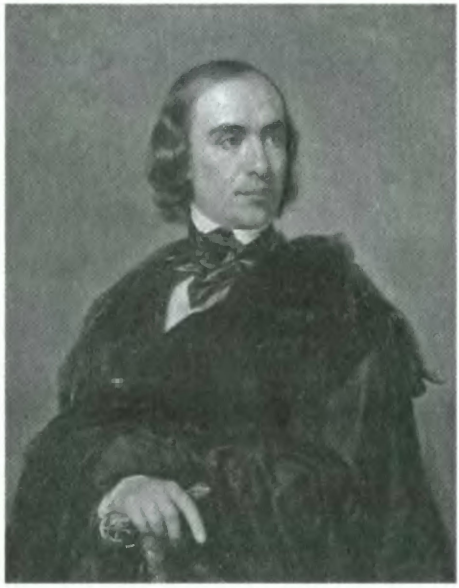
тем в 1844 г. Забелин женился и стали рождаться дети (дочери), кроме того, к нему переехала мать. Семья стала сравнительно большой, а заработок оставался мизерным.

3. Ступени признания историка. Познакомился он с настоящим археологом и этнографом, другом Герцена, Вадимом Пассеком. Тот, будучи редактором в «Московских губернских ведомостях», напечатал там в 1842 г. заметку Забелина о богомольных походах царей, но вскоре умер. «Ведомости», однако, стали печатать заметки Забелина. Напечатал Забелина в 1843 г. М. П. Погодин в своем «Москвитянине» — критическую рецензию под псевдонимом «Меланхлен» (по гречески «черноризец») на А. Ф. Вельтмана, который был в это время помощником директора Оружейной палаты. Забелин повадился ходить домой к Погодину, встречал у него Гоголя, Островского, Щепкина.

Газетные заметки о домашнем быте русских царей и рецензия в «Москвитянине» привлекли внимание специалистов, и в 1847 г. вышла первая большая работа Забелина в журнале «Чтения» Общества истории и древностей при Московском университете — часть исследовательская плюс приложения (документы). С председателем Общества графом Строгановым ему довелось познакомиться раньше, в 1845 г., случайно (принес Строганову письмо от своего начальства, и тот заинтересовался грамотным и видным курьером с осмысленным взглядом, справился о его образовании). Строганов взял молодого человека делопроизводителем в Комитет по изданию «Древностей российского государства», по совместительству с работой в Оружейной палате. Вероятно, это облегчило печатанье в «Чтениях», и затем за несколько лет Забелин напечатал в этом журнале (сменившем название) еще 14 статей.

Помощником Строганова был Д. П. Голохвастов, двоюродный брат Герцена, далекий от его убеждений. Он, как раньше Снигирев и Строев, использовал черновую работу Забелина для своей публикации. Строганов взял Забелина себе в личные секретари, повысив тем его заработок, но, проработав несколько месяцев, Забелин отказался. Причины он в старости объяснил Е. В. Барсову так: с утра надо было являться к графу во фраке, за обедом в его доме есть какие-то «противные блюда». «Сердце не выдержало. В одно утро я пришел к своему большому барину и заявил: простите, граф, домашние дела зовут меня к себе и не позвляют жить вдали от семьи, прошу вас — увольте меня» (Формозов 1984: 77).

Мать Забелина брала для заработка на постой студентов, а они, подружившись с Забелиным, привели его к Тимофею Николаевичу Грановскому, одному из протеже Строганова, либеральному профессору, «западнику», очень популярному среди студентов. Тот произвел на Забелина огромное впечатление своим обликом, став надолго идеалом университетского профессора. Любопытны живые подробности одного из визитов. Побеседовав в кабинете, сошли вниз, в столовую, где был накрыт стол на три прибора. Грановский с супругой сели рядом друг с другом, а молодого человека посадили напротив.



Т. Н. Грановский

> «После супа подали печеные горячие каштаны и к ним сливочное масло — блюдо, которое я отроду не видал, и, так как начали с меня, то я совсем не знал, что делать, и попросту сказал, что в первый раз в жизни вижу такое блюдо и потому не знаю, как с ним поступают. "А вот очень просто, — сказал Т. Н. — Положите к себе на тарелку как можно побольше, потом, как орехи, снимите скорлупу, к ядру прибавьте масла и кушайте. Ведь это заграничный картофель, не более того". Я краснел до ушей» (Формозов 1985: 104).

Но Формозов показал, что в идейном отношении Забелин сблизился с Грановским позже, в 50-е гг., а в 40-е он был гораздо более вхож к Погодину, главе официозного направления в русской историографии (Формозов 1984: 49–70). Погодин был ему ближе и роднее изначально: разночинец, родившийся как крепостной и дошедший до профессора и академика, занимающийся не западноевропейской историей (как Грановский), а русской и как поклонник самодержавия, очень заинтересованный в изучении того, как реально отправлялись монархические функции. Но Забелин был человеком другого поколения, что и позволило ему сблизиться с Грановским, Кавелиным и другими либералами, которым покровительствовал Строганов.

В середине 50-х Грановский читал даже специальный заказной курс лекций по истории, который слушали всего два человека: богатый купец-меценат К. М. Солдатенков и Забелин.

Погодин был ближе к славянофилам, отличаясь от них, конечно, своей приверженностью норманнской теории. А Забелин отличался от них гораздо больше, не идеализируя быт допетровской Руси, описывая средневековую грубость трезво и реалистично. Славянофилы возмущались: «...можно писать, но зачем же писать в таком тоне», — заявлял К. С. Аксаков, а С. П. Шевырев высказывался еще резче: «...что автор <...> плюет на гроб отцов, что он человек неблагонамеренный», и советовал Погодину остерегаться Забелина, вхожего к Строганову (Забелин 2001: 32–33; Формозов 1984: 54).

Действительно, Забелин даже после смерти Грановского продолжал быть своим в кружке его почитателей — кружке А. В. Станкевича (биографа Грановского и брата философа Николая Станкевича). Однако и к западникам Забелин не примкнул. Они ведь отрицали значение допетровской эпохи, а Забелин считал, что ее устои органически связаны с современной жизнью, так что не считаться с ними нельзя. Более того, уже в 1859 г. под 25 ноября он записывает в дневник: «Почему развилось самодержавие, единодержавие. Потому что в народе лежат такие элементы. Следовательно, народ, народ в том виноват, а не кто другой, не черт, не дьявол» (Забелин 2001: 41). Подобно многим, он верил в особую близость царя с народом, минующую верхние классы, окружавшие трон.

Со своим другом Ровинским Забелин совершал пешие экскурсии по московским окрестностям, посещая храмы, монастыри и старинные усадьбы, отмечали и городища, курганы, следуя Ходаковскому.

В июле 1848 г., в год европейских революций, Забелин был назначен помощником архивариуса Московской дворцовой конторы, а в апреле 1855 г., когда кончалось николаевское царствование, 35-летний историк стал кремлевским архивариусом. В глазах Строганова это было не очень престижно, но Забелин объяснял ему свой выбор: «Я избрал эту незначительную и, осмелюсь сказать, инвалидную канцелярскую должность, чтобы доставить себе по возможности более свободного времени для моих архивных разысканий, для изучения и разработки любимого мною предмета — русских древностей» (Формозов 1984: 77).

Жизнь стала зажиточнее. Из маленькой квартирки Забелин перебрался в большую и смог тратить больше на покупку книг и рукописей. В 1850 г. Забелин получил премию Русского археологического

общества (300 рублей), учрежденную на деньги Уварова, за лучшую работу о металлическом производстве в России до XVII века. Через год снова конкурс, первое место и премия. Это было признание. Забелин стал членом РАО. В 1853 г. Забелина, у которого было за плечами только пять классов начального училища, пригласили преподавать историю в Константиновском межевом институте топографам (он читал ее там два десятилетия), а в 1856 г. он стал редактором той самой газеты «Московские губернские ведомости», где была напечатана его первая заметка за 14 лет до того. К этому времени у него уже было 80 печатных работ.

И. Е. Забелин

Много печатался Забелин и в «Отечественных записках». Его работы вызвали горячее одобрение Н. Г. Чернышевского и Добролюбова. И. С. Тургенев предложил помощь в издании книги Забелина. Забелин изъявил готовность книгу сделать. Тургенев в июле 1853 г. пишет:

> «Очень обрадовали Вы меня... тем, что Вы принимаете мое предложение быть Вам полезным при издании Вашей книги. Кроме того, что я убежден, что Ваша книга будет истинным подарком для всякого русского (а потому можете себе представить, как мне приятно доставить Вам возможность издать ее), я собственно к Вам чувствую такое влечение, что готов на всякую услугу. И потому Вам отсается сказать мне, когда нужно будет выслать деньги и сколько именно — Вы их немедленно получите» (Формозов 1984: 89).

Забелин надеялся закончить книгу к концу года, но и над первой частью ее работал еще девять лет. «Отечественные записки» были журналом либерального направления, но не радикальным и всё менее популярным. На первые роли выходил «Современник» Чернышевского, а с ним Забелин рассорился. Ему претили радикализм и нигилизм.

В 50-е гг. Забелин отпустил себе пышную окладистую бороду и усы, старательно подлаживая свой облик под тип человека русской старины, да так на всю жизнь и остался.

4. Полевой археолог. В 1859 г. жизнь 39-летнего ученого меняется кардинальным образом. Граф Строганов стал председателем новосозданной Археологической комиссии, ему предстоит переезд в Петербург, и он желает привезти с собой верных и надежных сотрудников. Таким он считает Забелина. Еще в конце 1857 г. он предупреждал об этом Забелина, сулил ему место младшего члена с 1000 рублей годового оклада и VI класс в табели о рангах (равный полковнику), и вот Комиссия учреждена. Забелин принял приглашение. Ему назначили даже оклад в 2000 рублей.

Что побудило Строганова сделать такой выбор? Ведь Забелин не археолог, опыта раскопок не имел. Но археологов по образованию вообще в России не было, а раскопочный опыт имели немногие, и в глазах Строганова он был не так важен, как прилежание и доверие.

Что толкнуло Забелина принять предложение Строганова? «Помилуйте, осчастливите». Не в последнюю очередь повышение чиновного ранга и оклад. Он еще в 1854 г. просил Строганова подыскать ему какую-нибудь должность получше, чем его «инвалидный» пост. Теперь он смог поместить свою семью в квартире из 13 комнат. Это во-первых. Во-вторых, археология как наука о древних артефактах еще не была четко отграничена от науки о древностях вообще. В-третьих, у Забелина уже проскальзывали археологические интересы — к экспонатам Оружейной палаты, к соборам, курганам и городищам, он опубликовал заметку о так называемом Мономаховом троне («Археологическая находка», 1850). В-четвертых, московская среда для него оскудела: с Погодиным и его компанией он разошелся, Грановский умер, в Университете историю вел С. М. Соловьев, которому он завидовал (блестящее образование, всё легко давалось, книги идут потоком, заменяя карамзинскую историю). Наконец, Забелин, видимо, надеялся раскопать что-либо близкое ему по сути — древнерусские памятники: городища и курганы Киевской Руси. Ответить на вопрос о корнях русского народа.

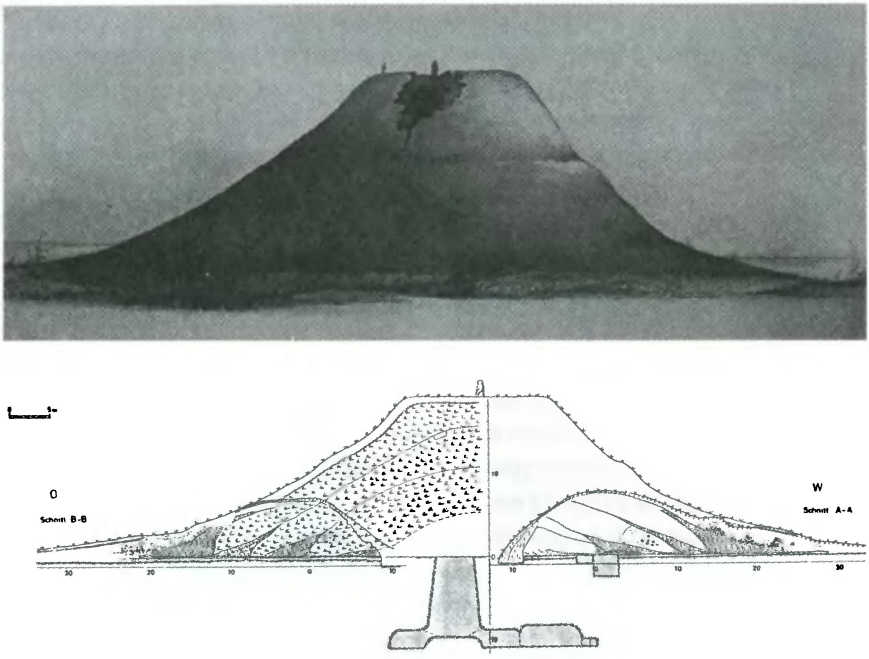
«В этом замысле, — пишет Формозов (1984: 89), — с самого начала был один важный просчет». Археологическая комиссия не собиралась вести раскопки на коренной русской территории. От нее ожидали прежде всего пополнения императорского Эрмитажа сокровищами скифских курганов. Копать нужно было в степях юга страны, в Причерноморье. Полного переезда в Петербург от него не требовали, но жить теперь надо было подолгу вне Москвы, а это означало отрыв от работы над главными книгами его жизни — о царском и народном быте допетровской Руси. В самом деле, работа над ними застопорилась.

Весной 1859 г. Забелин отправился в экспедицию на Украину, в Поднепровье, в район, где за несколько лет до того была раскопана Луговая могила (Александропольский курган), давший золото. Не найдя ничего существенного, начал раскопки кургана неподалеку, близ Гермесова хутора. Он нанял в селах землекопов и мужиков с телегами отвозить землю, сам исполнял всё наблюдение и руководство. Не было у него поначалу никаких лаборантов, художников и фотографов, и так продолжалось на протяжении первых лет работы. Курган был сильно изрыт современными и древними кладоискателями, так что могила не была обнаружена, но всё же золотые скифские вещи встретились. В соседних трех курганах были только скорченные и окрашенные скелеты с лепными от руки (не на круге) глиняными горшками и изредка с медными орудиями. Это была явно другая эпоха, не все курганы относились к скифскому времени.

В следующем году недалеко от Никополя раскопали еще несколько курганов. В самом большом из них могила была ограблена еще в древности, но поодаль от нее уцелели нетронутые грабителями остатки двух колесниц, семьдесят железных удил, бронзовые навершия с изображениями крылатых львов и грифонов, 8 раздавленных греческих амфор с осадком темно-красной жидкости, а также скелеты четырех коней с удилами и узорчатыми серебряными бляхами. Курганы, содержавшие скорченные и окрашенные костяки, Забелин бросал недокопанными, отмечая, что прерывает «исследование, которое не могло подать уже надежды на важные открытия». Важными он считал скифские могилы с золотом. Археологи знают, что такие пометки делал в дневнике Веселовский, — ан нет, Забелин тоже к этому причастен.

В 1861 г. снова работал в том же краю. Большой курган Острая Могила бросил недокопанным, а через год в нем крестьяне нашли золотые украшения — гривну (обруч на шею), железный кинжал с золотой рукоятью и многое другое. Но в других курганах, раскопанных Забелиным (Слоновская Близница, Токмаковская Близница) нашлись золотые вещи.

А вот следующие три года принесли исключительные сокровища. В 22 км от Никополя Забелин взялся за огромный Чертомлыцкий курган, высотой более 20 м и более 350 м в окружности, это объем около 100 тысяч кубометров. Нанял 111 подвод, Комисия специально на них выделила 5 тысяч рублей. Но за лето раскопать не успели. В 1863 г. получили еще 5 тысяч рублей и наняли 116 подвод. Сначала нашли десять бронзовых наверший, потом открыли могилы убитых



Чертомлыцкий курган, начало раскопок и разрез

слуг погребенного, вероятно, конюхов. На костяках лошадей лежали украшения из золота и серебра. Главная могила углублялась на 12 м от уровня материка под почвой. Это был склеп с несколькими отходящими от него подземными камерами. Тут была масса вещей: железные ножи с костяными рукоятками, кучки стрел с бронзовыми наконечниками, золотые украшения с изображениями грифонов и козлов, большие бронзовые котлы с ручками в виде горных козлов.

Главный покойник, вероятно, царь, был ограблен еще в древности (прослежен грабительский лаз, а в нем — скелет заваленного грабителя), но могила царицы в боковой камере осталась неограбленной. На черепе лежала золотая диадема, рядом стояло 14 греческих амфор IV века до н. э. и огромная серебряная ваза (высота — 70 см), украшенная рельфным узором с фризами, на которых изображены различные эпизоды из жизни скифов. Эта ваза ныне является одним из главных сокровищ Эрмитажа. В стенках могилы были ниши-тайники, там лежали горит (футляр от лука) и рукояти для мечей; у всех золотые накладки с изображениями сцен из мифа об Ахилле и изображения битвы греков с варварами.

После раскопок Куль-Обы более тридцати лет такого количества сокровищ русским археологам не встречалось, а Чертомлык далеко превзошел Куль-Обу. Правда, раскопки шли на частной земле и, по условиям соглашения, Комиссии пришлось треть вещей отдать собственнице земли, генеральше Зейфарт. За раскопки Забелин получил орден Св. Станислава II степени и был произведен в старшие члены Археологической комиссии.

Чертомлыцкая амфора в Эрмитаже

В 1864 г. Забелина послали на Северо-Западное Предкавказье — на Тамань. Тут он раскапывал курган Большая Близница на Цукурском лимане. Это в древностии была не скифская область, а Боспорское царство, образованное колонистами-греками, но с примесью местной культуры. Помогал Забелину директор Керченского музея Люценко. В кургане была захоронена, как предполагают, жрица богини Деметры. Об этом говорит ее головной убор — калаф, золотая корона из пятнадцати пластин. Тут тоже было множество золотых изделий. А в следующие годы, но уже без Забелина, тут нашли еще одну могилу жрицы.

Дальнейшие семь полевых сезонов за восемь лет опять принесли скромные результаты. В первых трех из них еще продолжались раскопки курганов. В 1865 г. Забелин снова копал в Приднепровье. Курган Козел имел в высоту 14 м, и могила была типа Чертомлыцкой, с 11 конями, но почти полностью ограбленная в древности. В следующем году раскопок не велось. В 1867 г. раскопки шли, но дали скорченные и окрашенные костяки, и начат был скифский курган Цимбалка. В 1868 г. завершили его раскопки. И он был ограблен. На этом курганные раскопки Забелина в основном закончились.

В 1866 и 1872 гг. вышли два выпуска «Древностей Геродотовой Скифии», два тома *in folio*, где были собраны отчеты всех раскопщиков

Академик Л. Э. Стефани, Эрмитаж

сифских курганов, в том числе и Забелина, главным образом описания могил и вещей, но, что особенно ценно, их большие иллюстрации.

Сам Забелин был не в восторге от своих раскопок и открытий. К его основным трудам это отношения не имело. Научную обработку для публикации сокровищ в Комиссии делал академик Лудольф Эдуард Стефани из Эрмитажа, немец на русской службе. Тот русского языка не знал, не удосужился выучить. Он в основном подыскивал древние тексты к находкам и заполнял множество страниц филологическими комментариями к этим текстам, с возражениями своим оппонентам. В дневник под 1861 г. Забелин записывает: «Я чернорабочий — это так. Но, служа в Комиссии, я делаю черную работу для других... Как выбраться из Комиссии? Вот вопрос» (Забелин 2001: 259).

В 1869 и 1870 гг. Забелин ездил снова на Тамань вместе с младшим членом Комиссии Тизенгаузеном. Они раскапывали траншеями античный и средневековый город Фанагорию и один курган. В 1972 г. расчищали фундамент древней постройки в Фанагориии. В 1873 г. на другом конце Причерноморья оба вели раскопки таким же методом другого античного города — Ольвии, прорезая траншеями разные участки. Искали храм Зевса — не нашли.

В Отчетах ИАК за 1874–1875 гг. сведений о полевой работе Забелина нет. По-видимому, на раскопки не ездил. В феврале 1876 г. Иван Егорович обратился к Строганову с жалобами на расстроенное здоровье (столько лет в сырых ямах!) и с просьбой отпустить его из Археологической комиссии. Он откровенно заявлял, что его «истинное призвание — это ученый и архивный кабинетный труд» (Формозов 1984: 111). Ему советовали повременить еще несколько месяцев до ордена Св. Владимира за 35 лет беспорочной службы, но он ответил, что лучше пусть дадут высокий чин и хорошую пенсию. Отставка была принята. При выходе 56-летнего Забелина произвели в действительные

статские советники (это чин IV класса, соответствующий генерал-майору) и обеспечили его полной пенсией (1200 рублей в год).

Конечно, Забелин внес огромный вклад в отечественную археологию, открыв величайшие сокровища. Это только из принципа говорится, что для археолога равно до́роги железный нож и серебряная чаша с изображениями. Как правило, серебряная чаша с изображениями дает нам несоизмеримо больше информации, чем рядовой железный нож, несмотря ни на какие анализы. Забелинские наблюдения, хоть и очень краткие, всё же дали последующим поколениям археологов возможность восстановить многое по его материалам.

Но и недостатков в его полевой работе немало. К работе по раскопкам курганов на юге у него не лежала душа. Он рассматривал ее как обузу и делал ее только из чувства долга. В дневниках больше записей о том, что съел, что выпил, чем объелся, и наблюдений за жизнью хохлов, чем впечатлений от раскопок. К этой ответственной работе он был не подготовлен даже по меркам того времени. Он изучал русскую историю, а не греческую и скифскую, не знал греческого языка. Раскопки курганов производились за рубежом и в России уже давно, методы отрабатывались разные. Нужно было их изучить и продумать, но он не мог этого сделать: не знал иностранных языков. Коль скоро сразу стало очевидно, что многие курганы имеют ряд погребений в насыпи, было ясно, что они требовали раскопок «на снос» — полностью, а не траншеей. Совершенно нельзя было бросать курганы недокопанными — это оставляло их местным крестьянам на разграбление и не давало полной картины. Делалось крайне мало чертежей и зарисовок, хотя в инструкции Строганова они требовались. Кости не брались на определение, и эта потеря невосполнима.

Городища и вовсе нельзя было копать траншеями — это означало разрушать древние постройки, выбрасывая камень. Формозов приводит воспоминание античника В. Д. Блаватского, что участок Ольвии, раскопанный Забелиным, выглядит как огород с грядками, и грядки эти мешают современным археологам разобраться в плане этого участка города.

В архиве М. И. Артамонова осталась его написанная в начале археологической деятельности, в 1932 г., машинописная статья о раскопках Забелина, где Артамонов якобы высоко оценивает методику Забелина, исходя из возможностей разобраться по его записям и зарисовкам в структуре скифских курганов. К такому же выводу приходят и скифологи А. Ю. Алексеев (Алексеев и др. 1991) и И. В. Яценко (2002). Но обратимся к тексту Артамонова:

«И. Е. Забелин <...> был, в сущности, совершенно не подготовлен к самостоятельной оценке тех памятников, которые ему предстояло исследовать. Специалист по московской старине, он совершенно не знает античного искусства, с предметами которого ему приходилось в работах на юге постоянно сталкиваться. Незнание же скифских памятников было общим. Естественно, что роль Забелина свелась к добыванию вещей. Обработка же полученных материалов производилась ученым хранителем Эрмитажа Стефани. Ясно, что такой разрыв между полевой и кабинетной работой не мог привести к выработке самостоятельного и вполне сознательного отношения И. Е. Забелина к задачам полевого исследования. Поэтому и приемы его раскопок не отличаются от принятых в его время и с нашей точки зрения представляются в высшей степени неудовлетворительными. Экономя время и деньги и имея целью отыскать поскорее главное богатое погребение, громадные скифские курганы раскапывались траншеями, оставляя значительную часть их вовсе неисследованными. Когда убеждались в бедности содержимого, в сомнительности желаемых результатов, бросали начатый курган и переходили к новому... В погоне за вещами почти не обращали внимания на устройство кургана и самих могил, на расположение вещей. Чертежи если и делались, то приблизительные, иногда по памяти. Дневник, как правило, не велся. Всё не представляющее интереса для Музея выбрасывалось. Так, например, костные остатки и керамика оставлялись без внимания» (цит. по: Алексеев 2004: 42).

Тем не менее в итоге Артамонов делал общий вывод, что «как ни плохи раскопки И. Е. Забелина, они всё же во многих отношениях лучше произведенных в ту же эпоху другими археологами». Тихонов (2007: 237) приводит в пример раскопки члена Археологической комиссии В. Г. Тизенгаузена, который чертежей и записей вовсе не делал. Конечно, Забелин был умным человеком, и уж если он что-то делал для курганов с золотом, это давало ценные возможности для реконструкции. Но сделано было далеко не всё.

Формозов (1984: 114) так завершает свою оценку методов Забелина: «Означает ли всё вышесказанное, что мы вправе зачислить Забелина в разряд плохих археологов? Нет, просто он был археологом своего времени, не ниже, но и не выше среднего уровня».

Что значит «средний уровень»? Если есть плюсы и минусы? Если копает, как большинство? Что значит «плохой археолог»? Кто совсем не ведет документацию? Кто выкапывает ямкой сокровища? Но ведь

это, наверное, вообще не археолог. К тому же человеку, поставленному на пост первого археолога страны, пожалуй, неверно делать скидки такого рода. От него нужно ждать показательных, образцовых раскопок, чтобы они были по крайней мере на уровне сознания, доступного тогдашней науке. Мы не вправе ожидать от него множества фотоснимков и взятия образцов на радиоуглерод. Но брать кости на определение ученый мог догадаться. Бобринский брал. Делать чертежи всего, что раскопано, можно было. Бобринский делал гораздо больше, чертил разрезы. Докапывать все курганы, не бросать те, что не дадут золота, можно было. Бобринский копал всё с равным вниманием. В своем имении Смела он начал копать на рубеже 70-х и 80-х — это лишь на десятилетие позже. Самоквасов в 70-е гг. первые две-три насыпи в каждой группе раскапывал на снос.

По методам раскопок Забелин не стоял на том уровне, которого требовало его место в археологии и который позволяло состояние науки. Он и не стремился к этому. Ту полевую археологию, которой ему было суждено заниматься 17 лет (а вплотную 14 лет), он и не любил.

5. Теоретик археологии. Период занятий полевой археологией столь важен в биографии Забелина, что здесь придется проследить жизнь ученого в этот период по меньшей мере еще трижды — рассмотреть его теоретические взгляды, эволюцию его общественной позиции и пик его творчества как историка.

Сразу после смерти Забелина его коллега из Московского археологического института Н. Н. Ардашев написал большущую статью (148 страниц in quarto): «И. Е. Забелин как теоретик археологии» (Ардашев 1909). Основой для разбора взглядов Забелина послужил его доклад на III Археологическом съезде в Киеве в 1874 г., то есть сразу же после фактического прекращения его раскопочных работ, когда ему было 54 года (напечатан в Трудах съезда — Забелин 1878а). Но схожие взгляды Забелин высказывал и раньше, еще сорокалетним, — в 1860 г., в статье «Размышления о современных задачах русской истории и древностей» (Забелин 1860, перепечатано в «Опытах» — Забелин 1872–1873, ч. 2: 1–71).

Обратим внимание, что еще в 1860 г. Забелин вместо термина «археология» употребляет слово «древности» — аналог немецкому *Altertumskunde*, *Alterrtumsforschung*. Третий съезд, кроме интереса к славянским древностям, к Киевской Руси, был устроен явно с теоретическим зарядом. На торжественном открытии председательствовавший Уваров указал на это: «Общие вопросы группируются

вокруг одной и той же задачи: разграничить археологию от истории...» (Уваров 1874: XV). Первым же опытом и был доклад Забелина, прославленного своими археологическими открытиями.

Забелин четко формулирует свою цель — определить «предмет археологии» — «чем именно занимается эта наука, что она разрабатывает?». Прежде всего, он отверг обозначение «древность» как слишком расплывчатое. «Говорят, предмет археологии есть древность... Но слово "древность" имеет такое обширное значение и такую, можно выразиться, беспредельность в своем содержании, что очень трудно и почти невозможно ответить сколько-нибудь определенно на вопрос, что такое на самом деле древность как предмет науки» (Забелин 1878а: 73–74). Ну, древность, конечно, достаточно широкое понятие — включает в себя как вещи, так и песни, былины. Надо бы их отделить, взять действительно более узкое понятие, чем древности, провести границы. Но оно имеет и свои границы — от нового времени, от современности. Ни те, ни другие границы Забелина не интересуют. Поэтому для него термин беспределен.

Сделав археологию своей наукой, *осознав себя археологом*, он вознамерился покрыть предметом археологии то, что ему всегда было близко и дорого, то, *чем он хотел заниматься*. А это были совсем не те вещи, которыми он вынужден был заниматься в Археологической комиссии по должности (раскопки скифских курганов и античных городов) и на которых всё больше специализировалась источниковедческая дисциплина, именуемая всё чаще археологией. Если он археолог, а об этом кричали все, то *предмет археологии* — это рукописные записи XVII века и смежных веков, архивные документы, народные обряды и царские ритуалы, пословицы и амулеты, события минувшей городской жизни и урочища, судьбы конкретных людей.

Чем же в таком случае его занятия отличаются от работы историка? Как истый источниковед Забелин усмотрел отличие в привязанности к конкретным источникам информации, индивидуальным явлениям, тогда как историк эту информацию использует в обобщенном виде, работая с родовыми понятиями, типами, институциями.

Вначале всем занималась история.

> «Но с самого же начала история стала обращать особое внимание только на такие "были", где вернее всего проявлялось творчество, или дело человека, созидаемое целым родом... История, по преданию от летописи, хорошо поняла и запомнила, что главная ее задача состоит в описании и изображении общих родовых дел человека. Поэтому самым первым и важнейшим

памятником для ее наблюдений явилось государство со всеми его органами и деяниями» (с. 9).

В прениях Забелин признал, что история занимается и личностями, но только для примера, «чтобы факты родового творчества представить более выпукло и наглядно» (с. XXIII).

Историю Забелин явно понимает в духе передовых школ своего времени — не как *историю героев и событий*, а как *историю народов и государств*. Но он напрасно лишает ее индивидуального фактора. История устанавливает *причинно-следственную связь между индивидуальными фактами*. Народы и государства — это тоже конкретные индивидуальности истории, со своими именами, только коллективные, собирательные. Истинно общие, родовые понятия социального развития человечества — это те, которыми сейчас занимается социология истории — феодализм, революции, империи, колонии. Так что история у него определена неточно. А что остается для археологии?

- «Но все частности и мелочи жизни, памятники личного творчества человека, суть те древности, которыми присуждено заниматься археологии. <...> Задача археологии, по необходимости, должна состоять в исследовании и изображении личных дел народа, <...> единичного творчества народной жизни, разработку которого история на себя не принимает» (с. 9–10).

Вывод Забелина таков:

> «Наука археология имеет, как и наука истории, свой особый, определенный и самостоятельный предмет познания. Этот предмет есть единичное творчество человека, в бесчисленных разнородных и разнообразных памятниках, вещественных и духовных» (с. 17).

Но памятники вещественные и духовные суть материальная и духовная культура прошлого. И Забелин приходит к логичному выводу, что

> «история культуры в сущности есть археология. Весь материал, которым она пользуется, есть матēриал археологический. Задачи, какие себе ставит эта история, те же самые, что и задачи археологии, и от археологии она отличается, может быть, только взглядом на предмет. Это взгляд антропологический. Его задача — познание развития человека, раскрытие и объяснение общих законов его природы» (с. 6–7).

Понимая предмет археологии как историю культуры, Забелин (2001: 233) делал в заметках для себя один очень важный вывод: «Конечная цель археологии — это **тип**, типический лик предка.

А для выяснения типа необходимы все мелочи, среди которых он живет и которыми он живет... Нам нужны типы, а не описания географические или статистические старинных людей». Конечно, он имел в виду не типы вещей, как позже у Монтелиуса, а типы людей (Собакевич, Плюшкин, Манилов, Печорин), но обращение археолога к типическому было само по себе важным шагом в нужном направлении — за два-три десятилетия до Монтелиуса.

Итак, для Забелина археология — это *история культуры*. «В таком случае, — логично заключает Ардашев (1909: 78), — вся археология есть в сущности только некоторый отдел истории». Точнее было бы сказать, что археология и история выступают у Забелина как *разновидности истории* — история гражданская (или политическая) и история культуры. И действительно, в прениях Забелин признал: «История и археология науки независимые, параллельные, иногда друг друга пополняющие, но вполне самостоятельные» (с. XXIII).

То есть в системе наук Забелина настоящей археологии нет. Нет источниковедческой науки, разрабатывающей вещественные памятники как исторические источники, — той археологии, которая уже в его время стабилизировалась на практике именно как наука о вещественных источниках, по другому пониманию — о материальной культуре древности. Такой археологии там нет.

Ардашев хорошо проследил, что эти идеи у Забелина давние. Еще в 1852 г. в краткой рецензии на книгу Краснова Забелин писал: «Археология ведь только часть истории, она то же, что бытовая история». Это та же идея, что и у графа Уварова, но высказанная раньше. Позже, в 1860 г., в «Размышлениях о современных задачах русской истории и древностей» Забелин уже излагал все мысли, развитые потом в докладе на III съезде, — тут есть и о неопределенности, и беспредельности понятия «древности», и что предметом археологии является «сам человек в своей частной, особной, личной жизни», а «история (есть) наука о явлениях человеческой общественной жизни» «в форме общества, народа, государства — как хотите — вот задача истории» (Ардашев 1909: 80–81).

Ущербность и нереалистичность этих рассуждений была понятна уже современникам. Уваров возражал на съезде против представления об отсутствии в археологии родовых понятий. Как раз в первобытном обществе личный фактор был неразвит и задавлен коллективными представлениями (с. 30). В археологии очень много именно типического, стереотипного, клишированного. Впрочем, сам он тоже относил к археологии по старинке и материальные, и духовные древности,

объявляя ее наукой о быте и не видя растущей специализации именно обработки вещественных источников.

Другой оппонент, выступавший в прениях, В. В. Никольский, предложил даже прямо противоположное толкование: история имеет дело с индивидуальными явлениями, а археология — с типическими (с. XXIII).

Вывод Забелина о двух параллельных историях (одна из которых называется археологией), несмотря на всю его несостоятельность, теоретически очень важен, потому что впоследствии он был подхвачен многими русскими и советскими археологами (Аникович 1989; 1995) ради того, чтобы поднять престиж того, чем они занимаются, и лег в основу официальных представлений советской школы — ср. девиз Арциховского: археология есть история, вооруженная лопатой. Этот девиз воплощает тот принцип, который обусловил порочность советского определения археологии как параллельной истории и принес значительный ущерб практике советской археологии (см. Клейн 1977; 1986; 1991 и др.).

У самого Забелина всё же проскальзывали мысли о последовательном (а не параллельном) соединении археологии с историей при разделении труда между ними. Так, он писал в «Размышлениях»:

> «Как скоро в своих исследованиях частностей, единичного, археология восходит до выяснения цельных типов, до определения единых общих условий человеческой жизни, до раскрытия общей силы человеческой природы (!), — результаты ее тотчас же целиком поступают в собственность истории, и здесь-то ее исследование течет уже одним общим руслом с историею. Ее задача оканчивается, и начинается задача истории...» (Забелин 1860: 60).

Ардашев со всей почтительностью к покойному авторитету ловит его на противоречиях. В частности, выуживая у Забелина высказывания о важности для археологии понятия «памятник», он подмечает, что

> «предмет археологии как памятники былой жизни человека, его разнообразного творчества, совершенно оказывается отличен от предмета истории как самой жизни, творчества жизни. Тот и другой находятся в двух совершенно различных плоскостях понятий. Различие это в своем существе сводится к тому, что археология, наряду с историей как бытописанием, некоторым *жизневедением*, является историческим *источниковедением*».

Здесь не хватает только отделения вещественных памятников для полного уяснения специфики археологии.

Таким образом, мы видим, что Забелин стремился использовать термин «археология» для обозначения своих излюбленных занятий, а до подлинной археологии, как она складывалась в системе наук, ему не было дела. Между тем, ввиду его влиятельности и заманчивости начертанных им перспектив, его трактовка обрела жизнь в российской археологии.

6. Ученый в эпоху реформ. Этот же период его полевой и теоретической археологии, 1860-е гг. и первая половина 70-х, совпадает с периодом российских реформ.

Отмена крепостного права, либерализация всей государственной системы (реформы судебная, земская, военная, образовательная), формирование шестидесятников — вот содержание этого периода. Забелин был в это время в лагере либералов. Еще в 1858 г. он подписал протест против одной антисемитской газетенки, поставив свою фамилию следом за Кавелиным, Тургеневым и Чернышевским. Разумеется, в 1861 г. он был воодушевлен манифестом об отмене крепостного права даже за выкуп. В дневнике запись: «Только встав, горничная принесла давно ожидаемую волю, т. е. манифест, утверждающий свободу крепостных. От души порадовался и умилился было до слез». Но когда прекраснодушные друзья-либералы захотели сложиться по 60 рублей и выкупить несколько крепостных, чтобы воля для них была окончательной, Иван Егорович воспротивился: «Я — не барин-мот и не купец-кутила, в каждом моем рубле есть моя собственная кровь, каждый рубль — мой палец. Бросать рубли я не в силах...» (Забелин 2001: 47, 49).

Но студенческие манифестации, возмущавшие Строганова, одобрял и оправдывал. Испытывал «демократическую злобу» при разговорах бар (запись в дневнике от 12 января 1865 г.). Высказывался за равноправие женщин. Помечал в дневнике и мысли о тщетности и глупости полицейских режимов:

> «Крутая, тупая, бессмысленная власть всегда воспитывает элемент протестаций, который в том или ином виде явится мстителем ей. Например, Иван Грозный и братия воспитали Смутное время и Самозванщину, Николай — нигилизм и нигилистов всех сортов» (Забелин 2001: 282).

В дневнике есть немало атеистических записей (Забелин 2001: 191–192, 197–198, 235). Вот запись от 19 апреля 1865 г.:

> «Говорил с Александром Владимировичем (Станкевичем. — Л. К.) о религиозном чувстве, которое является у очень умных людей в форме поклонения даже всякой обрядности. Я говорю,

что, например, у Киреевского Ивана, как и у всякого, это указывает на слабость мозговых стропил, слабость ума. Крепкий ум не перейдет к этому, а слабый в эти минуты и начинает особенно слабеть, как скоро переходит к этому.

Однако ж, говорит Станкевич, идея о Боге существует и всегда будет существовать. Знание отказалось решать разные вопросы. Оно и решается присутствием этой религиозной потребности в человеке, без которой никогда быть нельзя.

Я: да что это такое, эта потребность иметь во что бы то ни стало Бога? Это есть не что иное, как потребность поэзии, потребность найти в мире единство... Потом, идея о Боге, где существует, вне или внутри человека? Вне она не существует, это создание человека, образ его сознания, более или менее поэтический образ, художественный» (Забелин 2001: 80).

Пожалуй, его симпатии в это время были скорее на стороне западников (Грановского, Кавелина), чем на стороне славянофилов (спорил с Погодиным, Шевыревым, Аксаковым). Возражая К. С. Аксакову, который возмущался Забелинской картиной древнерусского быта, слишком грубого на его вкус, Забелин писал («Отечественные Записки», 1856, март, статья «Характер начального образования в допетровское время»):

«Мы не думаем, чтобы нужно было подрумянивать и приукрашать старину поддельными цветами. Такие усилия будут решительно бесплодными, ибо истина, рано ли, поздно ли, возьмет верх». Он предлагал изучать старину, «невзирая ни на какие уклонения старой действительности от наших собственных идеалов».

Возражая Погодину, Забелин иронизировал над славянофильским умилением древнерусскими патриархальными добродетелями.

«Начиная с умилительной преданности и верности старинных слуг и оканчивая не менее умилительной покорностью старинных жен <...>, — мы всем умиляемся, сквозь слезы такого умиления нам умилителен и трогателен показался даже и самый правеж... Особенно нас привлекает это широкое гостеприимство и хлебосольство, — это широкое кормление, которое, разумеется, без помощи чужих рук, чужих потовых трудов не могло быть и так широко, и так идиллически патриархально, и которое, следовательно, кого-нибудь да оставляло же голодным».

Славянофилы идеализировали отечественную старину, слова «община», «земский собор» ласкали их ухо. Забелин в статье «Современные взгляды и направления в русской истории» (СПб Ведомости,

1963, №№ 35, 36, 38) считал их показателями застоя. «Худо теперь, — заявлял он, — но мы убеждены, что, когда эти слова имели действующий жизненный смысл, было еще хуже. Зачем же обманывать себя и разрисовывать нашу почтенную древность вовсе несвойственными ей красками, освещать ее ложным смыслом?» Он сознательно отстаивал западные ценности. «Всякое гражданское или народное устройство <...> можно оценить по достоинству только в таком случае, если узнаем, каково жить среди этого устройства отдельному лицу, малому и большому, а особенно маленькому».

Еще радикальнее высказывался Забелин в это время о расправах правительства с возмущенными половинчатой реформой крестьянами. В селе Бездне Казанской губернии восстание было подавлено, много крестьян убито. Казанские студенты вышли на манифестацию. В кругу Станкевича разгорелся спор — за и против манифестации. Забелин в дневнике (2001: 51):

> «Я говорю, что если допускать манифестации, то допускать все, всякого рода, а то будет непоследовательно. Матвей Иванович Муравьев, декабрист, согласен со мной, и мы пожали друг другу руки. Всё-таки 70 человек убито, за что, про что, разве это не возмутительно? Каждое сердце содрогнется. Говорят, такая манифестация поведет к худшему. Да что же можно ожидать от тупого правительства. В пользу его манифестации — дозволяется, против его глупых действий — не дозволяется. Что это такое, с ума сойдешь!»

Звучит очень современно.

Однако реакция крестьянства на непоследовательность реформ (восстание в Бездне и др.), а затем и оппозиция демократической интеллигенции, приведшие к драматическим событиям (гражданская казнь Чернышевского в 1864 г., покушение Каракозова на Александра II в 1866 г., хождение в народ), испугали либералов. Польское восстание 1863 г. тоже отшатнуло многих в сторону национального единения с властью.

А Забелин изначально был не очень прочно связан с либеральным лагерем. Пожалуй, его привлекали в этом лагере идеализм и некоторые эмоциональные движения души в связи с какими-то общественными катаклизмами, симпатии отдельному маленькому человеку. Прочные же идейные принципы, заложенные общением с Погодиным смолоду (да и Кавелину не столь уж чуждые), толкали его в сторону более умеренной идеологии, и это утверждалось тем прочнее, чем выше он поднимался в табели о рангах, а это он чрезвычайно ценил. Всегда

тщательно отмечал в дневнике знаки внимания от великих князей, свое место за столом на приемах (по какую руку от вельможного хозяина или хозяйки, на каком конце стола, между кем и кем — скажем: между графом Орловым-Давыдовым и княгиней Трубецкой). Он плотно вписался в иерархию.

Забелин был несомненным и принципиальным сторонником единства самодержавия и народности в России. Продолжая теорию Кавелина о родовом быте в дохристианской Руси, Забелин представлял этот быт как суровый и патриархальный. По его глубоким внутренним убеждениям, русскому народу свойственна эта патриархальность, а она является основой самодержавия. Народ против бояр и дворян, но тянется к царю, как своему идеальному воплощению. Исконный образ мышления русского народа и монархический строй неразрывно связаны. Коллегиальность, парламентаризм чужды русскому человеку. Посягательство на основы самодержавия опасно для самого существования русского народа.

В начале 1860-х гг. Забелин перестал печататься в радикальных «Библиографических записках» и «Отечественных записках» и перешел в более умеренные журналы «Вестник Европы» и «Русский архив».

7. Историк по призванию. Все те годы, что Забелин ездил в экспедиции и охотился за сокровищами, он всё свободное время уделял, пусть и урывками, любимой работе над своими статьями и книгами по истории русского народного быта. В этом он чувствовал свое истинное призвание. Можно сказать, что в это время он в своих произведениях перешел с позиций преимущественно источниковеда, вводящего в науку всё новые и новые интереснейшие исторические документы, на позиции историка, дающего им истолкование и вписывающего их в историческую картину, на позиции синтезатора, восстанавливающего историческую жизнь во всей полноте.

В 1862 г. вышла первая часть той книги, которую хотел издать Тургенев, а издал Солдатенков — «Домашнего быта русских царей». Книга рассматривалась как первый том «Домашнего быта русского народа». В предисловии автор поясняет, что «домашний быт человека есть та среда, в которой лежат зародыши и зачатки всех так называемых великих событий его истории». Преобразования могут быть успешны, только если учитывают особенности бытового уклада. Они очень живучи. «Часто наши мысли, поступки и действия, и внизу, и вверху, обличают в нас людей XVI и XVII столетий». Справедливость этих мыслей Забелина ясна сейчас, когда чиновники-правители областей

рассматривают свои посты как «кормления», а то и как вотчины, передаваемые по наследству сыновьям, а взятка остается основным средством улаживания дел от канцелярии до суда. Забелин считал, что царский быт отличался от народного только количественными показателями, а по сути был тем же.

Монография переиздавалась до революции четырежды и была удостоена двух премий — Большой серебряной медали от Археологического общества и Демидовской премии Академии наук.

Второй том назывался «Домашний быт русских цариц» и вышел в 1869 г. В книге отвергалась славянофильская идея Аксакова, что в России господствовала семья, а не патриархальный род, и что женщине жилось свободно и легко. Забелин показал на фактах, что быт женщин был полон унижений и притеснений, а положение женщин царского ранга было еще стесненнее, чем рядовых.

Книга была издана до революции дважды и тоже получила две премии — половину Уваровской премии от Академии наук и золотую медаль от Археологического общества. Уваровская премия была урезана из-за отрицательного отзыва проф. И. Д. Беляева, славянофила, который нашел книгу вредной, так как она утверждала, что с принятием христианства положение женщины ухудшилось.

Таким образом, за время серии археологических раскопок Забелина вышли его главные книги.

В 1871 г. Киевский университет присудил И. Е. Забелину степень доктора без защиты диссертации. Забелин был обижен на Московский университет, который этого не сделал.

В 1872–1873 гг. Солдатенков выпустил в двух томах избранные статьи Забелина 1846–1867 гг. «Опыт изучения русских древностей и истории» (вошло 30 статей).

Любопытна полемика Забелина с обоими знаменитыми диспутантами 1865 г. по норманнскому вопросу — Погодиным и Костомаровым. Диспут между ними состоялся в Петербурге и взбудоражил всю мыслящую Россию. Забелин тогда в этом споре не участвовал.

С Погодиным он схватился раньше, в 1858 г., по вопросу о методологии истории. Погодин был завзятый позитивист. Он считал, что достаточно сделать полные и бесстрастные обобщения фактов (выписок из летописей, договоров, жалованных грамот, купчих, писем) — и из них сами собой вылезут строго объективные выводы. Такое простое суммирование фактов он называл «математическим методом в истории». Забелин в статье «Математический метод в истории» выступил с резкой критикой этого убеждения. Он показывал,

что это самообман, что у исследователя всегда есть предварительные идеи, что без них и факты непонятны и не имеют смысла, что факты нужно осмыслить, связать воедино, объяснить. Это особенно важно для истории, где факты доходят до нас по крохам, расчлененные и разрозненные. Забелин исходил не из позитивизма, а скорее из романтической методологии истории — из учения о «развивающемся народном духе» Канта, Гегеля и Гердера, из гегельянской мысли о том, что «Идея руководит историей» (см. Формозов 1984: 66). К ссоре с Погодиным, однако, эта полемика не привела.

М. П. Погодин

Против Костомарова Забелин выступил в конце 1860-х гг. Костомаров был, можно сказать, его петербургским конкурентом: тоже придерживался идей Шеллинга о «народном духе», тоже предпочитал писать не об истории героев и событий, а об истории быта, истории культуры, но был более мятежным и опальным. Издав в 1868 г. трехтомник «Смутное время в Московском государстве», он решил приступить к циклу книг «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» (она увидит свет в 1872 г.). Как переход к этому циклу он написал в 1871 г. небольшую статью о личностях Смутного времени (Минине, Пожарском, Скопине-Шуйском и Иване Сусанине). Он постарался убрать эти фигуры с пьедесталов и развеять нимбы святости вокруг их голов. Забелин в ответ написал огромную статью «Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время», в которой опроверг незначительность обеих фигур, как и источники, на которые опирался Костомаров. Статья переиздана книгой в 1883 и 1886 гг.

Норманнский вопрос он пока не затрагивал.

8. Хозяин Музея. Следующий период жизни Ивана Егоровича растянулся на последнюю треть или четверть XIX века и начало XX. Этот период опять придется проследить дважды — по каждому аспекту деятельности Забелина отдельно. Прежде всего, рассмотрим его административную деятельность.

Уйдя с поста государственного чиновника крупного ранга (в 1873 г. фактически, а в 1876 — и формально), Забелин, несмотря на почтенный возраст (за 50), был на деле вполне здоров и силен и, что главное, обладал огромным авторитетом и аурой. Новые ответственные должности не могли его миновать. Но в каком кругу?

У Г. С. Лебедева Забелин выглядит союзником и соратником графа Алексея Уварова. По книге Формозова можно видеть, что это было далеко не так.

В начале 1872 г. в Москве закрылась политехническая выставка, и ее севастопольский отдел (с панорамой Крымской войны) решено было положить в основу национального исторического музея. Во главе стоял генерал-адъютант А. А. Зеленой, а в директорский совет пригласили А. С. Уварова (инициатора проекта), Д. И. Иловайского и И. Е. Забелина. Забелин от сей чести отказался: его не устраивал состав совета. Иловайского он презирал, а Уваров был вельможей и активным главой Московского археологического общества — Забелину пришлось бы быть при нем подручным. К тому же Уваров был давним врагом забелинского покровителя Строганова. Уваров, видимо, понял тайные причины отказа и был согласен вообще самоустраниться, чтобы Забелин был единственным директором, но тот упрямо отказывался. Отказался он и составить программу развития музея. Зеленой приглашал его войти в ученую комиссию при музее, дабы заниматься только ученым трудом на средства музея, — и на это Забелин не пошел.

Вообще он был противником всего, что делалось относительно музея. Когда в 1874 г. объявили результаты конкурса на проект здания музея на Красной площади, Забелин решительно высказался против победившего проекта инженера А. А. Семенова и архитектора В. О. Шервуда. А когда в 1875 г. состоялась закладка фундамента, Забелин настолько загорелся гневом, что подал записку с мотивировкой своих возражений. Шервуд хотел построить здание, которое было бы в стилистическом единстве с Кремлем — в стиле XVI века. Для этого были предусмотрены башни и башенки, перекрытие запланировано не единым, а попалатным. Забелин считал, что это не русский стиль, а западный готический, т. е. католический, и выдвигал взамен как образец собор Василия Блаженного, восходящий, по его мнению, к деревянному зодчеству. Свой доклад 1871 г. «Черты самобытности в древнерусском зодчестве» Забелин издал статьей в 1878 г. (Забелин 1878б) и книгой в 1900 г. (Забелин 1900). Комиссия пошла на некоторые уступки, но всё же в основу был положен проект

Здание Исторического музея на Красной площади в Москве

Шервуда. А что касается того, что музей похож на готический собор, так ведь и Кремль строен итальянцами!

Строительство шло долго (десять лет), а пока Забелину сделали еще одно предложение. В 1879 г. умер С. М. Соловьев, возглавлявший пять лет Общество истории и древностей при Московском университете, а следом за ним в 1882 г. умер и граф Строганов, прежний многолетний председатель. На пост преседателя Общества избрали Забелина. Он согласился — состоял в обществе уже более тридцати лет, много печатался в его трудах. К юбилею Общества в 1884 г. Забелин получил звание почетного доктора Московского университета (наконец-то!). А вскоре был избран в Академию наук, правда, не полным академиком, а членом-корреспондентом.

В 1883 г. строительство Музея было почти завершено и открыты первые 11 залов. А в декабре 1884 г. умер граф Уваров, товарищ председателя правления Музея, т. е. фактически директор (номинально председателем был великий князь Сергей Александрович). В 1885 г. Забелину было предложено занять освободившийся пост, и он тотчас согласился. Теперь ему принадлежала первая роль — фактического

хозяина Музея. Поздравляя его, генерал-губернатор Москвы Долгоруков назвал его «Ваше Превосходительство». Забелин переселился из своей большой картиры в здание музея и обосновался в нем до конца жизни.

А вскоре рассорился с коллегами в Обществе истории и древностей и в 1888 г. сложил с себя полномочия председателя Общества, остался только распорядителем Музея.

Августейший председатель правления Сергей Александрович, высокий и статный, брат Александра III и дядя нового царя Николая II, не пользовался любовью в семье Романовых — фанфарон, гомосексуал и неумный политик. Он стал также генерал-губернатором Москвы и в 1905 г. был убит бомбой эсера И. П. Каляева. «Ужас. Онемели руки и ноги», — записал в дневник Иван Егорович (Забелин 2001: 214). Председателем стал брат Николая II великий князь Михаил Александрович, будущий царь на один день. Оба царственных председателя мало вмешивались в конкретные дела Музея и служили Забелину ходатаями перед двором в добывании очередных ассигнований и льгот.

Сотрудники Музея получили право вести археологические раскопки; Музей был переподчинен Министерству просвещения, увеличен штат и бюджет. С начала 1901 г. Забелин стал тайным советником (чин III класса, равный генерал-лейтенанту). За правление Забелина чрезвычайно вырос фонд Музея — с 15 тысяч единиц хранения до сотен тысяч. Открыто было еще пять залов, и показ истории доведен до XVI века.

И. Е. Забелин в своем кабинете (портрет И. Е. Репина, 1877 г.)

Наладились отношения и с уваровской группировкой: князь Н. С. Щербатов — брат графини Уваровой — много способствовал согласию Забелина стать директором, а Забелин взял его в Музей чиновником по особым поручениям. Основной состав работников был также связан

с Московским археологическим обществом: В. И. Сизов, В. А. Городцов, А. В. Орешников и др.

Материалами Музея и консультациями Забелина часто пользовались художники и писатели. Двое из художников написали портреты Забелина — В. А. Серов и И. Е. Репин. Неоднократно приходил Лев Толстой. Позже Максиму Горькому он характеризовал Забелина: «Очень милый. Подъячий такой. Старьевщик-любитель, собирает всё, что нужно и не нужно. Еду описывает, точно сам никогда не ел досыта» (Горький 1951: 257). Графу-писателю не приходило в голову, что хозяин главного Московского музея профессор Забелин в прошлом действительно годами не ел досыта.

9. Происхождение Руси, антинорманизм и Москва. Теперь надлежит рассмотреть забелинские работы — научное творчество этого времени.

Он решил прервать работу над домашним бытом русского народа и погрузиться в исследование его корней. С 1871 г. он начал работу над пространным введением в свой труд о домашнем быте — речь шла об истоках русской культуры. Труд под названием «История русской жизни» вышел в двух томах в 1876–1879 гг.

Скажем прямо, к этому труду он был еще менее подготовлен, чем к археологическим раскопкам. Тут нужно было обладать методикой интерпретации археологических материалов — ее у Забелина не было совершенно, не было и опыта в этом деле (ведь в свое время интерпретацию за него делал Стефани). Между тем высокие академические награды самоучке и восхваления его археологических открытий внушили ему, что ему всё по силам. Далее предстояло определить, какие из материалов могут быть привлечены к обсуждению русских корней, а это означало заняться топо- и этнонимикой, войти в лингвистику. О лингвистике Забелин не имел ни малейшего представления, языков не знал вовсе. К любым древним именам и вообще древним словам он мог применить только один метод: раскрывать их значения по догадке из русских корней (поскольку только русский он и знал), а это путь дилетантский и ведет к фантастическим построениям.

У всех народов, обитавших в Северном Причерноморье до летописных племен: скифов, сарматов, аланов, гуннов, не говоря уж о меланхленах (вспомним псевдоним), — отыскивались признаки их принадлежности к славянам. Все суть славяне — на тысячелетие-два глубже достоверно славянских памятников. Приведенное Геродотом название священной степной области скифов «Герры» он переводил

как «горы». Вождя гуннов «Атиллу» расшифровывал со славянского «тятя». Скандинавское имя «Гакон» и титул хазарского царя «каган» он производил от русского «огонь». Имя «Игорь» для него звучит не по-норманнски, а по-славянски и означает «горюн», и т. д. Чтобы не опускать Забелина уж слишком низко, вспомним, что век спустя образованный академик Рыбаков делал то же самое. А Рюрик с дружиной были для Забелина не норманнами, не скандинавами, а прибалтийскими славянами. Опять же вспомним, что и это век спустя повторяет директор Института истории член-корреспондент Академии наук А. Н. Сахаров. Для своего времени Забелин тоже был не одинок — тут он присоединился к антинорманистским историкам С. А. Гедеонову и Д. И. Иловайскому, которого сам же именовал в дневнике «мыльный пузырь, взмыленный рекламою приятелей, <...> не более как ловкий компилятор» (Забелин 2001: 149).

Удачные соображения терялись в массе безудержных гаданий. На сей раз десяток рецензий был сугубо критическим. Даже Костомаров, антинорманист (впрочем, не забывший старых уколов), охарактеризовал новые труды Забелина как «блуждание в темной непроходимой чаще <...>, тем более бесплодное, что автор ведет своего читателя в эту тьму не с ярким светом положительной исторической критики, а с какими-то тускло мерцающими блуждающими огоньками догадок и предположений». Даже Чичерин, старый друг, записал в своих «Воспоминаниях»:

> «Забелин несколько свихнулся. <...> Забелин уединился и потерял прежнее умственное равновесие. Идеальный элемент ослабел, и предмет постоянных занятий получил неподобающий перевес. В нем разыгрался узкий патриотизм, не сдержанный просвещением, и он заразился взглядами, приближающимися к славянофильству. Он стал изгонять ненавистных немцев из древней русской истории, увлекся поверхностною ученостью Гедеонова и в доказательство славянского происхождения тех или других названий стал приводить такие словопроизводства, которые приводили в ужас истинных филологов» (Чичерин 1991: 134).

Их своей ссылки Чернышевский, некогда восхищавшийся трудами Забелина, в письме А. Н. Пыпину огорченно отрезал:

> «Эта книга — сплошная ахинея, и, кроме нестерпимой белиберды, нет в ней ничего. Жаль, что человек почтенный взялся за дело, к которому неподготовлен. Он в этом деле оказался невеждою и сумасбродным галлюцинатором. Уважая его за

> прежние дельные труды по мелочным, но не совершенно ничтожным частичкам бытовой истории времени Михаила и Алексея, мы просим его, чтоб он не бесславил себя продолжением этой вздорной и не совсем честной чепухи... Забелин — честный и умный человек и основательный ученый, только взявшийся в этом случае за дело, превышающее силу его ума и размер его учености» (Чернышевский 1883/1950: 432).

Книга была выдвинута на премию, но даже второй награды ей не смогли присудить. Забелин не понимал своего провала, не видел ошибочности своих суждений, относил критику за счет злопыхательства, зависти, глупости критиков. Впоследствии он завещал своим друзьям переиздать книгу после смерти, что и было сделано.

Показателем того, в какую сторону ушли его представления о русских национальных началах, может служить его трактовка Ивана Грозного. Пока он в борьбе с Костомаровым отстаивал величие Минина и Пожарского, с ним были готовы согласиться многие интеллигенты любого лагеря, но, когда он перешел к воспеванию Ивана Грозного, он оказался в объятиях крайних государственников-монархистов. В 1893 г. он записывает в дневник свои мысли о времени,

> «когда развилось русское сознание, т. е. сознание целостности и единства Русской земли, сильнейшим выразителем которого явился Грозный Царь Иван... Он выводил измену кровавыми делами. Да как же иначе было делать это дело. Надо было задушить Лютого Змия, нашу славянскую рознь, надо было истребить ее без всякой пощады. И вот — разгром свирепый неповинного Новгорода, которого кровь падала на его изменников, как был убежден Грозный царь, не почитавший себя виновным в этом кровопролитии, беспощадном и безумном для современников, но не для истории». И вопрошает о «дикой форме <...> идеи самодержавия»: «Есть ли ей оправдание? Конечно, в истории» (Забелин 2001: 175).

Оправдывая Ивана Грозного перед историей, он оправдывал самодержавие вообще, вплоть до его дичайших фо̄рм, оправдывал реки крови ради великодержавности, ради величия и цельности славянской государственности в ее широчайших границах. От этой традиции прямая дорожка к оправданию сталинского деспотизма и его неудержимой экспансии.

Попытки продолжать «Домашний быт» натолкнулись на неожиданное препятствие: ведающий архивами Кремля Г. В. Есипов перестал пускать Забелина к рукописям — захотел сам их издавать.

Только к 1880 г. удалось добиться допуска к архивам, но к этому времени Забелин стал работать над заказной историей Москвы. Заказ пришел от Московской городской думы. Предложение прозвучало в Думе в 1877 г., в 1879 г. запросили Забелина, он согласился приступить к сбору материалов, в 1880 г. выделили финансы. К 1884 г. был готов том «Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы». Несмотря на недовольство Думы, издали его, но он плохо продавался: не был рассчитан на широкую публику. Второй такой том издали в 1891 г. Только в 1902 г. вышла первая часть «Истории города Москвы», популярная, но и она плохо продавалась, пришлось снизить цену. Это была, собственно, не история города, а только историческое описание Кремля. Такое же описание Китай-города, Белого и Земляного городов должно было стать второй частью, а задумана была и третья. Но вторая часть делалась туго, получилась небольшой. Издана была уже посмертно.

Неожиданно Забелин вообще перестал работать над историей Москвы. Видимо, переживая неуспех этой книги, он вернулся в 1901–1903 гг. к продолжению «Домашнего быта царей», ведь в 1862 г. вышла только первая часть тома. Довершить не успел. Вторая часть вышла после его смерти, в 1915 г. По суждению Формозова, она слабее первой. Силы у старика были уже не те. Вспомним, что у него были и другие обязанности.

10. Увядание и уход. В XX век Иван Егорович вошел в гордом одиночестве. Он выходил из своего кабинета к посетителям Музея, беседовал, но жизнь всё больше замыкалась для него в стенах Музея. Все, с кем он сотрудничал и спорил: Снегирев, Строев, Грановский, Погодин, Строганов, Уваров, Костомаров, Соловьев — давно умерли. В конце века он еще заходил по старой памяти в дом Станкевича и ужасался: те из друзей, кто остался в живых, дышат тяжело, задыхаются. Посетил Чичерина — записывает: «Он в параличе... Говорил со мной, но очень невнятно. Грустно, грустно» (Забелин 2001: 211). Потом и их не стало. Лев Толстой, другой долгожитель, в один из визитов сказал: «Давно не видались, и оба поседели» (Забелин 2001: 193). На вопрос о здоровье Забелин ответил: «Лестница с каждым днем становится всё круче и выше» (Формозов 1984: 185). Это был уже ветхий старик с белой бородой, опирающийся на палку. Дела его, в том числе подготовку книг к печати, вела дочь Мария Ивановна.

Между тем угасание не физиологическое, а умственное началось значительно раньше — со времени «Истории русской жизни», с 70-х гг.

Об этом свидетельствует провал этого труда и сравнительная слабость последующих томов «Истории домашнего быта» и «Истории Москвы».

Теперь Забелин был не только славен, но и богат. Владел землями в Симбирской губернии. Революцию 1905 г. и манифест о либерализации Иван Егорович встретил неприязненно и со страхом. Судьбу самодержавия он ведь не отделял от судьбы страны и народа. Считал, что «Россия на смертном одре». Подозревал всемирный еврейский заговор. «Не надо обладать собачьим чутьем, чтобы достоверно узнать, почувствовать, увидеть, что весь этот всемирный гвалт воспроизведен и всемирно воспроизводится жидовским всемирным кагалом, всемирным жидовским заговором против России, в котором с усердием участвуют и русские пошляки всякого рода» (Забелин 2001: 214). Винил во всем либеральную интеллигенцию. Записывал: «Самое глупое, бездарное политическое существо в России — это российская интеллигенция... Это действительно сила, но безумная, порабощенная жидовством». Пылал ненавистью к адвокатам: «Самое вредное животное в России — это адвокатура» (Забелин 2001: 217–218).

Обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев был с давних лет его закадычным другом. Ходили друг к другу в гости, целовались при встрече, обсуждали все новости.

После Кровавого воскресенья Забелин укоряет самодержавие за то, что проявило слабость, «устранив от себя должные репрессии»! Переписал себе в дневник полностью верноподданническое обращение московского дворянства к государю с мольбой продолжать русско-японскую войну до победы и расправиться со смутой. Приписал: «Вполне согласен. Изложено прекрасно» (Забелин 2001: 215–217).

Понимал, что начинается новая, нелегкая эпоха, в которой ему уже не доведется жить.

В 1905 г. написал завещание. Научным учреждениям выделил 170 тысяч рублей, 100 тысяч — Музею (70 — на приобретение новых коллекций и 30 — на издание забелинских книг). Таким образом, писал Забелин, он возвращает Музею свое жалованье за все годы службы. Академии наук 30 тысяч на переводы античных и средневековых авторов, писавших о России. Чтобы тем, кто не знает иностранных языков, было легче заниматься историей. Библиотеку и коллекции — Историческому музею. Пожелал, чтобы был издан двухтомник: «И. Е. Забелин в письмах к нему от разных лиц» (недооценки своей личности у него не было).

В декабре 1908 г. 88-летний глава Исторического музея заболел воспалением легких и 31 декабря, под Новый год, скончался.

И. Е. Забелин в 1892 г.
Портрет В. Серова

Провожали его торжественно и многолюдно, было много некрологов. Писали об огромном вкладе в науку великого ученого. Через десять лет новая революция смела самодержавие и изменила оценки: Забелин, ближайший помощник великих князей и графов, друг Победоносцева, стал рассматриваться как царистский ретроград и реакционер, его раскопки — как образец кладоискательства, а его антинорманистские штудии — как проявление имперского шовинизма. С возрождением патриотической риторики (в послевоенные годы) Арциховский восстановил реноме Забелина, объявив его методы раскопок «более чем передовыми» для своего времени, а другие советские археологи и историки подняли на щит его бездоказательные антинорманистские конструкции как восстановление исторической правды.

В постсоветской археологии Формозов и Лебедев постарались найти объективный подход к наследию Забелина, отыскав баланс между его достоинствами и недостатками. Но при этом склонялись всё же к оправданию его просчетов и ошибок тогдашним уровнем науки. Формозов (1984: 114) писал о том, что методы раскопок Забелина были на среднем уровне, а Лебедев (1992: 183–184) объяснял скандальный провал забелинской книги о происхождении русского народа просчетами хронологии. Хронология была, мол, еще в русской археологии неразвита, систематизация материала не разработана, вот Забелин и сместил разновременные племена в одну эпоху и сбил с толку художника В. М. Васнецова, у которого в итоге на картине 1881 г. славяне сражаются со скифами!

Нет, дело здесь не в хронологии. Хронология и в эпоху Забелина была вполне достаточна, чтобы избежать таких анахронизмов: Чертомлык датировали вполне точно IV веком до н. э., а Киевская Русь безошибочно относилась к IX–XIII векам н. э. Разница почти в полторы тысячи лет. А вот где жили славяне в скифское время, не установлено и сейчас. С другой стороны, уточнение хронологии за век со времени исследований Забелина не мешало советским академикам

Грекову и Рыбакову объявлять трипольскую культуру славянской, а современные ревнители славянского приоритета Чудинов и Петухов углубляют славянскую речь и даже письменность в палеолит. С такой методикой они могли бы заставить русских побеждать в рукопашном бою неандертальскую орду (только вот современного Васнецова не нашлось).

Грубые ошибки Забелина коренятся в отсутствии у него элементарных знаний по лингвистике, в непродуманности методики идентификации языков и этнонимов разных эпох, в заглушении и подавлении критики источников ультрапатриотическим дурманом. В конечном счете причины бедствия лежат в том, что Забелин был самоучкой и не прошел хорошей исследовательской школы. Его здравого смысла и опыта, умноженного на трудолюбие, хватило на источниковедческую работу и самые непосредственные исторические выводы, но, как только он взялся за более широкие проблемы, успех его первых результатов сыграл с ним дурную шутку. Он утратил критичность и самокритичность и впал в самый примитивный дилетантизм.

Формозов (2004: 24) так поясняет свою новоявленную антипатию к Забелину:

> «Черты чиновничества очень сильны и у Забелина... Да, Забелин любил свое дело, за годы упорного труда приобрел огромный опыт, вклад, внесенный им в русскую культуру, значителен, но идеология николаевской эпохи оказала на него заметное влияние. Его обличения дворян вовсе не свидетельствуют о демократизме, а лишь повторяют типичную для николаевского времени демагогию о единении царя с народом и чуждости русским началам оппозиционного дворянства. Раболепие сочеталось у Забелина с крайним национализмом».

Что ж, Формозова можно понять. Но хотя мне Забелин более чужд как исследователь, чем Формозову, и я не столь высоко оцениваю его археологические дела, как человек мне Забелин, признаться, скорее импонирует. Я люблю сильных и работящих людей. Раболепия у него я что-то не заметил, держал он себя всегда с достоинством. Скорее налицо неуемный карьеризм. Да, был тщеславен и обидчив, но это естественно для людей, самостоятельно выбившихся из самых низов, и обычно для многих стариков.

На исходе молодости (1855 г.) писал: «Удивительное дело эти патриотические статьи в журналах. Пишущие их восхищаются квасом, дегтем, вонью и разными, в сущности, дикими вещами, которые

являют русского человека, истинные достоинства народа непонятны, неведомы этим глашатаям, народ живет сам по себе и не читает этих похвал непрошеных». Именовал это «квасным патриотизмом» (Забелин 2001: 229). И вот к старости сам стал квасным патриотом!

Национализм Забелина был, как водится, оглупляющим, но разыгрался в старости — как обычно, на основе тайного комплекса неполноценности. И засилье немцев-конкурентов в науке его гневало (а не замечал, что династия, перед которой он благоговел, была по сути немецкой), и жиды ему досаждали (речистые, освоили русский язык и чувствовали себя, негодники, как дома, в русской прессе и политике, не говоря уж об адвокатуре, тогда как Забелин не мог ни одного чужого языка освоить — даже когда уже имел средства, чтобы нанять учителей).

Но при всем национализме он с горечью отмечал слабости и недостатки русского населения. Безалаберность, неряшливость, грязь, лень; отсутствие уважения к закону и кумовство (Забелин 2001: 218, 238). «Немец великий человек перед нами, беря вообще» (Забелин 2001: 273) — и поясняет его преимущества. Негодует против засилья немцев в государственной службе и тут же: «Конечно, обрусевшие немцы исполнены бывают русским чувством больше, чем русский по происхождению» (Забелин 2001: 176).

Так что противоречив был этот народный самородок. А те суровые обстоятельства, которыми судьба и эпоха его обставили, оставляли на нем, конечно, свои следы, но он с этими обстоятельствами долго справлялся и не без успеха их преодолевал. Правда, со временем они проявлялись всё реже, всё чаще выступал вельможа и союзник вельмож.

Жаль, что во второй половине жизни, став маститым, сплоховал. По-видимому, со славой и богатством справиться труднее, чем с нищетой.

Курганы как искушение

Н. И. Веселовский

Имущий злато ввек робеет,
Боится ближних и всего;
Но тот, кто злата не имеет,
Еще несчастнее того.

Во злате ищем мы спокойства;
Имев его, страдаем ввек;
Коль чудного на свете свойства,
Коль странных мыслей человек!

М. Херасков. Злато. 1769.

Это тепло — ожидание холода.
Золото, золото, золото, золото...

Н. Глинкин. Золото.

1. Востоковед из рода полиглотов. Упоминание фамилии Веселовского вызывает двоякую реакцию. Широкая публика, обыватели, если и слышали что-то о нем, то вспоминают, что это самый удачливый из русских археологов — чуть ли не половина Золотой кладовой Эрмитажа поступила из его курганных раскопок. Если спросите студентов-археологов, то увидите скептическую мину: ну, это не настоящий археолог, вошел в историю своими записями: «Встречены окрашенные костяки, поэтому раскопки пришлось свернуть». А дело в том, что в степных курганах костяки, покрытые охрой, — признак бронзового века, когда золото в могилы не клали. Ему нужны были царские могилы скифов...

И всё это в общем правда. Но правда не только это. Иначе бы не стоило вносить Веселовского в число самых заметных археологов России.

Веселовские — известный дворянский род, но не столбовых дворян, а ведущий свое происхождение с петровского времени.

Родоначальник Яков — крещеный еврей из польского местечка Веселово. Сын его Павел женился тоже на крещеной еврейке, породнившись с вице-канцлером Шафировым, и курировал немецкие школы в Москве, а внуки Авраам, Исаак и Федор стали дипломатами Петра. Все они были полиглотами. Старший из них проштрафился перед Петром (не сумел или не захотел уговорить царевича Алексея вернуться в Россию) и стал невозвращенцем, жил в Ферне, где подружился с Вольтером, был прощен Екатериной II и получал большую пенсию от России. Но вернуться опять же не захотел, мотивируя это бесправием и раболепием российских подданных. Его братья остались в России и, несмотря на первоначальную опалу, позже вновь возвысились, занимая высокие должности при дворе и в дипломатии.

Потомками этих Веселовских и являются все выдающиеся представители этого рода в XIX и XX веках. Все они гуманитарии, профессора или академики, у всех способности к языкам и яркие таланты. Это академик А. Н. Веселовский (1838–1906) — основоположник исторической поэтики; академик С. Б. Веселовский (1876–1952) — экономист и источниковед; профессор Б. Б. Веселовский (1880–1954) — историк и экономист и наш профессор Н. И. Веселовский (1848–1918) — археолог и востоковед (Бердников 2007). Вот и говори после этого, что гены ничего не значат! Академик А. Н. Веселовский, знаменитый филолог, приходится археологу троюродным братом отца.

Николай Иванович родился в Москве в революционном 1848 г., но в гимназию поступил в Вологде, а это был Петербургский учебный округ. Окончил в 1867 г.

По окончании гимназии был принят в Санкт-Петербургский университет на факультет восточных языков по арабо-турецкому разряду. Студенческая работа его «О податях и повинностях, налагавшихся монголами на побежденных народов» была награждена золотой медалью, а по выпуске Веселовский был оставлен в Университете для подготовки к профессорству. Защитил магистерскую диссертацию на тему «Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве с древнейших времен до настоящего». Она была издана в Петербурге в 1877 г., а Веселовский получил звание доцента. И монгольские подати, и Хивинское ханство имели некое отношение к истории России. Всё это о связях России с Востоком.

В 1878 г. как раз В. В. Григорьев покинул свою кафедру и 29-летний Николай Иванович заменил его. С этого времени и до конца жизни он ежегодно читал курсы лекций по истории Востока, главным

образом Средней Азии. Одновременно он пишет ряд статей по истории Средней Азии.

2. Археолог-ориенталист. В 1881 г. его принимают в Русское Археологическое Общество, и в следующем году он составляет программу сбора сведений о древних городах Туркестана. А в это время Археологическая комиссия в тесном сотрудничестве с Археологическим обществом собирается направить в Туркестанский край, как тогда называлась Средняя Азия, специалиста с целями археологических разысканий. Одна из главных целей — раскопать городище Афрасиаб. Конечно, археологом Веселовский не был, но знал восточные языки и историю этих мест. Сочтено было, что это лучше, чем посылать археолога с опытом раскопок где-нибудь в Крыму или в коренной России, но без знания языка и истории местности памятника. Кроме того, Археологическая комиссия давала же нужные инструкции.

Получив в 1884 г. годичную командировку от Археологической комиссии и Университета, Веселовский отправляется в Туркестан. Он был довольно осмотрителен. Прежде чем начать раскопки на Афрасиабе, он объездил край и предпринял небольшие раскопки на нескольких городищах, которые впервые определил (причем правильно) как укрепленные поселения. Результат опубликовал в небольшой статье в «Записках Восточного отделения РАО». В марте 1885 г. начались его раскопки на Афрасиабе, которые длились более четырех месяцев (Лунин 1979).

Копал он траншеей, которую расширял в местах встречи с сооружениями. Городище сложное, многослойное, с путаницей сооружений, и копают его нынче, конечно, не так. Но это были первые раскопки молодого востоковеда. Всё же он правильно уловил общее содержание памятника: в нем видно широкое распространение буддизма наряду с зороастрийским учением, а также греческое влияние, о котором говорят терракотовые статуэтки. В еврейском квартале Самарканда он

Н . И. Веселовский — археолог-ориенталист

нашел глиняные сосуды для костей покойника. Сейчас археологи их называют «оссуариями» (от латинского обозначения костей). Термин «оссуарии» введен Веселовским.

Эта экспедиция имела продолжение через 10 лет, во вторую половину 90-х гг., когда на деньги Археологической комиссии и Академии наук была снаряжена историко-архитектурная экспедиция во главе с Веселовским в Среднюю Азию, главным образом для обмеров мавзолея Гур-Эмир в Самарканде, мечети Биби-Ханым и других памятников. В годы 1895–1896 и 1898–1899 были проведены фиксация самаркандских мечетей, обмеры, сделаны чертежи, эстампажи, фотоснимки. Результатом было открытие эллинистического искусства домусульманского периода в Туркестане. Предложены были проекты реставрации памятников мусульманского зодчества.

Одновременно Веселовский не оставлял и научную работу по русским связям с Востоком. В 1890–1898 гг. вышло его трехтомное исследование: «Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией». В общем, в нем продолжает говорить наследственность: тяга к языкам, к гуманитарной учености и к дипломатии.

Но эту экспедицию и работу над изданием трех томов пришлось проводить, отрываясь от главной летней работы, которая с середины 80-х оказалась совсем другой.

3. Курганное золото — от Огуза до Майкопа. После раскопок Афрасиаба, в 1886 г., Веселовского избирают членом-корреспондентом Археологической комиссии: молодых образованных раскопщиков мало. В следующем, 1887-м, году Комиссия посылает его на Дон и на северное побережье Азовского моря, под Бердянск. На Дону он посетил городище под станицей Цимлянской (Саркел), уже копавшееся Сизовым, а под Бердянском раскопал несколько курганов близ села Обиточное. Копал внимательно, тщательно всё зарисовывал, понял, что погребения с красными костяками — это бронзовый век, даже выделил древнейшие погребения (мы их теперь называем ямными), а красную краску отослал на химический анализ. Решил, что красный цвет — от разложившихся начисто железных вещей. Копал курганы и близ станицы Раевской у Анапы на Кавказском побережье, там были поздние кочевники.

В 1889 г. Археологическая комиссия, как раз в этом году получившая исключительное право давать разрешение на раскопки на правительственных и общественных землях, поручила Веселовскому

начать систематические раскопки курганов в Северном Причерноморье, отпустив на них значительные суммы. Предполагались крупные курганы. Вообще в начале 90-х статус Веселовского резко повышается и становится всё более археологическим. В следующем, 1890-м, году 42-летний Веселовский был утвержден в Университете исполняющим должность ординарного профессора, но там он читал историю стран Востока. В 1892 г. он начал преподавать в Археологическом институте, и уж там-то он стал читать курсы по первобытной археологии. С того же 1892 г. он уже сверхштатный член Комиссии (в ранге младшего члена).

Это связано с тем, что в 1891 г. Веселовский начал раскопки огромного кургана Огуз между Днепром и Азовским морем. Он заложил траншею, из нее провел в насыпи две мины для поисков впускных погребений, ничего не нашел и прервал работу до следующего года. Параллельно был раскопан менее крупный Деев курган (назван по фамилии владельца земли) в той же местности, но могила оказалась пуста, ограблена. Хотя и в ней найдено некоторое количество золотых вещей, уцелевших от ограбления. А раз могила ограблена, то оставшаяся значительная часть насыпи и погребальная камера брошены Веселовским в разрытом виде. Пять лет спустя, в 1896 г., два крестьянина ближайшего села спустились туда и обнаружили, что обвалившаяся часть насыпи открыла еще одну погребальную камеру с большим количеством золотых вещей. Это было богатое впускное погребение. Вещи местный урядник отобрал и доставил в Комиссию. На следующий год туда отправили другого члена Комиссии, Думберга, который снес весь курган и еще кое-что нашел, в частности серебряную фиалу. Но вернемся в начало 90-х.

Продолжая копать Огуз в 1892 г., Веселовский раскопал попутно курган в имении Пастака под Симферополем. Там покойный был одет в чешуйчатый панцирь, а при нем было 5 греческих амфор. На голове покойного был богатый убор из золотых блях, он поспешно взят обрадованным археологом, но не описан *in situ* и не зарисован. Теперь бляхи можно располагать на черепе в любом порядке.

Только в 1894 г. Веселовский завершает раскопки Огуза. Это не значит, что он раскрыл весь курган. Просто он пришел за четыре года раскопок к выводу, что курган начисто ограблен, поэтому он свернул раскопки и оставил насыпь распахнутой — с огромной глухой траншеей, которая, входя в нее сбоку, выбрала центральную часть огромной насыпи. Через восемь лет крестьяне, роясь в насыпи, обнаружили и расхитили комплексы золотых вещей. Часть Комиссии удалось

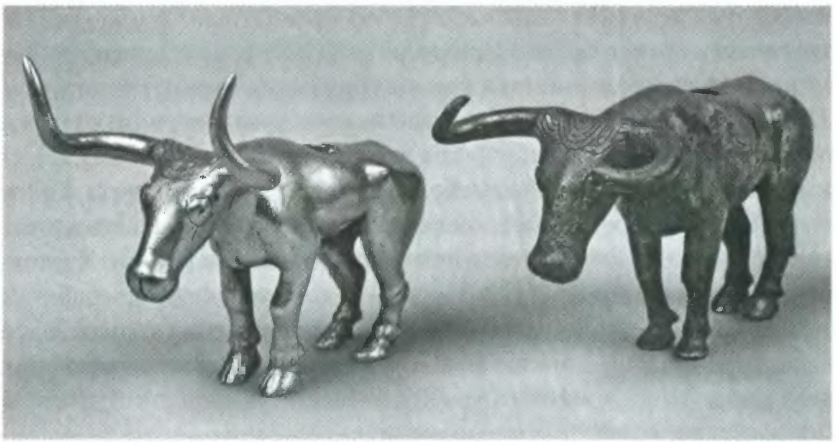
Н. И. Веселовский — удачливый археолог и старший член Археологической комиссии

приобрести за деньги (вещи датируются 330–300 гг. до н. э.). Но всё это следствие недокопанности будет ясно лишь через восемь лет, в 1902 г.

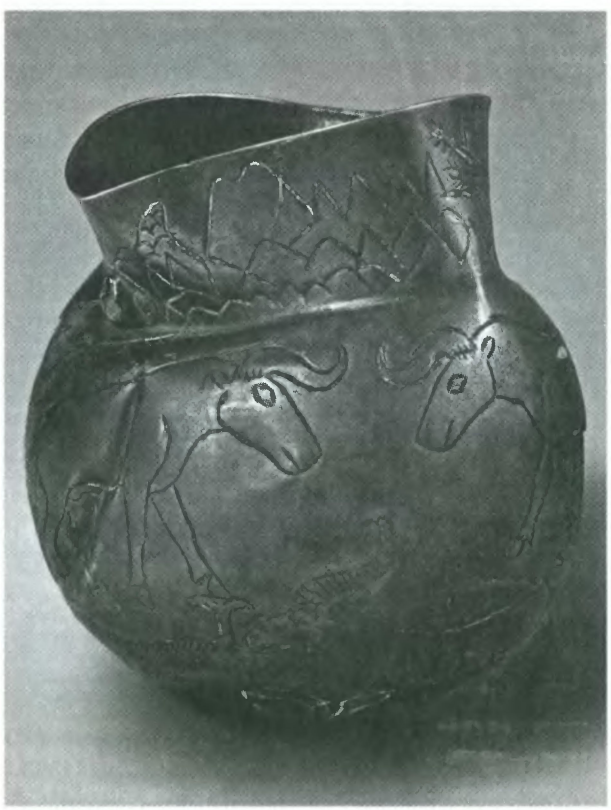
Между тем с 1895 г. Веселовский, показавший свои способности и охоту раскапывать огромные скифские курганы, переводится из младших членов Археологической комиссии в старшие члены. В русской археологии он стал влиятельной фигурой, и Комиссия, обеспокоенная размахом кладоискательства, поручает своему старшему члену начать масштабные раскопки в Прикубанье.

Тут и началась его историко-архитектурная экспедиция в Туркестан (о которой сказано в предшествующем разделе), занявшая

Золотой олень из Костромской, раскопки Веселовского



Золотой и серебряный бычки из Майкопского кургана



Серебряный сосудик из Майкопского кургана

4 сезона в пять лет. Но в том же 1895 г. он также копает средневековые курганы у разных станиц в Прикубанье. В 1896 г. продолжается Туркестанская экспедиция, но в том же году Веселовский раскапывает в Прикубанье курганы золотоордынского времени, в них обычно покойник с железной саблей и в поясе с серебряными накладками, к которому подвешен серебряный ковшик или чашечка. Тут же и курганы с погребениями бронзового века, скифского и сарматского времени. Среди них под станицей Костромской раскопаны курганы с очень ранними, первой половины VI века, скифскими погребениями, в которых сохранились деревянные сооружения в виде шатра над могилой, а из вещей производит особое впечатление железный щит с умбоном в виде золотого оленя — ныне украшение Эрмитажа, в Золотой кладовой.

В том же году городской голова Майкопа извещен, что запланированы раскопки большого, 11-метрового кургана Ошад в черте города. В 1897 г. тот же голова сообщил, что мещане, добывая камень, наткнулись в этом кургане на дольмен, и запросил археологов, нельзя ли дольмен перенести в городской сад. Веселовский тотчас начал раскопки этого кургана, и он поймал свою, возможно, самую большую удачу. Этот курган теперь все знают как Майкопский курган, а вещи из него — как первые вещи майкопской культуры. Дольмен был в насыпи, а могила была в материке, глубиной полтора метра, но очень просторная и разделенная на три части. Погребение было из разряда «царских» (погребены были древний вождь-жрец и две женщины, видимо, его жены) и напоминало по своему богатству уже известные скифские царские погребения: золото, серебро, сердолик, бирюза, ляпис-лазурь, произведения искусства. Своеобразные бычки из золота, оружие, диадема на голове, сосуды — два золотых, 14 серебряных, на одном — гравированные изображения. Веселовский и отнес курган к скифскому времени, но он ошибся.

Аналогии вещам этого комплекса находятся на Переднем Востоке — в урукской культуре IV–III тысячелетия до н. э. При более глубоком знании Древнего Востока востоковед мог бы и почувствовать восточный стиль в Майкопе, не давать скороспелого диагноза, хотя сам город Урук был раскопан только в начале XX века. Сейчас предполагается древняя миграция передневосточного населения на Кавказ, которой и обусловлено родство языков абхазо-адыгской группы с хаттскими языками Малой Азии, родство древних касков из Малой Азии с касогами (черкесами) Кавказа. Таким образом, Веселовский открыл гораздо больше, чем сокровища скифских царей — таких

известно было уже немало. Он открыл новую, гораздо более древнюю кавказскую культуру, до его открытий совершенно неизвестную. Легко понять, с каким нетерпением археологи всего мира ожидали подробного описания найденного.

Но несмотря на то, что в этом году Туркестанская экспедиция не работала, раскопки проведены с той же скоростью и небрежностью, которая характерна для всех больших курганных раскопок Веселовского. Полевых дневников нет, вместо чертежей — беглые наброски. Сейчас вещи из Майкопа — в Золотой кладовой Эрмитажа.

С Веселовским работали два надсмотрщика — Иван Маленко и Дмитрий Ефимов из Керчи. Они поставляли ему бригаду опытных рабочих, и он очень им доверял. Представил их даже к царской награде, но перед награждением руководство Комиссии обратилось в полицию за свидетельствами благонадежности награждаемых. Сведения оказались самые неутешительные: оба были давно известны полиции как отъявленные «счастливчики» (то есть охотники за курганным золотом), тесно связанные с преступным миром. Всё же

Н. И. Веселовский и Н. Е. Бранденбург (в центре)
с группой слушателей Петербургского археологического института
и командой землекопов на раскопках в Приладожье

Веселовский не отказался от их услуг: для него удобство поставок опытной рабочей силы было дороже надежности.

С ним копают и студенты Археологического института, но основной состав землекопов — крестьяне, поставленные любимцами-надсмотрщиками.

В 1898 г. Веселовский отправился в тот же район, в Адыгею, и возле станицы Царской (ныне Новосвободная) ему опять повезло. Снова золото, серебро, полудрагоценные камни. Он открыл в двух курганах нечто вроде дольмена в каждом, а в дольменах погребения той же культуры, что и в Майкопе, — той же, да не той. Некоторые вещи близки, другие сильно отличаются. Каменные боевые топоры, сосуды и прочее. Теперь это считают особой, новосвободненской культурой с другим происхождением (возможно, центральноевропейским). Три полевых сезона подряд такие открытия!

4. Продолжение открытий в XX веке: кто кого корректировал. Аппетит приходит во время еды. В 1901 г. Веселовский взялся за самый большой на Кавказе курган Сангарау-тепе близ Усть-Джегутинской — 16 м высоты, 140 м диаметром — и копал его два года. Как сейчас мы понимаем, судя по устройству могилы и мелким находкам, это был курган «новосвободненского типа». Но курган был ограблен еще в древности. Веселовский был потрясен неудачей (такие затраты — и зря!), рассчитал рабочих и уехал. Сразу возникла легенда, существующая в тех местах до сего дня: ночью загрузил тюки сокровищами и смылся, а так как в музей сокровища не поступили, значит, присвоил. Нет, Веселовский был честен, всё сдавал в Комиссию и Эрмитаж. Этих подозрений за ним не водится, не высказывали даже его враги в археологии (таких у него было немало). А охота ездить в Усть-Джегуту у археологов пропала. Другие, десятиметровые насыпи стоят у г. Усть-Джегута до сих пор нетронутыми.

Всё это время Веселовский не брезговал и курганами поменьше — в них ведь тоже встречаются скифские и сарматские погребения с золотом и предметами икусства. Копал Веселовский на Кубани ежегодно, но я здесь не все раскопки указываю (это ведь не справочник). В 1903 г. он сделал доклад на XII Археологическом съезде «Курганы Кубанской области в период Римского владычества на Кавказе» (напечатан в Трудах XII АС, том I в 1905 г.).

Чтобы у читателя не сложилось впечатление, что Веселовский был сугубым кладоискателем и только (или что я его рассматриваю как такового), в самый раз поведать о его столкновении с настоящим

беспардонным кладоискателем, который, однако, рядился в одежды археолога. В аферу (см. ИАК-150 2009: 764–768) замешано два российских немца, один — жулик, другой — его разоблачитель. Жуликом оказался горный техник Давид Готлибович Шульц (который переделал свое отчество в Богомилович), честным археологом — Эмиль Александрович Есслер, член-корреспондент Археологической комиссии. Именно Есслера графиня Уварова обвиняла в хищении находок и отправке их за границу Вирхову. По этому поводу шла длительная перепалка между Московским археологическим обществом и Археологической комиссией, между Уваровой и Бобринским. Есслеру удалось отстоять свое честное имя, подозрения Уваровой были опровергнуты, и ей пришлось признать это.

В 1896 г. Шульц просил «Открытый лист» и в 1897 г. получил его. Но его отчет не удовлетворил Бобринского, а Шульц просил финансовой поддержки и желал стать членом ИАК. Бобринский запросил живущего на Кавказе Есслера проверить на месте, что за человек Шульц. Есслер сообщил, что Шульц недостоин доверия, что он ведет раскопки ради своих личных целей и больше всего интересуется золотом. Бобринский просил взять Шульца под опеку и сделать его помощником: он так рьяно кричит о необходимости спасать памятники. Есслер отказался, пояснив: «послать Шульца остановить хищнические раскопки <...> — пустить козла в огород». А Веселовский в 1903 г. согласился взять Шульца под свою опеку, и тот начал раскопки курганов у станицы Келермесской в Прикубанье.

Горный техник Д. Г. Шульц

Шульцу необыкновенно повезло (а археологии — нет). В курганах оказались самые ранние скифские погребения из известных, начала VI до н. э. — золотая пантера, меч-акинак в обложенных золотом ножнах, секира и прочее. Вещи в двух ящиках были направлены в Петербург вместе с требованием 300 рублей компенсации собственнице земли, хотя, как потом оказалось, курганы располагались на

казенных землях. Но, ввиду ценности находок, деньги были уплачены Шульцу, и он был представлен к царской награде — перстню с рубинами и бриллиантами (получить не успел). И ему был выдан «Открытый лист» на следующий год. В следующем году он копал еще несколько курганов, но, ввиду наступивших морозов, прекратил раскопки, и погребения были разграблены местными жителями. Шульц бросился к станичным атаманам расправляться с грабителями, но тут выяснилось, что золотые вещи появились в Ростове-на-Дону в ювелирном мгазине П. А. Остера. Тот сообщил властям, что их привез какой-то горный инженер, который просил их поскорее переплавить в слитки, что и было сделано, слитки отправлены в Москву. Еще несколько торговцев сообщили о подобных сделках с переплавкой и жаловались, что инженер их обманывал и выманивал деньги.

Комиссия направила в Ростов Веселовского, который установил, что этим инженером был Шульц — все торговцы и ювелиры опознали его по фотографии. У одного из ювелиров, Рувинского, еще хранились вещи, которые не успели переплавить. Веселовский убедился в их огромной научной ценности и запросил через Комиссию 5000 рублей из казны. Несмотря на то что шла русско-японская война, эта колоссальная сумма была выдана и вещи выкуплены. Там было круглое серебряное зеркало, деленное на сегменты, в которых были изображения ориенталистического стиля, и другие вещи. Докапывал могильник Веселовский в 1904 г., он раскопал два ограбленных кургана того же времени, обнаружил украшения коней, два бронзовых шлема, 14 наверший от колесниц и много мелких золотых украшений. Каковы же были неограбленные комплексы, уничтоженные Шульцем!

Выяснилось, что семья Шульца всё это время бедствовала и для нее собирали благотворительные пожертвования, а все деньги, вырученные за древности, Шульц тратил на свою любовницу, которой он заказывал браслеты и кольца из древнего золота. Всего переплавлено было около 10 фунтов (более 4 кг) золотых изделий. Шульц еще жаловался в министерства и самому императору, что он не получил достойного вознаграждения за свои находки, тогда как непонятно, почему его не отдали под суд. Несомненна и вина Веселовского в этой истории. Ведь Шульц творил свои махинации под его не слишком бдительной опекой.

С другой стороны, при всем сходстве методики раскопок очевидны и разительные различия: все вещи, раскопанные Веселовским, всё же попадали в Эрмитаж, какие-то сведения о сооружениях всё же фиксировались, Веселовский действительно воевал с расхитителями.

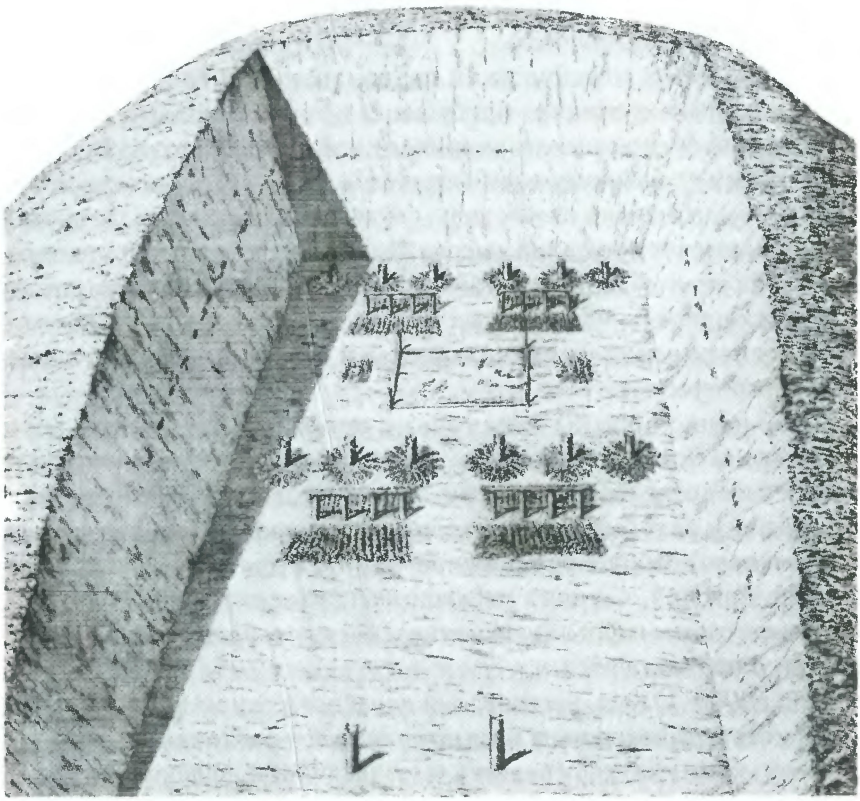
Он ухитрялся корректировать не только таких жуликов, как Шульц, но и настоящих археологов.

Еще в 1898 г. петебургский градоначальник сообщил Археологической комиссии, что прибывший в город мещанин Дмитрий Владимиров Моргунов вознамерился послать государю императору телеграмму по важному делу. Опрошенный во вверенном градоначальнику управлении о сути дела, означенный Моргунов рассказал, что уполномочен крестьянами села Большая Белозерка в Приднепровье сообщить государю о кургане, который они начали раскапывать в поисках драгоценных предметов, кои там, по преданию, должны быть, но наткнулись на каменный свод и решили испросить надлежащее разрешение.

Комиссия опросила Моргунова и направила в Большую Белозерку члена Комиссии Ф. А. Брауна, который принялся копать курганы и в их числе Чмырев курган. Основные погребения в нем были ограблены и разрушены, но сохранились нетронутыми две могилы коней в парадных уборах: в одной 4 коня, в другой 6. Браун, не то что Веселовский, — точно зафиксировал конские уборы, приложены опись, схемы и фотографии, указано, к которому из коней какая деталь убора относится.

Но в 1909–1910 гг. Веселовский доследовал курган Чмырева Могила, который дотошным Брауном оказался раскопан не до конца (возможно, не хватило средств), и открыл в нем еще одно впускное парное погребение, правда, тоже ограбленное еще в древности. Но на сей раз Веселовский копал внимательнее и в западной стенке погребальной камеры открыл тайник, незамеченный ни грабителями, ни Брауном. В нем лежал набор серебряных сосудов, изготовленных греческими мастерами в 340–320 гг. до н. э. Таков был ответ Веселовского на скандальные разоблачения его упущений при раскопках Огуза и Деева кургана и на просчеты в афере Шульца.

Любому современному археологу раскопок Чмыревой Могилы хватило бы с лихвой на оба полевых сезона, да еще минимум год потребовался бы на обработку материалов. А Веселовский в те же годы, 1909–1910, раскапывал и курганы близ Ульского аула на Кавказе. В одном из них, огромном (высотой до 15 м), не было погребения (Веселовский считал, что оно ограблено и уничтожено еще в древности), а у стоек группами по 18 лежало не менее 360 скелетов лошадей. Сейчас считают, что человеческого погребения в кургане и не было, а всё сооружение является остатком ашвамедхи, описанной в Ригведе у индоариев, — жертвоприношения священного коня. Совпадают



Раскопки Ульского курана, схема расположения коней

почти все детали. Другого такого кургана не найдено до сих пор. Еще в одном Ульском кургане, со скорченными и окрашенными костяками, найдены алебастровые статуэтки, которые Веселовский сопоставил с эгейскими аналогичными и датировал крито-микенской эпохой (1500–1200 гг. до н. э.). Таким образом, он первым установил, что эта эпоха по меньшей мере на тысячу лет древнее скифской. Сейчас установлено, что начало ее уходит в гораздо бо́льшую древность.

В сезон 1909 г. он также раскопал 60 могил в Недвиговке на Дону.

В 1912 г. Веселовский, которому перевалило за 60, взялся за громадный курган Солоха (высота 18 м) на Нижнем Днепре. Раскопки продолжались два года. В первый год было открыто ограбленное центральное погребение в подземной камере-катакомбе, а боковая камера осталась неограбленной, и там было много вещей царского обихода. Не ограблены были и конские могилы. Все эти вещи датируются сейчас

Навершие в виде головы хищной птицы из Ульского кургана

концом V — первой половиной IV вв. до н. э. Часть документации за первый год раскопок утрачена в 1918 г. На второй год было найдено впускное погребение, оказавшееся неограбленным. На покойнике были золотые гривна и браслеты, при покойнике меч, булава, 6 серебряных сосудов с изображениями. В могиле открыли еще и тайник, в котором лежали золотая фиала и обложенный серебром и золотом горит со 180 стрелами. Этот комплекс датируется 400–370 гг. до н. э.

Именно в этот второй год раскопок к Веселовскому приехал Бобринский с сыном, который после рабочего дня нашел незамеченный Веселовским золотой гребень. Бобринский сделал много зарисовок и записей, помогающих нынешним исследователям изучать материал. Побывали на раскопках в 1913 г. и Спицын со своим учеником Саханевым и сделали ряд чертежей. Размеры на этих чертежах не совпадают с теми, которые указал Веселовский. В 1914 г., когда работы

уже закончились, место раскопок дважды посетил украинский археолог Н. Е. Макаренко. В письме к Л. А. Мацулевичу он впоследствии, в 1933 г., писал:

> «В 1914 г. <...> я два раза был на руинах Солохи, представляющей печальное зрелище. Был в самой могиле, проходил по коридорам, облазил все "мины", проложенные Н. И. в толще насыпи. Установил то, что было не замечено, или, точнее, не отмечено в отчете Н. И. <...> Категорически уверяю, что ни коридор, ни могила (камера) не соответствуют приложенным к отчетам рисункам. Последние сделаны, очевидно, на глаз, причем глаз не схватил ни форм, ни пропорций. Говорю это не потому, что хочу очернить память покойного, а исключительно имею в виду восстановить истину» (Манцевич 1987: 6).

В 1911–1914 гг. Веселовский копал курганы в Кубанской области. Отчеты за это время несколько более точные и подробные. Из находок наиболее ивестна панафинейская амфора со сценой кулачного боя. Раскопки продолжались и во время войны.

В марте 1917 г. умер директор Археологического института Н. В. Покровский, и Веселовский стал исполнять обязанности директора. Исполнял недолго. В этой должности, а также профессором и старшим членом Археологической комиссии, он и умер весной 1918 г. семидесяти лет от роду. С существованием царской России окончилась и жизнь Веселовского — одного из главных поставщиков сокровищ в Золотую кладовую Императорского Эрмитажа. Он родился, когда российские войска были посланы подавлять революцию в Венгрии, а умер — когда они не могли быть посланы ни в Венгрию, ни в Германию подавлять революции, потому что революция победила в самой России.

Находки последнего полевого сезона, 1917 г., из раскопок Веселовского на Елизаветинском могильнике в Нижнем Подонье, в частности бронзовый античный нагрудник в виде головы Медузы, переданы Комиссии уже в 1919 г., после его смерти. Некрологи были, как водится, почтительными, а потом началась трезвая и непочтительная оценка.

5. Методика раскопок и ее оценка. Итак, как же копал Веселовский? Картина получается неприглядная. Несомненно, гонялся за сокровищами, за скифским царским золотом, поэтому выбирал курганы покрупнее. Поэтому же бросал недокопанными курганы бронзового века, как только в них попадались признаки этого времени — скорченные и окрашенные костяки.

Типичные записи в дневниках Веселовского об этом: «Вследствие обнаружения погребения с окрашенными костяками дальнейшие работы были прекращены» (Отчет ИАК за 1900 г., 1902: 45). Или: «Так как присутствие краски уже обнаружило характер погребения в этом кургане, то работы здесь были прекращены и курган остался недокопанным до материка» (Отчет ИАК за 1901 г., 1903: 68). Или: «Можно полагать, что таких могил в кургане было несколько; но дальнейшее исследование его не было произведено» (Отчет ИАК за 1901 г., 1903: 77). Или: «На дне могилы в разных местах находилась темно-бурая охра. Ввиду того что характер кургана определился, дальнейшая раскопка была прекращена» (Отчет ИАК за 1907 н., 1910: 90). Примеры привожу по работе Стеганцевой и Рысина (2009: 754).

Курганы у Веселовского копались траншеями и колодцами (правда, так тогда копали многие), так что значительная часть насыпи оставалась недоследованной. Тайники и незамеченные погребения расхищались местными жителями после раскопок. Чертежи в лучшем случае заменялись набросками, планы — легкими кроки, а чаще вообще не делалось никакой графической фиксации — и уж это не было общим явлением. Кости на определение не брались и не сдавались — ни животные, ни человеческие. На раскопках часто сам Веселовский не присутствовал, передоверял раскопки своим надсмотрщикам-«счастливчикам», нечистым на руку. Сам в это время копал в других местах или отдыхал на даче. Полевые дневники не заполнялись или писались по памяти потом, через много месяцев, по запросу начальства. То же и опись находок.

Следуя за Б. В. Фармаковским (1921), И. Л. Тихонов весьма высоко оценивает археологическую деятельность Веселовского и даже его методику. В книге Тихонова (2003: 89) краткая констатация огрехов Веселовского сопровождается несколько неожиданным для современного археолога мнением:

> «Методику раскопок курганов, применяемую Веселовским, традиционно оценивают как крайне невысокую даже для своего времени, более того, в работах 1930-х гг. его обвиняли чуть ли не в "кладоискательстве". Такие обвинения представляются несправедливыми и незаслуженными по отношению к ученому, много сделавшему для отечественной археологии».

По этому поводу вспоминается эпизод из романа Виктора Гюго «1793». Там описывается, как на корабле во время шторма сорвалась по вине одного матроса тяжелая бочка и металась по качающейся палубе, круша всё на своем пути. Виновный матрос бросился к ней и,

рискуя жизнью, закрепил ее на месте. Командующий, наблюдавший это, снял со своей груди орден и прицепил к блузе матроса. Крики приветствий прервал его приказ: «А теперь расстрелять его!» За достижения — награда, за вину — наказание.

Когда мы оцениваем полевую работу археолога, то не надо путать ценность найденных вещей с ценностью проделанной работы. Вещи сделал не археолог. Он только их нашел. Не нашел бы он сейчас, нашел бы кто-то другой потом (при условии, конечно, нормальной охраны памятников в нормальной стране). Что же до ценности работы археолога, то она состоит в том, как вещи раскопаны, как зафиксированы, с какой полнотой и точностью. А с этим у Веселовского обстояло дело из рук вон плохо, и тут ничего не попишешь.

Тихонов понимает непривычность своей оценки и мотивирует ее:

> «Конечно, методика раскопок и фиксации Веселовского в значительной степени уступала работам многих его современников. Но следует иметь в виду два обстоятельства.
>
> Во-первых, Веселовский, как правило, имел дело с очень большими курганными насыпями, а в то время другой методики, кроме "глухой траншеи", которую пробивали от полы насыпи к ее центру, для их раскопок не было. Например, никто никогда не ставил в упрек М. И. Ростовцеву, что он раскапывал Мордвиновский курган точно таким же способом. Раскопки на снос таких крупных курганов без использования техники в то время потребовали бы гигантских затрат средств и времени, а ни того, ни другого Археологическая комиссия в достаточном количестве выделить не могла.
>
> Во-вторых, Веселовский вынужден был постоянно спешить с раскопками, так как уникальным памятникам грозило разграбление кладоискателями. Его постоянно беспокоил этот вопрос».

Именно на это последнее обстоятельство ссылался и сам Веселовский (1906) в своих возражениях на едкую критику М. И. Ростовцева (1906). Однако нужно помнить, что обычно огромные курганы и небольшие курганчики Веселовский копал одинаково. Не хватает средств — оставь на будущее. Если грозит разграбление кладоискателями — с ним и борись, причем не тем способом, чтобы провести кладоискательские раскопки раньше грабителей. Добиваться специального законодательства, изменять отношение местной администрации — вот что требовалось, а близость Археологической комиссии ко двору давала такие возможности.

Мнение Тихонова кажется мне оправданием виновного матроса. Другие археологи печально разводят руками:

> «Знакомство с археологическими отчетами Н. И. Веселовского оставляет противоречивое впечатление.<...> Признанный востоковед, профессор Санкт-Петербургского университета, отдавший раскопкам более половины своей жизни, совершивший уникальные открытия, он не всегда был внимателен к деталям, копал быстро, интересовался только ценными находками, пренебрегая керамической частью погребального инвентаря даже уникальных скифских комплексов. По странной прихоти судьбы возможность величайших открытий комплексов Майкопского кургана и курганов у станиц Новосвободной (Царской), Костромской и Келермесской досталась человеку, который не счел необходимым сделать полевые чертежи, оставив после себя лишь наброски. Однако хорошо известно, что в это время многие археологи, зачастую даже не имеющие специального образования, гораздо более ответственно относились к полевой фиксации, оставляя тщательные дневники и полевые чертежи с масштабами. В настоящее время, отдавая Н. И. Веселовскому честь как первооткрывателю уникальных археологических комплексов, нельзя не признать, что все они оказались обесценены низким уровнем полевой фиксации и небрежным отношением к артефактам бытового уровня» (В. Я. Стеганцева, М. Б. Рысин 2009: 753)

Самое любопытное, что Веселовский в своих печатных работах и лекционных курсах излагал весьма правильно, как нужно копать.

6. Психология сбоя. Странное поведение квалифицированного ученого не дает покоя многим историографам. Знал ведь, как нужно копать, — и не следовал этим правилам! Учил других — а сам не применял! Почему? Ну, почему он так грубо и систематически нарушал нормы поведения ученой корпорации и здравый смысл?

Те же Стеганцева и Рысин подошли близко к разгадке, подметив одну важную особенность в раскопочной карьере Веселовского: в самом начале своей деятельности он копал тщательно и вдумчиво, аккуратно всё фиксировал, ничего не пропускал, даже отправлял охру на химический анализ (его раскопки под Бердянском). А через несколько лет — как с тормозов сорвался, и уже на всю оставшуюся жизнь.

Попытаемся восстановить ситуацию начала его раскопочной деятельности и войти в его психологию. Вот он прибыл в 1884 г.

в Туркестанский край и увидел песчаные городища. Перед его умственным взором стоят сложные исторические проблемы его многолетних исследовательских занятий по востоковедению, он задумал и планировал свою экспедицию в Туркестан для их решения, нужно приступать к раскопкам, причем со скромными средствами и, разумеется, тщательно зафиксировать результаты. В 1885 г. копает Афрасиаб. В полученных материалах важны стратиграфия и планы сооружений. Тут к промахам может привести только недостаток опыта, но уж никак не небрежение.

В 1886 г. он оказывается на Дону и в Северном Приазовье, также южнее Тамани. Исторически это тоже Восток, но это не его Восток — не Средняя Азия. Уж тут его могут интересовать вплотную только поздние кочевники. Он копает по правилам, аккуратно и тщательно, на это уходит много времени, а раскопано всего несколько небольших курганчиков. Результаты в научном плане хороши, но очень-очень скромные, кому-то и когда-то они смогут пригодиться, но самому Веселовскому они без надобности.

Между тем по результатам своих среднеазиатских разысканий он заслужил звание члена-корреспондента Археологической комиссии (1886 г.), и это она его направила на Дон и Кавказ в 1887 г. Что он привез ей?

Граф Бобринский, председатель Комиссии, в это время вел битву за право распоряжения всеми раскопками в России. В 1889 г. он ее выиграет, но не полностью, а только в отношении общественных и государственных земель. На частные земли помещиков и крестьян его власть всё еще не будет распространяться. В годы этой борьбы граф хотел, видимо, найти фигуру, которая бы при нем играла ту же роль, которую при первом председателе, Строганове, играл давно ушедший Забелин — сенсационными раскопками добывать сокровища для Эрмитажа и подымать авторитет Комиссии в глазах императора. Бобринский был слишком умен, чтобы прямо формулировать столь неблаговидную в глазах археологического сообщества цель, но на заднем плане она, несомненно, маячила. И Веселовский это понимал.

Нужно копать быстро, много, большие курганы, и только тогда можно рассчитывать найти нужные сокровища. Этого от него ждали. Да он и не будет иметь времени на то, чтобы возиться с раскопками по правилам и обработкой материалов раскопок. В 1890 г. он становится профессором в Университете, в 1892 — и в Археологическом институте. Читает в Университете курсы по истории стран Востока, а в Институте — по первобытной археологии. Ему некогда, ему всегда

страшно некогда. Его ученик по Университету В. В. Бартольд (1977: 663) вспоминал, что Веселовский предостерегал тех, кого оставляли при кафедре истории Востока (по-нынешнему — аспирантов) от увлечения археологией, чтобы археологические занятия не помешали их основному делу — научным исследованиям в области ориенталистики. *Это он и о себе думает.*

В 1891 г. он едет по поручению Комиссии и с ее «Открытым листом» раскапывать огромный курган Огуз в Северном Приазовье, копает его два месяца траншеей до материка, потом проводит из этой траншеи две боковые мины в насыпи для поиска впускных погребений. Ничего не найдя, откладывает раскопки Огуза на следующий год и едет инспектировать раскопки частных лиц и копать курганы в Крыму, чтобы не терять времени. Лето еще не кончено. Какова реакция Бобринского? Веселовский в 1892 г. зачислен сверхштатным членом в Археологическую комиссию.

На следующий год Веселовский едет докапывать Огуз. Но курган огромен. Его приходится докапывать еще три года. В итоге Веселовский пришел к выводу, что курган начисто ограблен еще в древности, и в конце сезона 1894 г. раскопки прекратил. Прорезанная колоссальной траншеей насыпь так и осталась стоять. Какова реакция Бобринского? Веселовский 1 января 1895 г. переведен из младших в старшие члены Комиссии. А через 8 лет крестьяне, продолжавшие рыться в оставленной части насыпи Огуза, наткнулись на множество золотых вещей, и вещи эти удалось заполучить в Комиссию.

Н. И. Веселовский на раскопках

Веселовский же, теперь уже как старший член Археологической комиссии и профессор, в 1895 г. направляется руководить (на всё следующее пятилетие) историко-архитектурной экспедицией в Туркестан. Здесь опять он на своем поле, в своей стихии. Опять тщательные замеры, чертежи и фотоснимки. Вдобавок он получает дополнительные причины относиться наплевательски к степным древностям бронзового века. Занимаясь в Средней Азии великолепными архитектурными сооружениями, мечетями, дворцами и мавзолеями, с тончайшими изощренными орнаментами, с цветными изразцами, — как после этого возиться с жалкой лепной керамикой, скудными остатками позеленевшей бронзы и голыми костяками? Единственное, что может искупить в степи аналогичные затраты денег, времени и сил, это золото скифов.

И Веселовский становится тем, кем он вошел в историю археологии, — чрезвычайно успешным и бескорыстным кладоискателем с высшими научными степенями.

Замечали ли это его коллеги? Конечно, замечали. И соответственно реагировали. С июня 1899 г. в Комиссию стали поступать сообщения с юга, что Веселовский на раскопках Майкопского кургана отсутствует, а вместо него работами руководит оставленный им надсмотрщик Иван Маленко, который торгует находками и кутит напропалую. Директору керченского музея К. Е. Думбергу, члену Комиссии, было поручено расследовать это дело. Тот с помощью околоточного установил, что сведения подтверждаются, а Веселовский проживает на своей даче в Анапе. Какова реакция Бобринского? Он поручил Думбергу заняться раскопками в Ольвии, на другом конце Причерноморья. В результате этой ситуации и других подобных событий (также недовольства Спицыным) четыре из семи членов Комиссии во главе с заместителем Бобринского подали в отставку. Из Комиссии ушли барон В. Г. Тизенгаузен, Ф. А Браун, К. Е. Думберг (в 1900) и И. А. Суслов (в 1902).

Суслов, уходя, жаловался на то, что в 1896 г. Веселовский привез огромное количество находок без описей и журнала раскопок, которые он, по требованию Тизенгаузена, стал задним числом составлять только в 1898 г. Но Суслову вместе с Тизенгаузеном пришлось всё это переделывать, сидя 4 месяца по 12 часов ежедневно, потому что «журнал не сходился с описью, опись с вещами, а нумерация вещей ни с тем, ни с другим» (ИАК-150 2009: 176).

А Веселовский продолжал год от года снабжать Комиссию сокровищами из степных курганов, и Бобринский приезжал к нему

на раскопки. Они вместе доставали из земли сокровища Солохи, ночевали в палатках, ели из одного котла бараний суп и пили чай.

Таковы были условия, в которых Веселовский избрал свою линию поведения, свою жизненную стратегию. Он приноровился к социальным условиям, хорошо уловил ожидания сверху и осуществлял свою стратегию решительно, последовательно и успешно. Первые годы это был выбор, а дальше такие действия вошли в привычку, стали автоматическим сценарием поведения. Это не освобождает Веселовского от ответственности перед наукой, не избавляет от суровых и справедливых упреков последующих поколений ученых. Это всего лишь объяснения его психологических мотивов, логики его выбора. Но то, что он сделал именно этот выбор, — целиком на его совести.

По позднейшему предположению И. Л. Тихонова, Веселовский просто «заболел» золотой лихорадкой, ему нужны были всё новые и новые раскопки, а само содержание их его не интересовало — ведь никакого анализа таких изумительных находок, даже ссылок на них в его лекциях (личное сообщение в январе 2011 г.). Не отвергаю и этого фактора, но что лежало в основе золотой лихорадки? Мне представляется, это видно из всего сказанного.

Подобно брату его предка, он столкнулся с трудной и заковыристой ситуацией. Тогда Авраам Веселовский получил от царя Петра задание уговорить сбежавшего царевича Алексея вернуться из Австрии на родину. Было ясно, что на родине царевича ждет не райская жизнь, а плен — заточение в монастырь под семью замками или что-нибудь в этом роде. Казни сына тогда никто не ожидал. Авраам сообразил, что царь Петр, с его неумеренным пьянством, проживет недолго, а сын, хочешь не хочешь, взойдет на престол, и тогда несдобровать тому, кто его выманил из австрийского убежища. Поэтому Авраам предпочел не справиться со своим заданием, а уж это означало, что лучше вообще не возвращаться пред светлые очи царя. Так Авраам стал первым невозвращенцем в истории новой России. Царь посылал за границу команды с заданием схватить и вернуть Авраама или умертвить, но тот сумел увернуться. Полония тогда еще не знали. Не соблазнился он и на посулы Екатерины II: у нее ведь тоже подрастал сын, отнюдь не собиравшийся продолжать политику матушки. То ли Авраам проявил хваленую еврейскую хитрость, то ли стал вторым Фернейским старцем — эталоном мудрости.

Николай Иванович Веселовский тоже оказался в сложной нравственной коллизии.

Можно, конечно, наладить профессиональные раскопки и обработку всех находок: татарских, половецких, скифских и более ранних, — но сколько на это потребуется сил и времени! Будешь копать по правилам (а их он знал), что получишь? Вежливую похвалу коллег и скромную благодарность будущих поколений археологов? А мороки много, и времени не хватает. Отдать степным курганам всё свое время и все силы жалко — ведь он классный востоковед, профессор.

Последуешь примеру Забелина и будешь искать и добывать сокровища, только их, не делая ничего лишнего, — это противоположный выбор. Вероятно, это можно сочетать с другими занятиями. И слава неминуема — как у Забелина. Это, конечно, заставит морщиться привередливых коллег, острая критика возможна — и критика справедливая. От нее будет нелегко уйти.

Значит, — и это третий выход — надо бы вообще отказаться от раскопок в степи. Но тогда забелинской славы не видать. Только профессором-востоковедом и останешься. И в свое моральное оправдание: тогда сокровища достанутся грабителям.

Из этих трех выходов Веселовский, жадный к успехам, склонился ко второму: что, если пойти напролом — добывать сокровища, только их, а на всё остальное — наплевать? А слава закроет всё — победителей не судят. Да, критика возможна, но руководство (в лице графа Бобринского и его начальства) будет втайне довольно и, несомненно, поддержит. О будущих поколениях, об их оценках, о каждом исследователе, кто возьмет в руки его скудные отчеты, Веселовский думал мало. Где они, эти исследователи? Сколько их? Кто им внимает? Роскошные вещи поступают в музей, там ими любуются цари и знатоки-ценители, о них пишут маститые искусствоведы, а устройство могил интересует немногих, как и грубая керамика скорченных костяков. Такое положение казалось в России незыблемым. Так было, так будет.

Этот Веселовский был всё-таки из другой линии Веселовских — тех, кто остался в России, не отважился на благородное и дальновидное решение, не предвидел будущей смены ценностей. А может быть, дело в том, что к этому времени род Веселовских был давно и прочно русифицирован, и Николай Иванович впитал с молоком матери русское неуважение к нормам, правилам и законам. В сочетании с остатками еврейской практичности оно и привело к гибельному выбору.

Его ученик В. В. Бартольд, отнюдь не желая осудить своего учителя, вежливо сказал в некрологе: «Движение русской науки во многих отношениях пойдет другими путями, чем пути, по которым шел Николай Иванович. Успехи науки неразрывно связаны со

специализацией и с переходом от экстенсивной работы к интенсивной...» (Бартольд 1909/1977: 647).

Здесь найдено очень снисходительное, но верное слово — назвать трудовую деятельность Веселовского экстенсивной. Он слишком много хотел совершить, слишком многого добиться. Погнался за количеством научных успехов — пострадало качество. С расстояния в век-полтора это видно особенно четко.

Положительных его дел отрицать незачем. Он был дельным востоковедом, воспитал учеников, оставил крупные труды по разным проблемам востоковедения. В археологии был в числе тех, кто начал археологическое и искусствоведческое освоение Средней Азии, он много делал для спасения памятников в России. Ну и связал свое имя намертво с такими сокровищами Эрмитажа, как Костромской олень, гребень из Солохи, с Майкопским курганом, древностями Новосвободной и многими другими. Ничего не поделаешь...

Путешественник: успехи и беда

И. С. Поляков

Тут наступает час самой утонченной власти Зеленого Змия. <...> Это час величайшей опасности, так как шаги его направляются на путь, ведущий к могиле.

Джек Лондон. Зеленый Змий, II.

1. Ординарец Кропоткина. Вся короткая жизнь Полякова прошла в дальних и трудных путешествиях. В них он находил стоянки людей неолита, он же открыл палеолит в Костенках и выпустил первую книгу по местному палеолиту в России. Всей своей деятельностью он очень напоминал Анучина — такая же страсть к наукам, такой же широченный охват, такая же значимость свершений. Только не дала судьба такого же долголетия — там слабое здоровье и долгая жизнь, здесь богатырское здоровье и — промелькнул, как метеор.

И. С. Поляков

Иван Семенович Поляков родился в 1845 г. за Байкалом в бедной казачьей семье в станице Ново-Цурухайтуйской на р. Аргуни. Всю жизнь с него как с казака взимали особую подать («ревизский хлеб»). Он младше Анучина всего на два года. Мать его была буряткой, и, таким образом, он происходил из той самой русско-бурятской народности, которую выявил Анучин и которая формировалась, по его заключениям, на крайнем востоке

страны. Анучин, хорошо его знавший, написал первую (сразу после смерти Полякова) биографию этого дальневосточного самородка. Он отметил, что «русско-бурятский тип живо сказался во всем его облике, в глазах, скулах, в скудной растительности на лице, в коренастом сложении» (Анучин 1887: 96).

Семья была многодетная, отец не мог прокормить всех детей обработкой земли и поступил в услужение к приставу Разгильдееву. В доме Разгильдеева Ваня восьми-девяти лет обучился грамоте от урядника. Десяти лет был отдан в школу конного полка. Когда начальство объявило о возможности отправить успевающего ученика в Иркутск учиться на писаря в Училище Военного Ведомства, отец решил дать хотя бы одному сыну образование, вручил ему семь рублей и отправил в Иркутск пробиваться в люди.

Мальчик как-то добрался до Иркутска, нашел там приют в доме сына Разгильдеева, занимался с домашними учителями, ходившими туда к детям. Помогали ему и инспектор училища М. Загоскин и директор Рейнгардт. С ними мальчик учил языки — немецкий, французский и латынь, а также тригонометрию и другие гимназические предметы. По окончании обучения в 1863 г. 19-летний юноша был оставлен при Училище «учителем низшего звания 2-го разряда».

Затем, как сообщает Анучин, его взяли в солдаты, в казачий полк, где он попал денщиком к князю Петру Алексеевичу Кропоткину, знаменитому анархисту. Кропоткин происходил из противоположного слоя российского общества — из самого верхнего. Он Рюрикович, сын генерал-майора, владельца более чем 1200 крепостных семей. Родился на год раньше Анучина и умер на два года раньше, так что во время прибытия Полякова, коего он старше на пять лет, был молодым офицером, еще не получившим известности как философ и анархист. После окончания Пажеского корпуса 19-летний князь добровольно избрал военную службу в Сибири и в 1862 г. был направлен в Читу есаулом к губернатору Болеславу Казимировичу Кукелю, из поляков. Под его командой служил в Амурском казачьем войске и в течение нескольких лет отправлялся в экспедиции по обследованию Восточной Сибири и Манчжурии. Проводил там геологические, картографические и палеогляциологические исследования. Вот в эти экспедиции с ним и ездил его порученец Ваня Поляков.

То, что он попал порученцем (некоторые пишут: денщиком) к Кропоткину, было, конечно, очередной жизненной удачей. Кропоткин оценил способности своего порученца и помог ему освободиться от службы в нижних чинах. В 1865–1866 гг. Поляков уже опять учитель

в Иркутской военной начальной школе (училище) и надзиратель в иркутской губернской классической гимназии. Сам он больше всего увлекается зоологией и по мере возможности приобщает к ней своих воспитанников.

В 1866 г. фортуна еще раз слетела к Полякову. Несколько сибирских богатеев-золотопромышленников озаботились отысканием прямого пути с Олекминских золотых приисков в Нерчинский округ. Они предложили Сибирскому отделу Географического общества снарядить экспедицию, которая бы провела такое изыскание. Экспедиция была поручена члену Общества князю Кропоткину, к которому прикомандировали топографа, а Поляков вызвался быть натуралистом-препаратором — вот будет практическая реализация его увлечения зоологией!

Экспедиция оказалась успешной. Путь был отыскан, а кроме того, составлена карта Олекминско-Витимского горного массива (ЮВ часть бассейна Лены), собраны коллекции горных пород, а геологический анализ местности составил целый том «Записок Географического общества» — он вышел под двойным авторством Кропоткина и Полякова, а зоологическая часть — под авторством одного Полякова (урок нынешним начальникам экспедиций). Уже в этой экспедиции 22-летний Поляков увидел и распознал следы каменного века (неолитические) в Тункинской котловине, но это были для него тогда попутные наблюдения.

В отчете Сибирского отдела Географического общества за 1867 г. руководство отдела сочло необходимым отметить успех молодого ученого без университетского образования:

> «Обратимся теперь к трудам другого неутомимого молодого путешественника, исполнившего свою программу с особенным трудом и любовью к делу. Учитель иркутской военной начальной школы, И. С. Поляков, добровольно вызвавшийся участвовать в Олекминско-Витимской экспедиции для зоологических и ботанических изысканий, был достойным сотрудником Кропоткина. В этом первом его опыте путевых исследований высказалась любовь к естествознанию и научная подготовка, доставшаяся ему путем тяжелого труда».

Статья Полякова обратила на себя внимание, и на следующее лето молодому натуралисту была выдана субсидия на самостоятельную поездку в Восточные Саяны. На лодке Поляков проехал по Байкалу, затем сушей углубился в отроги Саянского хребта. В пути собрал сотню видов растений, настрелял птиц, добыл коллекцию древних

каменных орудий (первый экскурс в археологию) и составил новый отчет — и этот тоже опубликован.

2. Вдвоем в Университете. Но Поляков понимал, что его исследованиям не хватает широты кругозора, даже сибирские коллекции для сравнения — в основном в Петербурге, да и вообще необходимо высшее специальное образования. «В виде изъятия из действующих правил», на что потребовалось «Высочайшее разрешение», ему было разрешено уволиться из Военного училища для поступления в одно из высших учебных заведений Российской империи.

Между тем после восстания польских каторжан 1866 г., подавленного армией, осенью 1867 г. 24-летний князь Кропоткин оставил военную службу, уехал в Петербург и поступил в Университет на физико-математический факультет и одновременно на службу в Статистический комитет (под руководство знаменитого географа П. П. Семенова-Тян-Шанского). Поляков подался за ним в Петербург. Но поступить в Университет ему было гораздо труднее, чем Кропоткину. У него за спиной не было Пажеского корпуса и даже простой гимназии. Перебиваясь частными уроками, он готовился к сдаче экзаменов экстерном за гимназию. Несколько раз он проваливал сдачу латыни. Наконец, перебравшись в Харьков и устроившись на дешевой квартире, куда попасть можно было только с крыши через окно, он сумел подготовиться, чтобы сдать все экзамены. Вернувшись в Петербург, он поступил в Университет. Некоторое время они учились с Кропоткиным параллельно — бывший офицер и его порученец, Кропоткин помогал ему.

Князь П. А. Кропоткин, ученый и анархист

Но пути их понемногу расходились. Поляков с жадностью слушал лекции по зоологии, ботанике, геологии, географии, этнографии и естественной истории. Когда он еще был

студентом, Географическое общество уже поручало ему серьезные зоогеографические исследования. В 1871 г. ему выделили деньги на шестимесячный объезд восточного берега Онежского озера. В Олонецкой губернии он выявил 140 видов птиц, 36 видов млекопитающих, уйму рыб, описал быт населения и открыл памятники каменного века. Тут уже археологию он выделил в отдельное исследование и написал большой (почти 50 страниц) очерк «Следы каменного века на юго-востоке Олонецкой губернии». Летом 1873 г. таким же манером обследовал восточную часть Олонецкой губернии, с такими же результатами. В 1874 г. по поручению Общества естествоиспытателей обследовал озера Верхнего Поволжья — на лодках, пешком, с ружьем в руках. На берегах многих озер найдены следы каменного века.

А Кропоткин всё больше отходил от геологической науки и всё больше втягивался в размышления о социальных проблемах, проникался идеями анархизма — безгосударственного коммунизма. Он писал впоследствии, что ученик не разделял его политических взглядов. В 1872 г., во время поездки за границу, Кропоткин связался с революционерами и вступил в I Интернационал, где лидером был М. Бакунин. Вернувшись в Россию, включился в первые народнические кружки.

21 марта 1873 г. сделал доклад в Географическом обществе о своем самом сенсационном открытии — об оледенении Сибири в прошлом (в рамках теории ледникового периода). А назавтра был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Одновременно, как раз во время сдачи экзаменов по окончанию Университета, был проведен обыск у Полякова, и он тоже был арестован. Никаких показаний против Кропоткина от него не было получено. Как писал впоследствии Кропоткин о своем подопечном, «он скорее пошел бы в Сибирь, чем оговорил бы другого» (Кропоткин 1966: 297–298).

Но репрессии жандармов XIX века были по меркам XX века очень либеральны: Полякова выпустили, и этот эпизод никак не сказался на его окончании Университета и дальнейшей карьере. А научное имя Кропоткина было столь значительно, что, по распоряжению Александра II, ему были предоставлены письменые принадлежности, и он писал в каземате свое «Исследование о ледниковом периоде». Страницы его он передавал на волю Полякову, и тот редактировал это произведение. В каземате Кропоткин заболел цингой и был переведен в лазарет. Оттуда летом 1876 г. он совершил побег и через Финляндию перебрался за границу, в Англию. Эмиграция его затянулась до 1917 г.

В 1874 г. Поляков, закончив Университет, получил звание кандидата естественных наук. В то время это было нечто типа современного магистра. А для научной степени типа нынешней кандидатской требовалась защита как раз магистерской диссертации (с тех пор звания поменялись местами).

3. В Академии наук и за границей. Сразу по окончании Университета Полякова пригласили на должность хранителя Зоологического музея Академии наук по отделу позвоночных животных. Это означало регулярное жалованье и постоянные средства к существованию. Можно было отказаться от частных уроков и заниматься только наукой. В 1876 г. Академия наук командировала его в долину р. Оби, в 1877 — на Кузнецкий кряж. Из обоих путешествий Поляков по своему обычаю привез обильные зоологические материалы, а также древние каменные орудия. Впервые орудия из Кузнецкого бассейна были им описаны в отдельной статье «Каменные орудия Курганского округа» в «Известиях Общества любителей естествознания» (том XXV).

Зимой 1878 г. его отправили в Гельсингфорс (Хельсинки, тогда это не была заграница) для занятий в Зоологическом музее, а летом — в среднюю Россию уже специально для обследования остатков каменного века. Это было поручение комитета по устройству Московской антропологической выставки. По их просьбе Поляков осмотрел могильник, как тогда полагали, каменного века возле деревни Фатьяновой Ярославской губернии. За пять лет до того известный меценат Савва Мамонтов подарил Московскому археологическому обществу несколько черепов, горшков и каменных орудий, собранных его инженером Андионом в карьере, где брали гравий для Ярославско-Вологодской железной дороги. Поначалу поручили инженеру и провести раскопки, но они не удовлетворили археологов. Тогда раскопки там провел сам А. С. Уваров с коллегами в 1875 г., и добыли каменные топоры, шарообразные сосуды и черепа. Вот теперь решено было увеличить коллекцию для антропологической выставки 1879 г. Отчет Полякова назывался «Кладбище каменного века у деревни Фатьяновой» и был напечатан в тех же «Известиях ОЛЕАЭ» («Антропологическая выставка, т. III). Это была первая печатная работа по фатьяновской культуре. Уже в книге «Каменный век» на основе анализа металла Уваров (1882: 395) смог установить, что это самый «конец каменного периода» и даже «первое начало бронзового века».

Уваров и другие археологи указали ему на местности в долине Оки, которые изобиловали остатками каменного века. Поляков направился туда и посетил дюны на левом берегу Оки (Плеханов Бор и другие) в имении Л. С. Голицына, а затем Карачарово около Мурома в имении Уваровых и на противоположной стороне Оки — Волосово. Вместе с Уваровым и профессором Антоновичем он произвел раскопки и собрал коллекции. Волосовская стоянка открыта В. В. Докучаевым, обследована Уваровым, и помощь естествоведов Полякова, Богданова и Тихомирова была графу важна для определения костей человека и животных. Он правильно установил поздний характер волосовской культуры. Характерно, что и у начала исследования этой ныне известной археологической культуры тоже стоит Поляков.

Что касается Карачарова, то здесь за год до приезда Полякова половодьем был обнажен слой с кремневыми орудиями и костями животных. Первичное обследование провел сам Уваров и заподозрил фауну мамонта и палеолитический возраст. Вместе с раньше обнаруженным местонахождением Гонцы в Полтавской губернии Карачарово образовывало сеть палеолитических памятников России: то — на Украине, это — в коренных русских землях. Эти данные входили в противоречие с представлением датчанина Ворсо о необитаемости России в палеолитическую эпоху. Для более детального обследования Уваров пригласил в Карачарово археолога В. Б. Антоновича, геолога В. В. Докучаева и зоолога И. С. Полякова. Они единодушно пришли к выводу о палеолитическом возрасте остатков.

Вернувшись из этой поездки, Поляков получил командировку за границу для ознакомления с зоологическими коллекциями иностранных музеев и усовершенствования в определении видов рыб, а также для осмотра археологических коллекций. Он посетил Швецию, Данию, Германию, Францию, Швейцарию и Австрию. Вот была полная возможность познакомиться на месте с достижениями европейской науки.

В 1879 г. Поляков осмотрел московскую антропологическую выставку и отправился дальше в глубь России для исследования доисторической археологии некоторых местностей. Это было поручение Академии наук — теперь уже чисто археологическое. Зацепкой для него было давнее сообщение академика Самуила Гмелина, что город Костенск-на-Дону (ныне село Костенки в окрестностях Воронежа) получил свое название от изобилия ископаемых костей. Когда Петру I, наблюдавшему в Воронеже за строительством Азовского флота, доложили о находках костей слонов, он решил, что это слоны Александра

Македонского, «ходившего воевать скифов». Через полвека академик Гмелин побывал на месте и выкопал несколько костей мамонта. Поляков понимал, что правы Кропоткин, Бакленд, Агассис и другие основатели ледниковой теории: в ледниковый период здесь бродили длинношерстные мамонты. И он захотел выяснить, не найдутся ли рядом следы доисторического человека.

В село Поляков приехал со становым приставом и стал расспрашивать крестьян, где находят огромные кости. Крестьяне отмалчивались. Поляков (1980: 43) объяснял это суеверным страхом: «Мои занятия были приняты как дело антихриста». Скорее причина была в том, что от барина, приехавшего со становым приставом, крестьяне предпочитали держаться подальше, не быть с ним чересчур откровенными. Сломить этот бойкот удалось, обещав плату, а затем заложив в нужном месте котлован для местного псаломщика, собиравшегося строить амшаник. К концу второго дня землекопы закричали: «Барин, мослы пошли!» Идея Полякова полностью оправдалась. На глубине полутора-двух аршин (1–1,5 м) Поляков нашел кости мамонта, насчитав (по лопаткам) кости десяти мамонтов. Рядом с ними были следы золы, угли, кремневые отщепы с признаками искусственной оббивки — «прелестнейшие каменные кремневые орудия». Открытые следы проживания доисторического человека произвели на археолога Полякова (1880: 24, 27) «неизгладимо глубокое, потрясающее впечатление».

Первое сообщение об этом Поляков опубликовал в 1880 г. в брошюре «Антропологическая поездка в Центральную и Восточную Россию, исполненная по поручению Академии наук». Формозов, интересовавшийся со студенческих лет палеолитом, пишет (1883; 47): «Помню, я был очень счастлив, когда еще в студенческие времена, в 1940-х гг., в букинистическом магазине на Арбате мне попалась маленькая книжка с желтой бумажной обложкой, выпущенная в 1889 г.». Еще бы! К этому времени Костенки были уже классическим памятником палеолита не только для русских археологов, но и в мире. Формозову как историку науки были по душе и непосредственная реакция Полякова на открытие («прелестнейшие орудия», «потрясающее впечатление»): «Ни таких подробностей, ни таких признаний мы не найдем в современных археологических книгах, но лишним счесть всё это нельзя. Мы чувствуем аромат эпохи. Нам передается волнение ученого-первооткрывателя» (Формозов 1983: 52). Ну, в сочинениях раскопщиков того времени, особенно античников, были нередки такие эмоциональные восклицания, но

в отчетах они становились всё реже: им там не место. Иное дело — очерки для публики.

После открытия в Костенках стало совершенно ясно, что доисторические люди жили не только в пещерах, а и на равнинах, так что искать их следы можно везде, где земля не была закрыта ледником. Обследуя неолитические местонахождения, Поляков сделал верный вывод, что они существовали уже после оледенения, — фауна была в это время другой, близкой к современной. Черепки Поляков хотя и брал иногда, но в общем керамику, как и многие его современники, недооценивал. Формозов отмечает и другие недостатки его работ: не указывал точных координат, полагал, что зубы мамонта использовались как топоры и т. п. Ошибки, естественные для первых шагов отрасли.

В XX веке в Костенках и окрестностях открыт еще ряд стоянок, именуемых по номерам: Костенки I, II, III и т. д. В память о первооткрывателе Костенки I именуются «стоянкой Полякова».

Все результаты изучения Поляковым Волосова, Фатьянова и Карачарова описаны в его чуть более поздней книге «Исследования по каменному веку в Олонецкой губернии, в долине Оки, на верховьях Волги» (опубликованы в 1881 г., а в 1882 г. переизданы в Записках Русского Географического общества по отделению этнографии, том IX). Обе работы переведены на немецкий под названием «Антропологическое и доисторическое из разных частей Европейской России» и в 1885 г. вышли в немецкоязычном издании — «Материалах к познанию России и соседних стран Азии».

В течение всего этого периода Поляков выполнил целый ряд других работ. Он описал дикую лошадь Пржевальского из пустыни Лоб-Нор, ископаемого верблюда, найденного на Волге, мышей-полевок, водящихся в Сибири. Последние стали его диссертацией, за которую ему присвоили степень магистра зоологии (напечатана в 1881 г.). У зоологов полевки считались очень трудным материалом для систематизации. Отец Формозова, профессор зоологии, очень ценил эту работу Полякова, считая, что задача была решена Поляковым очень убедительно и изящно. А для издания «Живописная Россия» Поляков написал обзор «Каменный век в России». Он был к этому времени уже признанным археологом.

4. Сахалинская экспедиция. В 1880 г., т. е. через пять лет после того, как Япония признала за Россией весь Сахалин, статс-секретарь К. К. Грот возжелал получить научную консультацию, можно ли

по-настоящему колонизовать остров Сахалин, и предоставил для этой цели Географическому обществу капитал в 5000 рублей. Географическое общество создало комиссию, та выработала программу, и выбор исполнителя пал на И. С. Полякова, сочлена Общества, «известного своими многочисленными трудами по изучению вопросов зоогеографических и антропологических». Ему была также поставлена задача разыскать следы более древних, ныне вымерших народов.

Весною 1981 г. на пароходе Добровольного флота Поляков отправился из Петербурга и пробыл в экспедиции около трех лет. Он не только обследовал Сахалин и прилегающее побережье Дальнего Востока, но и посетил Японию, прожил там почти полгода. Выполняя в числе прочих задачу археологического обследования территории, он раскопал стоянку с каменными орудиями в Приморье у бухты Нарва, затем такую же на Сахалине и даже в Японии (поселения Омори и Синачава). Некоторое время он пробыл в Южном Китае и через Сингапур и Суэц вернулся в Россию. С собою привез около сорока ящиков материалов зоологических, ботанических, этнографических, также черепов айнов (обитателей Южного Сахалина). Отчет был опубликован в Записках Академии наук в 1884 г.

А. П. Чехов, посетивший каторжный остров Сахалин в 1890 г. и пять лет писавший свою книгу «Остров Сахалин», прочел перед своей поездкой наличную литературу об острове, в частности три сочинения Полякова (Формозов насчитал 34 упоминания). Он пишет о Полякове: «Его уже нет в живых. Он умер вскоре после своего путешествия на Сахалин. Если судить по наскоро написанным эскизным запискам, то это был талантливый и всесторонне образованный человек». Как видим, называет Полякова «талантливым и высокообразованным человеком», но сочинения его оценивает как «наскоро написанные эскизные записки» (Чехов 1978: 166–168). Так оно и есть: Поляков придавал особую ценность именно путевым наблюдениям и их непосредственной точной передаче. Он умел делать и обобщающие исследования (как диссертация о полевках), но тут другой жанр. В работах о каменном веке он просто еще не дошел до такой стадии, да и археологичекская наука еще не созрела до такой степени, как зоология.

Чехов (1978: 143–144) жалуется на то, что «утомительно читать описание этого путешествия благодаря той добросовестности, с какою он перечисляет все пороги, перекаты, встреченные на пути». Путешественник, который захотел бы пройти тем же путем, оценит совсем иначе эту добросовестность, равно и будущий исследователь, который захотел бы во всей полноте представить себе жизнь на этой реке.

5. Катастрофа. О дальнейшем коллега и очевидец событий Анучин (1958: 103) пишет:

> «По возвращении в Петербург И. С. думал заняться подробной разработкой своих коллекций, но упорная болезнь стала подрывать его силы. Первые припадки этой болезни он почувствовал по возвращении с Сахалина, затем они стали всё усиливаться. И. С. вообще отличался необыкновенно крепким здоровьем и едва ли когда-нибудь серьезно болел <...> Весной прошлого года он приехал на побывку в Москву для лечения у своих знакомых врачей <...> У него не действовали ноги, он едва владел руками, голова была не в порядке: он сейчас же забывал, что говорил, и повторял один и тот же вопрос до 17 раз без промежутков».

Формозов, отделенный от событий столетием, пишет откровеннее (1883: 49): «Он жил бобылем, бедно, неустроенно, стал пить и умер в 1887 г. в возрасте 40 лет» (на деле в 42 года. — Л. К.).

Еще яснее пишет Н. Н. Иванов (1910: 482) в «Русском биографическом словаре» А. А. Половцова:

> «В это время упорная болезнь, последствие злоупотребления спиртными напитками, особенно сильно овладела им, и у него отнялись ноги, руки и плохо работала голова. Полечившись в Москве, он вернулся в Петербург почти здоровый, но ему были запрещены научные занятия и употребление вина. Однако он не был в состоянии удержаться от своей пагубной страсти и ранней весной 1887 г. слег в постель, был отправлен в больницу, где и умер от хронического воспаления печени 5-го апреля 1887 г.».

В некрологах можно уловить намеки на какую-то личную драму, но Формозов полагает, что в трагической судьбе Полякова сыграла свою роль и общая ситуация в стране — «наступление реакции на традиции шестидесятых годов». Думается, что считать Полякова шестидесятником — некоторая натяжка. В 60-х он был порученцем у Кропоткина, потом учителем в начальной школе. В 70-х его арестовывали жандармы — в 80-х этого не было. Вряд ли политические перемены 80-х так уж коснулись Полякова. Он проводил основное время в экспедициях, вдали от всей общественной жизни, да и политических взглядов Кропоткина не разделял.

Впрочем, Г. Н. Потанин (1903) упоминал частично опубликованный роман Полякова из сибирской жизни, в котором шла речь и о сосланных декабристах.

Личная драма вполне возможна, но главное — для сибирских народов алкоголь биологически более разрушителен, чем для европейцев. Главврач республиканского наркологического диспансера Бурятии (с 1985 по 2008 гг.) канд. мед. наук А. А. Диль отмечает, что Бурятия на первых местах среди регионов России по вредоносности алкоголя. Он считает, что в крови бурят и этнических русских с восточными корнями имеется некий характерный для монголоидов ген, являющийся источником быстрой алкоголизации. У потомков монгольских кочевников, знавших алкоголь только в виде алкогольного напитка кумыса, мало ферментов быстрого расщепления «европейского» алкоголя. Они пьянеют после первой рюмки, становятся неадекватными и агрессивными, испытывают тяжелое похмелье и быстро спиваются (Родионов 2008).

Н. И. Платонова считает (личное сообщение 20 января 2011 г.), что Полякова разбил инсульт в результате напряженной работы без отдыха, а в конце он попытался дать себе отдых, но отдыхать не умел, тут-то и подстерег его алкоголь. Так или иначе, алкоголь в конце.

Со своей стороны я видел неоднократно, как алкоголизм выкашивал целые когорты талантливых русских археологов. Причины этого подыскивались самые разные, у каждого свои — личные драмы, социальные недуги, непризнание и происки коллег, дурные традиции, — тогда как прежде всего в основе лежали небрежение опасностью и самоуверенность. Что уж и говорить об отпрысках популяций, природно нестойких к алкоголю. Стоит только начать... В какой-то момент Поляков поддался этой напасти — и блестящее восхождение к вершинам науки оборвалось. Японские материалы остались необработанными, коллекции были рассеяны среди друзей и коллег...

Удачливый искатель

В. В. Хвойка

Удача — это постоянная готовность
использовать шанс.
Дж. Фрэнк Доуби

1. Формирование искателя древностей. Хвойка — вероятно, самый спорный из отечественных археологов. Спорно в нем всё, начиная с имени и фамилии — национальная принадлежность, определение его профессии, оценка его деятельности и его основные концепции. Чех по национальности и подданный Австро-Венгерской империи, он приехал в Россию, стал видным агрономом и коллекционером, жил на Украине, но писал и говорил по-русски, а теперь считается национальным украинским археологом (Бахмат 1964; Шовкопляс 2000; Колесникова 2008а, 2008б[1]). Фамилия его и по-русски и по-украински пишется то Хвойка, то Хвойко. В Чехии он был Хвойка, но, поскольку на Украине многие фамилии оканчиваются на «-ко», его слегка украинизировали.

Было и есть много нареканий на качество его работ — как полевых, так и осмысляющих, но никуда не уйти от того факта, что он ввел в отечественную археологию ряд первоклассных памятников и несколько самых аттрактивных археологических культур: трипольскую, зарубинецкую, черняховскую. Он первооткрыватель. Хотя и это не во всем бесспорно.

Родился первооткрыватель в 1850 г. в чешском селении Семин на Эльбе (Лабе) в империи Габсбургов (ныне Чехия) как Винцент (Честослав) Хвойка. По словам самого Хвойки и его почитателей, род был шляхетский, но в Тридцатилетнюю войну после поражения чехов под Белой горой имущество семьи и все документы были разграблены,

---

[1] В. А. Колесникова прочла мой очерк о Хвойке в рукописи, и ее замечания мною с благодарностью учтены.

и Хвойки стали обычными, хотя и зажиточными крестьянами. Есть большое подозрение, что этими сказками мечтательный и предприимчивый чех стремился обзавестись знатными предками для вящего престижа. Феодальная идеология империи Габсбургов и Российской империи определяла его систему ценностей. Точно так же впоследствии он стремился обеспечить знатных предков — скифов и трипольцев — и своему новообретенному народу — русскому.

В 1864 г. по окончании сельской школы и коммерческого училища в городке Хрудим 14-летний Винцент Хвойка подался в Прагу, где работал садовником. По его рассказам, уже в это время он увлекся идеями национально-освободительного движения и панславизма и начал читать исторические книги, коллекционировать антиквариат. По этой версии, в Россию его потянули идейные симпатии. Но есть и конкурирующая версия: погнала некая несчастная любовь.

В 1876 г. на 27-м году жизни эмигрировал в Россию и поселился на Украине, тогда части России. Никаких особых национально-освободительных целей в его действиях этого времени не видно, да такая мотивировка и не требовалась для эмиграции славян из империи Габсбургов. Уезжать надо было: в семье отца было 9 детей. Правда, в конечном счете все неплохо устроились, но старшего поманила общая тяга к дальним землям. Последние десятилетия XIX века как раз характеризовались интенсивной экономической эмиграцией из Чехии — в поисках лучшего заработка. Самые предприимчивые рвались в Америку, более держащиеся за языковое родство — в Россию.

В. В. Хвойка

На Украине Хвойка, став Викентием Вячеславовичем, устроился преподавать немецкий язык, рисование и фехтование в семье Дефорен (с. Петрушки под Киевом), хотя основное жилье оставалось в Киеве. Но он успешно занимался и агрономией (его достижения в выращивании хмеля отмечены на сельскохозяйственных выставках в 1884 г. в Ромнах (бронзовая медаль), в 1897 г. в Харькове

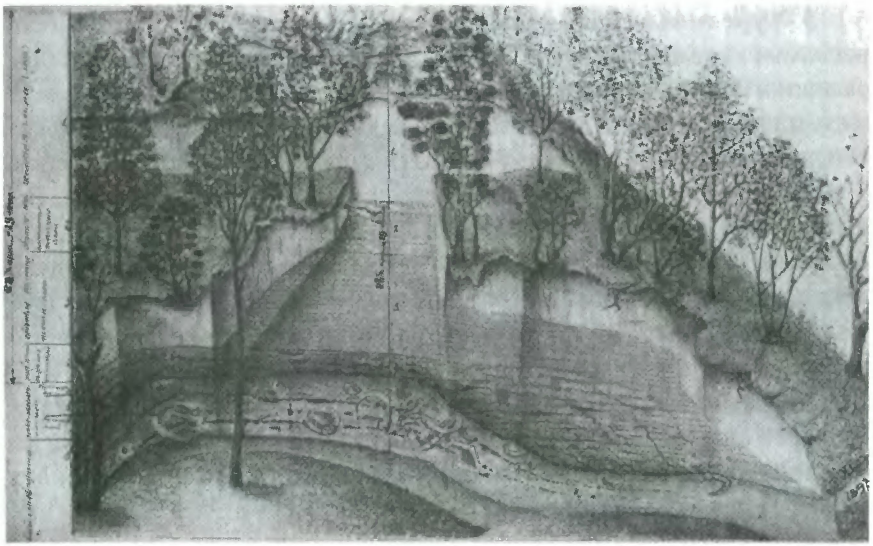
(тоже бронзовая) и в 1889 г. в Париже (серебряная медаль). Это и была его основная деятельность. Написал даже две книги по сельскохозяйственной тематике. Французская Национальная Сельскохозяйственная Академия избрала его своим членом. Он был честолюбивый человек и искал известности в разных отраслях деятельности.

В этом же селе Петрушки на арендованном участке Хвойка сушил свой хмель. При сушке в сарае вспыхнул пожар, всё сгорело. Пришлось строить новый сарай. Но Хвойка был везуч: роя землю для фундамента, нашел клад — древнерусские браслеты. Продав находку за 60 рублей (по тому времени изрядная сумма), он пристрастился к коллекционированию древностей и стал этим известен в кругах археологов (вот и новая версия начала коллекционирования, но уж очень романтическая). Профессор В. Б. Антонович его и позже упоминал именно как «коллекционера Хвойко». Он привлек этого коллекционера к участию в раскопках с 1890 г.

Хвойка часто посещал Киев, подолгу жил в нем, а с 1898 г. поселился навсегда в двухэтажном доме на углу Игоревской и Братской улиц (сейчас на доме — мемориальная доска).

2. Палеолит на Кирилловской улице. Перемещение центра жизненых интересов в археологию произошло весьма поздно — когда Викентию Вячеславовичу было 53 года. В 1893 г. по своим коммерческим интересам он наблюдал за земляными работами на Кирилловской улице в Киеве. Там, на Подоле, на Кирилловских высотах, был небольшой карьер — брали глину для кирпича. Хвойка знал, что профессор Антонович с 1870-х гг. ищет на Днепре палеолитические стоянки. В России они уже были известны — в Гонцах под Полтавой, в Костенках на Дону, в Карачарове на Оке, в Крыму. Поэтому, когда Хвойка увидел в земле желтое пятно и разглядел некую большую кость, он тотчас заподозрил бивень мамонта и вызвал профессора Антоновича. Тот подтвердил догадку Хвойки и посоветовал ему поискать, не найдутся ли рядом кремневые орудия. Орудия нашлись. Так была обнаружена на глубине ок. 20 м Кирилловская палеолитическая стоянка, и с этого началась археологическая карьера Хвойки.

Местные жительницы из суеверных представлений о целебности великанских костей бросились тут же откапывать кости для себя. Хвойка нанял охрану и огородил место, но собралась такая толпа, что могли всё разнести (по другой версии — и разнесли). Пришлось всё сразу снимать и уносить. Так Хвойка впоследствии объяснял, почему нет дотошных чертежей и фотоснимков. Верить ли, что невозможно



Палеолит на Кирилловской улице,
рисунок Хвойки с обозначением слоев

было нанять охрану побольше, или не верить, но чертежей и фотоснимков нет. Просто собраны кости и орудия.

Кости мамонтов оказались от 67 особей, а имелись тут и кости шерстистого носорога. На одной из костей мамонта была отчетливая гравировка — рисунок или орнамент. Орудия были мадленского типа, то есть, как теперь ясно, древностью в 18–10 тыс. лет. Часть орудий подарена Хвойкой французским археологам, приехавшим знакомиться с сенсационными находками. Эти вещи и сейчас хранятся во французском Музее национальных древностей Сен-Жермен под Парижем. Комплекс был разрознен.

Хоть это и была не первая находка палеолита на территории России и даже на землях Украины, палеолитические стоянки — большая редкость, и находка (опубликована в 1899 г.) быстро приобрела всемирную известность. А с нею и ее исследователь — Хвойка никому не уступил право раскопать этот памятник, копал сам, в 1894 г. и последующих годах, правда, с консультациями Антоновича и других светил. Но копал неумело, ни планов, ни других чертежей не делал. По памяти сделан лишь рисунок общего вида раскопа (Радиевская и Беленко 2011: 35, рис. 2). В последующие годы его раскопок на этом месте обнаружились и более поздние слои — неолитический и бронзового века.

3. Курганные раскопки. В поисках предков славян он начал раскапывать близлежащие курганы. Решиться на самостоятельные раскопки коллекционеру было боязно, но кости мамонтов пересилили и сломали эту боязнь. А перешагнув через эту черту и осмелев, пожилой дилетант начал интенсивно копать курганы и другие памятники. Его современники — Н. Е. Бранденбург, А. А. Бобринский, В. А. Городцов, А. А. Спицын — копали уже очень тщательно, с интенсивной фиксацией. Ничего этого у Хвойки не было. Он пробивался к вещам, искал эффектные вещи для коллекций. Описания минимальны, чертежей практически никаких, только иногда эскизные зарисовки. Но коллекции накопились интереснейшие.

Довольно быстро он сообразил, что в этих памятниках он имеет дело не со славянами, а со скифами, которые были археологии уже хорошо известны на Украине. В одном из писем Хвойка пишет о предмете из коллекции:

> «Предмет, о котором идет речь и набросок которого прилагаю в настоящем письме, сделан из бронзы высотой 36 см, а шириной 37 см. Найден в Екатеринославской губ. и у с. Высокая Гора. Как приблизительно видно из моего рисунка (не вполне законченного), состоит он из конусообразной с четырьмя дырками основы, над которой идут 4 ветви, заканчивающиеся вверху каждая орлами, вдоль каждой ветви имеется по 4 изображения зверей. От орлов (их 5) спускается цепочка с привесками, заканчивающаяся всегда колокольчиками. Смотря на самый предмет, можно предположить, что он изображал собой скифское знамя» (ИАК-150: 444).

Это знаменитое навершие, в котором современные исследователи распознают изображение «скифского Папая» — главного бога скифов. А письмо направлено в Петербург. Дело в том, что в 1896 г. в Киеве побывал председатель Императорской Археологической комиссии граф А. А. Бобринский. Он предложил Хвойке представить свои коллекции в Петербург «на Высочайшее обозрение». Хвойка отправил в Петербург пять ящиков и отчет о раскопках 1893–1896 гг., в котором дал и периодизацию древностей: палеолит-неолит (когда люди жили в пещерах и землянках) и конец неолита.

Коллекцию свою, которая насчитывала три тысячи номеров, Хвойка оценил в 8000 рублей. Археологическая комиссия решила коллекцию приобрести для государства и определить ей местом постоянного хранения строящийся Киевский музей древностей и искусств. Но запрошенных денег у Комиссии не было, и она предложила 4000.

Перспектива оставления коллекции в Киеве вдохновила Хвойку (он был одним из инициаторов музея), и он согласился на эту половинную цену. До завершения строительства коллекция должна была храниться в Киевском университете, в мюнц-кабинете, у Антоновича.

Продолжая раскопки в 1897–1900 гг., Хвойка раскопал курганы у села Жаботин, у с. Оситняжка и др. Опубликовали основные результаты Б. И. и В. Н. Ханенко в 1899 г. В кургане у с. Оситняжка были найдены золотые пластины от головного убора и другие золотые вещи. В кургане у с. Жаботин — костяная пластина с гравированными хищными птицами и копытными. Подробные описания погребений отсутствуют, этой вещи нет и в описи. Сейчас археологи сомневаются, а была ли она найдена в данном кургане.

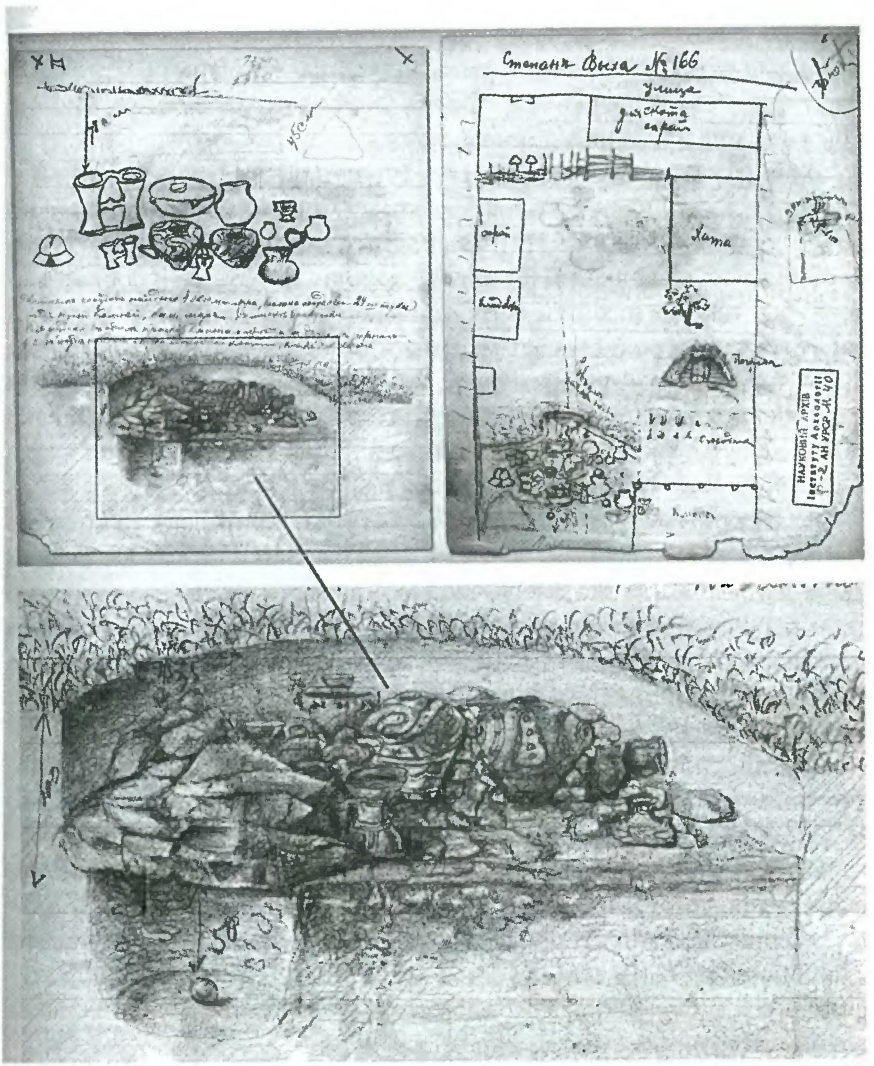
Хвойка наткнулся и на скифские городища — Матронинское и Пастырское. Методика раскопок была самая примитивная, точнее не было никакой методики. Не имея достаточно средств для раскопок, Хвойка просто вспахал Пастырское городище плугом и собрал выдернутые плугом находки. А городище было двухслойным: верхний слой был раннесредневековым, а нижний — скифским, и скифскими были укрепления. Следовательно, для Хвойки скифские укрепления и раннесредневековая культура слились в одно. На рубеже XX века так из археологов не копал уже никто.

4. Открытие трипольской культуры. Зачином к открытию трипольской культуры послужили те же раскопки на Кирилловской улице в Киеве, когда оказалось, что там есть еще и верхние культурные слои. С 1894 г. в этих верхних слоях обнаруживались ямы со следами очагов и черепками посуды. Хвойка принял эти ямы за землянки, но позже они были интерпретированы как печи для обжига керамики. Расширяя свои раскопки в Киеве, Хвойка обнаружил до 70 таких ям.

Правильно определив их неолитический возраст, Хвойка решил, что та же культура должна присутствовать и ниже по Днепру. Это казалось ему естественным. Не сомневаясь, что тут жили земледельческие предки славян (какое население еще могло быть оседлым и земледельческим на Днепре!), он считал, что они занимали большую территорию, пригодную для земледелия. Вообще его внимание к агрономическому аспекту древнего населения, видимо, определялось его собственной исходной специализацией. На подольском толчке он купил сосуды из Веремья.

В 1896 г. он приступил к раскопкам близ сел Триполье (укр. Трипиле), Веремье и Жуковка. Наряду с «землянками» типа кирилловских,

он обнаружил здесь площадки из обожженной глины и принял их за остатки жертвоприношений и погребений. Позже оказалось, что это были руины глинобитных домов, сожженных перед оставлением. На X Археологическом съезде в Киеве в 1899 г. меценат Б. И. Ханенко, поддерживавший Хвойку, пригласил участников съезда проехаться на пароходе к местам раскопок Хвойки. Вызвалось 40 человек. Маршрут был около 70 км вниз по Днепру, к окрестностям сел Гребенцы



Страницы из дневников В. В. Хвойки с трипольскими находками (из работы М. Ю. Видейко 2011 г. о полевых дневниках В. В. Хвойки, рис. 3).

и Ржищев. Тут в траншеях их ожидали остатки углублений с керамикой и раковинами, имелись и два расписных сосуда. Через несколько дней Хвойка делал доклад на съезде (опубликован в Трудах съезда, т. I, 1899). Поскольку наиболее характерные памятники этого типа были открыты в Триполье, в работе 1904 г. Хвойка назвал эту культуру трипольской. Так в науку вошла трипольская культура.

Докладывая свои открытия на Археологических съездах — не только XI (Киев 1899), но и XIII (Екатеринослав 1905) и XIV (Чернигов 1908), Хвойка предложил и первую периодизацию трипольской культуры. Он разбил материалы на культуру А (медный век) и культуру Б (каменный век). Как видим, у него Б раньше, чем А. Потом Т. С. Пассек отказалась от этой связи с медью и камнем (связь другая) и предположила, что культура А раньше. Да и вообще она ввела более дробную периодизацию.

Но первые публикации неолитической расписной керамики, позже получившей название трипольской, относятся еще к 1870-м гг. и принадлежат А. Шнайдеру (в 1874 г.) и А. Киркору (в 1876). Это трипольские стоянки Кошиловцы и Бильча Злота в Западной Украине. А раскопки в Кукутенах (Румыния) с идентичной культурой начались в 1885 г. С этой точки зрения Хвойка — не первооткрыватель трипольской культуры. Но придал ей известность в России он, и назвал ее он.

В 1913 г. Хвойка издал обобщающий труд «Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторические времена». В ней он излагал свои выводы о трипольской культуре. По его убеждению, это было оседлое земледельческое население, а по племенной принадлежности это был «арийский» (то есть индоевропейский) народ, прямые предки восточных славян. Их арийская природа доказывалась длинноголовостью и кремацией покойников (за остатки которой он принимал глиняные площадки). Связь со славянами виделась ему в землянках (за которые он принимал гончарные печи) и в земледелии. А на скифских городищах Хвойка подмечал те черты, которые можно было связать со славянами, с одной стороны, Трипольем — с другой. Получалась непрерывная линия преемственности. Всё это цементировалось его панславянскими идеями.

Уже в обсуждении доклада на XI съезде В. А. Городцов не согласился с интерпретацией площадок как мест жертвоприношений или погребений, увидев в них жилища. Ф. К. Волков и В. Б. Антонович видели в его раскопках нераспознанные гончарные печи. Н. Ф. Беляшевский, археолог и этнограф, издатель «Археологической летописи

Южной России», резко критиковал его полевую методику как сугубо дилетантские покушения на науку.

Любопытно, что дилетантские измышления Хвойки уже в советское время легли в основу концепции славянского этногенеза, выдвинутой академиками Б. Н. Грековым, Н. С. Державиным и Б. А. Рыбаковым. В позднесталинское время (предвоенное и непосредственно послевоенное) эти академики развивали патриотическую концепцию местной, самостоятельной, автохтонной эволюции славянской культуры и государственности. Эта концепция соответствовала новой внутренней политике советского государства в условиях подготовки к войне и ведения Отечественной войны, а затем Холодной войны с Западом. Тогда же реноме Хвойки в советской историографии взлетело до небес. Особое место в этой концепции заняли поля погребений.

5. Поля погребений. В конце XIX века Хвойке, ведшему постоянные наблюдения и поиск, снова повезло в поле. Возле сел Черняхов, Ромашки, Зарубинцы и других он открыл новый тип памятников — поля погребальных урн. Поля погребальных урн известны по всей Европе, они характеризуют конец бронзового века и особенно первые полтора тысячелетия железного века. Это бескурганные могильники, пришедшие на смену курганам, а в могилах — глиняные сосуды (урны) с пережженными костями и сопроводительными вещами — керамикой, фибулами (застежками по принципу английской булавки), оружием. Поскольку летопись сообщает, что некоторые древнерусские племена хоронили прах своих сожженных покойников в глиняных сосудах, Хвойка очень обрадовался, найдя на Украине первые поля погребений, — до того их никто в России не находил. В то время, когда в Европе уже господствовали поля погребений, в степях Украины и всей России продолжали использоваться курганы — скифские, сарматские, половецкие и т. д. В курганах хоронили своих покойников и древние русичи. И вот оказывается, что европейская традиция вклинивается на территорию Украины полями погребальных урн или, сокращенно, полями погребений.

Поля погребений Украины отличались от распространенных западнее в Европе и группировались в две культуры. Одну Хвойка назвал черняховской по могильнику, раскопанному в 1898 г. на окраине села Черняхова Киевской губернии. В этих погребениях посуда чернолощеная, очень высокого качества. Другую культуру Хвойка назвал зарубинецкой — по могильнику у села Зарубинцы, тоже Киевской

губернии. В этих посуда попроще, и культуру эту Хвойка счел более ранней. По его мнению, обе — раннеславянские культуры.

Обобщение материалов последовало в статье «Поля погребений в Среднем Приднепровье (Раскопки В. В. Хвойка в 1899–1900 годах)» в «Записках Русского археологического общества». В ней Хвойка выделил семь периодов древностей Приднепровья. Первому тысячелетию н. э. соответствовали периоды пятый — с типами вещей еще близкими скифским (это зарубинецкая культура) и шестой — с полями погребений, уже близкими славянам (черняховская культура), а далее шел седьмой период — уже славянский. Да и в скифском периоде Хвойка отмечал славянскую натуру населения под греческими и ирано-скифскими влияниями. Так он трактовал вещи из кургана возле села Оситняжки.

Любопытно, что в системе Грекова — Рыбакова поля погребений играли ту же роль и именовались раннеславянскими. А ведь по датировке черняховская культура (II–IV вв. н. э.) в точности совпадает с тем, что хроники сообщают о готах в Причерноморье: приход во II веке н. э. и разгром и вытеснение гуннами в начале IV века н. э. Вдобавок ее инвентарь и обрядность очень близко схожи с такими характеристиками культур Германии и Скандинавии.

С германскими культурами, только другими, схожа и зарубинецкая культура. Ничего не попишешь, были тут германцы в I тысячелетии до н. э. Хроники античных авторов очень согласованно это сообщают. А было время, когда, наоборот, почти вся Германия была занята славянскими племенами (конец I тыс. н. э.). Исходить из древнего расселения в определении современных ситуаций незачем. По-всякому бывало.

Иное дело, что германские пришельцы, как и всякие другие в это время, были далеки от этнической чистоты, к ним примешивались и иранцы-сарматы, и кельты, и, возможно, другие народы, они испытывали влияния и греческие, и римские, и христианские (а это была смесь религий иудейской, иранской и египетской).

Эта картина была уже во времена Хвойки в основных чертах ясна более компетентным и объективным ученым (как П. Рейнеке, К. Такенберг, М. И. Ростовцев).

Однако, как пишет Г. С. Лебедев (1992: 261), любого из открытий Хвойки

> «достаточно для того, чтобы имя исследователя заняло почетное место в истории науки. <...> Созданная В. В. Хвойкой культурная стратиграфия Среднего Поднепровья, практически

непрерывная от каменного века до древнерусской эпохи, стала важнейшим достижением отечественной археологии. Слабым местом построений В. В. Хвойки была прямолинейная этническая интерпретация открытых им археологических культур».

Если бы только это! Слишком много фантазии и небрежности вторгалось не только в интерпретацию археологических памятников, но и в их добывание.

Да, Хвойке необыкновенно везло, и это везение неслучайно. В этом везении играла, безусловно, важнейшую роль яростная активность искателя, его энтузиазм, его смелость. С другой стороны, они не имели основательной базы в самой личности энтузиаста. Энтузиазма мало, нужна профессиональная подготовка, иначе памятники не только обнаруживаются, но немедленно портятся или даже уничтожаются навсегда. Требуется освоение методики и осторожность. Конечно, всё это чрезвычайно затрудняет охоту за древностями, делает ее медленной. На осторожных исследователей открытия приходятся, увы, редко.

А смелые дилетанты-самоучки не знают никаких правил, они лезут напролом. Наворотят порченого материала горы, но успевают за короткое время проверить уйму памятников, и вероятность ценных открытий очень повышается. Вот почему Хвойке везло, и везло закономерно. Но о многих его открытиях впору пожалеть. «В каждый

Акварель Хвойки с сосудами из погребений

полевой сезон он открывал по 8–12 археологических пунктов», — восхищаются его нынешние украинские почитатели-журналисты. Для современных археологов это представляется немыслимой спешкой, хотя, надо признать, многие известные археологи тогда так копали (хоть и с более аккуратной обработкой памятников).

В этом смысле самые успешные находчики — «черные археологи» современности. Я далек от приравнивания Хвойки к «счастливчикам» или «бугровщикам» того времени или к «черным археологам» нашего, ведь цели у одних — корысть, у других (каков Хвойка) — благо науки (впрочем, и честолюбие, и победа некоторых облюбованных идей), но их полевая методика руководствовалась одними и теми же принципами, и это принципы не научные.

6. Раскопки на Старокиевской горе. Древнерусские строения Хвойка обнаружил еще в 1894 г. Исследуя большую Флоровскую гору в Киеве, он вскрыл остатки двух древних мастерских — костерезной и ювелирной. А в 1907 г., осматривая склоны Старокиевской горы, Хвойка увидел в разрезе кирпичную кладку с очень узкими кирпичами — плинфами. Это признак Древней Руси, причем уже не бытовых построек, а княжеских или церковных. Он загорелся копать. Средства дали меценаты Б. И. Ханенко и М. А. Терещенко. Но часть горы была занята садом врача М. Петровского. Врач разрешил копать в саду, но запретил уничтожать садовые деревья. Этим Хвойка объяснил еще одно нарушение принятой уже в его время методики раскопок поселения — он стал копать памятник небольшими траншейками или ямами. Так началось исследование центра великокняжеского Киева.

Здесь на разных уровнях были памятники разного типа, в том числе и трипольские жилища. Кроме того, тут были остатки мастерских камнерезных, металлургических (с остатками литейных формочек), жилищ, жизнь в которых была прервана штурмом Батыя, и братская могила киевлян. Обнаружен был запрестольный крест от храма, кирпич с великокняжеским трезубцем («знаком Владимира»). А остатки каменных палат с фресками и мозаиками («терем княгини Ольги») доказывали, что это центр древнего Киева. Смотреть на открытые Хвойкой древности приехали виднейшие русские специалисты по славяно-русским и византийским древностям и искусству Н. П. Кондаков, Д. В. Айналов, Я. И. Смирнов, А. В. Щусев и др. Начались широкомасштабные раскопки. Украинские журналисты писали и пишут, что интригами завистников (или царской бюрократии, или русских

археологов) Викентий Вячеславович был отстранен от дальнейших раскопок. На деле всё было не так.

В Московском археологическом обществе близкий приятель Хвойки, профессор И. А. Линниченко, сделал доклад о его открытиях в Киеве, и впечатление от доклада было столь велико, что был поднят вопрос о необходимости выкупить усадьбу Петровского. Еще раньше о том же профессор Кондаков подал докладную записку президенту Академии наук великому князю Константину Константиновичу. Кондаков предлагал создать особую комиссию для этих раскопок. Перед этим он консультировался с Хвойкой, и предполагалось, что Хвойка и будет руководителем раскопок. Кондаков к этому времени уже вышел из Археологической комиссии из-за недовольства Бобринским, потому и планировал отдельную комиссию. Русское правительство обратилось к Археологической комиссии, и там, естественно, проект альтернативной комиссии Кондакова отвергли.

Правительство долго обсуждало этот вопрос, но так и не выкупило у доктора Петровского усадьбу, и там продолжал вести раскопки Хвойка. А большие ассигнования на раскопки Киева, рассчитанные на 10 лет, были отпущены Археологической комиссии. Та раньше Киевом не интересовалась, именно раскопки Хвойки пробудили интерес. Но Археологическая комиссия отказалась иметь руководителем работ Хвойку. В ней знали качество работ Хвойки по его старым отчетам и описям, да и работами на Старокиевской горе он уже показал себя: фрески, открытые в Киеве, не были зафиксированы и погибли. Осталось только сообщение о том, что они были. О работах Хвойки В. В. Латышев сообщал Московскому археологическому обществу: «Раскопки, проведенные в 1907 г. В. В. Хвойко в усадьбе Петровского в Киеве, признаются интересными, но преждевременными <...> Результатом работ г. Хвойко было уничтожение навсегда самого важного из открытых им памятников — фресок» (ИАК-150: 930).

Так что руководителем решено было назначить 28-летнего Б. В. Фармаковского — профессионального археолога, учившегося у Дёрпфельда в Афинах и прошедшего школу на раскопках Олимпии у Курциуса, а в последние годы зарекомендовавшего себя отличными раскопками (*lege artis!*) в Ольвии. Именно он ввел в Ольвии послойно-квадратную методику раскопок и фиксации, принятую на раскопках античных памятников и древнерусских городов до сих пор.

Работать ему в Киеве было крайне трудно. Во-первых, он должен был одновременно продолжать работу в Ольвии, так что он подобрал себе опытного архитектора Д. Милеева в помощники, чтобы на время

отсутствия замещал его в Киеве. Милеев оказался отличным работником и впоследствии полностью заменил Фармаковского. Во-вторых, в Киеве склоки и интриги отравляли ему существование. Киевские краеведы и администрация были обижены тем, что столичные деятели оттеснили их от пирога, и в прессе то и дело печатались нападки на руководство экспедиции Археологической комиссии: обвиняли экспедицию в нецелевом расходовании средств и т. п. Эту кампанию поддерживало Московское археологическое общество, всегда настроенное против Комиссии. Графиня Уварова всех подзуживала выступать против петербуржской Комиссии.

Параллельно с работами Фармаковского и Милеева 58-летний Хвойка продолжал свои раскопки вне выкупленного участка — Комиссия не могла ему это запретить, потому что работы шли на частных землях, а на них власть Комиссии не распространялась. Кроме того, Хвойку поддерживали Московское археологическое общество (графиня Уварова) и Кондаков из Петербурга (а Кондаков был очень авторитетным экспертом, вхожим в Зимний).

Уже о работах Хвойки в 1908 г. Бобринский писал:

> «В интересах науки, быть может, лучше было бы не копать вовсе, чем копать ямами, т. е. так, как наука не одобряет <...> Современная наука требует <...> детального знания техники производства археологических раскопок, иначе замечательные памятники часто будут (как это и случилось, к глубокому сожалению, минувшим летом в Киеве) безвозвратно гибнуть» (ИАК-150: 930).

Не раз, осматривая раскопки Хвойки в Киеве, граф отзывался о них так: «Хвойка по-прежнему разбрасывается туда и сюда. У него масса интересного, которое наполовину обнаружено и изгажено такими дилетантскими раскопками» (там же).

Хвойка видел рядом образцовые раскопки, проводившиеся Фармаковским и Милеевым по послойно-квадратной методике, отличавшиеся от его хаотичных траншеек и ямок, как небо от земли. Видел скопления чертежей, планов и профилей, дневники и фотографии — всё то, чего у него не было и что он делать не умел. Вот после всего этого в 1909 г., так и не добившись средств на масштабные раскопки, Хвойка оставил намерение продолжать раскопки в Киеве и перебазировался на раскопки древнего Белгорода. Подальше от контраста. Да и свои раскопки он постепенно улучшал: появлялись чертежи, зарисовки.

Граф Бобринский был удовлетворен. Не без юмора он писал в 1910 г.: «Был в Белгороде и восхищался работой Хвойко. Она

очень интересная, и он выражает полное феодальное подчинение сюзеренитету АК [Археологической комиссии]». И еще одному корреспонденту:

> «...Хвойко спокоен. Инцидент улажен. Всё же я остаюсь в некоторой степени почитателем Хвойко. Видели Вы его 4 витрины с белгородскими находками? Это, несомненно, представляет огромный интерес и так скептически к нему относиться, как это делает А. А. [Спицын], — несправедливо. Да и весь музей — ведь это прелестное провинциальное творение» (ИАК-150: 932).

После налаживания отношений Хвойке выдали «Открытый лист» на раскопки Искоростеня.

Как обычно (то же и в случае с Веселовским), граф Бобринский был готов идти на компромиссы с дилетантизмом ради сокровищ, поставляемых «на Высочайшее воззрение» и в Эрмитаж, и даже готов был оставлять кое-что «прелестному провинциальному творению». А разночинец Спицын, думающий о будущем археологии, на компромиссы не шел.

7. Святыня. Между тем в 1908 г. в Киеве Хвойка раскопал знаменитое «капище Перуну», которое стало объектом многих исследований (Болсуновский 1909; Толочко и Боровский 1979; Орлов 1998 и др.) и культовым местом для многих славянофилов, неоязычников и националистически настроенных украинцев.

Каменная вымостка X века в Киеве, рисунок В. В. Хвойки

Сооружение это стало хрестоматийным. Б. А. Рыбаков называет это сооружение «капищем», П. П. Толочко — «храмом», Д. Н. Козак и Я. Е. Боровский — «большим культовым центром». Реально речь идет о почти круглой каменной вымостке размерами 4,2 х 3,5 м с 4 выступами по сторонам света. Раскопано это сооружение В. В. Хвойкой дилетантски — без составления планов и без указаний, обнаружены ли какие-либо вещи и где именно. Рядом с кругом (вымосткой) отмечен большой толстый «столб» глины, в которой прослойки обожженной глины перемежаются с прослойками золы и угля, а вокруг столба найдено много костей домашних животных. Некоторые камни «химерического» облика Хвойка принял за скульптуры. В том же году приехали из Чернигова участники XIV Археологического съезда, посетили раскопки Хвойки и, отметив методические недостатки, признали всё-таки, что выявленные признаки (костры, кости животных) действительно говорят о святилище.

Комплекс трактовали то как святилище Гермеса или «Световида» (Болсуновский 1909), то как капище Перуна (Хвойка 1913; также Каргер, Динцес, Боровский, Моця и др.), то как святилище более ранних богов (Толочко, Седов).

Рыбаков увязывает это сооружение с записью армянской летописи VIII в. об установлении тремя братьями Куаром, Мелтеем и Хореаном в основанном ими городе Куаре в земле Палуни двух идолов: Гисанея и Деметра. Этих трех братьев он отождествляет с Кием, Щеком и Хоривом, легендарными основателями Киева (Куар) в земле полян (Палуни), а Кия (Куара) в свою очередь сопоставляет со славянином Хильбудием византийской хроники VI в. (Кий действовал и на Дунае, противостоял византийскому императору). Поэтому всё сооружение он датирует концом V — началом VI в.

За Рыбаковым и другие археологи стали датировать основание Киева V–VI веками, подбирая под эту дату разрозненные остатки жилищ этого времени (т. е. пражской или корчакской культуры) на территории Киева.

Оставим в стороне тонкую гипотетическую цепочку связей через Армению и Византию. Цепочка восхитительно остроумна, но остается гипотезой, в ней много допущений и трудностей. Займемся лучше археологическими источниками.

Сначала взглянем глазами археолога на городище, в котором сооружение найдено, т. е. на древнейшую часть «града Владимира» в Киеве. Вообще-то, в черте городища могут быть разбросаны любые находки — хоть палеолита, но основание *поселения* датируется

временем, с которого в нем начинается *непрерывное* обитание (это время не установлено), а основание *городка* датируется временем, когда устроены укрепления. Культурного слоя в Киеве нет древнее IX века. Во рву городища на Старокиевской горе найдена керамика, которую М. К. Каргер отнес к VIII–IX вв., а М. Ю. Брайчевский, сравнив с погребальными комплексами IX в., пришел к выводу, что к IX в. она относиться не может. Значит, VIII век — вот самое раннее время, которое пока документировано для возникновения укреплений, а следовательно, для статуса городка. Остальное — домыслы.

Теперь о самом сооружении. В 1937 г. Ф. Н. Молчановский провел дополнительные раскопки, на сей раз профессионально. Раскопки показали, что хрестоматийный рисунок-реконструкция Хвойки отражает скорее романтические представления автора, нежели действительность. Но именно этот рисунок фигурирует в трудах всех украинских археологов, пишущих о капище, и в труде Рыбакова, а фотоснимок 1937 г. в них отсутствует. Он приведен только в книге Каргера, а в 1990-е гг. весь фотоиллюстративный материал воспроизведен в статьях Р. С. Орлова. Оказалось, что вымостка вовсе не круглая, а подпрямоугольная, выступы же совсем небольшие, в один-два ряда камней. Репортер, описывавший вымостку еще в 1908 г., в газете «Киевская мысль», тоже сообщал о кладке «квадратной формы», а выступов не увидел вовсе. Ниже вымостки на 0,9 м оказалась не замеченная Хвойкой печь с остатками золы и находками костей. Словом, это не священное место, а давний бытовой участок поселения. Молчановский пришел к резонному выводу, что вымостка не имела культового характера.

С этим скепсисом, который был поддержан только Х. Ловмяньским, Г. В. Вернадским и мною, не согласны почти все авторы трудов о древнем Киеве — от Каргера до Рыбакова. Но что они могут привести в пользу гипотезы о культовом характере теперь? Центральное положение вымостки в первоначальном городище и ориентировку по странам света (магическую «защищенность с четырех сторон», по Рыбакову)? И все? Маловато. Рыбаков считает, что отверстия в камнях, обнаруживаемые «иногда», предназначены для стока крови и характеризуют вымостку как жертвенник. Но неизвестно, что это были за отверстия и куда они вели (из центра ли вымостки? вниз?) — они не описаны.

Что можно сказать о функции «загадочного сооружения»? Был ли то фундамент какого-то здания — терема правителя? храмика? башни? Или площадка для каких-то действий, например для культовых

пиров или жертвоприношений, для советов, или просто ток? Для постамента вымостка слишком широка.

Что же касается второго «священного» объекта — глиняного «столба», то любой опытный археолог, не ослепленный предвзятой идеей, взглянув на зарисовку Хвойки, где видны горизонтальные прослойки на «столбе», сразу же определит, что это не глиняный столб, а *заполнение ямы*, впущенной сверху, с гораздо более позднего уровня. В яму когда-то ссыпали то кострища, то обожженную глину, а может быть, в самой яме периодически жгли костры и засыпали их. Дилетанты же, проводившие раскопки, удалили рушеную землю вокруг ямы, обкопав ее (поскольку ее заполнение было тверже), и она осталась стоять «столбом». Все украинские авторы в один голос утверждают, что зольник в другом месте города всем обликом очень похож на «столб» возле капища-вымостки. Но ведь можно эту мысль и иначе сформулировать: «столб» очень похож на «зольник», а «зольник» — это яма. И «столб» был ямой, т. е. он впущен с иного, более высокого уровня. Нет доказательств его связи с вымосткой.

Святилище распадается. Ранняя дата не доказана, форма не круглая, выступы вряд ли магические («защищенность»), а скорее архитектурные (контрфорсы), отверстия в камнях неизвестно, вертикальные ли, «столб»-яма не относится к вымостке, священность места под сомнением. Вот результат дилетантских раскопок, освященных предвзятой идеей (подробнее с доказательствами и ссылками см. Клейн 1995; 2004: 165–170). А оно и сейчас фигурирует возле Музея и рекламируется в туристической программе Киева как «языческое древнерусское святилище».

Более того, в свое время Рыбаков, исходя из своей гипотезы, основанной на армянской легенде, византийском сообщении о Хильбудии и на разрозненных археологических находках, объявил о V веке как начале Киева, и правительство СССР приняло постановление о праздновании в 1982 г. полуторатысячелетия Киева. Торжество было проведено с величайшей помпой и затратами, с приглашением иностранных делегаций, с публикацией юбилейных научных томов, с наградами отличившимся. Сейчас над этим все, включая и украинцев, смеются (да и тогда смеялись, только втайне).

Но вот в III тысячелетии на Украине появились критики Рыбакова за... недостаточную древность Киева. Одним из проявлений этой тенденции является статья в газете «Киевский телеграф», где используется другое открытие Хвойки — Кирилловская стоянка в Киеве — для объявления Киева самым древним городом мира: Киеву 27 тысяч

лет (Шевченко 2006). Правда, тут небольшая ошибка в датировании мадленской культуры, но это мелочь. А вот московский журнал «Вопросы истории» (ох уж эти москали!) поместил статью стороннего эксперта, немца Э. Мюле (1989), который пришел к выводу, что, если исходить из наличных археологических данных, то только с IX века н. э. город наверняка существовал, а в VII–VIII веках на холмах его располагались разрозненные поселки, но без укреплений и без роли административного и культового центра и даже без надежной связи с последующим городом IX века. От предшествующих времен (трипольского и прочих — вплоть до палеолита) люди тут появлялись, селились, уходили, из чего для истории города ничего не вытекает.

8. Итог. Сразу же после начала Первой мировой войны Хвойка оказался перед сложной ситуацией: если бы он был австрийским подданным, то подлежал бы интернированию как подданный враждебного государства. Если перешел в русское подданство, как писал сестре в 1887 г., в то в Чехии (то есть в империи Габсбургов) оставались его родственники. Ему не пришлось решать эти проблемы: 2 ноября 1914 г. он умер 64 лет от роду.

Открытый в 1899 г. Городской музей древностей и искусств в Киеве (ныне Национальный музей истории Украины) был создан с участием Хвойки (коллекции Ханенко, составившие ядро музейного фонда, происходят из раскопок Хвойки), а с 1904 г. Хвойка был хранителем археологического отдела музея. Новокирилловская улица в Киеве стала улицей Викентия Хвойки. Памятник Хвойке и музей основаны в селе Триполье.

В 2010 г. в Киеве прошла международная (в старое время сказали бы: всероссийская или всесоюзная) конференция, посвященная 160-летию со дня рожения Хвойки, а в 2011 г. в Петербурге вышли «Труды» этой конференции. Издание открывается несколькими статьями, авторы которых стремятся избавить Хвойку от клейма дилетанта.

Так, М. Ю. Видейко (2011: 25), анализируя полевые дневники Хвойки, пишет, что «к полевой практике В. В. Хвойки едва ли применимо слово "дилетант" в первичном его применении, т. е. — занятие какой-либо деятельностью, например наукой, искусством, ремеслом, без профессиональной подготовки. Да, у этого исследователя не лежал в ящике стола диплом археолога, полученный в одном из университетов Европы». Видейко ссылается на то, что такого диплома не было и у других русских археологов и что вообще в России не было еще кафедр археологии. Но тем не менее его современники:

Спицын, Городцов, Бранденбург, другие коллеги — дилетантами не были, копали профессионально; они предварительно прошли школу у опытных археологов, проштудировали литературу.

«Если, — продолжает Видейко, — исходить из понимания дилетантизма как отсутствия глубоких знаний о предмете своих занятий, неизбежно сопряженного с ошибками, то и оно едва ли применимо к полевым исследованиям В. В. Хвойки». В те времена, полагает Видейко, знания достигались практикой, а у Хвойки был немалый опыт за более чем 20 лет.

Ну, опыт был и у других дилетантов, но они оставались дилетантами. Конечно, общение с другими археологами, печальный опыт ошибок, критика со стороны профессионалов стимулировали некоторое усовершенствование методов Хвойки, но он так и не смог подняться до профессионального уровня. Страницы из полевых дневников с зарисовками Хвойки (подобраны лучшие) показывают, что он обладал навыками рисования, но совершенно не понимал задач археологической фиксации.

Подводя итог этому краткому обзору экстравагантной, несколько скандальной и необходимой биографии, можно добавить, что она очень напоминает биографию Шлимана. На этом основании в одной из наиболее трескучих украинских панегирических статей о Хвойке, развешенных в Интернете и помещенных в биографическую антологию «100 самых знаменитых украинцев» (Бедрик-Білан и др. 2005: 303–309), малограмотный автор сравнивает Хвойку с самыми выдающимися археологами мира — «Г. Шлиманом, Л. Вуди и Ч. Гарольдом». Под Л. Вуди, несомненно, имеется в виду Л. Вулли, а Гордона Чайлда автор спутал с байроновским Чайлд-Гарольдом. По этому сбою можно судить, сколь он компетентен в сравнениях.

Ни с Леонардом Вулли, ни с Гордоном Чайлдом сходства Хвойки я не улавливаю. А с Шлиманом Хвойка действительно схож: тоже поздно занялся археологией — копал, как тот, последние 20 лет жизни; тоже делал выдающиеся открытия; тоже сочинял себе красивую биографию, привирая местами; вроде бы тоже был самоучкой. Но Шлиман-то самоучкой не был. Перед раскопками Трои он прошел полный курс Сорбонны и защитил докторскую диссертацию в Германии. Начав копать плохо, он совершенствовал свою методику и пригласил к сотрудничеству опытного архитектора Дёрпфельда. Двадцать лет он копал свою Трою и микенские памятники Греции. Он намного превосходит Хвойку по размаху и характеру деятельности. Ни одного памятника Хвойка не вскрыл с такой полнотой (даже

отдаленно схожей), с какой Шлиман систематически исследовал Трою и Микены. По сравнению с ним Хвойка лишь ковырял и вспахивал свои объекты.

Это сравнение я привожу для реального масштаба, чтобы отрезвить неумеренных апологетов Хвойки. Скажем откровенно, для них и раньше, и сегодня дифирамбы в честь Хвойки являются не компонентами почитания археологии, а средствами рекламных кампаний по утверждению патриотической идеологии. В 50-е гг. это была российская государственная кампания по нагнетанию российских приоритетов и суперприоритетов и по утверждению той самой ультрапатриотической автохтонной концепции происхождения славян, которую инициировал Хвойка. В наше время это другая кампания — на Украине. Противостояние местного дилетанта со столичными профессионалами России, которые и в самом деле могли также завидовать его открытиям, выдается за национально-освободительную борьбу, подверстывается к ней, вписывается в нее.

Между тем Хвойка приехал эмигрантом не на Украину, а в Российскую империю. Обрусевший чех, он не только не был украинцем по происхождению, но и учил не украинский язык, а русский, писал все свои произведения по-русски. Столицей для него был не Киев, а Петербург, Киев же был для него стольным градом Древней Руси и городом, приютившим его. Он даже и слова «Украина» и «украинцы» вряд ли часто употреблял. Он мог, конечно, узнать от своих коллег и друзей, что многие малороссы чувствуют себя отдельным народом и питают сепаратистские амбиции, как чехи по отношению к Австрии, но нет никаких данных, что он разделял эти чувства или солидаризировался с ними.

Хвойка не был украинским археологом. По сути, он не был ни украинцем, ни археологом. Это был российский дилетант и коллекционер чешского происхождения, живший на Украине, вторгшийся в археологию и сделавший ряд важнейших археологических открытий. Эти открытия были неизбежны — их бы сделали всё равно, но несколько позже и, возможно, гораздо осторожнее и полнее, без таких потерь. Хвойка шел на риск. Он выиграл время и количество, но потерял в качестве. Отечественная археология будет всегда благодарна ему за опередивший других вклад и будет вечно оплакивать его упущения.

Открыватель и заступник

Н. Е. Макаренко

Наше бремя — тяжелое бремя:
Труд зловещий дала нам судьба,
Чтоб прославить на краткое время,
Нет, не нас, только наши гроба.

Н. Гумилев. Родос, 1912.

1. Из украинского села на учебу в Петербург. Фигура украинца Н. Е. Макаренко-археолога так же овеяна мифами, как фигура его российского однофамильца-педагога. Расцвету мифотворчества способствовала безудержная националистическая героизация этого действительно замечательного человека беспардонными украинскими журналистами. Но есть и серьезные украинские и русско-украинские публикации биографических материалов (Цвейбель 1970; Граб 1990; Звагельський 1990; 1990а; 1990б; Макаренко 1992; Кузьминых и Усачук 2011).

В феврале 1877 г. в селе Москалевка Полтавской губернии (ныне Роменский район Сумской обл. Украины) родился российский археолог, искусствовед и общественный деятель Николай Емельянович (Микола Омелянович) Макаренко, украинец по происхождению и духу. Отец его служил волостным писарем, происходил из бедного, но казацкого рода — крепостным не был. Рано умер, но успел остаться в памяти сына достойной фигурой — сын посвятил ему свою первую книгу по археологии. Отец также успел дать сыну хорошее образование: начальное Николай получил в селе Перекоповка, а затем учился в Лохвицкой гимназии.

Это дало ему возможность, отправившись в Петербург, мекку тогдашних украинцев, поступить в Самсоньевское 4-классное училище, затем в 1897 г. он учился в школе рисования Общества поощрения художеств, а в 1898 г. поступил в Центральное училище технического

рисования барона А. Л. Штиглица (ныне Художественно-Промышленная Академия, носившая в советское время имя Мухиной, которая к училищу никакого отношения не имела). Теперь это заурядный и чахлый вуз со слабыми преподавателями, в котором от былой славы осталось только роскошное здание, а тогда это было очень хорошо поставленное учебное заведение с сильнейшим преподавательским составом, одно из лучших в Европе. Дягилев устраивал там свою первую выставку, выставлялись Врубель и Бенуа. Среди выпускников этого училища были А. Остроумова-Лебедева, К. Петров-Водкин, А. Рылов.

Биографы пишут, что в училище Макаренко познакомился с братьями Николаем и Борисом Рерихами. Но Н. К. Рерих, старше Макаренко на три года, учился в Академии Художеств и окончил ее как раз тогда, когда Макаренко поступил в свое училище Штиглица. Борис же младше брата на 11 лет (а украинского коллеги, стало быть, на 8) и учился также в Академии художеств. В училище Штиглица Николай Рерих появился в числе других художников «Мира искусства» в 1898 г. на выставке, организованной Дягилевым, и мог познакомиться со студентом II курса Макаренко. Под его ли влиянием Макаренко заинтересовался древностями родного края и художественной археологией вообще, трудно сказать. Но по окончании училища Макаренко поступает в Санкт-Петербургский Археологический институт, где Рерих с 1899 г. преподает художественную археологию. В этом Институте Макаренко учился с 1902 по 1905 гг. Обучению помогал материально этнограф В. Милорадович.

Это было заведение в основном для имеющих профессию, но желающих усовершенствовать свои знания по культуре и древностям. Здесь преподавали в это время профессора Н. И. Веселовский, С. М. Середонин и В. И. Сергеевич, также Н. П. Лихачев — всё виднейшие историки и археологи. На летние каникулы Николай приезжал домой в родное село. Дом семейства стоял у дороги, ведущей к парому через реку Сулу. На правом берегу реки студент регулярно проводил раскопки, вовлекая в них местных жителей.

В семье Рерихов, хотя и петербургской, действительно была давняя симпатия к Украине и украинскому движению. Еще отец Рерихов, нотариус Константин Федорович, был в числе основателей научного общества Тараса Шевченко. К нему захаживали Костомаров и Богдан Ханенко. В 1907 г. Николай Рерих писал брату Борису, тогда 22-летнему: «Будет не бесполезно, если поедешь с Макаренкой на могильники. Он хороший человек и введёт тебя немного в местную археологию» (Рерих 1999: 213).

Некоторые биографы делают такой нажим на давнюю, «еще со студенческой скамьи», дружбу с мистиком-философом Николаем Рерихом, потому что пестуют миф о том, что именно Макаренко получил от Рериха некие священные книги и был «последним обладателем магических рун — документов письменности времен до Кирилла и Мефодия, содержащих древние знания славян, за которыми охотился сталинский Кремль». По другой версии мифа, он не у Рериха их получил, а в смуте 1918–1919 гг. похитил в Эрмитаже и увез в Киев (Николай Макаренко — последний... 2009). И что именно за это Макаренко был арестован и уничтожен. Это всё байки, выдуманные журналистами, которым реальная биография Макаренко казалась слишком обычной — ну репрессирован, ну расстрелян, таких немало, а вот если в сталинской охоте за тайными рунами славян!..

Когда Макаренко окончил институт, ему было 28 лет.

2. Археолог в Петербурге. Еще учась в Археологическом институте, Макаренко начинает выполнять отдельные поручения Археологической комиссии. С 1902 по 1919 гг. Макаренко проводит раскопки в Новгородской губернии, но в основном на Украине — в губерниях Полтавской, Екатеринославской, Харьковской и других. В 1905 г., получив от Археологической комиссии 450 рублей, едет в Верхний Салтов инспектировать многолетние раскопки могильника — эталонного памятника салтово-маяцкой культуры. Раскопки проводил местный учитель В. А. Бабенко. Значит, молодой археолог Макаренко считался очень квалифицированным специалистом, если ему поручено инспектирование.

В 1906 г. Николай Макаренко при очередной поездке в родные места делает свое первое крупное научное открытие — раскапывает древнерусские городища неизвестного до этого типа, которые получают название роменских. Если до того древнерусские памятники были представлены летописными городами и курганами великокняжеской поры, то роменские городища показывали, как выглядели левобережные территории провинциальной сельской Руси, и долгое время считались самыми ранними (из достоверных) памятниками восточных славян. В 1908 г. Макаренко награжден серебряным жетоном Археологической комиссии — всего их было 15.

В 1907 г. Николай Емельянович женится, и через три года у молодых супругов родится сын Орест.

В 1910 г. Макаренко участвует в раскопках Н. К. Рериха в Новгороде Великом. В 1911 г. на обеде у графа Бобринского, председателя Комиссии,

по случаю его трудового юбилея в числе трех с лишним десятков приглашенных (родных и коллег графа) есть и Макаренко — сидит между Фармаковским и зятем хозяина Шереметевым. В том же 1911 г. Макаренко поступил в Эрмитаж — на работу, пишут украинские биографы. Нет, не на работу, а это было разрешение приватно заниматься в залах. Только в 1915 г. он стал «кандидатом на классную должность». Был он в Эрмитаже не помощником «главного хранителя Эрмитажа», как сообщают некоторые украинские биографы, склонные придать своему герою больше веса, а ассистентом, помощником заведующего отдела Средних веков и эпохи Возрождения (Сотрудники 2004).

Работая в Эрмитаже, печатался в журналах «Зодчий» и «Старые годы», преподавал на Высших женских архитектурных курсах, а затем и в некогда родном училище технического рисования, у Штиглица.

Археологические работы успешно продолжались. В 1911 г. Макаренко участвовал в раскопках скифских Частых курганов под Воронежем, где был найден знаменитый круглодонный серебряный сосуд с изображением пожилого скифа, передающего лук молодому скифу (эпизод мифологии?). Археологическая комиссия была недовольна методикой руководителя раскопок А. И. Мартиновича и передала «Открытый лист» Макаренко.

В 1912 г. именно ему Археологическая комиссия поручает отправиться на Полтавщину и собрать вещи найденного случайно «Перещепинского клада», оказавшегося погребением исторически известного булгарского хана VII века Кубрата, вождя кутригуров и освободителя от аварского нашествия. Макаренко же должен был провести и раскопки на месте находки.

А в 1914 г., получив деньги на раскопки скифских Мордвиновских курганов, М. И. Ростовцев пригласил провести раскопки именно Николая Емельяновича Макаренко. Макаренко провел их безупречно и опубликовал в 1916 г. результат книгой «Первый Мордвиновский курган». В 1914 же году в связи с 75-летием училища 37-летний Н. Е. Макаренко как один из лучших преподавателей училища награждается орденом Станислава 3-й степени и получает чин коллежского советника — это равно воинскому званию полковника. В том же году Макаренко получил командировку в Германию для изучения памятников романской эпохи.

В 1917 г. Российская академия послала его в Турцию на захваченные русской армией земли, для изучения первобытных памятников. В 1916 г. он издал путеводитель «Художественные сокровища Эрмитажа».

Н. Е. Макаренко в 1918 г. в Эрмитаже, рисунок Э. К. Липгарта.

К этому времени он уже причастен больше или меньше к первооткрытию выдающихся памятников российской археологии — роменских городищ, Салтовского могильника, Частых курганов, «Перещепинского клада» (гробницы Кубрата), Первого Мордвиновского кургана. Словом, дела у него идут неплохо, он на хорошем счету, о возвращении на Украину явно и не помышляет. Правда, занимается в числе прочего и художественным наследием М. Ломоносова и Тараса Шевченко. Из наследия Ломоносова его интересовали мозаики, из наследия Шевченко — рисунки. Но, как видите, наследие обеих фигур — русской и украинской. Задумывал он и создать историю украинского искусства. В 1909–1910 гг. вышли его работы «Памятники украинского искусства», «Архитектурный стиль украинских деревянных церквей», «Украинское народное искусство» и др. Вместе с К. Шароцким они использовали симпатию петербургской интеллигенции к поэтичной Украине.

3. Переезд в Киев. Октябрьскую революцию коллежский советник Макаренко воспринял как реализацию тайных надежд. Образовалась Украинская Народная Республика. Между тем в Питере были разруха и голод. Зиму 1919 г. 42-летний Макаренко перенес, а весной уехал в Киев. «В 1919 году я выехал из СПб в командировку на Украину, — пишет он в письме к Э. Б. Петри (Граб и Супруненко 1993: 40–41). — Тут меня захватило движение — украинизация. Вы, знаете, я сам украинец. Казалось тогда, что действительно я могу быть полезным родине. Не подавая в отставку в Эрмитаже (всё-таки! — Л. К.), я просто по окончании командировки остался здесь». Впоследствии это письмо будет приобщено к следственному делу как доказательство «контрреволюционной деятельности» ученого.

В Киеве Макаренко стал приват-доцентом кафедры археологии Киевского университета, вошел в Софийскую комиссию и Археологический комитет, включился в работу историко-филологического

отдела ВУАН (Всеукраинской Академии наук), преподает в Украинской государственной академии искусств, читая курс по истории украинского искусства на украинском языке. Он председатель комиссии искусства книги Украинского института книговедения. В этом смысле он действительно стоит у начала украинской науки.

Его исследования этого времени очень широки по тематике. Он изучает книжную графику (публикация «Орнаментация украинской книги XVI–XVIII вв.», 1926 г.), издает работы по архитектуре и скульптуре великокняжеской поры, иллюстрируя их собственными акварелями с натуры («Возле Черниговского Спаса», 1928 г., и «Скульптура и резьба Киевской Руси предмонгольских времен», 1930), вместе с друзьями создает библиографию по киевской средневековой архитектуре.

Вместе с Борисом Рерихом он занимается реставрацией Михайловского собора и Киевской Софии, а также Андреевской церкви. Проводит раскопки на месте Десятинной церкви и находит там древние саркофаги. Пользуясь своим умением фотографировать и неплохим по тому времени фотоаппаратом, закладывает основы фотоархива архитектурных памятников Киева. Архив этот оказался чрезвычайно важен для науки позже, когда разыгрался государственный вандализм и многие памятники были погублены.

4. Директор музея искусств. В 1920 г. в Киеве открылся Музей истории искусств ВУАН, а Макаренко был назначен его первым директором. Собственно, музей задумали и организовали трое друзей — Макаренко и два художника.

Первым был Борис Рерих, брат знаменитого художника и менее оригинального археолога, более всего известного своими философскими претензиями и созданием в Индии философско-мистического учения, очень смахивающего на секту. Борис учился у хорошего рисовальщика Кардовского в школе Общества поощрения художеств, директором которой был его брат, а потом обучался в Академии художеств архитектуре у Леонтия Бенуа.

Вторым был Георгий Крескентьевич Лукомский, на год младше Бориса, искусствовед и художник из княжеского рода. Он издавна интересовался частным музеем Б. И. и В. Н. Ханенко, много писал о нем (даже потом, будучи в эмиграции в Италии, Франции и Германии). Приехав в Киев в конце 1918 г., он вошел в ряд комитетов и комиссий.

Эти трое друзей решили создать на основе собрания умершего в 1917 г. Б. И. Ханенко лучший художественный музей на Украине,

способный соревноваться с петроградскими и московскими. Друзья часто собирались у вдовы Варвары Николаевны Ханенко, увлекли ее идеей сохранения собрания как музея. Хранителем был назначен Лукомский, и удалось уговорить вдову сделать официальную дарственную на Академию наук, чтобы получить статус и охрану. В 1919 г. Лукомский эмигрировал, а директором Музея западного и восточного искусства им. Б. И. и В. Н. Ханенко был назначен Н. Е. Макаренко. В 1921 г. он сумел вернуть в Киев четвертую часть коллекций, увезенную Б. И. Ханенко в Москву во время немецкой оккупации и смуты на Украине. Он продолжал пополнять музей конфискованными у богатеев сокровищами. В 1923 г. Рерих вернулся в Петроград, а Макаренко остался в Киеве директором.

Его самостоятельность вызывала раздражение у чиновников советской администрации. Кроме того, по Украине прокатилась кампания по очистке музеев от «старорежимных» кадров и замене их коммунистами. В Музей наезжали один за другим различные инспектора и комиссии с проверкой. В 1924 г. им удалось упрятать Макаренко в тюрьму. Друзья из Академии наук с трудом вызволили его, но директорский пост пришлось оставить. А в 1926 г. он вынужден уволиться из Музея. Он получает приглашение возглавить кафедру в Одесском политехническом институте, но не может выехать туда, так как находится под следствием. Но летом выезжает в поле — с 1925 по 1929 г. он копает трипольские поселения (среди них Халепье), работает и у Фармаковского в Ольвии.

Несмотря на грозную обстановку, Макаренко оставался необыкновенно смелым человеком.

В 1927 г. покончил с собой зампредседателя Всеукраинского археологического комитета Д. М. Щербаковский. На его похоронах Макаренко произнес: «Палачи тебя замучили. Строить культуру приходится под руководством людей с окровавленными руками». Впоследствии это высказывание ему припомнили в НКВД (Кузьминых и Усачук 2011).

В 1929 г. финский профессор А. М. Тальгрен, редактор *Eurasia Septentrionalis Antiqua*, с которым Макаренко неустанно переписывался (зовя его по дореволюционной привычке как русского — Александром или Михаилом Марковичем), с огорчением отметил в своем журнале репрессии, обрушившиеся на советских археологов. Тальгрен немедленно подвергся ожесточенным нападкам в советской прессе, и многие советские археологи испуганно прекратили с ним всякие отношения и даже опубликовали ругательные письма. Едва ли не

единственным, кто продолжал с ним переписываться, был Макаренко (Кузьминых и Усачук 2011).

Он буквально подставлял себя под удар.

5. Мариупольский могильник. Невзгоды никогда не ходят поодиночке. Почему не сложилась личная жизнь ученого, мы не знаем. Но жена оставила его и сына Ореста. Летом 1927 г. Макаренко вместе с 17-летним Орестом обследовал Густынский монастырь. Купаясь в реке Удае, сын утонул. «Все радости и злоключения опытов, радостные минуты новых открытий и печальные дни голода, поддержку культурных сил и враждебность правительственных чиновников-бюрократов мы ощущали и переживали оба одинаково, несмотря на разный возраст и мироощущение... Судьба жестоко расправилась с нами обоими», — пишет в связи с гибелью сына Макаренко друзьям. Через год он похоронил и свою мать.

В это время он пишет Тальгрену:

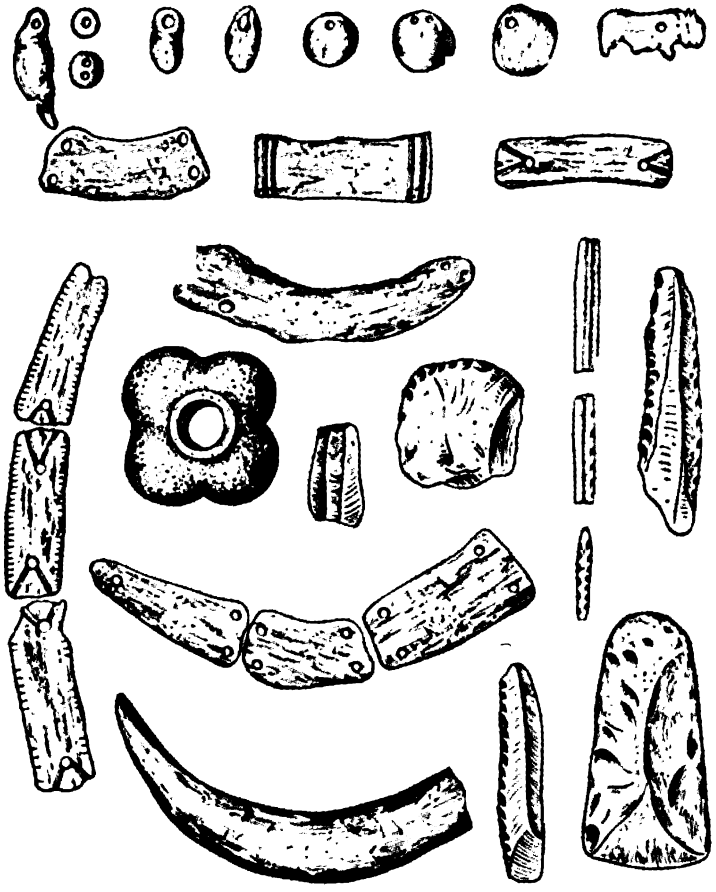
> «Трудно, дорогой Михаил Маркович, передать вам все то, что показало бы вам меня в настоящее время в подлинном свете. Представьте себя человека, которого травят, издеваются, всеми способами мучают, который сидит в Киевской дыре уже пятый год без определенного положения (без должности), который никому не нужен, знания которого бельмо в глазах других, который не ко двору пришелся местным "знатокам", "профессорам"... Наука едва ли потерпит какой-либо ущерб от того, что я перестану писать и печатать никому не нужные статьи. <...> Ах, дорогой Михаил Маркович, если бы вы знали, как тяжело у нас жить и работать, несмотря и на обилие, и на значение наших сокровищ» (Кузьминых и Усачук 2011).

Макаренко весь с головой ушел в археологические работы. Это спасает от горестных мыслей. В 1929 г. Макаренко ведет раскопки древнерусского могильника XI–XII веков у села Песчаное и пяти курганов в Краснянском лесу на окраине Сум. В эти годы еще одно событие скрасило его горемычную судьбу — он встретил свою вторую жену Анастасию Сергеевну Федорову, которая не бросит его в самых тяжелых обстоятельствах.

В 1930 г. Макаренко выезжает в Мариуполь, где строители завода «Азовсталь» обнаружили человеческий скелет с украшениями в красной земле. Обследовав место находки, Макаренко с удивлением установил, что яма с заполнением красного цвета растянулась на 28 м в длину при 2 м ширины. В ней оказалось более 120 костяков,

но всего два обломка керамики и множество украшений из клыков кабана, каменные булавы и браслеты. Вот повезло! Это был самый ранний на территории Восточной Европы энеолитический могильник — IV тысячелетие до н. э. Некоторые археологи называют его поздненеолитическим.

Макаренко выхлопотал у дирекции строительства сотни будущих рабочих завода для своих раскопок, он возится там днями напролет. На раскопках с ним — жена. Легенда рассказывает, что, заприметив однажды вечером незнакомого визитера, бродящего среди находок, Макаренко рассердился (находки в опасности!) и, схватившись с ним, перебросил его через ограду. Потом выяснилось, что незнакомец был директором будущей «Азовстали».



Вещи из Мариупольского могильника

Один из учителей Николая Емельяновича, А. А. Спицын, писал ему: «Ваш Мариупольский могильник — поразительное открытие, от которого я хожу уже несколько дней сам не свой... Какие из этого всего выйдут последствия, даже представить нельзя. Придется пересмотреть с новой точки зрения все наши древние культуры» (Макаренко 1933: 2). Вышедшая в 1934 г. (с датой на обложке 1933) книга Н. Макаренко «Мариупольский могильник» стала знаменитой в археологическом мире. Оригинальность могильника состоит в том, что это была огромная коллективная могила в виде траншеи. Траншейные могилы известны в неолите Западной Европы, где они относятся к культурам мегалитического типа: галереи сложены из больших каменных плит. А здесь первая такая могила в Восточной Европе — и без камней. Позже вторая такая была обнаружена в Венгрии, а на Украине была выявлена сеть памятников, родственных по культуре.

В 1930–1931 гг. Макаренко работает всё-таки в Одессе, профессором Одесского художественного института. От жизненных невзгод он убегает в археологию. В это время он увлекается на Востоке Украины курганными погребениями бронзового века — скорченниками. Вскоре ему запретят и проводить экспедиции. Начинается кампанейская критика его научных работ. Его обвиняют в эстетизме и неприятии марксизма-ленинизма. В ход идут ярлыки «классификационный фетишизм», «внеклассовый протоколизм» и «социологическая партизанщина». В переводе на обычный язык это означает, что он занимается классификацией древностей (тогда как требуется классовый анализ с ходу), что он объективно протоколирует результаты работ (вместо того чтобы выдавать то, что угодно идеологам) и что социальные определения он не подлаживает под выдержки из классиков марксизма-ленинизма.

В 1932 г. на очередном пленуме Всеукраинского Ахеологического Комитета его председатель П. П. Куринный обрушился на М. Я. Рудинского и Н. Е. Макаренко с разгромной критикой, заявляя, что их работы являют собой пример «вражеской классовой идеологии в научной практике и издательской деятельности» (Макаренко 1992: 54, 55). Это был прямой призыв к аресту.

6. Борьба за храмы насмерть. С начала двадцатых годов, согласно идеологической программе коммунистической партии, началась подготовка наступления на религию — кампания по ликвидации храмов. По всему государству Советов для упорядоченного

уничтожения храмов стали создаваться «ликвидационные комиссии». Речь шла об учете церковных сокровищ, которые должны были поступить на службу государству. Уничтожить предстояло Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве и другие древнерусские храмы. Более полутораста памятников предлагалось снести. На заседании секции при Всеукраинской Академии наук 20 февраля 1922 г. Николаю Емельяновичу было предложено стать членом такой комиссии по демонтажу фресок и мозаик Михайловского Златоверхого монастыря. На полях протокола почерком Макаренко написано: *«Н. Е. Макаренко решительно отказался по личным мотивам быть представителем в ликвидационной комиссии». Это, конечно, припомнили, но лет 12 спустя.*

Когда в начале 1934 г. столицу Украины решено было перевести из промышленного и сильно украинизированного тогда Харькова в старый культурный центр Киев с преобладанием русских традиций, Москва обязала местные власти привести город в благопристойный вид — придать ему облик «социалистического города». Золотые купола церквей портили этот социалистический облик, и их решено было снести с карты Киева. Кроме того, для правительственных учреждений потребовалось место в центре города — Софийский собор, Михайловский монастырь и Трехсвятительская церковь мешали. В конечном счете Софию решено было оставить на месте, но два других памятника снести и на их месте возвести два современных дворца — Совнаркома и ЦК КП(б)У, а между ними поставить огромный памятник Ленину.

Макаренко выступил против этих проектов. Он послал телеграмму Сталину об ошибочности этих планов, побывал и на аудиенции у секретаря ЦК Украины Павла Постышева. Тщетно он доказывал Постышеву, что нельзя разрушать древние архитектурные памятники, пережившие нашествия половцев, татар, поляков и немцев. Что это сокровища страны. Постышев (который вскоре сам лишится поста и жизни) решительно ему отказал.

В биографиях можно встретить указания, что Макаренко обратился к международной общественности, что откликнулся Рерих из Индии. Это всё домыслы. За границу никаких призывов Макаренко не посылал. Из Индии Николай Рерих что-то сам говорил в печати о важности святынь, впрочем, весьма абстрактно и осторожно: он вообще всё время заигрывал с советской властью, к тому же брат его Борис был арестован в Петербурге еще в 1931 г. «за намерение уехать за границу» и осужден на три года, работал в шарашке.

О восхождении Макаренко на Голгофу также есть «красивые мифы». Автор одного из них с наивной откровенностью сознается в фальсификации.

> «В 1988 г. мы с профессором О. Билодидом написали большой очерк о Н. Е. Макаренко и, для того чтобы его целиком опубликовали, придумали эффектную концовку. Это было необходимо ещё и потому, что тогдашняя цензура запрещала писать о репрессированных, а заведующий отделом идеологии ЦК Компартии Украины строго следил, чтобы количество крестов на обложке журнала "Україна", опубликовавшего фото Святой Софии, не превзошло одному ему известную "норму"... Финальную историю мы придумали в бане, была такая на Отрадном. К сожалению, её давно закрыли, что сказалось на нашем дальнейшем совместном творчестве...
>
> В нашем очерке Мария Кудашева, бывшая со своим мужем Роменом Ролланом на приёме у Сталина, попросила вождя не взрывать киевский Софийский собор по той причине, что "он тесно связан с французской короной" и вообще с историей Франции. Сталин, естественно, пообещал им не трогать святыню. Но после ухода именитых гостей "отец народов" приказал выяснить, кто уведомил французов о таких исторических связях. Узнав, что писал во Францию Николай Макаренко, он страшно разгневался. Моментально были "приняты меры". Эту "красивую", но одновременно и "страшную" историю впоследствии часто пересказывали в книгах, фильмах, не говоря уже о журналистах и экскурсоводах» (Киркевич 2005; см. также Білодід 1989).

На деле всё было проще, обыденнее и страшнее. Хлопоты Макаренко имели только один эффект. Еще весной, 26 апреля 1934 г., Киевское ГПУ арестовывает Макаренко «за участие в деятельности контрреволюционной антисоветской организации». По сравнительно мягкому приговору (дело было до убийства Кирова и начала Большого Террора) его административно высылают «на Север», но разрешают выбрать Казань и преподавать в художественном техникуме и даже подрабатывать в музее. Жена поехала с ним в Казань.

Однако уже через два года, в разгар Большого Террора, 24 апреля 1936 г. НКВД Татарской республики вновь арестовывает Макаренко, на сей раз вместе с еще двумя лицами за «участие в контрреволюционной группе фашистского направления» (нашли доносчиков, собрали показания). Его приговаривают к заключению в лагерь на три года и отправляют в Томскую колонию № 2. Жена взывает к К. П. Пешковой, первой жене Горького, которая представляла в СССР

«Общество помощи политзаключенным», — разумеется, это не приносит результатов.

В страшном 1937 г. 17 декабря Николаю Емельяновичу предъявляют новое обвинение: он — «участник кадетско-монархической повстанческой организации» среди заключенных. Судьбу его решает «тройка». Через десять дней ему объявляют окончательный приговор — ВМН (высшая мера наказания). Еще неделя, и 4 января 1938 г. его выводят на расстрел (Граб 1990; Звагельський 1990: 31; 1990б: 60). Место захоронения не установлено. По ходатайству супруги и археолога И. Г. Шовкопляса реабилитировали Макаренко лишь в 1960-е гг. Родной брат Николая Емельяновича, Василий Емельянович, все эти десятилетия был совершенно в стороне, работал в МТС в Лужском районе под Ленинградом и уцелел.

7. Украинский археолог? Приехав в 1919 г. на Украину воодушевленный перспективами строить украинскую культуру и проводить украинизацию своей родины, Макаренко скоро испытал горькое разочарование. Во главе ведомств культуры стояли теперь украинцы (Куринный и др.), но абсолютно чуждые старой украинской интеллигенции и духу культуры вообще. В 1928 г., лишенный работы в Киеве, Макаренко жаловался в письмах Городцову:

> «не всякому приходилось жить на Украине. А это чего-нибудь да стоит. Мне, например, семилетнее пребывание на родине стоит величайших жертв. <...> я абсолютно лишний человек и что мои работы и ничего не стоят и никому не нужны. Затем, лишь здесь я в первый раз в жизни доподлинно узнал, что такое интрига, что за зверь клевета» (Кузьминых и Усачук 2015: сноска 98 к письму № 22 от 12 янв. 1928 г.).

В том же году Тальгрену: «Украине, куда я приехал из идейных побуждений, как оказалось, я не нужен» (Кузьминых и Усачук 2015: №18 от 11 ноября 1928).

В следующем году Тальгрену: «Обстоятельствами вынужден отказаться от всяких раскопок на Украине. Свою раскопочную деятельность вынужден перенести в Россию из Украины. Здесь археологическое дело в руках невежественных Новицких да Куринных» (Кузьминых и Усачук 2011; 2015: № 25 от 19 июня 1929 г). Куринный и Новицкий — это были травившие Макаренко руководители археологии на Украине.

Если суммировать всё сказанное, освободившись от украинских мифов, получается парадоксальная ситуация. При царском режиме сын угнетенного народа имел неплохие возможности роста

и продвижения наверх, а революция и советская власть со всей интернациональной риторикой не принесли ему ничего, кроме обманутых надежд, разочарования и насильственной смерти.

Формозов (1998) в статье о репрессиях, обрушившихся на археологов в советское время, упоминает Макаренко, но подробно о нем не пишет, отнеся его к украинским археологам, тогда как в статье он собрался вести речь только о русских. На мой взгляд, Макаренко до революции был безусловно российским археологом, более того, он был русским археологом: писал и говорил об археологии в основном по-русски, в русских изданиях, о памятниках русских губерний, а если на Украине — то о памятниках общерусского значения (то есть восточнославянского). После революции и смуты, когда он короткое время мог ощущать себя украинским археологом, он скоро стал официально советским археологом — другой археологии тут не было. Украинская археология, как и другие республиканские археологии, была тогда всего лишь частью советской археологии, мало отличающейся от других частей — других республиканских археологий: казахской, узбекской или грузинской. Все это была советская археология на украинском языке (соответственно, на казахском, узбекском или грузинском). Украинская археология была тогда за рубежом, а на Украине возникла после ее отделения.

Можно ставить вопрос о существовании некоторых традиций в России и даже в Советском Союзе, на основе которых создается самостоятельная украинская археология теперь. В какой мере и когда был Макаренко причастен к этой традиции, — особый вопрос. В 1928 г. Макаренко писал Тальгрену, затеявшему издание сборника в честь Спицына: «Слава и честь человека за то, что Вы беретесь за дело, которым отметите многолетнюю полезную работу скромного труженика. Кого только мы не праздновали юбилей? Полезных, малополезных и совсем не полезных деятелей. А про Спицына мы крепко забыли. Хороши соотечественники!» (Кузьминых и Усачук 2015: №18). Он воспринимал себя в числе соотечественников Спицына.

На Украине в советское время он боролся за спасение Софии Киевской и других храмов — вряд ли как украинских шедевров архитектуры от российских оккупантов или еврейских комиссаров. Возможно — как православных святынь от нечестивых большевиков. Наверняка — как общерусских и мировых культурных ценностей от пролетарских вандалов. Он прекрасно понимал, что уехавшие из страны граф Бобринский и графиня Уварова — на его стороне, как братья Рерихи и князь Лукомский. Как Спицын, Городцов и Тальгрен.

Классики

Я счастлива жить образцово и просто —
Как солнце, как маятник, как календарь...

Марина Цветаева. Я счастлива жить образцово... 1918.

По определению, классики — это те, чьи работы поныне остаются образцовыми — классическими. Можно понимать под классиками и тех, чьи работы наиболее выразительно, образцово, характеризуют определенную эпоху в науке, т. е. являются образцовыми для своего времени. Но тогда количество классиков сильно возрастет. В своей работе о Косинне я придерживался второго определения, оспаривая Ю. Эггерса, который Косинну к классикам немецкой археологии не относил. Здесь я предпочитаю придерживаться первого определения. Я всё еще думаю, что Косинна — классик, но не из-за того, что его работы образцовые, а потому, что он поставил проблемы и выдвинул идеи, волнующие археологию до сих пор.

В русской археологии классиками, несомненно, являются те, чьи работы и идеи до сих пор служат стимулом для дальнейших разработок. Это систематизаторы российской археологии А. А. Спицын и В. А. Городцов, это также Н. П. Кондаков и его ученик М. И. Ростовцев, открывшие новые направления в мировой археологии.

Можно было бы поставить вопрос о том, что и некоторые из тех, кого я отнес к другим категориям археологов, могли бы претендовать на статус классиков, например, из корифеев А. А. Иностранцев, из передатчиков традиций Б. В. Фармаковский. Да мало ли кого в то или иное время объявляли классиком! Моя собственная книга (1995) переиздана в серии «Классика археологии». Но говоря о классиках, я здесь всё же имею в виду тех, кто в период становления нашей науки дал образцы современной методики. Иностранцев был, несомненно, классиком, но в геологии, а его книга в археологии была в некоторых отношениях образцовой (комплексный подход), но в анализе материала выглядит сейчас очень архаичной. Раскопки Фармаковского и его сочинения были, несомненно, образцовыми, но другая сторона его творчества (передача традиции) показалась мне более определяющей для оценки его вклада.

Словом, группа классиков ограничена условно и вполне может быть расширена за счет отнесенных к другим категориям и тех, кого будущие поколения причислят к классикам.

Византиец

Н. П. Кондаков

Сегодня ночью я смотрю в окно
и думаю о том, куда зашли мы?
И от чего мы больше далеки:
от православья или эллинизма?

Иосиф Бродский. Остановка в пустыне
(Избранные стихотворения. М., 1994, с. 79).

1. Истоки. Крупнейший русский археолог и историк искусства Никодим Павлович Кондаков, специалист по византиноведению, основатель широко разветвленной школы в археологии, неслучайно носит типично крестьянское имя.

Родился он в селе Халань Курской губ. в семье бывшего крепостного — управляющего имением князей Трубецких в 1844 г. и на всю жизнь сохранил южнорусское призношение (с придыханием вместо «г»). Отец был отпущен господином на волю и разбогател. Сын смог учиться во 2-й московской гимназии на Разгуляе (вместе с будущим академиком А. Веселовским). В семье отец держался деспотом, был скуповат и много пил. Сын его не любил и с удовлетворением принял слухи, что его настоящий отец не этот тиран, а его помощник Волчков, друг матери, на которого Никодим и был похож. В 1855 г., когда в разгар Крымской войны, не выдержав поражений, умер царь Николай I, ожидали беспорядков, и комиссары полиции трассировали по улицам. «Чтобы не попасться им на глаза, — вспоминал впоследствии Кондаков (2002: 57), — мы, малыши, метались домой через подворотню».

В 1861 г., как раз когда крепостное право было отменено, сын недавнего крепостного поступил в Московский университет. Там он учился у выдающегося филолога-слависта — академика Федора Ивановича Буслаева (1818–1897), известного своими исследованиями

по русской мифологии и символике. Буслаев был также одним из зачинателей сравнительного языкознания в России. В старости Кондаков вспоминал о своем учителе: «Каждая почти его лекция, происходившая в большой аудитории, заканчивалась рукоплесканиями. Она была целиком написана превосходным буслаевским слогом и прочитывалась громко, с чувством и толком. Лично я не знал более красивого чтеца» (2002: 73). От учителя он воспринял чрезвычайное почитание Винкельмана и его трудов по истории искусства, его сравнительно-исторического метода (с тезисом «стиль — это эпоха»). Буслаев интересовался еще и взаимодействием культур и выдвинул идею «странствующих сюжетов» в фольклористике. Этот интерес также передался ученику.

К зарождающейся первобытной археологии Буслаев относился сугубо скептически, дарвинизма не принял. В 1873 г. он опубликовал в «Русском вестнике» большую статью «Догадки и мечтания о первобытном человечестве». Статья эта была рецензией на книгу одного немецкого ученого. «Автор, — говорится в этой рецензии (1837: 694, 702), — начинает теориею Дарвина о развитии видов животного царства в борьбе за существование. <...> Дарвиновская теория <...> на первом же шагу споткнулась и запуталась в неразрешимой сети противоречий». Буслаев ядовито издевается над эволюционистскими построениями:

> «Читатель видит сам, до какой степени вся эта пустопорожняя, детская игра в первобытного человека далека от точного метода положительных наук... Какой-то зверь из передних лап выработал себе руки, стал точить себе камни и случайно открыл секрет, как добывать огонь трением и сверлением, после того стал мастером и из хромоногого калеки очутился шаманом и жрецом...» (Буслаев 1837: 698, 757).

Ученик считался с мнением учителя и избрал для своих собственных занятий более надежный поздний период — освещенный в летописях, иностранных хрониках и обильно представленный памятниками изобразительного искусства. Буслаев придерживался взгляда, что славянское язычество было очень своеобразным и было позже забыто, а позднейшее древнерусское искусство развилось из древнехристианского и византийского. Эти идеи также запали в душу ученика.

При всей религиозности и патриотичности Буслаев не принимал идеологии «официальной народности» С. П. Шевырева и М. П. Погодина. Он опровергал их домыслы об исключительной преданности

русского народа православию, разрабатывая тезис о его двоеверии. Но Буслаев считал православную культуру духовнее, выше западной, а «из двух крайностей» славянофильство всё-таки предпочтительнее западничества (Кызласова 1885: 30). Этого предпочтения ученик, как мы увидим, не разделял. Но и Буслаев резко критиковал славянофильство, называя его «вонючим, стоячим болотом» (Там же, с. 31).

Другими учениками Буслаева были Афанасьев, Котляревский, Веселовский и Всеволод Миллер. А. Н. Афанасьев (1826–1871) прославился своим собранием русских народных сказок и до сих пор читаемым трехтомным трудом «Поэтические воззрения славян на природу» (1865–1869). А. А. Котляревский (1837–1881) известен археологам-славистам своим трудом «О погребальных обычаях языческих славян». А. Н. Веселовский (1838–1906) — всемирно известный историк литератур, мастер сравнительного анализа, автор «Исторической поэтики». Всеволод Федорович Миллер (1844–1913) — основатель исторической школы в русской фольклористике, исследователь родства скифов, сарматов и осетин. А однокурсником Кондакова был В. О. Ключевский (1841–1911), впоследствии знаменитый историк. Всё это величины, светила в науке.

Хотя в воспоминаниях Кондаков (2002: 90) обмолвился, что ни от кого ничему не научился, «ниже от Буслаева», но публично и в письмах к Буслаеву признавал его своим главным учителем. А Буслаев его — замечательным ученым. «И такой-то ученый публично признает во мне своего наставника! — восхищался он. — <...> и я тем больше радуюсь за себя лично, чем больше радуюсь Вашей блистательною ученою деятельностью, чем больше на Вас любуюсь» (письмо от 14 сент. 1885 г., цит по: Кызласова 1985: 176).

По окончании университета Кондаков стал учителем в той самой гимназии, которую ранее окончил. В это время (1866) появились его первые публикации — рецензии на зарубежные книги по раннехристианской архитектуре. Заниматься церковными древностями московскому учителю помогало семейное родство с московским митрополитом Филаретом (Дроздовым) — это открывало ему широкий доступ к церковным хранилищам и библиотекам не только в Москве, но и по всей России (Вздорнов 1997: 792).

2. Одесский период. В 1871 г. 27-летний славист получил кафедру по теории и истории искусства в Новороссийском университете (Одесса). Тогда это был один из ведущих университетов России. Город обладал старым археологическим музеем, Одесское археологическое

общество существовало с 1839 г. В университете работал Федор Иванович Успенский, позже академик, глава и основатель российского института в Константинополе (Стамбуле). Вступительная лекция молодого профессора называлась «Наука классической археологии и теория искусств». Это показывает, что классическую археологию он понимал в духе Винкельмана — как связанную прежде всего с искусством. Эта традиция была в России живой (как, впрочем, и в Германии). Смысл лекции был в том, что теория искусства может иметь научную основу, только если питается фактами из истории искусства и классической археологии.

Еще будучи московским учителем, Кондаков совершил поездку за границу для ознакомления с классическими памятниками. Одесские ученые вели большую работу по обследовнию местных классических памятников Северного Причерноморья, и Кондаков сразу включился в эту работу. В 1876–1878 гг. вместе с другими археологами он участвовал в раскопках некрополя античного Нимфея в Керчи (Крым), где были погребения греков и скифской знати. В результате этих раскопок, по позднейшему признанию Ростовцева, этот некрополь оказался исследован так полно, как к тому времени не был раскрыт, пожалуй, ни один античный некрополь, не исключая даже главных центров античной культуры — Афин, Пергама, Милета, даже Рима, где раскопки продолжались столетия. А здесь — за три года. Впоследствии этот опыт, эти знания античного мира сильно помогли Кондакову в работе над византийским искусством. А именно византийским искусством он занялся под влиянием Успенского.

Н. П. Кондаков в Новороссийском университете

По поручению Археологической комиссии Кондаков проводил и собственные раскопки, но его полевая методика далека от образцовой.

С 1873 г. начинаются регулярные поездки Кондакова на Восток и в Европу для изучения

древностей, главным образом византийских: 1873 — Грузия, 1875–1876 — главнейшие города Европы (Вена, Париж, Лондон и др.), 1881 — Синай, 1884 — Константинополь. И почти после каждой поездки появлялся монументальный обобщающий труд. В 1876 г. — это «Древняя архитектура Грузии», в 1884 — «Византийские церкви и памятники Константинополя». Постепенно складывалась история византийского искусства.

Особое значение для Кондакова имела поездка 1875–1876 гг., во время которой он сблизился в Риме с крупным итальянским археологом Джан-Батистой де Росси, знатоком христианской археологии.

3. Иконографический метод. Но еще в 1875–1876 гг. Кондаков издает свою докторскую диссертацию «История византийского искусства и иконография по миниатюрам греческих рукописей». В докладе Русскому археологическому обществу И. В. Помяловский (1884: 320) восхищался:

> «...Читатель с наслаждением следит, как вся представляющаяся на первый взгляд бесформенною масса древних терракот под строго методическим исследованием г. Кондакова мало-помалу расчленяется, как каждый ее отдел ставится в органическую связь с другим и в непосредственное отношение к целому и как, наконец, умственному взору читателя представляется в ясных и определенных чертах значительный отдел древней пластики, уясняется его значение в ряду других произведений греческой техники, раскрывается смысл и содержание входящих в его область предметов».

Это сочинение Кондакова получило золотую медаль Русского Археологического Общества, а кроме докторской степени эта защита принесла ему и членство в Императорской Археологической комиссии — очень влиятельном учреждении, ведавшем всей государственной археологической деятельностью в России (в Комиссии было всего три члена).

В этом труде Кондаков восстал против традиционного представления, что византийское искусство было застывшим — оно развивалось и переживало преобразования.

Исследователь придерживался постулата: каждый период имеет свою собственную иконографию, свой стиль изображения любого образа. Собственно, в этом он повторил Винкельмана, для которого стиль — это эпоха. Так, для византийского искусства, для стиля, формировавшего это искусство, определяющим было то, что

византийские мастера не стремились к верности натуре — их целью было служение Богу, выражение определенных духовных ценностей. Традиция закрепляла складывающиеся представления о том, какими эти выражения должны быть, воспринимая те или иные не свойственные натуре черты как своего рода символы этих ценностей. Это было искусство теологическое. В этом Кондаков следовал учению немецкого историка искусств Шназе (Schnaase 1866–1879).

30-летний автор развил свой собственый подход к изучению искусства. Он описывает искусство как имманентный процесс, независимый (или пребывающий в отрыве) от социальных оснований. Это чистое искусство, абстрагированное от жизни.

«Искусство для искусства» («чистое искусство») — это лозунг эстетических концепций, утверждающих самоцельность художественного творчества, независимость искусства от политики и общественных требований. Идеи «искусства для искусства» оформились в эстетическую теорию в середине XIX века во многом как негативная реакция на утилитаризм буржуазных отношений (Готье, группа «Парнас» во Франции), но реакция интеллектуалов аристократического и индивидуалистического толка, во всяком случае чуждая демократическим устремлениям масс. В России тогда же лозунг «искусство для искусства» был полемически противопоставлен социально-критическому реализму в литературе и искусстве.

В соответствии с пониманием развития искусства как имманентного процесса Кондаков и строил анализ материала. «Памятник должен быть освещен предварительно сам по себе, — писал Кондаков позже, — по своим историческим признакам...» (Кондаков 1892). Задача науки тут — сравнительным анализом привести материал в историческую упорядоченность, датировать и выяснить отношение к общему художественному процессу эпохи. История искусства, по Кондакову, не имеет нужды входить в исторический анализ содержания — это дело археологии искусства, которой он, однако, тоже занимался.

Он учил строго разделять *форму* и *содержание*, отводя их разным наукам, и в истории искусства требовал анализа формального, ибо считал, что анализ содержания (быта, политических условий и т. п.) классическая археология взяла на себя. Кроме того, полагал он, форма — наименее исследованная сторона материала.

В своем труде молодой ученый разработал и конкретные методические приемы формального анализа, «художественной анатомии». Его метод называется «сравнительным», или «методом объективного

сравнения форм», или, чаще, у учеников, *«иконографическим»* (сам Кондаков так его не называл), потому что его главным понятием был *«иконографический тип»*. Под типом он понимал стандарт изображения того или иного (обычно церковного) образа.

> «Византийское искусство, — пояснял ученик Кондакова Лазарев, — не являлось искусством индивидуальных мастеров и художников <...>, в нем неизменно доминировал типический подход к действительности, облекавшийся в канонические, идеальные формы <...>, в византийском искусстве раз выработанные типы держались с необычайной устойчивостью, подвергаясь лишь незначительным, а главное — постепенным изменениям...» (Лазарев 1925: 7).

Степень стандартизации в византийском искусстве действительно была высокой. Каждый образ имел те или иные обязательные атрибуты и особенности, различить их было не так уж трудно. Трудность заключалась не столько в различении, сколько в выявлении изменений.

Кондаков призывал исследовать движения форм, изменение. На этом материале он прослеживал традиции, влияния, упадок. Он ввел в русскую археологию группировку произведений древнего искусства по темам и сюжетам. Основной стержень всего метода — концепция *редакций*. Целью исследователя было выявление *копий*, их возведение к *оригиналу*. Оригинал вместе с копиями и составляли редакцию. Тут есть нечто филологическое, текстологическое. Чувствуется, что создатель метода — ученик филолога.

Стилистический анализ форм существовал в археологии издавна, применялся и в России. В чем же было значение, смысл иконографического метода Кондакова для анализа византийского искусства? Лазарев поясняет:

> «Методы атрибуции и планировки материала по стилистическим группам были в данном случае не всегда применимы, т. к. в известном отношении они шли вразрез с общим характером византийского искусства. И именно здесь и выступает во всем своем значении иконографический метод Кондакова...» (Лазарев 1925: 24).

Не расплывчатые стилистические соотношения, а точное установление зависимости копий от оригинала, выявление генетических линий копирования, прослеживание влияний и заимствований в развитии иконографического типа — вот на чем основывался Кондаков.

> «Проследив эволюцию какого-либо иконографического мотива, он заполучал тем самым возможность найти целый ряд точек опоры для датировки, хронологии и классификации памятников... Анализ же иконографии позволял Кондакову делать заключения о влиянии одного художественного мира на другой и о их генетическом происхождении».

Таким образом, понятие «тип» вошло в русскую археологию за 10 лет до появления знаменитой работы Монтелиуса о типологическом методе, но в другом контексте. Монтелиус устанавливал развитие, эволюцию типа от исходных форм к производным, дочерним, Кондаков же — отношение оригинала к копиям. *Для Кондакова главное — не развитие, не прогрессивная эволюция, а копирование, влияния и заимствование.* Тут есть нечто диффузионистское и — опять же, буслаевские «странствующие сюжеты» сказываются, как и близость филологическим исследованиям А. Н. Веселовского, его сверстника и соученика у Буслаева. «Моею мечтой было и будет подвести археологическую науку хотя на шаг к тому научному анализу, который в истории литературы дал такие блестящие результаты... И в археологии возможна та же прочная историческая работа по изысканию переходов одной формы из места в место, по определению ее вариантов и их значения для целой культурной жизни местности и народа» (письмо к А. Н. Пыпину, цит. по Кызласовой 1885: 122–123). Приверженность теории влияний выступала и в конкретных интерпретациях: «То Сирия, то Персия, то Индия и Средняя Азия выступают своего рода руководителями русской культуры», — писал Кондаков (Кондаков 1889–1899, V: 25). Он искал происхождение византийской и русской иконы в египетском портрете.

Но влияние не означает рабского копирования. Оно является стимулом к развитию: «история влияния не есть история ига, но история духовного развития» (Кондаков 1884: 11). Позже, в докладе 1899 г., Кондаков провозглашал:

> «Русской древности поставляли в вину (впрочем, только у нас дома), что она начала бытие свое с заимствования византийских образцов <...> Но история искусства, научно поставленная, показывает нам, что всякое искусство начинает свою деятельность так называемым заимствованием, правильнее говоря, — общением с высшею культурою, и потому в известных, показных сферах, где ищут нового и неизвестного, мы встречаем памятники, выполненные чужими мастерами» (Кондаков 1899: 6).

Впоследствии в русской археологической литературе Кондакова не раз обвиняли в том, что его метод чересчур *формалистичен* (формальная типология!), хотя здравый смысл говорит, что необходимо изучать формы, чтобы постичь содержание, что иного пути постичь содержание нет. Источниковедческие исследования часто подвергаются подобным обвинениям — в сущности, их обвиняют в том, что они — искусствоведческие, а не исторические. Впрочем, Кондаков, пожалуй, заходил в упоре на формальный анализ слишком далеко: для него истолкованием содержания и является описание типов.

4. Петербургский период. В возрасте между 40 и 50 годами одесский ученый подымается на пик своей ученой и преподавательской карьеры. В 1888 г. 44-летний Кондаков получает кафедру истории искусств в столичном, Петербургском университете и пост главного хранителя средневековых древностей в Императорском Эрмитаже, а в следующем году — звание академика.

В Петербург Кондаков прибыл в разгар ожесточенного конфликта петербуржцев с москвичами. Императорская Археологическая комиссия получила монополию на выдачу «Открытых листов» (документов на право раскопок), и ее председатель, известный археолог граф А. А. Бобринский, начал осуществлять эту привилегию с большой ригористичностью. Это вызвало возмущение Московского археологического общества во главе с графиней Прасковьей Сергеевной Уваровой. Они развернули кампанию неповиновения. Из солидарности с Археологической комиссией группа петербургских археологов вышла из состава Московского археологического общества. Кондаков, еще с 70-х гг. член Археологической комиссии, был в том числе, причем он дольше всех — десять лет — не поддерживал отношений с московскими коллегами. Он недолюбливал Бобринского, но был человек принципиальный и подчеркнуто лояльный к начальству. Его переписка с Уваровой скудна

Н. П. Кондаков в Петербурге

и холодна (Кызласова 1993), а в сборнике в ее честь (1916) Кондаков не участвовал.

В Петербурге многолетними друзьями Кондакова стали нумизмат граф Иван Иванович Толстой и знаменитый художественный и музыкальный критик Владимир Васильевич Стасов, открывший в Пантикапейском некрополе склеп с наиболее сохранившимися росписями. Сам же Кондаков всё более увлекался иконами, в которых влияние византийского искусства в России сказалось столь же сильно, как и в архитектуре.

Со следующего за переездом в Петербург 1889 г. Кондаков вместе со своим младшим другом Иваном Ивановичем Толстым начал монументальное многотомное издание на русском и французском языках «Русские древности в памятниках искусства». Было задумано «представить <...> развитие древнерусского искусства в точных снимках с художественных памятников русской древности и старины». В 1889 г. вышли два первых тома: том I — «Классические древности южной России» и том II — «Древности скифо-сарматские», а всего вышло 6 томов (1889–1899). Хотя подбор иллюстраций был совместным, текст принадлежал одному Кондакову.

В этом издании особенно четко выступило характерное для Кондакова отсутствие европоцентризма. Современная европейская культура для него не является высшей ступенью развития человечества, по отношению к которой остальные — лишь подготовительные стадии.

> «Идея прогресса, — писал Г. В. Вернадский (2002: 254–255), — в этом смысле чужда научному творчеству Н. П. Ей противополагает он идею развития, или эволюции, которая может идти в ту или иную сторону, представлять собою прогресс, регресс или просто боковое отклонение... Отсюда следуют два в высшей степени важных вывода. С одной стороны, Н. П. утверждает существование в различных и частных отдаленных от нас периодах искусства и культуры таких достижений <...>, которые потом вновь достигнуты человечеством не были». Вернадский приводит в пример филигрань, эмаль, миниатюру, энкаустику. «Другое следствие тех же посылок — признание ценности культуры и искусства тех народностей и ступеней быта, за которыми обычно высот достижения всерьез не признается».

И Вернадский приводит цитату Кондакова из V тома «Древностей»: «Быт кочевников в известную эпоху шел впереди быта земледельческого по усвоению культурных форм, хотя бы эти формы касались

исключительно личных украшений, уборов, того, что называется доселе богатством в народе» (Кондаков 1889–1899, V: 25).

С самого переезда Кондаков работал над русскими кладами, и в 1898 г. он опубликовал новый капитальный труд — «Русские клады. Исследование древностей великокняжеского периода». И здесь тоже был применен формальный стилистический анализ. И здесь теория влияний была руководящим принципом. Автор «пытался найти для каждого конкретного предмета, его формы, техники, стиля и иконографии образец в соседних странах» (Кызласова 1985: 122). Главной задачей своей автор считал «изучение курганных древностей, кладов и пр. прежде всего со стороны их стиля, типической формы предметов, ее исторических изменений» Кондаков 1898: 10). Таким образом, иконографический тип незаметно в трудах самого Кондакова трансформировался в *археологический тип* — стилистический вариант внутри функциональной категории вещей.

Существенным новшеством был пересмотр циклической концепции расцвета и увядания культур. Кондаков высказался за «закон непрестанного прогресса», но реализация этого закона у Кондакова своеобразна: то, в чем видят упадок искусства, оказывается, если взглянуть иначе, его возрождением (Кондаков 1898: 79, 81). Оценку, аргументирует свой взгляд Кондаков в 1909 г., обычно делают по реалистической передаче форм человеческой фигуры, игнорируя орнаментику и декоративность. «Легко себе представить, как при подобной условности наших современных понятий о ходе искусства ошибочны и все наши заключения о так называемых эпохах упадка» (цит. по Кызласовой 1885: 127). В этом понимании достижений искусства чувствуются уже проблески Серебряного века.

Издание превратилось в серию, следующие тома которой вышли уже в советские годы.

Кондаков продолжал свои поездки на Восток и в Европу. В 1888 г. он съездил в Испанию, в 1889 г. посетил Кавказ, в 1891 — Сирию и Палестину, а в 1898 — Афон и славянские страны. Славянские страны (в частности Македонию) он объезжал в тревожное время, связанное с Балканской войной, и его доклады российским властям имели характер политической разведки (Вздорнов 1997: 794). Позже, в начале века, выйдут научные работы по результатам этих поездок. В итоге многочисленных работ Кондакова византийское искусство предстало как широко раскинувшийся комплекс памятников Малой Азии с Константинополем, Ближнего Востока, Балканского полуострова и других земель — от Кавказа до Италии, от Египта до

России. Искусство это выросло из соединения нескольких корней. Во-первых, традиции эллинизма — это был исходный компонент. Во-вторых, греко-восточное искусство самой Малой Азии и полосы земель Леванта вплоть до Египта — это был компонент стержневой. В-третьих, кочевническое искусство степной полосы от Причерноморья и Прикаспия до Средней Азии и Южной Сибири — оно воздействовало на византийское искусство. На искусстве славянском сказался больше всего второй компонент:

«Культуры русского и славяно-балканского юга слагались, видимо, под общим условием влияния основной греко-восточной культуры, и именно этим, а не влиянием Средней Азии и Персии, мы должны объяснять господство восточного элемента в нашем и балканском орнаменте», — писал он в 1909 г. («Македония»: 59).

Он также организовал Средневековый отдел в Эрмитаже и вместе с И. И. Толстым подготовил новый устав, реорганизующий Академию художеств.

5. Школа. Вероятно, рано было бы говорить, что уже в Новороссийском университете Кондаков основал школу византиноведов-археологов, прививая им интерес к византийскому искусству и навыки исследования иконографическим методом. Там мало кто интересовался его лекциями.

Но всё же с Кондаковым переехали в Петербург два его одесских ученика. Один из них, Д. В. Айналов (1862–1938) — впоследствии известнейший историк искусства, автор капитального труда «Эллинистические основы византийского искусства». Через несколько лет из Одессы переехал в Петербург еще один, третий искусствовед, вошедший в орбиту Кондакова, — Борис Владимирович Фармаковский (1870–1928), впоследствии глава школы советских археологов-античников, один из основателей Российской Академии (впоследствии Института) истории материальной культуры.

В Петербурге новые студенты стали учениками Кондакова. Это прежде всего Смирнов, затем Жебелёв, Ростовцев и Лазарев. Яков Иванович Смирнов (1862–1918) стал известен своими исследованиями сассанидского серебра, и Кондаков считал его своим лучшим учеником (когда Кондаков ездил в Испанию, Смирнов его сопровождал). Сергей Александрович Жебелёв (1867–1941) впоследствии стал главой советских историков-античников, но занимался и археологией, написал первое русское введение в археологию и умер от голода в Ленинградской блокаде. Но более всего прославился еще один

ученик Кондакова — Михаил Иванович Ростовцев (1870–1952), крупнейший знаток археологии скифов, историк эллинизма и римских экономических отношений. После революции он эмигрировал в США и стал признанным лидером этой отрасли для мировой науки. На три десятилетия младше их всех был Владимир Николаевич Лазарев (1897–1976), который больше других анализировал творчество самого Кондакова.

Трудно сказать, что привлекало к нему сердца талантливых студентов. Вероятно, обширные знания и новизна идей, возможно, педагогический опыт, наращенный во время учительства в гимназии. Вряд ли какой-то особый блеск лекторского мастерства. Во всяком случае писал Кондаков всю жизнь тяжеловесно, обстоятельно и многословно; слог его был, можно сказать, кондовый и вялый. Фразы длинные, обороты, расхожие в научной речи, словом, «гелертерский» стиль. Живее написаны только его мемуары.

Но его занятия привлекали самых серьезных студентов, а его дом был для них притягательным центром. «Дом Н. П. был настоящей "Свободной Академией", — вспоминал потом М. И. Ростовцев (2002: 215). — Часто ли мы говорили об археологии, не помню. Вероятно, часто, т. к. все ею более или менее занимались. Но говорили и о политике — и подчас довольно горячо...» Жебелёв (2002: 219) вспоминает «журфиксы у Н. П.», сначала по субботам, потом по воскресеньям. «Эти журфиксы посещали чуть ли не все русские ученые, причастные к археологической науке и к гуманитарному знанию, и созревшие, и созревающие, и юные пионеры, и маститые ветераны».

Ученики Кондакова держались вместе, их выделяли и называли «фактопоклонниками». Дело не в том, что они придерживались эмпирического метода. Некоторые придерживались, например Жебелёв, другие не очень. Но тогда, в эпоху господства позитивизма, это не обратило бы на себя внимания. А вот сугубое внимание форме, формальному вещеведческому анализу, требование знать факты, иметь огромную эрудицию — вот что привело к возникновению этой клички. Все кондаковские ученики отличались колоссальной эрудицией, фундаментальными обобщающими исследованиями.

Если бы Н. П. Кондаков только и сделал, что подготовил эту могучую плеяду учеников, этого было бы достаточно, чтобы увековечить его имя в науке. Но он внес и собственный вклад — творил и будучи в Одессе, и после переезда в Петербург. Его главная идея этих лет произвела глубокое впечатление на его учеников. Особенно она повлияла на творчество Ростовцева и Фармаковского.

6. Комбинационизм. Конец века был примечателен в русской археологии. В 1899 г. появились две работы, определившие надолго пути развития отечественной археологии. Одна — это была статья А. А. Спицына «Расселение древнерусских племен по археологическим данным», в которой автор по типам височных колец установил границы летописных русских племен (Спицын 1899б — статья, сравнимая с аналогичной работой Косинны (о железных наконечниках копий), но появившаяся раньше. Вторая из этих вех — работа В. А. Городцова «Русская доисторическая керамика» (1901), в которой Городцов впервые изложил основные принципы формального анализа не только керамики, но любого археологического материала — те принципы. которые легли в основу всех типологических работ русских археологов и затем, после перевода другой работы Городцова на английский в Америке (Gorodzov 1933), по признанию Чжана Гуанчжи, повлияли на концепции американских таксономистов.

Вот в этом самом году Кондаков, которому было уже 55 лет, выступил в Обществе любителей древней письменности и искусства с докладом «О научных задачах истории древнерусского искусства». В этом докладе он заявлял, что древнерусское искусство представляло собой «оригинальный художественный тип, крупное историческое явление, сложившееся работою великорусского племени при содействии целого ряда иноплеменных и восточных народностей». Исследуя происхождение древнерусского искусства, Кондаков установил его отношение к византийскому искусству, влияния Востока на русское искусство, роль кочевнического мира. Воздействие кочевников он трактовал не только как разрушительное. Кочевники оказались также посредниками — они передали России ряд компонентов культуры Востока. В некотором отношении кочевники — от скифов до татар — не менее важны, чем оседлые народы. Аналогично тому, как варвары, скажем, персы, сыграли в истории не менее важную роль, чем Рим. В этом отношении Кондаков был предшественником и предвестником евразийцев русской эмиграции и релятивистов Европы и Америки.

Жебелёв впоследствии передавал свои впечатления от этого выступления Кондакова так: «Это был воинственный клич русской археологии». Любор Нидерле (2002: 199) в Праге впоследствии говорил, что Кондаков «занял исключительное место не только в ряду ему современных выдающихся русских ученых, занимающихся археологией России, но — и это я могу утверждать без малейшего колебания — в девяностых годах прошлого столетия стал во главе их всех». В 1905 г. ведущий критик того времени В. В. Стасов (1962:

302–303) в письме к Кондакову называл его «архистратигом русской археологии», а в письме к своему брату (1901) выражал убеждение, что «Никто в целой России (археологической) столько не знает, не соображает и не починает, как он» (Каренин 1927: 340).

Кондаков доказывал, что влияние византийского искусства на русское было не тормозящим и омертвляющим, а сугубо плодотворным. С этим можно спорить (по-видимому, в византийском влиянии были обе струи — чем-то оно тормозило развитие русского искусства, чем-то обогащало и стимулировало его), но идея была свежа. По Кондакову, русские мастера не просто копировали византийские формы, а творчески использовали их, опираясь на оригинальное русское искусство предшествующей поры, с собственными местными корнями.

Идея заключалась в том, что смешивание собственных (местных) и чужих форм способно привести к созданию чего-то нового. Эта идея была чужда диффузионизму и знаменовала появление нового течения, которое я считал бы уместным именовать *комбинационизмом* (впервые я выдвинул это предложение в 1875 г. — см. Клейн 1975; также Klejn 1999[1]).

Французский психолог Г. Тард (его «Законы подражания» вышли в 1890 г.) считал, что обычно новшества — только «комбинации предыдущих образов», а изобретение можно определить как «логическое совокупление». Фробениус, уподоблявший культуры живым организмам, в начале XX века говорил уже о скрещивании, спаривании *(Paarung)* целых культур. Еще позже, в 1911–1920 гг., британский этнограф У. Риверс развил эту идею в целую концепцию. По Риверсу, материальные предметы и их типы могут распространяться в ходе контактов, язык же, религия и социальные структуры в основном взаимодействуют лишь при слиянии народов. Результат такого слияния напоминает не физическую смесь (как у Гребнера), а химический сплав с новыми свойствами.

Кондаков выступил с этой концепцией на самом рубеже веков, то есть почти одновременно с первыми идеями этого рода на Западе, а в начале XX века она была подхвачена и развита его учениками Ростовцевым и Фармаковским. Первый показывал это на примере Боспора и Скифии, где иранский элемент сочетался с местным

[1] В этом издании иллюстрации были подобраны редакцией без консультации со мной. При этом портрет сына Н. П. Кондакова был ошибочно принят за портрет самого ученого.

и греческим, а второй ученик, Фармаковский, рассматривал результат сочетания ионийского компонента с восточным в архаической скифской культуре Кавказа.

7. Общественная позиция. В России еще были памятны времена Николая I, когда правительство, по словам историка русской археологии А. А. Формозова (1961: 102), «пыталось оторвать русскую культуру от западных традиций (античность — Ренессанс — барокко — классицизм — ампир) и переориентировать ее на византийский путь развития искусства». Византия рассматривалась как прообраз Российской империи, объединяющей Европу с Азией, как источник православия и образец самодержавия. Указ 1841 г. предписывал архитекторам при постройке церквей придерживаться «вида древнего византийского зодчества».

Конечно, либерально настроенная часть интеллигенции, не говоря уже о революционерах, отождествляла византийскую традицию с господствовавшими церковно-догматическими принципами и с поддержкой самодержавия и засилья православной церкви. Для этой интеллигенции то, чем занимался Кондаков, было равносильно оправданию и восхвалению консервативных устоев России.

Академик Н. П. Кондаков (второй справа), эксперт двора по иконописи. Кондаков в группе с великим князем К. К. Романовым и епископом

Что ж, академик Кондаков был и в самом деле консервативным человеком. Он являлся экспертом императорского двора по иконописи. Тот, кто мальчиком прятался в подворотнях от полицейских Николая I, был вхож во дворец Николая II. В 1911 г. Кондаков выпустил крупную работу «Иконография Богоматери. Связи греческой и русской иконографии с итальянской живописью раннего Возрождения», а через несколько лет вышел его двухтомный труд «Иконография Богоматери» (1914–1915). В 1916 г., в военное время, французское правительство наградило европейски известного ученого орденом Почетного Легиона.

Но археологи в России считались в своем большинстве скорее ретроградной частью интеллигенции.

> «Археологи возмущали меня своим равнодушием к насущным потребностям народа, — вспоминал о 60-х гг. революционно настроенный этнограф И. А. Худяков (1930: 76–77), — <...> На археологических вечерах у И. И. Срезневского постоянно можно было слышать о политическом настроении молодежи... Они там, в "Современнике", хотят революцию сделать, — вопиял Срезневский. — Я думаю, все честные люди должны собраться и сделать контрреволюцию и крестовый поход против невежества».

Академик Измаил Иванович Срезневский (1812–1880), крупный филолог, был в Петербурге деканом историко-филологического факультета, на котором уже после его смерти преподавал Кондаков. Срезневский ратовал за большее участие церковно-исторических обществ в русской археологии, за придание церковным академиям функций ее научных центров наравне с университетами. Уже перед самым своим переездом в Петербург на VII Археологическом съезде в 1887 г. Кондаков выдвинул предложение о «восстановлении научных связей между византийской археологией и изучением русских церковных древностей». В противостоянии демократической прослойки интеллигенции и консервативных ее слоев Кондаков был, видимо, на стороне последователей Срезневского.

Однако всё не так просто. Саму византийскую традицию Кондаков рассматривал не как застывшую, мертвую, а как развивающуюся. Более того, ни лояльность ученого по отношению к самодержавию, ни его преданность по отношению к церкви, ни даже просто патриотизм не были безусловными, слепыми и полными. Еще в детстве Кондаков с ужасом наблюдал типичное для николаевской России наказание солдата — проведение сквозь строй, когда спина превращалась в клочья истерзанного мяса.

> «Подобно другим запоздалым ужасам Русской земли, — вспоминает Кондаков в 1919 г. (в лагере белых!), — этот акт русской власти возбуждал во всех, кроме страха, чувство глубокого отвращения и затаенной злобы. Будучи всегда отчужденным от своей семьи, я всегда был более близок к простонародью — нашей прислуге, домовой дворне, и могу утверждать, что никогда во всех случаях своего сближения с народом мне не приходилось слышать добрых слов о какой бы то ни было русской власти, и для меня в настоящее время ясно, что я был и раньше прав, когда не верил ничьим излияниям преданности русскому царю, хотя сам лично, враждебно ощущаю полную неподготовленность русского народа к самостоятельной политической и общественой деятельности; до конца 1916 года принципиально стоял за сохранение самодержавия и лишь за несколько месяцев до революции изменил своей натуре, стал желать революции...» (Кондаков 2002: 58).

В студенческое время Кондаков ушел в себя, углубившись в чистую науку. «За время моего пребывания в университете, — пишет он в тех же воспоминаниях (2002: 90–91), — во мне произошла большая внутренняя перемена. Я поступил в него совершенным радикалом, злобно настроенным против всякого начальства...», участвовал в студенческих волнениях, «подписывался под любыми резолюциями», давая волю «мальчишеским претензиям на распоряжение своею судьбою, и по пути, кстати, судьбою России». Но либерализм конца 50-х растаял, и в начале 60-х студенчество вернулось к своим занятиям, а Кондаков навсегда распрощался с юношескими иллюзиями и примирился с самодержавной властью. Но при этом смотрел на нее трезво и скептически.

Это видно в его описании перипетий организации комитета по охране русской иконописи и народных промыслов (Мстера, Палех, Холуйская) от коммерциализации и пошлой модернизации (Кондаков 2002: 187–188). Он стремился вовлечь в этот комитет самого царя Николая II.

> «Но пока я выяснял Николаю II самое положение иконописи, я ясно видел, что он утомлен, не вникает вовсе в представляемые резоны, и потому решился сократить всё представление и не говорить вовсе о том, как организовать эту помощь. Когда я закончил, Государь заметил только, в виде вопроса, следующее: "Я думал о том, как назвать по-русски ваше занятие иконами — иконоведение, не правда ли?" Это было всё, чего мы дождались от Государя».

Кондаков рассчитывал изложить всё подробно на аудиенции у министра внутренних дел Сипягина, «но это не удалось, так как Сипягин прежде всего пожелал мне показать свою новую столовую, украшенную пышно орнаментикою в так называемом византийском стиле... Внутренне я мог только пожалеть о том, как искажено было здание второго, или николаевского, ампира, но должен был подчиниться обязательной вежливости». Сипягин предложил устроить всё при Святейшем синоде, «на что я ему сказал, что комитет устраивается в известном смысле против Св. Синода», поскольку Синод как раз и насаждал массовое фабричное производство икон.

Свою брошюру 1901 г. «Современное положение русской иконописи» он отослал Чехову, с которым подружился в Ялте. Чехов (Чехов ПСС, т. IX: 212–213) охладил пыл ученого в борьбе за восстановление искусства иконописи. «Да, народные силы бесконечно велики и разнообразны, но этим силам не поднять того, что умерло. Ремесленное мастерство, — аргументировал Чехов, — переходит в кустарное производство, то — в фабричное. Закроете одну фабрику, появятся новые фабриканты, но Палех и Хóлуй как центры художественной иконописи уже не воскреснут».

> «Кстати сказать, — добавил Чехов, — в избах мужицких нет почти никаких икон; какие старые образа были, те погорели, а новые — совершенно случайны, то на бумаге, то на фольге. <...> Ваша книга об иконописи написана горячо, даже местами страстно... Несомненно, иконопись (Палех и Хóлуй) уже умирают, или вымирают, и если бы нашелся человек, который написал бы историю русской иконописи! Ведь этом труду можно было бы посвятить целую жизнь!»

Потом Кондаков и напишет такой труд, а пока он и Чехову называет своего главного противника в борьбе против массового фабричного производства икон: «Мне предстоит выступить против Синода, и я готов на поражение» (цит. по: Чехов ПСС IX: 515).

Прохладное отношение Кондакова к Синоду вполне отражает его общий разлад с православной церковью. В «Воспоминаниях и думах» (2002: 169) он пишет:

> «Я лично уже со времени своего студенчества не христианин внутренне и христианства не исповедаю. Но в то же время чувствую и сознаю себя искренне религиозным, но давно уже прекратившим в себе, внутри, и в своем быту всякие поиски и порывы к возвращению той мечтательной и темной веры, которою был наполнен в юношестве».

Кондаков имел стойкий интерес к критическому изучению Евангелия. Он однако добавлял:

> «не веруя ни в какое откровение, я всё же прихожу в религиозное настроение своего рода, когда вхожу в церковь, приезжаю в монастырь, беседую с духовною особою или читаю Священное Писание и занимаюсь церковной археологиею. Правда, при этом я давно утратил конфессиональное различие...»

Холодно и отчужденно он озирал окрестное священничество. «Московские священники в большинстве были из семинаристов, пьянствовали и распутничали в прошлом веке. <...> Но главным пороком у сельских попов было распутство их молодежи и занос в деревню дурных болезней» (Кондаков 2002: 170). Отмечая подвижническую деятельность некоторых одиночек, Кондаков (2002: 172) отмечает их страдания «от посягательств и мытарств русских канцелярий и дикой злобы русских властей».

8. Русофобия? Совершенно очевидна неприязнь Кондакова к славянофилам и квасному патриотизму, насаждавшемуся властями. Особенно он не любил Москву, по словам жены Бунина (Муромцева-Бунина 2002: 349), «москвичей считал льстивым, лукавым, жестоким народом.

— Петербург несравнимо лучше, — утверждал он. — Там и работают намного лучше, чем в Москве».

Неприятие относилось и к его *alma mater* — Московскому университету. «Московский университет и в мое время в среде своей профессуры представлял много такой ветоши, что, конечно, ни один иностранный университет не потерпел бы в своих стенах» (Кондаков 2002: 68). «Москва же после моих выездов в Петербург и за границу мне не нравилась настолько, что, когда умер отец и оставил нам троим дом в Москве <...>, никто из нас <...> не пожелал оставить его за собою» (2002: 129). Кондаков воспринял назначение в Одессу с радостью, ибо это позволяло ему «выполнить на деле свою мечту — покинуть родную Москву с ее жестоким климатом, ее учеными и педагогическими и литературными кружками, от которых меня начинало уже тошнить (особенно славянофильские кружки...)» (Кондаков 2002: 131). Но и Одесса привлекала его не намного больше: «На мой взгляд, и самое дело преподавания в Новороссийском университете по большинству его кафедр имело жалкую участь» (2002: 138). «Лично для меня Одесса всегда была хорошей гостиницей, или постоялым двором, и так же продолжаю глядеть

и поныне», — писал он уже в последнее свое пребывание в Одессе — перед эмиграцией (2002: 135).

С жестокой иронией описывает Кондаков порыв дряхлого славянофила Григоровича зажечь общество на торжественном заседании III Археологического съезда в Петербурге воскрешением старых славянофильских идей. Депутаты университетов подходили приветствовать председательствовавшего великого князя Константина Николаевича.

> «И вот вдруг Григорович, отделившись от других тремя трагическими шагами, при каждом шаге подводя к себе ногу в положение налетающего орла или коня, примкнувшего свой зад к переду, чтобы прыгнуть, вдруг встал и замер перед Константином. Всё замерло в зале, все ждали, что будет дальше; из груди Григоровича вырвался крик, раздался клич на всю русскую землю, на ее супостатов. Но, увы, в старческой груди уже не нашлось нот для боевого клича, и это был петушиный вопль, который услыхала смятенная палата. Григорович читал напыщенный адрес Императорскому <...> Русскому <...> археологическому (всё громче и громче) <...> обществу (в голосе захлебнувшаяся волна). <...> Зал, наполненный великими княгинями, княжнами и их семьями, высшей бюрократией и многочисленными съехавшимися депутатами, недоумевал две-три минуты. После двух-трех фраз комизм старческих усилий воскресить былых и громогласных ораторов заразил публику. Через минуту вся зала смеялась, сначала отрывисто, а потом общим гулом раскатистого хохота» (Кондаков 2002: 142–143).

Советские критики Кондакова, борцы с космополитизмом, могли бы поставить его приверженность теории влияний, его превознесение византийской культуры в связь с его пренебрежительным отношением ко всему русскому. На деле этой связи, пожалуй, не было. В его несомненном презрении к русскому быту была смесь общего пессимизма и горечи от окружавшей его всю жизнь грубости и неразвитости:

> «...сколько я себя помню, я был всегда крайне чувствителен, болезненно ощущал свою отчужденность и воспитывал в себе, благодаря этому, сурово-критическое отношение к русским людям, которых я знал ближе всего... Уже самая враждебность отношения к русскому обществу показывает, что я, чуждаясь его в течение жизни, чувствовал и сознавал горечь своей от него зависимости» (Кондаков 2002: 33).

Это сказывалось и в бытовых мелочах. Он всегда почитал доброкачественность и не выносил второсортности. «Могу похвалиться тем, что до последних лет своей жизни я никогда не заказывал у русских портных и довольствовался всегда готовым, но заграничным платьем» (2002: 115). По оценке Кондакова, оно дешевле, добротнее, там богаче выбор. Носил потом это платье «по 30-ти и даже по 40 лет».

Вспоминая присказку своего учителя о том, что, если бы Бог даровал ему вторую жизнь, он бы принял это с радостью, Кондаков (2002: 78) добавляет, что и он бы принял это, «но с одним условием: не в России». В его записях очевидца «Россия, которую мы потеряли», не столь привлекательна, как она выглядит век спустя. Муромцева-Бунина (2002: 349) вспоминает, что незадолго до эмиграции он «сурово относился к России, не верил в государственную способность русских людей. "Нет-с, русские люди ни на что не годны! — отчетливо и с раздражением говорил он порой. — Я алан по происхождению и очень рад, что во мне нет ни капли русской крови"».

Аланом он себя провозглашал потому, что в молодости был сильно черноволос и потому, что род его происходил из слободы Халань, название которой он связывал с этнонимом «алан». Впрочем, когда в 1882 г. в Италии он повстречался с великим князем Константином Николаевичем и тот спросил его: «Почему черный? Да вы русский?» — Кондаков ответил: «Почитаю себя таковым» (Кондаков 2002: 22). А когда в Париже Мечников обвинил русских торговцев в восточном коварстве и одурачивании покупателей, Кондаков «на такой выпад Мечникова» возразил, что и одураченный покупатель тоже должен быть русским, «но именно в настоящее время, когда вся Россия поделилась на таких одураченных покупателей и жестоких торговцев, можно действительно произнести страшный приговор над всем русским народом» (Кондаков 2002: 160). Под «настоящим временем» Кондаков имел в виду 1919 г. (уточняю, чтобы читатель не перепутал, — поистине есть постоянно возвращающиеся ситуации в русской истории!).

Есть какие-то связи между объектом изучения и обликом исследователя. Всё это двоемыслие совершенно не проявлялось в научной карьере Кондакова и его общественной позиции. Об истинных мыслях и оценках Кондакова могли знать только ближайшие ученики и члены семьи. Он был типичный византиец. Но и для византийца наступают моменты, когда нужно определяться резко и недвусмысленно.

9. Эмиграция. Революция застала 73-летнего академика в Крыму, где он находился на лечении. Он не вернулся в революционный Петроград. Всю Гражданскую войну (1918–1920) он проживал опять в Одессе, в городе начала своей научной карьеры, на территории, занятой в основном белыми и войсками Антанты. Когда на время город перешел в руки красных, для Кондакова настали черные дни. Получка была мизерная, ходил на базар менять вещи на продукты, но вещей было в обрез — ведь всё осталось в Петербурге. При Украинской Раде старый коллекционер Дорошенко был назначен министром изящных искусств. Красные, разумеется, его в мае 1919 г. арестовали. Кондаков пошел в ЧК хлопотать (хотя все даже мимо ходить боялись). Там ему пригрозили и самого посадить заодно с Дорошенко. А Дорошенко расстреляли.

Когда вернулись белые, Кондаков стал работать в редакции белой газеты «Южное слово». Его статьи о политике Франции, написанные тягучим старомодным слогом, вряд ли могли привлечь читателей, но в редакции ценили его имя и связи с французским миром. Кондаков привлек к редактированию выдающегося писателя И. А. Бунина, и оба стали соредакторами газеты. Бунин сразу же потребовал резкого увеличения зарплаты и машину для поездок в редакцию. Кондаков же остался при прежней зарплате и, хотя жил дальше Бунина от редакции, по-прежнему ходил по полуночной Одессе пешком. С семейством Буниных подружился. Красных и советскую власть, по словам Буниной, «ненавидел острой ненавистью».

Однако, по воспоминаниям Б. В. Варнеке,

> «...не было у Никодима Павловича и следа того настроения, которое не позволяло бы остаться в Советской России, той лютой злобы на ее порядки, которой пылал хотя бы Ив. А. Бунин. Думаю, что под его влиянием и созрело решение Никодима Павловича бежать. Бунин очень красочно, в тоне Иеремии пророчил, что большевики повернут жизнь так, что на голой земле останется голый человек, и рисовал это с пылом настоящего поэта. Вот это-то настроение, верно, и захватило не только самого Никодима Павловича, сколько его секретаршу, имевшую на него безграничное влияние, а она была очень дружна с молодой женой Бунина, на всё глядевшей глазами своего мужа» (Тункина 2001: 61).

Речь идет об ученице Кондакова Е. Н. Яценко, слушательнице Бестужевских курсов, приехавшей с Кондаковым в Одессу. Варнеке считал, что Кондаков мог бы остаться без опасений, однако,

зная независимость старого ученого и характер советских властей, можно не сомневаться, что как редактор белой газеты он бы последовал за Дорошенко. Для Кондакова наступило время пересмотреть свое учение о благотворности культурных влияний. Марксизм пришел в Россию, несомненно, с Запада. Россия оказалась охвачена этим влиянием, и теперь Кондаков наблюдал гибель и разрушение всего, что было ему дорого. Новое возникало из сопряжения местных и пришлых традиций, но это новое было страшным, да и было ли культурой? Расценивая варварские и кочевнические культуры Средних веков как причастные к прогрессу, в том новом, что появлялось в России, Кондаков признаков прогресса культуры не усматривал. Успеет ли он внести коррективы в учение или просто потеряет к нему интерес?

Н. П. Кондаков в конце жизни

Не раз, живя подолгу за границей, он готовился к эмиграции трезво и без иллюзий, понимая, что кольцо вокруг Одессы сжимается и дни белой армии в ней сочтены.

Когда в конце 1919 г. этот форпост контрреволюции пал, Кондаков с Буниными и Яценко в густой толпе эмигрантов отбыл на французском пароходе в хорошо ему знакомый Константинополь, а оттуда через Варну в Софию. Когда Варнеке спросил старого ученого, почему он не нацелился на Францию, как Бунин, ведь у Кондакова был французский орден Почетного Легиона, старик ответил:

> «Я слишком хорошо знаю французов. Это великий народ, но иностранца он терпит только как источник наживы для себя, а работать никогда никому не позволит рядом со своими. Я насмотрелся, как там жил мой друг Мечников: без капитала жены он почил бы давно, и французы пальцем бы не пошевелили для того, чтобы устроить его. Кроме некролога и речи над могилой, от них ничего не получишь, а я еще многое должен сделать, и славянские земли, которые я тоже недолюбливаю, — непочатый край по нашей части» (Тункина 2001: 61).

Задержавшись в Болгарии на год и найдя условия непригодными для обоснования, он перебрался в Прагу, где его русские и зарубежные ученики организовали под его руководством *Seminarium Kondakovianum*. Там после нескольких лет работы сердце стало сдавать. В феврале 1925 г. вечером с 16-го на 17-е он, закончив работу над очередным археологическим очерком, почувствовал дурноту. Успел сказать: «Мне плохо». И, потеряв сознание, умер. После его смерти Семинар был преобразован в Институт Кондакова. Этот институт издал посмертно последний труд Кондакова «Очерки и заметки по истории средневекового и церковного искусства». Институт сыграл важную роль в развитии чехословацких византиноведения и славистики.

Когда перед Второй мировой войной немцы оккупировали Чехословакию, Институт переехал в Белград, где в 1941 г. был разрушен при авиационном налете.

За свою долгую, полную труда и экспедиций жизнь (шесть десятилетий научной деятельности!) Кондаков опубликовал не так уж много работ — около 100, но многие из них — основополагающие монографии: «Русские древности», «Русские клады», «Русская икона», сводки памятников византийского искусства.

Судьба трудов Кондакова на родине была для советской действительности странной. Несмотря на участие его в белом движении и отъезд в эмиграцию, в 1925 г. в Москве была опубликована брошюра Лазарева с объективным и уважительным анализом творчества учителя; в 1928 г. в Праге вышла аналогичная статья советского же ученого Айналова. Конечно, позже в Советском Союзе деятельность Кондакова как исследователя, тесно связанного с церковным искусством, да к тому же белоэмигранта, замалчивалась или критиковалась. Однако сквозь стандартные критические штампы о «формалистическом вещеведении» и «непонимании истории» прорывались признания его основополагающего вклада в византиноведение, а его преемники продолжали высказывать свое уважение к учителю. Как-никак его многочисленные ученики и ученики его учеников занимали ведущие посты в советской науке — Д. В. Айналов, Б. В. Фармаковский, В. Н. Лазарев. Теперь за этими фигурами встает во весь рост основоположник школы, хранитель и передатчик традиции, встает всё выше на своем собственном вкладе в науку — как эрудит, мыслитель и генератор идей.

Собиратель

А. А. Спицын

Вам хочу показать, как жемчужины я собираю,
Поднимая их к свету из тьмы океанских глубин.

Александр Проказов. Собиратель жемчуга.

Я волнуюсь, как школьник, в ожидании
завтрашнего дня, когда в моих руках окажется
очередное сокровище.

Рэй Бредбери. Собиратель.

1. Вятский краевед. В русской археологии Александр Андреевич Спицын занимает особое место. Он виден отовсюду, из любого ее уголка. Потому что долго находился в самом ее центре, в Петербурге, в Археологической комиссии. Но подготовка к этому прошла в провинции, в Вятке. Вятский период его жизни разработан отлично сравнительно недавно (Бердинских 1991).

Спицыны — коренная вятская фамилия, маленький починок Спицыно находился в 33 верстах от уездного города Котельничи. Отец археолога, страстный охотник и рыболов, выбился из крестьян и служил в Яранске у откупщика, мецената и библиофила. Александр был средним из трех детей, родился в 1858 г. Когда ему было 10 лет, семья лишилась отца и осталась без средств к существованию. Чтобы дать детям образование, мать Саши после смерти мужа переехала сначала в Котельничи, потом в Вятку, где Саша поступил в гимназию. В том же году в Вятку переехала и семья Циолковских, и с Костей Циолковским, впоследствии знаменитым изобретателем и мыслителем, Саша Спицын учился первые четыре года, вместе оставались на второй год в первом и втором классах (впоследствии переписывались). Вот и делай после этого выводы о способностях и дарованиях!

Впрочем, на второй год во втором классе остались 15 учеников из 29: классическое образование требовало много зубрежки и не всем давалось. В 1878 г. Спицын закончил Вятскую гимназию 14-м (по успехам) из 15 выпускников. Но еще за год до того он послал свой исторический очерк о рукописях Вятской публичной библиотеки в исторический журнал. Сразу после школы он поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Там он стал учеником К. Н. Бестужева-Рюмина, видного историка источниковедческой направленности и талантливого педагога. Источниковедческая направленность импонировала молодому Спицыну, имевшему уже опыт изучения рукописей.

А. А. Спицын в молодости

«Видимо, он стеснен был в средствах, — вспоминает его друг по Университету В. Г. Дружинин (1910: 425), — носил черный потертый сюртук при белых полотняных брюках и не носил крахмального белья. Стальные очки его были поломаны и починены веревочкой». На старшем курсе он много работал в кружке по русской истории, где состояли известные впоследствии историки С. Ф. Платонов, В. Г. Дружинин, И. А. Шляпкин. Дружба с Платоновым сохранилась на всю жизнь.

В числе источников Бестужев-Рюмин помещал и вещественные памятники, отмечая, что они еще мало изучены. Спицын, приученный с детства отцом к пешим походам в лес, на природу, во время каникул обошел и объехал многие памятники Вятской губернии, обработал и материалы из местной печати. К концу 1881 г. 23-летним он сделал крупную работу «Каталог древностей Вятского края» и напечатал ее в «Календаре Вятской губернии» за 1882 г. Материал был разбит на 13 отделов: каменный век, курганы, городища, пещеры и т. д. Вятские древности сравнивались с древностями других областей, приводилась литература по каждой теме.

«По существу, — отмечает Бердинских (1991: 84), — эта студенческая работа положила начало главному направлению его деятельности — систематизации и классификации археологических памятников России по губерниям».

Кандидатское сочинение Спицын решил писать у Бестужева-Рюмина на тему «О первоначальном заселении Вятки». «Повесть о стране Вятской», ходившая во многих списках, почиталась за «вятского

летописца» XVI века. Спицын установил, что это недостоверно, как и предание о независимой вятской общине — «Вятской республике» на манер новгородской. Автор этой повести фактически был первым вятским историком и излагал свои гипотезы. Но Бестужев-Рюмин уехал на лечение в Италию, Спицыну был назначен другой рецензент, который выступил против пересмотра традиции и работу провалил. Пришлось вместо нее представить к защите старое студенческое сочинение — «Каталог».

С лета 1882 г. Спицын вернулся в Вятку и принял место учителя словесности и педагогики женской гимназии на жалованье 1100–1200 рублей в год — это было необходимо, чтобы расплатиться с долгами за время учебы и содержать семью (мать, брата и сестру). Он быстро стал любимым учителем и оказался приятным коллегой. В письме к Платонову от 24 июля 1883 г. он так излагает свою программу:

> «...позвольте сказать кое-что о смысле моей будущей деятельности, как я ее понимаю. Я искренний патриот, и процветание России — вот что входит во все мои помыслы. Поэтому я никогда не буду таким ученым, каким будете Вы и Василий Григорьевич (Дружинин. — Л. К.). Я буду заниматься не одной историей, но всем — историей, статистикой, языком, этнографией, изданиями — я буду заниматься, как начали всем этим заниматься славянофилы. Я буду писать, если это окажется мне по силам, — как писали Аксаков, Хомяков, как теперь пишут сотрудники "Руси"...»

«Заниматься всем» — это характерно для краеведов. Археологии здесь нет. Есть склонность к славянофильству и надежда писать для широкой публики. Этого дара («писать, как Аксаков») у него не было — писал он хорошим слогом, но скучно и серо. Иногда он мог добиться занимательности, приводя колоритные факты и выражения, но у него не было полета мысли, увлекающего слушателей, и смелых образов. Очень любопытна его эскапада против В. О. Ключевского, этого властителя дум. В письме Платонову позже (февраль 1891) Спицын желчно и, пожалуй, завистливо писал:

> «Я очень принял к сердцу Вашу горячую защиту Ключевского, но, право, я ему что-то не очень доверяю. Это — знающий историк, прекрасный работник, но очень претенциозный ученый; он всё знает, всё понимает и не признает никаких затруднений и препятствий в работах. Мы все мучаемся недостатком фактов, недостатком мысли, на каждом шагу упираемся лбом в стену,

> нас осаждают всё новые и новые вопросы, наши исследования всё больше по части "может быть" — и не люблю я бойких говорунов, блистающих <...> ловкостью оборотов речи. Это не историк правды, трепещущий за каждый факт и ищущий в нем с боязнью, ожиданием, трепетом истины; это лишь хладнокровный математик, систематик-резонер, всё понимающий и ничем не дорожащий, которому ничего не говорят ангелы небесные и трубные звуки. Его ясный курс истории представляется мне какою-то огромною чудовищною сплетнею; кто в прежнем видит только каких-то марионеток, которых тасует, передвигает то так, то иначе и воображает, что такова жизнь. Ключевский играет в историю, а не <...> живет ею... Ключевский — крупная величина, и потому-то так жалко смотреть на него: кому много дано, много с того и спросится» (Бердинских 1991: 96).

Но здесь не только зависть к «бойкому говоруну», а еще и неприязнь завзятого источниковеда, крохобора по определению, к талантливому мыслителю, гиганту мысли, историку божьей милостью.

В середине 80-х гг. Спицын издал (под псевдонимом А. Новиков) несколько педагогических пособий по орфографии и грамматике. Главной своей задачей Спицын видел написание большого труда — «История Вятского края до XVIII века». Это была краеведческая задача. В 80-е гг. краеведение разворачивалось по всей России. Основную работу этого плана вели сначала статистические комитеты, а потом губернские ученые архивные комиссии. В Вятке тоже складывается кружок краеведов во главе с Н. А. Спасским. В него входили в основном учителя. Спицын, став наиболее плодовитым членом этого кружка, поместил в губернских ведомостях 42 подписанных статьи и немало в «Календаре», в том числе «Свод летописных известий о Вятском крае». По широте интересов он превосходил всех своих коллег в Вятке, но глубина и тщательность проработки была значительно больше у А. С. Верещагина.

Среди работ с историческими документами любопытны те, в которых Спицын пытается из обрывочных сведений составить общую картину расселения инородцев (которых много в Вятской губернии) и русских по территории губернии. В этих работах чувствуется тот интерес, связанный с его славянофильскими настроениями, который позже привел к его знаменитым работам о расселении древнерусских племен и финских народностей по археологическим данным.

Естественно, его заинтересовал VII Археологический съезд, назначенный на 1887 г. в Ярославле — по соседству. Спицын подготовил

к нему «Программу для собирания сведений по Вятской губернии» и съездил в Казань, где познакомился с графиней Уваровой. Та обратила внимание на потенциального сотрудника и немедля назначила ему сумму на поездки по краю. В следующие два года на лошадях и на лодке Спицын объездил бассейн Вятки и собрал огромный материал. Провел раскопки в 4 уездах и прислал на съезд 238 предметов, размещенных в 4 витринах. Доклад его был на съезде прочитан профессором Д. Н. Анучиным. С этого времени Спицын стал всё больше заниматься археологическими памятниками, не оставляя и другие источники.

При подготовке съезда Спицын соприкоснулся с большой наукой и привлекательность краеведческих достижений для него как-то померкла. В том самом дружеском письме к Платонову от февраля 1891 г. он роняет неожиданное признание:

> «Знаете что — я разочаровался в том, чтобы можно было написать областную историю прежде центральной, московской. Суть не в Хлынове, а в Москве. Провинциальная жизнь XVII века — слабая уменьшенная копия с московских порядков (разумею администрацию). Москва всему дает тон и всё дозирает в своих личных интересах» (Бердинских 1991: 95).

Тут для него центр притяжения — Москва. Но Уварова может помочь только деньгами и посодействовать в организации раскопок в губернских рамках, в процессе организации то одного, то другого съезда. Постоянных мест работы для своих соратников у нее нет. Всероссийский размах достижим только с помощью Императорской Археологической комиссии, у которой есть в Петербурге и специальные должности. Комиссия, однако, на ножах с Московским археологическим обществом, с графиней Уваровой. Всё же Спицын пытается устроиться именно туда.

В том же письме Платонову излагаются раздумья по этому поводу. Платонов предупреждал от слишком радужных надежд, Спицын соглашается:

> «Графиня Уварова мне про Археологическую комиссию пишет то же самое — что в комиссии добро помнить не умеют и деятелей не ценят. Очевидно, что кошка пробежала меж людьми, они перестали друг друга понимать и не могут судить. Отчего бы Уваровой не простить ее самоуправство? Кто от этого пострадает? Ученое самолюбие? Господь с ним, с этим самолюбием! <...> Я вовсе не очарован Уваровой и знаю ее слабые стороны чисто женского и графского характера, но как-то прощаю:

каким вниманием она умела меня вовремя окружить. Я очень чувствую ласку...»

Приглашение из Петербурга пришло. Вятский, краеведческий период жизни окончился. Напомню, что позже Спицын (1928: 332) писал: «Если бы я не уехал в провинцию, а остался в Петербурге (по окончании Университета. — Л. К.), из меня вышел бы не археолог, а историк, по моей особой склонности к этой науке».

Что ж, Ключевский из него бы явно не вышел. Возможно, историк-источниковед, но был бы неглубокий, как мы видим из сравнения с Верещагиным в вятском краеведении. Не те задатки. А те функции широкого сбора источников, для которых он был рожден, в исторической науке были в основном выполнены в XVIII веке. Археология же лежала перед ним — открытая для этих целей. Не провинция толкнула его в археологию, а призвал VII Археологический съезд. Москва и тут задала тон. Но уехал Спицын в Петербург. Это был 1892 г., оставалось два года до начала царствования Николая II.

2. Упорядочение в Археологической комиссии. Перетащил Спицына в Петербург его старый друг по Университету В. Г. Дружинин, член Археологической комиссии, исполняющий обязанности ее секретаря. Летом 1889 г. Спицын писал ему из Вятки: «Всего было бы лучше, если бы нашлось подходящее место в Археологической комиссии. Давно меня разбирает охота заняться общерусской археологией. <...> Вы ведь знакомы с гр. Толстым, так не можно ли Вас попросить перекинуться с ним об этом словечком-другим?» В декабре того же года Спицын радуется: «Ну, теперь в Археологической комиссии у меня рука. Я очень подбирался к архиву Комиссии, где, я знаю, найдется немало для меня интересного, да как доберешься до Питера? Это не в лавочку сходить за вареньем». Зимой 1890 г. благодарит за то, что Комиссия поручает ему быть ее нештатным представителем в Вятке, и выражает сомнение в порядочности своего сближения с Комиссией: «...гр. Уварова меня приласкала, енискала своими милостями, и, хотя я, может быть, щедро заплатил ей за внимание, но всё же перебегать при этих условиях в чужой лагерь претит совесть. Я не из перелетов» (ИАК-150 2009: 166–167). Однако перебежал.

В Комиссии была уйма работы, а состояла она всего из нескольких человек: председателя, старшего и младшего членов. Председателем был граф А. А. Бобринский, старшим членом (потом товарищем председателя) — барон В. Г. фон Тизенгаузен, младшим членом — граф И. И. Толстой — всё дворяне, светские люди, отлично образованные,

свободно владевшие иностранными языками. Разночинцами были Н. П. Кондаков, которого Спицын и сменил, и Дружинин, сменивший Толстого, но Кондаков давно уже был профессором и был близок ко двору, а Дружинин был сыном богатейшего купца. В этом кругу разночинец Спицын, хоть и получивший университетское образование, но сугубый провинциал, не знавший ни одного иностранного языка (с трудом читал по-немецки), был чужим. Его взяли для черной работы, к которой он и показал охоту и успешность в своей краеведческой деятельности, — к этому времени у него было уже около 60 печатных работ, не претендовавших на решение высоких исторических проблем. Кроме того, возможно, был расчет, что Спицын усилит работу Комиссии по славяно-русской археологии. Комиссия ведь больше специализировалась на античных, скифских и сибирских древностях, а интересы истории давно уже сместились к славяно-русским древностям, и не хотелось оставлять их в полном владении москвичей.

Расчет оправдался. Спицын сразу же развернул кипучую деятельность. Он стал обрабатывать старый, накопившийся в Комиссии материал, налаживая его учет и упорядочивание. Все сведения расписывал на листочках, а их раскладывал по папочкам, каждая по определенной территории и эпохе. Так же поступал и с зарисовками. Внутри каждой территории и эпохи он подбирал вещи по категориям, а также их аналогии из других мест и литературу, в которой можно о них прочесть. Одновременно собирал новые данные. Аккуратнейшим образом ведя корреспонденцию, он связался с огромным количеством людей на местах, включая весь Северо-Запад России. Отовсюду он получал сведения о случайных находках и результатах раскопок, стимулировал и сам раскопки. Так у него скапливалась и упорядочивалась информация по археологии России. Эту источниковедческую информацию он порциями публиковал: новые материалы в Отчетах Археологической комиссии, свои обобщения — в изданиях Русского Археологического общества. В результате к нему всё больше обращались за консультацией, и, несмотря на то что его работы не были эффектными исследованиями трудных исторических проблем, авторитет его неуклонно рос.

Стал публиковать в записках Русского Археологического общества без подписи (рассматривая это как служебный долг) «Обозрения некоторых губерний в археологическом отношении», своего рода археологическую карту. Публиковал их порциями, по нескольку губерний зараз. К рубежу веков были опубликованы обозрения по 26 губерниям. А Спицыну уже перевалило за сорок.

В то же время Спицын подготовил и издал несколько выпусков МАР (Материалов по Археологии России), 14-й выпуск МАР (1893 г.) содержал публикацию давно раскопанного «Люцинского могильника» — эталонного памятника для раннесредневековых древностей Прибалтики. В МАР №18 (1895 г.) были опубликованы Н. И. Бранденбургом раскопанные им приладожские курганы, характеризующие особую культуру X–XI вв. В «Дополнительных замечаниях» Спицына содержалась археологическая характеристика этой культуры — аналогии, датировки. МАР №20 (1896 г.) был уделен посмертной публикации курганных раскопок Л. К. Ивановского, тут Спицын обрисовал славянскую культуру XI–XIV вв. на Северо-Западе Новгородской земли.

Вел и собственные раскопки, из которых особенно известны ананьинские материалы Зуевского могильника в бассейне Камы, но брал на них из Комиссии по 100 рублей в год.

Бобринский заботился о своих подопечных, и Спицын регулярно получал чины и ордена, очень солидное жалованье. Дослужился до действительного статского советника — это штатский генерал, «его превосходительство». Бобринский назначил его старшим членом Комиссии, и, когда в революцию Бобринский покинул Петроград, свои обязанности он возложил на Спицына.

3. Культуры и расселение. На рубеже XX века все эти работы по простому территориально-хронологическому упорядочению, сугубо источниковедческие, служебно-подготовительные для всех, внезапно порождают у приземленного коллектора-знатока инсайт. В 1899 г. в «Журнале Министерства Народного Просвещения» (тогда популярном у интеллигенции) печатается большая статья А. А. Спицына «Расселение древнерусских племен по археологическим данным» (Спицын 1899б). Обобщив летописные сведения о местожительстве древнерусских племен: кривичей, вятичей, полян, древлян и т. д., — Спицын проследил на карте распространение археологических находок определенных типов примерно на тех местах, где летописи указуют те или иные племена. Он указал, какие типы артефактов характерны для каждого из племен. Очень показательными оказались височные кольца: у вятичей — семилопастные, у радимичей — семилучевые, новгородские словене носили ромбощитковые, кривичи — браслетообразные и т. д.

Собственно, этой работой Спицын продолжил традицию А. С. Уварова. Это сформулированный в 1870–1871 гг. 17-й вопрос II Съезду: «Могут ли некоторые вещи, находимые в курганах, служить отличительными признаками того племени, которое воздвигало эти

курганы, и какие археологические исследования отчасти уже указали на границы между племенами, обитавшими на Руси?»

Это также работа Уварова 1873 г. «О существенных и второстепенных признаках народности могильных насыпей», в которой Уваров (1910: 214) писал: «Погребальные обычаи каждого народа оставили в могилах следы местных обычаев; когда эти обычаи будут вполне разъяснены, тогда разъяснится нам народность различных могил». Он приводил в пример Грецию и Италию, где античные народы оставили по себе памятники, имеющие своеобразный характер: «В Греции и Италии наслоения различных племен были гораздо многочисленнее, чем на Руси, а между тем мы легко отличаем могилу римскую от могилы этрусской, могилу или памятник ионийский и дорийский от могилы и памятника пелазгийской эпохи» (Уваров 1919: 212). Далее в этой статье Уваров делал то же, что позже Спицын: перечислял по каждому летописному племени сведения летописи и сопровождал эти выборки краткими сводками археологических памятников этих мест. Но не мог выявить их своеобразия и привязать его к летописи, не хватало детальности.

В своих «Мерянах» он был движим теми же намерениями, предъявил подробное описание археологических материалов, но сбился в идентификации, и вообще работа с одним племенем не гарантировала верности прицела. То, что Уваров не очень удачно проделал с мерянами в 1881 г., Спицын исправил и распространил на все восточнославянские племена, охватив всю их сеть, как в работе Уварова 1873 г., но с детальным знанием материала.

Словом, ответ на вопрос II Съезду был дан через три десятилетия.

В сущности, Спицын выделил археологические культуры, очертил их границы и определил этническую принадлежность (правда, внутри древнерусской народности, т. е. принадлежность к этническим группам). В Германии в этом направлении двигался Г. Косинна, основоположник «археологии обитания» *(Siedlungsarchäologie)*, который выдвинул аналогичную идею в кассельском докладе 1895 г., на четыре года раньше Спицына (но не раньше Уварова), а реализовал — в аналогичной работе, лучшей его работе «Железные наконечники копий как признак восточных германцев» в 1905 г., шестью годами позже Спицына. То есть Спицын, не зная языков, не бывая за границей и не претендуя на концепции мирового значения, двигался в русле мировой археологии.

В советской археологии были попытки опровергнуть Спицына. В 1937 г. П. Н. Третьяков, один из учеников Спицына, написал статью,

в которой заявлял, что курганные древности не характеризуют летописные племена, потому что датируются позже — это уже население, группировавшееся вокруг городов. На сие возразил А. В. Арциховский в статье «В защиту летописей и курганов»: традиции держались долго, в деревне предмонгольского времени пережиточно употребляли височные кольца, введенные предшествующими поколениями (Третьяков 1937; Арциховский 1937).

В. В. Седов (1982: 6) в томе о славянах в серии «Археология СССР» писал: «Выводы А. А. Спицына и его характеристика восточнославянских племен были безоговорочно приняты русскими и зарубежными исследователями... По пути, указанному А. А. Спицыным, построено исследование в трудах знаменитого чешского слависта Л. Нидерле». Первый том «Славянских древностей» Любора Нидерле вышел в 1904 г., через пять лет после работы Спицына. На рубеже 30-х гг. XX века А. В. Арциховский изучал расселение и типы артефактов вятичей (1930), Б. А. Рыбаков — радимичей (1932) , а в 1949 г. детально разработала картографию всех височных колец — западнославянских и восточнославянских — польская исследовательница Кристина Мусянович (Musianowicz 1949).

«Расселение древнерусских племен» было выдающимся достижением, но не было изолированным и случайным.

С 1901 г. в работах Спицына появился термин «культура» и соответствующее понятие. Он стал писать о культурах трипольской, фатьяновской, ананьинской, пьяноборской, зарубинецкой, черняховской. Близки к этому выделяемые им категории материала, которым он посвящал каждой отдельную работу: «Курганы с окрашенными костяками», «Городища Дьякова типа», «Сопки и жальники», «Удлиненные и длинные курганы», «Курганы киевских торков и берендеев». Вообще он прошелся чуть не по всем заметным темам русской первобытной и средневековой археологии: «Русский палеолит», «Гляденовское костище», «Галичский клад», «Бородинский клад», «Фалары Южной России», «Тьмутараканский камень», «К вопросу о шапке Мономаха», «К вопросу о каменных бабах»...

В 1905 г. в небольшой работе «Владимирские курганы» Спицын отозвался уничтожающе о методике Уварова при массовых раскопках. Так сказать, разделался с вдохновителем своего главного успеха. Но кроме раздоров Археологической комиссии (которую он теперь представлял) с МАО графини Уваровой, его прежней благодетельницы, вероятно, повлиял и его новый статус. Спицын чувствовал обязанность покритиковать любительские замашки старшего поколения, потому

что сам он стал автором пособий по методике раскопок, разведок и разбора материала («Производство археологических раскопок», 1895; «Разбор, обработка и издание археологического материала», 1898; «Археологические разведки», 1908; «Археологические раскопки», 1910). Но в запале критики не разобрался в обстоятельствах.

С другой стороны, работы самого Спицына далеко не у всех вызывали восхищение.

Острые противоречия обнаружились на рубеже веков, когда «старая гвардия» Археологической комиссии: барон Тизенгаузен, Браун, Суслов и Думберг — возмутилась деятельностью «новобранцев» — Спицына и Веселовского. В переписке между собой старики обвиняли «новобранцев» в том, что их целью стала «обработка чужого труда», его «компоновка и напечатание под своим флагом, но за счет Комиссии». Это явно имелся в виду Спицын. А прямо ему вменяли в вину «издание приятельских коллекций». Тогда «старая гвардия», раздосадованная потворством Бобринского молодым, в полном составе ушла из Комиссии. Чуть позже Тизенгаузен писал Суслову: «Читаю теперь последнее произведение Спицына и не могу надивиться его бестолковщине» (ИАК-150 2009: 174–177). Речь идет о статье Спицына «О достоверности записки Ибн-Фадлана», действительно слабой.

Маститый нумизмат и искусствовед граф И. И. Толстой, либерал, друг и соавтор Кондакова по «Русским древностям в памятниках искусства» (6 томов, 1889–1899), в своем дневнике межреволюционных лет отмечал:

> «Спицын докладывал о китайском влиянии на татаро-монгольские и русские произведения вплоть до XIV–XV вв. Менее научного и более слабо обоснованного фактически доклада мне редко приходилось слышать в жизни! Голословность и отсутствие умения обращаться с научными методами исследования сделали то, что интересный сам по себе вопрос не был продвинут ни на йоту к разрешению. Бедный Спицын — несомненно, замечательно туп, и не ему заниматься наукой!»

И еще:

> «Докладчиком был Спицын, причем его изложение было образцом ненаучного отношения к предмету (древности Галиции). Трудно себе представить большего нагромождения фантастических выводов и субъективных решений самых разнообразных вопросов археологии» (Толстой 1997: 261, 588).

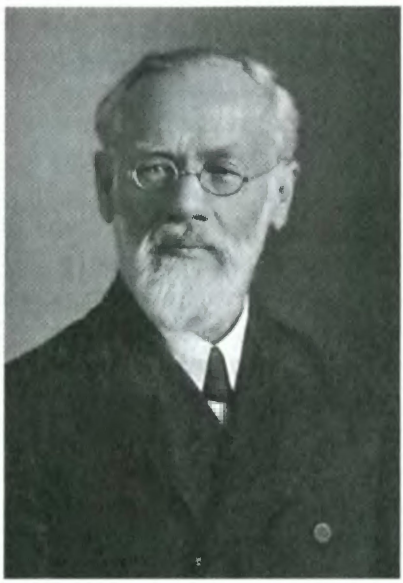
По-видимому, на высокообразованного графа, знатока искусства, и не мог произвести иного впечатления окающий разночинец-

провинциал, не знающий иностранных языков и корпящий над своими «корочками». Спицын раздражал его еще и как человек, угодный Бобринскому, с которым Толстой давно не ладил (Толстой и его друг Кондаков ушли из Комиссии раньше, чем Тизенгаузен с соратниками). Вполне возможно, что доклады были действительно неудачны и Спицын вышел в них за пределы своих возможностей. Он знал очень много, но знания его были четко ограничены накопанными в России материалами и русской литературой, а большинство его работ сугубо описательно. Приходится вспомнить, что и в юности он был одним из последних учеников в классе.

Эти факты не отметают той истины, что, будучи в Комиссии, Спицын сделал много ценного для русской археологии, а его «Расселение древнерусских племен» — великолепное открытие. Но гением Спицын не был. Очевидно, всё это можно сделать и не имея блестящих природных талантов — достаточно великого труда, систематичности и здравого смысла. И умения поставить себе значительную, но ограниченную цель.

4. Преподавание в Университете. Друзья-историки продолжали пробивать Спицыну путь в большую науку. Они делали это не только из дружеских чувств, но из забот о расширении исторической науки и исторического образования. На первых Археологических съездах Уваров и его соратники, а после его смерти графиня Уварова выдвигали идею о необходимости начать преподавание археологии в университетах и учредить там кафедры археологии. Иначе не воспитать необходимые кадры и не сделать значение археологии понятным хотя бы интеллигенции. Царское министерство просвещения, боясь, что через археологию в студенческие головы проникнет дарвинизм и материализм, упорно сопротивлялось. Оставалось надеяться на инициативу на местах.

В январе 1909 г. Платонов, к тому времени уже не декан, предложил факультету пригласить 50-летнего Спицына приват-доцентом преподавать археологию. Приглашенный был освобожден от магистерских экзаменов для этого поста, учитывая его многочисленные труды (у него было уже более 200 печатных работ, правда, многие из них неподписанные, но автор был всем известен). Такое исключение было сделано только для него. Пробную лекцию студентам и преподавателям Спицын прочитал о восточных путях торговли норманнов по археологическим данным. Познакомив студентов с археологическими собраниями Эрмитажа и других музеев Петербурга, Спицын



А. А. Спицын, старший член Археологической комиссии и приват-доцент Университета

приступил к чтению лекционных курсов. Начал с «Введения в археологию» и «Общего курса русской археологии».

В первом же курсе было дано *новое определение археологии* — как науки, изучающей вещественные памятники древности. В отличие от Уварова и Бестужева-Рюмина, под археологией Спицын понимал уже исключительно изучение вещественных памятников. Специально он это не аргументировал, но проводил в своих работах, несмотря на свою симпатию к истории. Четкую аргументацию можно найти у другого ученика Бестужева-Рюмина, а именно А. С. Лаппо-Данилевского, историка и в значительной мере археолога. Лаппо-Данилевский в своем курсе лекций 1890–1893 гг. в Петербургском университете указывал, что археология пользуется другими видами источников лишь постольку, поскольку они поясняют смысл самих вещественных памятников. Еще четче формулировал разграничение истории и археологии однокашник Спицына Платонов, органичивая историю изучением только письменных источников (Тихонов 2003: 48, 65). Возможно, что в самой археологии ориентированная на них позиция Спицына была более влиятельной, чем рассуждения историков. И вряд ли его лекции значили больше, чем его научная практика. В громкой статье о расселении славян формулировка «...по археологическим данным» явно означала по 'вещественным памятникам'. Это усваивали все археологи.

В следующие годы к указанным лекционным курсам Спицына добавились «Древнейшие культуры в русских летописях» и «Общее обозрение русских древностей по культурам».

В январе 1910 г. на факультете был создан *археологический кабинет*, в библиотеку которого Археологическая комиссия и оба Археологические общества пожертвовали свои издания, книги поступили также из Университетской библиотеки и от старых археологов: А. А. Бобринского, Е. И. Веселовского, Н. П. Кондакова, П. С. Уваровой, историков

Н. П. Лихачева, С. Ф. Платонова и др. Вскоре стали формироваться *коллекции артефактов*, необходимые для практических занятий со студентами. Археологическая комиссия подарила Кабинету почти тысячу артефактов, сам А. А. Спицын и С. А. Дубинский тоже сдали десятки находок, а позже Ф. К. Волков и П. П. Ефименко поместили в Кабинет свои привезенные из Франции коллекции кремневых орудий. Пополнялось всё это из раскопок, проводимых Спицыным совместно со студентами. К 1913 г. библиотека состояла из 1208 томов, а коллекция артефактов — из 1763 предметов (Тихонов 2003: 75). В 1912 г. Спицын добился от факультета ставки хранителя кабинета, которым стал его ученик Саханев.

Не прошло и трех лет, как Спицын поссорился с Саханевым и написал взволнованное письмо Платонову:

> «Я рад, как ребенок, что Саханев ушел. Он держался ко мне прямо вызывающим образом, ни в полушку меня не ставил. Мне не следовало его так баловать *(mea metina culpa!)*. Если бы Вам понадобились доказательства, что Саханев относился ко мне неуважительно, обещаю их Вам доставить. Он не воздерживался от дерзостей даже на лекциях. К Вам-то он обернут ангелом, а я выношу совсем иные его свойства. Нет человека, который мне столько испортил бы крови. А я его терпел... В этой истории пожалейте не его, человека с воловьими нервами, а меня, живо на всё реагирующего» (Тихонов 2003: 249).

Но именно Саханев (1928: 345) еще при жизни Спицына оставил дельные воспоминания о манере Спицына вести занятия.

> «Лекции А. А. читал чрезвычайно просто, без всяких ораторских приемов, но с глубоким и искренним увлечением. Это были скорее товарищеские беседы, в которых он знакомил нас не только со своим богатым материалом, но и с ходом мысли. Он приносил нам свою картотеку, показывал, как ведет работу, одним словом, вводил нас в свою научную лабораторию».

Из тех, кто прошел спицынские семинарские занятия, многие, однако, хорошо известны в науке — Н. Ф. Лавров, П. Г. Любомиров, С. Н. Чернов, С. А. Дубинский, двое стали профессорами факультета — С. Н. Валк и Б. А. Романов, многие археологи прошли эти семинары. Любимым учеником Спицына был Андрей Тищенко, сын профессора химии, проректора Университета, позже академика. С ним вместе Спицын ездил в 1912 г. в Стокгольм на Международный археологический конгресс, и доклад Спицына (вероятно, ввиду его незнания языков) прочел Тищенко. Когда шла подготовка к XVI Археологическому

съезду в Пскове, отмененному ввиду войны, Тищенко собирался поехать на него с докладом и, по-видимому, обратился к шефу с вопросами. Сохранилось письмо Спицына своему любимцу с наставлениями. Тихонов приводит его для иллюстрации заботы Спицына о своих подопечных (ну, тут только об одном из них), но письмо более показательно для отношений позднего Спицына к московским коллегам, к Уваровой и для передачи раздоров старших новым поколениям.

> «Это нелегкие вопросы, мой мальчик, — поучал Спицын. — Худую и хорошую погоду на съезде делает графиня. Если бы Вы выступили бы с маленьким, незначительным рефератом, то Вас приветствовали бы улыбками; если Вы, петербургский, выступите со значительным и дельным рефератом, Вам непременно устроят что-нибудь неприятное, тут же или позднее: "Мальчишка приехал учить профессоров!" Из Петербурга ничего не может выйти — это же решено раз навсегда. Чем старее становится человек, тем нетерпимее он станет. Язвить же Москва умеет мастерски и неожиданно. Лучше не портить отношений с графиней, но почему бы и не съездить? Так что мой совет был бы: не готовиться к яркому реферату и не вести о нем предварительных переговоров. Подготовить его хорошенько, но изложить только то, что касается находки, и дать для нее аналогии; всю же суть, т. е. хронологию и отношение находки к вопросу о хронологии прибалтийских древностей, припасти на случай, если по этим вопросам выйдет неважный разговор или спор. С докладом отнюдь не навязываться, а ждать, что попросят. Вообще — держаться очень скромным номером. Выходить на съезд по чужим докладам я бы тоже посоветовал воздержаться; можно поговорить после, с глазу на глаз... Вам лучше пока присматриваться, приглядываться и — знакомиться. На этих уваровских, со случайными темами, съездах выступают те, кому нужны лавры, а Вам пока можно бы подождать» (Тихонов 2003: 82).

В этих поучениях можно видеть личную тактику самого Спицына. Это он привык взвешивать позиции маститых, лавировать, полагаться на связи и протекцию, был как рыба в воде среди группировок и кланов. Держался скромненько, долго воздерживался от критики и дискуссий, хотя благодаря неустанной работе в Археологической комиссии у него скопились огромные связи и знания. Скромность его была в изрядной мере напускной, человек он был достаточно конфликтный, что видно из резкой критики раскопок Уварова и ссоры с Саханевым: цену себе он знал и неуважительности не терпел. Как

А. А. Спицын с группой студентов
на раскопках курганов под Петербургом

вспоминает С. А. Жебелёв (1948: 10), с систематизацией Спицына далеко не все были согласны. «Но это обстоятельство Александра Андреевича нимало не смущало. Он обыкновенно твердо держался тех позиций, на которых стоял, в правильности которых он был искренне убежден, и переубедить его тут было трудной, а зачастую и невозможной задачей».

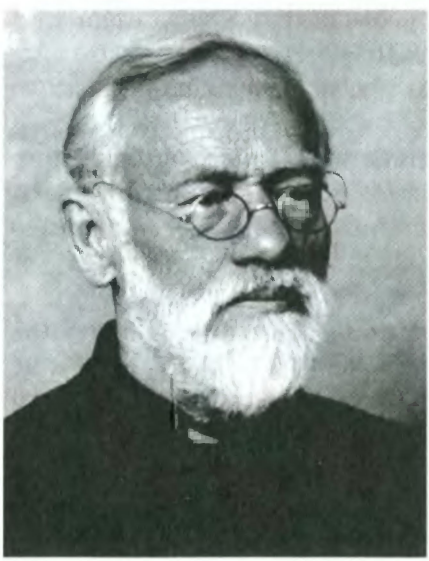
Что касается Тищенко, по ходатайству Спицына оставленного при кафедре для подготовки к профессорскому званию, то советы шефа ему не пригодились: в 1914 г. он был мобилизован в армию и погиб на фронте.

5. Под советской властью. Революция обошлась со Спицыным куда милостивее, чем со многими его коллегами. И то сказать: не дворянин, из бедноты, с крестьянскими корнями, в белом движении не состоял. Реорганизация Археологической комиссии в Российскую Академию истории материальной культуры не оставила Спицына без работы — он стал членом нового учреждения и организовал там две комиссии.

Еще лучше дело обстояло в Университете. В 1918 г. Спицын получил от новых властей звание профессора. В 1919 г. ряд факультетов

Петроградского университета был объединен в ФОН — Факультет Общественных Наук, в него вошел и бывший историко-филологический факультет, а в его составе — археологический кабинет. Археологическое отделение ФОН возглавлял друг Спицына С. Ф. Платонов. Спицын продолжал вести свои занятия в свободной манере бесед. Среди слушателей его были те, кто в скором времени стали известными археологами: В. И. Равдоникас и П. Н. Третьяков. В фонде Равдоникаса сохранились «Записи бесед с А. А. Спицыным», датированные мартом 1920 г. Как писал Равдоникас, Спицын «здорово раскритиковал мои раскопки в Мележе, считая описания и рисунки недостаточными, много фантазий, необходимы дополнительные исследования...» (Тихонов 2003: 147). Ввиду трудных условий (холод, разруха), часто занятия проводились на квартире у Спицына.

На Равдоникаса, по воспоминаниям дочери Спицына, старик возлагал большие надежды, но постоянно ругал его за пьянство. Они часто запирались в одной из комнат (кабинета у Спицына не было), и в семействе уважительно комментировали: «Папа воспитывает Равдоникаса». Равдоникас приглашал Спицына в Тихвин познакомиться с коллекциями. Спицын не сразу смог поехать, но сообщал Равдоникасу в письмах о положении дел: «Все мы в семье благополучны. Здоровы, заняты своими делами. Есть главное — хлеб, холод переносим, дома 6–8°» (Тихонов 2003: 147). Впоследствии, когда Равдоникас подверг разгромной критике столпов старой археологии, Спицын почти не был затронут.



А. А. Спицын
в противостоянии невзгодам

Быт был ужасен. По воспоминаниям дочери Спицына, зимой 1918/1919 г. отец и вся семья едва не умерли с голоду: «папа был совсем не добытчик... Ученики помогали. Как-то достали рюкзак свеклы — ели без соли... Брат был в Красной армии... Я ворована дрова. Ходили ломать пустые дома... Мы бы умерли, но пришло спасение — академический паек» (ИАК-150 2009: 1098). В этих суровых условиях семья Спицына

делилась частью своего скудного пайка с недавним австрийским военнопленным Геро фон Мерхартом, проведшим несколько лет в Сибири работавшим там в музее. Теперь Мерхарт возвращался на родину через Петроград и, отрываясь от сгребания угля для денег, работал в их доме с «корочками» Спицына (Детлова 2008: 245). Но и более солидных гостей из-за границы — Туре Арне, А. М. Тальгрена — Спицын встречал «в дырявых валенках и старом пальто с ободранным воротником. На просьбы домашних не позориться неизменно отвечал: «Они ко мне едут, а не к пальто моему»» (Тихонов 2003: 147).

В годы нэпа жизнь стала полегче. В 1922–1925 гг. на археологическое отделение поступили студентами Н. Н. Воронин, Г. Ф. Корзухина, Е. Ф. Лагодовская, Б. Пиотровский, А. А. Иессен, В. Ф. Гайдукевич, П. Н. Шульц, А. Н. Карасев и др. Б. Б. Пиотровский (2009: 43), вспоминает Спицына как

> «небольшого ростом старичка с бородой, несколько суматошного, со сползающими всегда во время занятий очками. Это был изумительный знаток археологического материала, который следил за всеми раскопками и во время доклада и бесед зарисовывал, к сожалению, далеко не профессионально, предметы. Эти листики, которые он называл "корочками", составляли целый справочник по археологии России и сохранили сведения о пропавших и неопубликованных предметах; часто они уточняют также обстоятельства находки. А. А. Спицын уклонялся от дискуссий, и когда он делал доклады студентам, то просил не открывать прений».

Пиотровский ошибся: «корочками» Спицын называл не листики, а те малоформатные картонные папочки, в которые эти листики складывались. Так они под этим названием и известны в археологии — лежат в спицынском архиве (Бич 1948).

Но в 1924 г. Ленина сменил Сталин, а в его глазах нэп отслужил свою службу. Назревал «великий перелом» — коллективизация, разгром справного крестьянства, репрессии и «революция в археологии». В 1924 г. Спицына отстраняют от руководства археологическим кабинетом, а в ноябре 1927 г. 69-летнего ученого переводят из профессоров на должность приват-доцента, хотя только недавно (в 1927 г.) он был избран членом-корреспондентом Академии наук. Спицын обиделся и покинул Университет. Правда, в 1928 г. ему назначили академическую пенсию (в размере полного оклада профессора). В ГАИМК его обвинили в великорусском шовинизме, затем во враждебности к советской власти (опубликовался в эмигрантском

сборнике), в 1929 г. освободили от заведования разрядом русской археологии, а в декабре 1930 г. уволили.

В 1931 г. в возрасте 73 лет Спицын умер. Тем самым избежал попасть под повальный разгром краеведения в 1931 г. и под все последующие чистки и репрессии, постигшие археологов. Правда, он был аполитичен и за пределами этнической идентификации славян (отвергнутой марристами) всего лишь вещевед, но ведь всё это были грехи непростительные — и этническая идентификация славян, и вещеведение, и аполитичность. Вот о ком не скажешь: почил преждевременно...

Человек, создавший себя

В. А. Городцов

Self-made man, то есть человек,
сделавший себя сам, — явление редкое.
А. Я. Варга, в книге «Современная психотерапия», 2000.

1. Офицер в роли Линнея. О Городцове в русской археологии написано немало, есть его краткие биографии (Крупнов 1956; Крайнов 1960, 1985, 1991; Жук 1992, 1995, 2005; Белозёрова и др. 2011а; 2011б и др.), есть статьи, посвященные разным сторонам его деятельности и его вклада (Белозерова 1988; Стрижова 1988; Студзицкая 1988; Прягхин 1991; Бочкарев 2001; Сафонов 2002а, и др.), есть главы или разделы о нем в общих курсах истории археологии, есть и диссертация о нем, хотя и очень слабая (Мелешко 1996), но, как мне представляется, место его в истории археологии определяетсся неполно и неверно

«Self-made man» (человек, сделавший себя) — американское выражение для успешных персон, обязанных всем исключительно своим собственным силам, пробившихся наверх из самых низов без посторонней помощи. «Человек создает себя сам» («Man makes himself») — так называется книга крупнейшего английского археолога-марксиста Гордона Чайлда. Она была направлена против клерикалов, утверждавших, что человек — создание божье. Василий Алексеевич Городцов — что называется, археолог божьей милостью, но к нему формулировка Чайлда подходит, как нельзя лучше.

С фотоснимков советского времени на нас смотрит седой господин с благородным овалом лица и аккуратно подстриженными усиками, смахивающий на английского лорда. Н. Я. Мерперт в своем интервью о Городцове отмечает, что он был очень красив даже в старости (Белозерова и Кузьминых 2012: 170). На деле он из разночинцев, из самых низов российской глубинки. Сын сельского дьякона (с. Дубровичи Рязанской губернии, род. в 1860), он учился в Рязанской духовной

В. А. Городцов

семинарии (бурсе): отец хотел его видеть священником — сам не достиг, так хоть сыну дать продвинуться. Однако сын учился плохо, был одним из последних в классе, вступил в конфликт с попом и, уйдя из семинарии, поступил сначала рядовым на правах вольноопределяющегося в гренадерский полк, затем в пехотное юнкерское училище в Москве. Там проходили математические науки, физику и химию, разумеется, военное дело, но не иностранные языки. Был выпущен офицером по второму разряду (это потом затрудняло его продвижение), но на службе в саперах и разведке («в охотниках») был на очень хорошем счету. Тем не менее продвигался медленно и без перспективы. Четверть века, с 1880 по 1906, он пробыл в армии и дослужился только до штабс-капитана. Женился на дворянке Елизавете Евгеньевне Русановой, а орден Станислава 3-й степени принес ему личное дворянство.

Странный это был офицер. Он отлично рисовал тушью, писал акварели и картины маслом, сочинял стихи. Очень много читал, даже сидя на коне. Особенно охотно читал литературу по естественным наукам — по дарвинизму, это укрепляло его в убеждениях, приведших к юношескому конфликту с попом (или, может быть, родившихся в ходе этого конфликта). Однажды ему попалась книжка Лаббока (тогда писали Леббока) «Доисторические времена», изданная в 1876 г. в переводе под редакцией Д. Н. Анучина. Увлекшись этой книгой, молодой офицер стал всё больше интересоваться археологией.

В это время жители сел под Рязанью, где стояла его воинская часть, могли видеть в окрестностях гарнизона рыскавшего на гнедом коне одинокого всадника, офицера, который часто спешивался и что-то искал на земле. Он разыскивал кремни и черепки. За обедом он не выбрасывал кости, а сохранял их, чтобы выработать у себя навыки распознавания домашних животных по костям — пригодится в археологической практике. И позже заставлял своих домашних не выбрасывать кости за едой, сохранять для него. Книги из библиотеки брал большими стопками, позже, уже в Москве, приходилось нанимать извозчика, чтобы доставлять их.

Знал ли он иностранные языки, неясно. Некоторые историографы и мемуаристы (Формозов, Рабинович) утверждают, что не знал. Белозёрова с соавторами возражают: по анкетам владел немецким и французским, не говоря уже о славянских, хотя ни на одном из них не говорил, в 1891 г. перевел для себя сам с французского «Доисторическую жизнь» Мортилье (Белозёрова и др. 2011а: 482, 490). В бурсе учил латынь и древнегреческий. Но в бурсе он учился плохо, эти знания не в счет. Остальные языки учил самостоятельно уже взрослым. Что разговаривать не мог, сам признавал, а в документах (для начальства) мог указать владение, если разбирал со словарем. Для людей типа Арциховского это означало незнание, каковую аттестацию тот и передал своим ученикам, в их числе Формозову и Рабиновичу.

Вскоре Городцов стал предпринимать специальные поездки и целые путешествия ради археологических изысканий, принял участие в Археологических съездах, сообщал о найденных им неолитических стоянках. Впервые он присутствовал на VII Археологическом съезде в Ярославле в 1887 г. Годы были тяжелые, в стране после убийства Александра II господствовала реакция, осуществлялись контрреформы и урезались права и свободы. Съезд создал новый по сравнению с предшествующим съездом отдел своей деятельности — церковных древностей. Это вряд ли могло нравиться неофиту, ушедшему в свое время из духовной семинарии. По роду его интересов и по непосредственным занятиям его на съезде должны были особенно привлекать фигуры естествоиспытателей, создававших первобытную археологию, — географа и антрополога Д. Н. Анучина, известного ему по переводу Лаббока, геолога А. А. Иностранцева.

На следующем VIII съезде (в Москве в 1890 г.) Анучин читал концептуальный доклад «О культурных влияниях на доисторической почве России». Впоследствии Городцов развивал именно эти идеи. Думается, что влияние на него Анучина, автора предисловия к первой археологической книжке, увлекшей Городцова, еще не оценено должным образом. Съезд поставил задачу создания археологичских карт — и это Городцов запомнил: он стал составлять археологическую карту неолитических стоянок Оки. В следующем году он провел первые самостоятельные археологические раскопки на дюнах р. Оки.

Вскоре Городцов стал членом Рязанской ученой архивной комиссии, а с конца века — Ярославской ученой архивной комиссии. Смена комиссии связана с переводом его на новое место по военной службе: Ярославль. Всё это время, до конца века, его служба протекала в Волго-Окском регионе, очень насыщенном археологическими памятниками

всех эпох. Здесь он прошел практическую школу археологии, в губернских ученых архивных комиссиях, которые тогда в России были местными центрами сбора археологической информации. К концу XIX века на его счету было уже около 30 печатных работ.

На X Археологическом съезде в Киеве в 1899 г. 39-летний офицер Городцов выступил с крупным теоретическим исследованием «Русская доисторическая керамика» (опубликованном в Трудах Съезда в 1901 г.). Это был опыт универсальной классификационной системы для описания глиняных сосудов, разработанной на материалах русского лесного неолита, но пригодной и для других регионов и эпох (Пустовалов 1982; Цетлин 1991). Доклад произвел большое впечатление на графиню Уварову, и она предложила Городцову свою коллекцию для класификации по этому методу.

Странно, что историограф советской археологии В. Ф. Генинг в своей книге, посвященной методам изучения древней керамики, в списке литературы (всего 37 работ), где он привел 8 работ Маркса, 1 работу Энгельса, 3 работы Ленина, не упомянул этого основополагающего исследования Городцова! Настолько этот заслуженный археолог был как теоретик ослеплен марксизмом. Но вернемся к Городцову.

Весь материал Городцов делил на группы, отделы и типы. Последовательность шагов классификации была установлена заранее, единообразно и одна для всех применений: сначала деление по веществу, потом форме, потом по орнаменту и т. д. Какое на самом деле деление имеет наибольшее культурное значение для данного региона или периода, для данной культуры, классификация Городцова не принимала во внимание — ради универсальности. Это была схема, навязываемая материалу, но не произволом каждого исследователя, а общими правилами — и в этом смысле не условная, а безусловная, каноническая. Такой ригористичности не было и у Линнея.

Возможно, тут сказалась офицерская косточка Городцова. Подобно другим офицерам, пришедшим в археологию, — англичанам Питту Риверсу и Мортимеру Уиллеру, — он старательно вводил в археологию строгость и регулярность, характерную для военных планов и диспозиций.

Позже Городцов писал об этом предприятии:

> «В конце XIX века, изучая ботанику и зоологию, я пришел к мысли, что изучение археологических вещественных памятников возможно при помощи видового естественно-исторического метода Линнея, и провел эту мысль в своей работе "Русская

> доисторическая керамика" <...>, где, по образцу естественно-исторического метода, была проведена также и латинская терминология, к сожалению, не пропущенная редакцией, смутившейся столь неожиданным нововведением» («Типологический метод»: 3).

Городцов имел в виду бинарные латинские обозначения растений или животных по роду и виду.

У Монтелиуса в его знаменитой немецкой работе 1903 г. «Типологический метод» (а на шведском метод был изложен еще в 1885 г.) типы не имели жестких границ, а были идеальными образами, отражавшими нормы древних людей. В отличие от типов Монтелиуса, «типы» Городцова сформулированы как жестко размежеванные ячейки классификации. Это, собственно, не типы (тут невозможно говорить о степени типичности), а формально-логические классы. Если типы Монтелиуса были предназначены для того, чтобы по ним прослеживать эволюцию вещей (точнее, эволюцию норм, развитие идеалов — вещи ведь не эволюционируют), и на худой конец изменение типов при проникновении из культуры в культуру, то «типы» (классы) Городцова играли прежде всего культурно-различительную и опознавательную роль. И неслучайно первый вариант его классификации был разработан для фрагментированной неолитической керамики со стоянок, по которой невозможно прослеживать эволюционные ряды, но вполне возможно устанавливать территориальные границы групп, хронологические рубежи, контакты и влияния. Это была классификация, более удобная для диффузионистов, чем для эволюционистов.

2. Донецкие курганы. Готовя XII и XIII Археологические съезды на Украине, Уварова инициировала масштабные раскопки курганов под руководством Городцова.

И Городцов использует эту возможность для развертывания раскопок курганов в бассейне Донца. В 1901 г. в порядке подготовки к XII Археологическому съезду, который должен был состояться в Харькове, он проводит раскопки в Изюмском уезде Харьковской губернии (Сафонов 2001; Пряхин и Сафонов 2002). С очень небольшим штатом, состоявшим из одного студента (но какого — будущего членкора Ю. В. Готье) и одного любителя, священника (а землекопами были местные крестьяне), он раскопал десятки курганов, содержавших сотни погребений (всего было исследовано 5 стоянок, раскопано 107 курганов с 299 погребениями, из них 268 относилось к бронзовому веку). В 1903 г. такие же раскопки проведены им южнее,

в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии — в ожидании XIII Археологического съезда в Екатеринославе. В 1905 и 1907 гг. в монументальных «Трудах» XII и XIII Археологических съездов он опубликовал полные и по тому времени образцовые отчеты об этих раскопках. К полевым отчетам были приложены исследования — со сводными таблицами распределения материала по могилам, с рисунками и фотоснимками.

В результате своих раскопок Городцов получил бедный, невзрачный и, казалось, однообразный материал. До него немало степных курганов раскопали известные археологи — Д. Я. Самоквасов, Н. Е. Бранденбург, А. А. Бобринский (председатель Археологической комиссии). В каждом кургане оказывалось множество погребений. Скелеты лежали в разных позах, с разными вещами и находились на различной глубине, но большей частью они оказывались скорченными, и кости нередко были окрашены в красный цвет. Было выяснено, что краской (ее определяли как охру) был посыпан покойник, а когда плоть истлевала, краска оседала на костях. С вытянутыми костяками можно было обнаружить железные вещи, а скорченные костяки никогда не имели при себе железа — только медь (или бронзу) и камень. Значит, «скорченные и окрашенные костяки» (так их и называли) относились к каменному или бронзовому веку, по Самоквасову, — к «киммерийской эпохе», по Бобринскому — к «енеолитической». Их воспринимали как не очень расчлененную массу. Даже в 1910 г. известный систематизатор русской археологии А. А. Спицын опубликовал небольшую сводку, которую так и назвал: «Курганы со скорченными и окрашенными костяками».

Член Археологической комиссии Н. И. Веселовский, копая курганы в степях, искал скифов и сарматов — там можно было обнаружить золотые изделия для Императорского Эрмитажа, а если он натыкался на скорченные и окрашенные костяки прямо в насыпи, то было ясно, что скифские погребения в глубине ожидать уже не приходится, и Веселовский записывал в дневник: «Встречены скорченные и окрашенные костяки, поэтому раскопки прекращены». Так же поступал и И. Е. Забелин.

Предшественники Городцова пытались расчленить эту массу — делили по областям, по наличию или отсутствию вещей из металла и т. п., но ничего толкового из этого не получалось: с этими делениями не коррелировал остальной материал.

У Городцова был, однако, хороший зарубежный образец. Незадолго до того, в 1893–1894 гг., в Дании была раскопана масса курганов,

содержавших по нескольку могил культуры одиночных погребений. Известный археолог-диффузионист Софус Мюллер, классный типолог, сделал сводку, опубликовав ее в 1897–1898 гг., и, по-видимому, вскоре исследование *(Nordische Altertümer)* было прочтено в России. Вероятно, Городцов, слабо владевший иностранными языками, познакомился с результатами датских раскопок по спицынскому реферату в ЖМНП (Журнале Министерства Народного Просвещения) за 1899 г. Во всяком случае принцип распределения могильных комплексов у Городцова очень близко повторяет классификацию Софуса Мюллера. У того погребения делились на грунтовые *(Undergrave)*, наземные *(Bundgrave)* и верхние *(Overgrave)*, и, что самое важное, с этим коррелировал инвентарь. У Городцова первоначальное деление: грунтовые, на горизонте и в насыпи.

Затем грунтовые он разделил по типам могилы на ямные (в простой яме), катакомбные (в боковой камере, вырытой подкопом из ямы) и срубные (в низком бревенчатом срубе, устроенном в яме). Оказалось, что вещи, в частности керамика, очень хорошо распределились по этим типам могил: в ямах — круглодонные сосудики, в «катакомбах» — плоскодонные кубки с пышным орнаментом, нередко оттисками тесьмы, в срубах — плоскодонные банки и остроребериые сосуды, очень бедно орнаментированные, и такие же — при погребениях в насыпи (эти два последних типа, стало быть, одна и та же культура).

Стратиграфические наблюдения показали, что первоначальное погребение в кургане — всегда одно, и обычно это ямное погребение, над ним насыпан курган. А уж затем в готовый курган впускали другие ямные погребения, потом катакомбные (иногда при этом курган досыпали, чтобы он стал повыше) и, наконец, впускали срубные погребения и погребения в насыпи. Таким образом, и стратиграфия хорошо коррелировала с первоначально выделенными типами могил.

Труд Городцова сразу же произвел огромное впечатление на археологов. Бобринский в своем (неопубликованом) отзыве писал: «С каким удивлением и уважением перелистывал я ценный вклад наблюдательности и остроумной сообразительности, вложенной в труд г. Городцова...» (Пряхин и Сафонов 2000: 51).

В своих отчетах Городцов еще говорит о «ямном, катакомбном и срубном типах могил», хотя и отмечает, что каждый из них принадлежит иной группе населения, а уже в учебнике 1908–1910 гг. и в работе 1916 г. «Культуры бронзовой эпохи в Средней России» он говорит о «ямной, катакомбной и срубной культурах». Так в русской археологической литературе появились эти знаменитые культуры

III–II тыс. до н. э. С ямной многие авторы стали связывать происхождение индоевропейцев, другие авторы (и более резонно) — арийский пранарод (предков иранцев и индоариев), С родственной ей андроновской стали связывать первых иранцев (всех иранцев, включая предков скифов). А катакомбная долго оставалась загадочной, пока некоторые исследователи (включая автора этих строк) не связали ее с происхождением индоариев — ариев Ригведы.

Исследование Городцова одним рывком перевело знания о доскифских курганах на новый этап — из аморфного состояния в систему культур, из антикварианистской учености в археологию XX века. В изюмском и бахмутском отчетах Городцов исследовал и более редкие вытянутые погребения железного века — поздних кочевников-тюрков (печенегов, половцев и т. д.), с которыми он совершенно правильно увязал «каменные бабы» — идолов, стоявших на некоторых курганах.

3. Курсы лекций. С 1903 г., года бахмутских раскопок, Городцов стал нештатным сотрудником Исторического музея в Москве. В 1906 г., когда он после 26 лет военной службы, ушел в отставку из армии подполковником, он получил место старшего хранителя Исторического музея, а с 1907 г. 47-летний отставник стал преподавать археологию в Московском Археологическом Институте. Это было учебное заведение, готовившее архивных работников и археологов. С самого начала, с учреждения Института выпускниками Петербургского такого же (тот был учрежден раньше), назначение Городцова, не имевшего даже высшего образования, вызвало ревность и возмущение старых профессоров. Произошел эпизад, который я упоминал в очерке о Самоквасове. По воспоминаниям Городцова (Стрижова 1991: 114–115), обойденный назначением Д. Я. Самоквасов на учредительном собрании «дерзко и неприлично сказал:

— Это будет не институт археологии, а лавочка для продажи дипломов.

Встал и гордо удалился. Произошло молчание. Затем поднялась гр. П. С. Уварова, направилась к выходу, за ней встали Д. Н. Анучин, М. К. Любавский (ректор Московского университета. — Л. К.) и еще человека два». 87-летний И. Е. Забелин одобрил создание института и поощрил Городцова словами: «Учите нас!» — что Городцов не без оснований воспринял как иронию. Позже профессор Самоквасов попросил совет Института предоставить ему возможность читать лекции бесплатно и обещал внести 2000 рублей на оборудование

кафедры археологии. Директор произнес речь в пользу Городцова, и предложение Самоквасова было отклонено.

Городцов читал лекции очень для того времени современно. Так, на его лекцию о происхождении человека сбежались толпы студентов, явились директор института и некоторые преподаватели. Лекция была выдержана «в естественно-историческом направлении». Когда лектор заявил, что «химическое сродство кровей приматов и человека доказывает их кровное сходство», преподаватель Н. Н. Ардашев, из круга приверженцев Уварова, встал и вышел, за ним поднялись сразу несколько других лиц. «Молодая и большая часть аудитории вошли в раж, рукоплескали и, словом, неистовствовали». Директор поздравил Городцова с успехом. Но совете, однако, Ардашев выступил и заявил:

— Вот-де у нас уже человека произвели от обезьяны. Директору не мешало бы за этим построже смотреть.

Директор смолчал, Городцов тоже. «Вопрос затушевался» (Стрижова 1991: 116–117).

Уже год спустя после начала преподавания Городцов опубликовал свой курс лекций, его первую часть, озаглавленную «Первобытная археология», а еще через два года, в 1910 г., вышла и вторая часть — «Бытовая археология». Странное для нас название этой второй части имеет свое объяснение. Труднопереводимое русское слово «быт» означает домашнюю жизнь *(dayly life)*, домашнее хозяйство *(house economy)*, семейные отношения *(family relations)*, но в те времена понималось шире, охватывая и государственное устройство, и мораль, и обычаи — словом, всю культуру (слово «культура» тогда в России не было употребительным). За первобытной археологией, конечно, следовала историческая археология, т. е. археология античного мира и средневековая. Но, определяя ее как «бытовую», Городцов подчеркивал, что, с одной стороны, она не охватывает искусство и этим отличается от тогдашней классической археологии, а с другой стороны, не связана с политической историей, историей событий и героев, а должна реконструировать историю социальных структур и народов, историю культуры, и этим отличается от археологических штудий ранних исследователей, бившихся над определением следов индивидуальных событий и конкретных деятелей (шлем князя Ярослава, шапка Мономаха, следы битвы на Куликовом поле и т. п.).

В «Первобытной археологии» излагались общие принципы археологических исследований и давалось описание культур в их

последовательности по эпохам. Принципы классификации, разработанные для керамики, были распространены на весь археологический материал. Типы сгруппированы в отделы, отделы в группы, и всё это по критериям в жесткой последовательности на разных шагах (в разных коленах) классификации — что по назначению, что по веществу, что по форме.

Археологию Городцов трактовал как науку, примыкающую к комплексу естественных наук и находящуюся между антропологией как наукой о человеке вообще и этнологией как наукой о живых народах. Последовательность же эпох в материале автор излагал в основном по Мортилье, только изменяя кое-где терминологию, чтобы приблизить ее к геологической (иерархия отрезков времени от крупных к более мелким: *эра — эпоха — период — пора*). На этом основании в советской археологии принято считать Городцова *эволюционистом* (Викторова 1977: 7–8, 10, 13; 1989: 12–13; Генинг 1982: 151–161) или эклектиком, усвоившим и эволюционизм (Пряхин 1986: 67; Лебедев 1992: 254). Тут есть и дополнительный аспект: из всех домарксистских течений эволюционизм пользовался в советской науке наибольшими симпатиями (хотя, конечно, также критиковался как буржуазное учение). Так что причисление к эволюционистам повышало статус Городцова, а тем самым и его учеников, живых и действующих.

Определение это представляется ошибочным. Близость к естественным наукам могла носить разный характер. Да, эволюционисты считали себя естествоиспытателями и особенно придерживались контакта с геологией, палеонтологией и частично физической антропологией (дарвинистким учением об антропогенезе). Но особым упором на естественные науки отличались и некоторые другие подходы — например, *географический детерминизм*, больше выпячивавший связи с географией, или *биологический детерминизм*, который в связях с антропологией предпочитал учение о расах. Как мы видели, в естественных науках Городцову больше всего импонировала биологическая и геологическая *систематика,* а не учение о развитии. В «Первобытной археологии» он даже периодизацию предпочитал называть «хронологической классификацией», что, в общем, имело резон: за исключением случаев прямой стратиграфии, материал предстает перед археологами вначале как смесь, в которой прежде всего надо навести порядок классификацией, а уж затем выяснять, какие классификационные деления имеют хронологическое значение.

Что же касается смены эпох Мортилье, то в начале XX века кто же ее не придерживался? Она была уже не теорией, а общепризнанным

фактом. И Веселовский в своем курсе тоже располагал палеолитический материал по ней; он что, тоже эволюционист? Принимал ее в начале своей деятельности и аббат Брейль — если он и был эволюционистом, то очень своеобразным: у него это эволюция Божьих творений, направляемая Богом. О взглядах Городцова надо судить по другим его построениям. В частности, формулируя «общие законы», лежащие в основе «хронологической классификации», он старается предложить такой их перечень, который бы позволил инкорпорировать в концепцию и чуждые эволюционистам факторы — *миграции* и *диффузию*.

Это еще яснее в «Бытовой археологии». Автор сочувственно перелагает *«географическую теорию»* Льва Ильича Мечникова. Лев Мечников, старший брат известного биолога, полиглот и революционер, офицер «тысячи» у Гарибальди, после тяжелых ранений и географических путешествий осел в Швейцарии, где получил кафедру сравнительной географии и статистики в Лозаннском университете. Посмертно опубликованный труд Мечникова «Цивилизация и великие исторические реки. Географическая теория развития современных обществ» стал классическим примером географического детерминизма в истории культуры. Выступая против расовой теории, Мечников понравился марксистам, и труд его в 1898 и 1899 гг. был переведен на русский язык самим Г. В. Плехановым. Всю историю человечества Мечников делил на три периода — по ведущей роли основных компонентов географической среды: древние века — речной период, Средние века — средиземноморский период и новые века — океанический период. В древние века четыре великих цивилизации: египетская, месопотамская, индийская и китайская — возникли на землях, орошаемых великими реками — это Нил, Тигр с Евфратом, Инд с Гангом и Янцзы с Хуанхэ.

С позиций этой теории о влиянии географической среды Городцов рассмотрел материалы древних цивилизаций — «суммеро-аккадской», египетской и эгейской. Но акцент он перенес с вопроса о возникновении этих цивилизаций на вопрос об их влиянии на остальной мир, ставя на первое место шумерскую цивилизацию — в этом отношении он был близок к шумероцентрическому диффузионизму лорда Раглана.

Он так рисовал распространение «культурных влияний» по степной зоне Восточной Европы:

> «Древнейшее из них шло из Месопотамии и отчасти Малой Азии через Кавказ, откуда широким веером распространялось на степи и проникало далеко в глубь леса. Вторым течением явилось среднеазиатское, покрывавшее восточную часть леса до

> реки Камы и всю степь новым наслоением памятников. Наконец, третьим течением последовало сибирское, давшее в пересечении со среднеазиатским течением в области Камы нечто вроде культурного очага, развитие которого, однако, следует отнести уже к железной эпохе» (Городцов 1910: 151).

Городцов включал в единую систему по сети влияний и контактным связям катакомбную культуру (широкие средиземноморские связи), фатьяновскую (кавказские и западноевропейские связи), кобанскую (шедшую впереди гальштата), енисейские культуры. Трипольскую культуру он включал в широкую полосу раннеземледельческих обществ от Передней Азии до Подунавья и отвергал автохтонную концепцию, связывавшую эту культуру через скифов со славянами.

Как и многие диффузионисты, Городцов отводил некоторое место миграциям:

> «Ямный народ распространялся в южной России широким морем, захватывая всю область по низовьям рек Волги, Дона и Днепра... Позже явился народ, хоронивший своих мертвых в катакомбах... Еще позже явился срубный народ, занимавший обширную площадь на север от истоков Донца и Дона и на запад — до берегов Днепра и, вероятно, далее» (Городцов 1910: 151–152).

Но в основе его построений лежала концепция диффузии — это она объединяла материалы в систему:

> «Самою важною задачей исследуемой поры является установление культурных течений и влияний. <...> В пору бронзовых орудий <...> Египет и Иран, или, правильнее, Средняя Азия начинают играть роль вполне самостоятельных культурных очагов. Соединение этих пунктов образует, несомненно, культурную базу поры бронзовых орудий. Каждый из названных трех очагов стремился выслать во все стороны лучи своих культурных влияний. <...> Исходя из различных очагов, культурные лучи местами пересекали друг друга, образуя ряды новых культурных очагов, из которых некоторые к концу поры успели приобрести также первостепенное значение: <...> Малая Азия и Финляндия, <...> Индия, Китай и Сибирь (р. Енисей). Под культурным воздействием всех этих очагов возник еще новый ряд очагов <...> на берегах р. Камы <...>, венгерский очаг, влиявший в свою очередь на северогерманскую и скандинавскую культуры» (Городцов 1910: 160–161).

Далее Городцов рассматривал скифские и сарматские древности с их восточными связями, встречное движение готов, Великое

переселение народов. Много места уделено памятникам поздних кочевников-тюрков: печенегов, торков и половцев, а также археологии финно-угорских народностей.

Можно сказать, что по своему систематизирующему значению для русской археологии и своему воздействию на нее труд Городцова в какой-то мере напоминает более поздний и географически более широкоохватный, но и более сжатый труд другого диффузиониста — Гордона Чайлда: «У истоков европейской цивилизации» (The dawn of European civilization, 1925).

Таким образом, ко времени революции у Городцова было более сотни публикаций, в том числе труды, пронизанные теоретическими соображениями. В них была изложена в систематическом виде сеть основных понятий археологии, особенно разработанная — для проблемы классификации. Диапазон полевой деятельности Городцова был необычайно широк. Он копал все памятники — от палеолита до Средневековья — и выпустил пособия по методике раскопок. Учитывая полевой опыт и успехи, XIV Археологический съезд поручил Городцову и Самоквасову составить «Руководство для археологических раскопок». Оно вышло в 1914 г. за подписью одного Городцова, потому что Самоквасов к этому времени умер. В «Руководстве» (1914: 6) говорилось:

> «Раскопка почти всегда равняется полному разрушению остатков старины, а это возлагает на исследователя нравственную ответственность перед наукой, том более что сделанные при раскопках ошибки исправляются с большим трудом, а иногда и остаются совершенно неисправленными: поэтому лучше совсем не производить раскопок, чем производить их неправильно или неудовлетворительно».

Кроме того, Городцов дал обзор множества культур на территории России (особенно бронзового века) и попытался расположить их хронологически и связать контактными и генетическими отношениями. То есть он выступил как систематизатор археологического богатства России. Он стремился изложить археологию как систему знаний, как научную дисциплину.

Для России он был Софус Мюллер, Дешелет и молодой Чайлд в одном лице.

На поселениях Городцов не вынимал древние вещи из земли, а искал следы жилищ — пятна, впадины, структуры. Методика его раскопок, однако, не была передовой: Городцов и после революции резал культурный слой поселений узкими траншеями (и рекомендовал

это в своем руководстве), когда другие уже вскрывали памятник широкими площадями.

При всем том он не был ни профессором, ни доктором наук. Он ведь не имел и высшего образования, что в России было обязательным для профессорства. За ним не было ни знатности, ни школы, ни прочных академических связей. Правда, в том Археологическом институте, где он читал лекции, он и слушал лекции — других преподавателей. В анкетах потом отмечал, что окончил МАИ, но это не был диплом университетский.

4. Советский профессор и его законы. Революция принесла 58-летнему Городцову резкое повышение статуса: в 1919 г. он был назначен профессором Московского университета, а еще через 4 года возглавил археологическое отделение в Институте археологии и искусствознания Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИИОН), во главе которой стоял народный комиссар (т. е. министр) просвещения А. В. Луначарский. Городцов стал также заведовать археологией в музейном отделе Наркомпроса (Главмузее, потом Главнауке), где его непосредственной начальницей была Н. И. Седова — жена всесильного тогда вождя революции Троцкого. Фактически он стал главным археологом страны и весьма был этим доволен — ревностно следил за соблюдением своих привилегий. Старое соперничество Археологической комиссии Бобринского с Московским археологическим обществом Уваровой продолжилось в противостоянии Академии истории материальной культуры и Археологичесокго подотдела Музейного отдела Главнауки, только на месте Бобринского стояли Марр с приспешниками, а на месте Уваровой — Городцов.

В 1923 г. в Историческом музее отмечалось 35-летие научно-исследовательской деятельности Городцова, и одному из залов музея было присвоено имя Городцова. В том же году и был переиздан его курс «Первобытная археология». Новое название было с вызовом — как у Уварова за сорок лет до того: «Археология. Т. I. Каменный период». Как бы замена дореволюционной, уваровской археологии. При переиздании том был доработан и, можно сказать, переработан.

На эту книгу Жуков напечатал уничтожающую рецензию, показав, что книга Городцова сильно устарела: автор остановился в изложении пеиодизации на Буше де Перте — ни Морилье, ни Брейль и его современники не учтены. Он обвинял Городцова также в игнорировании успехов естественных наук и многих других грехах.

Городцов ответил письмом в редакцию, где отвергал эти обвинения, в частности сослался на свое применение схемы Пенка — Брюкнера, на которой действительно строится современная климатическая шкала оледенений. Но в археологической-то периодизации действительно изучение палеолита двигалось дальше на основании схемы Мортилье и Брейля.

Переиздание второго тома было запланировано, но это была не «Бытовая археология»: в середине 30-х Городцов приступил к созданию тома «Палеометаллическая эпоха». Он завершил рукопись в начале войны, но подготовить к изданию в условиях войны не смог и том уже не вышел. Тем не менеее лекционные курсы Городцова служили основными учебными и справочными пособиями еще десятки лет — только в 1940 г. их заменил краткий учебник «Введение в археологию» городцовского ученика А. В. Арциховского, столь же всеохватный хронологически, но гораздо более сжатый.

При переиздании переработанного первого тома Городцовым были расширены разделы классификации и о законах существования археологических явлений. Тот и другой разделы с очень небольшими изменениями вошли затем в брошюру «Типологический метод», которую он в 1927 г. издал в Рязани, центре своей родной губернии. Этой брошюре суждено было стать знаменитой (Викторова 1977; Klejn 1982: 44–46; Клейн 1991: 42–45; Ковалевская 1991).

Здесь ригористичность классификации была доведена до предела и схема приобрела законченную каноническую форму.

> «Все вещественные археологические памятники делятся на категории, затем категории делятся на группы, группы на отделы и отделы — на типы. Принципом деления *(principium divisionis)* на категории служит назначение типов, на группы — вещество типов, на отделы — форма, свойственная нескольким типам, и на типы — форма, присущая одному типу» («Типологический метод»: 6).

В пример приведены наконечники стрел: *категория* — наконечники стрел, *группа* — медные, *отдел* — втульчатые (по форме со стороны древка), *тип* — трехгранные (по форме ударного конца). Городцов хотел построить естественную классификацию, и такой же он считал классификацию Линнея. На деле классификация Линнея не была естественной, не была генеалогической, а система Городцова и подавно не могла стать такой. Городцов и сам ощущал, что его «типы» определены не очень реалистично: «Вполне отвечают этому определению только такие типы, в состав которых входят

предметы, отлитые или оттиснутые в одной и той же форме (Typos'e) из одного и того же вещества. Собрание таких предметов даст идеально чистые типы» (с. 8). Идеально чистые типы — это совсем не то, что мы обычно имеем в материале, так что у Городцова получалась *искусственная классификация*, но и она ведь имеет свои преимущества — в систематизации материала для целей хранения, розыска, опознания, разграничения. И она, конечно, может быть достаточно строгой, единой, всеобщей.

Схема Городцова быстро становилась нормой для археологических классификаций в стране. В 1930 г. его ученик А. В. Арциховский классифицировал по этой схеме вятичские височные кольца и другие вещи: *категория* — браслеты, *группа* — медные, *отдел* — витые, *тип* — тройные («Курганы вятичей»). Термин «категория» стал везде означать группу вещей, выделяемую по функциональному назначению. В 1927 г. в Америке на первой Пекосской конференции археологов тоже обсуждались бинарная терминология и Линнеевы принципы, и в 1933 г. рязанская брошюра Городцова была переведена и издана в США в виде статьи в «American Antropologist». В 1939 г. Клайд Клакхон отмечал: техника классификации керамики разработана. «Но я не знаю работ, кроме одной-единственной (и чьей — русского!), где бы была сделана хоть неловкая попытка рассмотреть подтекст типологического метода» (Kluckhohn 1939: 338). Влияние городцовских идей (Клейн 1991: 445–447) можно видеть в классификациях И. Рауза (1960), Р. Бартры (1964), А. Гарсиа Кука (1967).

Что же касается «подтекста типологического метода», то Клакхон здесь просмотрел то обстоятельство, которое правильно подметил В. Ф. Генинг в своих «Очерках по истории советской археологии» (1982: 156): археологические законы, намеченные Городцовым и приведенные в его брошюре для обоснования «типологического метода», никак с ним в тексте не связаны. Законы сами по себе, метод сам по себе.

Но вот что не замечали ни Клакхон, ни Формозов (2007а: 137), ни Генинг, ни Ковалевская, ни Лебедев (в своей «Истории отечественной археологии»), ни Платонова (в своей «Истории археологической мысли в России»): «типологический метод» Городцова имеет очень мало общего с типологическим методом Монтелиуса, и во избежание путаницы лучше бы его вообще так не именовать. Это не метод установления относительной хронологии по эволюции норм изготовления вещей (как у Монтелиуса), а просто методика типологии, и даже еще точнее — классификации. Вот о чем писал Городцов!

В этом смысле название «типологический метод» у Городцова применено более близко к сути работы, чем у Монтелиуса, но, поскольку приоритет за Монтелиусом и его современниками, то Городцову нужно было бы подыскать другое название.

Законы же действительно говорят о соотношениях между вещами, в том числе и о генеалогических соотношениях — классификация тут ни при чем. Городцову хотелось ввести теоретическое обоснование для своей классификации, для избранной последовательности шагов (почему вначале *функция*, потом *вещество* и т. д.), и он искал это обоснование в закономерных «соотношениях между индустриальными явлениями» (Археология, т. I, с. 8), но мысль бродила вокруг, так и не найдя логической связи.

Однако и сами законы любопытны. В 1923 г. их было у Городцова 6, в 1927 — 5, в 1933 — 4 (тут он именует их принципами). Вот их самый полный перечень:

1. Закон причинности гласит, что причиной всякого памятника является более ранний памятник, подобный ему, то есть у всякого типа есть прототип.
2. Закон эволюции диктует развитие от простейших форм к более сложным, но эволюция предполагается не однолинейной, а древовидной.
3. Закон инерции констатирует, что люди стремятся «удержать возможно долее все формы культуры в том виде, в каком они унаследованы от предшествующих поколений».
4. Закон заимствований «объясняет сходства явлений сообщением их одною народностью другой».
5. Законом случайных совпадений Городцов пытается объяснить то, что эволюционисты объясняли конвергентным развитием в схожих условиях, наличием «глубоко скрытой причины», единым источником.
6. Закон борьбы вещественных творений за существование объясняет выживание более конкурентоспособного из явлений с одинаковой функцией.

Первый закон отвергает абсолютные новации, второй говорит о направленности эволюции, третий, четвертый и пятый отражают и обосновывают диффузионистские трактовки, и шестой также имеет дело с вариантностью развития (то есть и тут не однолинейная эволюция). Только второй закон и в какой-то мере первый приемлемы и для эволюционистов, и для диффузионистов, остальные безусловно *диффузионистичны*. Кроме того, первый закон четко

формулирует материалистический принцип, который всю жизнь отстаивал Рудольф Вирхов, ярый противник эволюционизма и лидер центральноевропейской археологии: клетка от клетки, культура от культуры. Шестой закон повторяет постулат социальных дарвинистов.

В целом же эти законы призваны осветить жизнь древней материальной культуры — как объекта исследований. Это не законы археологии как науки, а некоторые принципы формирования особенностей ее объекта.

В том же курсе 1923 г. Городцов привёл свою «хронологическую классификацию» (т. е. периодизацию) в единство со всей схемой классификации: он стал выделять *эры* по наличию «индустрии», *периоды* — по веществу руководящих типов орудий, *эпохи* — по ведущим приемам обработки, *поры* — по морфологическим изменениям руководящих типов (Городцов 1926: 464).

В 1921 г. работавший в музее Приенисейского края (ныне Красноярский краевой краеведческий музей) как военнопленный Геро Мерхарт фон Бернегг вернулся на родину через Москву и Петроград. В Москве он виделся с Городцовым, был обласкан, Городцов высоко о нем отозвался. В 1924 г. отношение Городцова к Мерхарту, который выпустил в Америке статью о енисейском палеолите, совершенно иное. Городцов делает доклад в Красноярске, в местном отделении Русского Географического общества, где обвиняет Мерхарта, в скором будущем крупнейшего археолога Европы, в плохой археологической и геологической подготовке, даже делает намек на фальсификацию. Это дошло до Мерхарта, он потребовал извинений, Городцов не ответил. Высказываются разные догадки о причинах скандала (Буровский и Детлова 2010). Думается, что просто Городцов к этому времени уже не выносил конкуренции в претензиях на главенство в изучении бронзового века, да и палеолита. Мерхарт уже не тот, да и Городцов не тот.

5. Школа. За время преподавания в Московском университете и в РАНИИОН вокруг Городцова сложилась сплоченная школа, очень активная: Александр Яковлевич Брюсов (1885–1966), Ольга Александровна Кривцова-Гракова (1895–1970), Алексей Петрович Смирнов (1899–1974), Мария Евгеньевна Фосс (1899–1953), Артемий Владимирович Арциховский (1902–1978), Евгений Игнатьевич Крупнов (1904–1970), Сергей Владимирович Киселев (1905–1962), Дмитрий Александрович Крайнов (1904–1998), Борис Александрович Рыбаков (1908–2001) и др. — всё впоследствии ведущие московские археологи, руководители советской археологии и ее отраслей. Городцов в конце

жизни составил список из 40 своих учеников, заметных в науке. Брюсов вспоминал в своих мемуарах, как Городцов приучал своих студентов перестраивать экспозицию Исторического музея: «Мы старательно помогали ему, и по всему музею стоял грохот от катящихся тележек с экспонатами и от топота ног кативших их студентов. "Пожарная команда Городцова" презрительно называли нас старшие, почтенные сотрудники музея» («На тропах археологии»).

В экспедициях Городцова сложился некий клан «тотем Легавой Лягушки». Члены его носили шуточные клички, называли себя тотемистами и всячески подчеркивали свою кровную связь с вождем клана — Городцовым. «Лягушка» — это был он, Арциховский носил кличку «Махайродус», или «Махай» (за крепкие челюсти и рык), Брюсов — «Хвост», Киселев — «Верблюд», или «Верочка», А. П. Смирнов — «Гусь», Евтюхова — «Отжимник», Левашова — «Топор», Фосс — «Маймуня», сын Городцова Мстислав — «Крокодил» и т. д. «Что за этим стояло? — задается вопросом И. Л. Кызласова (2010: 758–759). — Стремление отгородиться от действительности потоком шуток? Создать свой мир, мир экспедиционного карнавала зимой и летом? Наверное». Обычно такая символика и ритуалы скрепляют неформальный коллектив,

В. А. Городцов (сидит четвертый слева) с группой своих учеников. В ряду сидящих вторая слева — Л. А. Евтюхова, справа от лежащего М. Е. Фосс, за ее спиной А. В. Збруева, крайний справа — А. Я. Брюсов. В ряду стоящих четвертый слева А. В. Арциховский, крайний справа Е. В. Веймарн, слева от него через одного А. П. Смирнов

формализуя его. Придают прочность связям, которые участникам хочется укрепить и сохранить.

Молодые аспиранты, ученики Городцова, занимались также в социологическом семинаре академика В. М. Фриче, старого большевика и пропагандиста марксизма. С 1923 г. они выступали в этом семинаре с докладами, отражавшими их работу по внедрению марксизма в археологию и по рассмотрению археологических материалов в социологическом плане. Тогда еще социология не была вычеркнута из советской науки, но понималась только как исторический материализм. Арциховский выступил, например, с докладом «Социологическое значение эволюции земледельческих орудий». Тут можно вспомнить лозунг Марра: «Долой Венеру Милосскую, да здравствует мотыга!». Опирались аспиранты и на некоторые идеи самого Городцова. Так, например, в книге «Археология» (1923: 147–148) Городцов писал: «Одну из видных ролей в развитии человеческой культуры всегда играли орудия труда. Совершенство их сначала способствует увеличению материальных средств, а затем и развитию духовных сил». Городцов декларировал самостоятельность археологии, его ученики хотели сделать ее марксистской.

Городцов и сам стремился приспособиться к новым веяниям, к требованиям советской марксистской идеологии. Он пытался освоить марксистские идеи и интересы, что видно из его статьи «Значение изучения древней техники в археологии» (Городцов 1930). Сам Фриче (1928) выступил со статьей к юбилею Городцова, в которой оценивал его взгляды как очень близкие к марксизму.

Основными противниками ученики Городцова считали в Москве *палеоэтнологическую школу* Б. С. Жукова, сложившуюся вокруг кафедры антропологии Московского университета (там тоже собрались крупные в будущем советские археологи — С. П. Толстов, О. Н. Бадер, М. В. Воеводский, А. В. Збруева и др.). «Палеоэтнологи» придерживались географического детерминизма, увлекались этнической стороной культуры и считали археологию лишь отраслью этнологии, обращенной в прошлое. Жуков критиковал «хронологичскую классификацию» Городцова за искусственно нарезанные хронологические рубежи, которыми рассекаются однотипные культуры. Сам Жуков относил к бронзовому веку все культуры с бронзовыми орудиями без железных вне зависимости от времени. Он был более последовательным формалистом, чем Городцов. А Городцов считал, что важнее соединить в одном периоде все одновременные культуры — из-за их контактных отношений. Это типичный подход

В. А. Городцов в 1930-е гг. — годы гонений и нового признания

диффузиониста. У него в бронзовый век могли попасть и культуры, не имевшие металла, если в другом месте, пусть далеко, металл уже существовал: оттуда ведь шли культурные влияния, и они связывали период в единое целое для Городцова.

Жуков подвергал Городцова жесткой критике. В 1927 г. Левашова писала Ауэрбаху: «В. А. Городцов очень постарел. Не дешево далась ему вся эта травля» (Кызласова 2010: 757, прим. 18).

Молодежь обеих школ выступила инициаторами диспута, и такой диспут состоялся в 1929 г. Это как в старом русском кулачном бою «стенка на стенку» — зачинщиками выступают подростки. От имени троих «археологов», городцовских учеников (Арциховского, Брюсова и Киселева), с докладом выступил Арциховский. Он изложил новый метод, названный у «археологов» (так они именовали себя в противовес «палеоэтнологам») «методом восхождения». Суть была в том, чтобы по орудиям восстанавливать всю структуру общества, пользуясь знанием марксистских законов. При таком убеждении отпадала нужда в привлечении этнографических данных и даже письменных источников — археология становилась независимой фундаментальной наукой вровень с историей, она сама могла изучать исторический процесс. Эти убеждения сохранятся у Арциховского, Рыбакова и всей школы Городцова, которую они возглавят, и после отказа от упрощенческого «метода восхождения».

Истоки этого понимания можно найти у Юрия Владимировича Готье (1889–1943), второго университетского учителя Арциховского

и Рыбакова. Тот считал археологию самостоятельной, а обе дисциплины — историю и археологию — «близкими и братскими отраслями русской науки» (Готье 1925: 10). Это была традиция, идущая от И. Е. Забелина. Но и у Городцова есть зерна именно такого понимания археологии — как не источниковедческой, а фундаментальной науки. Стараясь уйти от вещеведческой установки археологии, он давал в книге «Археология» такое определение археологии:

> «Археология есть наука о событиях, сопровождающих жизнь вымерших поколений человечества, поскольку эти события выразились в вещественных творениях, влияющих на его развитие и изменявшихся под влиянием разума, энергии и воли вымерших поколений человечества... Ее задача состоит в том, чтобы отыскать и понять закономерность условий возникновения и изменения форм творений некогда живших поколений человечества, выяснить взаимную связь этих творений, указать распространенность их в пространстве, проследить и оценить взаимодействие человеческого духа на развитие творений и творений на развитие человеческого духа» (Городцов 1923: 5).

Итак, история — «наука о событиях», а не о вещах, эти события отражающих. Если археология — «наука о событиях», то что такое история? Если задача ее — поиски «закономерности условий возникновения и изменения форм», то что такое история материальной культуры? Уже в этих определениях Городцова заключались зародыши тех идей, которые позже развил Арциховский в концепции историзма археологии, концепции, выразившейся в девизе «Археология — это история, вооруженная лопатой».

От «палеоэтнологов» с полемикой выступал Толстов. Диспут освещался в печати. Но над обеими спорящими сторонами нависла смертельная угроза.

6. В опале. Год 1929-й был «годом великого перелома» в жизни страны — так его окрестил Сталин. Это был год повальной коллективизации сельского хозяйства, насильственного вывоза миллионов зажиточных крестьян, ограбленных дочиста, в Сибирь; год жестокого подавления церкви и местных любителей старины. Борьба обострилась и в партии — власть Сталина стала единоличной, и он начал устранять бывших и возможных будущих соперников. В социальных науках атмосфера стала очень напряженной, идеологизация науки резко усилилась.

Вскоре Жуков был арестован и погиб в лагере, его школа рассыпалась. Но и ученики Городцова оказались под огнем критики. Археология всё еще управлялась из Ленинграда, где находилась Академия истории материальной культуры. Ленинградское руководство археологии объявило, что «марксистская археология» — нонсенс, ибо всякая археология вообще не согласуется с марксизмом и подлежит ликвидации. Вещи не самостоятельны, без людей и общества они — ничто, значит, и особой науки не заслуживают. Это-де для буржуазной науки характерны формализм и фетишизация вещей. Нужна не археология, выделяемая по виду источников, а история материальной культуры, выделяемая по объекту исследования. Но и это подвергалось сомнению — предполагалось делить науки по социально-экономическим формациям, невзирая на виды источников.

Трое «археологов», основных участников диспута, выступили с покаянной статьей «Возникновение, развитие и исчезновение "марксистской археологии"» (1930). Ленинградский археолог В. И. Равдоникас опубликовал в том же году большую работу «За марксистскую историю материальной культуры», в которой обрушился не только на Арциховского, но и на Городцова с разносом. Он громил «маститого исследователя» (этот эпитет был применен в кавычках) как типично буржуазного ученого. Он иронизировал над претензиями Городцова на первенство в разработке теории для типологического метода (нарочито не замечая, что по сути у Городцова речь шла не о типологическом методе, а о теории классификации). Иронизировал едко, даже грубо:

> «Итак, европейская наука до В. А. Городцова, оказывается, брела ощупью; Мортилье и Монтелиусы "пробовали" упражняться в школьных незаконченных опытах, так и не успев дорасти до научной теории, и лишь он, В. А. Городцов, такой теорией осчастливил человечество» (Равдоникас 1930: 43).

В 1929 г. Городцов был снят со всех своих постов (полный перечень их и последовательность снятия см. в Белозерова и др. 2011: 500). В обстановке арестов, увольнений, беснования критики и самокритики, выйдя после одного их таких заседаний из аудитории, толпа учеников Городцова увидела его портрет на стене. Возбужденные проработкой, они бросились к портрету, сорвали его со стены и растоптали.

Когда в наше время А. А. Формозов спрашивал престарелых учеников Городцова об этом эпизоде, один сказал, что не помнит такого, другой — что не участвовал в этом, третий — что расправа

с портретом была, но поделом, и лишь один сказал, что стыдится и раскаивается (личное сообщение А. А. Формозова).

В дневнике Городцов написал: «Выросши на трудовой жизни, я совершенно не усвоил, что администратору необходимо не только трудиться, но и политиковать, т. е. уметь подслуживаться, где нужно льстить и держать линию начальства, хотя бы и видел, что эта линия не лучшая и не такая общественно полезная. Я же выработал характер неуклончивый, топорный и не годный на службе, в особенности в революционное время» (Белозёрова и др. 2011б: 163). Видимо, дело было хуже, и он опасался ареста, потому что сжег 60 дневников — все за 1920-е гг. Потом жалел.

Выручила из бедственного положения конкуренция между москвичами и ленинградцами. В 1933 г. Городцов был приглашен платным консультантом в Ленинград, в Кунсткамеру, куда ездил регулярно более трех лет. Там занимался не только палеолитом, но и палеометаллом. Питерские палеолитчики не очень были рады появлению маститого конкурента, к тому же весьма претенциозного и не очень разборчивого. Городцов перехватил у Замятнина Ильскую стоянку, которую ошибочно объявил не мустьерской, а верхнепалеолитической. Без разрешения первоокрывателя Воеводского копал Тимоновскую стоянку, увидев в ней палеолитические жилища — и тоже ошибочно: это были мерзлотные образования (Формозов 2007: 255).

7. Happy end. Через несколько лет буря улеглась. В 1934 г., когда университетам были возвращены исторические факультеты и кафедры археологии, а археология была восстановлена в правах, Городцову в числе еще нескольких виднейших археологов была присвоена докторская степень без защиты диссертации. В Государственном Историческом Музее был устроен «Зал им. В. А. Городцова».

В 1935 г. 75-летний Городцов опубликовал статью «Социально-экономический строй древних обитателей Тимоновской палеолитической стоянки» («Советская Этнография», 3). Статья как бы продолжает серию социологических интерпретаций, публиковавшихся его учениками в 1923–1927 гг., только тут учитель подражает своим ученикам. Можно подумать, что он сидел вместе со своими аспирантами на занятиях семинара Фриче, только задержался с публикацией на десять лет. Но Тимоновку он копал в 30-е гг.! Городцов перестраивался, учился у своих учеников.

Но отношения с учениками были не безоблачными, особенно с Арциховским.

> «Злые языки говорили, — вспоминал Рабинович (2005: 223), — что мой учитель, Артемий Владимирович Арциховский, потому не ходит на заседания, что в зале висит портрет Городцова. А между тем Василий Алексеевич был его учителем. Когда пробежала между ними черная кошка, я не знаю, но к тому времени, как мы познакомились с Артемием, эта кошка, видимо, только и делала, что бегала между ними взад и вперед. Арциховский никогда не упускал случая рассказать что-нибудь дурное о Городцове. Не в лекциях, конечно, а, как говорится, в частной беседе. То — что Городцов не знает иностранных языков, то — что бормочет невнятно на докладах, то — что рассказывает скабрезные истории, то — что состоит членом эфемерной Тулузской академии (кстати, не такой уж и эфемерной. — Л. К.), а в нашу Академию сколько раз проваливался. А "мо" Городцова об Артемии мы тоже знали».

Когда в 1939 или 1940 г. в московском отделении ГАИМК обсуждалась книга Арциховского «Введение в археологию», пришел Городцов — «небольшого роста, полный, несколько обрюзгший, но очень изящно одетый старик в хорошо сшитом костюме (что было тогда редкостью)». Рабинович (2005: 224) был очень занят подготовкой к собственному выступлению и не запомнил реакции Городцова, но, по рассказу Монгайта, «старик рано ушел, бросив на пороге:

— В толк не возьму, почему эту книжку так хвалят!»

В 1936 г. во время командировки в Москву молодой Б. Б. Пиотровский встретился с ним в ГИМ. В своих мемуарах описывает встречу он так:

> «Зашел Городцов. Поздоровавшись, он спросил меня, кто я такой и чем занимаюсь. Я ему кратко ответил, что я работал на Дону у А. А. Миллера. Городцов заметил: "А вы, молодой человек, знаете, что Миллер копает оползни?" Я стал робко возражать и пытался объяснить на чертежах — ничего не помогало: мой собеседник накалялся. Тут подошли Круглов и Подгаецкий (чья совместная книга «Родовое общество степей» только что вышла. — Л. К.) и вступили в разговор. Городцов рассердился: "А вы кто такие? Может быть, я с вами и разговаривать не стану". Они назвали себя, тут-то и пошло. И книга плохая, и брать чужие неопубликованные материалы нельзя. На моих товарищей он вылил всю свою обиду на "археологов-марксистов", которые его допекли в Москве» (Пиотровский 2009: 132).

В том же 1936 г., когда был уже уволен, а затем и расстрелян Быковский, Городцов писал в Горький В. Т. Илларионову:

«В настоящее время в Москве и Ленинграде, силясь работать по-стахановски, люди науки и литературы мучают свои мозги и нервы, не замечая, что ухудшают свою продукцию. Все мои знакомые, да и сам я, стали какими-то не в меру, а иногда и не по летам, суетливыми, мрачными и, главное, странно трусливыми. Все как будто боятся сказать невпопад слово». Упомянув о посмертной расправе над Покровским, он продолжает: «Но если с Покровским так не церемонятся, то как же поступают с рядовыми работниками, если они в чем-либо даже по нечаянности ошибутся? Беда! Сотрут в порошок! Так все про себя думают, бегут, суетятся, пишут, черкают, рвут, бросают, вновь пишут — и в результате 0 (ноль)» (Иванова 2010: 166).

Ареста он избежал даже в страшном 1937 г. Преобразования (слияние ГАИМК с Институтом археологии, антропологии и этнографии МГУ в единый ИИМК) он встретил брюзжанием. Горьковскому археологу Илларионову писал, что в новый институт «наряду с орлами вошли и пауки, успевшие прицепиться к хвостам орлов. Прицепились Ефименко, Замятнин, Равдоникас и др. Названные пауки разложили ИААЭ и, нужно думать, разложат и вновь созданный институт, это очень тлетворные существа, опасные в обществе...» (Иванова 2011: 162). Кого он считал орлами, неясно. Разве что Марра?

А в дневник он записывал весьма горькие и опасные мысли:

«На очереди написание II тома "Археологии", по отделу палеометаллической эпохи металлического периода. <...> У меня собран огромнейший материал, и, казалось бы, стоит только взяться за перо, и дело польется целым потоком. Что жа за причина, тормозящая написание? Хорошо не знаю, как выразить на бумаге эту причину. Она сложна и гнусна. Мои руки опускаются, когда я вплотную подхожу к этой работе. Я чувствую, как в плечах ослабевают мускулы, в голове является уныние, во всем организме — немочь, и я беру какую-нибудь книгу, не имеющую отношения к теме, и начинаю ее читать, заглушая стремление к важной для меня работе.

В чем же задержка? Задержка в вопросах: 1) кому нужна будет моя книга? кто ее будет читать? Ведь в настоящее тёмное время и археологию не признают за науку, <...>. Это для меня не тайна. Я знаю, что II том "Археологии" должен иметь объем около 500 стр. обычного формата. Написание его потребует не менее 2 лет. Труд большой, но для чего и для кого он нужен? Ни для чего и ни для кого. Зачем же предпринимать этот труд, не нужный в России никому. <...>

Первый том печатался на самой гадкой бумаге, без рисунков и в течение 4 лет. На какой же бумаге и в течение скольких лет будет печататься второй том? Почему так? Не знаю, но это говорит за то, что мои труды пропадут в русской тщете.

Да хорошо, если без опорачивания в тлетворной русской критике нашего тёмного времени. А то еще облают, найдя какое-нибудь невинное выражение, истолкуют его как контрреволюцию и подведут под суд, под пресс административного усмотрения. В награду получится большая беда, пережить которую едва ли удастся старику.

Но что же делать с собранным материалом? Вопрос трудный! Самое разумное, конечно, сжечь, чтобы не дать его в руки мазурикам от науки, которых развелось очень много» (Белозёрова 2010: 692).

Между тем положение его становилось все более высоким. Даже выдвинули его в академики, но на предварительной проверке всплыло личное письмо его от августа 1938 г. к горьковскому археологу Илларионову, где было написано: «Испытывая нажимы, я часто твержу себе: как жаль, что я родился в России. В любой цивилизованной загранице

В. А. Городцов в своей квартире во время Отечественной войны

ко мне относились бы иначе...» (Миллер 1954: 81; Тункина 2004: 188). Городцов упрекал Илларионова за несправедливую критику в рукописи, поступившей к Городцову же на отзыв, а Илларионов оказался стукачом и передал письмо в соответствующие органы (Формозов 2007). От выборов воздержались.

Последние раскопки (на Канишевском городище в Рязанской области) Городцов проводил в возрасте 79 лет. В 1940 г. вступил в ВКП(б). В том же году сдал в издательство новый вариант первого тома своей «Археологии», но его не успели опубликовать: началась война.

Осенью 1941 г. во время паники в Москве сжег свой партбилет. В дневник записывал трезвый и горький анализ сводок Совинформбюро и выступлений Сталина. Похвальба огромными потерями захватчиков по сравнению с нашими его не обманывала. Он же военный, знал, что во всех войнах отступающие войска теряют гораздо больше, чем наступающие. Во время войны Городцов был глубоким стариком, болел.

Когда кафедра была эвакуирована в Ашхабад, Арциховский ею заведовал в Ашхабаде, где ИФЛИ влился в МГУ, а оставшиеся в Москве вскоре возобновили работу, и московским заведующим объединенной кафедрой стал Городцов. Заседания проводили у него на квартире, и студенты запомнили его в стеганом халате и черной круглой шапочке с красным шариком, укутавшего ноги пледом (Рабинович 2005: 226). Среди этих студентов были Н. Я. Мерперт, Т. Б. Попова, М. А. Итина.

Жена, брат, все сыновья, кроме одного, Мстислава, умерли раньше его, да и этот единственный ушел из семьи. Старик остался один. Правда, Мстислав и его бывшая жена всё же навещали старика, помогали ему, да и студенты его не забывали, но жил он в одиночестве.

Несмотря на болезни, холод и голод, писал замерзающими чернилами и к 1944 г. подготовил второй том — «Археология. Металлический период», — он остался неопубликованным и утерян. Анализировавший его подготовительные материалы Сафонов (2002: 68) пришел к выводу, что лекции по эпохе бронзы, читанные в 40-х гг. С. В. Киселевым, «уступают курсу Городцова по фундированности и энциклопедизму». Идеи Л. С. Клейна о корнях катакомбной традиции в Средиземноморье, в частности в Эгейском мире, были, оказывается, ранее уже выдвинуты Городцовым в неопубликованной статье 1943 г. «Связь катакомбной культуры с Крито-Эгейской культурой» (Сафонов 2002: 66).

В 1944 г. неуемный старик писал критическую статью «Хлестаковы в археологии» — против Хвойки, своего противника Жукова, также задевал Бунака, Замятнина и Бонч-Осмоловского.

Умер, дожив до 85 лет, за несколько месяцев до победы. Любопытно, что именно Арциховский, который его терпеть не мог (и пользовался взаимностью), у гроба сказал: «Кончилась жизнь — началось бессмертие» (Белозерова и Кузьминых 2012: 172).

Из его учеников Арциховский долго заведовал кафедрой в Московском университете и был многолетним редактором «Советской археологии», Брюсов был его заместителем и заведовал сектором в Институте, академик Рыбаков (который непосредственно учеником Городцова не числился, но слушал его лекции) 30 лет возглавлял советскую археологию, был директором Института археологии Академии наук, Киселев и Крупнов были его заместителями. У Арциховского тоже большая школа; много учеников-кавказоведов у Крупнова; своих учеников-славистов имел Рыбаков. Но им было легче создавать школы. Это был стандартный путь талантливого университетского выпускника, затем аспиранта, затем профессора. Городцов, прежде чем создать школу, создал систему археологии России и создал себя.

Археолог в двух мирах

М. И. Ростовцев

Помнишь день мрака, когда гул взрыва расколол счастье,
чернотой трещин — жизнь на два мира, мир на две части?
И легла пропасть поперек дома, через стол с хлебом, разделив
стены, что росли рядом, грозовым небом...
Вот плывут рядом две больших глыбы, исходя паром,
а они были, да, одним домом, да, Земным Шаром...
Но на двух глыбах тоже жить можно, и живут люди,
лишь во сне помня о Земном Шаре, о былом чуде.

Семен Кирсанов. Под одним небом.

1. Раскол по сердцу. «Великий русский историк», «крупнейший специалист по экономике античного мира» — так определяют Михаила Ивановича Ростовцева в России и за рубежом. Потом добавляют: «также эпиграфист и археолог» (Christ 1972; Andreau 1988; Wes 1990 и др.). Но мышление Ростовцева о себе и своей судьбе было специфически археологическим. В письме другу в 1922 г. он меланхолически выражал надежду:

> «...когда-нибудь, лет тысячи через две, раскопают остатки моих произведений и будут писать диссертации о том, к какой национальности принадлежал Ростовцев, часть произведений которого найдена была при раскопках руин загадочного города на Неве, написанных на языке, очевидно индоевропейском, хотя и с большим количеством чуждых элементов... Национальность этого Ростовцева тем более загадочна, что несколько листков его сочинений найдены были в западной части Америки в руинах маленького деревнеобразного города, в здании, назначение которого не ясно, но которое, по-видимому, служило просветительным целям...» (СР: 489).

Со времен Фукидида повелось воображать, как люди будущего будут представлять себе наше время по руинам и остаткам нашей

цивилизации. Фукидид сравнивал Афины и Спарту по воображаемым впечатлениям от их будущих руин; Гордон Чайлд писал о наших современных вещах как археологических источниках будущего; Марк Твен иронизировал над тем, как археологи будущего будут ломать себе голову, кем был генерал Грант, а Ростовцев сделал объектом таких размышлений самого себя. Он не отделял себя от современной истории и мыслил эпохальными масштабами, в которых история близка археологии.

В советское время белоэмигрант Ростовцев на родине либо замалчивался, либо охаивался, но его классический труд «Скифия и Боспор», чудом изданный в первые годы советской власти, втайне служил руководством для всех археологов, занимавшихся этим предметом. В 1988 г. молодой ленинградский археолог В. Ю. Зуев нашел в архивах рукопись части неизданного второго тома «Скифии и Боспора», и с этого в России начался бум Ростовцева. Обратились ко всем его сохранившимся рукописям, письмам, к анализу творчества. Выходивший одно время «Петербургский Ахеологический Вестник» отвел целый номер переизданию работ Ростовцева (ΣΚΥΘΙΚΑ 1993). Затем три исследователя: Бонгард-Левин, Тункина и Зуев — выпустили два толстенных тома, в которых издали большое количество писем, рукописей и биографических материалов о Ростовцеве — «Скифский роман», 1997 (=СР), и «Парфянский выстрел» (=ПВ), 2003. Теперь, строя биографию Ростовцева, можно ограничиться ссылками на эти несколько томов и содержащиеся в них сводки указанных авторов.

Излагая рукопись лекций Ростовцева, читанных в 1906–1907 гг. на Бестужевских курсах, Зуев (Зуев 1997: 18) так перелагает их содержание:

> «Главный тезис Ростовцева сводится к тому, что исследователь всегда смотрит на прошлое сквозь призму современности и отношение к ней ученого определяет в конечном счете его исследовательскую позицию. Скептически относясь к так называемой "научной беспристрастности", Ростовцев призывал своих учеников учитывать фактор "злобы дня", что, с одной стороны, значительно способствует обогащению культуры современности, а с другой — позволяет лучше понять (в общем контексте научной историографии) те аспекты древней истории, которые волновали ученых в разные исторические периоды). Таким образом, то, что долгие годы в историографии называлось "модернизаторскими тенденциями в трудах М. И. Ростовцева" и за что его нещадно (и бесплодно) критиковали, на деле было творческим методом ученого...»

Насчет скептического отношения к «научной беспристрастности», это (если без оговорок) слишком сильно сказано. Такой скепсис вошел в европейскую философию только с Гадамером (его «Истина и метод» появилась в 1960 г.). Это Гадамер выдвинул тезис о том, что наличие предвзятости продуктивно для понимания, что предвзятость как раз условие для опыта и понимания. Вряд ли Ростовцев мог в начале века так решительно выступать против непредвзятого исследования. По крайней мере позже в своих антибольшевистских статьях времен революции и Гражданской войны Ростовцев отстаивал свободу, нейтральность и беспартийность науки в поиске истины: «Свобода и нейтральность науки не лозунг, а сама суть научных исследований» (Ростовцев 2002: 89). Тезис о том, что научную позицию ученого определяет в конечном счете его отношение к современным проблемам, есть тезис марксистский, пропагандировавшийся франкфуртской школой марксизма — Максом Хоркхеймером и Теодором Адорно в их работах 1930–1940-х гг. Ростовцев же был заядлым врагом марксизма.

Но несомненно, что Ростовцев был страстной натурой и жил проблемами не абстрактной науки, а науки, тесно связанной с современной политикой, что он старался извлечь уроки для современности из далекого прошлого. В этом смысле в его научной позиции было глубокое внутреннее противоречие. «Модернизаторские тенденции» у Ростовцева были и весьма наглядны: он не только видел в современности аналогии присходившему в древности, но и находил в античности современные явления (феодальные порядки, капитализм, социализм). Вряд ли можно определять это как «творческий метод» (циклизм?), скорее это было стимулом для творчества.

Эта двойственность была обусловлена тем, что Ростовцев жил в мире, расколотом на два лагеря, и принадлежал обоим. Дело не только в том, что он полжизни прожил в пореформенной России, катящейся к революции, а полжизни — в Соединенных Штатах, движущихся к мировой гегемонии и противостоявших Советской России. Не только в том, что он мог оттуда наблюдать издалека кризис Европы и соревнование нацистов и большевиков за создание мировой империи, эту схватку гигантов, смахивающую на борьбу Рима с Карфагеном или Парфией. А может быть, и напоминающую нашествие варваров на гибнущий Рим. Или даже затопление высокой языческой культуры христианством, поначалу, несомненно, религией диких низов. Дело еще в том, что в России Ростовцев всей душой принадлежал к верхнему классу, отстаивал его ценности и его

культуру, но понимал косность и ущербность царизма, боролся за либеральные идеалы (состоял в партии кадетов) и в этом смысле был объективно союзником революционеров и марксистов. В Америке же Ростовцев оставался русским, покинувшим в России своих друзей, свою библиотеку и свои рукописи, а в Новый Свет он привез свою российскую выучку и российские интересы, которые сочетались с новыми, американскими. Противоречиво было и его отношение к евреям. Современный грозный раскол мира проходил по его сердцу.

Это придавало его жизни и творчеству особый драматизм и величие.

2. Формирование ученого в России. Михаил Иванович Ростовцев родился в 1870 г. в Житомире в большой семье директора гимназии, по образованию филолога-классика, так что его с детства окружала атмосфера интересов к античности. Прадед его был купцом, выходцем из Ростова Великого (отсюда и фамилия), но уже дед получил университетское образование и потомственное дворянство. Так что Михаил Ростовцев — подлинный интеллигент: за ним три университета — те, что окончил он сам, его отец и дед.

Детство и раннюю юность провел в Киеве, окончил с серебряной медалью Первую городскую гимназию, которой в разные годы руководили его дед и отец, и получил премию имени Пирогова за сочинение «Об управлении провинциями в первый век Республики» — уже здесь были обозначены его интересы в науке. Поступил в Киевский университет Св. Владимира, где слушал лекции известного археолога В. Б. Антоновича по русской истории, а по античной культуре занимался у Ю. А. Кулаковского, который работал в области социально-экономической истории Рима и, между прочим, изучал античную декоративную живопись Юга России — оба сюжета впоследствии разрабатывал и Ростовцев.

М. И. Ростовцев в молодости

Проучился Ростовцев в Киевском университете два года, но, когда отца в 1890 г. перевели по службе в Оренбург (попечителем Оренбургского учебного

округа), он решил перевести сына в столичный университет, где деканом был его приятель И. В. Помяловский. Так студент продолжил обучение уже в Петербургском университете. Там он испытал сильное влияние филолога Фаддея Францевича Зелинского. Зелинский не был склонен к дотошному препарированию фактов, он рисовал картину античного мира широкими мазками, строил масштабные концепции и стремился к увязке древнего мира с современностью — он извлекал из античности уроки для нынешнего дня, а древний мир заметно модернизировал, помещая туда сугубо современные явления. Ростовцев усвоил этот общий подход. Но его главным учителем стал ученый совершенно противоположного склада — дотошный эрудит и источниковед, специалист по античному и византийскому искусству Никодим Павлович Кондаков, вокруг которого сложился кружок «фактопоклонников» — Айналов, Жебелёв, Смирнов, Тураев, Фармаковский, Церетели и др. Первоначально Ростовцев попал под влияние не столько самого Кондакова, сколько его учеников.

> «...От них и косвенно от их учителей я научился понимать, что первое в научной работе — это строго и точно, по источникам, после любовного их изучения, установить факты... Я впервые стал ощущать, что без археологии в истории древности далеко не уйдешь. И это, конечно, шло прямо от Н. П. Чистым археологом я не сделался, как не сделался и классическим филологом. Но я пытался и пытаюсь быть историком древности, понимание которой основано и зиждется на археологии и классической филологии» (Ростовцев 1924: 24).

Через два года окончил классическое отделение Петербургского университета и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию — нечто вроде современной аспирантуры. Три года провел в царской резиденции — в Царском селе (тогда Сарское село), где преподавал греческий и латынь в Николаевской гимназии. На первых же каникулах в 1893 г. поехал на родительские средства в Италию стажироваться, ознакомился с памятниками Рима и Помпей, прослушал в Помпеях лекции Августа Мау и принял участие в его раскопках. Мау продолжал в Помпеях раскопки широкими площадями послойно и создал теорию четырех стилей помпеянской декоративной живописи. В школе простили опоздание учителя на два месяца, а Университет наградил его за усердие присуждением стипендии.

В 1895 г. Ростовцев сдал магистерские экзамены и получил стипендию для поездки по странам классической древности — Турции,

Греции и Италии, а также по Западной Европе. Там три года собирал материал для своей магистерской работы (позже это стало называться кандидатской) и докторской диссертации, печатал статьи. В Венском университете прослушал один неполный семестр у Е. Бормана по латинской эпиграфике и у О. Бендорфа по археологии. Отто Бендорф был учеником Отто Яна и основателем Австрийского археологического института. Он вел раскопки античных памятников в Малой Азии и искал успеха классической археологии в соединении с эпиграфикой и искусствоведением.

В 1898 г. Ростовцев вернулся в Россию и начал преподавать латынь в Университете и историю древнего мира на Бестужевских курсах для девушек. В свои 28 лет он был автором более 20 печатных работ, и, познакомившись с первыми его работами, крупнейший антиковед Германии Виламовиц фон Мёллендорф предсказал, что он станет первым историком мира! (Зуев 1997: 79, прим. 43; Бонгард-Левин и др. 1997: 256, прим. 17). Успехи Ростовцева вызывали некоторую зависть у его друзей. Жебелёв писал в 1899 г. Айналову: «Ростовцев теперь всюду сует нос и, вероятно, пойдет очень далеко, теперь такие ходовые люди в моде. Он узнал уже успех, читает и общие, и специальные курсы; при всем том ходит большим франтом». В том же году Фармаковский пишет о нем: «Он теперь во всем блеске: только что защитил диссертацию. Он здесь сейчас же со всеми сошелся... Ростовцев устроился в Санкт-Петербурге, ему можно позавидовать в умении и ловкости, но, конечно, за ним много и положительных данных — он весьма умный и знающий человек» (Зуев 1997: 58). По поводу разгромной рецензии Ростовцева на одного из почтенных коллег Кондаков заметил, что Ростовцев — «при всей своей гениальности, человек больной: у него какой-то зуд в каждой работе кого-нибудь садануть» (Тункина 1997: 115, прим. 19).

М. И. Ростовцев во время поездки в Рим в 1900-е гг.

В 1903 г. он получил докторскую степень за труд о римских

свинцовых тессерах — жетонах-пропусках, своего рода документах на жалованье и увольнительных для легионеров. Впоследствии Ростовцев писал о том, что с самого начала научной деятельности его влекло к проблемам социальной и экономической жизни.

> «Не то чтоб я был материалистом в истории, вовсе нет. Я интересуюсь историей цивилизации, искусства и религии не меньше, чем социально-экономической историей. Но случай и интуиция привели меня к тому, что мои главные усилия были направлены на понимание социально-экономической жизни в ее историческом контексте и в ее развитии» (Бонгард-Левин 1997: 46).

После присвоения докторской степени он был назначен профессором латыни, но читать историю на Бестужевских курсах не прекращал.

3. Вопрошая историю. Один из его тогдашних студентов, Н. П. Анциферов, вспоминает:

> «Внешность Ростовцева не могла содействовать популярности. Она была лишена всего профессорского. Небольшой, коренастый, с широким лицом, без бороды, подстриженный бобриком, какой-то "серенький". Однако умное, энергичное лицо привлекало внимание... Михаил Иванович начинал медленно, глухим голосом, но постепенно темп ускорялся, а к середине лекции Ростовцев гремел на всю аудиторию так, что я предпочитал сидеть в задних рядах. <...> Горячий темперамент Ростовцева заставлял его забывать завет Тацита "Sine era et studio". Он пылал гневом, повествуя о ненавистном ему Августе — "революционере", превратившемся в консерватора и ханжу. Ростовцев употреблял бранные слова, стучал кулаками — это был не ученый на кафедре, а политический оратор на трибуне...
>
> Иным становился Ростовцев на занятиях в семинариях. Сосредоточенный, спокойный, он вел их тихим голосом. Он надевал очки, и они меняли его облик» (Зуев 1997: 60).

Таким образом, страстность и политический запал были характерны для Ростовцева еще в годы первой русской революции. Еще тогда он признавал, что к истории подходит с запросами, вызванными волнующими его проблемами современности. И он декларировал потенции истории, позволяющие ставить ей такие вопросы и решать их. Для него в истории есть связь и повторяемость, придающие аналогиям смысл и значение.

> «Условия современности, волнующие общество, — говорил он в лекциях 1906 г., — идеи и явления, наполняя жизнь человека и влияя на его деятельность, не могут не отразиться и на направлении научного исследования, особенно там, где ученому приходится иметь дело не с абстрактными отвлеченностями, не с природой как объектом изучения, а с живой жизнью, с людьми и с обществом в их настоящем и прошлом. Как бы ни был силен интеллект и критическое чутье социолога и особенно историка, он дитя своего времени и его неминуемо волнует и интересует сложная жизнь современности... И так как жизнь непрерывна, как время, то для него не может быть принципиального различия между далеким и близким прошлым, между тем, что было вчера и что случилось сотни или тысячи лет тому назад. Эпохи для него только вехи, которыми он отмечает в своем сознании кардинальные исторические явления, вехи, которые не всегда помогают, а часто мешают ясной формулировке и ясному сознанию проблем эволюции человеческого бытия...
>
> На этом основана вся идея истинно всеобщей истории, которая повзоляет себе прерывать исследование реально там, где не хватает сил интеллекта или знания отдельных исследователей, но не позволяет им ставить грани там, где есть только вехи».

Он использует эту сентенцию не для оправдания пристрастности и необъективности, а для объяснения значимости античности для современного человека, ее родственности современным проблемам. «И так как эволюция в ее основных чертах и в античности, и в современности была одинакова, то каждая эпоха выделяла и отмечала в античностии то, что стояло в центре ее сознания... Перешедшая в субстрат античность оживала в сознании как целое, принимая неминуемо известную окраску современности...» (Зуев 1997: 61).

Конечно, в этой методологической установке молодого ученого налицо упор на принципы универсализма и актуализма при явной недооценке принципа историзма, но его извлечение из этой односторонней установки, надо признать, не страдает крайностью. Его историческое чутье позволяло ему этого избежать, как только дело доходило до конкретного исследования.

На какие же злободневные вопросы ожидал от истории ответа он сам?

Еще в годы первой русской революции Ростовцев вступил в «Партию народной свободы», называемую конституционно-демократической, или кадетской. Партия эта характеризуется в марксистской историографии как буржуазная, но для царя кадеты были главными

противниками — они требовали конституции и демократических свобод. В ожидании свобод жил и Ростовцев, а пока он находил ростки свободы в университетской жизни, в ее автономии, где профессора с их выборными ректором и деканами не были начальниками.

> «Принцип академической свободы, — писал он в 1921 г., — был один из наших главных лозунгов. Профессора давали советы студентам, рекомендовали им тот или другой учебный план, указывали, на каких условиях они готовы признать студентов людьми, закончившими свое высшее образование, и это было всё. Вне этого студенты, которых мы считали взрослыми людьми, были свободны распоряжаться собою, своим временем и занятиями как хотят. Мы всегда настаивали на том, что вся частная и политическая жизнь студентов не наше дело. <...> Таковы были наши идеалы» (Ростовцев 2002: 97).

Царское правительство всё время стремилось урезать автономию университетов, а либеральная профессура отстаивала принцип академической свободы и боролась за распространение свобод на всю политическую жизнь. Как это вязалось с интересом Ростовцева к социально-экономическому развитию? В демократизации жизни по западно-европейскому образцу он видел перспективы снятия ограничений для развития экономики и цивилизации. Он был безусловным западником — человеком, ориентирующимся на стиль и нормы европейской культуры.

Это проявлялось и в его личной жизни. Женившись в 1901 г. на С. М. Кульчицкой, он два года прожил в богатом доме родителей жены, а потом они завели свою собственную квартиру неподалеку от Зимнего дворца (на Большой Морской), с прислугой, журфиксами и постоянным посещением театров и концертов. В доме у них бывали люди, составлявшие цвет петербургской культуры — писатели и поэты (Бунин, Куприн, Мережковский, Блок, Вяч. Иванов, Белый, Мандельштам, Кузмин, Бальмонт), художники (Бакст, Сомов, Добужинский, Нестеров), музыканты (Рахманинов, Глазунов, Шаляпин), политики (Милюков, Набоков-отец и др.), разумеется, философы и ученые (Бердяев, Бобринский, Марр, Шахматов и т. д.). При всем том Ростовцев очень интенсивно работал — по 10–11 часов в день.

В ходе революционного кризиса 1905–1907 гг. Ростовцев всё больше уклонялся в сторону консервативного крыла кадетской партии, чью идеологию отражал сборник «Вехи». Эти политики считали, что конституция уже достигнута и дальнейшее ослабление государственной власти опасно. Ростовцев разошелся во взглядах со своим

другом Милюковым — лидером более радикального крыла кадетов, призывавшим к дальнейшей либерализации и борьбе с царским режимом. Ростовцев же с опаской наблюдал рост влияния более левых партий — эсеров и социал-демократов. Он боялся, что дальнейшее расширение избирательных прав приведет к засилью диких и бескультурных российских низов, а новая революция — к резне, мужицкому разбою и гибели культуры. Он всё больше сближался с властями: в 1910–1912 гг. помогал великому князю Константину Константиновичу (президенту Академии наук и поэту К. Р.) в работе над драмой о Христе «Царь Иудейский», в 1913 г. показывал царю памятники Херсонеса в Крыму.

По сообщению Бобринского (письмо Фармаковскому), на палящем солнце свита была в мундирах, при лентах и звездах, лица генералов «обратились в нечто багрово-красное и апоплексическое». «Конституционист-либерал-профессор приехал в соломенной шляпе и пиджаке <...> Усерднейше показывал, доказывал, объяснял, предлагал таблицы будущего издания и стоял под зноем без шляпы до того, что Государь двуекратно просил его покрыться» (Зуев 1997: 67).

4. «Скифский роман». Издатели монументального тома, посвященного Ростовцеву (СР), 1997, поставили на титульном листе название небольшой статьи Ростовцева, в которой он писал о приключениях Анахарсиса. Ростовцев взял в кавычки слово «скифский», подчеркивая, что роман-то не совсем скифский — это греки сложили легенду о неиспорченном цивилизацией скифе. Современные же издатели тома использовали это словосочетание для обозначения судьбы ученого, специалиста по скифам, вынужденного эмигрировать и скитаться, как Анахарсис. Но больше, кажется, ничто не сближает сугубо цивилизованного Ростовцева со скифским шаманом-мудрецом. Мне представляется, что в жизни Ростовцева «скифский роман» действительно занял важное место, но как роман со Скифией, в которую ученый, специализировавшийся первоначально на римской экономике, влюбился и посвятил ей остаток своей жизни в России.

Интерес перемещался постепенно. Сначала молодой ученый, хорошо знающий помпеянские росписи и из первых рук знакомый с теорией четырех стилей Августа Мау, естественно, увлекся росписями крымских античных склепов, опубликовал две заметки о них (в 1897 и 1906 гг.). В 1911–1912 гг. взялся за них вплотную, и в 1914 г. вышел его большой том (Известия Археологической комиссии за 1913 г.) — «Античная декоративная живопись на юге России». Он всё глубже

М. И. Ростовцев
в своем кабинете

входил в историю и памятники Боспорского царства и его взаимоотношений со скифами. К этому его влекло не только открытие всё новых памятников на Юге России, а открывались действительно богатейшие сокровища — Келермесский курган на Кубани в 1903–1904 гг., Частые курганы под Воронежем в 1910 –1915 гг., Лемешев курган в 1911 г., знаменитая Солоха в 1912–1913 гг. В 1916 г. Ростовцев и сам принял участие в раскопках Мордвиновских курганов под Херсоном. К скифской культуре его влекли и размышления над судьбами страны.

Конституция была получена, создано нечто типа парламента (Государственная Дума), но гражданского мира не наступило. Подавив революцию, царское правительство сводило на нет сделанные во время революции уступки и компромисы. Интеллигенция оставалась очень далека от народа, от крестьянства, которое туго поддавалось европейскому просвещению, городской культуре. Крестьянство разрывалось между надеждой на царя и анархистским бунтарством (эсеры), которое очень пугало Ростовцева. Столыпин, который пытался перестроить Россию экономическими реформами, был в 1911 г. убит, и реформы пресеклись. *Почему же то, что удалось в Европе, так туго шло в России?*

Верный своему принципу, Ростовцев обращался за пониманием к изучению исторических традиций страны, к древнему ее прошлому, к «античному субстрату». Однако обогащенный новым политическим опытом, он начинал думать, что аналогии современности надо искать не в экономике (он же «не материалист в истории, вовсе нет»), а в этническом составе населения страны. По своему культурному прошлому это была не чисто европейская страна. В ней античная цивилизация, основанная на греческих корнях, издавна сопрягалась с другой, восточной. Ростовцев определил ее как иранскую кочевническую (восточные — иудейские и митраистские — корни

в христианской традиции Ростовцев знал, но в этом рассуждении игнорировал). Идею, что из скрещивания двух культур возникает новая культура (я называю это *комбинационизмом*), Ростовцев воспринял от своего учителя Кондакова. Конечно, Ростовцев был далек от декларации Блока «Да, скифы мы, да, азиаты мы», он понимал, что скифы и сарматы были ираноязычными, а славяне представляли другую ветвь индоевропейцев, но он придавал большое значение скифскому, иранскому субстрату в сложении политических и культурных традиций населения, вошедшего впоследствии в Киевскую Русь.

Сложившуюся концепцию о скрещении эллинства с иранством в подоснове Южной России Ростовцев изложил сначала в своем докладе в 1912 г. на Лондонском конгрессе историков «Иранство и ионийство в Южной России» (доклад издан на английском в Петербурге), затем уже в годы Гражданской войны в книжке на русском «Эллинство и иранство на Юге России» (в 1918 г.) и, наконец, снова на английском в Оксфорде — «Иранцы и греки в Южной России» (в 1922).

По Ростовцеву, с восточной составляющей в культуру Южной России вошла традиция тиранической царской власти, опирающейся на идею о божественном статусе царя. В 1913 г. это представление было изложено в большой работе «Представление о монархической власти в Скифии и на Боспоре». Боспорское царство получало особую роль как форпост столкновения и взаимодействия эллинства с иранским миром — это отмечено в работе «Научное значение истории Боспорского царства» в сборнике 1914 г. в честь Кареева. Ростовцев изучил стереотипные изображения скифского всадника, показав на обширном сравнительном материале, что это инвеститура царя, его благословение восседающим на коне богом — ритуал, занимавший важное место в государственной жизни не только Скифии, но и Боспорского царства. Наиболее четкое выражение этот вывод об инвеституре получил в статье «Иранский конный бог и юг России», опубликованной в 1926 г. в сборнике в честь Жебелёва (расширенное издание — в следующем году в статье «Бог-всадник на юге России, в Индо-Скифии и в Китае» в трудах кондаковского семинара).

Начиная с 1910 г. Ростовцев изучал Боспорское царство как государственное объединение эллинистического типа, то есть совмещающее в себе черты эллинской и восточной культур. Одновременно он изучал историю и памятники Скифии. В самый разгар этих размышлений и разработок в 1913 г. в Кембридже вышла монументальная книга Эллиса Миннза «Скифы и греки» с подзаголовком «Обзор древней истории и археологии Северного Причерноморья от Дуная до

Кавказа». Миннз был английским учеником Кондакова, проведшим три года в России. Ростовцев был явно уязвлен, что англичанин его опередил. Немедленно, в том же году, он напечатал весьма пространную рецензию на эту книгу, в которой хотя и признал заслуги автора в создании полной сводки данных, но не преминул отметить несамостоятельность и компилятивность работы, поверхностность (Миннз воспринимал сифскую культуру как однородную) и недостаточность сравнительного материала — как восточного, так греко-ионийского. Но оба исследователя не поссорились, а остались друзьями и всю жизнь поддерживали друг друга.

Во всяком случае выход книги Миннза подстегнул Ростовцева к завершению той огромной работы, которую он проводил. Тема была «Исследования по истории Скифии и Боспорского царства». В 1914 г. Ростовцев приступал к написанию текста этого фундаментального труда, в котором он планировал два тома — анализ источников (письменных и археологических) и изложение истории. Этот второй том он написал, но по-немецки, так как планировал издать его в Германии и даже успел отослать туда. Начавшаяся война с Германией перечеркнула эти планы. Ростовцев стал готовить издание на русском языке. В 1917 г. в документах Академии наук оба тома фигурируют как подготовленные к печати, но еще не сданные в типографию. Сдать их не успели: началась революция. Судьба рукописей, самого автора и всей страны резко переменилась. Революционная буря раскидала рукописи (некоторые, как готовый корпус античных монет, исчезли, другие были затеряны надолго), и коллег (некоторые погибли, другие оказались по разные стороны границ), и автора (начались его скитания по свету).

Но перед самым отъездом из России он успел сдать в печать небольшую статью «Фасад России», в которой подвел итог своим извлечениям из истории Рима и России, своим размышлениям о причинах неудачи попытки цивилизовать Россию. Дворцы и набережные Петербурга, могучая литература, чудесная музыка — это всё лишь блестящий и показной фасад России. За ним скрывалась наскоро и наспех возведенная постройка, хаотически выросшая и покоящаяся на зыбком фундаменте. Ростовцев отвергает как «слепую веру в фетиш народа», так и «самобичевание». «Не в расе и не в свойствах русского ума дело, а в условиях роста русского общества, в психологии народа, выросшей из этих условий, в недавнем его прошлом». Внешняя образованность соединяется у нас с невежеством в основах дела, с ненавистью к своему делу, к своей профессии.

> «Гимназист ненавидит школу, учитель в огромной массе — свой класс, чиновник — свою канцелярию, приказчик — свой магазин, даже врач — своих больных. Ненависть отчасти потому, что своего дела не знает, что не хочет быть виртуозом своего ремесла. Для него обыденная работа есть барщина, *corvee*, понятие, как припоминает читатель, в недрах крепостного права. Поэтому мы все ленивы и не любим труда, работаем порывами и запоем, когда нужда приспичит, а не систематически и регулярно». Мы всё делаем из-под палки. «По указке сверху и по указанию свыше, которые можно затем ругать и поносить, как кандалы, но кандалы удобные. Свобода, научное миросозерцание — всё это требует упорства воли и большой сознательной силы. Палка и рабство — самая удобная форма быта для всех слабых и безвольных».

Вся беда в наследии крепостничества, засевшем в психологии народа.

> «Крепостничество не есть рабство. Раб был когда-то свободным, и состояние рабства есть состояние временное. Крепостной — по видимости свободный человек, имеет как будто и свое поле, и стада, он связан с целой группой таких же крепостных, как и он сам, и они все служат, связанные круговой порукой, другому, в конце концов государству... У крепостного нет собственности и нет любви к ней... Гражданственность, понятие свободы, понятие родины родилось не в мире крепостничества, а в мире мелкой индивидуальной собственности, не на Востоке с его царством абсолютизма, теократии и потенцированной государственности, а в Греции и Италии...» (СР: 75–76).

5. Академик в политике. Поэтому Февральскую революцию, высвободившую *такой* народ, Ростовцев встретил с тревогой и опаской. Правда, именно в 1917 г. 48-летнего ученого избрали в академики, но события в стране затмевали торжество. Нет, он не сожалел о падении самодержавия. В статье 1917 г. «Наука и революция» он признавал, что «наука всегда была чужда официальной России, что в составе русского государства она была только терпима». Он писал о «стеснениях свободы научного творчества и научного обучения, державшего в постоянных тисках русскую научную мысль как раз там, где проявлялась наибольшая сила ее творчества в вопросах религии, в области философии, в сфере политических и экономических наук». Ростовцев вопрошал: «Что несет революция русской науке? Освобождение от тисков старой государственности...?» (Ростовцев 2002: 25, 29).

От предложения Милюкова войти в состав временного правительства он отказался. Решил посмотреть, куда эта машина повернет, учитывая что и Милюкова-то он считал слишком радикальным, а в правительстве были ведь фигуры и более радикальные. Еще больше его беспокоили настроения масс. В апреле он съездил на отдых в Финляндию и был на Финляндском вокзале как раз при въезде Ленина в Петроград. В 1926 г. Ростовцев язвительно вспоминает:

> «Забавное совпадение: как раз в момент прибытия Ленина у меня украли бумажник и паспорт. Как только Ленин вернулся в Россию, по всей стране стала разворачиваться страшнейшая пропаганда: лозунг был "грабь грабителей". Я прекрасно понял, кого Ленин имел в виду в своей речи, произнесенной с балкона особняка г-жи Кшесинской. Одним из этих ужасных грабителей был я, хоть в жизни своей никого не ограбил, а Ленин в прошлом уже организовал сотни убийств и разбойных нападений» (Зуев 1997: 73).

Наблюдая развернувшиеся в Петрограде события, нерешительность Керенского (его бывшего студента) перед лицом большевистского заговора, Ростовцев с сокрушением и страстью взялся за анализ агонии республиканского Рима в Гражданской войне. Он показывал губительность втягивания армии, сформированной из низов, в политику (Фролов 2004: 37). Так похоже! Такие уроки истории — и так втуне! Серия очерков «Рождение Римской империи. Сто лет гражданских войн» публиковалась в журнале «Вестник Европы» (потом они вышли отдельной книгой). Зуев верно сформулировал силу исторической аналогии Ростовцева, говоря, что

> «не только разрушительную силу угадывал в восставшем пролетариате ученый. Организованный беспринципными политиками <...>, восставший пролетариат был опасен государству, развитому обществу и культуре России именно как среда, которая с течением времени была способна породить новые формы социума, более деспотичные и грубые по своей природе, чем монархическая власть. В этом ученого убеждал сравнительный анализ итогов гражданской войны в Римской республике, приведшей к появлению феномена принципата» (Зуев 1997: 74).

Всё было даже более похоже, чем Ростовцев тогда представлял: ведь из Гражданской войны и военного коммунизма в России вышла в конце концов империя Сталина!

Ростовцев ввязался в борьбу. Он прибыл представителем Академии наук на Всероссийское совещание перед выборами Учредительного собрания.

> «Улицы Москвы заполнила озлобленная толпа. Большевики организовали всеобщую стачку. Депутаты пробирались по запруженным людьми улицам, выслушивая угрозы и проклятья. И в театре, где проходило собрание, не было ни проблеска света. Знаменитая историческая речь Керенского произвела на меня гнетущее впечатление; достойная, превосходная речь Корнилова не принесла облегчения и сделала ситуацию еще более напряженной. <...> Вместо того чтобы поддержать последнюю попытку Корнилова спасти Россию, правительство вызвало большевистских вождей из тюрем и в сущности развязало им руки...» (Зуев 1997: 73).

Он был явно на стороне Корнилова. По воспоминаниям графа Зубова, перед самым Октябрьским переворотом, когда все пророчествовали большевикам, что если они и захватят власть, то удержатся недолго — кто давал им три недели, кто три месяца, — Михаил Иванович, отягощенный своим историческим знанием, сказал: «Большевикам захват удастся, они останутся очень долго и наделают много вреда» (Зуев 1997: 83, прим. 164).

О возможности этого вреда он и писал в цитированной выше статье «Наука и революция», написанной перед самым переворотом.

> «Но пришли дни великой печали, — констатировал Ростовцев. — Во всем строе общества и государства вскрылась и обозначилась с потрясающей реальностью пропасть, разделяющая мыслящую интеллигенцию от народных масс, в которых материальные инстинкты и животные интересы заглушили и чувство любви к родине, и сознание великого культурного единства всей России. Неожиданный успех нашла проповедь узких и слепых теоретиков, выбросивших за борт всё культурное прошлое России, весь пройденный ею путь, и пытающихся на развалинах интеллигентной России, которую не сумело задушить самодержавие одного, построить самодержавие наименее культурных слоев — крестьян, батраков и рабочих».

Ростовцев был против разрушения государственности, потому что «нормальное развитие науки, в современных условиях, возможно только в рамках сильной и свободной государственности» (Ростовцев 2002: 29, 31). На призывы ленинцев сначала сделать Россию грамотной, разрешить социальные и экономические вопросы, а уж

тогда развивать науку Ростовцев отвечал: «Это глубокое и коренное заблуждение. Нам нужна не грамотная Россия, а Россия культурная» (с. 38). Тут был резон. Неслучайно после тщетных попыток построить коммунистическое общество Ленин пришел к выводу о невозможности создать его в полудикой стране с холопским населением и провозгласил лозунг культурной революции.

Таким врагом совдепов, убежденным корниловцем, Ростовцев встретил победу большевиков и установление советской власти.

В конце 1918 г. Ростовцев выступал с более конкретной и целенаправленной критикой большевизма. В рукописи статьи (неясно, где она была напечатана) «Практика и цели большевизма» он описывает бедствия интеллигенции при советской власти. Отобрав дома, земли и деньги, большевики обложили «тех, кого они обворовали», контрибуцией, берут жен и детей заложниками. В частные квартиры на постой вселяют красногвардейцев — «самых развращенных и грязных элементов общества». Интеллигенция вынуждена продавать имущество. «Я могу назвать профессоров-медиков, которых заставляли чистить навоз в казармах...» (Ростовцев 2002: 42–43). Это всё, так сказать, омерзение на бытовом уровне.

В статье «Мировой большевизм» того же времени критика более широкая и социально-политическая. «Большевики в России уже выкинули красное, кровавое знамя социальной революции, знамя разрушения и пожара, знамя непрекращающейся гражданской войны — войны всех против всех. Изъян этой войны — уничтожение буржуазии и тесно связанной с нею европейской культуры. <...> Знамя большевизма призывает к уничтожению одного класса другим, оно стремится внести разлад в каждую семью, в каждую общественную группу... “Грабьте награбленное”, — твердили большевики в России, массы необычайно быстро и легко это усвоили» (Ростовцев 2002: 55–56, 58).

Автор констатирует результат: «Гражданская свобода попрана, личной свободы нет и в помине, царят произвол, тирания, бюрократия. Россия ничего не производит и еле живет остатками того, что накоплено было раньше... В России казнят теперь уже даже не за действия, а за слова; скоро будут казнить за мысли, неугодные и неприятные большевизму» (с. 56). В статье «Большевистская Россия и культурное человечество» Ростовцев (2002: 76–78) отмечает «порабощение всего населения, прикрепление людей, как в эпоху восточных монархий поздней Римской империи и Средних веков, к их делу, к их профессии под эгидой армии чиновников, массы явной и тайной полиции

и системы террора, поддерживаемой невиданной в мире организацией шпионажа». Он с ужасом и отвращением описывает черты военного коммунизма: приказ Троцкого «о милитаризации труда и прикреплении всех рабочих к месту их постоянных занятий, без права перехода и оставления службы или работы»; описывает замену паспортов трудовыми книжками, в которых отмечалось выполнение заданий, а люди без книжек или этих отметок ловились и отправлялись в концентрационные лагеря; опоздание на 10 минут карается неделей общественных работ (пилкой дров, разгрузкой баржей), на 20 минут — 3 неделями.

Университеты возвращены во времена Николая I (это статья 1921 г. «Университеты и большевики»): автономия упразднена, всем заправляют назначеные ректоры и деканы, жестко проводящие волю комиссара народного просвещения; образование приобрело сугубо професиональный характер натаскивания на ремесло; введено «общеобязательное для всех студентов новое "богословие" коммунистов — заучивание принципов марксистского социализма, — писал Ростовцев в статье "Университеты и большевики". — Не видят, слепцы, что то, что убило религию в русской интеллигенции, была именно мертвая догма казенного богословия, на которое ходили "по наряду". По наряду будут ходить на большевистские курсы "марксословия"... Неужели мы действительно идем к тому, что было одним из симптомов падения и вырождения творчества в античном мире — к подмене научного воспитания профессиональной выучкой, для всех обязательной и для всех равной?» (Ростовцев 2002: 98).

Ростовцев боролся изо всех сил. В партии кадетов он был членом комиссии, заправлявшей партийной типографией; в газетах появлялись его острые антибольшевистские статьи (процитированные здесь опубликованы в сборнике 2002 г. большей частью по рукописям, сами публикации пока не найдены, но другие аналогичные известны — «Мировой большевизм» 1918 г., «"Пролетарская культура" в большевистской России» 1919 г., «Большевистское правление. Что оно означает для культуры» 1919 г. и др. в ряде иностранных газет).

Сам он бедствовал, как и другие. Об этом времени он позже вспоминал:

> «голод, который начался давно, еще с первых подвигов большевиков, усиливался и усиливался. Я проводил дни в поисках пропитания, а по ночам писал книги и сторожил с револьвером в кармане наш дом от грабителей и воров. Ждал, что большевики придут и арестуют меня. После того как я отклонил

предложение сотрудничать с ними, мой арест был лишь делом времени» (Зуев 1997: 74).

Ростовцев, не раз бывавший за границей, решил, что нужно уезжать. Он обратился в Швецию к Оскару Монтелиусу, и тот выслал ему приглашение. Ростовцев оформил научную командировку от Академии наук и Университета. На корабль он сел с супругой, но уезжали налегке. Оставил всё имущество и главное — любовно собиравшуюся библиотеку и все рукописи, выписки, конспекты. Историографы спорят, понимал ли он, что это эмиграция, или не собирался уезжать насовсем, надеялся вернуться. Ясно лишь, что он понимал: уезжает очень надолго — все его высказывания показывают, что он не верил в скорое падение большевиков. Но, возможно, надеялся, что власть их падет еще при его жизни, а может быть, не вполне понимал, какую изоляцию России они установят. Да и не было возможности погрузить все бумаги, ведь тогда характер отъезда стал бы ясен.

Корабль отплывал 30 июня 1918 г. По воспоминаниям присутствовавшего при прощании Н. Н. Пунина (он был тогда комиссаром по делам искусств, а воспоминания делал уже в лагере), последними словами Ростовцева провожающим были: «Оставайтесь, если можете. Будьте рабами. Но не становитесь лакеями» (Зуев 1997: 75). Как мы помним, рабство он считал еще не самым худшим положением.

6. «Парфянский выстрел». Это название поздней работы Ростовцева о всаднике, стреляющем с коня из лука назад, современные издатели использовали для второго крупного тома работ о Ростовцеве. Оно как нельзя лучше подходит к обозначению того периода, когда он покинул Россию и, двигаясь всё дальше на Запад, еще продолжал долго обстреливать большевистскую власть, как одинокий парфянский всадник.

Из Швеции Ростовцев перебрался в Англию и временами посещал Францию. Цитированные в предшествующем разделе статьи «Практика и цели большевизма», «Мировой большевизм», «Большевистское правление», «Большевики и культура» были напечатаны в иностранных газетах (английских и эмигрантских) уже после его отъезда, так же как «Мученики науки в советской России» и спор с профессором Бехтеревым, призывавшим эмигрировавших ученых вернуться. Призывал к этому в личных письмах и академик Марр, нашедший общий язык с большевиками. В 1921 г. Ростовцев отвечал Марру: «Для себя я решил, что мое пребывание в большевистской России бесполезно. Решил раз и навсегда, и на том стою. <...> Жизнь

эмигранта несладка, но я предпочитаю эту жизнь» (Тункина 1997: 94). Тогда Ростовцев еще не знал, насколько Марр пришелся ко двору новым властям. Когда узнал, прекратил общение. Приехав во Францию в командировку, Марр дважды письменно извещал Ростовцева о желании посетить его, но, придя, не застал его дома.

Вместе с Ариадной Тырковой-Уильямс в начале 1919 г. Ростовцев организовал в Англии белоэмигрантский Комитет Освобождения России, который занялся объединением усилий русских и прежде всего союзнических организаций по борьбе с советской властью. В Комитет входили Милюков, Петр Струве, В. Д. Набоков и др. Комитет издавал газету, установил связь с правительством Колчака, с белыми властями Архангельска. Ростовцев печаловался промашками Юденича, Деникина, а потом и Врангеля. Одна за другой все эти силы терпели поражение. После развитой им активности думать о возвращении в советскую Россию было бы глупо. С Тырковой он еще рассуждал о возможности когда-нибудь вернуться в освобожденную Россию, но Бунину в 1920 г. сказал: «В Россию? Никогда не попадем. Здесь умрем». И добавил, что те, кто надеется, плохо помнят историю. Конечно, с точки зрения истории, можно сказать «не прошло и 25 лет, как...». «Вот и у нас будет так же. Не пройдет и 25 лет, как падут большевики, а может быть, и 50, — но для нас с вами, Иван Алексеевич, это вечность» (Тункина 1997: 93). Большевики удержались 70 лет. Ростовцев и Бунин не дожили.

Обстреливал теперь Ростовцев и те позиции, которые занимал сам раньше. Сменив кадетско-либеральную ориентацию на корниловскую и колчаковскую, он, сотрудничавший в «Еврейской энциклопедии» и друживший со многими евреями (кадетами Винавером и Гессеном, учеными и музыкантами), проникся и странным для либерала яростным антисемитизмом — настолько был поражен обилием евреев среди верхушки большевиков. В 1920 г. писал Тырковой-Уильямс: «Одного только жду с нетерпением, когда же большевики начнут друг друга есть. Ведь и русские жиды на это мастаки, и даже в разбойничьих шайках все в конце концов должны перессориться друг с другом и друг друга истребить. Но что-то и на это плоха надежда» (Бонгард-Левин и Тункина 1997: 482). Да он и русский народ не жаловал. В 1922 г. писал Кондакову:

> «Надежды на возвращение в Россию становится всё меньше и меньше. Наступает затяжной период, после периода острой борьбы, когда в России изжившее себя и ненавидимое правительство будет существовать по инерции, по неспособности

> русского народа самому устраивать свои дела и по его привычке подчиняться и примиряться с тем, у кого в руках палка. <...> В конце концов большевики, насосавшись, перестанут быть большевиками, агитаторами, революционерами, а просто сделаются жидовским, хищным, развращенным правительством России. После власти Романовых будет в России власть жидов, которые и будут разворовывать Россию под выцветшим, грязным, чисто формальным, словесным флагом социализма... Очень рад, что Вы едете в Прагу. Там всё-таки ближе к науке и цивилизации. Одно плохо, что и там засилье революционного жидовья, на этот раз социалистов-революционеров. Разницы между ними и большевиками мало. Но всё-таки там есть закваска немецкого научного духа» (Бонгард-Левин и др. 1997: 452).

При этом в быту оставался вполне цивилизованным, терпимым и интеллигентным человеком, который продолжал общаться с евреями в отдельности (например, с писателем Алдановым) и помогать своим еврейским ученикам (вытянул Бикермана в Америку). Васильеву пишет в 1927 г. об итальянском психологе Ломброзо: «Славный был старик. Жидовского происхождения, но очень милый» (СР: 269).

Разумеется, он не оставлял научную и преподавательскую деятельность. С преподавания кормился. Читал лекции то в Оксфордском университете, то в Париже, в Коллеж де Франс. Понимал, что устроиться на постоянную работу, как с горечью писал он по-русски Миннзу,

> «надежды мало. Наш брат ученый мало кому нужен. То, что мы знаем, так неважно для демократического государства, что оно даже не знает, стоит ли кормить своих ученых, и где уж тут думать о чужих. Пусть дохнут с голоду, если не могут делать чего-нибудь более "полезного". Времена, когда носились с Эразмом, прошли, теперь и *Einstein* невысоко котируется, а уж нашему брату, адепту "чистой" науки, грош цена. Ну да что об этом говорить. Всегда так было и всегда будет. Будем вести жизнь странствующего лектора, пока еще за это платят» (СР: 132).

Дело не только в общей послевоенной обстановке и даже не только в том, что его английский был на первых порах не очень понятен студентам. Эмигранту вообще тяжело.

> «Я не могу пожаловаться на англичан, — писал Ростовцев. — Почестей и симпатий сколько угодно. Но насчет денег — это разговор другой. Впрочем, я их понимаю. Воображаю, как бы скрежетали зубами молодые ученые в России, если бы вдруг

приехал иностранец и стал претендовать на кафедру, на которую они нацелились. Так же и здесь» (СР: 137).

Из того, что зарабатывал лекциями, приходилось еще и помогать родственникам и друзьям. Еще сложнее было с научной работой. Ведь черновики и собранные материалы оставались в России. Даже новые материалы собирать по освоенным темам вне России было практически невозможно или доступно только жалкими клочками.

Я хорошо понимаю эту ситуацию: сам был в такой. Когда меня арестовали в 1981 г., я думал, что на родине мне уже не дадут работать, и успел передать друзьям, чтобы вывозили за границу мой архив и библиотеку. Это друзья и сделали, используя иностранных студентов, уезжавших домой. Когда же я вышел из лагеря, то оценил возможности своего восстановления на родине более оптимистично. Но вся моя личная картотека (80 тысяч карточек библиографии и материалов) и часть библиотеки были вывезены. Сбор нужно было начинать сначала. Пришлось сменить специализацию — с археологии переключиться на гомероведение и этнологию. А картотека едва не погибла, возвращалась по частям и полностью вернулась только через десять лет.

Поэтому я чувствую, в каком катастрофическом положении Ростовцев был в Англии. По крохам он восстановил и расширил свою работу об эллинстве и иранстве, и в 1922 г. в Оксфорде вышла на английском его не очень толстая книга с минимумом сносок «Эллинство и иранство в Южной России». Его главный труд о Скифии и Боспоре остался в России, без надежды на то, что его когда-нибудь опубликуют. Но чудо произошло. В 1918 г. В. В. Латышев и Б. В. Фармаковский стали готовить труды уехавшего в командировку ученого — «Исследования по истории Скифии и Боспорского царства» и атлас «Памятники Скифии и Боспора» к публикации, получив на это от Академии наук ассигнования, продолжили эту работу и в 1919 г. В 1921 г. Латышев умер, в связи с чем работа была приостановлена. К этому времени было уже ясно, что Ростовцев не вернется, что он белоэмигрант и враг советской власти. В 1920 г. была опубликована в эмигрантской газете «Современные записки» статья Ростовцева «Поминки». В ней были перечислены виднейшие ученые, умершие с голода и покончившие с собой, расстрелянные и бежавшие — Радлов и Смирнов, Лаппо-Данилевский и Иностранцев, Дьяконов и Шахматов...

«Десятки имен, одно крупнее другого... Париями они были при старом режиме, париями остались в большевистском рае. <...> Но нужно отдать справедливость старому режиму: он не был другом профессоров <...>, но он не доходил никогда до тех геркулесовых столбов произвола и угнетения, до которых так

легко дошли большевистские комиссары. <...> Никогда не ломали школу так нагло, невежественно и варварски, как в эпоху просвещеного диктаторства Луначарского» (Тункина 1997: 93).

Луначарский был ленинским наркомом просвещения и ведал наукой и созданием пролетарской культуры. По иронии судьбы он был двоюродным братом Ростовцева. Раскол мира прошел по семье...

Но в 1924 г. Марр, к этому времени возглавлявший советскую археологию, ходатайствовал перед Академией наук о возобновлении работы по изданию труда Ростовцева, дело было поручено академику С. И. Жебелёву. Все эти академики проявили гражданское мужество, а может быть, и не вполне еще понимали, какая яростная политизация надвигается на науку. В 1925 г. один том Ростовцева под названием «Скифия и Боспор. Критическое обозрение памятников литературных и археологических» вышел в свет в Ленинграде! Еще через год Ростовцев принял заочно участие в ленинградском сборнике в честь Жебелёва, но этот сборник вышел только в 4 экземплярах на пишущей машинке.

Жебелёв поплатился через несколько лет по ничтожному поводу. В сборнике памяти Я. И. Смирнова, изданном кондаковским семинаром в Праге в 1928 г., были помещены статьи друзей умершего — Жебелёва и Ростовцева. Жебелёв констатировал, что Смирнов скончался в 1918 г., «когда у нас началось уже лихолетье», и назвал Ростовцева своим и Смирнова «другом и соратником». Вместе с Жебелёвым в сборнике участвовало еще 14 советских ученых. Ударили именно по Жебелёву. Статью расценили как «политический выпад против СССР», в газетах началась свистопляска. Многие требовали исключить Жебелёва из Академии наук. «Дело академика Жебелёва», «Антисоветская работа под флагом науки», «Отпор притаившимся» — таковы были названия статей. Жебелёв под диктовку написал покаянное письмо и отрекся от дружбы с Ростовцевым. Его оставили академиком.

В «Красной газете» появился фельетон «Влюбленные антропосы» крикливого партийного публициста Д. Заславского (еще четверть века спустя я, участвуя в дискуссии по языкознанию, проходил в редакции «Правды» мимо его именного кабинета). Заславский отвергал обвинения в притеснениях классицистов («антропосов, влюбленных в греческий язык»): за пять лет «лихолетья» антропос Жебелёв опубликовал семь книг, а «академик Ростовцев, упокоющийся ныне в лоне эмигрантовом, книжицу, ни много ни мало в 621 стр., под названием "Скифия и Боспор"». Фельетон выражал негодование либерализмом

Президиума Академии наук: «Он удовлетворился конфузным лепетом академика. Академик Жебелёв по-прежнему украшает собой Академию наук...» (Тункина 1997: 106).

Через несколько лет Жебелёв завоевал благосклонность советского руководства, сконструировав из скудных фрагментов о восстании Савмака «революцию рабов» в древнем Крыму. Но всю жизнь стыдился своего отречения и этой несолидной гипотезы. Ростовцев понимал вынужденость этих шагов. Именно после «дела Жебелёва» он утратил малейшую надежду на примирение и принял в 1929 г. американское гражданство.

7. Америка и Дура-Эуропос. В Америку он попал в 1920 г. после двух лет пребывания в Оксфорде (с периодическими выездами в Париж) и остался там на всю предстоявшую жизнь — почти на 33 года. Американские университеты были богаче, их было больше, чем в любой европейской стране, а кроме того, в них господствовал обычай часто менять места преподавания — и до сих пор так. Чтобы получить повышение, преподаватель выискивает объявления о вакансиях и выборах, затем, если повезет, покидает свой университет и переезжает в новый. Это не рассматривается как измена или как изгнание, а скорее как норма. Профессор Уэстермен, покидая провинциальный Висконсинский университет для устройства в более престижном Корнельском (штат Нью-Йорк), считал своим долгом порекомендовать в Мэдисон (Висконсин) кого-либо на свое место. На мирной конференции в Париже в 1919 г. он познакомился с Ростовцевым, оценил его значение и способности и, имея в виду перспективу своего ухода из Висконсина, стал продвигать кандидатуру Ростовцева в своей администрации. Переговоры и добывание визы заняли больше года, и в августе 1920 г. Михаил Иванович с супругой отплыли в Америку.

«Америка меня не поразила, — писал он Милюкову. — Большой, шумный, безвкусный Нью-Йорк ничего не говорит ни моему уму, ни моему сердцу» (Бонгард-Левин 1997: 154). Жизнь в американской провинции тем более не понравилась ученому, привыкшему быть в центре большой науки в таких столицах и научных центрах мира, как Петербург, Париж, Оксфорд, Рим, Берлин и Вена. В сентябре 1920 г. писал Тырковой: «Ложусь спать с надеждой не встать и встаю с отвращением. Перспектива профессорства в Америке меня нисколько не увлекает. <...> Как раз тогда, когда открывались перспективы широкой научной деятельности, возвращаться на положение учителя

гимназии нелегко» (Бонгард-Левин 1997: 155). Преподавание американским студентам он приравнивал (не без оснований) к русскому гимназическому. Тырковой он написал в 1922 г.:

> «Одна из главных задач теперешних демократических университетов с *coeducation* (совместным образованием) — это дать молодым людям приятный *state* (позицию), дать *have good time* (хорошо проводить время), а кстати и найти *good cookwife* (хорошую жену-кухарку)... При том некоторое количество знаний, нужных для будущей профессии, причем разницы между *degree* (степенью) в *housekeeping* (домоводстве), *agriculture* (сельском хозяйстве), делании мороженого (и такой департамент у нас есть) и настоящей наукой никакой не делается. Всё это сводится к самым элементарным знаниям в области математики, естественных наук, истории, литературы. И подготовка учителей та же» (СР: 488).

Кондакову еще добавил: «В этой дыре никаких книг не достанешь» (Бонгард-Левин 1957: 159). Однако он получал там неплохую зарплату (5000 долларов), всё растущую, выторговал себе право каждые несколько лет получать многомесячный оплачиваемый отпуск и отплывал на это время в Европу, где работал в крупнейших библиотеках. Сделал «Социальную и экономическую историю Римской империи». Он в сущности поменял специализацию. От дальнейшего изучения России пришлось отказаться. Зато на первый план всплыли проблемы социальной и экономической истории мира, потому что именно они волновали разрушенную послевоенную Европу, интересами которой всё еще жил Ростовцев.

Тем временем его благодетель Уэстермен покинул и Корнельский университет ради еще более престижного Колумбийского (город Нью-Йорк), и Корнельский университет предложил Ростовцеву место Уэстермена. Тут Висконсинский университет забеспокоился, Ростовцев очень хорошо себя зарекомендовал, и в Висконсине предложили ему всё, что давал Корнель, и еще больше. Зарплата выросла до 6500. Он остался. Но когда его пригласили в знаменитый Йельский университет (Нью-Хейвен, штат Коннектикут), этого предложения он уже не мог отвергнуть. Правда, Ростовцев поставил свои условия: зарплата не менее 8 тысяч долларов и каждый шестой семестр — свободный от занятий и оплачиваемый для поездки в Европу. Условия были приняты, и он переехал в Нью-Хейвен. Университет — крупный и богатый, в двух часах езды по дороге из Нью-Йорка в Бостон, вблизи от крупных американских научных центров и музеев. В нем

М. И. Ростовцев в США

работают знаменитые ученые, в том числе из России — социолог Питирим Сорокин.

В конце 20-х гг. США постигла тяжелейшая экономическая депрессия. Теперь уже и американцы живо заинтересовались проблемами социально-экономического развития, экономическими циклами, причинами подъемов и упадков. Тут и пригодилась первоначальная специализация Ростовцева на социальной и экономической истории Рима и с блеском проявилось его умение увязывать древнее прошлое со злободневными проблемами современности. Книги его по экономической истории выходили одна за другой и переводились на разные языки. Он стал чрезвычайно влиятельным и помогал своим младшим коллегам из России — византинисту Васильеву, историку древнего мира Бикерману и другим устроиться в американских университетах.

Ростовцев развернул не только свои штудии по социально-экономической истории. Он продолжил разрабатывать и свою концепцию скрещения культур как способа формирования новой культуры (комбинационизм). Только вместо античного Боспора он взял материал всего эллинистического и Римского мира, где скрещивались две цивилизации — восточная и греко-римская, а вместо раздираемой

межнациональными противоречиями России ему теперь внимала Северная Америка. Именно в это время в Америке получила особую популярность концепция «плавильного котла», в котором все прибывшие в США эмигранты разного этнического происхождения сплавляются в единую американскую нацию.

Престарелый немец Виламовиц-Мёллендорф гордился тем, что когда-то он верно предсказал молодому Ростовцеву блестящее будущее и что Ростовцев теперь действительно первый историк мира!

Ну, был ли он первым, можно спорить (Тойнби, Бродель и Кроче, вероятно, были всё-таки более влиятельными историками), но что он был в числе самых крупных, это несомненно. Ни один из названных не был одновременно и крупнейшим археологом, а Ростовцев был.

Да, он вспомнил и свои археологические занятия. В скрещении культур, с которым он имел дело в России, его больше всего занимали иранские племена скифы и сарматы. Для развития Южной России, как и для всего Востока, огромное значение, по Ростовцеву, имело влияние Персидской державы, особенно ее парфянского периода. Боспор на юге России представлял собой, по выражению Ростовцева, «малую Парфию». Ростовцеву повезло. Йельский университет направил его раскапывать небольшой город Парфянского царства на Евфрате, населенный некогда греками-македонцами и семитами. Это Дура, у греков Эуропос. Памятник уже копали французы, и на первых порах Ростовцев с большой командой присоединился к ним, сразу же став главой экспедиции. Раскопки продолжались 10 лет (1928–1938) и дали огромный материал по смешанной греко-восточной культуре. В 1933 г. сообщает по-русски Миннзу в своей антисемитской манере: «Читать, впрочем, я буду не о парфянском искусстве, а о жидовском. Наша последняя новость в Дуре — это открытие жидовской синагоги с поразительными фресками — иллюстрациями к Ветхому Завету» (СР: 318).

Отчеты о раскопках публиковались в 12 солидных томах, а Ростовцев написал обобщающие книги «Караванные города» (вышла в 1932) и «Дура Эуропос и ее искусство» (вышла в 1938 г.).

Начавшаяся в 1939 г. Вторая мировая война поначалу и не могла примирить Ростовцева с советской властью, поскольку Сталин был в начале войны на стороне немцев, Гитлера, помогал ему продовольствием и даже делил с ним Польшу и Финляндию. Ростовцев не симпатизировал и Гитлеру, хоть тот и исповедовал антисемитизм. Перед самым нападением Гитлера на СССР, в 1941 г., вышел трехтомный труд Ростовцева «Социальная и экономическая история

эллинистического мира». Работая над ней, он писал Тырковой, что долго не решался браться за это дело, потому что

> «о политике я могу сказать так же мало, как и о социальной и экономической истории эллинистического мира. Очертания здесь так же туманны, как и в книге. Одно мне кажется несомненным, что война ведется *in majorem* большевизма *gloriam* (к вящей славе большевизма). *Tertius gaudens* (третий радующийся) будет не столько Сталин, сколько большевизм, так как у него в руках кроме пушек, аэропланов, танков, [г]азов и т. д. есть еще оружие более смертельное: бацилла ненависти и зависти... Одно только вижу ясно и как историк своего прошлого и как наблюдатель современности: антиномию творчества и разрушения» (СР: 497).

Когда Гитлер напал на Россию и Англия, а затем и Соединенные Штаты объявили СССР своим союзником, Ростовцев был изумлен и отписал Турковой: «Следим за тем, что делается в России. <...> много неожиданного. Предвидеть не научились. Да и научиться этому нельзя». Он жаждал победы над немецкой оккупацией, но это не сделало его другом «Ленина сегодня».

Сам он уже начал чувствовать проявления наследственного (от матери) психического расстройства: приступы жестокой меланхолии и страха. Не получался и отдых. Тырковой пишет: «Кроме того, рабочая жизнь без перерыва, перенапряжение мозга атрофировали умение "играть". I don't know how to play (Я не умею играть)». Свой отдых на океанском островке описывает так: «Маленький отель с бостонцами и некоторым количеством (только терпимых) нью-йоркцев. Евреев не подпускают на пушечный выстрел. Тихо и довольно уютно» (СР: 499). Но в это самое время хлопотал о визе в Америку для любимого еврея Бикермана, застрявшего в побежденной Франции и жившего там под угрозой отправления в немецкий концлагерь. Профессору Джонсону:

М. И. Ростовцев с супругой в США в конце жизни

> «Прилагаю копию некоторых выдержек из письма Бикермана, только что мною полученного. Должен сказать, что читал его со слезами на глазах, ибо я отчасти несу ответственность за его затруднительное положение... Будем говорить прямо. Ему угрожает голод и концлагерь, и мы за это в ответе» (СР: 338).

Бикермана вытащили. Перевод его книги «Хронология древнего мира» сегодня на полке у каждого историка древнего мира.

В 1944 г. 74-летний Ростовцев оставил преподавание и вскоре тяжело заболел (опухоль мозга). Периодически впадал то в чрезвычайное возбуждение, то в депрессию. В приступе депрессии в сентябре 1944 г. написал своему любимому американскому ученику Брэду Уэллзу:

> «Всю жизнь я собирал и накапливал знания в своей области, пытаясь сопоставить и объяснить факты. Эти усилия выливались в книги, которые я теперь считаю абсолютно неудачными, надуманными, слишком общими, написанными на основе плохо усвоенного и недостаточно хорошо изученного материала. Таков итог моей научной деятельности. Десятилетиями меня считали выдающимся ученым, тогда как я был всего лишь шарлатаном» (СР: 566).

Такова была трагическая самооценка, которая терзала его в конце жизни. Страдал он также провалами памяти. Неоднократные операции, лечение электрошоком и долгие лежания в клиниках мало помогали. После лоботомии (трепанации черепа) он утратил важные функции рассудка. Ждал прихода Миннза, не понимая, что их разделяет океан. Страдания его окончились в 1952 г., когда ему шел 82-й год. Он родился в один год с Лениным, а умер за полгода до Сталина. Его жизни хватило на двух коммунистических вождей России, две русских революции и две мировые войны. Он жил в двух враждующих мирах, которые начали сходиться только через полвека после его смерти. Трагедия этого раскола обусловливала трагедию его жизни и составляла главный смысл его размышлений о древности.

Евреи же докучали Ростовцеву и после смерти: издание монументальных сборников СР и ПВ, посвященных Ростовцеву, инициировал академик-еврей...

Спорные фигуры

Эти споры — споры без исхода,
С правдой, с тьмой, с людьми, с самим собой,
Изнуряют тщетною борьбой
И пугают нищенством прихода.

Саша Черный. Каждый прав, и каждый виноват. 1908.

В археологии ряда стран есть спорные ученые, которых одни историографы считают крупными фигурами науки, а другие это отрицают. В российской археологии таких фигур немного, но они есть.

К ним, безусловно, относится Н. К. Рерих, слава которого как художника утвердилась быстро, хотя и не без споров. А особенно он вошел в историю культуры страны как общественный деятель, вероучитель с претензиями на философию (в русской философии для таких мыслителей припасен особый раздел — философия космизма). Но эта сторона его деяний вызывает особенные сомнения у скептиков-атеистов, с одной стороны (как эзотерическое знание), у православной церкви — с другой (как еретическая секта). Всю жизнь Рерих интересовался и археологией, много в ней подвизался. Какой же характер носила эта его деятельность — дилетантское хобби, одна из освоенных научных дисциплин в синтезе с другими (и с искусством) или вторая специальность? Зависит ли оценка его археологических результатов от его, мягко говоря, ментального своеобразия и полезна ли такая зависимость для археологии?

Другая спорная фигура — К. С. Мережковский. Спорность не в значимости вклада, а в приемлемости фигуры. «Гений и злодейство несовместны», — сказал поэт. Мережковский совместил. Он был гениальный биолог и несомненный злодей. Конечно, не все ученые обладали ангельским характером и образцовыми добродетелями. Но здесь перед нами отъявленный злодей, хотя, возможно, помешанный. Можно ли его числить в ученом сообществе? Да и сказалась ли его гениальность также в археологии, неясно.

Вероучитель и художник в роли археолога
Н. К. Рерих

Я — божество, я — маг, я — откровенье.
Беру в полон и души и сердца.

Елена Винокур. Властелин.

1. В истории археологии. Относить ли художника и путешественника Николая Рериха к выдающимся археологам, — вопрос спорный. Г. С. Лебедев (1992: 204–207) включил Рериха в число крупных фигур истории отечественной археологии, уделив ему 4 страницы своей книги (больше уделено только Уварову, Забелину и Городцову). По его мнению, «творческий путь Н. К. Рериха <...> вобрал в себя принципиально важные итоги и перспективы развития русской и мировой культуры... Своего рода универсальный код развития, ключ к пониманию течения духовных процессов...» Правда, Лебедев сам увлекался мистическими осмыслениями русской истории, так что Рерих был близок ему именно этими своими эскападами.

А. А. Формозов (2004: 64–71), напротив, относился к Рериху сугубо скептически и неуважительно. Ему претили безвкусие, напыщенность и пустота широковещательных деклараций сего властителя дум, его натужный квасной патриотизм, его претензии на святость и величие. Но Формозов известен своими желчными придирками к маститым археологам — может, и тут излишняя требовательность?

В недавнее время на базе диссертации О. В. Лазаревич появился коллективный труд с участием академика В. И. Молодина «Н. И. Рерих — археолог» (Лазаревич и др. 2002). Это есть конкретный анализ вклада Рериха именно в археологию. После него как-то неловко было бы миновать эту фигуру. Нужно по крайней мере рассмотреть его значимость, оценить его вклад и определить его место в археологии — сколь оно значительно на деле. Рассмотреть, невзирая на его заслуги в других отраслях культуры. Он мог быть большим художником, но

незначительным археологом, крупным путешественником, но дилетантом в археологии, заметным мыслителем, который, однако, не внес в археологию ни одной ценной идеи. Нам любопытны собранные Формозовым высказывания Пушкина о древностях, но мы же не включаем Пушкина в перечень археологов. Король Дании Фредерик VII даже участвовал в раскопках, но в списке датских археологов его нет.

Любопытно выяснить, и сколь вообще благодетельно для археологии творчество Рериха — независимо от общей оценки его личности. Иногда и ценные идеи могут повредить археологии, а неприглядная философия привести к открытиям.

Личность его оценивается в обществе очень неоднозначно. С одной стороны, он был академиком живописи, и многие его считают большим художником. С другой, картины его критиковали за отсутствие индивидуализации (фигуры-манекены), Репин звал его недоучкой, а выпуск картин тысячами (учтено около 7000 его картин) говорит скорее о налаженном массовом производстве, чем о творении шедевров. Его речи и писания пронизаны патриотическими лозунгами и порою любовью к коммунизму и Ленину, их с умилением цитируют советские биографы, но жить он предпочитал за рубежом.

Он с негодованием отвергал причисление себя к мистикам (как и к политикам), но увлекался столоверчением (спиритизмом), верил в свое общение с махатмами (Учителями, Великими Душами), обитающими в Шамбале на Гималаях, якобы встречался с ними духовно в Лондоне, привозил от них из Индии письмо советской власти. Последователи его всерьез говорят и пишут до сего дня о дарованном ему метеорите из созвездия Орион, обладающем особой намагниченностью с чудодейственной энергией, — им он намагничивал пространство Азии (Фролов 2007). Он объявлял себя истово православным, но, когда он стал соединять православие с буддизмом, Русская православная церковь официально объявила его Живую Этику еретической сектой. В целях пиара многие политические деятели отвергают свою причастность к политике (они, мол, просто заботятся о благе всех людей), и Рерих — не исключение, но как расценить его переговоры с президентами, министрами, послами и планы создания новых государств и международных организаций?

О его заслугах перед наукой говорилось немало, но в интервью журналу «Итоги» (04.08.08) проф. В. Кувакин, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой, редактор журнала «Здравый смысл», сказал: «Традиционная наука не подтверждает "открытий" Рериха в области медицины, психологии и антропологии. Все исследования, которые

он проводил, не получили оценку независимой экспертизы». Поэтому разговоры о его вкладе в археологию нуждаются в серьезной проверке.

Источники сведений о Рерихе очень обильны, но это влечет за собой как возможности, так и трудности. Источники почти необозримы и полны мифов, так что исследователь теряется в отборе надежных. Практически получается так: восторженные почитатели Рериха полагаются на одни источники, скептики и противники — на другие. Чтобы избежать предвзятости, отбирая *позитивные* черты для его характеристики, я постараюсь опираться как раз на его *критиков* (Грабарь 1937; Бенуа 1968; Росов 2002), а отбирая черты *негативные* — на его *апологетов* (например, Беликов и Князева 1973; Полякова 1985; Дубаев 2003).

2. Происхождение и годы учебы. Как и многие дворянские патриоты России, Рерих происходит из остзейского дворянства. Отец его был нотариусом в Петербурге, но родом был из курляндской губернии, из-под Либавы (Лиепае, Латвия) и веры был лютеранской. Женился он на Марии Васильевне Калашниковой из купеческой семьи г. Острова, и детей крестили по православному обряду. Так что Николай был первым православным в роду. Такая смена традиции, когда она вдобавок связана с двойственным пониманием племенной природы (немец или русский?) и обитанием в местной одноплеменной (иноплеменной?) среде, в государстве, где одна из этих народностей (русские) господствует, обычно приводит к болезненному осознанию своей национальной принадлежности. Мальчик осознал себя русским и всё время стремился утвердиться в этом сознании, которое могло быть оспорено. Поэтому он вырос ультрапатриотом, патриотизм его носил характер, называемый у Формозова «квасным» — «Не замай!» (одна из рериховских статей). Он увлекался всем исконно-русским, истинно-русским, готов был приукрашивать и очищать русскую историю.

Нужно, однако, отметить, что никогда Рерих не выступал против инородцев, не было у него ни грани антисемитизма (впоследствии ближайшими его американскими сотрудниками были евреи).

Везде у нас пишут о Рерихе и Рерихах, но сам художник называл себя Рёрихом, и в русское написание своей фамилии вставлял скандинавскую сдвоенную букву из о и е: Рœрих. Отец его позиционировал себя как остзейский немец, верный подданный русского государства. Фамилия распространена в Дании, но род ведет свое

происхождение от шведского солдата, плененного при поражении Карла XII. Характерно, что в тысячах картин Рериха, романтизирующих родную историю, начисто отсутствует тема, увлекавшая других художников, — отсутствует Петр I, победитель шведов. Родина Рериха — это только допетровская Русь.

Старший из троих сыновей, Николай, о коем речь, родился в 1874 г. в пореформенной России. Детство, о котором сохранилась память, прошло уже в более скованной России Александра III. В круг знакомых отца входили профессора Д. И. Менделеев и Н. И. Костомаров, художник М. О. Микешин. Семья была весьма состоятельная. В купленном имении Извара под Волосовым было 30 лошадей, 72 головы рогатого скота и т. д. Дом в Петербурге стоял на набережной Невы между Академией художеств и Горным институтом.

Учился Николай Рерих в гимназии Карла Мая, где все предметы преподавались на немецком языке. Это была знаменитая гимназия, ее выпускниками были А. Н. Бенуа, Д. В. Философов, К. А. Сомов, Д. А. Хвольсон, Д. С. Лихачев и множество других светил русской культуры, науки и воинской славы. В отличие от своих товарищей по гимназии, сугубо городских мальчиков, Николай Рерих каждое лето проводил в Изварах, на природе и в общении с крестьянами, норовившими воровски воспользоваться барскими угодьями. Подросток с этим боролся, о чем и оставил рассказы. Он хорошо освоил верховую езду на лошадях, походы в лес и пристрастился к охоте, даже печатался в «Охотничьей газете». Убивая неустанно птиц и животных (барсуков, рысь), он писал гуманистические стихи:

Мальчик жука умертвил,
Узнать его он хотел.
Мальчик птичку убил,
Чтобы ее рассмотреть.
Мальчик зверя убил
Только для знания.
Мальчик спросил: может ли
Он для добра и для знания
Убить человека?
Если ты умертвил
Жука, птицу и зверя,
Почему бы тебе и людей
Не убить?

Как это либерально-гуманистическое философствование вязалось с азартной охотой? Уже в студенческое время старый критик В. В. Стасов, поздравляя юношу с именинами, писал ему:

> «...а позвольте спросить, как Вы провели свой торжественный день бенефиса и что Вы во время его прохождения делали? Если ничего больше, как только на охоту ходили да бедных птиц били, ничем не повинных ни душой, ни телом, ни хвостом, ни лапками, что Вам скучно и нечего делать, и ничего Вы лучше не придумали, как лишать кого-то жизни от нечего делать, — то я вас не хвалю ничуть и желаю Вам, чтобы тот или иной Никола поскорее от Вас отступился и повернулся к вам задом, — что это, дескать, за огромный протеже у меня, только и умеет, что простреливать насквозь чужие головы и зады. Нет, нет, ради самого господа бога (которого я, впрочем, мало знаю и мало утруждаю собой) и всех его святых прошу Вас это негодное дело бросить и ни до каких курков и зарядов больше никогда не дотрагиваться» (Беликов и Князева 1973: 12–13, 15).

Художник Микешин, автор официальных памятников и наставник Рериха в патриотизме, укорял: «Колинька, бросьте охоту, художник, а душегубствует!» (Полякова 1985: 21).

> «Но эти советы мало охлаждали охотничий пыл Николая Константиновича, — пишут восторженные биографы Беликов и Князева (1973: 15). — Охотился он не от скуки и тем более не от "нечего делать". Пожалуй, даже потребность общения с природой не была единственной причиной охотничьей страсти. Энергичный юноша жаждал новых ощущений, искал возможности для того, чтобы проявить изобретательность, находчивость, смелость. Неслучайно впоследствии художник часто повторял восточную пословицу: "Удалый просит лук — птицу он сам достанет"».

На мой взгляд, «жажда новых ощущений» не лучшее оправдание, чем скука или безделье. Но дело не в самой охоте — охотников много, и даже есть ее спортивное оформление. Поражает сочетание яростной охоты с гуманистическим философствованием. Человек смолоду проявляет *редкостное лицемерие*. Для собственной услады — охота и смерть животным, для позы на публику — гуманистические рассуждения и забота об охране природы, впоследствии даже вегетарианство (впрочем, с отступлениями).

Отец хотел видеть сына продолжателем успешного дела — нотариусом, юристом. Но сына эта карьера не прельщала. Он был гораздо более честолюбив. Чиновники, юристы — люди состоятельные, но состоятельность окружала Николая от рождения и казалась ему естественной. Завидовал он славе *властителей душ* — писателей, художников, путешественников. Готовился именно к этой стезе. Писал

Николай Рерих в юности

рассказы и очерки неустанно, с малых лет. Рисовал с любовью, и другом семьи Микешиным это было замечено. Но гимназию окончил на тройки по основным предметам. Дабы не ссориться с отцом, поступил одновременно на юридический факультет Университета и в Академию Художеств в 1893 г.

Через два года он и подружился с писателем и критиком Стасовым, который отстаивал идеологию передвижников, критический реализм, в борьбе с академической школой и с новаторами — импрессионистами и адептами искусства для искусства.

Конечно, Рерих хотел записаться в мастерскую великого Репина, но И. Е. Репин разнес показанные ему этюды: «Ведь это не художество, а дилетантизм. Может быть, это и пригодится только для выражения каких-то идей, да и то вряд ли. <...> Над каждой частью, где вы день работали, настоящий художник год, целый год проработал бы!» (Беликов и Князева 1973: 25; Полякова 1985: 28). И позже со всей любезностью отказал.

Ну, если бы Рерих прислушался к Репину, невозможно было бы заполнить Нью-Йоркский и другие музеи семью тысячами картин — потребовалось бы семь тысяч лет! Рерих поступил в мастерскую Архипа Ивановича Куинджи, тоже очень прославленного художника, пейзажиста и мастера иллюзии света. Но тематику и жанр избрал для себя другие — историческую живопись, допетровскую Русь. Его картина «Гонец» («Славяне и варяги») стала его дипломом, получила в 1897 г. высокую оценку и была приобретена Третьяковым. Но, в отличие от сугубых патриотов-антинорманистов, Рерих склонен был считать, что скандинавы принесли славянам мир и государственное управление. Сознавал себя потомком норманнов как-никак.

Вскоре после этого Рерих получил два назначения: помощником директора музея Общества поощрения художников и помощником редактора журнала «Искусство и художественная промышленность».

Последний был задуман как противовес «Миру искусства» — трибуне «декадентов», постимпрессионистов и западников. В этом журнале тон задает Стасов, а тот издают соученики Рериха по школе Мая — А. Н. Бенуа, В. Ф. Нувель и другие. Рерих не ссорится с мирискусниками, но держит дистанцию. Он пишет новую картину из серии «Славяне и варяги» или «Начало Руси» — «Сходятся старцы», она еще дальше от искусства передвижников. Потом картину «Поход».

Стасов поначалу одобрял это направление, но потом разглядел, что студент не желает вырисовывать личности в борьбе с тиранией, создавать некое подобие живописи передвижников, спроецированной на далекое прошлое, а ищет *быстрое и яркое выражение некой древней истории, как она видится патриоту.* Если В. М. Васнецов откровенно изображает сказку, сказочных персонажей, то Рерих подает в этнографическом оформлении воображаемые типичные эпизоды русской истории, символические, патриотического звучания. С реалистической живописью всё меньше общего. Стасов издевается над картиной «Поход»: все к зрителям спиной, лиц не видно.

Стасов сообщает Рериху, что в разговоре с ним Репин сказал:

> «Рерих способен, даровит, у него есть краска, тон, чувство колорита и известная поэтичность, но что ему мешает и грозит — это то, что он недоучка и, кажется, не очень-то расположен из этого положения выйти. Он мало учился, совсем плохо рисует, и ему надо было — не картины слишком незрелые писать, а засесть на три-четыре года в класс, да рисовать, да рисовать. А то ему грозит так навеки и остаться очень несовершенным и недоученным...» (Полякова 1985: 54).

В 1900 г. 26-летний Рерих похоронил отца и на деньги из наследства уехал в Париж, где устроился в класс исторического живописца Фернана Кордона. Но вместо дополнительных упражнений в рисунке больше пишет в Париже славянских языческих «Идолов» и «Поход Владимира на Корсунь». Так он и остался несовершенным и недоученным.

Пробыв в Париже около года, по возвращении, в 1901 г. женился на архитекторской дочке Елене Ивановне Шапошниковой, правнучатой племяннице фельдмаршала М. И. Голенищева-Кутузова и племяннице композитора Модеста Мусоргского. На редкость единой и монолитной оказалась пара.

3. Быстрый рост. Первые два десятилетия XX века — это время бешеной активности Рериха и стремительного взлета его карьеры

в искусстве и культуре России. Вместе с тем это время всё большего вовлечения Рериха и всей семьи в *мистические* и *оккультные* практики. *Спиритизмом* Рерихи начали увлекаться с 1900 г. — общались с великими мыслителями прошлого, вызывали души умерших (по воспоминаниям И. Э. Грабаря, В. А. Шибаева). Поначалу это не выходило за пределы модного поветрия.

После рождения сына Рерихи предприняли путешествие по сорока городам России в 1903 и 1904 гг. с целью отыскания памятников старинной архитектуры (церкви, замки, палаты) и сравнительного изучения стилей. Всё это до того нередко находилось в небрежении и запустении. Рерих решил привлечь общественное внимание к этой проблеме и изыскать возможности и средства сохранения памятников. Он изобразил эти древние здания на семидесяти пяти этюдах.

В 1904 г. родился второй сын.

Поражение России в русско-японской войне повернуло интерес общества к Востоку, показало его мощь. Но патриотизм Рериха препятствовал признанию японской силы и русской слабости, и подсознание подсказало ему выход из этой трудной и унизительной ситуации: Россия — тоже Восток, тоже Азия, только другая. Более древняя, более культурная, она в ближайшем родстве с Индией, к мудрости которой возводят европейскую культуру некоторые лингвисты, философы и историки. С середины 1905 г. Рерих всё чаще посвящает свои картины и очерки Индии («Лакшми», «Индийский путь», «Кришна», «Сны Индии» и др.). Индия всё больше овладевает его помыслами — не реальная страна, колония Англии, соседняя с российской Средней Азией, а Индия мифов и религиозных исканий, Индия Блаватской и теософии. В спиритических сеансах появляются Великие Учителя Востока — Будда, Лао Цзы.

В 1906 г. Рерих назначен директором Рисовальной школы при Обществе поощрения художников и совершенствует в ней преподавание. Он объединил под одной крышей преподавание разных искусств и дал свободу преподавателям самим определять программу обучения. Это был смелый эксперимент. С 1909 г. Рерих в 36-летнем возрасте становится академиком живописи, с 1910 г. избирается председателем объединения «Мир искусства» и является им до конца в 1919 г. Его ориентация на древнерусскую тематику и подчеркнутый патриотизм вызывает благосклонность властей: на Рериха сыплются ордена, в 1914 г. он получает чин действительного статского советника (это статский генерал, в ранге губернатора). Для сорокалетнего

Н. К. Рерих на портрете работы М. Шерлинга

Меняется и его живописная манера: на место конкретных эпизодов истории языческой Руси и варягов становятся *символические ситуации прошлого*, в которых можно увидеть отзвуки современных проблем, обобщенных до космического масштаба. В сущности, современные проблемы подменяются столкновениями космических сил, а реальность — символикой. Общее воздействие модерна ощущается в декоративности, в плоскостном развертывании композиции. Формы застылые, фигуры иератичные и без индивидуализации, выразительные средства очень лапидарны. Контрастность ярких локальных тонов подчеркнута тем, что с 1906 г. художник переходит от масляной живописи к темпере, а с 1920-х гг. — к синтетическим краскам.

Общее впечатление от его картин такое, что изготовлены книжные иллюстрации, которые затем увеличены до размеров станковой живописи. Что ж, это новый и интересный прием. Декоративность его полотен вызывает ряд заказов от устроителей театральных постановок, опер и балетов для русских сезонов Дягилева в Париже — «Весна священная» И. Стравинского, «Князь Игорь» М. Бородина, особенно все оперы Р. Вагнера, которые он очень любит. Расписывает он церкви и другие здания. Много внимания уделяет работе у одного из основателей «Мира искусства» — в имении княгини М. К. Тенишевой (Талашкино под Смоленском). Княгиня Тенишева была прекраснодушной энтузиасткой и спонсоршей «Мира искусства», питала упования на то, что искусство и красота разрешат все социальные проблемы, устраивала с участием окрестных крестьян спектакли, устраивала для них художественные мастерские. И Рерих ей помогал, видя в Талашкине прообраз новой России, где Красота решает все проблемы. А крестьяне жаждали земли, и в революции 1905 г. бунтовали, рубили господский лес, поджигали господские сараи (Полякова 1985: 92–93; Дубаев 96–97).

Еще больше напряжения внесла Первая мировая война.

4. Революция и США. Войну Рерих встретил с патриотическим старанием, устраивал уход за ранеными, в 1915 г. в хлопотах заболел воспалением легких, и болезнь оказалась затяжной. Врачи порекомендовали выезд в сосновые леса и на хорошее питание. Семья удалилась из Петербурга в Сердоболь (Сортавала) на берег Ладожского озера. Там Рерих и встретил Февральскую революцию 1917 г. На совещание деятелей культуры у М. Горького всё же приехал и был избран заместителем председателя Комитета по делам искусств. Но больше уже не приезжал: Октябрьская революция имела следствием отделение Финляндии, и Сердоболь оказался на финской стороне. Граница вскоре была закрыта, а статский советник (по военной табели — генерал) Рерих в большевистский Петербург не спешил.

Но и подданства не менял, а большевистское правительство не заостряло ситуацию со знаменитым художником и не требовало определиться.

В сердобольской тиши он пишет пьесу «Пламя», осмысляя эпизод своей биографии (в 1914 г. при разгроме типографии Кнебеля в Петербурге антинемецки настроенной толпой сгорели клише рериховских иллюстраций). Это пьеса о художнике, картины которого имели бешеный успех, и их решено издать, но издательство сгорело. Было объявлено, что и картины сгорели, а на деле они остались целы — сгорели копии: просто издатель застраховал их под видом подлинников. Уцелевшие картины выставили как якобы повторения. Публика смотрела их вежливо, но без энтузиазма, не веря, что удалось воссоздать шедевры. Художник приходит к горькому выводу, что публика видит не то, что есть, а то, что она нацелилась увидеть. Таково моралите пьесы. Хотя автору стоило бы прежде всего осудить суть всей авантюры — мошенническое получение страховки, в котором художник как-никак участвует! Но это автора не занимает и не беспокоит. А вот вывод о публике — это выношенное. Он очень важен для всей будущей направленности живописи Рериха. *Важно внушить веру, тогда и увидят...*

В 1918 г. Рерих получил приглашение из Швеции приехать в Стокгольм с выставкой своих работ. Затем в 1919 г. последовало приглашение из Англии — оформить постановку оперы «Князь Игорь» в театре «Ковент-Гарден». В Англии Рерих опубликовал статью о ненавистных большевиках: «Насильники искусства».

> «Интеллектуальные круги во всем мире поймут, — писал он, — что вместо "Петроградских Медичей" перед ними Иуды Искариоты с их вечными 30 сребрениками. Вульгаризм и лицемерие.

Предательство и подкуп. Искажение всех святых основ человечества — вот что такое большевизм. Это наглый монстр, обманывающий человечество» (цит. по: Дубаев 2003: 286).

Там вместе с женой он вступил в основанное Е. Р. Блаватской Теософское общество, а Елена Рерих трудилась над переводом книги Блаватской «Тайная доктрина». К 1919 г. в Берлине на русском языке вышел цикл его стихов «Цветы Мории», где муссируется идея духовного странствия, а в основе лежит индийская философская концепция бесконечной вселенной, с ее повторяющимися циклами создания и разрушения в результате пульсации божественной энергии, и всё это приводит к созданию и падению цивилизаций, а для индивидов — к реинкарнации души, переселению душ. Картина величественная, утешительная, но бесплодная. Призывы покинуть всё, что меняется быстро, и думать о том, что неизменно и вечно, очень привлекали Рериха, но как заманчивые идеи — для поучений публике, не для себя. Сам он на идеях о Вечном строил ощутимые сегодняшние успехи, отнюдь не разделяя общеэмигрантской нужды и неприкаянности. В 1920 г. пришло приглашение из США от Чикагского Института Искусств. Первая выставка Рериха открылась в Нью-Йорке в 1920 г. С четырьмястами своими картинами Рерих путешествует по Америке, оформляет оперные спектакли и пишет на досуге этюды, пополняя свою выставку.

В Штатах Рерих быстро освоил американскую предприимчивость и учел популярность *самозваных пророков и основателей религиозных и полурелигиозных учений*: Месмер, Штейнер, Мери Беккер. Он уловил жажду в сверхъестественном знании у травмированных войной людей, уставших от бедствий (американцы — от Великой депрессии) и разочаровавшихся в традиционных религиях. По данным Дубаева, в Нью-Йорке принял масонство, причем сразу высокую степень посвящения. Но начал он с искусств. В 1921 г. он основал в Нью-Йорке Главный Мастер-Институт Объединенных Искусств, основанный

Елена Ивановна Шапошникова, супруга Н. К. Рериха

на принципах петербургской Рисовальной школы Общества поощрения художеств. Открывая свой Институт, Рерих определял его задачи в своей обычной манере напыщенных, громких и банальных коротеньких фраз-изречений:

> «Искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздельно. Искусство имеет много ветвей, но корень един... Каждый чувствует истину красоты. Для всех должны быть открыты врата священного источника. Свет искусства озарит бесчисленные сердца новой любовью...» (Рерих 1921/2005: 116).

Одновременно в Чикаго создано объединение художников «Пылающие сердца». В 1922 г. — Международный художественно-культурный центр «Corona mundi» («Венец Мира»). Младшего сына Святослава, которому шел 19-й год и который избрал стезю художника, Рерих назначил главой этого центра, что показывает важность принадлежности к династии и отсутствие других кадров. Открытие центра отмечено громогласно: «Предстали перед человечеством события космического величия. Человечество уже поняло, что происходящее не случайно. Время создания культуры духа приблизилось...» («Красота-победительница» из сб. «Адамант»).

Музей Николая Рериха в Нью-Йорке

Богатые американцы, увлеченные его риторикой о духовности, давали ему деньги, строили для него музеи. В мае 1923 г. Рерихи отправились в Индию. Уже после их отъезда в Нью-Йорке открылся Музей Николая Рериха. Зачем Рерих так стремился в Индию?

Тут надо выделить два мотива. Первый — культовый. Культ Индии с ее древней мудростью, с ее философией и йогой, давно владел помыслами Рериха, и теперь, когда родина была для него закрыта, самое время было осуществить путешествие в страну мечты. Что-то же должно скрываться за легендой о чудесной невидимой стране Шамбале в Гималаях! Он стремился не просто в Индию, а именно в Гималаи.

Многие записи в дневниках и свидетельства участников говорят о том, что семейство Рерихов к весне 1920 г. было просто поглощено спиритизмом. Рерихи стремились установить контакт с *Великими Учителями (Махатмами)*, и это, как они полагали, в Лондоне удалось. Росов (2002: 20) полагает, что контакт в Лондоне был не спиритический, а реальный, поскольку в дневнике Рериха есть запись об этом. Он верит, что двое индийцев, Мория и Кут Хуми, проживали в это время в общежитии для высших чинов индийской армии. И что это были те самые Учителя, которые наставляли и Блаватскую. Но в дневнике Рериха есть немало явных чудес. Даже если бы эти индийцы были реальными людьми, их магическая природа — несомненно, порождение экзальтированного сознания Рерихов. Хотя бы тождественность Мории с Алла-Мингом, казненным в III в. до Р. Х. Нельзя и их предсказания и повеления отделять от тех идей, которые Рерихи жаждали услышать. В дневнике супруги Рериха под 1921 г. записано, что ее мужу «суждено руководить Россией». Оказывается, и мания величия бывает заразительной! А потом помощь столоверчения уже не требовалась, и спиритизм Рерихи своим последователям запретили. Надо полагать, Махатмы успели позвать Рериха в Гималаи, возможно, в Шамбалу.

Второй мотив более прозаический. Рерих был достаточно практичный человек (это показывают его американские успехи), чтобы не продумать и практические задачи экспедиции. Те, что напоказ (собирание этнографических и ботанических коллекций, сбор географических сведений), это само собой. Художественные задачи тоже естественны — новые места, новые картины. Но не ради этого же отправлялся в далекую (и нелегкую) экспедицию мыслитель с претензиями на проповедничество. Ему нужно было побывать в Гималаях, чтобы можно было вернуться с ореолом мудреца, приобщенного к тайным силам Индии, побывавшего у Махатм, очезревшего не призраки их в Лондоне, а их самих на их родине. Цели примерно те же, что у Мирчи Элиаде, и результат в общем тот же.

6. Трансгималайская экспедиция. Рерихи прибыли в Бомбей всей семьей в декабре 1923 г. и сразу же начали объезд культурных центров и исторических мест Индии: Агра, Бенарес, Калькутта — это уже на другом конце Индии. Встречались с индийскими деятелями культуры, но борцов с колониализмом и властью сознательно избегали — чтобы не рассердить англичан и местных радж.

К концу декабря Рерихи уже были на южных склонах Гималаев, в Сиккиме — небольшом княжестве между Непалом и Бутаном.

За несколько недель они покрыли три тысячи километров и достигли гор. Эта скорость ясно свидетельствует, что в Индии именно Гималаи были их целью. В Сиккиме задержались надолго — изучали буддийские предания, сын Юрий совершенствовался в языках Азии, собирали растительную фармакопею, Николай Константинович готовил свои «Сиккимские дневники» и писал символические картины — о гуру и ученике, склонившихся над ожерельем в поиске жемчужины истины («Жемчуг исканий»), и другие. Елена Ивановна писала книгу «Основы буддизма». Интересовались и местной политикой Юго-Восточной Азии: в это время таши-лама (панчен-лама) Богдо, очень популярный среди простых людей, бежал от далай-ламы, правившего в Тибете, то ли в Китай, то ли в Монголию. Один из сторонников таши-ламы, бежавший в Индию, побывал у Рерихов в Сиккиме.

Из дальнейшего, однако, ясно, что не Гималаи, несмотря на всю их святость, были главной притягательной силой для Рериха — его амбиции влекли его за Гималаи, в Тибет, страну, тогда независимую и представлявшую предмет аппетитов Англии и Китая.

В сентябре 1924 г. Рерих выехал из Сиккима в США добывать документы, которые бы ему облегчили путешествие на тибетскую и китайскую территории: пока он имел только английские разрешения на путешествия по Индии (тоже добытые не без труда). В Америке он привлек большой бизнес к идеям организации промышленных концессий на Алтае (для чего нужно советское разрешение) и вместе с бизнесменом Луисом Хоршем создал две корпорации — «Белуха» (для приобретения горнодобывающей концессии на Алтае — горы Белуха с ее старыми серебряными рудниками) и «Ур» (концессию в Туве). Подумывали даже поселиться у горы Белуха, если удастся ею завладеть, — эти планы сообщили Хоршу. Кроме того, Рерих собирался развернуть торговлю с Советской Россией индийским чаем и дешевым мылом. Политиков он привлек идеей создать в центре Азии *новую страну на основе соединения буддизма с коммунизмом при преобладании буддизма* (Росов 2003). Американцев должна была привлечь как перспектива размывания коммунизма, так и возможности ослабления британского влияния в Азии. Американская поддержка была получена. Официально экспедиция была объявлена американской.

Но теперь нужно было получить и советское согласие. В Англии и США советских миссий тогда еще не было. Рерих перечеркивает свои антисоветские статьи в эмигрантской прессе и едет в Берлин, где является в советское посольство с просьбой о поддержке своей экспедиции в Тибет и Монголию. Он хочет забраться и на советскую

территорию — на Алтай. В посольстве он встречается с полпредом Н. Н. Крестинским и его помощником Г. А. Астаховым. Он объясняет полпреду, что симпатизирует буддизму и связан с махатмами в Индии, все они ненавидят английское колониальное владычество и надеются на освободительную миссию Советской России. В своих писаниях Рерих начинает сочувственно упоминать Ленина (в книге «Община», из Агни-Йоги, изд. 1926 г.: «Появление Ленина примите как знак чуткости Космоса», параграф 64), в картинах рисует голову Ленина в виде горы.

С этого времени Рерих стал именовать свою экспедицию дипломатическим посольством «Союза западных буддистов», себя — «Великий посол Собора западных буддистов», а окружение Рериха в экспедиции трактовало его как «*западного далай-ламу*». Разрешения на концессии, однако, не получено.

Далее в 1925 г. началась беспримерная по трудности и мужеству экспедиция семейства Рерихов (сам, супруга и сын Юрий) с небольшой группой соратников и местных слуг и носильщиков. Из Сиккима они направились в Кашмир, оттуда в Ладак и Хотан, на китайскую территорию, затем в Кашгар и Урумчи, столицу Синьцзян-Уйгурского района. Всё это заняло больше года. Из Урумчи с помощью советского консула А. Е. Быстрова Рерихи перешли советскую границу в районе озера Зайсан и в июне 1926 г. оказались в Москве. Этот заезд был тайным. Визитеров приняли нарком иностранных дел Г. В. Чичерин, старый знакомец Рериха, и нарком просвещения А. В. Луначарский. В хлопотах о концессиях побывали дома у жены Троцкого — Седовой и у вдовы Ленина — Крупской. Чичерину Рерих вручил ларец со священной гималайской землей на могилу Ленина и послание махатм советскому народу. Вот его текст:

> «На Гималаях мы знаем совершаемое Вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войска рабов. Вы разрушили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлющей материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали на значение познания. Вы преклонились перед красотою. Вы принесли детям всю мощь Космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения новых домов Общего Блага!

> Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным, мы также признали своевременность Вашего движения и посылаем Вам всю нашу помощь, утверждая Единение Азии!» (цит. по Беликов и Князева 1973: 178–179).

И по стилю (рубленые фразы) и по содержанию (преклонение перед красотою, единение Азии) легко узнается подлинный автор этого послания — «западный далай-лама». Из Москвы семейство отправилось на Алтай, добралось до Улан-Удэ, и тут от маршрута экспедиции, представляющего большую дугу, отходит большой отросток — на Алтай, к горе Белуха. Кроме серебра там обнаружили молибден. Как видим, экономические цели экспедиция тоже не забывала, но взобраться на гору оказалось возможно, а получить концессию — нет. Вернулись ни с чем и переместились в столицу Монголии Ургу (ныне Улан-Батор). Там и были изданы «Основы буддизма» и «Община» Елены Ивановны, правнучатой племянницы Кутузова и просто племянницы Мусоргского.

Некоторые авторы (Шишкин 1999, и др.) реконструируют связи Рериха с крупным чекистом Яковом Блюмкиным, другом Троцкого, и полагают, что в Тибете Рерих был советским агентом, что вся экспедиция была снаряжена на советские деньги, а целью было свержение далай-ламы в Тибете. Сторонники Рериха яростно опровергают эти построения, да и служба госбезопасности их не подтвердила. Ну, служба и спустя долгое время своих агентов выдавать не должна. Блюмкин прибыл в Монголию как раз в это время, контакты могли иметь место, а обязался ли Рерих выполнять (с Блюмкиным или без Блюмкина) какие-то поручения ГПУ в обмен на какие-то преференции, не доказано, но вполне возможно — ради своих целей он не брезговал ничем. Что в этот период ему было что скрывать от публики, несомненно: в его дневниках, обычно подробных, *за этот период зияет пробел*, ничего не отражено и в дневниках его сына Юрия. Отсутствуют даже записи о встрече с известным путешественником Козловым. И, конечно, ничего — о Блюмкине (Росов 2002: 158). А в это самое время его доверенные сотрудники-американцы, пребывая в Москве, непрерывно ходили в ГПУ к заместителю Дзержинского М. Трилиссеру на дружеские беседы.

Из Монголии экспедиция, заручившись паспортом, выданным тибетскими властями, двинулась на юг через весь Восточный Тибет к тибетской столице Лхасе. Однако осенью 1927 г. за несколько сот километров до Лхасы тибетские отряды остановили путешественников и недалеко от крепости Нагчу заставили их зимовать в тягчайших

условиях. Через пять месяцев им было сообщено, что паспорт аннулирован и экспедиции придется двигаться дальше на юг, обойдя Лхасу большим крюком с запада. Заход в Лхасу воспрещен. То ли до далай-ламы дошли какие-то сведения о контактах Рериха с приверженцами таши-ламы, то ли подозрения насчет планов свержения далай-ламы XIII, то ли какие-то слухи о претензиях Рериха на статус «западного далай-ламы», — но тибетские власти почуяли опасность в продвижении «полубуддиста». Кроме того, как теперь ясно из рассекреченных документов, британская разведка была обеспокоена американским продвижением в британскую сферу влияния, и побудила тибетские власти закрыть ворота перед Рерихом, так что конечная цель экспедиции сорвалась. В 1928 г. изрядно поредевшая экспедиция добралась до Сиккима. Трехлетняя эпопея завершилась, и завершилась поражением.

Теперь предстояло извлекать результаты из тех обрывков первоначального плана, которые были реализованы. Рерих написал книги «Сердце Азии», «Алтай — Гималаи», создал около пятисот картин — серии «Майтрея», «Учителя Востока» и др. Майтрея — это буддистский мессия, спаситель. Найдены манускрипты, собраны лингвистические и фольклорные материалы, описаны местные обычаи.

7. Индийская передышка. Между тем в Америке возглавлявший «Венец мира» и экономическую державу Рерихов юный Святослав, унаследовав авантюрный нрав отца, вбухал все деньги фирмы в игру на бирже, а в 1927 г. наступил экономический кризис, и все накопления погорели. Пришлось его отозвать из руководства американскими делами в Индию.

В 1928 г. семья поселилась надолго в высокогорной долине Кулу у подножья Гималаев. Здесь для обработки материалов экспедиции они основали Гималайский Исследовательский Институт «Урусвати». Под руководством отца сыновья Юрий и Святослав создали коллекцию лекарственных трав и изучали древнюю медицину, тибетскую и китайскую фармакопею.

Еще во время Первой мировой войны Рерих подумывал о *международной защите культурных ценностей*. В 1929 г. он вошел в контакт с профессором-юристом из Парижского университета Г. Г. Шкляевером, и вдвоем они подготовили проект Договора о защите, который, учитывая громкое имя художника, назвали Пактом Рериха. К нему художник присовокупил опознавательный знак для объектов охраны — «Знамя Мира»: белое полотнище с красным кольцом и вписанными

в него тремя красными кругами (символика: единство прошлого, настоящего и будущего в круге вечности). По мнению историка В. С. Брачева, всё это носит масонский характер, что в глазах многих обывателей позорит Рериха, но для трезвого восприятия это безразлично. Проект Пакта был одобрен Комитетом по делам музеев при Лиге Наций и Панамериканским союзом.

Госдепартамент США счел Пакт «бесполезным, слабым и неисполнимым», к тому же повторительным: все его пункты уже включены в Гаагскую конвенцию 1907 г. Но президенту Франклину Рузвельту Пакт понравился, а министр Генри Уоллес тогда считал Рериха своим гуру, и 15 апреля 1935 г. Пакт был подписан в Белом Доме. За США Пакт подписали и другие американские государства.

8. Экспедиция в Маньчжурию 1934–1935 гг. В начале 30-х гг. горячие политические события в Азии продолжали привлекать внимание. В Китае шла Гражданская война Гоминьдана против коммунистов. Пользуясь ситуацией, Япония оккупировала зависимую от Китая Маньчжурию и провозгласила в ней марионеточное государство Маньчжоу-го, продолжая агрессию против северных провинций Китая, в том числе Внутренней Монголии. Это вызывало тревогу в коммунистической Внешней Монголии — в Монгольской Народной Республике и в Советском Союзе. Таким образом, Монголия была в центре очага неурядиц. Продумав результаты своей Тибетской (Цетральноазиатской) экспедиции, с ее успешным продвижением по Монголии при затруднениях в Тибете, и вспомнив о победе Монгольской революции, Рерих стал толковать собранные изречения как пророчества грядущего объединения Азии, которое начнется не с Южного Тибета, а с Монголии, Маньчжурии, Северного Китая (уйгуров) и Южной Сибири. Теперь им овладел панмонголизм в новом обличье. Обличье явно антисоветском.

Тут нужно припомнить, что в это беспокойное время, развороченное Первой мировой войной и революциями, новые государства создавались и рушились легко, как карточные домики, и энергичные честолюбцы пускались в эти авантюры в поисках властных постов и титулов. Как ни странно, археологи принимали в этом деятельное участие. Артур Эванс положил немало сил на создание Югославии. Лоренс Аравийский, помощник Леонарда Вулли, получил прозвище «Делатель Королей» за создание арабских государств. Сотворение государства, способного объединить Центральную Азию, было вполне в духе времени, хотя самое время для таких затей было уже позади.

Но Рерих верил, что успех всё еще ждет его. Ведь не так давно, всего десятилетие назад, в Монголии хозяйничал, вырезая коммунистов, и не только их, командир Азиатской дивизии ужасный барон Унгерн, а *начальником обоза этой дивизии был Владимир Константинович Рерих, брат художника*! Теперь он жил в Харбине и готов был помогать брату (Росов 2002: 25).

В 1933 г. перед самой экспедицией Елена Ивановна издала в Риге брошюру в 50 экземпляров «Напутствие вождю». Вождизм был лозунгом дня и в Европе: дуче в Италии, Гитлер в Германии (1922 — приход к власти), Сталин в СССР. *«Великим Вождем» стал именоваться Рерих*, хотя государство для него еще предстояло создать. В отличие от других диктаторов, у него не было ни социальной, ни национальной программы. Программа была только религиозно-объединительная и мистическая. Она была избрана для того, чтобы он, Рерих, мог выполнить свою великую миссию. Не было и массовой опоры.

В конце 1933 г. далай-лама XIII, англофил и враг Рериха, умер. Единственным авторитетом для буддистов остался беглый панченлама, ярый антикоммунист, пребывавший в это время в дружбе с Японией.

Дабы не упустить свой шанс оказаться в центре этих событий, Рерих пробивает через американский сельскохозяйственный департамент свою экспедицию в Маньчжурию и Северный Китай. Еще в 1930 г. он завязал дружеские отношения с Г. Э. Уоллесом, который стал министром сельского хозяйства в администрации Франклина Рузвельта. Уоллес как раз был озабочен засухой и разрушением почв, от чего страдали американские фермеры. Он загорелся отправить экспедицию на поиски семян растений, препятствующих разрушению почвы. Экспедиция состоялась в 1934–1935 гг. Сначала она обследовала Хинганский хребет и Баргинское плато, потом пустыни Гоби, Ордос и Алашань. Всё это во Внутренней Монголии — в Северном Китае. Нашли около 300 видов засухоустойчивых трав, в Америку было отправлено 2000 посылок семян. Впоследствии Уоллес заявил, что все растения оказались непригодными — низкой или никакой ценности. Но это и заведомо можно было предсказать: ведь соответствующего образования путешественники не имели.

Однако для Рериха это и не было главной целью. *Создание государства, которое бы стало ядром азиатского единства*, — вот что было его мечтой. На Алтае или в Тибете планировалось построить столицу нового государства — Звенигород (Росов 2002: 8). Он стремился поднять буддийские массы на восстание. Посетив Японию, он

встретился с военным министром Хаяси Сэндзюро, чтобы выяснить возможности создания нового государства на северо-востоке Азии. Для обеспечения буддизма опытными кадрами Рерих и его старший сын Юрий вступили в сотрудничество с русскими белоэмигрантскими организациями: Военно-Монархическим Союзом, Военно-Казачьим Союзом, Легитимистами. Семейство помогало деньгами Сибирскому Казачьему войску и купило газету «Русское Слово» для Российского Общевоинского Союза (Дубаев 2001; Росов 2006: 22). А ведь только недавно, в 1929 г., белоэмигранты были заводилами в конфликте Китая на КВЖД с Советским Союзом, с которым Рерих так недавно помирился. В конце концов советскими властями КВЖД была продана Маньчжурии, а ею управляла Япония.

Эта политическая возня вызвала недовольство в США, и Уоллес от Рериха отвернулся. В Советском Союзе назревал Большой Террор, и брат Рериха Борис был арестован в 1927 г., отпущен, в 1929 г. подписал обязательство сотрудничать с ГПУ, но в 1931 г. снова арестован, получил три года, так что оттуда ждать доброго отношения не приходилось. Дзержинский умер, Троцкий был исключен из партии и выслан из страны, старое поколение чекистов (Я. Блюмкин, М. Трилиссер) было сметено, и старые контакты уже не действовали. Япония же была рассержена нацеленностью на освобождение захваченных ею территорий и арестовала тираж рериховской газеты «Священный дозор». Ну а белоэмигранты быстро дознались о шашнях Рериха с Москвой и с теософами (противными православию), так что он потерял и их симпатии. Против него была развернута громкая кампания в прессе (припомнили его масонские идеи и знаки, шашни с теософией). Пришлось быстренько свернуть экспедицию (21 сентября 1935 г.) и возвращаться в долину Кулу, к своему институту «Урусвати».

Юрий Рерих, старший сын Николая Рериха, директор «Урусвати»

Рерих, беспринципный и уверенный в своем духовном превосходстве, хотел обмануть всех — каждого по отдельности, — но не

обманул никого, кроме своих наивных почитателей. И сам был обманут. Потеря покровительства Уоллеса и сотрудничества Хорша привела к краху всех его начинаний в Америке. Хорш объявил 24-этажный музей Рериха в Нью-Йорке своим, вывез оттуда все картины и юридически чисто переписал на себя все паи рериховского семейства и его друзей. Суммы, выданные Рериху на научную экспедицию, но истраченные частично на экономические и политические цели, были обложены большой пошлиной, за неуплату которой Рериху в США грозил арест. Больше в Америку Рерих — ни ногой.

Крах маньчжурской экспедиции и выход Рериха из доверия привел к официальному аннулированию Пакта Рериха. Уоллес разослал объяснения с нелестными намеками на личные качества Рериха 57 странам. Всё же положения Пакта были использованы при заключении в 1954 г. новой Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

7. Гуру в Индии. Институт Гималайских исследований назывался «Урусвати», что в переводе с санскрита означает «Свет Утренней Зари». Уже это показывает, что *основные надежды возлагались не на науку, а на высшие силы и духовное общение с Махатмами.* Директором Института был назначен старший сын Рериха, востоковед Юрий (чтобы за отцом осталась роль великого гуру). Юрий же проводил этнолого-лингвистические и археологические исследования. Институт претендовал также на медицинские, зоологические, ботанические, биохимические и другие исследования, хотя ни обширными зданиями, ни большими кадрами не располагал. Порою приезжали специалисты и временные сотрудники. Добраться до обители Рерихов было очень непросто. В печати много пишется о сотрудничестве с Эйнштейном, Де Бройлем, Свеном Гёдином — на деле просто была переписка Рериха с одними, визиты других.

Основное внимание Рерих в это время уделял созданию Живой Этики, или Агни-йоги, — философско-религиозного учения, которое якобы синтезирует все религии и все йоги с примесью науки — явное продолжение теософии Елены Блаватской. Якобы махатма Мориа являлся супругам Рерихам с 1920 по 1940 гг. в видениях или наяву, Елена Ивановна записывала его поучения, а Николай Константинович воплощал эти видения в своих картинах. Так получилось 14 книг Агни-йоги и серии картин. Перед своими почитателями седобородый Рерих появлялся в фиолетовой бархатной шапочке и черной мантии и изрекал короткие неясные фразы с благородными понятиями — о Красоте,

Николай Рерих в старости

которая спасет мир и т. п. Рерих всё-таки осуществил свою честолюбивую мечту — стать «западным далай-ламой». *Если уж не вышло основать государство, то хоть религию* — правда, на несколько кустарном уровне. Еще в Америке архиепископ Иоанн Сан-Францисский запретил ему появляться в церкви. На Архиерейском соборе в декабре 1994 г. Русская Православная Церковь огласила сторонников этого учения сектантами (Кураев 2002).

Умер Н. К. Рерих в 1947 г., по его завещанию тело его предано огню (Агни) по индийскому обряду. Почитатели Рериха всячески подчеркивают, что он издавна готовился вернуться на родину, но не успел. Вполне очевидно, что советское правительство не ждало его с восторгом, а он не спешил в сталинскую Россию. Его можно подозревать в мании величия, но, как многие маньяки, безумным в частных поступках он не был. Перед смертью запросил визу, но из Советского Союза прибыл отказ. Прибыл после смерти. Выяснилось, однако, что он завещал все свое наследие жене, а после ее смерти ... Всесоюзной Коммунистической партии.

8. Личность. После всего сказанного ясны причины брезгливости Формозова при рассмотрении писаний Рериха. Он остановился на эпизоде 1907 г., когда художник Игорь Грабарь составлял коллективную «Историю русского искусства», решив соединить в одном томе Александра Бенуа и Николая Рериха. Бенуа отказался участвовать с «такими фруктами», как Рерих. И Формозов (2004: 67) с пониманием относится к этому. Он демонстрирует стиль Бенуа, Грабаря и других серьезных и знающих писателей-историков искусства и показывает разительный контраст со стилем Рериха. Вот Рерих:

> «Точно неотпитая чаша, стоит Русь... Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная сила. Русь верит и ждет» (статья «Чаша неотпитая» — символ веры Рериха). Или: «Народная жажда знания! Русская смекалка! Русская красота! Русское творчество жизни незабываемое!.. Каменны, непреклонны лица трудовых народов. Мыслят о будущем... Народное священное дело. Творчество жизни незабываемое.

> Много падла развелось на земле, но встала русская сила, и изничтожаются себеумы-подлюги» («Листы дневника»).

Эти цветистость и выспренность — полная противоположность стилю Грабаря, — констатирует Формозов. «Вместо спокойного раздумья — экстатические выкрики, вместо спора-размышления — ругательства; вместо просветленности от созерцания прекрасного — взвинченность и надрыв». Всё это показывает, что как писатель и мыслитель Рерих бессилен. За пределами простеньких и банальных идей, надерганных у разных мистиков, ничего нет. Метафоры и космический пафос должны прикрыть отсутствие мыслей.

Двадцать лет спустя в «Автомонографии» Грабарь (1937: 170–173) признавал, что Рерих был «блестяще одарен», создавал «настоящее, бесспорное, большое искусство», но отмечал, что в «Мире искусства» его «органически не переносили», ставя ему в вину карьеризм, неискренность, позёрство — перед властями, коллегами и соратниками-мистиками. Александр Бенуа (1968: 237–238) тоже признавал одаренность Рериха: «Многое в его искусстве мне дорого». Но отмечал общее мнение, «что гордыне Рериха нет пределов, что главной движущей силой, заставляющей его сочетать личное творчество (и весь сопряженный с этим труд) с каким-то мировым мессианством (требующим еще больших, несравненно больших усилий), — что этим мотором является тщеславие». Он заключал, что ему «мессианство Рериха не по душе», и отвергал эту позу полусвятого-полупророка. Формозов (2004: 69) резюмирует оценку Бенуа (1968: 669) относительно Рериха как человека: «Малоприятная была личность с бешеным честолюбием. Он для того и забрался в Кулу, чтобы со снежных вершин с величием взирать на мироздание и посылать оттуда свои туманно-мистические пророчества». А ведь «мирискусники» еще не знали всех его экономически-политических авантюр — они вскрыты в недавнее время.

Художник и меценат князь Сергей Щербатов, хорошо знавший Рериха, составил весьма критичный психологический портрет его:

> «Человек он был, несомненно, умный, хитрый, истый Тартюф, ловкий, мягкий, обходительный, гибкий, льстивый, вкрадчивый, скорее недобрый, себе на уме и крайне честолюбивый. О нем можно сказать, что интрига была врожденным свойством его природы. На нем словно была надета маска, и неискренний его смех никогда не исходил из души. Всегда что-то затаенное было в его светлом молочного цвета лице с розовыми щеками, аккуратно подстриженными волосами и бородой. Он был северного — норвежского типа и довольно прозрачно намекал, что его

> фамилия Рерих связана с именем Рюрик. Как — оставалось не вполне понятным. А талантлив Рерих был несомненно, и также несомненной была его горячая любовь к искусству...» (цит. по: Дубаев 2003: 326).

Да и по искусству Рериха есть немало нареканий. Лубочная красивость, условность, безудержная стилизация и массовое производство слишком часто обесценивали его талант. Как писал Волошин о его творчестве, у Рериха нет людей. В его картинах есть лишь ризы, доспехи, рубахи, порты — и все они ходят и действуют сами по себе (Полякова 1985: 125–126).

Читать Рериха невыносимо скучно. В томах его биографий, где собраны десятки фотоснимков художника, нет ни одного, где бы он был с улыбкой, живой и непосредственный. Везде суровость, напряженность, поза величия. Таков он был и в жизни. Лидер кадетов В. И. Гессен, которому довелось коротать с ним время в Сортавале в годы революции, описывает его так:

> «Напрягая всю пытливость, вглядываюсь в его умное сосредоточенно серьезное, монгольского типа лицо. Чуть заметная косоватость глаз подчеркивается скошенным резко вправо взглядом, он не любит смотреть собеседнику в упор... Он обо всем говорил серьезно, тщетно силюсь вспомнить улыбку на его лице, да она и не подходила бы к нему, нарушала бы стильность» (цит. по: Дубаев 2003: 179).

К родным он относился сухо и жестко. Жену и сына, болезненно переносивших высокогорье, не щадил и не прерывал восхождения даже тогда, когда они теряли сознание. Матери, бедствовавшей в Ленинграде, за всё время прислал от своих миллионных доходов 40 франков (на два фунта леденцов) — поддерживал ее другой сын, Владимир, из Харбина. Помолвку сына Юрия по горячей любви велел разорвать, поскольку этот брак мешал его индийским планам.

Все единодушно отмечают в нем маниакальное тщеславие. В сущности, это была психопатия, психическая патология: видения, голоса, общение с духами, одержимость сверхидеей, убежденность в собственной миссии. Психиатрам надлежит решать, в какой мере это был психически больной человек, но что он был по крайней мере на грани мании величия — несомненно. Неслучайно его активных и яростных поклонников зовут «рерихнувшимися». Первым «рерихнувшимся» был сам Рерих.

Его поклонники, верящие в его философски-религиозную миссию и магические способности, с негодованием отвергают новейшие

разработки его биографии, Дубаева и Росова, в которых он выступает мистиком и великим политиком. Я склонен и эту сторону его деятельности воспринимать скептически, поскольку отличаю политика от политикана. Он был незаурядным художником, променявшим свои художественные задачи на роль всесветного баламута.

9. Археология. Однако маньяки такого рода, при несомненном сдвиге психики, внешне долго способны производить впечатление нормальных людей — они совершают целесообразные действия, практичны, порою проявляют исключительную изощренность в достижении своих целей, даже талант, и заражают близких своей энергией. Нужно оценить, в какой мере археология, которая была лишь одним из средств в достижении великих целей, пострадала от пребывания в системе деяний и устремлений патологической личности. Могла ведь и не пострадать, а активность личности налицо.

Начало осмысления Рериха как археолога принадлежит А. П. Окладникову и его ученику В. Е. Ларичеву. Окладников в нескольких статьях в 70-е — начале 80-х гг. (1974; 1976; 1980) оценил вклад Рериха как «на уровне того времени» передовой, а самого Рериха признал крупным археологом. Но в 70-е гг. вообще деятельность покойного Рериха была официально признанной, сын его Святослав именно в 1974–1975 гг. выступал в Москве с большой выставкой картин очень кстати — был самый расцвет дружбы с Индией, первое правление Индиры Ганди. А Окладников был известен чутким вниманием к веяниям официальной идеологии (Формозов 2004б: 97), так что вполне полагаться на его оценки не стоит. Ларичев (1976; 1985; 1993; 2000, ср. Ларичева 1980) опирался на Рериха как на своего предшественника в выявлении скульптур каменного века (находки Сыи и т. п.), которые, однако, были расценены ведущими экспертами (в специальных коллективных публикациях) как естественные образования. Тут может быть заподозрена сугубая субъективность.

Е. А. Рябинин (1998; 1899) рассматривал только работы Рериха на Ижорском плато. Он нашел, что Рерих действовал новаторски и углубил существующие представления о средневековой археологии Северо-Запада Руси, а его новаторство заключалось прежде всего в синтезе художественной тематики с материальными свидетельствами. Когда Рябинин работал над этой статьей, он был уже много лет в очень болезненном психическом состоянии. Возможно, на него повлияла позиция авторитетного для него Г. С. Лебедева, мотивы которой я уже отмечал.

В 2002 г. в Новосибирске вышла книга трех авторов — О. В. Лазаревич, В. И. Молодина и П. П. Лабецкого — «Рерих — археолог» (Лазаревич и др. 2002). Для Лазаревич это ее кандидатская диссертация (1999; Молодин и Лазаревич 2000) — на этой основе книга создана; Лабецкий был прекраснодушным и страстным почитателем Рериха (веровал в него) и, скончавшись преждевременно, оставил любивших его друзей-товарищей в тоске — они решили почтить его память этой книгой, включив в нее его эссе; Молодин — молодой академик из школы Окладникова, известный (вместе со своей супругой) раскопками нового Пазырыка и другими открытиями; он пишет обычно интересно и здраво. Доля каждого из авторов в общем труде не отмечена, но это в данной связи и неважно.

В книге две основных части: одна посвящена археологии России, другая — Центральной Азии. Они и хронологически разделены: русской археологией Рерих занимался до революции, центральноазиатской — после.

К русской археологии Рерих подключился еще с детства. Побывал девятилетним мальчиком на раскопках курганов с медиком и полевым археологом Л. К. Ивановским, знакомым отца. Четырнадцатилетним гимназистом увлекся раскопками, как увлекался многими другими занятиями. В 1892 г. он уже предпринял самостоятельные раскопки, получив необходимые советы А. А. Спицына. Находки сдал в гимназию. Студентом-юристом и художником начал сотрудничать с Археологической комиссией — с 1894 г. (брал «Открытые листы», делал отчеты. Вступил в Русское Археологическое Общество в 1896 г., с этих пор до 1907 г. делал там сообщения, проводил раскопки по их поручению. В 1899 г. первым из археологов обследовал памятники на пути из варяг в греки (впоследствии это повторил Лебедев).

В 1902–1903 гг. проводил работы на памятниках неолита. К неолиту он отнес курганы Северо-Запада, по-видимому, не сумев разделить комплексы неолита и бронзового века, но керамику и янтарные подвески правильно увязал с открытой ранее князем П. А. Путятиным Бологовской стоянкой. У озера Пирос обнаружил и распознал кремневые фигурки и отнес их к неолиту, тогда как Н. И. Веселовский первоначально заподозрил в них подделки. Ларичев заявляет, что распознать их мог только человек с художественным воображением — это явное преувеличение: в других местах распознавали и обычные археологи. Подозрение Веселовского было разумной и правомерной осторожностью.

Неолит Рерих отнес к I веку до н. э., что «для того времени» было грубейшей ошибкой. Но ведь он в археологии был самоучкой — А. Гидони (1994: 83) ставит это ему в плюс — и по сути дилетантом. Он сумел освоить методику раскопок и фиксации в лучшем для того времени виде, но оставался дилетантом в остальном.

До него Ивановский раскопал в Петербургской губернии около 7 тысяч курганов. К ним Рерих добавил еще несколько сот. Как констатирует Спицын (1899а: 324), новых типов вещей Рерих не обнаружил, но, благодаря большей тщательности и детальной фиксации, уточнил подробности погребального обряда, выявил его новые типы. Это, конечно, важно, но принципиально нового здесь нет.

Из обследования Рерихом городищ выделяются работы 1910 г. в Новгороде Великом. Рерих вместе с Макаренко заложил разведочные траншеи на Детинце, обмерял башни и стены Кремля, обследовал Рюриково городище. Установил, что есть глубокий культурный слой и что в нем много деревянных построек. Рассорившись с местным обществом любителей древности, прервал экспедицию и отбыл. Полевого отчета так никогда и не представил, хотя, как бы великому ученому ни препятствовали эти пигмеи — местные краеведы, отчет представить полагалось.

Оценка Рерихом роли скандинавской культуры в этногенезе восточных славян показательна. «Для "русских территорий", — пишет он (1991: 114), — значение скандинавов особенно значительно. Упсала доставила нам человекообразные божества. Фиорды дали судоходство. Варяги — боевой строй». Он говорит о колонизации этих земель норманнами, о том, что они не поработители, что «скандинавский век» — не поверхностное явление местной истории. Три автора книги трактуют эти речения (которые вполне в духе того, что называют норманизмом) так: «Рерих, пожалуй, наиболее близко по сравнению с археологами того времени подошел к решению "норманнского вопроса"» (Лазаревич и др. 2002, гл.1, §3). Если это решение норманнского вопроса, то я — бегом в антинорманизм!

В экспедициях по Центральной Азии археология была лишь одной из прокламируемых целей, отнюдь не основной. Раскопок почти нигде не производилось, только разведки и поверхностные сборы. Любые разведки в этом малообследованном районе мира, конечно, приносят интересные результаты — в этом отношении экспедиция Рериха не отличается от других в этот район. Сбор полевых фактов — единственный стоящий результат рериховских экспедиций.

Археологические цели Рериха совершенно ненаучны. «Кто поставил эти камни вместе?» — задается он естественным для археолога вопросом о мегалитических сооружениях. И отвечает: «Как они называются, были ли они праотцами готов или их внуками (какие готы в Центральной Азии?! — Л.К.). Существовали ли у них глубинные связи с кельтами или аланами или скифами. Но я радуюсь тому, что на вершинах Транс-Гималаев я видел олицетворение Карнака» (Рерих 1994а: 66). Это ответ верующего мистика, а не археолога.

Конечной целью археолога является научная реконструкция прошлой жизни по материальным остаткам. А вот как оценивает изучение палеолита Рерих: «Научные постройки в пределах древнего камня — опасны. Здесь возможны только наблюдения художественные. За этими наблюдениями очередь. Будущее даст только новые доказательства» (1991: 104). Промахнулся пророк. Картины Васнецова и его собственные остались сказочными и ныне выглядят грубо ошибочными, а убедительно реконструировать даже художественные явления ранней первобытной жизни позволяет наука: археология, палеоантропология, палеогенетика.

Итог моего анализа таков: археология была хобби Рериха, он был в ней активным дилетантом, освоившим полевую методику на вполне профессиональном уровне, но только ее. Собранные им полевые материалы представляют профессиональный интерес, но крупным археологом Рериха считать не получается. Если бы он не был одновременно известным художником и не претендовал на роль духовидца и мыслителя, его археологическая деятельность не была бы замечена никем, кроме узких профессионалов, исследовавших Ижорское плато, интересующихся началом изучения Новгорода и собирающих сведения о Центральной Азии. Все его статьи вне полевой тематики поверхностны, банальны и бесполезны. Его потуги на решение научных вопросов смешны. Для того чтобы стать настоящим археологом, он был слишком маниакален.

Почему серьезные археологи впадают иной раз в ослепление и преклоняются перед такими маньяками и мистиками, это занятный психологический феномен. Но разгадка его лежит не столько в личности Рериха, сколько в каких-то психологических установках самих этих археологов — в их склонности к ультрапатриотизму, или к преклонению перед Востоком, или к эзотерическим исканиям (у каждого свое), а отсюда сбои в оценках вполне очевидных вещей.

Злодей и гений?

К. С. Мережковский

Сам хозяин был черен, как в дегте,
У него были длинные когти,
Гибкий хвост под плащом он прятал.
Жил он скромно, хотя не медведем,
И известно было соседям,
Что он просто-напросто дьявол.

Н. Гумилев. Сказка. 1912.

1. В тени младшего брата. Широко известен Дмитрий Сергеевич Мережковский — один из писателей, поэтов и критиков Серебряного века, символист, богостроитель и муж столь же знаменитой поэтессы Зинаиды Гиппиус. Константин Мережковский, его старший брат, почти неизвестен, он почти всё время был в тени своего знаменитого брата, хотя фигура это гораздо более значительная. Но если он и бывал известен, то не учеными трудами, хотя они могли бы составить его славу, а скандалами.

Дмитрий Мережковский, писатель, поэт и критик

Он был правоведом, биологом и археологом, причем в археологии его вклад был настолько значителен, что А. А. Формозов посвятил ему две с половиной страницы (1961: 70–80, 82) из 124 страниц своей истории русской археологии, из 9 портретов один — его. Через 22 года Мережковскому Формозов

отвел целую главу в своей книге «Начало каменного века в России» (Формозов 1983: 57–70), говоря, что «это странная, загадочная фигура». «Его исследования в Крыму продолжались два полевых сезона — 1879 и 1880 гг., но за короткий срок сделано им столько, сколько иные археологи не смогли совершить за всю жизнь» (Формозов 1983: 58). Формозов удивляется тому, что Мережковский затем совершенно забросил археологию и свои открытия.

Формозов, повторяя своего учителя С. Н. Замятнина, предполагает, что, как и многих шестидесятников, Мережковского сломила победоносцевская эпоха реакции. С другой стороны, Формозов на сей раз подробнее вошел в биографию Мережковского и увидел, что у того выпали из жизни полгода, проведенных в психлечебнице, а в 1914 г. разгорелся скандал в связи с его обвинением в каком-то извращении. Замятнин считал, что никакого преступления и извращения не было, а Мережковский сам оболгал себя от изломанности. Формозов впал в сомнения: с одной стороны, некоторые обвинения ничтожны: ходил по своей усадьбе в трусиках, заставлял жену ходить босиком; с другой — слишком многое говорит о виновности, «но и о душевной болезни надо помнить».

В 2003 г. вышел толстенный труд (больше тысячи страниц) М. Н. Золотоносова о Константине Мережковском «Отщеpenis Серебряного века» — первая книга запланированной дилогии о братьях Мережковских (вторая будет называться «Шестой палец»). Собрав огромный материал, Золотоносов, как ни странно, пропустил книги Формозова. Но зато в этом труде раскрывается суть обвинений в адрес Мережковского — педофилия, сопряженная с садизмом, растление 26 девочек и 5 мальчиков. Поскольку профессор Мережковский имел очень сильные связи в самых верхах и был видным монархистом, антисемитом и патриотом, власти медлили с его арестом, дали ему бежать за границу, так что суда так и не было. А раз преступление не было установлено судом, значит, действует презумпция невиновности, и он не преступник.

Золотоносов трактует Мережковского как человека Серебряного века, а люди этого века были, подобно людям итальянского Возрождения, высокоодаренными и аморальными. На следующий год Формозов перепечатал свой очерк о Мережковском в книжке «Рассказы об ученых» (2004). Выводу Золотоносова он не верит: по всем параметрам Мережковский — шестидесятник, а не человек Серебряного века, он нигилист с проблемами Раскольникова. Формозов (2004: 63) считает, что у Золотоносова, несмотря на огромный сбор материала,

недостаточно критики источников. «Не всё, что он нашел в газетах, следует принимать на веру».

Ну, приведенная золотоносовская оценка героя действительно не убеждает. Не очень трезво выглядят и обильно представленные фрейдистские психологические гадания насчет мотивов и *возможных* сексуальных деяний героя. Но подбор газетных статей 1914 г., напротив, очень убедителен, потому что презумпция невиновности в российских пореформенных судах действовала, и ни одна газета не стала бы рисковать, излагая клеветнические измышления, — это было чревато судебными процессами с колоссальными штрафами.

Неслучайно к фразе, что Мережковский, пережив кризис, сломался, Формозов всё-таки добавил в перепечатке (2004: 62) окончание: «превратился в опасного садиста и маньяка». Превратился или был таковым и раньше? Это предстоит выяснить. Вероятно, стоило бы также выяснить, в какой мере извращение овладело натурой Мережковского — сказывалось ли оно на его творчестве. И, конечно, в данном контексте нужно выяснить, какое место занимали среди его многих увлечений занятия археологией, в каких они отношениях с другими его увлечениями, научными и далёкими от науки. Быть может, некоторые загадки Формозова станут менее загадочными.

2. Род, семья, образование. Дед Константина и Дмитрия Мережковских был выходцем с Украины, происходя их войсковых старшин. Поступив при Павле в Измайловский полк, он сменил малороссийскую фамилию Мережки на звучащую ближе к российским. Второй дед, по материнской линии, Чесноков, управлял канцелярией петербургского обер-полицмейстера. Отец поднялся еще выше — дослужился до тайного советника (генерал-лейтенанта), столоначальника в Дворцовой конторе, выполнял доверительные поручения царя Александра II и членов царской семьи, был осыпан орденами и царскими дарами. Имел шестерых сыновей и трех дочерей. Был человеком суровым, черствым, сухим и далеким от своих детей.

Разница между старшим сыном, Костей, и младшим, Дмитрием, — 10 лет. Костя с детства знал языки — французский, английский, немецкий, латынь, итальянский. Он был отдан в училище правоведения, учился там успешно, но оттуда не пошел по чиновничьей части, а в 1875 г., т. е. двадцати лет, поступил в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета. В атмосфере 60-х гг. он вырос нигилистом и атеистом, о чем осудительно писал в своих стихах младший брат Дмитрий:

Был Костя, старший брат мой, правоведом,
Но поступил он, возмутившись вдруг
И полный нигилизма модным бредом,
На факультет естественных наук.
...Смеясь над чортом и над Богом,
Он всё, во что я верил, разрушал.
(Мережковский 1914б: 45)

Золотоносов предполагает, что отец их порол детей, а втайне любовался порнографией, и это подметил Константин, в училище же правоведения Константин должен был подвергнуться гомосексуальным домогательствам старших, потому что об училище ходила такая слава. И что всё это сформировало в Константине сексуальные отклонения, позже проявившиеся. На деле о подобных обычаях в доме Мережковских мы не знаем ничего, вполне возможно, что их и не было (как раз известно, что отец был настроен избавить своих детей от страданий — см. Золотоносов 2003: 19, 21), а в училище правоведения гомосексуальные приключения не могли быть поголовными. Причины формирования садизма плохо исследованы, но как-то связаны с формированием злого характера вообще, стремления унижать и причинять боль; причины педофилии исследованы еще хуже. Вместо того чтобы подгонять ситуацию под фрейдистские догадки, лучше просто признать, что условия в этой большой и холодной семье как-то способствовали заложению в характере Константина, от природы нервном и истеричном, эротической тяги к детскому возрасту и садистских склонностей.

3. Университет, археология и антропология. Пребывание Мережковского в Университете носит двойственный характер.

С одной стороны, под руководством профессора Н. П. Вагнера студент начал с энтузиазмом вести научную работу и добился быстрых успехов. Изучая диатомовые водоросли и губки Белого моря, он делал доклады в заседаниях Общества естествоиспытателей. Студент очень талантлив: его статьи приняты в печать в России и за границей.

С другой стороны, он плохо сдает сессии и на втором курсе остается на второй год. Дело в том, что он слишком увлекся научной работой и завалил сессию. Кроме того, в январе 1878 г. он поссорился с отцом и ушел из дома. Брат рассказывает об этом в тех же стихах: зайдя домой, Константин поделился своим восторгом по поводу оправдания Веры Засулич, стрелявшей в генерал-губернатора Трепова.

Отец возмутился. Сын сослался на Спенсера, отец на Бога. «Бога нет!» — возразил сын. Отец выгнал его из дома (объяснив матери: «Он может повредить моей карьере»), но по уговорам матери положил ему скромную месячную плату. Пришлось устроиться на работу консерватором анатомического кабинета. Это тоже отнимало время от учебы.

Константин Мережковский в студенческие годы

Правда, в другом воспоминании («Автобиографическая заметка») Дмитрий Мережковский (1914а: 110) относит ссору Константина с отцом к разногласиям по поводу убийства царя Освободителя, т. е. к 1881 г. Могли быть ссоры по обоим поводам.

В 1878 г. вышло отдельной книгой исследование студента Константина Мережковского «Этюды над простейшими животными Юга России». За работу «Губки Белого моря» был удостоен золотой университетской медали.

Именно в это время 25-летний студент Мережковский ни с того ни с сего занялся обследованием Крымских пещер в поисках следов каменного века. Возможно, каменный век привлек его своим наглядным противоречием библейской истории. Бывая в Ливадии по месту службы отца в это время, за два года, 1879 и 1880, он заложил шурфы в 34 пещерах и в девяти нашел культурные слои палеолита. Поздний палеолит был хорошо представлен в двух пещерах — Сюрень I и Качинский навес. За следующие 100 лет новых памятников этого периода в Крыму не найдено. Первое поселение более древнего времени — эпохи мустье — обнаружено Мережковским в Волчьем гроте на реке Зуе. В гротах Сюрень II и Черкез-Кермен найден и мезолит. Между тем у Мережковского к этому времени не было никакого археологического опыта и не было школы. Он же по образованию правовед и биолог.

Он не ограничился этими выдающимися полевыми открытиями. В это время в научной литературе обсуждалась проблема

хиатуса — зияния, разрыва между палеолитом и неолитом. Мережковский предположил, что разрыва на деле не было, что он был заполнен микролитическими культурами типа Кизил-Кобы, что́ впоследствии подтвердилось.

Опубликовал несколько статей и полевых отчетов, собирался издать монографию «Очерк каменного века в Крыму», подготовил для нее таблицы. Обратился в Министерство просвещения с просьбой о финансировании издания (требовалось 4 тыс. рублей), но Министерство ему отказало. Монография не вышла.

В 1880 г. Константин получил диплом университета со степенью кандидата (тогда это не была высокая научная степень, а нечто типа современного диплома). Он становится фактически ассистентом профессора Николая Петровича Вагнера. Вагнер, сыгравший большую роль в судьбе Мережковского, был крайне любопытной фигурой. Кроме научных исследований по зоологии, он известен своими «Сказками Кота-Мурлыки». Кроме того, он вместе с профессором химии А. М. Бутлеровым увлекался спиритизмом и старался приобщить к этому увлечению своего ассистента. Однако в собственных заметках Вагнер пишет, что Мережковский вначале с обычной своей горячностью взялся искать способы, какими можно было бы убедить всех в существовании этих явлений, но затем впал в свой обычный скептицизм. Не поверил в фотографирование «психической индивидуальности», то есть души, выделяемой из физического тела и способной проводить физические воздействия (Золотоносов 2003: 356–357). А ведь это основа спиритизма. (К концу 80-х в спиритизм неожиданно впал отец Мережковского.)

Но другая особенность профессора Вагнера была для Мережковского более привлекательной — это ярый антисемитизм. Не знаю, как дарвинизм Вагнера уживался со спиритизмом, но с антисемитизмом он уживался очень хорошо — как «социальный дарвинизм». Вагнер, отстаивая естественный отбор, считал, что естественным отбором в конкуренции евреи сформированы как очень совершенный вид, адаптированный лучше других к современному миру, поэтому они опасны для всех народов: во всех ситуациях с нормальной конкуренцией они побеждают. Вагнер опубликовал юдофобский роман «Темная власть», писал антисемитские рассуждения в научных произведениях. Как истый спенсерист и дарвинист, Мережковский склонен был этому верить. Привыкший в доме отца к видению клик, заговоров, к всемогуществу скрытых связей, он легко поверил в существование

Осенью Мережковский был командирован за границу для подготовки к профессорскому званию (этот статус примерно соответствует современной аспирантуре). Командировку он получил на год, но выхлопотал продление еще на год.

В Берлине Мережковский работал в лаборатории Вирхова, в Париже сотрудничал с Мортилье и его Антропологической школой и Антропологическим обществом, печатался в их изданиях, в Неаполе работал в биологической станции.

Возвращается в Россию в 1883 г. и, согласно автобиографии, назначается приват-доцентом, читает лекции по зоологии в Петербургском университете. В списке профессоров и преподавателей физико-математического факультета, вышедшем после 1919 г., он указан приват-доцентом, но в протоколах заседаний он значится только консерватором (Тихонов 1992: 102). Он и не мог быть приват-доцентом, так как для этого нужно было иметь степень магистра. Видимо, приват-доцентом он назначен вопреки отсутствию степени, в порядке исключения, и это не везде отражено.

Но неожиданно в 1884 г. его тематика радикально меняется: он пишет работу «О задачах и методах исследований физического развития детей». То есть о методах измерений детского тела. Это была бы непонятная, но несущественная смена занятий. Но так как мы знаем, куда привела линия жизни Константина Сергеевича, эта смена занятий может быть вполне правомерно поставлена в связь с его коренными и, видимо, властными эротическими интересами.

Но с антропологией Мережковского связывают не только эти измерения, но и коллекционирование черепов. В Крыму он произвел раскопки на старых татарских кладбищах и добыл около 70 черепов и 2 целах скелета, приобрел покупкой три десятка черепов караимов, в Финляндии прикупил еще три десятка финских черепов. Всего 143 черепа. Его явно интересовали проблемы расового анализа. То есть антисемитизмом дело не ограничивалось — в повестку дня вставало вообще сравнение рас, их судьба.

Вскоре вслед за этим Мережковский бросает Университет (в 1885 г. отказался от ассистентства, с 1886 г. — в отставке), оставляет Петербург и в 1886 г. уезжает (бежит?) в Крым и на Кавказ, уже оттуда присылает дарственное письмо в Кунсткамеру Академии наук — дарит ей свои археологические и краниологические коллекции, потом поселяется в Крыму. Коль скоро так, Золотоносов резонно реконструирует *некое событие* 1884 г., которое заставило его это всё проделать. Это событие — либо педофильский скандал

(каких потом было немало), либо душевная болезнь, вызванная чрезмерным увлечением спиритизмом и коллекционированием черепов (причины явно надуманные). В последующих журналистских расследованиях фигурирует некое пребывание в психлечебнице в течение полугода в 1885 г. Но и пребывание там могло быть лишь бегством от суда и скандала.

4. Прозябание в Крыму и укрытие в Америке. Скрылся ли он от скандала или уехал долечиваться от психического заболевания, но в Крым прибыл совсем другой человек. Не ученый, не исследователь, а рядовой обыватель. Поселившись в имении, выделенном ему отцом, он в течение первых ДЕСЯТИ лет ничего не пишет и не публикует — по 1894 г. Занимается виноградарством. Через несколько лет женился на 25-летней институтке, в 1890 г. у четы родился сын Борис. Затем жена покинула Мережковского по неизвестным причинам. По усадьбе он расхаживал не в трусиках, как написано у Формозова, а в пенсне и шляпе, подпоясанный шнурком, за который был заткнут носовой платочек. И никакой другой одежды — это ранний нудизм. С сыном он более не общался.

В 1893 г. его назначают заведующим Крымскими садами удельного ведомства, то есть садами царской фамилии. Видимо, не обошлось без протекции отца. Начал печатать кое-что по виноградарству и садоводству. В 1897 г. он работает уже на Севастопольской биологической станции. Он скандалил по мелочам со своими рабочими и с начальством, склочный был человек.

Золотоносов подметил, что своего фон Корена из «Дуэли» А. П. Чехов, скорее всего, списал с него.

> «Это натура твердая, деспотическая... Все серьезные ученые работают на биологических станциях в Неаполе и *Villefranche*. Но фон Корен самостоятелен и упрям: он работает на Черном море, потому что никто здесь не работает; он порвал с университетом, не хочет знать ученых и товарищей, потому что он прежде всего деспот, а потом уж зоолог. И из него, увидишь, выйдет большой толк. Он и теперь уж мечтает, что когда вернется из экспедиции, то выкурит из наших университетов интригу и посредственность и скрутит ученых в бараний рог. <...> Он работает <...> не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов, как человечество, будущие поколения, идеальная порода людей. Он хлопочет об улучшении человеческой породы, и в этом отношении мы для него только рабы...» (Чехов 1955: 418–419).

Рабы, улучшение человеческой породы, будущие поколения... Отметим эту примету, выдающую хорошее знание Чеховым прототипа фон Корена.

И вдруг — новое чрезвычайное событие заставляет его бросить всё и скрыться в Америку. Можно предположить новый скандал, новое обвинение в педофилии. Журналистское расследование 1914 г. подтверждает это. О Мережковском крымского периода рассказывали, что он брал 12-13-летних девочек в прислуги и развращал их, не стесняясь жены. Одна из совращенных подала в суд. Узнав об этом, Мережковский и бежал в Америку (Золотоносов 2003: 225). В США он миновал большие города восточного побережья, где много русских, а устроился жить в Калифорнии, в Беркли, близ Сан-Франциско. О жизни в Америке слухи те же. Он попытался соблазнить дочь соседнего фермера-вдовца. Тот посадил его с манатками на фургон, вывез к железнодорожной станции и объяснил, что спасает от позорной смерти — если бы соседи дознались, то повесили бы его на ближайшем телеграфном столбе. Пришлось сменить город — переехал в Лос-Анджелес и жил там под именем У. Адлера.

В Америке он прожил четыре года. Постепенно наладились связи, начались публикации 1900–1901 гг. в американских изданиях. Из России пришли сведения, что одни его жертвы успели выйти замуж, другим заплатили его друзья, всё улажено. В 1902 г. 47-летний Мережковский сумел вернуться в Россию.

5. Рай земной. В 1903 г. в Берлине Мережковский издал роман-утопию «Рай земной, или Сон в зимнюю ночь», который было совершенно невозможно издать в России. Не из-за сексуальной откровенности (там ее нет), а из-за отвержения христианства. Полагают, что роман был написан в Америке в 1899–1900 гг.

Вопреки Формозову, ничего порнографического в романе не найти. Тем не менее роман шокировал викторианскую публику. Автору приснился XXVII век. Как он себе представляет жизнь через семь веков, говорит о его идеалах, об идеальном с его точки зрения устройстве общества, и это напугало читателей. По Мережковскому, человечество пришло в двадцать седьмой век сильно уменьшенным. Умеренные широты, то есть Европа и Азия, не заселены. Жизнь сосредоточена в тропиках, в частности — на океанских островах. Все человечество разделено на три категории, можно сказать, на три расы, даже три отдельных вида, биологически сильно различающихся. То есть искусственным отбором выведены новые породы людей. А прежние

расы сведены на нет путем систематической медикаментозной стерилизации. Что же это за три вида?

Первый вид — «друзья». Это люди, очень красивые и вечно молодые. Они по физическому типу приближены к детям. У юношей пушок вместо усов, огромные глаза. У женщин с большими глазами сочетается крохотый ротик, груди неразвиты, бедра узки. Рожать им не нужно, есть кому позаботиться о предотвращении беременности. Они ходят абсолютно обнаженными, играют, занимаются любовью, доживают в состоянии счастья лет до сорока в неизменно юном виде, после чего заболевают и быстро дряхлеют, смерть им облегчают искусственно — с помощью анестезирующего средства под названием «нирвана». Немногие «матки» специально выращиваются не столь эстетичными — они для рождения новых «друзей». Оплодотворение совершается искусственно под наблюдением ответственных по евгенике. Семени всего нескольких мужских производителей достаточно для продолжения всего человечества, хотя количество мужских и женских особей примерно равно.

Другой вид людей — «рабы». Это коренастые мускулистые особи с маленькой головой, выведенные из африканских лесных племен, обладающие достаточной смекалкой для работы по узкой специальности (дойка коров, выращивание овощей и т. п.), но совершенно лишённые самостоятельного ума. С собачьей верностью и послушанием они служат господам и счастливы угождать им.

Третий вид — «покровители». Они очень умны и следят за тем, чтобы все текло по установленному руслу. Они живут долго, до 200 лет, стареют, но вида не портят, потому что их немного и стареющее тело прикрывается одеждами.

Если кто-то выбивается из этих норм, например, кого-то из «друзей» потянет к науке или искусству или кто-то из рабов проявит недовольство, его изолируют (есть специальные поселения) и стерилизуют. Потомства с такими злостными качествами от него не будет. А как же прогресс? Так никакого прогресса не нужно. Он вреден для счастья. Для полного счастья нужно быть свободными от труда, забот, играть на природе и заниматься сексом со взрослыми людьми, имеющими внешность и психику детей. Заниматься этим можно прилюдно, стесняться тут нечего.

Ни семьи, ни хозяйства, ни денег, ни торговли, ни войн, ни армии, ни партий, ни политики нет.

К этой сказке-утопии присоединено теоретическое приложение. Достаточно перечислить его главы: 1. Прогресс отвратителен.

2. Прогресс бессмыслен. 3. Неизбежен ли прогресс в человечестве? 4. Необходимость заговора и насилия. 5. Заколдованный круг. 6. Материя и дух. 7. В чем счастье? 8. Счастье это или скука? 9. О труде. 10. Осуществима ли идея христианства? Разумеется, неосуществима.

Это теоретическое введение представляет собой обоснование всего того, что изложено в утопии, чтобы было видно, что всё это излагалось не для забавы, не как игра в парадоксы, а всерьез. Прогресс отвергается всерьез — это программа для ультраконсервативной партии. Счастье — в свободе от труда, а значит, в том, чтобы жить без труда, заставив других на себя работать. Для такого переустройства мира нужно насилие и заговор. Христианские догмы не годятся для осуществления этой программы, они слабы и скучны, значит, их нужно отвергнуть.

Вот такая программа выдвинута в противовес революционному движению и трудовой партии, другим рабочим и левым партиям за несколько лет до первой русской революции.

Нетрудно заметить, что в этой утопии соединились по меньшей мере две тенденции. Первая — сугубо личная. Это педофилия самого автора. Он возвел в идеал и норму занятия сексом с партнерами, имеющими внешность и психику детей, — что ему и было по вкусу. При этом как биолог он подвел под это научную базу: в самом деле есть в биологии тенденция, по которой у видов, развивающих интеллект, образуется продленное детство, растянутое детство (например, у человека по сравнению с обезьяной). У биологов это называется *неотенией*. У некоторых видов неотения доходит до того, что на детский период падают какие-то способности размножения (например, размножаются гусеницы, то есть детеныши). В своих исследованиях он занимался этим феноменом.

Вторая тенденция — улучшение человеческой породы путем селекции, искусственного отбора. Это *евгеника*, опирающаяся на *«социальный дарвинизм»*. Тут тоже использован научный багаж биологии. Отсеиванием слабых и увечных профессора-евгеники каждой нации надеялись улучшить ее генетический фонд. Расисты, проецируя отбор на прошлое, логически вывели из этих постулатов превосходство своих рас, в частности «нордической расы» германцев. Нацистские реализаторы евгенических и расистских программ сделали евгеническую и расистскую установки радикальными и безжалостно жестокими. Мережковский достаточно рано включился именно в *расистскую* реализацию евгенических принципов. В его утопии отобраны для существования только люди латино-романской

расы с небольшим добавлением славянской. Негры и монголоиды сметены с лица Земли. Евреи («семитическая раса»), разумеется, тоже — начисто. Им не место в сексуальном раю Мережковского. Впрочем, немцам тоже.

Учитывая воинственную настроенность Мережковского против прогресса, его абсолютный консерватизм, его расистский запал и введение «рабов», учитывая всё это, его стремление реорганизовать человечество позволяет относить его идеи к ранним проявлениям фашизма, причем в нацистском варианте. Это нацизм до Гитлера.

С этими идеями прибыл в Россию биолог Мережковский, имея за душой несколько десятков талантливых работ по биологии и связи в верхах, нажитые отцом при дворе. Идеи напрашивались на реализацию. Но вокруг был не двадцать седьмой век, а самое начало двадцатого. Если что и можно реализовывать, то по частям и кустарно.

6. Казанский профессор. Профессор А. А. Остроумов, знакомый по Севастопольской биостанции, пригласил его на кафедру ботаники в Казанский университет, для начала хранителем зоологического кабинета. Уже в 1903 г. Мережковский защитил магистерскую диссертацию по ботанике. В 1904 г. назначен приват-доцентом. Декан Н. В. Сорокин стал продвигать его в профессора. Тут нужно было голосование профессуры. Поскольку Мережковский был мало известен в казанской ученой среде, факультет его не принял. Но тут Мережковский пустил в ход свои старые (отцовские) связи — знакомство с министрами просвещения и внутренних дел, даже с премьер-министром Столыпиным, и его назначили профессором вопреки желанию факультета. Противодействие своему внедрению на факультет сам Мережковский был склонен объяснять еврейским заговором, сплочением левых профессоров еврейского и вообще инородческого происхождения. Сам он занял на факультете крайне правую позицию, сдружился с самыми правыми профессорами Залесским и другими, стал активно поддерживать антисемитскую прессу, в том числе и деньгами, что, конечно, еще более возбудило против него либеральную часть профессуры и даже студенчество.

Профессор Константин Мережковский

Но лекции он читал отлично, интересно и зажигательно, они часто кончались аплодисментами. Его научные исследования казанского периода содержат новую разработку теории эволюции, он прокладывал путь теории симбиогенеза. Через почти век его идеи высоко оценены выдающимся биологом академиком А. Л. Тахтаджяном и другими учеными.

В 1906 г. Мережковский стал доктором ботаники. В 1908 г. его смогли назначить профессором ботаники, сначала экстраординарным, потом ординарным. Новоиспеченному профессору было 53 года. Но его талантливые работы были известны немногим, оценены единицами, и то много лет спустя. А вот его правые увлечения, борьба с либералами, преследование инородцев, скандалы — это видели все.

Интересный отзыв о Мережковском дал позже ректор Петербургской духовной академии, епископ Анастасий, прежде профессор и ректор Казанского университета Александров:

> «Мережковский всегда на меня производил впечатление ненормального человека. Я старался не иметь с ним никаких дел. Этот человек был способен на какое угодно преступление, лишь бы отомстить не угодившим ему в политическом отношении. На всех профессоров вечно сыпались доносы... Мне досконально известно, что профессор Мережковский имел огромное влияние в Министерстве народного просвещения и многие профессора не утверждались благодаря его аттестациям-доносам: в одних он видел революционеров, в других — защитников евреев, в третьих — своих личных врагов и т. д. <...> Человек он был очень злой и ко всем относился с подозрением. В своих письмах к различным людям он жаловался на неверность своих друзей. Все ожидали, что Мережковский в конце концов должен кончить плохо» (Золотоносов 2003: 236).

7. Казанский маркиз де Сад. В начале 1914 г., когда профессор Мережковский приближался к 60-ти, вспыхнул очередной скандал, в котором открылись и многие его «проказы» за предшествующие годы. Дело в том, что он издавна искал возможность взять на воспитание маленькую девочку. Воспитывать себе одного из «друзей». В 1905 г., в условиях революционных неурядиц, это удалось. В мае был заключен договор между профессором Казанского университета Мережковским и жительницей Петербурга Коршуновой о том, что шестилетняя дочь ее Калерия переходит в распоряжение профессора

на 15 лет. Он обязуется ее содержать и воспитывать, а мать — не вмешиваться. От имени профессора переговоры вел и подписал договор некто Бачкис, в котором Коршунова впоследствии узнала самого Мережковского.

Калерия жила у Мережковского взаперти до 1914 г., то есть более девяти лет. В начале 1914 г. профессору потребовалось отъехать, он решил нанять бонну для строгого наблюдения за Калерией, так как боялся оставлять ее одну: приохотившись к сексу, она может изменить ему со студентом. Бонне что-то не понравилось, и она пришла отказаться, но не застала профессора дома. А без профессора Калерия бросилась перед ней на колени и умоляла ее забрать. Она рассказала, что профессор заставлял ее с шести лет спать вместе с ним, обучал сексуальным ласкам, а с 13 лет лишил невинности, что он истязает ее, бьет плеткой для собак. Несостоявшаяся бонна написала об этом матери г. Коршуновой, та обратилась в полицию, и дело проникло в прессу. Газеты стали писать о «Казанском маркизе де Саде». Замять было уже невозможно.

Выяснилось, что в полиции уже были данные о подобных деяниях Мережковского. Ходили слухи, что профессор заманивает сластями к себе на квартиру маленьких девочек, а одна у него живет ради удовлетворения его половой страсти. Полицейские, однако, не сумели ничего раскрыть. Отдельно от них начальник сыскного отделения Н. И. Савинский вел свое дознание. Он уже знал, что Калерия живет у профессора и как она к нему попала. В 1906 г. к профессору поступила экономкой и поселилась у него Мария Грюнберг, которая вскоре обнаружила, что он часто ласкает ее двухлетнюю дочь и уносит ее в свой кабинет. Она потребовала объяснений. Мережковский раскричался и грозил ей расправиться, ссылаясь на то, что министр Столыпин — его родственник. Грюнберг не стала поднимать дело, а просто ушла от него. В 1908 г. он упросил ее вернуться, обещая, что больше не тронет ее дочь. Та согласилась (ради денег), но всё повторилось. Женщина хотела обратиться к прокурору, но Мережковский на коленях умолил ее не делать этого. Вместе с Калерией он уехал на год за границу — сразу после убийства Столыпина, в 1911 г. А Грюнберг ушла насовсем — уже в 1913 г. Почему же ни полиция, ни сыскное отделение не предпринимали мер? А по закону такие дела можно было возбуждать только по обращению родственников детей.

Появились фамилии других девочек, которых он заманивал к себе и уводил в свой кабинет.

Мережковский бросил все дела, выхлопотал отпуск, захватил Калерию и помчался в Петербург. Там остановился в номерах гостиницы «Франция» на Морской. Мать и сестра Калерии бросились к этой гостинице и встретили Мережковского с девочкой на улице. Несмотря на долгую разлуку, мать и дочь узнали друг друга, и Калерию от профессора увели.

Вдобавок Мережковский вел долгие годы подробный дневник своих развлечений с девочками. Этот дневник, а также нескромные фотографии с ними он за два года до скандала (когда была тревога по поводу угроз Грюнберг) отдал на хранение своему другу врачу Засецкому в запечатанном виде. Собираясь бежать, он просил его послать их ему в Петербург. Но посылка была перехвачена полицией, а Мережковский думал, что Засецкий не шлет посылку, потому что его предал. В дневнике оказалось описано 26 случаев растления Мережковским малолетних девочек. Был и целый ряд фотоснимков, удостоверяющих эти акты, — Мережковский в разных позах с девочками. Есть там и какой-то другой мужчина, так что круг затянутых в дело ширился. Выявились оргии с гимназистками у помещика Сверчкова, в которых участвовали Мережковский и два директора гимназий...

Конечно, в Министерствах просвещения и внутренних дел не были заинтересованы в раздувании скандала с правым профессором. Они всячески тормозили дознание. Но загнанный в угол Мережковский совершенно утратил способности реально оценивать события. Он отправил телеграмму губернатору П. М. Боярскому и письмо министру внутренних дел Н. А. Маклакову. Губернатора он просил повлиять на Засецкого, чтобы тот вернул пакет, а Маклакова он просил вступиться за стойкого правого в трудную минуту жизни и приказать шефу жандармов провести обыски у Засецкого и его родственников и изъять пакет, который мог бы Мережковского компрометировать.

Наконец он понял, что дело плохо, и бежал за границу. Министерство дало ему отпуск, и он быстро уехал.

Газеты начали публикацию исповедей Калерии (Кары). Она рассказывала, как Мережковский хвастал перед ней своими «победами» над десятками девочек и над несколькими мальчиками, как истязал ее плеткой, но всё больше он сам искал у нее спасения.

> «Среди ночи вдруг раздались дикие крики моего мучителя. Он бился, как в судороге, и с воплем просыпался ото сна.
>
> — Кара! — стонет он. — Меня преследуют враги, спаси меня!..

Мережковский был жестокий, скупой, развратный старик, но и трусливый. Когда он чего-нибудь боялся, он делался хуже ребенка, и нам было смешно видеть его в таком виде. В последнее время он всё жаловался:

— Кара, мои враги погубят меня!

И когда раздавался звонок, он убегал в кухню и запирался, а меня высылал сказать, что профессора нет дома. Прятался за дверь, как маленький, цеплялся за мое платье и шептал:

— Кара, спаси меня от врагов! Не пускай их! Не пускай! Спрячь меня!» (Золотоносов 2003: 301–302).

В свете этого повествования идея о психической болезни выглядит не столь уж надуманной.

8. Скольжение к концу. Из-за границы Мережковский слал письма крупнейшим правым деятелям с просьбой прийти на помощь и спасти его от суда. В прессу попало его письмо Григорию Распутину со слезной мольбой вернуть его «дорогой для нас всех России», похлопотать у министра юстиции Щегловитова. Подпись: «Раб Божий Мережковский». Военному министру Сухомлинову Мережковский предложил идею превращения крепостей в укрепрайоны — действительно новую и в военном отношении ценную идею — в обмен на заступничество перед государем императором.

В мае 1915 г., отчаявшись получить помощь от своих правых друзей и соратников, Мережковский обратился к левым. Он написал либеральному члену Государственного совета проф. А. В. Васильеву:

«Правые бросили меня, тяжело раненного на поле битвы, не подобрали, не помогли. Левые так не поступают со своими честно и самоотверженно борющимися товарищами.

Обращаюсь теперь к Вам, левому, своему политическому врагу. Я сознаю всю тяжесть своей вины перед Вами, левыми. Уже одно то, что я спас антисемитический "Казанский телеграф", который совсем погибал, требовало кары. Затем я помешал занять кафедру географии в Казанском университете Львову (напутал: Льву Бергу, позже академику. — Л.К.) — как кажется, крупной шишке в левом лагере. Его наметили для подготовки будущей революции...

Осознаю себя побежденным. Я наказан, урок дан».

Далее ради науки просит исходатайствовать у государя императора прекратить судебно-следственное дело.

Наконец, в сентябре 1917 г. Мережковский посылает И. П. Бородину для издания, точнее изыскания возможности издать, рукопись

брошюры «Русским монархистам». То есть крайне правым. Он советует им для возрождения монархии и спасения России вступить в союз с международным еврейским капиталом, то есть с тайным сионистским правительством мира, которое он считал вполне реальным и побеждающим. Вот же он раздавлен, а Россия разгромлена. Нужно опереться на те силы в международном кагале, которые за порядок, за спокойствие. В благодарность за разумный совет он просит только одного...

Непонятно только у кого — у монархистов или у международного еврейства.

В 1919 г. беглец перебрался из Ниццы в Женеву. К 1921 г. он оказался в Женеве без средств к существованию. На работу его никуда не брали. Из сострадания директор Женевского ботанического музея и сада Ж. Брике предложил Мережковскому место ассистента. Тот посчитал это унизительным и отказался. Он приготовил ядовитую смесь из хлороформа с кислотами, от сосуда с этой смесью провел трубку к маске. Маску надел на лицо и улегся на кровать, привязав себя к ней ремнями. Затем открыл кран сосуда. Ему было 66 лет.

Осталась записка: «Слишком беден для жизни, слишком стар для науки». А правда была в ином: для науки он был великолепен, а для жизни слишком зол, эгоистичен и предан пагубным страстям.

9. Заключение. Мы проследили жизнь, полную открытий, чудачеств, страстей и преступлений. Но для целей данного рассмотрения нужно лишь определить место археологических исследований в общем перечне деяний Мережковского, их значение для археологии и их соотношения и связь с другими делами ученого.

Несомненно, археологические исследования в биографии Мережковского занимают очень незначительное место. Это были всего два полевых сезона — два неполных года — и еще пару лет он пытался издать книгу о своих раскопках, сумел издать лишь несколько статей.

Неизмеримо большее время он был биологом, причем очень значительным биологом. Его открытия в биологии далеко превосходят его полевые находки в археологии. Там он выдвинул основополагающие идеи, одну из крупнейших концепций строения живого мира, а здесь — лишь открыл палеолит в одном из районов тогдашней России. Высказал также догадку о промежуточной хронологии микролитов — о закрытии хиатуса. Это ценно, но, повторяю, несоизмеримо с его открытиями в биологии.

Тем не менее в истории археологии он должен быть отмечен как сделавший ценное открытие — один из открывателей, чья заслуга не меньше, чем И. С. Полякова. Если биологические исследования Мережковского имеют какие-то увязки с его политическими взглядами и даже с его девиантным поведением, то его кратковременное увлечение археологией к этому совершенно непричастно.

Встает вопрос, а разумно ли заносить в скрижали истории заслуги человека, который оказался тяжким и систематическим преступником, да и по взглядам своим был связан с темными силами — словом, был личностью, ужасающе склочной, беспринципной и неприятной? Формозов уже ставил этот вопрос. Не лучше ли не указывать, кем открыт палеолит Крыма, а просто отмечать, что он открыт в 1879–1880 гг.? Чтобы снять этот вопрос, Формозов, как и Замятнин, старался преуменьшить вину Мережковского, поставить ее под вопрос. Ныне мы лишены этой возможности. Всё достаточно ясно, хотя суда и не было.

Ясно не для всех. На сайте «Русская православная церковь за границей (частная инициатива московских прихожан храма новомучеников и исповедников российских» (rpczmoskva.org.ru) 12 июля 2012 г. появилась анонимная статья «Константин Мережковский: национальный гений в тени брата-теософа». В статье обвинения в его адрес объявляются клеветой либералов (а как быть с его дневниками, письмами и заявлениями?), да и сама педофилия рассматривается как «спорное» понятие, а к числу его заслуг относятся не только чисто научные идеи, но и то, что он организовывал отряды штурмовиков-черносотенцев и снабжал их деньгами и оружием. Выражается надежда, что его и его идеи еще вознесут в России. Ну, кто-то и возносит.

Я всё же думаю, что, осуждая преступления Мережковского и его исторический выбор, его борьбу с прогрессом человечества, его мечты о рабовладельческом строе, мы не должны забывать о его заслугах. Открытия, благие деяния, важные идеи нужно помнить, нужно знать, кто их ввел в нашу жизнь, кем бы этот человек ни был. Потому что надо всегда быть в состоянии выяснить, как и в каких условиях они порождены.

Сейчас во всем мире разгорелась кампания разоблачения и искоренения педофилии. Но справедливый гнев как-то пасует, наталкиваясь на великих мира сего, на наших кумиров.

Мы ведь наслаждаемся умной сказкой Льюиса Кэрролла об Алисе в Зазеркалье, хотя известно, что он был педофилом. Мы читаем Андре

Жида и приветствовали его как Нобелевского лауреата, а в Москве он стоял рядом со Сталиным на Мавзолее во время парада — а ведь он опубликовал свои мемуары педофила. Мы слушаем музыку Чайковского и даже чтим его, хотя он тоже любил несовершеннолетних юнцов и это достоверно известно по его дневникам. Чуть ли не весь мир поддерживал кинорежиссера Романа Поланского в его бегстве от американского правосудия.

Я нарочно подобрал близкие по аномальности фигуры. Они избежали суда, так ведь и Мережковский избежал! Недавно эта проблема снова встала в связи с обвинением в Таиланде талантливого музыканта Плетнева, руководителя Национального оркестра, гордости России. На мой взгляд, все прекрасно понимают, что обвинение верное. Но все надеялись, что суда не будет или что музыкант будет оправдан. Так и произошло.

Мне представляется, что педофилия — это болезнь, а даже не сопряженная с насилием — еще и тяжкое преступление по нашим законам. В борьбе с ней должны участвовать и суд, и психиатрия. А запинаемся мы перед осуждением гениев потому, что интуитивно чувствуем: что-то в прямолинейном осуждении не срабатывает. Что-то не додумано. Что-то мешает признать его абсолютно справедливым, обоснованным и рациональным. Ведь гении, ведь вот перед нами чаши весов, не перевесит ли чаша благ для человечества? Можно надеяться, что в каких-то случаях судьи учтут и характер отношений, искренность любви (Ромео и Джульетта), заботу, перспективы. Но собачья плетка не позволит обосновать снисхождение к Мережковскому.

А главное: если мы простим гениям, то нельзя быть беспощадными к рядовым людям. Значит, и гениев прощать нельзя. Однако приходится во всяком случае помнить об их заслугах, их окрытиях, их великих идеях. Элементарная справедливость требует: за всё должно быть воздано. За благо — честь, за зло — возмездие. Еще раз вспомним приведенный мною в очерке о Веселовском рассказ Гюго о французском матросе, по вине которого в революционное время корабль едва не погиб, но он же и спас корабль. Революционный генерал тогда снял орден со своей груди и наградил им матроса. После кликов ликования он повелел: «А теперь расстрелять его». К сожалению, гений и злодейство совмещаются в одном человеке, хотя и мешают одно другому. Соответственно, малевать одной краской — либо черной, либо белой — фигуры истории не приходится. В них совмещены оба цвета — как в памятнике Эрнста Неизвестного Хрущеву.

А при чем тут археология? А ни при чем. Просто приходится признать, что крупное археологическое открытие, как и биологические, сделано злодеем. Само открытие тоже ни при чем. Открытия же не выбирают открывателей.

Заключение

Какие же из всего изложенного можно сделать
выводы? ... одно ясно во всяком случае:
борьба за престол молодого героя
со старым царем есть явление
вполне историческое.

В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки, 1948, гл. IX, 29.

Итак, мы рассмотрели 25 фигур, составлявших цвет российской археологии до революции или претендовавших в историографии на такой статус, — пять *пионеров*, четверо *основателей*, пятеро *корифеев*, еще пятеро *открывателей*, четверо *классиков* и две *спорных фигуры*. Последних я счел всё же необходимым осветить здесь, поскольку они были введены в число самых выдающихся моими предшественниками, видными историографами российской археологии Формозовым и Лебедевым. Сам бы я их вряд ли включил в этот список.

Подразделения этого списка — пионеры, открыватели и т. д. — в большой мере условны, это мои категории историографической классификации, придуманные для удобства определения роли конкретных личностей в истории науки. Особенно это касается таких категорий, как *корифеи* и *классики*: все они могут быть названы корифеями, все — классиками науки, все что-то открыли и т. д. Но я исходил из того, что к кому-то такое определение подходит больше всего, а другие определения из этого перечня (скажем, *пионеры* или *основатели*) меньше подходят, выглядят чрезмерными или сбивающими с толку.

В отличие от второго тома, перечень дореволюционных ученых, составляющих цвет науки, выглядит полным, как закрытый клуб. Его дальнейшее пополнение, мне кажется, возможно только при некотором снижении критериев или при открытии неизвестных ранее фактов. Формозов включал в свою агиографию Вадима Пассека и генерала Н. Н. Муравьева-Карсского, Лебедев описывал работы

многих дореволюционных археологов — Л. К. Ивановского, В. И. Сизова, Н. И. Репникова, Э. Р. Штерна, В. Б. Антоновича, С. С. Гамченко, Д. И. Эварницкого. При изучении некоторых регионов или отраслей они, несомненно, выйдут на первый план, но для общего развития российской археологии они пока остаются фигурами хоть и важными, но второстепенными или периферийными.

Это не означает, что их биографии неинтересны. Наоборот, они могут оказаться очень поучительными, ведь среда, в которой происходили события первого плана и действовали лидеры, многое объясняет. Формозов великолепно разработал биографию Пассека, показав, что он предвосхитил ту программу курганных раскопок, которую позже осуществлял Уваров. Формозов превратил индивидуальную заслугу Уварова в осуществление тенденции. Лебедев показал, что в одиннадцати полевых сезонах ассистент Медико-хирургической Академии Ивановский раскопал почти столько же курганов на Северо-Западе, сколько Уваров в центральной России. Их вклады этого плана сопоставимы. Тункина представила в монументальных трудах деятельность исследователей российской античности на юге России.

Но Уваров еще и обобщающие книги написал, руководил Московским археологическим обществом и организовал Археологические съезды. Это совершенно другой уровень вклада в науку.

Поскольку распределение фигур по категориям не чисто хронологическое, то последовательность и хронологические рубежи материала, в частности отделение дореволюционного от послереволюционного, тоже в большой мере условны. Многие биографии, представленные в первом томе, заходят в революционное и послереволюционое время: Спицына, Городцова, Ростовцева, Макаренко, да и Бобринского, Иностранцева, Анучина, Рериха. Но если Иностранцев и Анучин при советской власти доживали свой век, а Бобринский, отбыл за границу, да и Рерих и Ростовцев вторую половину жизни проживали за границей, то Спицын, Макаренко и Городцов полжизни прожили в Советской России, и значительная часть творчества последнего падает на советское время. Но сформировались они как ученые, конечно, до революции.

Как мне представляется, проделанный обзор представляет дореволюционную российскую археологию в ее центральных тенденциях, главных событиях и основных личностях. Была ли то Россия, которую мы потеряли, к чему склонялся Формозов, или площадка для настоящего взлета марксистской археологической мысли, в чем

был убежден Генинг, или мощная основа для дальнейшего развития, которое мистически провидел Лебедев? Чтобы отвечать на этот вопрос, нужно как минимум проследить это дальнейшее развитие по второму тому.

Пока можно лишь сказать, что развитие это было более близким к центральноевропейскому, чем к западноевропейскому: переход от прогрессизма к эволюционизму был в значительной мере далек от российских интересов. В многонациональной Российской империи, где росло национально-освободительное движение окраин, а центральная нация претендовала на особое положение, больше интереса вызывали, как и в Центральной Европе (Австро-Венгрия, Германия), соотношения этносов с археологией, взаимоотношения национальных культур, древние территориальные границы народов. Поэтому Косинна и Спицын выступали с аналогичными статьями (Спицын даже раньше). Мережковский пестовал нацистские идеи раньше Гитлера. Но опережение было частным, и эти идеи в России не имели того развития, которое они приобрели в Германии.

В целом по сравнению с Центральной и Западной Европой развитие российской археологии было догоняющим, как догоняющим было всё развитие России с петровской эпохи. Всё время приходилось ликвидировать отставание в том или ином аспекте, имея дело с сильными и живучими пережитками прошлого в смежных сферах, и это создавало особый драматизм развития археологии в России, требуя подвигов и свершений. Всё это делало биографии ее деятелей особо напряженными и неимоверно интересными. Российские археологи и сами нередко несли в себе старые традиции, боровшиеся внутри них с прогрессивными новациями, а уж когда косные силы выступали отдельно, в отдельных воплощениях, борьба тенденций превращалась в конфликты поколений и схватки деятелей и групп. Миллер и Ломоносов, Оленин и Дюбрюкс, Уваров и Забелин, Спицын и Кондаков с Толстым, Городцов и Самоквасов — их столкновения высекали искры конфликтов, но все вместе они создавали археологию России и намечали пути ее истории.

Но всё это меркнет перед той коллизией, которая их ожидала в начале XX века. Революция разрушила выстроенное многими поколениями археологов здание археологической науки и стала строить новое здание, пролетарской науки. Но строить пришлось из обломков того же материала. Будет ли новое здание лучше прежнего? Сохранится ли преемственность? А старые археологи спрашивали себя: сохранится ли наука?

Содержание

Предисловие 5

Введение 11

Часть I. Российское общество и знание о древностях в исторической перспективе 29

Часть II. Движение археологической мысли 97

Часть III. Российские археологи 133

Пионеры 143

Посланец Петра
Доктор Д. Г. Мессершмидт 145

Противник Ломоносова
Герард Ф. Миллер 160

Француз-романтик в Керчи
Поль Дюбрюкс 180

Стратег классической археологии
Иван Стемпковский 197

Поборник дохристианской «славянщизны»
Зориан Ходаковский 211

Основатели 231

Сановный археолог
А. Н. Оленин 233

Эмбриология первобытной археологии
К. М. Бэр 261

Создатель археологического центра
С. Г. Строганов 281

Строитель российской археологии
А. С. Уваров 297

Корифеи **327**

В поисках славного прошлого
Д. Я. Самоквасов 329

Археологический генерал
Н. Е. Бранденбург 360

Археолог царского рода
А. А.Бобринский 372

Археолог в числе прочего
Д. Н. Анучин 390

Вклад геолога
А. А. Иностранцев 411

Открыватели **429**

Археолог поневоле
И. Е. Забелин 431

Курганы как искушение
Н. И. Веселовский 467

Путешественник: успехи и беда
И. С. Поляков 492

Удачливый искатель
В. В. Хвойка 504

Открыватель и заступник
Н. Е. Макаренко 525

Классики **539**

Византиец
Н. П. Кондаков 541

Собиратель
А. А. Спицын 566

Человек, создавший себя
В. А. Городцов 585

Археолог в двух мирах
М. И. Ростовцев 614

Спорные фигуры **643**

Вероучитель и художник в роли археолога
Н. К. Рерих 645

Злодей и гений?
К. С. Мережковский 673

Заключение **693**

Клейн Лев Самуилович

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ: УЧЕНИЯ, ШКОЛЫ И ЛИЧНОСТИ

ТОМ 1

Общий обзор и дореволюционное время

Научное издание

Директор издательства *Чубарь В. В.*
Главный редактор *Трофимов В. Ю.*
Корректор *Галаганова Л. А.*
Дизайн макета *Меркурьева М. В.*

ООО «Издательство «ЕВРАЗИЯ»
199026, Санкт-Петербург,
Средний пр-кт, д. 86, пом. 106

Подписано в печать 10.07.2014
Усл.-печ. л. 44. Формат 60x90 1/16
Гарнитура «PT Serif».
Тираж 1000 экз. Печать офсетная.
Заказ № 127.

ООО «Издательство «ЕВРАЗИЯ»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр-кт, д. 86, пом. 106,
тел. (812) 602-08-24, http://www.eurasiabooks.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии ООО «ИПК „Биont“»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр. В. О., д. 86
тел. (812) 322-68-43
e-mail: biont11@mail.ru

Представляемая вашему вниманию работа значительно отличается от всех существующих трудов по истории отечественной археологической науки.

Особенность «Истории российской археологии», написанной выдающимся петербуржским ученым Л. С. Клейном, состоит в том, что читателю предоставляется возможность взглянуть на предмет трижды: сперва как на историю событий и институций, затем как на историю учений, и в третий раз – как на историю личностей.

Эта последняя – не приложение, а основное содержание книги, то есть оставшаяся от первых двух «прогонов» наибольшая часть первого тома отведена под биографии дореволюционных российских археологов. Это, так сказать, история в лицах. Биографии археологов (автор в первой части исследования уделяет внимание 25 ученым) сгруппированы по той роли, которую данный исследователь сыграл в истории науки: пионеры, основатели, классики и т. п.

Издание рассчитано на археологов и историков науки, специалистов и студентов, а также на всех интересующихся развитием общественных наук в нашей стране.

ISBN 978-5-91852-075-8
9 785918 520758

ISBN 978-5-91852-076-5
9 785918 520765